БИБЛІОТЕКА
ОБЩЕСТВА ДЛЯ ДОСТАВЛЕНІЯ СРЕДСТВЪ
ВЫСШИМЪ
ЖЕНСКИМЪ КУРСАМЪ.
Шкаф XXXVII Л. 0
Полка 8 2
№ 16 2. п32

ЗАПИСКИ

КСЕНОФОНТА АЛЕКСѢЕВИЧА ПОЛЕВАГО

ЗАПИСКИ

КСЕНОФОНТА АЛЕКСѢЕВИЧА

ПОЛЕВАГО

СЪ ДВУМЯ ПОРТРЕТАМИ

БИБЛІОТЕКА
О-ва для достав. средствъ
В. Ж. КУРСАМЪ.

1198
Зам.

БИБЛІОТЕКА
Егора Егоровича
ЗАМЫСЛОВСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе А. С. СУВОРИНА
1888

18740

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 11—2

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

ОТЪ АВТОРА 1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА I. Странная обязанность біографа.—А. Е. Полевой—отецъ Н. А. Полеваго.—Его характеристика.—Его родственныя связи и отношенія къ иркутскому обществу.—Его сношенія съ выдающимися современниками.—Бесѣды А. Е. Полеваго съ графомъ Н. П. Румянцевымъ.—Рожденіе и дѣтство Николая Алексѣевича.—Житье на заимкѣ.—Мечты и дѣйствительность.—Мать Николая Алексѣевича и ея вліяніе на семью.—Диковинный мальчикъ 7

ГЛАВА II. Отъѣздъ Николая Алексѣевича въ Москву.—Рекомендательное письмо къ Карамзину.—Жизнь въ Москвѣ и увлеченіе наукой, театромъ и чтеніемъ.—Пріѣздъ семьи и жестокій нагоняй.—Нашествіе Наполеоновыхъ полчищъ.—Возвращеніе въ Курскъ и служба въ конторѣ Баушева.—Неудачныя предпріятія А. Е. Полеваго.—Изученіе иностранныхъ языковъ.—Бѣдственное положеніе семьи.—Полученіе мѣста въ Сибири и отъѣздъ туда Н. А. и К. А. Полевыхъ.—Неоправдавшіяся надежды отца.—Окончательный переѣздъ изъ Сибири на родину 22

ГЛАВА III. Первое печатное сочиненіе Николая Алексѣевича.—Впечатлѣніе, произведенное этимъ литературнымъ опытомъ въ Курскѣ. — Новые знакомцы-меценаты. — Метода, по которой

стр.

Николай Алексѣевичъ изучалъ иностранные языки.—Усиленныя занятія русской грамматикой. — Первые стихотворные опыты. — Совмѣстныя занятія съ братомъ. — Посылка статей въ «Вѣстникъ Европы» 43

ГЛАВА IV. Переселеніе Н. А. Полеваго въ Москву. — Сближеніе съ Каченовскимъ. — Современные взгляды на литературу. — Знакомство съ В. Ѳ. Тимковскимъ и В. С. Филимоновымъ. — Занятія греческимъ языкомъ и увлеченіе эпикурейской философіей.—Поѣздки Н. А. въ Петербургъ и знакомство съ П. П. Свиньинымъ.—Библіотека Тимковскаго.—З. Ходаковскій и его методъ археологическихъ изслѣдованій 57

ГЛАВА V. Кончина А. Е. Полеваго. — Награда, выданная Николаю Алексѣевичу Россійской академіей.—Сближеніе съ петербургскими литераторами.—Женитьба Николая Алексѣевича.—Московскіе литературные кружки и Общество любителей россійской словесности.—Вѣяніе новой философіи.—Литераторы-оригиналы и литераторы-фанатики.—Отношенія Н. А. къ Прокоповичу-Антонскому и къ кн. В. Ѳ. Одоевскому 78

ГЛАВА VI. Знакомство съ Я. И. Сабуровымъ. — Планы изданія журнала.—Разрѣшеніе издавать «Московскій Телеграфъ».—Булгаринъ отговариваетъ Н. А—ча отъ задуманнаго имъ предпріятія. — «Знаменитые друзья» Воейкова. — Характеристика этого писателя.—С. Е. Раичъ, какъ человѣкъ и литературный дѣятель. — Его литературный кружокъ, состоявшій изъ молодыхъ его слушателей и почитателей. — А. И. Писаревъ и его зарождающаяся непріязнь къ Н. А—чу.—Сближеніе съ княземъ П. А. Вяземскимъ, какъ съ постояннымъ сотрудникомъ «Московскаго Телеграфа».—Николай Алексѣевичъ, какъ редакторъ журнала 93

ГЛАВА VII. Энциклопедическое направленіе «Московскаго Телеграфа».—Направленіе критическихъ статей журнала. — Участіе кн. П. А. Вяземскаго и его отношенія къ современной журналистикѣ.—Возбужденіе вражды излишнею искренностью Н. А—ча. — Полемика съ Булгаринымъ и Гречемъ, въ которой принимали участіе противъ Н. А—ча всѣ современные журналы. — Сочувственное отношеніе И. И. Дмитріева.—Заочное знакомство съ А. С. Пушкинымъ и его одобреніе «Московскаго Телеграфа». — Эпиграммы и прозаическія статьи его.—Важнѣйшіе сотрудники Н. А. Полеваго: К. А. Полевой, А. И. Красовскій и М. А. Максимовичъ 111

стр.

ГЛАВА VIII. Буря, поднятая противъ «Московскаго Телеграфа» его противниками.—«Особенное прибавленіе» къ «Московскому Телеграфу».—Противники, перешедшіе на сторону Н. А. Полеваго: Д. В. Веневитиновъ, В. А. Ушаковъ, Н. П. Демидовъ.—Насмѣшливые куплеты Писарева и энергическая защита Полеваго публикою 132

ГЛАВА IX. Кружокъ людей, близкихъ къ «Московскому Телеграфу».—Братья Кирѣевскіе.—М. П. Розбергъ и философскіе споры.—Д. П. Шелиховъ.—Философія Шеллинга и московскіе шеллингисты.—Классицизмъ и романтизмъ.—Экономическія теоріи.—Занятія Николая Алексѣевича санскритомъ и восточнымъ міромъ 151

ГЛАВА X. Литературная жизнь Н. А. Полеваго.—Его ближайшій кружокъ.—Встрѣча съ Мицкевичемъ.—Сближеніе Мицкевича съ братьями Полевыми.—Характеристика Мицкевича; его отношенія къ Пушкину и русскимъ писателямъ; его импровизація.—Е. А. Баратынскій, какъ поэтъ и человѣкъ.—Его дружескія отношенія къ Николаю Алексѣевичу 165

ГЛАВА XI. «Калужскій Корреспондентъ» «Сына Отечества».—С. Д. Полторацкій.—Знакомство съ нимъ Николая Алексѣевича и установленіе дружескихъ отношеній къ братьямъ Полевымъ.—Кончина императора Александра I.—14-е декабря 1825 года.—Впечатлѣніе, произведенное этимъ событіемъ.—Эпизодъ съ анонимнымъ письмомъ 180

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГЛАВА I. Возвращеніе Пушкина изъ ссылки въ Москву.—Отношеніе русской публики къ поэту.—Личное знакомство Н. А. и К. А. Полевыхъ съ Пушкинымъ.—Странное впечатлѣніе, вынесенное изъ этого знакомства.—Явные признаки охлажденія Пушкина къ «Московскому Телеграфу» и его издателямъ.—Особыя воззрѣнія Пушкина на знатность происхожденія.—Сближеніе поэта съ Погодинымъ и съ кружкомъ «Московскаго Вѣстника».—Покровительственныя отношенія къ этому кружку.—Явно-враждебныя дѣйствія Пушкина противъ «Московскаго Телеграфа».—Старанія отвлечь князя Вяземскаго отъ участія въ «Московскомъ Телеграфѣ».—Полный неуспѣхъ

*

стр.

«Московскаго Вѣстника».—Смѣшные укоры «Московскому Телеграфу».—Отъѣздъ Пушкина изъ Москвы и проводы его . . 195

ГЛАВА II. Новыя непріятности изъ-за старой пріязни. — Вдова Ходаковскаго и его завѣтъ Н. А. Полевому. — Бумаги Ходаковскаго. — Разборъ ихъ въ сообществѣ съ Мицкевичемъ, Малевскимъ и Дашкевичемъ. — Жалоба вдовы генералъ-губернатору. — Объясненіе, данное Николаемъ Алексѣевичемъ. — Клеветы враговъ по этому поводу. — Вальтеръ-Скоттъ, какъ виновникъ вражды Н. А. Полеваго съ Погодинымъ. — Переводъ «Жизни Наполеона» и хлопоты о пропускѣ его цензурою въ Петербургѣ. — В. Г. Анастасевичъ и баронъ Розенкампфъ. — Разрѣшеніе перевода цензурою. — Происки Погодина и желаніе подѣлить съ Полевыми ихъ будущіе барыши. — Неосторожный шагъ Н. А. Полеваго.—С. Т. Аксаковъ, какъ цензоръ «М. Телеграфа» и личный врагъ Н. А. Полеваго.—Запрещеніе перевода «Жизни Наполеона» 213

ГЛАВА III. В. В. Измайловъ и С. Н. Глинка, какъ цензоры. — Глинка-французоѣдъ.—Его чудачества и странности.—Его дѣятельность въ 1812 году.—Встрѣча Глинки съ Карамзинымъ.—Поразительное безкорыстіе Глинки. — Смѣлый отпоръ князю С. М. Голицыну.—Какъ Глинка цензуровалъ книги.—Тріумфъ Глинки во время ареста на Сенатской гауптвахтѣ. — Огорченіе Глинки и отъѣздъ въ Петербургъ.—Глинка-слѣпецъ.—Послѣднее свиданіе съ нимъ.—Продолженіе невзгодъ на «Московскій Телеграфъ»: жалоба на журналъ со стороны профессоровъ Московскаго университета.—Благопріятный исходъ этой жалобы 232

ГЛАВА IV. Новый и опасный врагъ — Надеждинъ. — Курьезное знакомство съ М. Н. Загоскинымъ. — Характеристика князя Шаликова и нѣкоторыя біографическія подробности о немъ.— Прекращеніе литературной войны между «Московскимъ Телеграфомъ» и петербургскими журналистами — Гречемъ и Булгаринымъ. — Поѣздка К. А. Полеваго въ Петербургъ для типографскихъ заказовъ. — Сближеніе его съ литературнымъ кружкомъ Булгарина и Греча. — В. А. Ушаковъ въ роли посредника. — Нѣсколько словъ о петербургской жизни Пушкина. — Характеристика поэта. — Частыя свиданія съ нимъ К. А. Полеваго. — Глумленіе Пушкина надъ П. И. Свиньинымъ 255

ГЛАВА V. Изученіе исторіи было смолоду любимымъ занятіемъ Николая Алексѣевича.—Его подготовка къ будущимъ ученымъ

стр.

трудамъ. — Работы надъ «Исторіей Государства Россійскаго» и его уваженіе къ труду Карамзина. — Знакомство съ Нибуромъ и другими западными историками, радикально измѣнившее взглядъ Николая Алексѣевича на задачи русской исторической науки.—Мысль—написать «Исторію русскаго народа». — Подписка, какъ средство для выполненія изданія. — Значеніе этого труда. — Буря, вызванная появленіемъ труда въ средѣ поклонниковъ Карамзина. — Критика на XII томъ Карамзина, какъ поводъ къ разрыву съ кн. Вяземскимъ. — Готовность Николая Алексѣевича на услуги и его добрыя отношенія къ молодежи. — Бѣгичевъ и его романъ «Семейство Холмскихъ». — Работа Николая Алексѣевича надъ этимъ романомъ. — Неумѣстная деликатность Н. А. Полеваго и грустные результаты, къ которымъ она приводитъ 279

ГЛАВА VI. Многосторонность и разнообразіе литературнаго таланта Николая Алексѣевича.—Его стихи, повѣсти и романы.—Обличительныя статьи «Московскаго Телеграфа» и вызванныя ими непріятности.—Возростающая вражда между Н. А. Полевымъ и Пушкинымъ.—Нападки Николая Алексѣевича на «Посланіе къ вельможѣ» и другія стихотворенія Пушкина.—Пушкинъ и А. А. Орловъ.—Письма Пушкина къ Орлову. — Справедливое негодованіе Николая Алексѣевича на неискренность Пушкина. — Начало непріязни къ С. С. Уварову. — Размолвка и примиреніе съ И. В. Кирѣевскимъ.—Нападки на Н. А. Полеваго со стороны «Денницы» Максимовича. — «Литературная Газета» и ея киваніе на «Московскій Телеграфъ». — Грубыя выходки Надеждина противъ «Московскаго Телеграфа». — Общія усилія враговъ этого журнала сводятся къ тому, чтобы добиться его запрещенія 305

ГЛАВА VII. Два слова о значеніи «Московскаго Телеграфа». — Несчастная случайность губитъ журналъ. — Драма Кукольника и ея успѣхъ на петербургской сценѣ. — Критика Николая Алексѣевича на эту драму. — По пріѣздѣ въ Петербургъ онъ сознаетъ свою ошибку, но не успѣваетъ ее исправить.— Ожиданіе грозы. — Распоряженіе о высылкѣ Н. А. Полеваго съ жандармомъ въ Петербургъ.—Его возвращеніе и разсказъ объ эпизодахъ поѣздки. — Засѣданіе въ кабинетѣ графа Бенкендорфа. — Министръ народнаго просвѣщенія въ роли прокурора.—Обвиненіе въ распространеніи революціонныхъ идей.— Запрещеніе «Московскаго Телеграфа». — Новые планы

стр.

изданій, затѣваемыхъ Николаемъ Алексѣевичемъ, и новыя карательныя мѣры Уварова, подавляющія его энергію 330

ПРИЛОЖЕНІЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ 352

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ГЛАВА I. Переводъ и изданіе Путешествія Дюмонъ-Дюрвиля. — Высочайшее благоволеніе императора Николая I, объявленное Николаю Алексѣевичу чрезъ графа А. Х. Бенкендорфа, за статью о памятникѣ Петра Великаго, напечатанную въ «Живописномъ Обозрѣніи».—Первая мысль о переводѣ Шекспировыхъ пьесъ для русской сцены.—Переводъ «Гамлета».—Достоинства этого перевода и его чрезвычайная популярность. — Трудности постановки «Гамлета» на сценѣ. — Совмѣстная работа Н. А. Полеваго и Мочалова. — Заслуги Н. А. Полеваго для русской сцены и его чрезмѣрное безкорыстіе. — Причины его увлеченій сценою.—Мочаловъ въ «Гамлетѣ» 258

ГЛАВА II. Уваженіе молодежи къ Николаю Алексѣевичу. — Его знакомство съ Бѣлинскимъ.—Смирдинъ предлагаетъ Н. А. Полевому редактированіе «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества».—Передача московскихъ дѣлъ брату и сборы въ Петербургъ. — Рабусъ и Верстовскій. — Проводы Николая Алексѣевича.—Бѣдственное положеніе Бѣлинскаго и его недовольство Н. А. Полевымъ.—Мочаловъ и «Уголино» 368

ГЛАВА III. Какъ правительство относилось въ это время къ Николаю Алексѣевичу. — Приготовленія къ изданію «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества» въ 1838 году, подъ редакціею Николая Алексѣевича. — Новое гоненіе на него министра Уварова. — Запрещеніе Николаю Алексѣевичу даже подписывать имя свое подъ статьями.—Ксенофонту Алексѣевичу не дозволяютъ издавать «Московскаго Наблюдателя». — Хлопоты Ксенофонта Алексѣевича объ устраненіи этихъ запрещеній. — Успѣхъ «Гамлета» въ Петербургѣ. — Что заставило Николая Алексѣевича уѣхать изъ Москвы.—Онъ дѣлается негласнымъ редакторомъ «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества», не смотря на запрещеніе Уварова. — Предположеніе объ устройствѣ этихъ двухъ журналовъ.—Заботы о постановкѣ «Уголино» на Московскомъ театрѣ. — Блестящій успѣхъ «Уголино» въ Петербургѣ.—Мнѣніе Николая Алексѣевича объ «Уголино» . . 383

стр.

ГЛАВА IV. В. И. Карлгофъ. — Я помогаю брату въ разсчетѣ съ кредиторами.—Благодарность Николая Алексѣевича.—Убытки, какіе изданіе «Дюмонъ-Дюрвиля» доставило Николаю Алексѣевичу.—Поэтъ Кольцовъ.—В. А. Каратыгинъ.—Интрига Булгарина и Сенковскаго противъ Николая Алексѣевича.—Отчаянное положеніе дѣлъ его.—Моя поѣздка въ Петербургъ, съ цѣлью помочь брату.—Впечатлѣнія этой поѣздки.—Тяжелое нравственное состояніе Николая Алексѣевича 413

ГЛАВА V. «Дѣдушка русскаго флота».—Отзывъ императора Николая объ этой пьесѣ.—Николай Алексѣевичъ не извлекаетъ изъ этого успѣха никакой матеріальной выгоды.—Успѣхъ «Купца Иголкина».—Основныя причины разстройства дѣлъ Николая Алексѣевича.—Клеветы на него Булгарина и Бѣлинскаго.—Клеветы эти сильно вредятъ Николаю Алексѣевичу.—Ему предлагаютъ принять редакцію «Энциклопедическаго Лексикона»; онъ отказывается.—Смерть сына его Алексѣя и его отчаяніе 444

ГЛАВА VI. Николай Алексѣевичъ былъ истиннымъ христіаниномъ.—Тяжкая болѣзнь его въ сентябрѣ 1839 года.—Какъ предполагалъ я освободить брата изъ тяжкаго его денежнаго положенія?—В. В. Варгинъ.—Отвѣтъ Николая Алексѣевича на это предложеніе.—Устройство редакціи «Сына Отечества» въ 1839 году.—Разныя литературныя извѣстія.—Неудача усилій моихъ относительно долговъ брата.—Онъ уплачиваетъ часть ихъ самъ.—«Параша Сибирячка» 471

ГЛАВА VII. Николай Алексѣевичъ старается упорнымъ трудомъ поддержать свои дѣла.—Поѣздка Николая Алексѣевича въ Москву, въ февралѣ 1840 года.—По возвращеніи въ Петербургъ, онъ долженъ усиленно работать, чтобы вознаградить время, употребленное на эту поѣздку.—Интриги въ редакціи «Сына Отечества».—Притѣсненія г. Бѣгичева по уплатѣ денегъ.—Какъ Николай Алексѣевичъ проводилъ Святую недѣлю въ своей семьѣ.—Ханъ-Гирей.—Новая поѣздка въ Москву, въ январѣ 1841 года.—Попытка книгопродавца Семёна не уплатить по векселю.—Выговоръ, сдѣланный Сенковскому въ цензурномъ комитетѣ.—Императоръ Николай I выдаетъ Николаю Алексѣевичу единовременное пособіе въ 2 тысячи рублей.—Разстройство дѣлъ книгопродавцевъ Семёна, Смирдина и купца Самохотова стѣсняетъ Николая Алексѣевича.—Сближеніе съ княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ.—Н. А. Кашинцевъ.—Николай Алексѣевичъ проситъ разрѣшенія осмо-

стр.

трѣть архивы, для сочиняемой имъ «Исторіи Петра Великаго», и получаетъ отказъ 493

ГЛАВА VIII. Разстройство дѣлъ Ксенофонта Алексѣевича.—Поѣздка семейства Ксенофонта Алексѣевича заграницу, для лѣченія.—Банкротство Смирдина окончательно разоряетъ Николая Алексѣевича.—Онъ упрекаетъ себя, что увлекъ брата въ погибель.—Мечты его относительно уплаты долговъ.—Ксенофонтъ Алексѣевичъ предполагаетъ издавать «Библіотеку для Чтенія» въ 1842 году.—Это не удается.—Положеніе дѣлъ Смирдина.—Извѣстіе о смерти Лермонтова.—Трагическое положеніе Николая Алексѣевича и его семьи.—Онъ дѣлается издателемъ «Русскаго Вѣстника» въ 1842 году.—Разсчеты и предположенія его по этому дѣлу.—Изданіе журнала этого оказалось невыгоднымъ.—Затруднительное положеніе Ксенофонта Алексѣевича и отчаяніе Николая Алексѣевича.—Исповѣдь его брату 519

КСЕНОФОНТЪ АЛЕКСѢЕВИЧЪ ПОЛЕВОЙ

Съ акварельнаго портрета, рисованнаго въ 1883 году въ Москвѣ Людвигомъ.
Гравюра Панемакера въ Парижѣ.

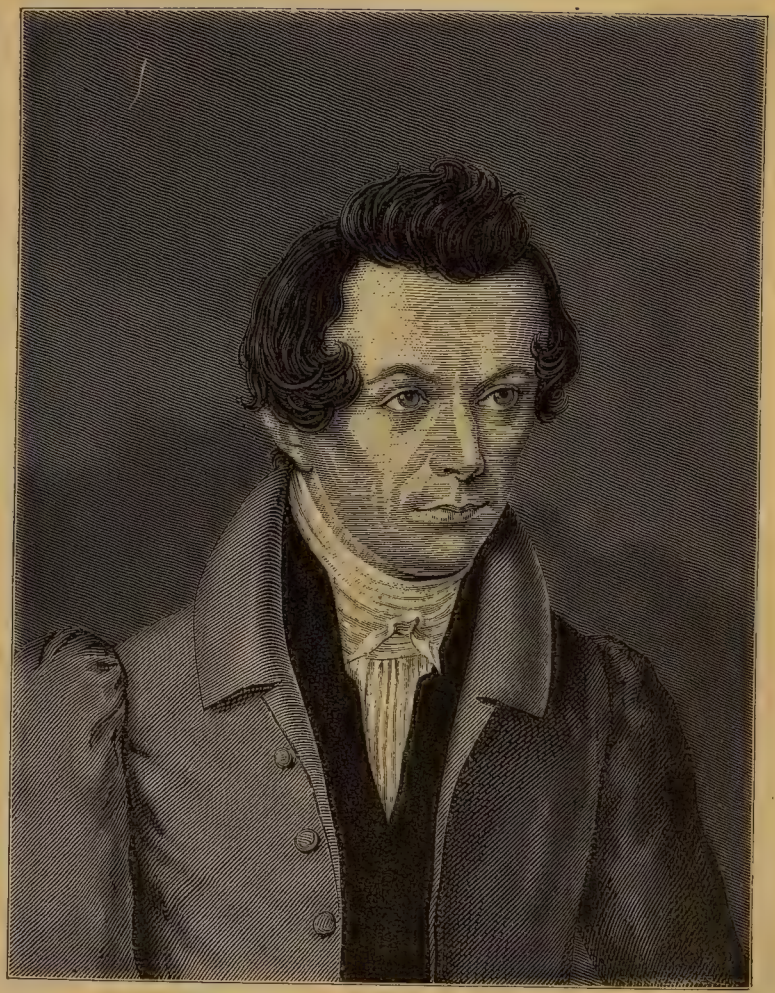
дозв. ценз. спб., 7 декабря 1887 г.

ОТЪ АВТОРА.

Немногіе изъ русскихъ, посвятившихъ свою жизнь литературной дѣятельности, пріобрѣли такую общую извѣстность, какъ Николай Алексѣевичъ Полевой. Съ удивленіемъ встрѣчаю людей, далекихъ отъ всего книжнаго, повторяющихъ знакомое имъ имя Н. А. Полеваго; встрѣчаю то же имя и въ чужеземныхъ книгахъ, гдѣ, говоря о русской литературѣ или даже объ умственной дѣятельности русскихъ, непремѣнно упоминаютъ о Н. А. Полевомъ. Это неоспоримо доказываетъ, что онъ оставилъ послѣ себя яркій слѣдъ въ русской литературѣ; но, по неизбѣжной судьбѣ всѣхъ слишкомъ извѣстныхъ людей, онъ былъ и остается предметомъ самыхъ различныхъ сужденій. Многіе писали и пишутъ о немъ; никто еще не объяснилъ, чѣмъ обратилъ на себя общее вниманіе Н. А. Полевой? Почему онъ,—не геніальный поэтъ, не геніальный прозаикъ, не философъ-преобразователь,—заставляетъ и послѣ смерти своей говорить о себѣ, и остается предметомъ жаркихъ похвалъ, а иногда и ожесточенныхъ осужденій? Въ чемъ, наконецъ, состоитъ заслуга его,—потому что не можетъ же быть, чтобы при такомъ сильномъ и общемъ впечатлѣніи, какое произвела литературная жизнь его, онъ не оказалъ достопамятной, или, по крайней мѣрѣ, значительной услуги своему отечеству? Отвѣта на эти вопросы нѣтъ въ біографіяхъ и безчислен-

ныхъ сужденіяхъ, гдѣ старались изобразить и оцѣнить Н. А. Полеваго пріятели и непріятели его. Вообще, немногіе говорили благоразумно и съ такимъ чувствомъ, какого достоинъ человѣкъ необыкновенный. Я укажу далѣе на эти благородныя исключенія изъ грѣшной и пристрастной болтовни литературныхъ судей моего брата. Высказываю такое мнѣніе безъ страсти, не увлекаясь уваженіемъ и любовью, которыя сохраняю къ нему и послѣ его смерти. Скажу, можетъ быть, неожидаемое читателемъ: я извиняю, съ немногими исключеніями, всѣхъ, даже враговъ Н. А. Полеваго! Они судили о немъ, не знавши его, и виноваты передъ его памятью всего больше въ томъ, что рѣшились писать и судить о человѣкѣ, котораго знали слишкомъ односторонно... Онъ самъ никогда не заботился исправить многія ложныя мнѣнія, какія распространялись о немъ еще во время его жизни... Теперь уже много лѣтъ покоится въ могилѣ прахъ его... Періодъ тоски, которая, кажется, никогда не оставляетъ насъ при воспоминаніи о миломъ, навсегда оставившемъ насъ человѣкѣ, не миновалъ для меня; но я уже могу говорить о Николаѣ Алексѣевичѣ Полевомъ. Могу и буду говорить о немъ, потому что почитаю это своею обязанностью. Онъ былъ мнѣ братъ и другъ. Эти названія важны для меня передъ публикою только въ томъ отношеніи, что она можетъ вѣрить моему разсказу. Никто лучше меня не зналъ Н. А. Полеваго. Во всю жизнь его были мы соединены не только ближнимъ кровнымъ родствомъ, но и самою нѣжною дружбою, которая началась съ дѣтскихъ лѣтъ, продолжалась во всѣ годы юности и мужества и окончилась только его смертью. Дружба наша была скрѣплена и одинакими склонностями, и многими общими занятіями и трудами. До послѣднихъ годовъ его жизни, покуда мы оставались въ одномъ городѣ и, бо́льшею частью, подъ одною кровлею, почти не было мысли, — разумѣется, выходящей изъ круга ежедневныхъ житейскихъ пошлостей, — которой не передавали бы мы другъ другу. Кто же больше меня имѣ-

етъ средствъ представить этого необыкновеннаго человѣка въ истинномъ видѣ? По моему убѣжденію, возможность говорить о немъ вѣрнѣе другихъ составляетъ мою обязанность, которую я долженъ исполнить. Я долженъ исполнить ее изъ уваженія къ памяти брата и друга, до сихъ поръ почти всегда невѣрно изображаемаго. Я обязанъ передать соотечественникамъ многія свѣдѣнія о его жизни и его литературной дѣятельности, которыя поясняютъ одна другую. Это сдѣлалось даже необходимо послѣ нѣкоторыхъ, напечатанныхъ о немъ въ послѣднее время сужденій. Если Богъ благословитъ мое доброе намѣреніе, то соотечественники узнаютъ вполнѣ человѣка, истощившаго всю свою жизнь въ трудахъ, одушевленныхъ глубокимъ желаніемъ добра и просвѣщенія нашему отечеству.



НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ ПОЛЕВОЙ.

Съ акварельнаго портрета, рисованнаго въ 1833 году въ Москвѣ Людвигомъ.
Гравюра Паннемакера въ Парижѣ.

ДОЗВ. ЦЕНЗ. СПБ., 7 ДЕКАБРЯ 1887 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Странная обязанность біографа. — А. Е. Полевой — отецъ Н. А. Полеваго. — Его характеристика. — Его родственныя связи и отношенія къ иркутскому обществу. — Его сношенія съ выдающимися современниками. — Бесѣды А. Е. Полеваго съ графомъ Н. П. Румянцевымъ. — Рожденіе и дѣтство Николая Алексѣевича. — Житье на заимкѣ. — Мечты и дѣйствительность. — Мать Николая Алексѣевича и ея вліяніе на семью. — Диковинный мальчикъ.

Довольно рѣдкая случайность въ обязанности біографа, что, прежде всего, я долженъ оспоривать того, о комъ начинаю говорить.

Н. А. Полевой самъ описалъ часть своей жизни въ предисловіи къ книгѣ, изданной подъ заглавіемъ: «Очерки русской литературы» (2 тома, 1839 г., Спб.). Тамъ говоритъ онъ о предкахъ нашихъ, Полевыхъ, старожилахъ Курска, о нашемъ, незабвенномъ для насъ, отцѣ и, наконецъ, о самомъ себѣ, до 26-го года своей жизни, когда, послѣ смерти отца, онъ сдѣлался старшимъ въ семействѣ и могъ располагать судьбою своею по собственному усмотрѣнію. Въ разсказѣ его событія указаны истинныя, но онъ несправедливо представляетъ многія изъ нихъ, такъ что это даетъ совершенно превратное понятіе обо всемъ слѣдовавшемъ затѣмъ поприщѣ его.

Онъ вѣрно изображаетъ отца нашего, представляя его человѣкомъ необыкновеннымъ, рѣдкимъ по возвышенности

души и силѣ ума. Этотъ достойный памяти человѣкъ провелъ всю жизнь свою въ трудахъ, борясь съ тѣмъ, что называютъ люди несчастіемъ, но всегда находилъ время читать, мыслить, разсуждать о всѣхъ важныхъ для человѣка вопросахъ. Вездѣ и во всѣхъ положеніяхъ жизни, онъ жилъ больше умственною и нравственною дѣятельностью, и, можетъ быть, потому часто не имѣлъ удачи въ дѣятельности вещественной. Рано утромъ, послѣ обѣда, вечеромъ, въ постели ночью, онъ непремѣнно былъ съ книгой, и если что поражало его въ чтеніи, онъ начиналъ разсуждать объ этомъ и дѣлать свои выводы. Мыслящая сила у него была удивительная: онъ былъ недоволенъ системами астрономическими и физическими и создавалъ свои системы; онъ, зная превосходно исторію, смѣялся надъ многими прославляемыми ею подвигами, удивлялся героямъ исторіи, благоговѣлъ передъ дѣйствіями Петра Великаго; онъ, безпрестанно наблюдая природу, любилъ давать себѣ отчетъ въ главныхъ законахъ ея и въ малѣйшихъ явленіяхъ.

Очень естественно, что съ такимъ человѣкомъ любили бесѣдовать всѣ, кто умѣлъ понимать его, особенно если прибавимъ къ этому, что онъ обладалъ въ высокой степени даромъ слова, увлекалъ живостью своего характера и откровенностью выраженія. Съ самыхъ молодыхъ лѣтъ вступивъ въ управленіе большими дѣлами въ Сибири (первоначально у своего дяди, извѣстнаго богача И. Ил. Голикова), онъ былъ въ сношеніяхъ со множествомъ замѣчательныхъ людей и всегда умѣлъ составить себѣ избранный кружокъ чуждаясь обыкновенныхъ посѣщеній, обѣдовъ, баловъ и не понимая, какое находятъ въ нихъ наслажденіе. Всѣ свободные часы его были посвящены чтенію, изученію природы и семейству. Разговоры и разсказы его были пріятны и поучительны, особливо для насъ, дѣтей его. Зная очень хорошо людей, разглядѣвъ вблизи даже много знаменитостей своего времени, онъ былъ нашимъ ментором и въ этомъ отношеніи. Неумолимый въ оцѣнкѣ всего глупаго, ложнаго, вред-

наго, онъ питалъ неограниченное уваженіе ко всему высокому, доброму, умному. И въ послѣдніе годы своей жизни вспоминалъ онъ съ благодарностью и уваженіемъ о нѣкоторыхъ лицахъ, причисляя знакомство съ ними къ счастливымъ случаямъ своей жизни. Въ числѣ такихъ знакомыхъ его были: митрополитъ Гавріилъ, знаменитый архипастырь Екатеринина вѣка, всегда удостоивавшій отца нашего своими бесѣдами; два брата Бланкеннагели, извѣстные своими глубокими познаніями и наблюдательнымъ умомъ. Григорій Ивановичъ Шелиховъ, завоеватель Русской Америки, долго былъ непріятелемъ, но къ концу жизни сдѣлался другомъ нашего отца. Эти люди и еще нѣкоторые, не столько извѣстные, были предметомъ особеннаго уваженія и всегдашнихъ воспоминаній его. Помню многіе разсказы его о нихъ и не удивляюсь, что бесѣды съ такими людьми могли оставить въ немъ глубокія впечатлѣнія, потому что касались вопросовъ, какіе занимаютъ только высокихъ умомъ людей. Кромѣ того, всѣ замѣчательные люди, съ какими случалось отцу нашему встрѣчаться въ продолженіе дѣятельной его жизни, дѣлались искренними его пріятелями и почитателями. Въ доказательство могу указать на печатныя свидѣтельства. Въ книгѣ, изданной адмираломъ Шишковымъ, подъ заглавіемъ: «Двукратное путешествіе въ Америку», и сочиненной лейтенантомъ Давыдовымъ, неизмѣннымъ другомъ героя, пламеннаго Н. А. Хвостова, встрѣчается нѣсколько упоминаній объ Алексѣѣ Евсевіевичѣ Полевомъ, съ которымъ были они въ самыхъ дружескихъ сношеніяхъ, служа на корабляхъ Американской компаніи. Онъ былъ, можно сказать, основателемъ нынѣшней Россійско-Американской компаніи и писалъ всѣ первоначальные уставы ея. Не распространяюсь объ этомъ, боясь отклониться отъ главнаго моего предмета. Извѣстный многимъ въ Петербургѣ К. Т. Хлѣбниковъ (подъ конецъ жизни директоръ Россійско-Американской компаніи), въ своихъ воспоминаніяхъ, напечатанныхъ въ «Сынѣ Отечества» (прежнемъ), говоритъ съ

должнымъ уваженіемъ объ А. Е. Полевомъ, какъ о своемъ начальникѣ. Бывшій генералъ-губернаторъ сибирскій, Борисъ Борисовичъ Леццано, любилъ отца нашего до такой степени, что когда, въ 1812 году, отецъ нашъ пріѣхалъ въ Петербургъ, Леццано, уже давно жившій тамъ, не допустилъ его остановиться на квартирѣ, а поселилъ у себя въ домѣ. Такъ всѣ чѣмъ либо замѣчательные люди, жившіе въ Иркутскѣ или пріѣзжавшіе туда на нѣкоторое время, непремѣнно дѣлались знакомыми и, большею частію, искренними пріятелями нашего отца. Во время посольства въ Китай, въ 1805 году, когда посолъ графъ Головкинъ долго оставался въ Иркутскѣ, почти всѣ чиновники, ѣхавшіе съ нимъ, безпрестанно бывали у насъ въ домѣ, и въ числѣ ихъ находился знаменитый Клапротъ, тогда извѣстный больше какъ сынъ славнаго химика. Отецъ нашъ заставилъ его производить разные опыты на своей фаянсовой фабрикѣ!.. Посолъ въ Японію, камергеръ Рѣзановъ, былъ издавна пріятелемъ нашего отца, какъ зять друга его Шелихова.

Я могъ бы сказать еще многое въ подтвержденіе, что отецъ нашъ былъ не только человѣкъ необыкновенный умомъ и душою, но что онъ и жилъ въ кругу избранныхъ, образованныхъ людей, занимаясь большую часть своей жизни обширными торговыми и фабричными дѣлами. Онъ глядѣлъ на жизнь съ своей точки зрѣнія и не желалъ выйдти изъ званія, въ которомъ родился, хотя имѣлъ много случаевъ къ тому въ продолженіе своей жизни. Вотъ одинъ изъ такихъ случаевъ.

Графъ Николай Петровичъ Румянцевъ, бывши министромъ коммерціи, желалъ познакомиться съ человѣкомъ, хорошо знающимъ Сибирь. Ему указали на отца нашего, который жилъ тогда въ Петербургѣ (гдѣ бывалъ онъ часто и иногда оставался долго). Графъ, послѣ нѣсколькихъ свиданій съ нимъ, былъ до такой степени очарованъ его умомъ и свѣдѣніями, что предложилъ ему остаться при

своей особѣ, какъ министрѣ коммерціи, обѣщая блестящую будущность. Отецъ отказался, откровенно сознавшись, что больше дорожитъ семейнымъ счастіемъ, нежели блестящимъ положеніемъ въ свѣтѣ. Графъ обнялъ его, поцѣловалъ и сказалъ:

— Послѣ этого я уважаю васъ еще больше!

Разговоры его съ графомъ Румянцевымъ были такъ интересны, что ихъ стоило бы внести въ историческія записки.

Не должны ли дѣти столько уважаемаго, необыкновеннаго, умнаго отца, благословляя память его, сознавать въ душѣ своей, что его разговорамъ, внушеніямъ, его обществу, словомъ, ему—обязаны они всею своею любовью къ просвѣщенію и образованности? Ему обязаны они развитіемъ душевныхъ силъ и умственныхъ способностей, и не его вина, что они не могутъ въ этомъ отношеніи сравнивать себя съ нимъ! Да! много разъ повторяли мы съ покойнымъ братомъ Николаемъ Алексѣевичемъ, что если бы можно было соединить всѣхъ насъ, дѣтей его, въ одно существо, то изъ всѣхъ насъ не вышло бы одного, равнаго отцу. Въ этомъ человѣкѣ было неизмѣримо много силъ всякаго рода.

Не понимаю, какъ могъ послѣ этого братъ мой представить воспитаніе свое какимъ-то хаосомъ, а себя самоучкой, которому не способствовали, а мѣшали учиться? Я изъявилъ ему свое удивленіе объ этомъ, когда прочиталъ «Нѣсколько словъ отъ сочинителя» въ книгѣ: «Очерки русской литературы». Онъ не отвѣчалъ, а только улыбнулся. Я хотѣлъ, чтобы онъ непремѣнно исправилъ это въ продолженіи своей біографіи; онъ обѣщалъ, хотя съ оговорками; и такъ прошло время до его смерти. Теперь я долженъ опровергать его! Опроверженіе будетъ состоять въ томъ, что я представлю въ истинномъ видѣ годы дѣтства его и юности.

Николай Алексѣевичъ Полевой родился въ Иркутскѣ, 22-го іюня 1796 года. Въ первое время своей жизни онъ

былъ дитя слабое, и только нѣжныя заботы матери поддерживали его здоровье. Признакомъ слабаго сложенія почитали въ немъ и то, что послѣ молочныхъ зубовъ у него выросли и выпали вторые зубы, а потомъ выросли третьи. Послѣ этого необыкновеннаго явленія въ человѣческомъ организмѣ, онъ сталъ укрѣпляться здоровьемъ. Я началъ помнить его, когда онъ былъ уже нѣжнымъ, бѣлокурымъ мальчикомъ.

Мы жили тогда на заимкѣ, какъ называютъ въ Иркутскѣ загородные дома. Отецъ нашъ, во всемъ необыкновенный, не хотѣлъ жить въ городѣ, выбралъ удобное и прекрасное мѣсто вблизи его и отмежевалъ себѣ тамъ обширное пространство, на которомъ въ нѣсколько лѣтъ вывелъ множество разныхъ строеній. Тутъ были у него и фабрики, и всѣ хозяйственныя заведенія, и прекрасный домъ, съ нѣсколькими отдѣльными жилыми помѣщеніями. Посреди луговъ и рощей, принадлежавшихъ ему, протекала довольно большая рѣка Ушаковка, впадающая въ Ангару и образующая раздвоеніемъ своимъ въ этомъ мѣстѣ островъ, который также принадлежалъ къ нашимъ владѣніямъ. Глядя на петербургскія дачи и вспоминая о нашей иркутской дачѣ, я оцѣниваю ее вполнѣ. Не знаю ничего подобнаго изъ частныхъ при-петербургскихъ владѣній! Прелесть мѣстности нашей дачи равнялась обширности ея, и безъ всякихъ искусственныхъ украшеній она представляла множество всякихъ удобствъ для пріятной, тихой жизни. Тамъ были и прекрасные виды на живописныя, дикія окрестности, и рѣка, роскошная для купанья и рыбной ловли, и множество мѣстъ для прогулокъ, для охоты, для всѣхъ невинныхъ наслажденій, которыя разнообразятъ уединенную жизнь.

Тамъ возростали мы, далекіе отъ свѣта, отъ цѣлаго міра, но не отъ образованности, которая олицетворялась для насъ въ отцѣ нашемъ. Онъ, человѣкъ съ европейскими понятіями своего времени, съ обширнымъ умомъ, образован-

нымъ жизнью, чтеніемъ, сношеніями съ необыкновеннымп людьми, былъ для насъ лучшимъ руководителемъ во всемъ. Какой гувернеръ могъ замѣнить такого наставника, тѣмъ больше, что онъ пользовался всякимъ случаемъ развивать и образовывать своихъ дѣтей.

Мы почти никуда не выѣзжали изъ дому, хотя у насъ почти всякій день бывали посѣтители. Это была совершенно особенная жизнь, какой не встрѣчалъ я ни въ одномъ семействѣ. Отдѣленные отъ города и всѣхъ его развлеченій, мы видѣли только то, что было въ нашемъ домѣ и въ обширныхъ, принадлежавшихъ къ нему заведеніяхъ; но какъ въ семействѣ нашемъ были необходимою принадлежностью—книги, журналы, газеты, и къ отцу нашему пріѣзжали почти всѣ образованные жители города, то мы лучше знали, что̀ дѣлалось въ Европѣ, въ Индіи, въ Америкѣ, нежели въ Иркутскѣ. Мы знали всѣ подробности о современномъ героѣ, Наполеонѣ, разсуждали о древней исторіи, о миѳологіи, а не знали улицъ Иркутска и никакихъ городскихъ отношеній. Въ примѣръ того, какъ странно былъ ограниченъ нашъ семейный бытъ, скажу, что въ виду отъ насъ были: адмиралтейство, живописное своимъ видомъ кладбище (такъ называемое Іерусалимское), великолѣпная, поросшая лѣсомъ Петрушина гора; а мы ни разу не бывали въ этихъ мѣстахъ.

Удивительно ли, что при такомъ странномъ воспитаніи, пылкій умомъ, мечтатель съ дѣтства, братъ мой жилъ въ идеальномъ мірѣ и не могъ удерживать избытка своихъ дарованій? Почти всякая новая книга возбуждала въ немъ новыя впечатлѣнія, а что поражало его особенно, то непремѣнно воспламеняло въ немъ и авторское дарованіе. Онъ говоритъ, что началъ писать стихами и прозою десяти лѣтъ, не зная, что такое стихи и проза. Но какой же десятилѣтній мальчикъ въ самомъ дѣлѣ знаетъ это? Ранняя страсть писать, сочинять во всѣхъ родахъ,—ибо дѣйствительно онъ уже писалъ во всѣхъ родахъ, еще не выѣз-

жавши изъ Иркутска, то есть до 15 лѣтъ, — показывала только необыкновенную силу авторскаго его дарованія. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ писалъ тогда какъ дитя; но какъ же иначе могъ писать мальчикъ, не достигшій юношескаго возраста?

Надобно удивляться, какъ могъ ребенокъ излагать довольно складно такіе предметы, какъ драма «Бракъ царя Алексѣя Михайловича», трагедія «Бланка Бурбонская», интермедія «Петръ Великій въ храмѣ безсмертія», «Путешествіе по всему свѣту» (въ подражаніе «Всемірному путешествователю» аббата де Ла-Порта), «Исторія Петра Великаго»? Не показываютъ ли самыя названія этихъ сочиненій, что голова его была наполнена множествомъ свѣдѣній и своихъ идей, которыя старался онъ выразить въ собственныхъ своихъ сочиненіяхъ? Какъ понять иначе эти дѣтскія попытки? Да и не такъ ли начинаютъ свое поприще всѣ необыкновенныя дарованія? Кромѣ названныхъ здѣсь сочиненій, онъ писалъ множество другихъ, потому что это было ежедневное, безпрестанное его занятіе. Помню, напримѣръ, что, прочитавъ «Энеиду, передѣланную на изнанку», Осипова, онъ началъ тотчасъ передѣлывать такъ же «Иліаду». Здѣсь кстати замѣтить, что способность писать стихи была у него необычайная: онъ почти такъ же писалъ стихами, какъ прозой, и это сохранилось въ немъ до самаго послѣдняго времени жизни. Вообще, способность излагать мысли, во всѣхъ возможныхъ формахъ, была въ немъ точно импровизаторская. Какъ-то разговорились о духовныхъ ораторахъ, и кто-то изъ присутствовавшихъ разсказывалъ о необыкновенномъ дарѣ московскаго митрополита Платона говорить поученія вдругъ, по вдохновенію. На другой же день, братъ мой предлагаетъ маменькѣ нашей выслушать проповѣдь его. — «Неужели ты написалъ проповѣдь?» — спросила она. — «Нѣтъ, не написалъ: я скажу ее наизусть». И дѣйствительно, онъ развернулъ Библію, и на какой-то текстъ ея говорилъ съ полчаса довольно

складно. Слушавшіе заговорили, что онъ напередъ сочинилъ и вытвердилъ то, что говорилъ. Онъ предложилъ выбрать ему текстъ тутъ же и вызвался развить его немедленно. Сдѣлали и этотъ опытъ. Онъ подумалъ нѣсколько минутъ и говорилъ еще складнѣе.

Не удовлетворяясь такими литературными упражненіями, онъ издавалъ журналы и газеты, то есть представлялъ намъ въ назначенные сроки тетрадки и листы, наполненные статьями, въ родѣ газетныхъ и журнальныхъ. Помню, что одинъ такого рода журналъ его назывался «Другъ Музъ». Шутя можно было бы сказать, что это предвѣщало въ немъ будущаго громкаго журналиста; но въ самомъ дѣлѣ это показывало только избытокъ умственныхъ и писательскихъ силъ. Съ дѣтства онъ уже былъ писатель и жилъ душою и умомъ въ литературномъ мірѣ.

Какъ могъ онъ послѣ этого, въ своей автобіографіи, придать первымъ годамъ своей жизни такой оттѣнокъ, что будто ему мѣшали развиваться, и онъ писалъ наперекоръ окружавшимъ его обстоятельствамъ? Напротивъ, нельзя придумать другаго воспитанія, которое столько способствовало бы развитію литературнаго дарованія, и именно въ воспитаніи была причина ранняго развитія писательскихъ способностей брата. Вотъ нравственная картина нашего семейства: отецъ—вѣчно съ книгою, или съ разговорами о томъ, что находитъ въ книгахъ, вѣчно возбуждаетъ жажду къ литературѣ, потому что такова была собственная его природа: онъ дѣлалъ это безотчетно, безъ всякихъ цѣлей, потому что не умѣлъ или не могъ противиться естественному своему направленію; мать — набожная и вмѣстѣ увлекающаяся романами душа, сама безотчетная героиня романа своей жизни; она жила только въ своемъ семействѣ и въ романическомъ мірѣ, такъ что даже многихъ знакомыхъ называла именами героевъ и героинь Ричардсона, Жанлисъ, Дюкре-Дюмениля; старшая сестра—нынѣ Е. А. Авдѣева—больше всѣхъ похожая на нашего отца и пылкимъ умомъ, и

любовью къ чтенію, также всегда съ книгами, съ мечтами и разговорами о книгахъ; наконецъ, ближайшіе знакомые — тоже страстные любители литературы, и, можетъ быть, потому именно близкіе знакомые, что наклонности ихъ были одинаковы съ наклонностями всего нашего семейства. Прибавьте къ этому совершенное разъединеніе съ тѣмъ міромъ, въ какомъ обыкновенно живутъ люди, то есть съ міромъ дѣловымъ, общественнымъ, занятымъ ежедневными событіями. Намъ все представлялось въ какомъ-то идеальномъ свѣтѣ, и всѣ мы съ дѣтства знали міръ только умственный и тотъ, который видѣли вокругъ себя. Могла ли не разгорѣться въ такихъ обстоятельствахъ искра сильныхъ дарованій, какими впослѣдствіи отличился Н. А. Полевой? Онъ самъ говоритъ, что не помнитъ себя неграмотнымъ, что до десяти лѣтъ онъ прочиталъ уже все что могъ, но прибавляетъ: «Добрый товарищъ моего дѣтства, А. А. Титовъ, выучилъ меня писать, и мнѣ было лѣтъ десять, когда я велъ уже домашнюю контору у моего отца». Это было не такъ и не могло быть такъ: А. А. Титовъ не могъ быть товарищемъ его дѣтства, потому что былъ уже молодой человѣкъ, занимавшійся письмоводствомъ у нашего отца, когда братъ мой былъ еще ребенокъ, и г. Титовъ, истинный краснописецъ, то есть имѣвшій превосходный почеркъ, училъ брата чистописанію, и то, разумѣется, уже гораздо позднѣе; но въ другихъ отношеніяхъ онъ могъ самъ быть ученикомъ его. Г. Титовъ еще здравствуетъ, и я ссылаюсь на живаго свидѣтеля нашего дѣтства [1]). Не знаю также, какъ могъ десятилѣтній ребенокъ вести контору, какую бы то ни было? Помню, что отецъ заставлялъ иногда брата Николая Алексѣевича переписывать или составлять разные разсчеты по своимъ фабрикамъ; но это уже не въ десятилѣтній его возрастъ, и никогда не за-

[1]) Онъ уже съ давнихъ лѣтъ находится правителемъ конторы Россійско-Американской компаніи въ Иркутскѣ.

нимался онъ этимъ постоянно. Извѣстно правило стариковъ упражнять молодыхъ людей практическими занятіями; нашъ отецъ, конечно, зналъ его, но жаль, что слишкомъ мало слѣдовалъ ему и оставлялъ насъ въ какомъ-то идеальномъ, или, лучше сказать, мечтательномъ мірѣ. Это имѣло вліяніе на всѣхъ дѣтей его: всѣ мы, до смерти отца, не были людьми практическими, и хотя занимались его дѣлами, но безъ всякой постоянной цѣли, какъ бы необходимымъ зломъ, оставаясь попрежнему жителями своего мечтательнаго міра. И дорого послѣ расплатились мы всѣ за неумѣнье жить на свѣтѣ, за незнаніе практической жизни, словомъ, за этотъ идеальный міръ, въ который вдвинули брата Н. А. любимыя его занятія! Я увѣренъ, что отецъ нашъ чувствовалъ несообразность нашего воспитанія съ дѣйствительностью, и въ порывѣ гнѣва разъ даже бросилъ въ огонь какія-то бумаги брата, вообще преслѣдуя его въ юношескіе годы за то, что онъ не думалъ о существенности, и часто забывалъ его приказанія, увлекаясь своими мечтами. Въ такихъ случаяхъ обыкновенная фраза его была: «Ты, братецъ, опять залетѣлъ за облака и про все земное забылъ!» Но это относилось не къ книгамъ и не къ ученью, а именно къ мечтательному міру, въ которомъ жилъ самъ отецъ нашъ, конечно, не давая себѣ въ томъ отчета, и невольно увлекая туда же все свое семейство. Испытывая самъ безпрерывныя несчастія оттого, что почиталъ дѣловыя занятія только данью міру, а не главнымъ назначеніемъ человѣка; проведши половину всей своей жизни въ мечтахъ, въ неисполнившихся ожиданіяхъ, въ проектахъ, рѣдко удававшихся вообще, онъ, безъ сомнѣнія, хотѣлъ предохранить своихъ дѣтей отъ тяжкихъ испытаній жизни и желалъ иногда, чтобы они были просто дѣловыми людьми, фабрикантами, купцами; но природа и, кажется, даже глубокое убѣжденіе тотчасъ опять увлекали его въ міръ, меньше существенный. Никогда безъ содроганія не могъ онъ думать о многомъ, что почитается необходимымъ для купца; ни-

18740

Ден. Гос ... 1923 Гос...

когда не хотѣлъ сдѣлать насъ мелочными торгашами и, не имѣя въ послѣдніе годы своей жизни способовъ къ дѣламъ огромныхъ размѣровъ, не думалъ отдавать въ конторы другихъ купцовъ. Онъ все откладывалъ, ждалъ лучшаго времени, и жизнь наша шла попрежнему.

А, собственно, это была счастливая, даже поэтическая жизнь, если только можетъ быть поэзія въ жизни. Во все время, покуда мы оставались въ Иркутскѣ, на милой нашей заимкѣ, мы не имѣли и понятія о житейскихъ непріятностяхъ и нуждахъ. При фабрикахъ отца всегда было множество людей и всякихъ удобствъ жизни; каждое лѣто проводили мы почти съ утра до вечера посреди своихъ рощей и луговъ, и на ряду съ тщательнымъ, даже строгимъ надзоромъ отца, находили истинную радость въ любви и ласкахъ нашей матери, одаренной нѣжною, чистою душою и тѣмъ дивнымъ чувствомъ приличія, порядочности (le comme il faut), которымъ особенно обладаютъ избранныя женщины. Впослѣдствіи зналъ я женщинъ самой высокой образованности и, сравнивая съ ними мать свою, изумляюсь, какъ она постигала простымъ чувствомъ то, чего другія достигаютъ только образованною свѣтскою жизнью! Объясненіе этому нахожу я не только въ прекрасной природѣ ея, но и въ обстоятельствахъ жизни. Она осталась круглою сиротою послѣ родителей, принадлежавшихъ къ лучшимъ фамиліямъ въ Иркутскѣ, и воспитывалась подъ надзоромъ тетки — монахини, казначеи Знаменскаго дѣвичьяго монастыря. Еще не вышла она изъ дѣтскихъ лѣтъ, какъ отецъ нашъ увидѣлъ ее въ гостяхъ у другой тетки и до того плѣнился ея прелестною наружностью и дѣтскимъ умомъ, что, наперекоръ всѣмъ препятствіямъ, рѣшился жениться на ней. Главнымъ препятствіемъ былъ слишкомъ юный возрастъ избранной имъ невѣсты: она была едва ли четырнадцати лѣтъ, когда онъ предложилъ ей руку, и къ тому еще тетка-монахиня не соглашалась на этотъ бракъ съ человѣкомъ молодымъ, заѣзжимъ въ Иркутскѣ, жившимъ

всегда въ кругу вольнодумцевъ, какъ выражалась она,—сама глубоко набожная,—воспитывавшая свою племянницу въ стѣнахъ монастыря. Но влюбленный отецъ нашъ возстановилъ другихъ родныхъ противъ тетки, и наконецъ она отдала ему свое сокровище, покорившись мнѣнію всѣхъ другихъ, увлеченныхъ любезностью и блестящимъ тогда положеніемъ молодаго человѣка. Такимъ образомъ женившись на сиротѣ, воспитанной только для набожности и молитвъ, онъ хотѣлъ перевоспитать ее по-своему и успѣлъ придать ей всю наружность образованности; но она осталась навсегда искренне-набожною женщиною. Это одушевленіе набожностью, выражавшееся во всѣхъ поступкахъ и въ тихой рѣчи ея какою-то спокойною нѣжностью, дѣлало ее несравненною матерью семейства. Христіанское одушевленіе также способствовало прекрасному развитію ея изящной природы, о которомъ упомянулъ я выше. Оно было доказательствомъ, что только искренняя христіанка можетъ быть истинною женщиною, достойною высокихъ обязанностей матери семейства. Строгость отца, иногда слишкомъ бурная, смягчалась для насъ кротостью и нѣжностью матери. Мы были беззаботно счастливы.

Отецъ нашъ самъ занимался всѣми своими дѣлами... Здѣсь опять нахожу я несообразность въ словахъ брата Николая Алексѣевича, который говоритъ о себѣ: «Между тѣмъ я былъ дѣловымъ человѣкомъ, управлялъ заводами отцовскими, велъ контору, разсчеты, ходилъ и ѣздилъ въ городъ по дѣламъ, и слылъ въ городѣ диковиннымъ мальчикомъ, съ которымъ, какъ съ ученымъ человѣкомъ, разсуждалъ самъ губернаторъ и спорилъ директоръ гимназіи» [1]). Я уже сказалъ, чѣмъ ограничивалась его дѣловитость, да и то лишь въ послѣдніе годы жизни въ Иркутскѣ. Даже по лѣтамъ своимъ онъ не могъ управлять заводами или фабриками, а занимался въ нихъ или при

[1]) См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 32.

нихъ кой-чѣмъ, иногда и разсчетами, но все это мимоходомъ, непостоянно, имѣя главнымъ занятіемъ литературу, хотя, можетъ быть, самъ не зналъ, что, читая, обогащая свой умъ книжными свѣдѣніями, изощряя писательскую способность безпрестаннымъ упражненіемъ въ сочиненіяхъ, онъ занимался литературой (какъ mr. Jourdain не зналъ, что вѣкъ свой говорилъ прозою). Отецъ не только не мѣшалъ своему Николинькѣ, но всегда любовался его дарованіями, радъ былъ всякому случаю учить его, и упрекалъ его вообще въ летаньѣ за облаками, а не въ томъ, что онъ много занимался своими сочиненіями. Иногда, выведенный изъ терпѣнія вѣтренностью его, онъ возставалъ и противъ сочинительства; но это были вспышки, естественныя въ пылкомъ характерѣ и нимало не мѣшавшія главному направленію жизни.

Братъ справедливо говоритъ о себѣ, что онъ слылъ диковиннымъ мальчикомъ: онъ могъ слыть диковиннымъ, потому что дѣйствительно былъ имъ. Могли ли не удивляться самые образованные въ городѣ люди, когда слышали складныя, умныя для мальчика сужденія о разнообразныхъ ученыхъ и отвлеченныхъ предметахъ? Надобно прибавить, что Иркутскъ былъ тогда не богатъ учеными людьми, такъ что братъ Н. А. могъ первенствовать даже между тѣми, которые когда-то и чему-то учились. Этому способствовалъ и необыкновенный его даръ слова, изощренный въ разговорахъ и обществѣ отца, бывшаго въ нѣкоторыя минуты истиннымъ ораторомъ. Ясно было для всякаго, сколько нибудь опытнаго человѣка, что брату моему, необыкновенному мальчику, недоставало только школьнаго, систематическаго ученія и блеска свѣтской образованности, но что онъ былъ исполненъ ума и дарованій, развитыхъ чрезвычайно счастливо.

Здѣсь можно было бы войдти въ длинное сужденіе о томъ, какое воспитаніе болѣе способствуетъ развитію дарованій: то ли, какое получаютъ въ школахъ, при системати-

ческомъ ученіи, или домашнее, подъ надзоромъ умнаго наставника, хотя и безъ системы, даже съ опущеніями во многихъ частяхъ? Кажется, въ примѣненіи къ людямъ даровитымъ, рожденнымъ съ пылкими способностями, можно больше ожидать отъ воспитанія втораго рода. Для людей обыкновенныхъ необходимы точность, работа, постоянство въ ученіи: имъ надобно передать все, до малѣйшей подробности, въ строгой системѣ, потому что сами они не могутъ дополнить того, чего не передадутъ имъ учители, и даже изъ переданнаго многое останется непонятымъ, забытымъ, отрывчатымъ. Система, отчетливость въ ученіи необходимы въ школахъ, гдѣ, по закону природы, самая большая часть учащихся — люди съ обыкновенными способностями. Но какъ часто не ладится все это въ примѣненіи къ людямъ высшаго полета, къ дарованіямъ исключительнымъ!

Выражая мнѣніе, которое кажется мнѣ справедливымъ, я примѣняю его только къ брату моему. Едва ли развилась бы въ немъ всегда отличавшая его неутолимая жажда къ ученію и литературному труду, когда бы съ малолѣтства заставили его изучать древніе и новые языки, математику и статистику, юриспруденцію и естественную исторію, и еще двадцать предметовъ, по системѣ больше или меньше правильной (потому что совершенной нѣтъ ни одной). Онъ не сталъ бы учиться какъ другіе и, можетъ быть даже, наскучивъ неизбѣжными формами ученія, обратилъ бы свою дѣятельность на что нибудь другое. Его душа, воображеніе, чувства не меньше ума требовали пищи. Дѣятельность всеобъемлющая была его жизнью, и маленькія препятствія, даже отсутствіе многихъ средствъ къ ученію, только подстрекали его къ новымъ трудамъ, тогда какъ скованный цѣпями схоластики онъ могъ получить отвращеніе къ наукѣ и литературѣ. Такова была его природа: ему легко наскучивало все, гдѣ былъ необходимъ постоянный, тщательный трудъ.

II.

Отъѣздъ Николая Алексѣевича въ Москву.—Рекомендательное письмо къ Карамзину.—Жизнь въ Москвѣ и увлеченіе наукой, театромъ и чтеніемъ.—Пріѣздъ семьи и жестокій пагоняй.—Нашествіе Наполеоновыхъ полчищъ.—Возвращеніе въ Курскъ и служба въ конторѣ Баушева.—Неудачныя предпріятія А. Е. Полеваго.—Изученіе иностранныхъ языковъ.—Бѣдственное положеніе семьи.—Полученіе мѣста въ Сибири и отъѣздъ туда Н. А. и К. А. Полевыхъ.—Неоправдавшіяся надежды отца.—Окончательный переѣздъ изъ Сибири на родину.

Нельзя сказать, однако-жъ, чтобы Николаю Алексѣевичу не представлялось случаевъ учиться правильно. Правда, въ Иркутскѣ не было тогда учителей, которые могли бы принести ему много пользы; но разсказъ мой покажетъ далѣе, что онъ, по-своему, пользовался и тѣми случаями, какіе представлялись въ этомъ отношеніи. Главное затрудненіе было найдти въ Иркутскѣ учителей для иностранныхъ языковъ: ихъ не было тамъ, по крайней мѣрѣ, во время дѣтства брата Николая Алексѣевича. Онъ упоминаетъ о пасторѣ Беккерѣ; припоминая себѣ его теперь, я вижу, что это былъ человѣкъ очень ученый, то есть знавшій основательно многое, но онъ былъ лишенъ дара передавать свои разнообразныя свѣдѣнія, пресмѣшно говорилъ порусски, и былъ, что называется, оригиналъ. Отъ этого попытки его учить у насъ въ домѣ были неудачны. Напримѣръ, еще до замужества старшей сестры нашей, онъ училъ ее музыкѣ; но вскорѣ должны были предпочесть ему другаго учителя, который потомъ училъ и Николая Алексѣевича, и меня. Впослѣдствіи, пасторъ Беккеръ начиналъ давать намъ уроки въ языкахъ и въ математикѣ, но все это шло неудачно. Братъ имѣлъ еще нѣсколько времени отличнаго учителя въ одномъ изъ пріятелей нашего отца: это былъ несчастный (какъ называютъ въ Сибири ссыльныхъ), князь Василій Николаевичъ Горчаковъ. Но едва началъ онъ давать ему уроки въ языкахъ и рисованіи, какъ былъ

отправленъ на житье въ отдаленную область. Все это показываетъ, однако-жъ, что отецъ нашъ не чуждался случаевъ учить своихъ дѣтей, и если бы могъ, то окружилъ бы насъ учителями; но откуда было взять ихъ?

Здѣсь опять я принужденъ попротиворѣчить разсказу брата. Онъ говоритъ: «Въ 1811 году, отецъ мой, успѣвши поправить нѣсколько свое состояніе, рѣшился оставить Сибирь. Воображеніе сулило ему золотыя горы въ Россіи. Онъ исчислялъ десятки предпріятій, и отъ каждаго сотни тысячъ, а я долженъ былъ отправиться предварительно съ его препорученіями въ Москву. Мнѣ было лѣтъ 15-ть» [1]). Отецъ нашъ рѣшился оставить Сибирь не для золотыхъ горъ. Онъ даже не имѣлъ въ виду никакого предпріятія, никакого опредѣленнаго занятія для своей дѣятельности; но, собравши небольшой капиталъ и имѣя случай продать свои фабрики и заимку въ Иркутскѣ, онъ рѣшился переселиться въ Москву, съ основательною надеждою умнаго человѣка, что и тамъ найдетъ онъ себѣ выгодное занятіе, особливо съ деньгами, хоть небольшими. Кажется, онъ хотѣлъ именно устроить въ Москвѣ водочный заводъ, потому что во всей Россіи едва ли было два-три порядочные завода для этого предмета; но главною цѣлью его переселенія въ Москву было — воспитаніе дѣтей, для котораго, какъ я показалъ, было слишкомъ мало пособій въ Иркутскѣ. Почему братъ мой перетолковалъ по-своему переселеніе всего нашего семейства въ Москву, и вмѣсто благоразумнаго, благороднаго намѣренія приписалъ отцу небывалыя мечты,—не понимаю. При этомъ онъ вовсе невѣрно говоритъ, что отецъ нашъ предварительно отправилъ его въ Москву съ порученіями. Какія порученія могъ исправить пятнадцати-лѣтній мальчикъ? Необходимо объяснить здѣсь это. Отецъ вручилъ ему разныя письма и назначилъ къ полученію въ Москвѣ значительную сумму денегъ, но

[1]) См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 32.

съ какою цѣлью?.. Одно письмо было къ княгинѣ Багратіонъ, урожденной Голиковой, которой отецъ мой оставался долженъ какую-то сумму еще по разсчетамъ съ отцомъ ея (Иваномъ Иларіоновичемъ Голиковымъ), и какъ изъ этого выходили затрудненія даже для выѣзда нашего изъ Иркутска, то отецъ мой, — вѣчно-вѣрившій добрымъ человѣческимъ чувствамъ!—надѣялся, что умный, пріятный юноша, сынъ его и вмѣстѣ родственникъ княгини (она была двоюродная сестра нашего отца), лучше всякихъ форменныхъ объясненій и переписки, неудобной изъ-за пяти тысячъ верстъ, побудитъ къ миролюбивому и скорѣйшему окончанію спорнаго дѣла, тянувшагося много лѣтъ. Не на дѣловитость сына своего надѣялся онъ, а на невинную, простодушную просьбу его кончить миромъ запутанный разсчетъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ онъ княгиню принять въ свое покровительство сына его. Кажется, это вообще не имѣло успѣха. Другое письмо было къ П. Ѳ. Бѣлявскому, которому поручалъ онъ въ завѣдываніе сына своего и къ которому переводилъ деньги, какъ для платежа княгинѣ Багратіонъ, такъ и для выдачи на расходы сыну. Вотъ лучшее доказательство, что никакихъ дѣлъ не поручалъ онъ Николаю Алексѣевичу, который долженъ былъ жить у Бѣлявскаго въ домѣ и находиться вообще подъ надзоромъ этого стараго холостяка, извѣстнаго честностью и строгою нравственностью. Наконецъ, третье письмо... вотъ ужъ никакъ не угадаютъ читатели, къ кому было оно, хотя я скажу предварительно, что оно было къ знаменитому современнику и могло имѣть рѣшительное вліяніе на все поприще жизни брата? Непростительно ему, милому брату моему, что онъ даже не упомянулъ объ этомъ письмѣ, можетъ быть, именно потому, что упоминаніе о немъ уничтожило бы весь искусственный характеръ его автобіографіи и показало бы очевидно, что отецъ нашъ не мѣшалъ его призванію, а заботился способствовать ему. Умный, поэтическій нашъ старикъ написалъ прекрасное письмо—къ Николаю

Михайловичу Карамзину, гдѣ прежде всего объяснялъ ему, что знаетъ возвышенную душу его изъ его сочиненій, увѣренъ въ сочувствіи его ко всему, ознаменованному дарованіемъ, и потому представляетъ ему своего сына, показывающаго необыкновенныя способности и страсть къ словесности. Не могу помнить подлинныхъ выраженій письма, но помню, что отецъ просилъ Карамзина разсмотрѣть молодаго человѣка и рѣшить, что должно сдѣлать для образованія и успѣховъ его, обѣщая въ точности послѣдовать его рѣшенію. Письмо это живо въ моей памяти, потому что его не разъ перечитывали въ семейномъ кругу, обсуживали каждое слово, и наконецъ А. А. Титовъ (тогда уже просто ближайшій знакомый нашего семейства) переписалъ его превосходнымъ своимъ почеркомъ. Оно занимало большой листъ голландской бумаги,—даже и это осталось въ моей памяти! Вѣроятно, что отецъ разговорился въ немъ отъ души, и если бы Карамзинъ прочиталъ его письмо, то на этотъ разъ почтенный, возвышенный умомъ старикъ нашъ, конечно, не ошибся бы въ своихъ ожиданіяхъ. Но вышло совсѣмъ иначе!

Съ благословеніями и со слезами провожало моего брата все семейство; только мать наша не имѣла силъ ѣхать вмѣстѣ съ другими за городъ и осталась дома—вотъ еще черта нѣжнаго, женскаго ея сердца. Мы разстались съ братомъ въ Вознесенскомъ монастырѣ, гдѣ молились за будущее его при мощахъ Чудотворца Иннокентія... Это было въ концѣ мая 1811 года. Отецъ нашъ надѣялся окончить всѣ дѣла свои въ Иркутскѣ къ зимѣ, и тогда выѣхать вслѣдъ за сыномъ, который между тѣмъ въ Москвѣ могъ воспользоваться нѣсколькими мѣсяцами времени, особенно драгоцѣннаго въ тогдашнемъ его положеніи.

Братъ отправился въ сообществѣ нѣсколькихъ пріятелей отца нашего, ѣхавшихъ на Макарьевскую ярмарку; оттуда онъ благополучно пріѣхалъ въ Москву и поселился у П. Ѳ. Бѣлявскаго. Вскорѣ, читая письма его, отецъ нашъ

началъ покачивать головой, былъ недоволенъ бездѣйствіемъ его въ Москвѣ и его развлеченіями, о которыхъ распространялся онъ, даже иногда не упоминая о главныхъ цѣляхъ, для которыхъ былъ отправленъ. Потомъ братъ Н. А. подвергся жестокой горячкѣ, отъ которой чуть не умеръ и долго не могъ оправиться. Разумѣется, что при такомъ извѣстіи отецъ нашъ забылъ свой гнѣвъ, сокрушался и писалъ къ нему только утѣшительныя письма. Такъ прошла вся зима 1811—1812 года, въ которую располагалъ отецъ нашъ отправиться со всѣмъ семействомъ въ Москву, и около января писалъ къ моему брату, чтобы онъ въ февралѣ ожидалъ насъ и отправлялъ свои письма уже въ тѣ города, черезъ которые надобно было намъ проѣзжать. Отецъ означилъ именно, въ какихъ городахъ располагаетъ онъ оставаться по нѣсколько дней для отдыха, необходимаго въ такомъ продолжительномъ путешествіи, съ семействомъ, состоявшимъ, между прочимъ, изъ маленькихъ дѣтей. Вмѣсто января, мы выѣхали изъ Иркутска въ концѣ февраля 1812 года, и отецъ нашъ, уже больше мѣсяца не получая писемъ отъ Николая Алексѣевича, тосковалъ и жалѣлъ, что слишкомъ рано велѣлъ ему прекратить отправку писемъ въ Иркутскъ. Онъ надѣялся, что письма уже давно ожидаютъ его на пути. Въ Красноярскѣ, тотчасъ по пріѣздѣ, отправился онъ за желаннымъ письмомъ — и возвратился въ унынiи: письма не было. То же самое повторилось въ Томскѣ и въ Тарѣ, гдѣ мы оставались по нѣсколько дней. Отецъ и мать были въ тоскѣ невыразимой. Наконецъ, пріѣхали мы въ Тобольскъ, гдѣ необходимо было весновать, то есть прожить до лѣта или до просухи, а между тѣмъ изготовить лѣтніе экипажи, потому что мы добрались до Тобольска въ самую ростопель, въ концѣ марта. Но писемъ отъ брата Н. А. и тутъ не было. Отецъ писалъ къ нему тотчасъ по пріѣздѣ въ Тобольскъ, что останется въ этомъ городѣ мѣсяца два, и будетъ съ нетерпѣніемъ ждать извѣстій отъ него изъ Москвы. Въ то же время писалъ онъ къ Бѣляв-

скому, спрашивая: живъ ли сынъ его? Но мы выѣхали изъ Тобольска 26-го мая, не получивъ никакого извѣстія о братѣ Николаѣ Алексѣевичѣ: ни отъ него, ни отъ Бѣлявскаго писемъ не было. Можно представить себѣ сокрушеніе отца и матери: они писали къ нему, не зная, упрекать ли его за непростительное молчаніе, или только молиться за его душу. Опять назначены были ему города по пути, гдѣ будутъ надѣяться получать его письма. Помню, что на одной станціи близь Казани, поздно вечеромъ, отецъ мой встрѣтилъ какого-то знакомаго, ѣхавшаго изъ Москвы, и со страхомъ спросилъ его о своемъ Николинькѣ.—«Слава Богу, живъ и здоровъ!»—отвѣчалъ знакомый, и разсказалъ разныя подробности, удостовѣрившія отца, что точно сынъ его живъ и благополученъ. Старикъ нашъ пришелъ въ недоумѣніе и не постигалъ послѣ этого, почему же онъ не пишетъ къ нему? Какъ обыкновенно бываетъ съ людьми въ такихъ случаяхъ, онъ самъ же нашелъ разныя извинительныя причины, и только радовался, что милый сынъ его живъ. Но еще въ Казани и въ Владимірѣ онъ искалъ писемъ отъ него... Ихъ не было. Наконецъ, мы пріѣхали въ Москву. Не знаю, почему отецъ не поѣхалъ самъ къ Бѣлявскому, а послалъ втораго сына своего (теперь уже умершаго): съ нимъ тотчасъ явился Николай Алексѣевичъ. Послѣ первыхъ, радостныхъ минутъ свиданія, отецъ спросилъ: почему не писалъ онъ къ нему такъ долго?—«Ждалъ васъ, папенька!»—отвѣчалъ онъ съ совершеннымъ простодушіемъ.—«Но я увѣдомлялъ тебя, что не могъ выѣхать въ назначенный срокъ, и назначилъ города, куда писать ко мнѣ?» Оправданій удовлетворительныхъ не могло быть, и оказалось, что юношеское легкомысліе было причиной его молчанія. Вотъ что̀ вызвало на него страшную бурю отъ нашего родителя, но и она ограничилась строгимъ, продолжительнымъ выговоромъ: не было никакого сожженія кипы исписанной бумаги, какъ упоминаетъ Н. А. въ

своей автобіографіи [1]). Долго не хотѣлъ даже простить его огорченный отецъ; но когда онъ увѣрился, что сынъ его такъ же чистъ душою, какъ былъ прежде, и что хотя онъ точно провелъ все время въ пустыхъ развлеченіяхъ, однако остался прежнимъ милымъ, невиннымъ юношею, — онъ сталъ опять обращаться съ нимъ какъ всегда: строго, но съ нѣжностью любящей души, съ разсудительностью опытнаго ума. Впрочемъ, было и еще за что побранить Николая Алексѣевича: онъ слишкомъ много истратилъ денегъ, не занимался ничѣмъ основательно и поддавался только дѣтскимъ увлеченіямъ. Письмà къ Карамзину онъ не доставилъ, услышавъ отъ кого-то, что онъ не принимаетъ къ себѣ никого, и побоявшись быть худо принятымъ; въ университетъ ходилъ онъ на лекціи нѣкоторыхъ профессоровъ, но безъ всякой опредѣленной цѣли. Главнымъ развлеченіемъ его были театръ и книги, но и то безъ отчетливости — такъ, для удовольствія мимоходнаго, ежедневнаго, а не съ мыслію ясною, не съ чувствомъ сильной души. Отецъ нашъ понималъ все это очень хорошо, хотя выражался иначе, и если бы точно, въ порывѣ гнѣва, сжегъ онъ бумаги Н. А. и запретилъ ему читать книги, то въ первыя минуты онъ и долженъ былъ такъ поступить. Почти годъ прожилъ братъ мой въ Москвѣ, и что̀ сдѣлалъ въ этотъ годъ? Глядя съ точки благоразумія, можно сказать: ничего! вѣтреничалъ!.. Не въ дѣлахъ требовалъ у него отчета отецъ нашъ, а въ немъ самомъ, и въ этомъ отношеніи гнѣвъ его былъ совершенно справедливъ. Братъ исказилъ это обстоятельство своей жизни, говоря, что первые вопросы отца къ нему были: «Много ли у тебя осталось денегъ» и «что ты дѣлалъ въ Москвѣ», а онъ указалъ при этомъ на груду книгъ и на кипу бумаги, имъ исписанной. Послѣ моего объясненія, понятно, къ чему могли относиться подобные вопросы. Дѣлъ отцовскихъ у него не было, и все сосредото-

[1]) См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 33.

чивалось въ немъ самомъ; въ этомъ-то отношеніи былъ чрезвычайно недоволенъ имъ нашъ отецъ, для котораго деньги были ничто въ сравненіи съ нравственнымъ поступкомъ. «Ты забылъ своихъ родителей! ты не подумалъ, до какой степени могъ огорчить, опечалить ихъ своимъ молчаніемъ!» Вотъ что выражалъ онъ въ упрекахъ сыну. «Ты не показалъ нѣжности чувства, которой я ожидаю отъ моихъ дѣтей!»—повторялъ онъ. «Какъ могъ ты спокойно спать въ Москвѣ, когда зналъ, что мы подъѣзжаемъ къ ней? Я назначилъ тебѣ день пріѣзда, и ты, если бы чувствовалъ сыновнюю любовь къ намъ, выѣхалъ бы за сто верстъ къ намъ, или построилъ бы шалашикъ подлѣ заставы и карауѵилъ бы насъ, чтобы встрѣтить съ распростертыми объятіями!» Братъ чувствовалъ справедливость такихъ упрековъ и молилъ только о прощеніи. Наконецъ, уже просьбы матери нашей смягчили гнѣвъ отца. Все это и даже многія выраженія отца я помню живо, потому что сцена была тяжкая и поучительная. Чисто-нравственное, но тѣмъ больше тяжкое наказаніе того, кто почитался перломъ въ нашемъ семействѣ, производило какой-то страхъ, благодѣтельный для молодыхъ сердецъ.

Я распространился объ этомъ годѣ жизни Николая Алексѣевича, во-первыхъ, потому, что необходимо опровергнуть разсказъ его, и, во-вторыхъ, потому, что онъ является тутъ хоть еще мальчикомъ, но въ полнотѣ своего характера. Вотъ онъ былъ и на свободѣ, и съ деньгами, и съ рекомендательными письмами, словомъ, со всѣми средствами учиться правильно и основательно, а не сдѣлалъ и шагу для этого. Онъ только предался своей страсти къ чтенію, къ театру, искалъ впечатлѣній, и,—достойно особаго замѣчанія,—хотя былъ въ обществѣ ничтожныхъ молодыхъ людей, однако чуждался ихъ увеселеній. Ничто порочное не могло прикоснуться къ нему: это показываетъ силу души его и благія начала добра, внушенныя ему хорошимъ воспитаніемъ.

Онъ самъ говоритъ въ своей автобіографіи: «Я прожилъ почти годъ въ Москвѣ безъ отца моего, и театръ, куда я ходилъ раза по три въ недѣлю, книги, которыхъ прочиталъ и накупилъ я безъ счета, университетъ, куда я пробрался на лекціи и гдѣ слушалъ Мерзлякова, Страхова, Гейма, Качеповскаго, увлекали все мое время». Именно: увлекали, но безтолково, безъ всякаго опредѣленнаго направленія. Цѣлая комната была завалена у него книгами, ландкартами, глобусами и разными игрушками наукъ: онъ искалъ только впечатлѣній, хотѣлъ вдругъ узнать все, и только одно было въ немъ постоянно—страсть тотчасъ писать обо всемъ, что узналъ онъ или что сильно поражало его душу. Въ числѣ книгъ, купленныхъ имъ, было множество относившихся къ исторіи, и особенно русской, напримѣръ, историческія сочиненія Татищева, Щербатова, Болтина, лѣтопись Нестора въ разныхъ изданіяхъ; но онъ увлекся ложною славою, какою пользовался тогда у многихъ «Опытъ повѣствованія о Россіи», Елагина, и сталъ продолжать его. Изъ событій древней исторіи Россіи написалъ онъ отдѣльно трагедію «Василько Ростиславовичъ», повѣсть «Янъ Ушмовецъ»; началъ писать романъ; кромѣ того, множество стихотвореній было написано имъ во всѣхъ родахъ. Въ занятіяхъ прекрасныхъ, удивительныхъ для его возраста, но безплодныхъ для будущности, пролетѣло это время, въ которое могъ бы совершиться важный и благодѣтельный переворотъ въ его образованіи, еслибъ онъ отдалъ письмо отца Карамзину, и если бы,—въ чемъ почти нельзя сомнѣваться,—тотъ принялъ участіе въ молодомъ человѣкѣ, котораго, конечно, полюбилъ бы, потому что Н. А. имѣлъ много очаровательныхъ качествъ, какъ юноша. Его нѣжное, бѣлое какъ снѣгъ лицо, оживленное остроумной улыбкой, его рѣчь тихая, вкрадчивая, умная, его благородный образъ мыслей—привлекали къ нему съ перваго свиданія. То же самое, что началъ онъ лѣтъ черезъ десять потомъ, могло бы начаться подъ руководствомъ и одушевленіемъ

Карамзина—и какихъ успѣховъ нельзя было ожидать отъ сближенія его съ этимъ необыкновеннымъ человѣкомъ! Но, видно, такъ было указано свыше, и съ этого времени начинается тяжелый періодъ жизни Николая Алексѣевича и всего нашего семейства.

Мы пріѣхали въ Москву въ началѣ іюля 1812 года, когда Наполеонъ перешагнулъ границу Россіи, и полчища его уже разливались, какъ лава, въ западныхъ губерніяхъ. Но замѣчательно, что въ Москвѣ никто и не помышлялъ, чтобы когда нибудь непріятель приблизился къ нашей древней столицѣ. Раздѣляя общую увѣренность, отецъ нашъ дѣятельно занялся устройствомъ своей жизни: нанялъ прекрасную квартиру, съ садомъ, на берегу Москвы (почти напротивъ Ново-Спасскаго монастыря), омеблировалъ ее, завелъ все хозяйство и началъ свои опыты въ выдѣлкѣ водокъ, которыя хотѣлъ представить откупщикамъ. Но едва только было устроено все это, какъ грозныя извѣстія съ театра войны начала тревожить насъ; почти каждый день приходили извѣстія прискорбныя: непріятель въ Полоцкѣ, въ Витебскѣ, въ Смоленскѣ!.. Тогда-то потянулись изъ Москвы вереницы всякихъ экипажей, по всѣмъ дорогамъ, кромѣ смоленской, по которой только пріѣзжали въ Москву. Но мы еще и не думали бѣжать. Въ одно утро,—помню, что это былъ воскресный день,—встаю: весь домъ въ движеніи; укладываютъ, увязываютъ; маменька плачетъ; отца нѣтъ дома. Ночью была принесена знаменитая афишка графа Ростопчина (отъ 18-го августа), гдѣ онъ почти уговаривалъ жителей выѣзжать изъ Москвы. Оттого-то наканунѣ въ нашемъ домѣ не было и признака близкаго отъѣзда; но когда прочитана была афишка, то отецъ нашъ, по убѣдительному совѣту ближайшихъ знакомыхъ, которые уже рѣшились бѣжать, тотчасъ отправился самъ отыскивать лошадей, въ которыхъ вдругъ сдѣлался страшный недостатокъ; за счастіе почитали, если какой нибудь ямщикъ брался ѣхать съ платою по 50 рублей ассигна-

ціями въ сутки за каждую лошадь. Дня черезъ два потомъ, мы уже ѣхали изъ Москвы, по той же Владимірской дорогѣ, по которой недавно приближались къ ней. При выѣздѣ нашемъ изъ города былъ случай, который разскажу я, потому что онъ показываетъ прекрасное сердце нашего отца. Мы подъѣхали къ Рогожской заставѣ, когда въ нее вступалъ, съ барабаннымъ боемъ, отрядъ московскаго ополченія. Необыкновенный видъ бодрыхъ мужичковъ, въ ратнической формѣ, кажется, даже съ ружьями, и подлѣ нихъ толпы ихъ женъ и матерей съ узелками, такъ поразили нашего отца, что онъ залился слезами и упрекалъ себя за бѣгство отъ непріятеля, когда другіе шли на смерть!

Мы прожили нѣсколько времени въ деревнѣ дальняго родственника нашего, Ивана Никитича Голикова, съ которымъ вмѣстѣ и выѣхали изъ Москвы. Деревня Голикова, Софряки, была недалеко отъ Вязниковъ, близь станціи Слободище. Потомъ пробыли мы нѣсколько времени въ Вязникахъ; но когда распространился слухъ, что непріятель быстро двинулся къ Владиміру, всѣ московскіе бѣглецы, бывшіе въ этомъ городѣ, пустились въ разныя стороны и всполошили остановившихся въ Вязникахъ. Разительныя сцены этого жалкаго бѣгства остались въ моей памяти!.. Отецъ нашъ рѣшился удалиться въ Арзамасъ, какъ городъ, находившійся въ сторонѣ отъ театра войны. Въ Арзамасѣ дождались мы извѣстія о выступленіи французовъ изъ Москвы. Между тѣмъ, всѣ эти переѣзды, обзаведеніе въ Москвѣ и потеря всего заведеннаго истощили небольшой капиталъ, съ которымъ отецъ нашъ выѣхалъ изъ Сибири. У него оставался еще разсчетъ съ Россійско-Американскою компаніею, по которому слѣдовало ему получить нѣсколько тысячъ рублей: онъ рѣшился ѣхать въ Петербургъ и, оставивъ семейство въ Арзамасѣ, отправился съ Николаемъ Алексѣевичемъ сначала въ Москву, а оттуда въ сѣверную столицу. Москва представляла ужасное зрѣлище!.. На мѣстѣ нашей квартиры не было и слѣда

жилья: все превратилось въ обширное поле, покрытое снѣгомъ [1]).

Въ Петербургѣ отецъ нашъ, съ Николаемъ Алексѣевичемъ, жилъ у Б. Б. Лецано, мѣсяца три. Онъ писалъ къ нашей матери, что такъ какъ въ Москву возвращаться не зачѣмъ, то надобно покуда удалиться въ Курскъ, на родину его; а тамъ — подумать, что̀ дѣлать. Въ Арзамасѣ нельзя было оставаться уже и потому, что онъ наполнился войсками и лазаретами резервной арміи князя Лобанова-Ростовскаго. Изъ Арзамаса, ближайшею дорогою, черезъ Тамбовскую губернію, пріѣхали мы въ Курскъ въ февралѣ 1813 года. Отецъ нашъ пріѣхалъ туда же, нѣсколькими днями прежде, изъ Петербурга.

На родинѣ, гдѣ не жилъ онъ съ молодыхъ лѣтъ, ожидало его страшное разочарованіе. Онъ очутился тамъ, какъ между чужеплеменниками или какъ на необитаемомъ островѣ, особливо, когда увидѣли, что онъ вовсе не богатъ. Близкихъ родныхъ было у него очень немного; но сначала являлись толпы родственниковъ, не хотѣвшихъ вѣрить, чтобы человѣкъ, прожившій сорокъ лѣтъ въ Сибири, воротился оттуда почти ни съ чѣмъ. Когда же они удостовѣрились въ этомъ, то всѣ удалились отъ него, и ума ихъ доставало только на то, чтобы подсмѣиваться надъ нимъ. Даже намъ, еще молоденькимъ дѣтямъ, казались чужды и странны жители Курска, напоминавшіе времена до-европейскаго быта Россіи. Отецъ нашъ не могъ, да и не хотѣлъ, заводить новыхъ знакомствъ, не хотѣлъ возобновлять и старыхъ. Все казалось ему чуждо на его родинѣ, и, кажется, что житье тамъ почиталъ онъ какимъ-то переходнымъ состояніемъ. Братъ мой пишетъ въ своей автобіографіи: «Въ іюнѣ отправились мы (онъ съ отцомъ) изъ Кур-

[1]) На всей этой мѣстности съ тѣхъ поръ существуетъ лѣсной рядъ; улицъ съ жилыми домами нѣтъ.

ска на Донъ—дѣлать сахаръ и ромъ изъ арбузовъ и торговать донскою рыбою»[1]). Еще превратное изображеніе!.. Подумаете, что дѣло идетъ о какомъ-то отчаянномъ прожектерѣ-спекулянтѣ. Здѣсь я опять долженъ объяснить, что такое было это въ самомъ дѣлѣ.

Въ Москвѣ отецъ нашъ успѣлъ побывать нѣсколько разъ у стараго своего пріятеля, Егора Ивановича Бланкеннагеля, основателя едва ли не перваго въ Россіи свекло-сахарнаго завода. Бланкеннагель занимался этимъ дѣломъ ревностно, дѣлалъ разные опыты и воспламенилъ отца нашего своими разсужденіями о теоріи сахарнаго производства. Отецъ нашъ приносилъ отъ него образцы разнаго сахара и съ жаромъ говорилъ, какіе важные виды представляетъ это новое тогда производство. Между прочимъ, поразила его мысль, переданная ему Бланкеннагелемъ, что сахаръ можно получать изъ множества растительныхъ веществъ; но должно найдти такое, которое давало бы его легко и выгодно. Свекловица, при первыхъ опытахъ, урождалась въ Россіи худо, и Бланкеннагель дѣлалъ опыты извлекать сахаръ изъ пшеницы, изъ моркови и тому подобнаго. Когда мы бѣгствовали отъ Наполеона, въ Вязникахъ и въ Арзамасѣ, отецъ нашъ вздумалъ выварить патоку изъ арбузовъ: она вышла чрезвычайно сладкая, но онъ не зналъ, какъ превратить ее въ кристалы, и, отправившись въ Петербургъ, взялъ съ собою нѣсколько бутылокъ арбузной патоки. Въ Петербургѣ, проводя вечера у Леццано, онъ разговорился объ этомъ предметѣ, и Леццано свелъ его съ нѣсколькими учеными, между прочимъ, съ извѣстнымъ нынѣ академикомъ г. Гамелемъ. Начались попытки закристаллизировать арбузную патоку, и, наконецъ, господа химики объявили, что это очень возможно, и только малое количество доставленной имъ патоки мѣшаетъ успѣху. Можно представить себѣ восторгъ нашего старика! Онъ обѣщалъ доста-

[1]) См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 33.

вить на другое же лѣто нѣсколько пудовъ арбузной патоки для окончательныхъ опытовъ и уже разсчитывалъ на множество выгодъ отъ этого новаго производства. Въ Курскѣ онъ собралъ свѣдѣнія о благопріятнѣйшемъ климатѣ для арбузовъ и, узнавъ, что около Ростова-на-Дону они превосходны качествомъ и чрезвычайно дешевы, рѣшился для своихъ опытовъ съѣздить туда. Человѣку, привыкшему къ сибирскимъ разстояніямъ, ничего не значилъ переѣздъ изъ Курска на Донъ. Но приготовленія, заказъ паровиковъ и разныхъ принадлежностей для опыта въ значительномъ размѣрѣ, наконецъ, самая поѣздка—поглотили много денегъ, и когда, во время житья въ Ростовѣ-на-Дону, началась выварка арбузной патоки, братъ мой, Николай Алексѣевичъ (бывшій вмѣстѣ съ отцомъ), сдѣлался боленъ жестокою нервическою горячкою и нѣсколько времени былъ на краю гроба. Бѣдный отецъ нашъ не отходилъ отъ него и, къ несчастію, самъ подвергся той же болѣзни. Такъ прошло все благопріятное время для задуманныхъ имъ опытовъ, а люди, бывшіе съ нимъ, не могли, или не умѣли ничего сдѣлать. Позднею осенью, отецъ мой и братъ возвратились въ Курскъ,—оба изнуренные тяжкою болѣзнью. Особенно здоровье нашего родителя сильно пострадало, и почти всю зиму не могъ онъ оправиться. Однако, онъ вывезъ съ собою достаточное количество арбузной патоки и отправилъ ее въ Петербургъ. Нѣтъ надобности прибавлять, что изъ арбузовъ нельзя дѣлать сахару, чего, повидимому, не знали тѣ, кто ободрилъ его къ этому несчастному предпріятію. Другимъ опытомъ его на Дону было: солить новымъ способомъ осетровъ, которые продаются тамъ нипочемъ при хорошемъ уловѣ. Надобно знать, что засолъ превосходной донской рыбы производился тогда самымъ варварскимъ образомъ. Ее распластывали и просто осыпали грязною солью, въ грязныхъ рогожахъ, и такъ развозили повсюду, отчего она доставлялась въ отдаленные города завѣтрѣлая, теряла вкусъ и тотчасъ портилась. Отецъ нашъ вздумалъ солить ее въ

новыхъ дубовыхъ бочкахъ, заливать тотчасъ хорошимъ разсоломъ и, герметически-закупоренную, доставлять на мѣсто продажи. Въ такомъ видѣ рыба долго остается превосходною. Но это былъ только опытъ, и хотя впослѣдствіи онъ стоилъ много денегъ отцу нашему, однако, въ 1813 году, ѣздилъ онъ на Донъ не «дѣлать сахаръ и ромъ изъ арбузовъ» и не «торговать донскою рыбою», какъ пишетъ братъ. Поѣздка его была неудачна во всѣхъ отношеніяхъ, но и она показываетъ умнаго, необыкновеннаго человѣка.

Между тѣмъ положеніе его было дѣйствительно очень печально. Полубольной, безъ денегъ, съ многочисленнымъ семействомъ, въ родномъ городѣ, но между чуждыми людьми, онъ не зналъ, что дѣлать и что начать? Тяжело мнѣ даже припоминать себѣ страданія этой благородной души; но онъ не унывалъ духомъ, былъ больше нежели когда нибудь бодръ и веселъ въ разговорахъ съ нами и держалъ себя, какъ всегда, въ отношеніи къ своимъ знакомымъ. Я былъ тогда еще ребенокъ, но помню, что не разъ случалось мнѣ слышать тяжкіе вздохи и молитвы его въ ночное время, когда онъ полагалъ, что всѣ въ домѣ спятъ. Онъ не оставлялъ усилій выйдти изъ своего тяжкаго положенія и поддерживалъ переписку съ петербургскими пріятелями и знакомыми, видя, что въ Курскѣ нѣтъ для него занятія. Въ это-то время одинъ изъ немногихъ старинныхъ знакомыхъ его въ Курскѣ, Андрей Петровичъ Баушевъ, купецъ званіемъ, но по образу жизни и обращенію похожій на германскаго барона и вообще человѣкъ чрезвычайно оригинальный, предложилъ отцу моему отдать Николая Алексѣевича не въ конторщики, а для посильныхъ занятій при его дѣлахъ, которыя были довольно обширны. Отецъ нашъ охотно согласился на это. Доказательствомъ, что Н. А. былъ принятъ почти какъ другъ въ почтенное семейство Баушева, служитъ то, что его поселили въ однѣхъ комнатахъ съ сыновьями и племянникомъ Андрея Петровича и почти ни въ чемъ не отличали отъ нихъ. Вскорѣ

онъ сдѣлался любимцемъ всего семейства. Съ его необыкновенными способностями нетрудно было ему узнать весь ходъ дѣлъ въ конторѣ Баушева, и при общей любви, совершенной довѣренности, при легкихъ занятіяхъ, жизнь его въ этомъ богатомъ домѣ была бы очень пріятна, еслибы не сокрушала его мысль о положеніи собственнаго его семейства. Но спрашиваю: то ли было это переселеніе въ домъ Баушева, что можно заключить изъ словъ автобіографіи, гдѣ онъ говоритъ: «Я оставался безъ дѣла, опредѣлился въ контору богатаго купца и рѣшился заняться только дѣломъ. Книги составляли только временную отраду мою. Неутомимо работалъ я, писалъ счеты, переписывалъ купеческія письма» [1]). Напротивъ, онъ имѣлъ много свободнаго времени, и какъ у Баушевыхъ былъ въ употребленіи нѣмецкій языкъ, потому что они имѣли дѣла съ Лейпцигомъ, съ Бреславлемъ, и живали тамъ, то братъ мой имѣлъ тутъ первый случай начать учиться понѣмецки. Онъ нашелъ у Баушевыхъ и книги на иностранныхъ языкахъ, и готовность покупать новыя книги, такъ что, бывши съ ними на Коренной ярмаркѣ, близъ Курска, увеличилъ библіотеку ихъ, чѣмъ хотѣлъ. Вообще, онъ дѣйствовалъ у нихъ свободно, какъ любимый, самый близкій человѣкъ, даже устроилъ домашній театръ, на которомъ и я, не смотря на дѣтскіе мои годы, игрывалъ, когда не доставало актера. Смѣшно, что двѣнадцатилѣтнему случилось мнѣ представлять на сценѣ дряхлаго старика, отца Димитрія Самозванца въ трагедіи Нарѣжнаго!.. Вообще, пребываніе брата у Баушевыхъ было полезно ему во многихъ отношеніяхъ, между прочимъ, и въ томъ, что онъ увидѣлъ необходимость учиться основательнѣе и имѣлъ къ тому возможность. Подстрекаемый тѣмъ, что сверстники его говорили понѣмецки, писали нѣмецкія письма, разсуждали иногда о правилахъ грамматики, о которыхъ онъ

[1]) См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 34.

еще и не думалъ,—онъ съ жаромъ принялся за все это и вскорѣ оказалъ удивительные успѣхи. Приходя къ намъ, онъ обыкновенно передавалъ мнѣ все, что узналъ самъ, и такимъ образомъ сдѣлался моимъ учителемъ. Все это дѣлалось свободно, безъ всякой скрытности отъ Баушевыхъ и отъ моего отца, который, напротивъ, любилъ слушать уроки брата мнѣ. Но, увлеченный мыслью представить себя несчастнымъ самоучкой, Николай Алексѣевичъ говоритъ объ этомъ времени вотъ что: «Еще съ 1814 года началъ я потихоньку учиться и прежде всего русской грамматикѣ, по грамматикѣ Соколова, которая какъ-то попалась мнѣ въ руки. Тогда же увидѣлъ я необходимость знать иностранные языки. Мнѣ надобно было скрывать и таить свое ученье и передъ отцомъ, и передъ хозяиномъ: оно могло повредить моей дѣловой репутаціи, и, кромѣ того, что̀ сказали бы мои товарищи, если бы узнали, что я учусь азбукѣ? А старики? а старухи?.. Пьяный цирюльникъ наполеоновской арміи, итальянецъ, который остался допивать жизнь свою въ одной изъ курскихъ цирюленъ, показалъ мнѣ произношеніе французскихъ буквъ; старикъ, музыкальный учитель, богемецъ, который училъ на фортепіано дочерей моего хозяина и любилъ послѣ уроковъ посидѣть у меня въ конторской комнаткѣ и покурить табаку, научилъ меня нѣмецкой азбукѣ» [1]).

Признаюсь, когда въ первый разъ прочиталъ я эти строки, то расхохотался, какъ рѣдко случалось мнѣ хохотать во всю жизнь мою!.. Эта каррикатура пьянаго итальянца, французскаго цирюльника и богемца, который учитъ азбукѣ Николая Алексѣевича, хоть въ ней и ребенку учить нечего, эта реторическая фигура мысли, изобрѣтенная воображеніемъ моего брата—разсмѣшили меня какъ нельзя больше. При свиданіи съ нимъ, я не могъ безъ смѣха спросить у него: «Скажи, ради Бога, про какого

[1]) См. Очерки русской литературы, т. I, стр 36.

пьяницу цирюльника разсказываешь ты въ своей біографіи»?—«Какъ же, братецъ, былъ!»—возразилъ онъ смѣясь.—«Можетъ быть, онъ былъ; но какъ и чему онъ училъ тебя, когда мы начали, вмѣстѣ съ тобой, учиться пофранцузски въ 1815 году, въ Иркутскѣ? И для чего ты пожаловалъ нѣмца Гофмана въ богемцы? На что тебѣ было учиться у богемца нѣмецкой азбукѣ?» Онъ самъ началъ смѣяться, и тѣмъ кончились объясненія его объ этой эффектной выходкѣ.

Я разсказываю совсѣмъ съ другою цѣлью: не для эффектовъ. Желаю представить умственное и нравственное воспитаніе моего брата въ истинномъ свѣтѣ и называю лица, имѣвшія на него вліяніе. Нѣкоторыя изъ нихъ еще здравствуютъ и могутъ подтвердить мои слова. Зачѣмъ фантастическими прибавками искажать истину?

Съ благодарностью подтверждаю все, что пишетъ онъ далѣе о нашихъ съ нимъ учебныхъ занятіяхъ. Да! съ этого года, памятнаго мнѣ первымъ жаркимъ стремленіемъ къ познанію и наукѣ, укрѣпилась наша взаимная дружба. Я былъ гораздо моложе его, въ томъ возрастѣ, когда пять лѣтъ составляютъ неизмѣримую разницу въ умственныхъ силахъ, и былъ во всемъ ученикомъ его. Но желаніе не отставать отъ него и трудъ—замѣняли мнѣ и годы, и дарованія. Онъ ловилъ все на-полетѣ; я усвоивалъ все трудомъ и прилежаніемъ. Это обратилось, наконецъ, въ какое-то взаимное обученіе, и мы пособляли другъ другу учиться, по силамъ и средствамъ каждаго.

Такъ прошло для насъ лѣто 1814 года; средства отца нашего дошли до крайняго истощенія: онъ принужденъ былъ отказывать себѣ во всемъ, закладывалъ послѣднія вещи, стоившія чего нибудь, и ждалъ избавленія только свыше... Оно и пришло, съ Божескою щедростью... Въ началѣ ноября, въ ужасную погоду, въ комнату къ намъ вбѣгаетъ братъ Николай Алексѣевичъ и съ веселымъ лицомъ обращается къ отцу: «Папенька! къ вамъ письма

изъ Петербурга!» Отецъ нашъ давно ждалъ писемъ оттуда: одно было отъ Михайла Матвѣевича Булдакова, главнаго директора Американской компаніи, другое — отъ Ефима Андреевича Кузнецова, впослѣдствіи богатѣйшаго изъ золотопромышленниковъ. Кузнецовъ писалъ, что, узнавъ о желаніи Алексѣя Евсевьевича заняться выгоднымъ дѣломъ, предлагаетъ ему принять на себя управленіе виннымъ откупомъ въ Иркутскѣ, оставшимся съ торговъ за Кузнецовымъ, съ другимъ товарищемъ. Булдаковъ, въ отдѣльномъ письмѣ, просилъ отца нашего принять на себя это дѣло, увѣряя, что онъ получитъ за то большое вознагражденіе. Старикъ нашъ ожилъ, и какъ Кузнецовъ писалъ, что онъ выѣзжаетъ изъ Петербурга и будетъ ожидать его въ Москвѣ, то онъ, съ вторымъ своимъ сыномъ, дня черезъ два и отправился туда, собравъ для этого послѣднія средства. Мы, то есть мать моя, со всѣми другими дѣтьми, оставались въ Курскѣ, въ ожиданіи, которое продолжалось съ мѣсяцъ, потому что Кузнецовъ былъ чѣмъ-то задержанъ въ Петербургѣ. Наконецъ, въ одно прекрасное утро, мать наша получаетъ съ почты повѣстку: изъ Москвы получено на имя ея 2,000 рублей и вмѣстѣ съ тѣмъ письмо нашего отца, которое начиналось слѣдующими словами, до сихъ поръ остающимися въ моей памяти:

«Принесите хвалу, благодареніе и поклоненіе Всемогущему Господу Богу, за Его въ нашей слабости помощь, благость и милосердіе! Ефимъ Андреевичъ (Кузнецовъ) пріѣхалъ, и мы съ нимъ въ трехъ словахъ все рѣшили, потому что, приступая къ предпріятію, онъ и товарищъ его положили непремѣнно ввѣрить его мнѣ. Денегъ предлагаютъ мнѣ взять теперь же, сколько угодно; но, не желая брать безразсчетно впередъ, я взялъ на первый случай 10,000 рублей, изъ которыхъ посылаю вамъ, мои милые, 2,000 рублей и пришлю еще»... Затѣмъ выражалъ онъ самую нѣжную заботливость, чтобы мать наша немедленно улучшила свое житье-бытье и приготовляла бы къ отправленію въ

Иркутскъ Николая Алексѣевича и меня, «которымъ найдется дѣло тамъ»,—прибавлялъ онъ.

Быстрый переходъ отъ тяжкой, стѣснительной нужды къ довольству могутъ оцѣнить только тѣ, кто самъ испыталъ это.

Новый оборотъ въ дѣлахъ нашего отца необходимо заставлялъ брата Николая Алексѣевича оставить домъ Баушевыхъ, что̀ не обошлось безъ ропота съ ихъ стороны. Но онъ жилъ у нихъ безъ всякихъ обязательствъ, не изъ жалованья, а почти какъ другъ семейства, и долженъ былъ повиноваться волѣ отца, когда тотъ почиталъ нужнымъ возвратить его къ себѣ. Это лучше всего показываетъ, какъ невѣрно представилъ онъ свои отношенія къ почтенному семейству Баушевыхъ, изображая себя только работающимъ въ ихъ конторѣ.

Довольно жестокая и продолжительная болѣзнь его задерживала нѣсколько времени нашъ отъѣздъ. Наконецъ, мы, то есть братъ мой и я, выѣхали изъ Курска, въ концѣ января 1815 года, въ Москву, и остановились тамъ у П. Ѳ. Бѣлявскаго. По порученію нашего отца, онъ снарядилъ насъ въ дальній путь, вручилъ брату назначенную сумму денегъ и далъ намъ въ провожатые казачьяго пятидесятника, возвращавшагося въ Иркутскъ, въ свой полкъ. Покуда мы оставались въ Москвѣ, братъ успѣлъ накупить книгъ, свозить меня въ театръ и запастись разными учебниками: можно было подумать, что мы отправляемся учиться на границахъ Китая!

Въ Иркутскѣ надежды отца нашего и обѣщанія Кузнецова далеко не осуществились. Любопытное существо былъ Е. А. Кузнецовъ!.. Красавецъ собой, онъ принадлежалъ къ тѣмъ немногимъ, которыхъ въ мірѣ называютъ счастливцами. Онъ любилъ роскошь, нѣгу—и судьба нѣсколько разъ надѣляла его богатствомъ, которое падало на него безъ всякихъ особенныхъ усилій съ его стороны. Въ числѣ счастливыхъ предпріятій его былъ и взятый имъ въ Иркутскѣ

откупъ. Онъ почти не занимался имъ, вмѣшивался только для того, чтобы портить самыя выгодныя начинанія, и, все-таки, богатство лилось къ нему рѣкою. При его безпечности, отецъ нашъ оставался почти безъ занятія, и прошло нѣсколько мѣсяцевъ, покуда устроилась взятая имъ на себя часть дѣлъ.

Въ это-то время сблизился съ нами Василій Михайловичъ Пурлевскій [1]). Приглашенный Кузнецовымъ, такъ же какъ и отецъ нашъ, пріѣхать въ Иркутскъ (изъ Тобольска, гдѣ онъ жилъ до тѣхъ поръ), Пурлевскій также былъ почти безъ занятія. Имѣя много досуга, онъ предложилъ намъ (Николаю Алексѣевичу и мнѣ) учиться вмѣстѣ съ нимъ французскому языку, для котораго нашелся хорошій учитель. Это былъ полякъ, Горскій, за шалость юности сосланный въ Сибирь, но сохранившій и манеры свѣтскаго человѣка, и хорошую образованность. Его ли искусство въ преподаваніи, или наша ревность къ ученью были причиной, только мѣсяца черезъ два мы уже понимали книжный языкъ и могли даже сказать нѣсколько связныхъ словъ пофранцузски. Вотъ кто, а не пьяный цирюльникъ французской арміи первоначально ознакомилъ Николая Алексѣевича съ французскимъ языкомъ.

Все лѣто и большую часть зимы провели мы въ самомъ прилежномъ ученіи и въ занятіяхъ литературой. Дѣла нашего отца ограничились только управленіемъ водочнаго завода, гдѣ приготовлялись водки и наливки для всей неизмѣримой Иркутской губерніи, къ величайшей

---

[1]) В. М. Пурлевскій былъ еще живъ, когда я писалъ эту часть моихъ «Записокъ». Онъ скончался лѣтъ пять назадъ, въ Петербургѣ, бывши въ отставкѣ, въ чинѣ статскаго совѣтника, а вступилъ въ службу уже по выѣздѣ изъ Иркутска, не въ первой молодости. Я рѣдко встрѣчалъ человѣка столько умнаго, пріятнаго, способнаго къ самымъ обширнымъ дѣловымъ занятіямъ. Образованностью своею онъ былъ обязанъ самому себѣ. (Писано въ 1859 г.).

Примѣчаніе автора.

выгодѣ откупа. Но, видя, что и это было сопряжено съ разными затрудненіями, отецъ нашъ рѣшился, окончивъ принятое имъ на себя предпріятіе, хотя и очень выгодное, возвратиться черезъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Курскъ. Предварительно отправилъ онъ туда Николая Алексѣевича, который и оставилъ Иркутскъ въ началѣ 1816 года. Едва явился онъ въ Курскъ, какъ гг. Баушевы пригласили его заняться управленіемъ ихъ конторы, уже съ жалованьемъ, довольно значительнымъ по тому времени. Онъ охотно принялъ на себя дѣло, знакомое ему, и въ такомъ домѣ, гдѣ обходились съ нимъ дружески. Отецъ нашъ, получивъ о томъ извѣстіе, порадовался, что юный сынъ его умѣлъ заслужить самое благопріятное мнѣніе въ этомъ почтенномъ семействѣ.

III.

Первое печатное сочиненіе Николая Алексѣевича.—Впечатлѣніе, произведенное этимъ литературнымъ опытомъ въ Курскѣ. — Новые знакомцы-меценаты.—Метода, по которой Николай Алексѣевичъ изучалъ иностранные языки.—Усиленныя занятія русской грамматикой.—Первые стихотворные опыты. — Совмѣстныя занятія съ братомъ. — Посылка статей въ «Вѣстникъ Европы».

Осенью 1816 года, возвратился я съ отцомъ моимъ въ Курскъ. Состояніе наше было обезпечено, хотя не богато. У насъ былъ свой домъ, со всѣмъ хозяйственнымъ устройствомъ, и нѣсколько десятковъ тысячъ рублей. Отецъ нашъ, еще прежде своего пріѣзда, распорядился о засолѣ рыбы на Дону (по способу, о которомъ я упоминалъ выше); но это предпріятіе обернулось такъ неудачно, что черезъ два года весь маленькій капиталъ нашъ погибъ, и опять становилось трудно существовать. Къ счастію, въ это время

дозволено было частнымъ лицамъ устроивать водочные заводы, и отецъ нашъ спѣшилъ устроить такой заводъ. По нѣкоторымъ новымъ отношеніямъ съ гг. Баушевыми, онъ не хотѣлъ, чтобы Николай Алексѣевичъ оставался при ихъ дѣлахъ, и въ половинѣ 1819 года онъ оставилъ ихъ домъ.

До сихъ поръ жизнь и существованіе его были соединены съ семействомъ, и я не могъ изображать его, какъ самобытнаго дѣйствователя. Литературныя занятія его, почти непрерывныя и разнообразныя, были отдѣльною и, казалось, побочною дѣятельностью, хотя послѣдствія доказали, что они составляли цѣль его жизни. Онъ самъ не давалъ себѣ отчета, куда и къ чему приведутъ они. Отчасти повинуясь волѣ отца, который не могъ же готовить его въ литераторы въ сферѣ курской жизни, отчасти увлекаясь самъ юношескими порывами, онъ иногда готовъ былъ остаться въ этой сферѣ, потому что почиталъ недостижимымъ счастіемъ иную, высшую дѣятельность. Литература и занятія ею были, однако-жъ, всегдашнею и неизмѣнною его отрадою, отдыхомъ посреди стѣсненій и тягостей тогдашней нашей жизни. Я былъ единственнымъ наперсникомъ, которому могъ онъ передавать свои отдаленныя надежды, и чего не перемечталъ онъ въ эти годы рѣшительнаго переворота въ своей нравственной жизни! Съ какою живостью пользовался онъ каждымъ случаемъ къ дѣятельности умственной, къ возвышенію своего духа! Противоположность окружавшаго насъ общества съ идеальнымъ міромъ, въ которомъ жили мы съ малолѣтства, еще больше подстрекала его перейдти въ другую сферу. «Возвысимся духомъ, Бонстеттенъ!» — часто повторялъ онъ мнѣ, читая наизусть переводъ «Писемъ» Іоанна Миллера къ Бонстеттену, когда-то напечатанный Жуковскимъ въ «Вѣстникѣ Европы». Нынѣшнее молодое поколѣніе смѣется надъ всѣмъ идеальнымъ и стыдится высказывать свои искреннія ощущенія: оттого и занятія литературой кажутся для нея

междудѣльемъ, развлеченіемъ, къ которому оно старается выказывать искусственное презрѣніе. Мы, напротивъ, не играли такой комедіи, искренно предаваясь жизни умственной, идеальной и почитая дѣловыя занятія только необходимою данью вещественной жизни.

Во время житья своего у гг. Баушевыхъ, Н. А. много занимался изученіемъ языковъ: французскаго, нѣмецкаго, латинскаго, русскаго. Я постараюсь объяснить эти занятія его, но прежде разскажу нѣсколько эпизодовъ изъ литературной его дѣятельности, потому что почти никогда не переставалъ онъ авторствовать.

Въ 1817 году, императоръ Александръ I посѣтилъ Курскъ. Великолѣпная, небывалая въ Курскѣ картина съѣзда множества лицъ въ городъ, обыкновенно тихій, сборъ войскъ и потомъ манёвры ихъ, вмѣстѣ съ радушною, искреннею встрѣчею любимаго царя, причемъ всякій городокъ преобразуется въ истинную резиденцію, — все это воспламенило воображеніе Николая Алексѣевича, и статья его о пребываніи государя въ Курскѣ полетѣла въ Москву, къ издателю «Русскаго Вѣстника», съ учтивою просьбою напечатать ее. Прошло довольно много времени, прежде нежели она явилась въ печати, съ желанною подписью: Н. Полевой. Сергѣй Николаевичъ Глинка, по праву издателя журнала, переправилъ ее, и братъ сознался (въ предисловіи къ «Очеркамъ», стран. XL), что поправки были справедливы. Я не думаю этого, и вѣроятно, по крайней мѣрѣ, что поправки относились не къ слогу. Но, какъ бы ни было, а это—первое сочиненіе Н. А., явившееся въ печати. Весь городъ былъ восхищенъ описаніемъ его, особенно потому, какъ замѣчаетъ онъ самъ, что предметъ описанія былъ близокъ сердцу каждаго жителя, и впечатлѣніе, произведенное посѣщеніемъ государя, еще оставалось живо въ памяти всѣхъ.

Статья брата была поводомъ еще къ одному забавному случаю, который доставилъ ему знакомство и даже пріязнь

просвѣщеннаго любителя литературы, Алексѣя Степановича Кожухова, бывшаго тогда губернаторомъ въ Курскѣ. Не знаю почему, только Н. А. не сказалъ отцу о своей статьѣ, напечатанной въ журналѣ. Прошло уже нѣсколько дней, какъ книжка «Русскаго Вѣстника» была получена въ городѣ, когда отецъ нашъ, бывшій въ это время членомъ комиссіи о размѣщеніи войскъ въ городѣ, явился по дѣламъ службы къ губернатору. Въ разговорѣ съ нимъ, А. С. Кожуховъ спросилъ, между прочимъ: не знаетъ ли онъ, какой Полевой напечаталъ описаніе недавняго пребыванія государя въ Курскѣ?—«Если какой нибудь Полевой написалъ что либо достойное печати,—отвѣчалъ отецъ,—то вѣроятно, что это мой сынъ». — «Представьте же себѣ, что сегодня былъ у меня молодой человѣкъ, также Полевой, и когда я сдѣлалъ ему тотъ же вопросъ, что̀ вамъ, онъ назвалъ себя авторомъ описанія, хотя изъ разговора съ нимъ показалось мнѣ это очень сомнительно. Пришлите ко мнѣ вашего сына, если онъ настоящій авторъ».

Братъ мой, находившійся тогда еще у гг. Баушевыхъ, возвратился домой не ранѣе вечера. Отецъ, между тѣмъ, уже узналъ отъ меня, что точно Николай Алексѣевичъ—авторъ статьи. Онъ тотчасъ прочиталъ ее, былъ очень доволенъ, и только попенялъ Николаю Алексѣевичу, что онъ не сказалъ ему прежде о своемъ литературномъ успѣхѣ. «Теперь же поѣзжай къ Алексѣю Степановичу»,—прибавилъ онъ. Разумѣется, г. Кожуховъ съ первыхъ словъ удостовѣрился, что видитъ дѣйствительнаго автора, и это было началомъ пріятнаго и полезнаго моему брату знакомства. Для объясненія, какимъ образомъ могъ сыскаться самозванецъ-авторъ съ именемъ Полеваго, надобно сказать, что въ Курскѣ есть нѣсколько фамилій Полевыхъ не только не родственныхъ, но и незнакомыхъ съ нами. Одинъ молодой человѣкъ, точно Полевой, и даже имя котораго начиналось съ буквы Н, былъ съ какою-то просьбою у губернатора. Кажется, думая придать себѣ важности, онъ призналъ себя авторомъ

статьи, когда губернаторъ, только что прочитавшій пріятное ему описаніе пребыванія государя въ Курскѣ, спросилъ, не онъ ли писалъ это? Нѣсколько дней потомъ провинціальный городъ гремѣлъ разсказами о самозванцѣ авторѣ и тѣмъ больше расхваливалъ настоящаго автора.

Впрочемъ, это происшествіе не имѣло никакого существеннаго вліянія на положеніе моего брата. Всѣ окружавшіе его давно знали о любимыхъ его занятіяхъ, и даже молодые пріятели его изъ купцовъ всегда глядѣли на него, какъ на сочинителя, который, однако же, не придавалъ себѣ тѣмъ никакой важности. Онъ импровизировалъ имъ цѣлыя стихотворенія, гдѣ изображалъ различныхъ оригиналовъ, встрѣчающихся всегда и вездѣ. Въ то же время, онъ былъ самымъ любезнымъ кавалеромъ на семейныхъ балахъ, самымъ остроумнымъ изъ сверстниковъ въ играхъ (petits-jeux), и всѣ знакомые любили и уважали его. Но знакомство его съ г. Кожуховымъ было важно тѣмъ, что тутъ онъ вступилъ въ кругъ людей съ литературною и свѣтскою образованностью и съ современными европейскими мнѣніями и понятіями. Справедливо говоритъ онъ, что А. С. Кожуховъ сдѣлался меценатомъ его, далъ ему свободный доступъ къ себѣ и доставилъ нѣсколько пріятныхъ знакомствъ, полезныхъ въ разныхъ отношеніяхъ. У него познакомился онъ со всѣмъ образованнымъ обществомъ тогдашняго Курска, и я упомяну здѣсь о тѣхъ знакомствахъ, которыя имѣли нѣкоторое значеніе въ литературной жизни моего брата.

Много лѣтъ Курскъ былъ лишенъ присутствія своего архипастыря: престарѣлый архіепископъ Ѳеоктистъ жилъ въ Бѣлгородѣ. Послѣ кончины его назначенъ былъ курскимъ и бѣлгородскимъ епископомъ преосвященный Евгеній (нынѣ [1]) архіепископъ, живущій на покоѣ въ Москвѣ, въ Донскомъ монастырѣ). Прибытіе его въ губернскій го-

[1]) Писано въ 1859 году. Ник. Ксен. Пол.

родъ было истиннымъ торжествомъ для жителей: тысячи народа встрѣтили преосвященнаго за нѣсколько верстъ отъ Московской заставы и сопровождали до Знаменскаго монастыря, гдѣ новый архипастырь умилилъ всѣхъ своимъ служеніемъ и словомъ. Восторгъ былъ единодушный. Братъ мой раздѣлялъ общее одушевленіе, и это выразилось у него привѣтственнымъ стихотвореніемъ къ новому пастырю душъ. Черезъ нѣсколько дней епископъ Евгеній уѣхалъ на житье въ Бѣлгородъ, и братъ мой не успѣлъ или не могъ представить ему своего стихотворенія. Вскорѣ Н. А. посѣтилъ губернатора и встрѣтилъ въ его кабинетѣ Петра Авраамовича Анненкова, богатѣйшаго изъ курскихъ помѣщиковъ, незадолго вышедшаго въ отставку полковникомъ изъ Кавалергардскаго полка. Это былъ столько же любезный свѣтскій человѣкъ, сколько роскошный русскій баринъ. Другой гость у губернатора былъ князь Василій Прокопіевичъ Мещерскій, лицо чрезвычайно оригинальное. Одаренный проницательнымъ, ловкимъ умомъ, обогащенный множествомъ свѣдѣній, свободно говорившій на нѣсколькихъ языкахъ, онъ былъ типомъ свѣтскихъ людей и дипломатовъ Александровскаго времени. Во время войны съ Наполеономъ, въ 1813 году, онъ состоялъ при наслѣдномъ принцѣ шведскомъ (Бернадоттѣ) и получилъ отъ него орденъ Полярной Звѣзды; потомъ находился при графѣ Беннигсенѣ, при графѣ Витгенштейнѣ, во 2-й арміи, и пріѣхалъ оттуда въ Курскъ по случаю смерти своего отца, нѣкогда любимаго вельможи при императорѣ Павлѣ, но умершаго послушникомъ Знаменскаго монастыря. Бывшій вельможа не принималъ монашескаго чина, однако, жилъ много лѣтъ въ монастырѣ, ходилъ въ черной рясѣ со звѣздою на груди и часто говаривалъ проповѣди въ своей обители. Мнѣ случилось не одинъ разъ слышать его громы противъ слабостей человѣческихъ... Все это нужно знать только для того, чтобы имѣть понятіе, съ кѣмъ находился въ этотъ разъ братъ мой въ кабинетѣ А. С. Кожухова,

который тотчасъ познакомилъ его съ своими гостями и спросилъ, не написалъ ли онъ чего нибудь новенькаго. Братъ упомянулъ о посланіи къ епископу Евгенію, изъявляя сожалѣніе, что не могъ поднести его тому, къ кому оно относилось.

— Съ вами оно?—спросилъ князь Мещерскій.

— Со мною.

— Позвольте же мнѣ просить его у васъ для доставленія его преосвященству, потому что сегодня, въ ночь, мы съ Анненковымъ ѣдемъ въ Бѣлгородъ, именно къ епископу Евгенію.

— Но, князь,—отвѣчалъ братъ:—я еще не знаю, достойно ли такой чести мое стихотвореніе? Я желалъ бы услышать сужденіе знатоковъ...

— Пожалуйте, пожалуйте мнѣ ваше посланіе: я прочту его передъ вами, какъ буду читать его преосвященству... вы сами увидите...

Братъ мой сознавался, что не безъ сердечнаго трепета вручилъ ему свое сочиненіе, хотя былъ увѣренъ, что оно не совсѣмъ дурно. «Но я не узналъ своихъ стиховъ въ превосходномъ чтеніи князя»,—говорилъ онъ намъ, пересказывая свое приключеніе. Въ самомъ дѣлѣ, князь Мещерскій былъ великій мастеръ читать вслухъ, и особенно стихи. Его пріятное произношеніе и опытность въ чтеніи могли и слабому стихотворенію придать нѣкоторый блескъ. По крайней мѣрѣ, собесѣдники остались довольны, и съ этого дня домъ П. А. Анненкова сталъ также открытъ для брата, а князь Мещерскій встрѣчалъ его всегда съ отверстыми объятіями. Онъ привезъ изъ Бѣлгорода привѣтъ и благословеніе архипастыря моему брату. Вотъ какъ началось знакомство его съ епископомъ Евгеніемъ, и слѣдовательно преосвященный зналъ его прежде 1819 года, когда братъ читалъ свои стихи въ собраніи курскаго библейскаго Общества. Я опишу далѣе этотъ любопытный случай первоначальной его литературной жизни, который называетъ онъ

началомъ своего знакомства съ курскимъ преосвященнымъ; но, чтобы сколько нибудь соблюсти порядокъ времени, я долженъ упомянуть о другихъ литературныхъ занятіяхъ Николая Алексѣевича

Онъ скоро сблизился съ княземъ Мещерскимъ и почти каждый день бывалъ у него, покуда тотъ оставался въ Курскѣ. Человѣкъ съ умомъ наблюдательнымъ, опытный въ жизни, блестящій въ разговорѣ, князь любилъ литературу и могъ сообщить много новаго, неизвѣстнаго жадному любопытству моего брата. Онъ передалъ ему взглядъ французской теоріи искусства, которой тогда всѣ слѣдовали. Я, по возрасту своему, не могъ быть собесѣдникомъ ихъ, но братъ передавалъ мнѣ каждый разговоръ свой съ княземъ, каждое замѣчаніе его, и тогда-то мы начали изучать Буало и Баттё, какъ надежнѣйшихъ руководителей въ теоріи словесности. Латинская литература и, слѣдовательно, латинскій языкъ оказывались необходимы. Здѣсь, кстати, я объясню методу изученія иностранныхъ языковъ, какую употреблялъ Николай Алексѣевичъ.

Начиная изучать новый для него языкъ, онъ обыкновенно окружалъ себя всѣми возможными пособіями: грамматиками, словарями, хрестоматіями, переводами, напечатанными съ текстомъ, и, ознакомившись нѣсколько съ языкомъ, начиналъ самъ составлять грамматику его, примѣняя ее къ правиламъ уже извѣстныхъ ему языковъ. Въ то же время онъ переводилъ, стараясь разгадать построеніе фразъ и порядокъ словъ, а неизвѣстныя слова выучивалъ наизусть. Для всѣхъ изучаемыхъ языковъ составлялъ онъ разныя таблицы, замѣтки, сравненія, и такимъ образомъ быстро овладѣвалъ языкомъ. Но, достигнувъ такого знанія, что могъ, при пособіи словаря, читать авторовъ, онъ не стремился къ усовершенствованію себя въ изучаемомъ языкѣ, и оттого, дѣйствительно зная основательно нѣсколько иностранныхъ языковъ, онъ не обладалъ ни однимъ въ совершенствѣ, какого можно достигнуть усиленнымъ,

постояннымъ занятіемъ и безпрерывнымъ упражненіемъ. Даже зная французскій языкъ со всѣми его тонкостями, потому что безпрестанно читалъ на немъ, онъ пофранцузски говорилъ дурно, хотя очень свободно. Впослѣдствіи, мы никогда не соглашались съ нимъ о способѣ ученія вообще, и языковъ въ особенности. Я утверждалъ, что недостаточно такихъ знаній, какими довольствовался онъ въ языкахъ, что лучше знать два, три языка, но такъ, чтобы говорить и писать на нихъ правильно; что поверхностное знаніе десяти языковъ безполезно и, между тѣмъ, уноситъ много времени. Онъ отрицалъ все это, въ убѣжденіи, что невозможно достигнуть совершенства въ чужомъ языкѣ, слѣдовательно, нечего и тратить время для того, чтобы писать и говорить на немъ; что наша латынь тревожитъ прахъ Цицерона и Тацита; что французы едва награждаютъ самое сильное знаніе ихъ языка унизительною для иностранца фразою: «pour un étranger M-r n'écrit pas mal», а въ разговорѣ узнаютъ съ перваго слова иностранный акцентъ, что, напротивъ, даже слабое знаніе иностраннаго языка знакомитъ насъ съ духомъ его, и читая на немъ, хоть съ помощью лексиконовъ, переводовъ, комментаріевъ, можно понимать авторовъ лучше, нежели въ переводѣ; наконецъ, самое твердое и всегдашнее его убѣжденіе—изученіе главныхъ языковъ нужно для узнанія законовъ всеобщей грамматики. Читатели могутъ сами судить объ основательности его доводовъ. Постояннымъ и неуклоннымъ его стремленіемъ было—обнимать умомъ и воображеніемъ цѣлый міръ, открывать новое, и потому недосугъ было ему заниматься мелочными тонкостями, когда въ то же время душа его была не художническая, а душа бойца, который хотѣлъ стремиться впередъ, всегда впередъ, не останавливаясь надъ частностями и подробностями. Онъ упоминаетъ о своихъ филологическихъ занятіяхъ касательно русскаго языка. Вотъ какъ начались они.

Въ 1819 году явился въ «Сынѣ Отечества» разборъ

изданной Россійскою академіею грамматики, написанный Н. И. Гречемъ. Этотъ образцовый разборъ произвелъ на насъ (на брата и на меня) необыкновенное впечатлѣніе. Мы увидѣли, какъ надобно заниматься языкомъ, и съ жаромъ принялись переработывать свои грамматическія познанія. Н. А. немедленно занялся тѣми частями русскаго языка, на которыя указывалъ г. Гречъ, какъ на обработанныя у насъ тогда очень слабо. Братъ мой рѣшился на исполинскій подвигъ — переспрягать всѣ русскіе глаголы, чтобы изъ этого вывести систему русскихъ спряженій. Это, вмѣстѣ съ другими изслѣдованіями разныхъ частей русскаго языка, занимало его нѣсколько лѣтъ. Впослѣдствіи онъ получилъ большую серебряную медаль отъ Россійской академіи именно за свою систему русскихъ спряженій; но объ этомъ послѣ.

Ученіе самое прилежное, изслѣдованія, которыя уже можно назвать учеными, и занятія дѣловыя не мѣшали Николаю Алексѣевичу въ то же время авторствовать. Въ 1818 и 1819 годахъ, мы съ нимъ много занимались переводами съ французскаго и нѣмецкаго языковъ; но это были только упражненія. Онъ посылалъ нѣкоторые свои опыты въ «Вѣстникъ Европы», и съ радостью замѣтилъ, какъ упоминаетъ самъ, что статьи его (о Славянскомъ Волосѣ и переводъ Шатобріанова описанія путешествія Меккензія по Сѣверной Америкѣ) были напечатаны безъ всякихъ поправокъ. Въ самомъ Курскѣ представился ему случай насладиться литературнымъ успѣхомъ.

Въ первые дни 1819 года, назначено было торжественное открытіе Отдѣленія россійскаго библейскаго Общества въ Курскѣ. По этому случаю пріѣхалъ туда изъ Бѣлгорода епископъ Евгеній. Братъ мой былъ у него нѣсколько разъ и, между прочимъ, вызвался прочитать стихи въ предстоявшемъ собраніи Общества. Преосвященный, выслушавъ стихи, одобрилъ ихъ, но не сказалъ положительно ничего и не назначилъ дня, когда будетъ собраніе. Онъ былъ

окруженъ множествомъ занятій, и неудивительно, что чтеніе стиховъ не казалось ему такъ важнымъ, какъ казалось оно самому поэту. Прошло дня два или три послѣ этого. Отецъ нашъ былъ отчего-то не въ духѣ и вечеромъ журилъ за что-то бѣднаго поэта, когда вдругъ къ крыльцу нашего дома съ громомъ подъѣхалъ экипажъ и въ комнату влетѣлъ частный приставъ Козюлькинъ, парадно одѣтый, и, торопливо обращаясь къ Николаю Алексѣевичу, сказалъ:

— Да что-жъ это такое? Вы еще и не одѣвались? А васъ ждутъ!

Нисколько не понимая этихъ словъ, отецъ и братъ мой глядѣли на него вопросительно, и кто-то изъ нихъ спросилъ:

— Гдѣ ждутъ?

— Да у губернатора! Ужъ началось чтеніе!

— Какое чтеніе?

— Боже мой!—воскликнулъ почти въ отчаяніи Козюлькинъ:—да вы, Н. А., хотѣли читать стихи, что ли, въ библейскомъ Обществѣ!?

Братъ началъ было объяснять, въ чемъ дѣло, но Козюлькинъ умолялъ его поскорѣе собраться и ѣхать съ нимъ въ ту же минуту, потому что нельзя было медлить ни одной минуты. Отецъ нашъ подтвердилъ то же съ какимъ-то упрекомъ, хотя въ половину понимая всю эту сцену... Черезъ четверть часа братъ уже ускакалъ съ Козюлькинымъ и возвратился въ неописанномъ счастіи: прочитанные имъ въ собраніи стихи имѣли полный успѣхъ! Дамы плакали отъ умиленія, слушая ихъ, заслуженные воины, старики обнимали и цѣловали молодаго поэта; губернаторъ и преосвященный изъявили ему полное удовольствіе. Въ поясненіе долженъ я сказать, что преосвященный, послѣ свиданія съ Николаемъ Алексѣевичемъ, включилъ стихотвореніе его въ росписаніе сочиненій, назначенныхъ для чтенія въ собраніи библейскаго Общества; росписаніе было роздано почетнымъ посѣтителямъ, и когда засѣданіе открылось, и уже началось чтеніе разныхъ отчетовъ и рѣ-

чей, а братъ не являлся, тогда посланъ былъ за нимъ Козюлькинъ, съ приказаніемъ привезти поэта и стихотвореніе его такъ скоро, чтобы это не нарушило предназначеннаго порядка чтенія. Кажется, что стихотвореніе его было потомъ напечатано въ «Русскомъ Вѣстникѣ».

Такъ шелъ братъ мой постепенно отъ успѣха къ успѣху; но при этомъ не было въ немъ не только самолюбиваго довольства (обыкновеннаго признака бездарности), но и маленькое наслажденіе—видѣть и слышать одобреніе своихъ литературныхъ попытокъ—наводило на него грусть. Чувствуя въ душѣ неизмѣримыя силы и неопредѣленное, но непобѣдимое ничѣмъ стремленіе къ литературной дѣятельности, онъ видѣлъ также, какъ трудно будетъ ему предаться своему стремленію при тогдашнихъ обстоятельствахъ нашего семейства. Между тѣмъ, чѣмъ болѣе вступалъ онъ въ міръ образованности и литературы, тѣмъ сильнѣе чувствовалъ, какъ много надобно было трудиться для того, чтобы стать наравнѣ съ современнымъ просвѣщеніемъ. Сколько бывало у насъ объ этомъ разсужденій, плановъ, мечтаній!.. Помню, что учиться въ Московскомъ университетѣ казалось намъ высшимъ и недосягаемымъ счастіемъ! Мы полагали, что могли бы тамъ поглотить всю ученость и проникнуться ею отъ головы до пятокъ. Названіе профессора, доктора, магистра внушало намъ глубокое уваженіе къ тѣмъ, кто имѣлъ счастіе заслужить эти ученыя степени. Самая жизнь студента казалась намъ какою-то поэзіею, и всѣ соединенныя съ нею трудности и лишенія представлялись несравненнымъ наслажденіемъ. Какъ радостно промѣняли бы мы удобства домашней жизни на одиночество и скудную жизнь бѣднѣйшаго студента! Безъ всякой близкой надежды достигнуть такой счастливой жизни, мы занимались всѣми предметами, необходимыми для вступленія въ университетъ. Братъ мой познакомился съ учителемъ латинскаго языка въ курской гимназіи, г. Славинскимъ, и обращался къ нему съ разными вопросами, при изученіи латинскаго

языка, который не переставали мы учить по грамматикѣ Брёдера, изданной Кошанскимъ. Руководствомъ для университетскаго курса вообще служила намъ книга: «Новый и легкій способъ приготовить себя къ выдержанію испытанія въ наукахъ, въ высочайшемъ указѣ 6-го августа 1809 года означенныхъ, или полный курсъ словесности, часть I, грамматика: 1) общая; 2) россійская; 3) латинская; 4) французская, и логика. Издалъ Иванъ Гаретовскій. Москва въ университ. типографіи 1812.—8».

Другихъ книжныхъ пособій было у насъ довольно; только не доставало учителей и постояннаго класснаго ученья, отчего мы и находили себя недостойными мечтать объ ученой образованности. Н. А. былъ неистощимъ въ средствахъ доставать книги; а чего не могли мы достать въ Курскѣ, то выписывали изъ Москвы. Въ такомъ направленіи занимались мы особенно въ 1819 году, когда братъ уже оставилъ дѣла гг. Баушевыхъ и жилъ въ домѣ отца. Опредѣленнаго дѣловаго занятія у него не было. Я жилъ на заводѣ, который устроилъ отецъ мой съ товарищемъ; но и одному мнѣ управленіе заводомъ было слишкомъ подъ-силу, такъ что по вечерамъ я бывалъ свободенъ и обыкновенно посвящалъ ихъ ученью и литературнымъ занятіямъ. Братъ прихаживалъ ко мнѣ, иногда на цѣлый день, иногда и ночевалъ у меня, и эти часы и дни могу причислить къ счастливѣйшимъ въ моей жизни. Всѣ, кто зналъ впослѣдствіи Николая Алексѣевича, сознаются, что всегда пріятно было дѣлить съ нимъ время; пусть же представятъ себѣ живость его ума и любезность въ двадцати-лѣтній съ небольшимъ возрастъ, когда всѣ впечатлѣнія были у него такъ свѣжи, пылки, увлекательны для него и для другихъ. Разговоры и сужденія, касавшіеся глубокихъ и важныхъ вопросовъ, мечты о будущемъ, литература, науки перемежались у него съ веселостью и шутками, въ которыхъ былъ онъ неистощимъ. Блаженное время, когда все предста-

влялось въ розовомъ оттѣнкѣ, хотя на горизонтѣ жизни были и зловѣщія облака!..

Многіе полагаютъ, что для образованія ума и воспитанія души необходимы разнообразныя и необыкновенныя впечатлѣнія, а они невозможны безъ богатства, блестящаго общества и путешествій по образованнымъ государствамъ. Но это только средства, и надобно еще умѣть пользоваться ими. Съ сожалѣніемъ должно сознаться, что часто они оказываются безсильны, безполезны и только усыпляютъ послѣднюю силу жизни въ тѣхъ, кто ими обладаетъ. Человѣкъ, у котораго слабы душевныя силы, равнодушенъ ко всему, и оттого самые разнообразные предметы не дѣйствуютъ на него. Онъ, глядя, не видитъ и, слыша, не понимаетъ. Напротивъ, какъ могущественны впечатлѣнія у человѣка съ душою сильною! Для него вездѣ краснорѣчива природа, вездѣ занимателенъ и глубокъ человѣкъ, вездѣ поучительно общество со своими страстями, слабостями, увлеченіями къ доброму и злому. Я видѣлъ примѣръ этого въ братѣ моемъ: онъ всюду находилъ людей, которыхъ наблюдалъ и изучалъ, всюду открывалъ новыя стороны въ предметахъ и въ самой литературѣ провидѣлъ потребности ея, хотя не былъ въ сношеніяхъ съ литераторами и находился далеко отъ главныхъ мѣстъ литературной дѣятельности. Мы читали современные журналы и газеты русскія и изъ нихъ знали событія; но сужденія наши были не всегда согласны съ сужденіями журналовъ, потому что мы имѣли уже довольно самобытности. Можно сказать, что Н. А. зналъ наизусть всю литературу русскую, и въ этомъ отношеніи уже тогда былъ ученѣе многихъ журнальныхъ статей. Онъ съ перваго взгляда видѣлъ обмолвки и недомолвки и удивлялся только, какъ люди, со всѣми средствами, дѣлаютъ промахи, не знаютъ того, что съ малолѣтства зналъ онъ еще изъ сочиненій Голикова о Петрѣ Великомъ, изъ «Всемірнаго Путешествователя»—о географіи, и не видятъ многаго, что казалось ему такъ ясно. Иногда, читая анекдотъ, вы-

даваемый за новость, онъ восклицалъ: «Боже мой! изъ Письмовника Курганова!» Читая сочиненіе Ерстова «Объ устройствѣ міровъ», онъ смѣялся, а книга: «Опроверженіе Коперниковой системы» возбудила и въ немъ, и въ отцѣ нашемъ негодованіе. Въ эту же пору своей жизни началъ онъ посылать разныя журнальныя статьи почти исключительно въ «Вѣстникъ Европы», и когда нѣкоторыя изъ нихъ были напечатаны съ благосклонными примѣчаніями редактора, то онъ получилъ даже увѣренность въ своихъ силахъ и не разъ говорилъ мнѣ:

— А можно было бы много поработать!.. Какъ они не видятъ этого!

Вскорѣ и настала для него эпоха неутомимой литературной дѣятельности.

IV.

Переселеніе Н. А. Полеваго въ Москву. — Сближеніе съ Каченовскимъ. — Современные взгляды на литературу. — Знакомство съ В. Ѳ. Тимковскимъ и В. С. Филимоновымъ. — Занятія греческимъ языкомъ и увлеченіе эпикурейской философіей. — Поѣздки Н. А. въ Петербургъ и знакомство съ П. П. Свиньинымъ. — Библіотека Тимковскаго. — З. Ходаковскій и его методъ археологическихъ изслѣдованій.

Здѣсь долженъ я еще разъ попротиворѣчить предисловію къ «Очеркамъ», гдѣ Н. А. говоритъ:

«Отецъ мой рѣшился сдѣлать послѣднее усиліе для поправленія своихъ обстоятельствъ и, собравъ всѣ, какія были у него, средства, завести водочный заводъ въ Москвѣ. Меня отправилъ онъ для пріуготовленій...». Что значатъ слова: «для пріуготовленій» къ устройству завода? Что̀ пріуготовлять для этого почти цѣлый годъ, который прожилъ Н. А. въ Москвѣ, до пріѣзда туда самого отца на-

шего? Вотъ какъ, и почему все это происходило. Произведенія нашего водочнаго завода въ Курскѣ были такъ хороши, что, по собраннымъ тогда свѣдѣніямъ, подобныхъ не выдѣлывали въ Москвѣ, слѣдовательно можно было продавать ихъ тамъ въ большомъ количествѣ, тогда какъ сбытъ ихъ въ Курскѣ былъ ограниченъ. По согласію съ своимъ товарищемъ, отецъ нашъ вздумалъ учредить депо своихъ водокъ въ Москвѣ и для этого отправить туда Николая Алексѣевича, котораго обязанность состояла бы только въ оптовой продажѣ, слѣдовательно оставляла бы ему много досуга для другихъ любимыхъ его занятій. Съ такою цѣлью отправился онъ въ Москву, въ самомъ началѣ 1820 года. Я увѣренъ, что еслибы отецъ нашъ былъ сколько нибудь въ состояніи послать его туда единственно учиться и совершенствовать свои дарованія, онъ сдѣладъ бы это непремѣнно, даже безъ вызова Николая Алексѣевича; но нельзя было и думать о томъ, когда средства наши были чрезвычайно ограниченны, и необходимость заставляла прежде всего заботиться о безбѣдномъ содержаніи себя.

Въ первые мѣсяцы своего житья въ Москвѣ, Н. А. только собиралъ ближайшія свѣдѣнія о дѣлѣ, порученномъ ему, и уже лѣтомъ былъ отправленъ къ нему первый обозъ водокъ. Вообще это дѣло почти не отнимало у него времени, и онъ ревностнѣе, нежели когда нибудь, предался тому, о чемъ мечталъ такъ давно. Не могу не пожалѣть, что не сохранились письма, въ то время писанныя имъ ко мнѣ. Съ какимъ восторгомъ писалъ онъ, напримѣръ, что, абонировавшись въ разныхъ библіотекахъ, можетъ, наконецъ, имѣть всѣ книги, какія бы ни вздумалось ему читать или изучать.

«Не могу выразить тебѣ, — писалъ онъ мнѣ, — какое чувство овладѣло мною, когда во французской библіотекѣ мнѣ подали цѣлую книгу однихъ названій книгъ, находящихся въ моемъ распоряженіи, и когда я заглянулъ въ нее и увидѣлъ тамъ великія имена безсмертныхъ друзей

нашихъ, начиная отъ Гомера и Ѳукидида до современныхъ—Шатобріана и Делиля!

— «Что же вамъ угодно назначить? — спросилъ меня старикъ Бува, французъ, который бѣгло говоритъ какимъ-то ломанымъ языкомъ; но самый разговоръ пофранцузски былъ мнѣ пріятенъ, и я объяснялся съ нимъ безъ затрудненія: больше затруднялъ меня выборъ книгъ!.. Каково, братецъ? каково богатство?» Все это почти собственныя его слова, памятныя мнѣ.

Съ какимъ упоеніемъ извѣщалъ онъ меня потомъ, что читаетъ Винкельмана и всякій разъ переселяется съ нимъ въ новый, невѣдомый до тѣхъ поръ ему міръ!.. Особенно занимали его всѣ подробности, относившіяся къ литературѣ и литераторамъ. Побывавъ въ публичномъ собраніи Общества Любителей Россійской словесности, онъ описывалъ мнѣ наружность видѣнныхъ имъ членовъ этого Общества, присоединяя къ каждому имени самые почтительные эпитеты. Можно сказать, что онъ былъ какъ проголодавшійся странникъ, который долго шелъ по безлюдной степи, и наконецъ-то добрался до жилья и подсѣлъ къ накрытому столу: все казалось ему прекрасно! Но главнымъ предметомъ въ нѣсколькихъ письмахъ его ко мнѣ было описаніе пріязненнаго сближенія съ Михаиломъ Трофимовичемъ Каченовскимъ. Это долженъ объяснить я нѣсколько подробнѣе.

Имя Каченовскаго было знакомо намъ съ дѣтства. Оно казалось неразлучнымъ съ «Вѣстникомъ Европы», который долго оставался лучшимъ русскимъ журналомъ, и былъ для Николая Алексѣевича—какъ для Ломоносова грамматика Смотрицкаго и ариѳметика Магницкаго — вратами учености. «Вѣстникъ Европы» составлялъ обычное чтеніе въ нашемъ домѣ, и всѣ мы такъ привыкли къ нему, что издатель его, Каченовскій, казался намъ чѣмъ-то близкимъ, роднымъ. Многія умныя и ученыя статьи его внушили намъ невольное уваженіе къ нему, и уже съ дѣтства мы воображали его необыкновеннымъ человѣкомъ, уди-

вительнымъ писателемъ, который знаетъ все, потому что говоритъ обо всемъ, раздаетъ хвалы и осужденія, и всегда остается на недосягаемой другими высотѣ. Впослѣдствіи, когда мы уже могли давать себѣ отчетъ въ томъ, что читали, мы, по привычкѣ, невольно держали сторону Каченовскаго, тѣмъ больше, что противодѣйствія ему почти не было. Важное дѣло: привычка къ журналу. И въ наше время, и не въ одной Россіи, успѣхъ многихъ періодическихъ изданій объясняется только тѣмъ, что къ нимъ привыкли: привыкли даже къ ихъ слабостямъ и пошлостямъ, отчего и дѣльное, встрѣчаемое въ нихъ, кажется лучше, нежели въ другихъ подобныхъ изданіяхъ. «Вѣстникъ Европы» клонился къ упадку съ 1815 года: Каченовскій уже лѣниво занимался имъ, повторялъ одно и то же, сбивался на тѣ пошленькія остроты, которыми послѣ кололи его самого, а мы, провинціалы, видѣли въ немъ все еще свѣтило русской литературы, и братъ мой, особливо съ тѣхъ поръ, какъ въ «Вѣстникѣ» были помѣщены его статьи, присланныя изъ Курска, былъ приверженцемъ Каченовскаго и питалъ къ нему глубокое, искреннее уваженіе.

Поосмотрѣвшись въ Москвѣ, онъ почелъ самымъ пріятнымъ долгомъ явиться къ нему и описывалъ мнѣ это посѣщеніе съ юношескимъ довольствомъ. Все показалось ему умно, прилично, прекрасно у Каченовскаго. Даже деревянный домикъ у Пимена въ Воротникахъ, о которомъ читывали мы на каждой оберткѣ «Вѣстника Европы», представился брату моему философскимъ убѣжищемъ. Множество книгъ, разбросанныхъ въ кабинетѣ, показались ему свидѣтельствомъ учености, и самъ хозяинъ кабинета очаровалъ пылкаго юношу любезностью, умомъ, разнообразными свѣдѣніями, которыя высказалъ онъ въ разговорѣ съ нимъ. Каченовскій былъ дѣйствительно человѣкъ умный, ученый и, по-своему, любезный. Онъ легко находилъ мѣткія, язвительныя выраженія, когда характеризовалъ какого нибудь

недруга, умѣлъ быть веселымъ при случаѣ, и его искренняя страсть къ наукѣ дѣлала его краснорѣчивымъ, когда рѣчь касалась любимыхъ его предметовъ—исторіи и древностей Россіи. Въ свое время, когда ученость ограничивалась большимъ скопленіемъ книжныхъ свѣдѣній, онъ былъ однимъ изъ ученѣйшихъ между сверстниками и отличался между ними разсудительностью и критическимъ взглядомъ, который обратился у него, наконецъ, въ скептицизмъ. Онъ радушно встрѣтилъ Николая Алексѣевича, привѣтливо сказалъ ему, что не думалъ найдти въ сочинителѣ полученныхъ имъ статей такого молодаго человѣка и, еще менѣе, не записнаго ученаго, а купца. Н. А. выражалъ ему глубокое уваженіе, просилъ руководства его въ ученыхъ занятіяхъ и, повидимому, такъ привлекъ къ себѣ старика своимъ пылкимъ, образованнымъ умомъ, что онъ скоро сталъ принимать его, какъ искренняго пріятеля. На вопросъ молодаго пріятеля: чѣмъ заниматься ему для укрѣпленія своего образованія, Каченовскій рѣшительно и, думаю, искренно отвѣчалъ, что важнѣе, необходимѣе всего — заняться древними языками, особливо греческимъ, безъ котораго, какъ полагалъ онъ, нельзя основательно разработывать русской исторіи, привлекавшей къ себѣ Николая Алексѣевича послѣ первыхъ его попытокъ въ ней и одобренныхъ Каченовскимъ сужденій о разныхъ подробностяхъ ея. Для усовершенствованія себя въ слогѣ русскомъ, Каченовскій совѣтовалъ брату писать, переводить для «Вѣстника Европы». Я увѣренъ, что и въ этомъ совѣтѣ было не эгоистическое побужденіе журналиста, а прямое желаніе добра молодому писателю, въ которомъ онъ видѣлъ дарованіе. Ничто не даетъ такой опытности въ авторскомъ дѣлѣ, какъ журнальная работа: почти всѣ лучшіе писатели новаго времени, наши и иностранные, образовались сотрудничествомъ или работою въ журналахъ.

Съ восхищеніемъ писалъ мнѣ обо всемъ этомъ Н. А., и вполнѣ послѣдовалъ совѣту Каченовскаго. Греческіе сло-

вари, грамматики, учебники не сходили съ его столика, а сочиненія и переводы его стали являться въ каждой книжкѣ «Вѣстника Европы». Тамъ напечатано, между прочимъ, нѣсколько стихотвореній его, множество шарадъ, анаграммъ, омонимовъ, логогрифовъ, ничтожныхъ гремушекъ стихотворныхъ, которыя были тогда въ модѣ. Легкость, съ какою вообще писалъ стихи Н. А., была причиной, что онъ доставлялъ десятками эти вздоры Каченовскому, и они красовались въ каждой книжкѣ ученаго и литературнаго журнала. Я писалъ, наконецъ, брату, что пора ему быть умѣреннѣе въ этомъ родѣ сочиненій, и что онъ становится въ рядъ поставщиковъ шарадъ и логогрифовъ, надъ которыми смѣялись мы еще въ Курскѣ. Были даже своего рода знаменитости въ этомъ родѣ, которыя ничего инаго не печатали. Одинъ какой-то господинъ Варлаковъ, изъ Тобольска, особенно былъ неутомимъ и утѣшалъ насъ затѣйливостью своихъ выдумокъ. Его имя безпрестанно встрѣчалось на страницахъ журналовъ. «Благонамѣренный», журналъ А. Е. Измайлова, сдѣлался чуть не спеціальностью этого рода сочиненій, какъ сказали бы въ наше время, когда, заботясь объ оригинальности, искажаютъ языкъ. Но, вспоминая о тогдашней эпохѣ, нельзя не удивляться, какъ легко пріобрѣталась литературная извѣстность, и за какіе подвиги называли тогда поэтомъ! Писака, помѣстившій нѣсколько статеекъ въ журналахъ, или стихотворецъ, издавшій книжечку своихъ вдохновеній, заимствованныхъ у Делиля и Бернара, пріобрѣталъ названіе писателя, если только мало-мало былъ смыслъ и чистенькій языкъ въ его писаньѣ. Большая часть тогдашнихъ мелкихъ словесниковъ были въ этомъ родѣ. Правда, что тогда еще не достигли такого совершенства, какъ въ наше время, когда почитаютъ себя литераторами и дѣлаются журналистами люди, о которыхъ трудно сказать, что они знаютъ грамотѣ. Наименованіе поэта давалось за

нѣсколько стишковъ о которыхъ снисходительно отозвался журналистъ или какой либо извѣстный писатель.

При такомъ направленіи литературы неудивительно, что братъ мой увлекся сотрудничествомъ въ «Вѣстникѣ Европы» и печаталъ тамъ всякій вздоръ, недостойный упоминанія. Любопытные могутъ найдти имя его подъ многими статьями и стихотвореніями «Вѣстника Европы» 1820 года, а что напечатано тамъ безъ имени его, о томъ и самъ онъ не вспомнилъ бы. Но постоянное сотрудничество въ «Вѣстникѣ» доставило ему нѣкоторую извѣстность и знакомство съ литераторами. Изъ числа ихъ одинъ даже имѣлъ вліяніе—впрочемъ временное и краткое—на образъ мыслей его и отчасти на нѣкоторыя отношенія въ жизни: это Владиміръ Сергѣевичъ Филимоновъ (умершій въ 1858 году). Съ необыкновенною любезностью свѣтскаго человѣка онъ соединялъ образованность и понятія литераторовъ своего времени. Здѣсь необходимо выразиться подробнѣе о тогдашнихъ литераторахъ относительно взгляда ихъ на искусство. L'Art poétique Буало былъ для нихъ то же, что Алкоранъ для мусульманина; писать стишки, то есть сочиненія стиховъ въ двадцать, называлось работою, потому что въ самомъ дѣлѣ они въ потѣ лица работали надъ каждымъ стихомъ, передѣлывали и переправляли его, посвящали дни, недѣли на стихотворныя бездѣлки, и вымученныя такимъ образомъ изъ головы посланія и элегіи, оды и басни повергали ихъ въ продолжительное бездѣйствіе; но, отдохнувши полгода, годъ, иногда долѣе, они снова призывали вдохновеніе, то есть вновь переводили или вымучивали изъ себя какое нибудь стихотвореніе. Это не относится ни къ кому лично: я говорю только, какъ вообще тогда понимали поэзію и какъ занимались литературою всѣ, кромѣ немногихъ избранныхъ, всегда создающихъ себѣ свой собственный кодексъ и свои правила въ искусствѣ. Разговоры о литературѣ ограничивались выраженіемъ безграничнаго удивленія къ французской словесности и къ

тому, что одобрялось и восхвалялось у Лагарпа и подобныхъ ему теоретиковъ. Нельзя сказать, чтобы не мыслили, не разсуждали, но мыслили и разсуждали по указаніямъ французовъ, не имѣя понятія о самобытности, ни дерзновенія подумать: нѣтъ ли чего поглубокомысленнѣе французскихъ теорій?

Въ общество такихъ-то литераторовъ, съ одной стороны, и въ общество скептика и педанта въ наукѣ, съ другой, попалъ братъ. Одни твердили ему, что нѣтъ большаго подвига, какъ перевести достойнымъ образомъ сатиру Буало, отрывокъ изъ Делиля, модную пѣсню французскую, или написать что нибудь въ этомъ родѣ, а другой повторялъ, что, не читая греческихъ и латинскихъ хроникъ, нельзя и думать объ ученыхъ изслѣдованіяхъ. Слѣдуя совѣтамъ Каченовскаго, по крайней мѣрѣ, можно было прійдти къ какимъ нибудь полезнымъ, хоть отдаленнымъ, послѣдствіямъ; но совѣты и направленіе толпы литературной только умельчали, усыпляли дарованіе и вели его прямо къ уровню общей посредственности. На сторонѣ этихъ господъ было, однако же, общее мнѣніе, прелесть успѣха, свѣтское легкомысліе, приправленное остроуміемъ, насмѣшкой, и оттого заразительное, привлекательное для молодаго ума. Всѣ они боялись учености и критическаго пера Каченовскаго, однако это не мѣшало имъ и, можетъ быть, еще больше побуждало ихъ, въ своемъ кругу, подсмѣиваться надъ учеными педантами. Николай Алексѣевичъ, всегда увлекавшійся новостью, невольно сталъ отдѣляться отъ Каченовскаго, привлекаемый болтовнею и свѣтскимъ остроуміемъ другихъ литераторовъ.

Особенно сблизился братъ мой съ В. С. Филимоновымъ лѣтомъ 1820 года, когда въ его обществѣ познакомился съ другомъ его, Василіемъ Ѳедоровичемъ Тимковскимъ, братомъ знаменитаго ученостью профессора Романа Ѳеодоровича Тимковскаго, и еще болѣе извѣстнаго описателя путешествія въ Китай, Егора Ѳедоровича Тимковскаго. Василій

Ѳедоровичъ первоначально назначалъ себя также къ ученому поприщу и имѣлъ къ тому большія способности. Онъ былъ знатокъ латинской и нѣмецкой литературы и, перешедши въ службу дипломатическую, любилъ словесность и науки искренно. Во время послѣдней войны Россіи съ Наполеономъ, онъ, находясь при государственномъ секретарѣ Шишковѣ, сталъ извѣстенъ какъ отличный дѣловой человѣкъ, и въ описываемое мной время служилъ по азіатскому департаменту министерства иностранныхъ дѣлъ. Проѣзжая изъ Оренбурга, гдѣ успѣшно исполнилъ какое-то затруднительное порученіе, онъ остановился, на пути въ Петербургъ, отдохнуть въ Москвѣ нѣсколько времени. Онъ отличался въ обществѣ чистымъ малороссійскимъ юморомъ, даже говорилъ съ сильнымъ акцентомъ малороссіянина и, кажется, даже умѣлъ употреблять это какъ дипломатъ, высказывая съ видомъ шутливаго простодушія многое, чего нельзя выразить въ обыкновенныхъ формахъ разговора. Это же свойство ума чрезвычайно скоро сближало съ нимъ, потому что онъ былъ и уменъ, и остръ, и ученъ съ какою-то безпечною веселостью. Зная чуть не наизусть Горація, онъ всегда кстати произносилъ классическія его изреченія, и вообще любилъ примѣнять къ настоящему сближенія изъ исторіи греческаго и римскаго міра. Особенно бывалъ онъ любезенъ за бутылкой хорошаго вина, за медленнымъ обѣдомъ, а это случалось почти каждый день у Филимонова, пріѣхавшаго въ Москву также отдохнуть отъ службы, послѣ того какъ онъ былъ нѣсколько времени вице-губернаторомъ въ Новгородѣ. Гораціянскія бесѣды ихъ скоро произвели то, что Тимковскій сталъ называть Николая Алексѣевича юношею, а Филимонова Меценатомъ, который лелѣетъ дарованія. Много искрилось вина въ бокалахъ, много было сказано фразъ, въ родѣ: «Юноша! не презирай ни нѣжныя любви, ни пѣсенъ: наслаждайся!» — «Не надо фалернскаго: дай горькаго!»—«Почто трепетать о жизни, для которой надобно такъ мало!» — «Бѣжитъ, бѣжитъ не-

возвратимое время!» Такія бесѣды продолжались и послѣ отъѣзда Тимковскаго. Братъ мой былъ плѣненъ системой жизни, которую довольно заманчиво излагаетъ Дрозъ въ легкомысленной книгѣ своей, имѣвшей большой успѣхъ и напечатанной нѣсколько разъ подъ заглавіемъ: «Essai sur l'art d'être heureux». Братъ прислалъ мнѣ въ Курскъ эту книгу и совѣтовалъ утѣшать себя въ непріятностяхъ жизни прекрасною философіею Дроза, которая вся состоитъ въ томъ, что должно наслаждаться жизнью, слѣдовательно, должно улучшать ее и себя, равнодушно глядя на окружающія насъ неизбѣжныя препятствія въ достиженіи къ эпикурейскому идеалу. Этотъ жалкій, чахлый отпрыскъ многовѣтвистаго дерева эпикуреизма можетъ временно одурить юный умъ, и Н. А., находясь въ обществѣ, гдѣ не только восхищались Дрозомъ, но и приводили въ исполненіе его теорію, подкрѣпляя ее фразами изъ Горація и запивая шампанскимъ, нѣсколько времени раздѣлялъ убѣжденіе въ превосходствѣ мнимой философіи Дроза.

Слѣдствіемъ сближенія его съ Филимоновымъ было еще то, что они рѣшились устроить въ Москвѣ водочный заводъ, что̀ несомнѣнно было выгоднѣе, нежели привозить водки на продажу туда изъ Курска. Намѣреніе это было сообщено нашему отцу, и онъ съ охотою согласился привести его въ исполненіе, то есть устроить заводъ на общій съ Филимоновымъ капиталъ. Но прежде надобно было кончить дѣла и разсчеты завода, который былъ у насъ въ Курскѣ, тоже въ товариществѣ съ однимъ богатымъ человѣкомъ. Это представило разныя затрудненія, такъ что не прежде половины декабря отецъ мой, кончивъ всѣ дѣла свои въ Курскѣ, но оставивъ тамъ семейство, отправился въ Москву и взялъ съ собою меня.

Когда мы пріѣхали въ Москву, Н. А. вовсе не былъ погруженъ въ ученость, какъ я воображалъ себѣ. Онъ много читалъ, и я нашелъ у него множество новыхъ для меня книгъ; но авторская его дѣятельность ограничивалась

элегіями и мадригалами: онъ былъ по уши влюбленъ, что̀ случалось съ нимъ не разъ и прежде; но въ этотъ разъ можно было подумать, что истинная страсть обладала его сердцемъ. Въ домѣ отца милой дѣвицы, плѣнившей Николая Алексѣевича, В. С. Филимоновъ былъ старый пріятель, и это вскорѣ сдѣлало тамъ и брата моего искреннимъ, близкимъ человѣкомъ. Онъ разсуждалъ о газетныхъ новостяхъ съ старикомъ-отцомъ, неизмѣннымъ членомъ англійскаго клуба, и притомъ офицеромъ Суворовскихъ временъ: слѣдовательно, было о чемъ поговорить и легко было сблизиться съ главнымъ лицомъ дома, который посѣщалъ братъ мой почти ежедневно. Самое общество въ этомъ домѣ, разнообразное, пріятное, нравилось ему, такъ что, невольно и незамѣтно для самого себя, онъ оставался въ развлеченіи и бездѣйствіи: пріѣздъ нашъ въ Москву былъ благодѣтельнымъ противодѣйствіемъ такому состоянію духа. Началась вещественная дѣятельность по устройству завода. Остальные мѣсяцы зимы прошли въ пріисканіи удобнаго помѣщенія и въ распоряженіяхъ касательно устройства и открытія завода. Это лучше всего опровергаетъ слова Ник. Алексѣевича, что отецъ отправилъ его въ Москву для «пріуготовленій» къ водочному заводу. Конечно, проживши почти годъ въ Москвѣ, онъ узналъ мѣстныя обстоятельства и тѣмъ способствовалъ отцу нашему заняться устройствомъ завода, о которомъ еще и мысли не было за полгода прежде. Но самъ Н. А. никогда, ни въ Курскѣ, ни въ Москвѣ, не занимался имъ и даже не имѣлъ необходимыхъ для того свѣдѣній и опытности. Онъ способствовалъ кое-чему, но всегда по указаніямъ отца, а послѣ смерти его, потомъ, и вовсе не вмѣшивался въ распоряженія заводомъ, уже потому, что тогда началась настоящая литературная жизнь его. Дѣлами вообще распоряжался самъ отецъ нашъ, а потомъ я и другой старшій братъ мой, такъ что Николаю Алексѣевичу было много досуга и онъ не зналъ, какъ занять его. Онъ выражалъ эту мысль въ письмахъ къ Фили-

монову, который между тѣмъ уѣхалъ на житье въ Петербургъ. Любовь, вольное и невольное отвлеченіе отъ литературной дѣятельности, безъ которой, однако, не могъ онъ жить, неопредѣленность въ будущемъ, все это способствовало грустному расположенію его души. Не знаю, чѣмъ бы это кончилось, еслибы не представился случай къ новому развлеченію для него. По дѣламъ завода нашего необходимо было ходатайствовать объ одномъ обстоятельствѣ въ Петербургѣ. Н. А. отправился туда, возвратился на нѣкоторое время въ Москву и опять поѣхалъ въ Петербургъ, такъ что все лѣто, до осени, провелъ онъ тамъ, въ самыхъ пріятныхъ для него занятіяхъ и развлеченіяхъ, потому что дѣло, бывшее поводомъ къ его поѣздкѣ, требовало только наблюденія, очень не хлопотливаго. Онъ жилъ, большею частію, у Филимонова, или, по крайней мѣрѣ, всегда былъ въ его обществѣ, и имѣлъ разные случаи познакомиться съ нѣкоторыми литераторами. Кажется, больше всѣхъ оказывалъ ему пріязненное расположеніе Павелъ Петровичъ Свиньинъ. Это былъ плохой литераторъ, но безцѣнный человѣкъ ловкостью, находчивостью, услужливостью, готовый обязывать во всѣхъ мелочахъ. Онъ не могъ быть, да и не почиталъ себя меценатомъ; но, имѣя обширныя связи и безчисленныя знакомства, могъ быть полезенъ для тѣхъ, кто нуждался въ средствахъ для дѣятельности артистической или литературной. Неподдѣльною страстью въ немъ было отыскивать все замѣчательное русское, въ томъ числѣ и русскія дарованія; но такъ какъ онъ не обладалъ ни достаточною образованностью, ни проницательностью для этого, то часто впадалъ въ смѣшныя ошибки, поощрялъ бездарность, наживалъ себѣ враговъ въ людяхъ неблагодарныхъ и, впослѣдствіи, сдѣлался предметомъ злыхъ насмѣшекъ, отчего само покровительство его было непривлекательно. Онъ чрезвычайно обласкалъ Николая Алексѣевича, но не думаю, чтобы видѣлъ въ немъ кулика-самоучку (какъ упоминаетъ Н. А. въ предисловіи къ «Очеркамъ»). Въ немъ

было столько смѣтливости, что, разъ побесѣдовавъ съ такимъ необыкновеннымъ человѣкомъ, какъ Н. А., онъ, конечно, увидѣлъ въ немъ не самоучку-простолюдина. П. П. Свиньинъ всегда смирялся передъ его разностороннею образованностью и писательскимъ дарованіемъ. Онъ пригласилъ его участвовать въ своемъ журналѣ: «Отечественныя Записки» (отъ котораго произошелъ журналъ, издающійся нынѣ [1]) подъ тѣмъ же заглавіемъ), и вызвался съ своей стороны оказывать всякія услуги. Но брату моему надобно было въ это время спѣшить въ Москву, къ отцу, подвергшемуся тяжкой болѣзни, которая уже и не оставляла его до самой смерти.

Тяжелый былъ для насъ этотъ годъ!.. Кромѣ разныхъ непріятностей по дѣламъ, отецъ нашъ, котораго мы столько же любили, сколько уважали, неизмѣнный герой умомъ и здоровьемъ, вдругъ очутился на краю гроба отъ внезапнаго недуга. Лучшіе медики не понимали, что это была за болѣзнь, и оттого долго не могли даже облегчить его страданій, которыя такъ истощили его силы, что когда Н. А., по пріѣздѣ изъ Петербурга, взглянулъ на него,—онъ окаменѣлъ и не могъ выговорить ни слова, покуда не выплакался въ другой комнатѣ. Горе наше нѣсколько утихло, когда почтенный родитель нашъ почувствовалъ облегченіе отъ своей тяжкой болѣзни и даже сталъ опять думать о дѣлахъ. Зимою 1821—1822 года, Н. А. ѣздилъ въ Екатеринославскую губернію (по просьбѣ В. С. Филимонова, у котораго происходилъ тамъ раздѣлъ имѣнія), пробылъ нѣсколько времени въ Курскѣ, у матери нашей, съ которою давно не видался; ѣздилъ опять въ Петербургъ, и когда возвратился оттуда, отецъ нашъ, видя, что болѣзнь не оставляетъ его, подозрѣвая, можетъ быть, что она смертельна, поручилъ Николаю Алексѣевичу продолженіе заведеннаго имъ дѣла, а самъ отправился въ Курскъ, ласкаясь надеж-

[1]) Писано въ концѣ 50-хъ годовъ.

дою, что совершенное спокойствіе, тихая семейная жизнь и благорастворенный климатъ родины помогутъ ему лучше медицины. Но дни его были уже изочтены...

Мы проводили его до Поклонной горы и съ грустнымъ чувствомъ возвратились домой. Извѣстія изъ Курска были попеременно то тревожныя, то успокоительныя. Лѣтомъ, послѣ одного письма отъ матери, Н. А. поскакалъ въ Курскъ; но именно въ это время отцу нашему стало лучше, такъ что, когда, послѣ нѣсколькихъ дней, проведенныхъ въ семействѣ, братъ отправился обратно въ Москву, отецъ нашъ, вмѣстѣ съ другими, вышелъ на крыльцо провожать его и благословляя прибавилъ: «А вскорѣ, Богъ дастъ, и я къ вамъ пріѣду». Успокоенный такимъ образомъ, возвратился Н. А. въ Москву, и тогда-то началась его истинная литературная дѣятельность.

Я уже объяснялъ, что заводъ нашъ не требовалъ съ его стороны почти никакихъ заботъ. Совершенно располагая своимъ временемъ, онъ занялся окончательнымъ обработываніемъ своей системы спряженій русскихъ глаголовъ, углубился въ изслѣдованіе разныхъ вопросовъ русской исторіи, переводилъ стихами Мольерова «Тартюфа», писалъ статьи для одного сборника, который издавалъ книгопродавецъ Ширяевъ, старинный пріятель его, и участвовалъ въ журналѣ Свиньина. Занятіямъ его русской исторіею способствовало еще одно обстоятельство, которое не осталось безъ послѣдствій, и потому должно быть изложено мною съ нѣкоторыми подробностями.

Лѣтомъ 1822 года проѣзжалъ черезъ Москву В. Ѳ. Тимковскій, отправившійся на службу въ Грузію. Пріязнь его съ Николаемъ Алексѣевичемъ укрѣпилась въ предшествовавшемъ году, когда братъ мой провелъ почти все лѣто въ Петербургѣ и былъ неразлученъ съ Филимоновымъ и Тимковскимъ. Отправляясь въ дальній путь и на многіе годы, Тимковскій остановился въ Москвѣ, между прочимъ, для того, чтобы принять оставшуюся послѣ смерти брата его,

Романа Ѳедоровича, библіотеку,—не большую, но составленную изъ отборныхъ ученыхъ книгъ, почти исключительно относившихся къ древнимъ литературамъ и къ русской исторіи. Онъ просилъ брата моего взять эту библіотеку къ себѣ и хранить ее до его востребованія, предоставляя ему между тѣмъ пользоваться ею. Можно ли было сдѣлать бо́льшее одолженіе человѣку, жаждавшему учености всякаго рода! Для него любопытно было видѣть даже то, какими пособіями руководствовался одинъ изъ лучшихъ знатоковъ русской исторіи. Когда была перевезена къ намъ библіотека Тимковскаго, состоявшая сотенъ изъ двухъ томовъ, братъ, можно сказать, впился въ нее. Множество мыслей рождалось въ немъ при чтеніи всякой новой книги. Спѣшу замѣтить, что въ библіотекѣ Тимковскаго не было ничего рѣдкаго, необыкновеннаго; но для брата моего было достаточно и этого ученаго богатства: онъ перечиталъ, пересмотрѣлъ все важнѣйшее, что представляла тогда литература русской исторіи. Это повело его къ разнымъ изысканіямъ и оригинальнымъ идеямъ, какія всегда рождались въ головѣ его при занятіи новымъ предметомъ. Самое слово: археографія, было впервые примѣнено имъ и лишь впослѣдствіи употреблено П. М. Строевымъ и утвердилось въ нашемъ ученомъ языкѣ.

Тимковскій поручилъ также вниманію Николая Алексѣевича двухъ своихъ племянниковъ, воспитывавшихся въ Московскомъ университетѣ на казенномъ содержаніи. Однимъ изъ нихъ былъ Михаилъ Александровичъ Максимовичъ, вскорѣ сдѣлавшійся въ нашемъ домѣ домашнимъ человѣкомъ, искреннимъ пріятелемъ. Много лѣтъ послѣ того мы оказывали ему беззавѣтное гостепріимство. Увидимъ далѣе, чѣмъ кончилась эта пріязнь!

Къ этому же времени относится знакомство Николая Алексѣевича съ достопамятнымъ Зоріяномъ Ходаковскимъ. Въ наше время софизмовъ и мнѣній, внушаемыхъ корыстолюбіемъ, изображаютъ этого человѣка непризнаннымъ

геніемъ; я опишу его, каковъ онъ былъ въ дѣйствительности. Происхожденіе его покрыто таинственностью. Въ «Энциклопедическомъ Лексиконѣ» даже представлена, въ видѣ исторической загадки, двойственная его біографія. Несомнѣнно то, что онъ былъ польскаго происхожденія и даже не зналъ порядочно никакого другаго языка, кромѣ польскаго. Порусски онъ писалъ плохо, а говорилъ съ сильнымъ польскимъ акцентомъ и самымъ простонароднымъ нарѣчіемъ. Онъ самъ разсказывалъ намъ много разъ, что, во время нашествія наполеоновыхъ армій на Россію, онъ служилъ въ корпусѣ Даву, былъ взятъ въ плѣнъ около Москвы, но вообще не любилъ распространяться объ этомъ времени своей жизни и отклонялъ всѣ вопросы, какъ и что происходило тогда въ глазахъ его. Казалось, ему совѣстно было представлять себя непріятелемъ русскихъ, отъ которыхъ видѣлъ онъ впослѣдствіи ласку и гостепріимство. Карамзинъ одобрилъ его предположеніе отыскивать и описывать городки, то есть небольшія земляныя насыпи извѣстной формы, разбросанныя на великихъ пространствахъ Россіи и, какъ полагалъ Ходаковскій, означающія древнѣйшее мѣстопребываніе славянъ, такъ что по нимъ думалъ онъ опредѣлить пространство, которое занимали славяне, а изъ сохранившихся названій городковъ вывести нѣкоторыя филологическія и историческія заключенія. Огласивши въ журналахъ свой проектъ и получивъ денежное пособіе отъ нашего правительства, Ходаковскій началъ свои изслѣдованія съ Новгородской губерніи, но въ два года не сдѣлалъ ничего, и ему прекратили выдачу назначенной на путешествіе его суммы. Онъ кой-какъ добрался до Москвы и былъ въ затруднительномъ положеніи. Не только продолжать свое фантастическое путешествіе, но и жить было ему нечѣмъ. Оправдать возбужденныхъ имъ надеждъ онъ не могъ и въ разговорахъ давалъ разумѣть, что правительство перестало давать пособіе для ученыхъ трудовъ его, по интригѣ Карамзина, будто бы ненавидѣвшаго его за нѣкоторыя кри-

тическія замѣтки на «Исторію государства Россійскаго». Знакомые равнодушно выслушивали многорѣчивыя его разглагольствія, но со свойственнымъ русскому человѣку радушіемъ оказывали ему гостепріимство и пособіе. Надобно сказать, что личныя потребности Ходаковскаго были чрезвычайно умѣренны. Всегдашній костюмъ его составляли: сѣрая куртка и сѣрые шаровары, а на головѣ что-то въ родѣ суконнаго колпака. Въ такомъ костюмѣ являлся онъ всюду, и обращалъ на себя вниманіе солдатскою откровенностью, близкою къ грубости. Всѣхъ дамъ, безъ различія съ простолюдинками, называлъ онъ «матушка», всѣхъ мужчинъ «батюшко». Пришедши въ гости, онъ обыкновенно оставался до тѣхъ поръ, когда надобно было ложиться спать. Особенно милъ бывалъ онъ съ людьми, отличавшимися изысканнымъ костюмомъ и свѣтскими манерами, и называлъ ихъ въ глаза «фанфаронами». Но никто не сердился на него за выраженія и обращеніе, которыя другому стоили бы дуэли: на такую ногу умѣлъ онъ поставить себя, что на него смотрѣли, какъ на Діогена. Смѣшно было бы вызывать на дуэль Діогена!.. Одному остроумцу сказалъ онъ, прислушавшись къ его разсказу о разныхъ успѣхахъ въ свѣтѣ:

— Не вѣрю я вамъ: вы, видно, любите говорить чепуху.—Другому молодому человѣку, замѣчательному носомъ съ горбомъ, онъ сказалъ, увидѣвши его больнымъ:

— Умрите вы: мнѣ васъ не жаль; но жаль только вашего итальянскаго носа, какихъ я мало видѣлъ въ Россіи.

Таковъ былъ онъ по наружности, таковъ и умомъ, и образованностью. Дерзкій циникъ, онъ бранилъ всѣхъ и не смущался отъ своего невѣжества. Не зная ни одного иностраннаго языка, не имѣя понятія о необходимой для историка учености, онъ, однако же, иногда довольно мѣтко и проницательно критиковалъ Карамзина и открывалъ смыслъ въ событіяхъ, затруднявшихъ другихъ изслѣдователей. Онъ почти ничего не читалъ и у него не было никакихъ книгъ, кромѣ нѣсколькихъ, самыхъ обыкновенныхъ польскихъ, за-

саленныхъ, какъ онъ самъ. Пять, шесть разрозненныхъ томовъ исторіи Карамзина были у него исписаны замѣтками, иногда самыми циническими. Драгоцѣнностью своею почиталъ онъ карту Россіи, на которой были означены открытые имъ городки, или имена, напоминавшія городки. Почти во всякомъ разговорѣ онъ склонялъ рѣчь на этотъ предметъ и объяснялъ, что въ Россіи множество мѣстъ и урочищъ носятъ названія, которыя скороговоркой произносилъ онъ неизмѣнно: «городъ, городокъ, городецъ, городня, городище». «Да, кромѣ того («батюшко» или «матушка»,—прибавлялъ онъ), гдѣ есть названія отъ бабы, отъ березы, отъ дида (и еще слѣдовало исчисленіе нѣсколькихъ именъ), вѣрно тамъ есть или было городище». Съ такою рѣчью обращался онъ ко всякому, кого встрѣчалъ, особливо въ первый разъ. Напримѣръ, Зоріянъ (какъ мы называли его) сидитъ у насъ, и вдругъ пріѣзжаетъ знакомое семейство, дама съ сыномъ и двумя дочерьми. Давши имъ поосмотрѣться и самъ вслушавшись въ разговоръ, онъ, въ неизмѣнномъ своемъ костюмѣ, подсаживается къ сыну и говоритъ:

— Вы, батюшко, изъ Тульской губерніи?

— Да, — отвѣчаетъ молодой человѣкъ.

— А какого уѣзда, батюшко?

— Бѣлевскаго.

— А слышали вы тамъ, батюшко, про городища?

Молодой человѣкъ глядитъ на него въ недоумѣніи; Зоріянъ начинаетъ объяснять, что значитъ городище, разспрашиваетъ о мѣстности, извѣстной тому, и утверждаетъ, что тутъ непремѣнно должно быть городище. Допросивши сына, онъ приближается къ матери и почти въ тѣхъ же выраженіяхъ дѣлаетъ допросъ ей; наконецъ, обращается и къ дочерямъ, съ вступленіемъ новаго рода, удивительно любезнымъ, какъ онъ полагалъ:

— Вы, баришни, урожденки Тульской губерніи, земли вятичей! вы, вѣрно, любили гулять по рощамъ и лѣсамъ, и знаете рѣчку, которая, вотъ недалеко отъ вашей деревни,

круто поворачиваетъ влѣво; тутъ, вѣрно, есть холмикъ и вокругъ него валъ!

Иногда онъ, точно, добивался, такимъ образомъ, желанныхъ свѣдѣній, изумлялъ знаніемъ мѣстностей, которыхъ никогда не видывалъ, и, услышавъ о новомъ городкѣ, вносилъ его въ свой алфавитный списокъ городковъ и отмѣчалъ на картѣ. Въ этомъ состояло все его занятіе въ Москвѣ. Онъ обращался съ разспросами ко всякому, нарочно ходилъ на Болотный рынокъ, куда съѣзжаются обозы съ разными припасами изъ ближайшихъ губерній, и умѣлъ выспрашивать у русскихъ мужичковъ о городкахъ. Съ нимъ случались даже пресмѣшныя исторіи. Однажды, онъ разговорился съ мужиками, стоявшими при господскомъ обозѣ, и замѣтивъ, что они не очень подаются на его разспросы, пригласилъ нѣсколькихъ изъ нихъ въ трактиръ, гдѣ, при помощи водки и чаю, распаялъ ихъ сердца и выспросилъ, что было ему нужно. Продолжая разговаривать, воротился онъ съ ними къ ихъ обозу, гдѣ уже былъ приказчикъ, завѣдывавшій этимъ обозомъ и уже знавшій, что какой-то баринъ увелъ нѣсколькихъ мужиковъ въ трактиръ. Зоріянъ съ жаромъ разспрашивалъ ихъ о всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ знакомой имъ мѣстности. Вдругъ приказчикъ хватаетъ его за воротъ, громко восклицая:

— Пойдемъ-ка, братъ, на съѣзжую! Вишь, баринъ, въ кургузой курткѣ!... Не первый ты подсыльный отъ такихъ-то.

Тутъ онъ назвалъ сосѣднихъ помѣщиковъ, съ которыми господинъ его велъ нескончаемый процессъ за тѣ самыя земли, о которыхъ разспрашивалъ Зоріянъ. Ошеломленный такимъ неожиданнымъ нападеніемъ, Ходаковскій хотѣлъ объяснить, для чего онъ разспрашивалъ мужиковъ, повторяя, что онъ ученый; но приказчикъ тащилъ его на съѣзжую, приговаривая:

— Ученый! А вотъ мы тебя выучимъ!.. Станетъ ли добрый человѣкъ шпіонить у мужиковъ, да водить ихъ

пьянствовать въ трактиръ!.. Баринъ! въ морозъ ходитъ по рынку въ кургузомъ кафтанѣ, да мужиковъ подговариваетъ! На съѣзжей скажешь всю правду!

И онъ дѣйствительно привелъ его на съѣзжую, гдѣ объяснилось дѣло и гдѣ уже знали Ходаковскаго, потому что это приключеніе было повтореніемъ двухъ-трехъ прежнихъ, когда также принимали его то за вора, то за шпіона, и таскали на съѣзжую. Такому подозрѣнію способствовали его странный видъ, его костюмъ и нерусскій выговоръ.

Надобно согласиться, что такой способъ собирать историческія свѣдѣнія и подробности не представлялъ никакого ручательства: многое, если не все, надлежало бы повѣрить личнымъ обозрѣніемъ. Но Ходаковскій былъ очень доволенъ своимъ успѣхомъ въ розысканіяхъ о городкахъ и, приходя къ намъ часто, почти каждый разъ начиналъ рѣчь словами:

— Открывается много новаго!

А новое состояло въ томъ, что онъ разспрашивалъ какую нибудь старуху, какого нибудь мужика изъ дальней стороны, и та или тотъ сказали ему, что близь ихъ деревни есть поповъ, или дѣвичій, или бабій городокъ. Иногда происходили въ глазахъ нашихъ истинно-комическія сцены съ его разспросами. Входитъ въ комнату человѣкъ, вовсе ему незнакомый, и еще не успѣлъ этотъ человѣкъ сказать, зачѣмъ пришелъ, какъ Зоріянъ начинаетъ допрашивать его. Кое-какъ отдѣлавшись отъ допросчика, тотъ спрашиваетъ:

— Что это: помѣшанный, что ли?

Другіе принимали его за пьянаго, иные воображали, что встрѣтились съ слѣдственнымъ приставомъ; наконецъ, большая часть ровно ничего не понимали въ словахъ его... Безспорно, что такая страсть, имѣющая хотя отдаленною цѣлью пользу науки—почтенна; однако, по способу Ходаковскаго, это была самая грубая и, что хуже, смѣшная обработка ученаго предмета, который и оставался у Хода-

ковскаго въ такомъ грубомъ видѣ. Къ оправданію его можно сказать, что онъ не имѣлъ никакихъ средствъ заниматься иначе. Онъ былъ не приготовленъ, даже не способенъ къ ученымъ изслѣдованіямъ, и къ тому еще, какъ уже я сказалъ, находился въ это время въ самомъ стѣсненномъ положеніи. У кого только могъ, онъ занималъ деньги; но долго ли можно прожить займомъ? Продавать и нечего было. Еще съ самаго начала знакомства съ Николаемъ Алексѣевичемъ, онъ продалъ ему словарь Линде, единственную хорошую и цѣнную книгу свою, говоря, что она ему не нужна и даже въ тягость. Потомъ онъ сталъ занимать у него деньги; наконецъ, когда сумма занятыхъ денегъ возросла уже до нѣсколькихъ сотенъ рублей, онъ просто выпрашивалъ по полуимперіалу! Жалко было отказывать, но нельзя было и давать больше. Видя самъ необходимость заняться чѣмъ нибудь для насущнаго хлѣба и слѣдуя совѣту искренно-желавшихъ ему добра, Ходаковскій искалъ какой нибудь должности и, наконецъ, опредѣлился управляющимъ въ имѣніе одного помѣщика Тверской губерніи. Мы разстались съ нимъ навсегда, но при отъѣздѣ онъ увѣрялъ, что непремѣнно заплатитъ деньги, взятыя въ разное время у Николая Алексѣевича. Остались и росписки его въ этихъ деньгахъ. Кажется, еще въ Москвѣ женился онъ на единственной своей прислужницѣ, которую называлъ своею благодѣтельницею. Это обстоятельство надобно замѣтить, какъ необходимое для объясненія послѣдствій знакомства Николая Алексѣевича съ Ходаковскимъ.

V.

Кончина А. Е. Полеваго.— Награда, выданная Николаю Алексѣевичу Россійской академіей.— Сближеніе съ петербургскими литераторами.— Женитьба Николая Алексѣевича.—Московскіе литературные кружки и Общество любителей россійской словесности.— Вѣяніе новой философіи.— Литераторы-оригиналы и литераторы-фанатики.— Отношенія Н. А. къ Прокоповичу-Антонскому и къ кн. В. Ѳ. Одоевскому.

Осень 1822 года была для насъ грустною эпохою кончины незабвеннаго, добродѣтельнаго нашего родителя. Онъ скончался 26-го августа, при быстромъ кризисѣ болѣзни, такъ что въ это время не было при немъ ни одного изъ насъ, сыновей его. Мы знали уже давно, что состояніе его было трудно, однако, получая отъ него самого приказанія оставаться въ Москвѣ, не могли предугадать, когда настанетъ торжественная минута вѣчной разлуки. Не могли знать этого и бывшія вокругъ него наши сестры и наша мать. Тѣмъ прискорбнѣе было получить вдругъ, внезапно, извѣстіе, что онъ скончался, и описаніе послѣднихъ минутъ христіанской его кончины услаждалось для насъ только тѣмъ, что передъ самою смертью онъ утѣшалъ мать нашу надеждою на своихъ дѣтей, благословлялъ насъ и повторилъ не разъ:

— Ребята мои поддержатъ мое имя.

Николай Алексѣевичъ не замедлилъ отправиться въ Курскъ, сколько для утѣшенія матери и сестеръ, столько же и для приведенія въ порядокъ нѣкоторыхъ дѣлъ и отношеній скончавшагося отца. Онъ принялъ на себя оставшіеся послѣ него долги, хотя они превышали то, во что можно было оцѣнить все тогдашнее наше достояніе. Въ Курскѣ оставался Н. А. до поздней осени и старался сколько можно успокоить и обезпечить достойную любви и уваженія мать нашу. Она еще не хотѣла переселяться въ

Москву и оставить свой милый домъ съ устроеннымъ хозяйствомъ, гдѣ провела нѣсколько мирныхъ, хотя и не совсѣмъ счастливыхъ лѣтъ.

По возвращеніи въ Москву, Н. А. вскорѣ улетѣлъ въ Петербургъ, куда призывали его уже не дѣла, а литературныя знакомства. Въ это время Россійская академія наградила его большою серебряною медалью за изслѣдованіе о русскихъ глаголахъ; статьи его въ «Отечественныхъ Запискахъ» также обращали на себя вниманіе оригинальностью взгляда, изложеніемъ и смѣлостью заключеній. Онъ уже имѣлъ случай и подшибить крылья не одной литературной воронѣ, представлявшейся павою, если не коршуномъ. Нѣкоторыя замѣтки его, касательно русской исторіи, показывали въ немъ также не пошлаго копуна. Этого было довольно для извѣстности въ тогдашнемъ нашемъ литературномъ мірѣ, гдѣ многія знаменитости были основаны на нѣсколькихъ журнальныхъ статейкахъ, на сладенькихъ стихотвореніяхъ. Неудивительно, что предшествуемый своею оригинальною извѣстностью, ласкаемый всюду, куда являлся, онъ любилъ петербургскій кругъ своихъ знакомыхъ. Вообще, тогда было въ Петербургѣ больше литературной жизни, нежели въ Москвѣ. Послѣ того, какъ оставили Москву почти всѣ современныя свѣтила русской литературы, она стала замѣтно отставать отъ Петербурга, гдѣ, кромѣ прежнихъ литературныхъ знаменитостей, явилось нѣсколько молодыхъ дарованій, обѣщавшихъ многое и уже заслужившихъ извѣстность. Старики — ученые и литераторы—Каченовскій, Мерзляковъ, Гавриловъ, С. Н. Глинка и нѣкоторые другіе, не шли впередъ, даже отставали отъ прежней своей дѣятельности, и не гармонировали съ новою пылкою дѣятельностью Полеваго, на котораго они глядѣли даже подозрительно, какъ на выскочку,—по крайней мѣрѣ, какъ на смѣльчака. Этимъ объясняется, почему онъ часто ѣздилъ въ Петербургъ, оставался тамъ сколько было можно, и писалъ не для единственнаго тогда московскаго литера-

турнаго журнала («Вѣстника Европы»). Въ 1823 году, познакомился онъ съ Н. И. Гречемъ и съ Ѳ. В. Булгаринымъ и былъ очарованъ ихъ обществомъ, гдѣ соединялось все, что только было остроумно-литературнаго, современнаго, блестящаго въ сравненіи съ тѣмъ, что представлялъ московскій литературный міръ. Кругъ знакомыхъ Николая Алексѣевича былъ уже чрезвычайно обширенъ: можно сказать, что начиная отъ А. С. Шишкова, до самыхъ юныхъ тогдашнихъ сподвижниковъ литературы, всѣ стали извѣстны ему лично, и отъ всѣхъ видѣлъ онъ привѣтъ самый ободрительный для пылкой его души.

Послѣ этой поѣздки въ Петербургъ, онъ велъ довольно постоянно переписку со многими изъ петербургскихъ литераторовъ, между прочимъ съ Н. И. Гречемъ о русской грамматикѣ, потому что, какъ писалъ ему г. Гречъ, онъ не находилъ другаго, болѣе полезнаго сотрудника въ дѣлѣ, требующемъ не только свѣдѣній, но и проницательности и трудолюбія. Но это не могло продолжаться, потому, во-первыхъ, что Н. А. не былъ способенъ посвятить много лѣтъ для одного занятія и, во-вторыхъ, по причинѣ, далекой отъ литературы: онъ сбирался жениться.

Забывъ прежнюю свою любовь, которая мучила его нѣсколько лѣтъ, онъ любилъ уже ту, которой суждено было сдѣлаться его женою. Все лѣто 1823 года плавалъ онъ въ мечтахъ влюбленнаго, ѣздилъ лѣтомъ странствовать по нѣсколькимъ губерніямъ и, возвратившись въ Москву, около сентября мѣсяца, просилъ нашу мать, пріѣхавшую погостить у насъ, благословить его на женитьбу. Вскорѣ это устроилось, и въ октябрѣ 1824 года Николай Алексѣевичъ уже былъ женатъ

Само собою разумѣется, что это важное въ жизни событіе отвлекло его на нѣкоторое время отъ литературной дѣятельности; но еще въ 1823 году, зимою, онъ ѣздилъ въ Петербургъ, пожить въ кругу умственной жизни, которой не находилъ въ Москвѣ, гдѣ, какъ объяснялъ я, почти

каждый литераторъ и ученый жилъ только для себя или сближался съ единомысленными ему людьми, чаще всего внѣ литературныхъ отношеній. Здѣсь кстати замѣтить, что Наполеоново нашествіе разрушило не однѣ стѣны и зданія Москвы: оно совершенно уничтожило и прежнюю жизнь ея, такъ что, возрождаясь, наша древняя столица принимала новый характеръ во всемъ — и даже въ литературѣ. Прежній, блестящій кругъ литературный, оживленный присутствіемъ нѣсколькихъ первоклассныхъ писателей соединявшійся и съ свѣтскимъ обществомъ, разстроился, и уже не могъ образоваться вновь, особливо при увеличивавшейся притягательной силѣ Петербурга. Карамзинъ вскорѣ совсѣмъ переселился туда; Жуковскій бывалъ въ Москвѣ только по временамъ и также переѣхалъ въ Петербургъ; Батюшковъ жилъ заграницею. Изъ числа прежнихъ и новыхъ тогдашнихъ знаменитостей литературныхъ, въ Москвѣ постоянно жили: Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ и князь Петръ Андреевичъ Вяземскій, принадлежавшій къ молодымъ литераторамъ. Но московскіе ученые и литераторы не любили сближаться ни съ Дмитріевымъ, ни съ княземъ Вяземскимъ, ни другъ съ другомъ. Профессоръ Мерзляковъ, вѣрный поклонникъ классицизма, занимался больше всего своими лекціями и, преподавая теорію и исторію словесности, нещадно бранилъ романтиковъ и всѣхъ нововводителей; Каченовскій сбирался преобразовать понятія о русской исторіи, но ограничивался изслѣдованіями о куньихъ мордкахъ и кожаныхъ деньгахъ, а въ «Вѣстникѣ Европы» больше и больше увлекался въ нетерпимость и язвительно отзывался о новой философіи и нововведеніяхъ въ литературѣ. Другіе старики почти ничего не дѣлали. Не могу поименовать ихъ всѣхъ, но, для примѣра, назову двухъ самыхъ оригинальныхъ и достопамятныхъ: Сергѣя Николаевича Глинку и князя Шаликова.

Глинка!.. незабвенный, благородный неподражаемый Сергѣй Глинка!.. Я много буду говорить о немъ и надѣюсь

показать во всемъ блескѣ добра этого истиннаго христіанина... Но въ описываемое мною время Глинка былъ просто книгодѣлатель, а не литераторъ. Онъ издавалъ какую-то тѣнь «Русскаго Вѣстника», не въ срочное время какія-то тоненькія книжки, на которыхъ бывало напечатано: «Русскій Вѣстникъ, № 1, 2, 3, 4», иногда и по шести нумеровъ въ одной брошюрѣ. Онъ напечаталъ многословную компиляцію подъ заглавіемъ Русской Исторіи, въ нѣсколькихъ томахъ, написанныхъ имъ на-скоро, напыщенно, какъ все, что̀ писалъ онъ въ это время. Вообще, сочиненія, издаваемыя имъ, не внушали уваженія.

Князь Петръ Ивановичъ Шаликовъ былъ издавна извѣстный фанатическій послѣдователь Карамзина. Онъ почиталъ своею славою подражать этому знаменитому писателю, но въ самомъ дѣлѣ подражалъ только недостаткамъ его, особенно сантиментальности, которую доводилъ до истиннаго комизма. Вообще, какъ писатель, онъ былъ славенъ съ самой комической стороны, и съ 1823 года началъ издавать «Дамскій Журналъ», который былъ плохъ и смѣшонъ, однако, имѣлъ подписчиковъ.

Таковы были старые литераторы, оказывавшіе хоть какую нибудь дѣятельность. Еще нѣкоторые: Максимъ Ивановичъ Невзоровъ, Владиміръ Васильевичъ Измайловъ, Михаилъ Николаевичъ Марковъ (всѣ бывшіе нѣкогда журналистами) или не писали вовсе ничего, или такъ же, какъ многіе изъ молодыхъ писателей, ограничивались писаніемъ стишковъ и маленькихъ прозаическихъ статеекъ, какими тогда обыкновенно составляли и поддерживали литературную извѣстность.

Въ Москвѣ существовало общество литературное, утвержденное правительствомъ и извѣстное подъ именемъ «Общества любителей россійской словесности». Предсѣдателемъ и двигателемъ его былъ Антонъ Антоновичъ Прокоповичъ-Антонскій, ученый стараго времени, долго бывшій профессоромъ, ректоромъ университета, начальникомъ уни-

верситетскаго благороднаго пансіона. Онъ отличался оригинальнымъ умомъ и необыкновенною ловкостью въ жизни, составилъ себѣ подъ старость огромное богатство какими-то невѣдомыми средствами, жилъ со всѣми въ ладу, но былъ не литераторъ и не написалъ во всю долгую свою жизнь ничего, кромѣ нѣсколькихъ оффиціальныхъ рѣчей. Онъ умѣлъ, однако же, придать Обществу любителей россійской (не русской) словесности что-то похожее на литературную дѣятельность. Постоянно собирались у него члены Общества, читали свои статейки и стишки, избирали въ члены свои всѣхъ знаменитыхъ и извѣстныхъ писателей; но какъ, за исключеніемъ Дмитріева и князя Вяземскаго, лучшіе тогдашніе писатели жили не въ Москвѣ, то собранія Общества составлялись изъ членовъ наличныхъ, а въ числѣ ихъ были и такіе, которые иногда прочитывали чужія сочиненьица, стишки, или даже стихи Пушкина и Жуковскаго, но сами не писали ничего, и почему были членами литературнаго Общества,—неизвѣстно и теперь. Не называю никого, не желая тревожить именъ людей, вѣроятно, почтенныхъ; но кто подумаетъ, что я разсказываю сказку, того прошу заглянуть въ печатные списки членовъ Общества любителей россійской словесности. Тамъ найдутся имена лицъ, вовсе неизвѣстныхъ въ литературѣ. Но Общество собиралось, читало, привлекало много любопытныхъ въ свои публичныя собранія, и всѣ удивлялись искусству Антонскаго вести дѣла. Только литературѣ было оттого не легче. Это самое Общество показывало, что литература ограничивалась формами, мнимою дѣятельностью, пустословіемъ, и служила больше всего самолюбію и связямъ, а не удовлетворяла живой потребности ума, стремленіямъ, изыскательности духа человѣческаго. Почитали литераторомъ того, кто напечаталъ хоть что нибудь. Къ извѣстности, къ праву входа въ литературныя общества, въ Москвѣ и Петербургѣ, былъ извѣстный путь, а именно вотъ какой. Надобно было умѣть соблюдать только нѣкоторыя формы слога или стихо-

творства, и при этомъ написать что хотите — нѣсколько стихотвореній, нѣсколько статеекъ, добиться того, чтобы онѣ были напечатаны въ журналахъ или въ сборникахъ, издававшихся разными обществами, и послѣ этого открытъ былъ доступъ въ члены литературныхъ обществъ, пробита вѣрная дорога къ литературной извѣстности. Автора стишковъ начинали величать извѣстнымъ, или, по крайней мѣрѣ, любезнымъ нашимъ поэтомъ, а прозаика остроумнымъ, ученымъ или, по крайней мѣрѣ, почтеннымъ нашимъ литераторомъ. Если стихотворецъ написалъ нѣсколько стишковъ въ одномъ родѣ, то его именовали, смотря по роду сочиненій, фабулистомъ, идиллистомъ, эпиграмматистомъ, сатирикомъ, лирикомъ, потому что смотрѣли на большія сочиненія — драму, поэму — какъ на подвигъ, которому надобно посвятить всю жизнь, и даже рѣдко осмѣливались браться за сочиненіе трагедіи или поэмы, довольствуясь болѣе удобною славою маленькаго творца маленькихъ стихотвореній. Кто подражалъ какому нибудь извѣстному французскому стихотворцу втораго и третьяго разряда, того за отличную и долгую выслугу начинали называть нашимъ Шольё, Бернаромъ и тому подобными поэтическими именами. Иногда, за особенныя смѣлости въ подражаніи, рѣшались находить у насъ своихъ Гораціевъ, своихъ Тибулловъ, Ювеналовъ, Марціаловъ, и даже, — недосягаемое совершенство! — своихъ Буало.

Это направленіе литературы особенно укоренилось въ Москвѣ. Въ Петербургѣ въ это самое время явилось нѣсколько дѣятельныхъ писателей, которые тотчасъ привлекли къ себѣ вниманіе общее. Долго «Сынъ Отечества» былъ тамъ единственнымъ умнымъ, живымъ, во многомъ образцовымъ журналомъ; съ 1822 года, явился «Сѣверный Архивъ», ученый, дѣльный журналъ, отличавшійся литературнымъ характеромъ, то есть, въ немъ даже ученыя изслѣдованія были писаны чистымъ языкомъ и облечены фор-

мами литературными. Въ выборѣ статей и въ разныхъ подробностяхъ былъ виденъ характеръ европейской образованности. При началѣ журнала, имя издателя его было совершенно неизвѣстно; но черезъ годъ или два, имя Ѳ. В. Булгарина заслужило громкую извѣстность. Также въ концѣ 1822 года или въ началѣ 1823 года явился въ Петербургѣ альманахъ: «Полярная звѣзда», замѣчательный тѣмъ, что онъ открывалъ собою рядъ литературныхъ сборниковъ новаго рода и оживилъ нашу словесность многими пріятными новостями. Тутъ публика нашла въ первый разъ русскіе повѣсти и разсказы, которые были не хуже современныхъ иностранныхъ произведеній въ томъ же родѣ. Самыя сужденія о литературѣ, изложенныя однимъ изъ издателей, впослѣдствіи извѣстнымъ подъ псевдонимомъ Марлинскаго, отличались если не новостью взгляда, то, по крайней мѣрѣ, живостью, пылкостью и оригинальностью выраженія. Въ стоячемъ болотѣ тогдашней нашей критики это казалось явленіемъ необыкновеннымъ.

Въ Москвѣ не было такихъ блестящихъ явленій, но тамъ были залоги успѣховъ болѣе прочныхъ. Что въ Петербургѣ началось практически, то въ Москвѣ зарождалось въ теоріи, которая, на зло проклятіямъ и насмѣшкамъ Каченовскаго и Мерзлякова, нашла себѣ сочувствіе въ нѣсколькихъ молодыхъ людяхъ, искренно стремившихся къ просвѣщенію. Въ Петербургѣ начали дѣйствовать самобытно, хотя безотчетно, по одному сознанію въ своихъ силахъ—начали писать русскія повѣсти (небывалая до тѣхъ поръ смѣлость!), начали судить не по французской риторикѣ; въ Москвѣ узнали, что есть философія не только французская, теорія словесности не только въ риторикѣ Мармонтеля и въ поэмѣ Буало. Вотъ какъ произошло это.

Въ числѣ молодыхъ русскихъ ученыхъ, путешествовавшихъ заграницею для усовершенствованія себя въ наукахъ, съ тѣмъ, чтобы потомъ занять профессорскую каѳедру въ Московскомъ университетѣ, былъ нѣкто Михаилъ Гри-

горьевичъ Павловъ, человѣкъ съ умомъ необыкновеннымъ. Онъ готовился быть профессоромъ сельскаго хозяйства, но кажется, живши заграницею, больше занимался естествознаніемъ, познакомился въ Германіи съ натуральною философіею Шеллинга и Окена, вывезъ въ Москву нѣсколько ихъ сочиненій, нѣсколько тетрадокъ, гдѣ записаны были ихъ лекціи, и вскорѣ обратилъ на себя любознательное вниманіе молодыхъ людей и отчаянную ненависть старыхъ ученыхъ. Извѣстно, что философія Шеллинга даетъ взглядъ на міръ и всѣ отрасли знанія, совершенно противоположный взгляду опытнаго знанія, доведеннаго бездарными людьми до эмпиризма. Тетрадки и книги Павлова не только распространялись между молодежью, но и приняты были ею съ жаромъ, съ восторгомъ, съ увлеченіемъ. Многіе студенты университета принялись изучать Шеллинга, Окена и ихъ послѣдователей. Подъ вліяніемъ этого новаго ученія начали являться статьи даже въ самомъ «Вѣстникѣ Европы».

Первый выступилъ на это поприще умный, пылкій, хотя и странный Андросовъ. Необходимо сказать нѣсколько словъ о немъ, потому что онъ первый познакомилъ Николая Алексѣевича съ нѣмецкою философіею. Это увлечетъ меня въ отступленія, но тѣмъ лучше. Я пишу не исторію, не систему какой нибудь науки: желаю объяснить жизнь, умъ, характеръ моего незабвеннаго брата, а для этого долженъ познакомить читателя съ тѣми людьми, которые имѣли на него вліяніе. Такимъ образомъ составится галлерея современныхъ портретовъ, и я могу увѣрить только въ томъ, что портреты будутъ сходны. Характеры оригинальные, мало извѣстные, но достойные памяти, будутъ являться передъ нами вмѣстѣ съ характерами людей знаменитыхъ, которые одни никогда не выражаютъ собою общества.

Братъ мой и я были уже нѣсколько лѣтъ знакомы съ Иваномъ Васильевичемъ Поповымъ, однимъ изъ величайшихъ оригиналовъ, какихъ только встрѣчалъ я въ жизни

моей. Это былъ тотъ самый Поповъ, который нѣкогда содержалъ университетскую типографію и книжную лавку, вмѣстѣ съ Люби и Гари. Памятникомъ этого сообщества остаются на многихъ русскихъ книгахъ начала XIX столѣтія слова: Въ университетской типографіи Люби, Гарія и Попова. Не знаю первоначальной жизни Попова. Въ 1823 году, онъ былъ уже человѣкъ очень пожилой, чтобы не сказать старый, потому что никто не зналъ настоящаго возраста его. Тщательнѣе всего скрывалъ онъ свои лѣта. Въ парикѣ, краснолицый, всегда веселый, спокойный, подвижной, онъ ни въ чемъ не отставалъ отъ молодыхъ людей; но все показывало, что онъ, какъ говорится, бывалъ и на конѣ, и подъ конемъ, прошелъ сквозь огнь и воды. Воспоминанія его восходили до временъ Новикова и старинныхъ литераторовъ, съ которыми онъ бывалъ въ сношеніяхъ. Трудно сказать, что̀ такое былъ онъ самъ? Званіемъ купецъ, по занятіямъ книгопродавецъ, типографщикъ, писатель, ходатай по дѣламъ, повѣренный питейныхъ откупщиковъ, нѣкогда студентъ университета и всегда близкій знакомый многихъ литераторовъ и ученыхъ — онъ былъ все, зналъ все и всѣхъ, и при этомъ трудно сказать: что̀ такое былъ онъ? Вѣрно только одно, что онъ былъ самый жалкій писатель и риѳмотворецъ, исписавшій горы бумаги. Всю жизнь свою писалъ онъ безпрестанно, и почти ничего не печаталъ изъ своихъ сочиненій—къ счастію читающей публики. Не показываетъ ли это самое человѣка вовсе не глупаго, который сознавалъ себя плохимъ писателемъ, или, по крайней мѣрѣ, не довѣрялъ своимъ силамъ, потому что, въ то же время, знакомясь со всѣми постепенно-возникавшими журналистами, онъ истощалъ и лесть, и разныя ухищренія, чтобы заставить ихъ напечатать въ своихъ изданіяхъ что нибудь изъ безчисленныхъ его сочиненій. И никто никогда не печаталъ ничего, имъ написаннаго, конечно, потому, что и проза, и стихи его были... изъ рукъ вонъ! Только въ то время,

когда онъ завѣдывалъ «Вѣстникомъ Европы», послѣ Карамзина, въ «Вѣстникѣ» и въ другихъ тогдашнихъ изданіяхъ напечатано было нѣсколько его стиховъ и статей. Кстати скажу, что онъ былъ настоящимъ издателемъ «Вѣстника Европы» съ самаго основанія этого, нѣкогда знаменитаго журнала. Сдѣлавшись хозяиномъ университетской книжной лавки и типографіи, онъ придумалъ очень умно: издавать журналъ, гдѣ соединялась бы съ литературой политика. Съ этою мыслью онъ обратился къ Карамзину, который былъ тогда не въ блестящемъ положеніи. Съ величайшею готовностью принялъ Карамзинъ предложеніе Попова быть редакторомъ журнала за опредѣленную плату (кажется, за 2,000 рублей въ годъ!), обдумалъ и составилъ планъ изданія съ обычнымъ своимъ искусствомъ, и предпріятіе оказалось такъ удачно, что Карамзинъ самъ не ожидалъ подобнаго успѣха. По выходѣ первой книжки, онъ сказалъ Попову, что, по справедливости, можно увеличить плату, условленную за редакцію.—«Совершенно согласенъ и прошу васъ самихъ назначить прибавку», — отвѣчалъ Поповъ. Сколько, думаете вы, назначилъ Карамзинъ?... Тысячу рублей!.. Разумѣется, Поповъ согласился безпрекословно. Карамзинъ былъ редакторомъ «Вѣстника Европы» два года. Послѣ него, Поповъ приглашалъ быть редакторами «Вѣстника Европы» Макарова, послѣдователя Карамзина, Панкратія Сумарокова и Каченовскаго, къ которому «Вѣстникъ» и перешелъ окончательно. Оставивъ книжную торговлю и университетскую типографію, Поповъ проходилъ разныя мытарства жизни и, въ 1823 году, кажется, не занимался ничѣмъ исключительно, а разъигрывалъ роль какого-то сантиментальнаго философа, что̀ было чрезвычайно оригинально при его образѣ жизни и привычкахъ, какія могутъ быть у ходатая по дѣламъ и повѣреннаго винныхъ откупщиковъ. Онъ жилъ близь тюремнаго замка или острога, въ своемъ домѣ, гдѣ, на обширномъ пространствѣ, было нѣсколько отдѣльныхъ, самыхъ разнообразныхъ зданій.

Въ это время помѣщалась въ домѣ Попова, между прочимъ, земледѣльческая школа, гдѣ директоромъ былъ упомянутый мною профессоръ Павловъ, а однимъ изъ помощниковъ его Андросовъ, незадолго передъ тѣмъ окончившій курсъ въ университетѣ. Василій Андреевичъ Андросовъ (умершій въ 1841 году) былъ человѣкъ замѣчательный свѣтлымъ умомъ, любовью къ просвѣщенію и оригинальностью въ разговорѣ. Пылкость его была такова, что онъ занимался всѣмъ, что только можетъ занимать умъ и благородную душу; но пылкость же дѣлалась причиной, что онъ былъ вспыльчивъ, увлекался, легко приходилъ въ гнѣвъ, не договаривалъ словъ, бормоталъ, прыскалъ слюнею, когда говорилъ, и иногда защищалъ несообразности. Отъ сообщества съ Павловымъ онъ вскорѣ сдѣлался отчаяннымъ шеллингистомъ и, встрѣтившись у Попова съ Николаемъ Алексѣевичемъ, чрезвычайно заинтересовалъ его новыми тогда у насъ идеями нѣмецкой философіи. Цѣлые вечера проходили въ сужденіяхъ и спорахъ о ней, и этого было довольно для воспріимчиваго моего брата. Онъ усвоилъ себѣ нѣкоторыя идеи трансцедентальной философіи, сталъ читать книги, написанныя въ духѣ ея, и былъ уже приверженцемъ новыхъ взглядовъ, когда судьба сблизила его со многими молодыми людьми, изучавшими нѣмецкую философію. Въ настоящее время, то есть въ половинѣ XIX столѣтія, у насъ почти нѣтъ даже и оффиціальныхъ литературныхъ обществъ; но въ 1823 году, въ Москвѣ и въ Петербургѣ, было ихъ нѣсколько, и, кромѣ того, существовали отдѣльные литературные кружки. Это составлялось само собою, потому что была потребность не только въ отдѣльномъ, уединенномъ занятіи литературой, какъ нынѣ, но и въ литературной бесѣдѣ, то есть въ сообщеніи другъ другу своихъ мнѣній, впечатлѣній, изученій. Молодой любитель литературы могъ избирать тотъ кружокъ, гдѣ было ему пріятнѣе, гдѣ находилъ онъ сочувствіе съ собою, съ своимъ образомъ мыслей, и гдѣ въ другихъ встрѣчалъ то же.

Николай Алексѣевичъ, самъ не давая себѣ въ томъ отчета, искалъ свой кружокъ, гдѣ было бы легко и просторно его уму,—и не находилъ такого круга. Сдѣлавшись извѣстенъ своими журнальными статьями и особливо рецензіями и критическими замѣчаніями, онъ былъ уже знакомъ въ это время со многими извѣстными писателями; но знакомство ограничивалось, большею частію, взаимными вѣжливостями, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ обращалось въ холодность и непріязнь, единственно отъ различія въ образѣ мыслей. Впослѣдствіи, когда онъ сдѣлался журналистомъ, это самое явилось въ обширныхъ размѣрахъ; но въ описываемую мною эпоху литературныя его знакомства были какъ бы случайными встрѣчами въ обществѣ. Я упомянулъ, что онъ находился уже въ холодныхъ отношеніяхъ съ Каченовскимъ; холодность, впрочемъ, необходимая и неизбѣжная, по обстоятельствамъ исключительнымъ, явилась и въ отношеніяхъ его съ В. С. Филимоновымъ; они перестали видаться около этого времени. Но почти всѣ писатели, и особливо молодые люди, желали узнать необыкновеннаго человѣка, полагая, конечно, всю необыкновенность его въ томъ, что онъ купецъ по званію и вмѣстѣ писатель, почему и ожидали увидѣть въ немъ умнаго мужичка, который книжки читаетъ; они не подозрѣвали, что онъ больше всѣхъ ихъ былъ писатель и литераторъ, исключительно предавшійся литературной жизни. При первой встрѣчѣ, при первомъ разговорѣ, всякій невольно забывалъ общественное его званіе и видѣлъ въ немъ только необыкновенно-умнаго человѣка. Но иныхъ это совершенно сбивало съ толку, и они никакъ не могли объяснить себѣ сближенія словъ: купецъ — литераторъ! Приведу въ примѣръ А. А. Прокоповича-Антонскаго. Познакомившись съ моимъ братомъ у Александра Александровича Писарева, храбраго генерала, плохаго писателя, но страстнаго любителя литературы, Антонскій, особливо съ того времени, когда генералъ Писаревъ былъ попечителемъ Московскаго универси-

тета, оказывалъ много участія Николаю Алексѣевичу, и въ искреннемъ разговорѣ посовѣтовалъ ему перемѣнить званіе. Всѣ современники помнятъ, что Антонскій имѣлъ привычку прилагать, въ разговорной рѣчи своей, частичку *та* ко многимъ словамъ.

— Странно-та, какъ-та это: купецъ-та, да и литераторъ! — сказалъ онъ Николаю Алексѣевичу:—вступите въ службу-та.

Н. А. выразилъ ему ту мысль, что онъ не чувствуетъ въ себѣ расположенія къ службѣ и не хочетъ перемѣнить званія, полагая, что оно не мѣшаетъ ему заниматься литературой.

— Ахъ-та, молодые-та люди-та!—воскликнулъ Антонскій.—Не въ службѣ-та дѣло, а надобно-та чинъ-та, чинъ получить! Я возьму васъ къ себѣ въ надзиратели университетскаго пансіона, и вотъ-та, время пройдетъ незамѣтно, какъ вы и чиновникъ-та!..

Н. А. поблагодарилъ его за доброе желаніе, но остался при своихъ убѣжденіяхъ. Почти то же, что Антонскій, предлагалъ ему и попечитель университета Писаревъ: не служа, получить чинъ, только для виду записавшись въ службу по его вѣдомству. Но такія предложенія обыкновенно сердили Николая Алексѣевича, и еще больше утверждали его въ мнѣніи остаться въ прежнемъ званіи, которое не казалось ему препятствіемъ для успѣховъ въ жизни... Неудивительно ли, что онъ такъ худо зналъ нравственное направленіе своихъ современниковъ и вообще русскаго общества?... Необыкновенно-умный человѣкъ, онъ былъ неопытный ребенокъ въ этомъ случаѣ,—невольно и со вздохомъ прибавляю я, конечно вмѣстѣ съ вами, благосклонный мой читатель!.. Дорого поплатился онъ потомъ за свое упрямство, за невниманіе къ совѣту опытности и несомнѣннаго доброжелательства.

Очень многіе, если не всѣ, разсуждали какъ Антонскій, но, конечно, немногіе высказывали это Николаю Алексѣе-

вичу. Встрѣчались, какъ рѣдкость, и такіе, которымъ не приходило въ мысль: чиновникъ ли, дворянинъ ли, или мѣщанинъ былъ онъ? Эти видѣли въ немъ только необыкновеннаго, даровитаго человѣка. Къ числу ихъ принадлежалъ князь Владиміръ Ѳедоровичъ Одоевскій, который въ это время познакомился съ Николаемъ Алексѣевичемъ и года два былъ съ нимъ и со мною въ самыхъ искреннихъ, могу сказать, дружескихъ сношеніяхъ. Потомъ сношенія наши прервались, когда князь переселился въ Петербургъ и посвятилъ себя другимъ занятіямъ; но и черезъ тридцать слишкомъ лѣтъ, мы встрѣчаемся какъ старые пріятели, потому что князь Вл. Ѳ. принадлежитъ къ небольшому числу людей, не измѣняющихся отъ внѣшнихъ отношеній. Онъ и теперь душою своею тотъ же пылкій, благородный юноша, котораго я помню въ московскомъ его уютномъ кабинетѣ искателемъ истины, посвящавшимъ большую часть своего времени разнообразнымъ, глубокимъ изученіямъ и занятіямъ литературой и музыкой. Князь Одоевскій издавалъ въ это время Мнемозину, сборникъ въ четырехъ книгахъ, наполненныхъ самыми разнообразными статьями и стихотвореніями; но важнѣе всего тамъ были невѣдомые до того взгляды на философію и словесность. Приверженцы старины почитали это смѣлостью неопытнаго юноши: но въ самомъ дѣлѣ это былъ первый смѣлый ударъ старымъ теоріямъ, нанесенный рукою неопытною, но, тѣмъ не менѣе, ударъ мѣткій. Въ основаніи новыхъ мнѣній Мнемозины, изложенныхъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ ребячески, — была истина, а истина благотворна во всѣхъ видахъ. Многіе смѣялись надъ Мнемозиною; другіе задумывались. Литературные и ученые старовѣры не понимали, откуда молодые люди берутъ смѣлость оспоривать общепринятыя ученыя мнѣнія или литературныя правила? Слыша, что всему этому причиной новая (какъ говорили тогда) нѣмецкая философія, они проклинали Шеллинга и его книги; но это еще больше утверждало молодыхъ лю-

дей въ ихъ мнѣніяхъ. Удивительно ли, что одинаковость въ мнѣніяхъ и убѣжденіяхъ сближала ихъ другъ съ другомъ? Князь Одоевскій и два-три человѣка блажайшихъ его друзей вскорѣ сдѣлались искренними знакомыми и въ нашемъ домѣ. Не такъ ладили мы съ другимъ издателемъ Мнемозины, В. Кюхельбекеромъ, хотя, кажется, онъ былъ еще прежде знакомъ съ Николаемъ Алексѣевичемъ. Смѣшная надутость и безчисленныя странности дѣлали Кюхельбекера несноснымъ, и еще въ лицеѣ, гдѣ воспитывался онъ въ одно время съ Пушкинымъ, Дельвигомъ и многими славными впослѣдствіи лицами, его называли нелѣпымъ Кюхельбекеромъ, а Пушкинъ писалъ въ шутливыхъ стихахъ, что ему было кюхельбекерно и тошно.

VI.

Знакомство съ Я. И. Сабуровымъ.—Планы изданія журнала.—Разрѣшеніе издавать «Московскій Телеграфъ».—Булгаринъ отговариваетъ Н. А—ча отъ задуманнаго имъ предпріятія.—«Знаменитые друзья» Воейкова.—Характеристика этого писателя.—С. Е. Раичъ, какъ человѣкъ и литературный дѣятель.—Его литературный кружокъ, состоявшій изъ молодыхъ его слушателей и почитателей.—А. И. Писаревъ и его зарождающаяся непріязнь къ Н. А—чу.—Сближеніе съ княземъ П. А. Вяземскимъ, какъ съ постояннымъ сотрудникомъ «Московскаго Телеграфа».—Николай Алексѣевичъ какъ редакторъ журнала.

Поминая только о тѣхъ, съ кѣмъ сближеніе было основано на общей любви къ литературѣ и на одинаковомъ во многихъ отношеніяхъ образѣ мыслей, я долженъ назвать еще одного замѣчательнаго нашего знакомаго: это Яковъ Ивановичъ Сабуровъ. Рѣдко можно встрѣтить человѣка съ такимъ оригинальнымъ умомъ, съ такою многостороннею образованностью и съ такими силами души для выполненія самыхъ благородныхъ стремленій! Сначала избалованный

свѣтскимъ воспитаніемъ и легкими успѣхами, онъ слишкомъ рано поддался тому состоянію духа, которое выражалъ Байронъ въ своихъ сочиненіяхъ, покинулъ блестящую службу лейбъ-гвардіи въ гусарскомъ полку и нѣсколько лѣтъ прожилъ въ Москвѣ, повидимому, въ совершенной безпечности, но на самомъ дѣлѣ воспитывая самъ себя разнообразнымъ чтеніемъ и знакомствомъ съ жизнью своего отечества, котораго нельзя узнать въ вихрѣ петербургской жизни. Онъ уже нѣсколько лѣтъ былъ короткимъ пріятелемъ съ моимъ братомъ и со мною и, не сближаясь ни съ кѣмъ до истиннаго дружества, былъ, однако-жъ, однимъ изъ самыхъ близкихъ, искреннихъ нашихъ собесѣдниковъ. Его оригинальный взглядъ на все вызывалъ на сопротивленіе остроумнымъ его софизмамъ, и былъ особенно поучителенъ для насъ, знавшихъ міръ только изъ книгъ и собственныхъ соображеній. Онъ по временамъ уѣзжалъ изъ Москвы, но, возвращаясь, обыкновенно бывалъ у насъ, и Н. А. любилъ передавать ему свои мечты и надежды. Такъ передалъ онъ ему непремѣнную свою мысль—издавать журналъ. Эта мысль давно образовывалась въ умѣ моего брата, и онъ нисколько не сомнѣвался въ своихъ силахъ, но только не зналъ, какъ привести въ исполненіе задуманный планъ. Еще во время близкой пріязни съ Вл. С. Филимоновымъ, онъ составлялъ планъ журнала, гдѣ думалъ участвовать также одинъ изъ близкихъ нашихъ знакомыхъ въ то время, Василій Евграфовичъ Вердеревскій. Но они не могли согласиться ни въ планѣ, ни въ направленіи журнала. Вскорѣ общественная жизнь развела ихъ навсегда [1]). Было еще нѣсколько попытокъ издавать журналъ въ сообществѣ съ другими; но онѣ оканчивались ничѣмъ. Послѣ многихъ плановъ, думъ и раздумываній, въ половинѣ 1824 года, братъ рѣшился

[1]) Больше двадцати пяти лѣтъ не встрѣчался я съ В. Е. Вердеревскимъ. Два года назадъ, въ вагонѣ Николаевской желѣзной дороги, нечаянно очутились мы лицомъ къ лицу. Мнѣ была истинно пріятна эта неожиданная встрѣча.

испросить позволеніе издавать журналъ отъ своего имени, а сотрудникомъ имѣть одного меня. Онъ составилъ программу, по которой въ будущій журналъ его могло входить все, кромѣ политики,—все, какъ выразился впослѣдствіи одинъ изъ его противниковъ, «начиная отъ безконечно-малыхъ въ математикѣ, до пѣтушьихъ гребешковъ въ соусѣ и бантиковъ на дамскихъ башмакахъ». Программу свою отправилъ онъ при письмѣ къ министру народнаго просвѣщенія, адмиралу Шишкову, который зналъ его лично и оказывалъ благосклонность къ его литературнымъ занятіямъ. Никакого покровительства, никакихъ заступничествъ въ Петербургѣ у брата моего не было. Послѣ отправленія письма и программы къ министру, мы съ нимъ нисколько не надѣялись на успѣхъ ходатайства, не заготовляли никакихъ матеріаловъ и, правду сказать, не имѣли настоящаго понятія о томъ, что̀ значитъ срочное изданіе. Намъ казалось, что очень пріятно будетъ пописывать да отдавать въ печать свои юношескія сочиненія; мы видѣли возможность сдѣлать много прекраснаго, полезнаго, на что̀ не обращали вниманія другіе журналисты, и намъ въ голову не приходило, что при этомъ понадобится много невѣдомой намъ опытности, много терпѣнія, и что двое мы не въ силахъ будемъ наполнять двѣ книжки въ мѣсяцъ срочнаго изданія. Можетъ быть, не всѣ повѣрятъ даже (особливо въ настоящее время!), что мы не разсчитывали ни на какія денежныя выгоды отъ будущаго изданія; не думали даже о средствахъ къ изданію и, почти въ одно время съ отправленіемъ въ Петербургъ программы журнала, занялись составленіемъ алфавитнаго словаря русскихъ писателей!.. Уже двѣ буквы этого словаря были окончены, при усидчивой, ревностной работѣ [1]), когда въ московскомъ цензурномъ комитетѣ было получено дозволеніе Н. А. Полевому издавать журналъ по представленной имъ программѣ!.. Мы

[1]) Рукопись этого неоконченнаго труда, оставшуюся у меня, подарилъ я впослѣдствіи извѣстному нашему библіографу и библіологу С. Д. Полторацкому.

обрадовались, но не изумились, — такимъ обыкновеннымъ, неважнымъ дѣломъ казалось намъ это,—и продолжали еще нѣсколько времени трудиться надъ словаремъ русскихъ писателей. Между тѣмъ слухъ объ изданіи новаго журнала распространился и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ. Непріязненные къ брату моему литераторы говорили о его предпріятіи съ насмѣшливою улыбкой; люди больше безпристрастные и опытные удивлялись смѣлости молодаго, мало извѣстнаго писателя.

Здѣсь долженъ я упомянуть объ одномъ случаѣ, который покажетъ, какое понятіе имѣли о Николаѣ Алексѣевичѣ люди опытные и знавшіе его лучше, нежели другіе. Я упоминалъ, что Н. И. Гречъ былъ съ нимъ въ пріятельскихъ сношеніяхъ, поддерживалъ переписку и желалъ имѣть его сотрудникомъ не только въ журналѣ, но и въ грамматическихъ своихъ изслѣдованіяхъ. Въ такихъ же отношеніяхъ съ нимъ находился и Ѳ. В. Булгаринъ, уже громкій журналистъ и литераторъ русскій, любимецъ почти всѣхъ тогдашнихъ писателей петербургскихъ, которые приняли его въ самое искреннее свое сообщество, какъ полезнаго, смѣлаго дѣятеля на поприщѣ литературы, и радовались его успѣхамъ, а поэты писали къ нему дружескія посланія и дорожили его мнѣніемъ. Братъ мой, часто посѣщавшій Петербургъ, познакомился съ Ѳ. В. Булгаринымъ и участвовалъ въ его «Сѣверномъ Архивѣ» помѣщеніемъ разныхъ своихъ статей. Въ это время Н. И. Гречъ и Ѳ. Б. Булгаринъ предприняли издавать газету: Сѣверная Пчела, и рѣшились распространить и измѣнить планъ прежнихъ своихъ журналовъ: Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ. Разумѣется, что имъ нужны были дѣльные и свѣдущіе сотрудники, и они, конечно, безъ удовольствія услышали, что Н. А. Полевой, который могъ найдти въ ихъ журналахъ обширное поприще для своей дѣятельности, вздумалъ самъ издавать журналъ. Какъ люди опытные въ дѣлѣ журналистики, они были увѣрены, что онъ затѣваетъ пред-

пріятіе не по силамъ своимъ. Все это выразилось въ письмѣ Ѳ. Б. Булгарина, пріятельскомъ, искреннемъ, гдѣ онъ убѣдительно совѣтовалъ брату моему не начинать своего предпріятія. «Чего хотите вы?—писалъ онъ ему.—Извѣстности, дѣятельности? Мы предлагаемъ вамъ обширное поприще въ нашихъ изданіяхъ. Денегъ? Напишите безъ обиняковъ, просто, цифрами или прописью, сколько вы желаете за свои труды, и если только цифра будетъ не слишкомъ велика, обѣщаю напередъ согласіе за себя и своего товарища». Исчисливъ потомъ разныя затрудненія, которыя ожидаютъ журналиста неопытнаго, г. Булгаринъ съ увѣренностью прибавлялъ: «Но я пишу вамъ все это, а, между тѣмъ, вѣрно, ужъ нѣсколько знаменитыхъ впились въ васъ и не выпустятъ васъ изъ рукъ, въ пріятной надеждѣ перебраниваться въ новомъ журналѣ съ своими недругами».

Вспоминая объ этомъ письмѣ, я вижу въ немъ искреннее и очень естественное желаніе сохранить себѣ хорошаго сотрудника, и вмѣстѣ прямой, добрый порывъ отвлечь неопытнаго писателя отъ журнальнаго поприща, которое грозило ему не только затрудненіями, не только безчисленными непріятностями, но—чего, конечно, никто не могъ предвидѣть—и несчастіемъ на всю остальную его жизнь. Счастливъ былъ бы братъ мой, еслибъ онъ послушался совѣта, дѣйствительно пріятельскаго и высказаннаго съ такою искренностью. Но этотъ совѣтъ произвелъ дѣйствіе, противное тому, какого, конечно, ожидалъ Ѳ. В. Булгаринъ, который ошибся при этомъ въ двухъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, никто изъ знаменитыхъ друзей (я сейчасъ объясню это слово) не побуждалъ Николая Алексѣевича къ его предпріятію; во-вторыхъ, словами о деньгахъ всего скорѣе можно было разочаровать его: онъ не думалъ о нихъ, предпринимая журналъ единственно съ фантастическою цѣлью сдѣлать нѣчто образцовое, и вообразилъ, что его хотятъ купить, заставить молчать, плясать по чужой дудкѣ—за деньги! Письмо г. Булгарина было пріятно ему только

тѣмъ, что подтверждало выгодное мнѣніе о писателѣ, котораго такъ усердно желали завербовать въ сотрудники себѣ; но оно еще больше утвердило его въ намѣреніи дѣйствовать самобытно.

Слова: знаменитые друзья, или просто: знаменитые, на условномъ тогдашнемъ языкѣ имѣло особенное значеніе и произошло вотъ какимъ образомъ. Въ 1821 году, Н. И. Гречъ издавалъ «Сынъ Отечества» вмѣстѣ съ Воейковымъ, который теперь забытъ какъ литераторъ, но достоинъ памяти, какъ лицо исключительное въ нѣкоторомъ смыслѣ. Въ молодости онъ былъ пріятелемъ многихъ извѣстныхъ литераторовъ, писалъ довольно тяжело, но ѣдко, зло, и сталъ особенно извѣстенъ стихотвореніемъ: «Домъ сумасшедшихъ», куда помѣстилъ онъ и друзей, и недруговъ своихъ, изобразивъ нѣкоторыхъ довольно смѣшно. Онъ написалъ также нѣсколько посланій, замѣчательныхъ рѣзкими личностями и современными портретами. Все остальное, писанное имъ, было ниже посредственности. Но его общественныя связи, особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ сдѣлался родственникомъ поэта Жуковскаго, гораздо больше, нежели авторское дарованіе, помогли ему къ достиженію разныхъ цѣлей. Не ужившись въ Дерптѣ, гдѣ занималъ онъ мѣсто профессора русской литературы, Воейковъ переселился въ Петербургъ, и при посредничествѣ друзей умѣлъ сдѣлаться товарищемъ Н. И. Греча въ изданіи «Сына Отечества». Товарищество ихъ продолжалось не болѣе года, но и въ это время успѣлъ онъ надѣлать множество непріятностей своему товарищу! Въ самомъ дѣлѣ, чудное психологическое явленіе представлялъ этотъ человѣкъ!.. Безобразный до невѣроятности, съ искаженнымъ лицомъ, хромой, гугнявый, плохо-образованный—онъ имѣлъ доступъ въ лучшія общества, умѣлъ добиваться всего, получать все, о чемъ и мечтать не могутъ люди съ обыкновенными средствами. Жуковскій, А. Тургеневъ, многіе другіе литераторы и покровители просвѣщенія, вельможи—дѣлали для Воейкова все,

единственно изъ уваженія къ необыкновенной женщинѣ, которая была его женою...[1]).

Показавъ значеніе Воейкова, мнѣ нетрудно объяснить и значеніе словъ: знаменитые друзья. Воейковъ, сдѣлавшись соиздателемъ «Сына Отечества», выпрашивалъ у Жуковскаго, Пушкина, князя Вяземскаго и другихъ извѣстныхъ писателей стихотворенія для печатанія въ журналѣ, гдѣ въ то же время завелъ войну съ «Вѣстникомъ Европы», и когда этотъ журналъ, на своемъ нарѣчіи, объявилъ однажды, что какой-то журналъ взялъ на откупъ всѣхъ стихотворцевъ, Воейковъ съ сладкою улыбкою отвѣчалъ: «Жалѣемъ о несчастномъ журналѣ; а мы можемъ похвалиться, что наши знаменитые друзья украшаютъ нашъ журналъ своими безподобными сочиненіями». Это произвело общій взрывъ насмѣшекъ и негодованія, потому что Воейкова не любили, да онъ же и оскорбилъ общее мнѣніе, назвавъ своими друзьями знаменитыхъ писателей, которые давали въ журналъ стихи свои не изъ дружбы къ нему; къ тому же, вмѣстѣ съ немногими, дѣйствительно-знаменитыми писателями, Воейковъ сзывалъ стихотворцевъ всякаго разбора и печаталъ свои стихи, вовсе не знаменитые. По всѣмъ этимъ причинамъ, названіе знаменитыхъ друзей и просто знаменитыхъ стало смѣшнымъ и сдѣлалось вовсе не лестнымъ эпитетомъ. Ближе всего означали этимъ словомъ писателей бездарныхъ, или съ маленькимъ дарованіемъ, причислявшихъ себя безъ всякихъ правъ къ литературнымъ аристократамъ. Во всѣ времена, во всякой литературѣ есть подобныя явленія.

Ни съ кѣмъ изъ такихъ знаменитыхъ писателей не былъ знакомъ Н. А., когда задумывалъ свой журналъ. Я упоминалъ, что онъ даже не былъ постояннымъ собесѣдникомъ или посѣтителемъ ни одного изъ невидимыхъ литера-

[1]) Болѣе подробную характеристику Воейкова напечаталъ я въ «Живописной Русской Библіотекѣ» 1859 года, по случаю ошибочной статьи о немъ, помѣщенной въ «Современникѣ».

турныхъ кружковъ или сообществъ, которыхъ было тогда въ Москвѣ нѣсколько. Вообще, въ Москвѣ, въ молодыхъ людяхъ юнаго поколѣнія, было развито стремленіе къ литературной жизни, но оригинальный, своеобразный взглядъ отдѣлялъ моего брата и отъ тѣхъ молодыхъ литераторовъ, съ которыми былъ онъ знакомъ. Послѣднею его попыткою сблизиться съ однимъ литературнымъ обществомъ было нечаянное открытіе, что въ этомъ обществѣ участвовалъ князь Вл. Ѳ. Одоевскій, нашъ тогда искренній пріятель. Узнавъ, что Н. А. не только рѣшился издавать журналъ, но и получилъ позволеніе на то, князь предложилъ брату моему познакомить его съ своимъ литературнымъ обществомъ, которое также хотѣло издавать журналъ. Не лучше ли было соединиться съ нимъ, и тѣмъ не только избѣгнуть соперничества, но и вдругъ пріобрѣсти многихъ дѣльныхъ и образованныхъ сотрудниковъ? Таково было благоразумное сужденіе князя Одоевскаго, съ которымъ охотно согласился и Н. А. Въ самомъ дѣлѣ, общество было составлено изъ отличныхъ молодыхъ людей, большею частію, бывшихъ соучениковъ князя въ Университетскомъ Благородномъ пансіонѣ. Къ несчастію, предсѣдателемъ этого общества былъ Семенъ Егоровичъ Раичъ (Амфитеатровъ), посредственный стихотворецъ, отличавшійся множествомъ оригинальныхъ сторонъ и въ разговорѣ, и въ обращеніи.

Онъ былъ родственникъ (едва ли не братъ) скончавшагося недавно митрополита кіевскаго Филарета, сербъ по происхожденію. Маленькій ростомъ, какой-то чернокожій, тщедушный, почти монахъ по образу жизни, онъ любилъ въ стихахъ своихъ выражать наслажденія жизнью—буянилъ въ стихахъ, какъ мы говаривали тогда; а въ разговорахъ старался все поэтизировать, восхищался многимъ, что не стоило восхищенія, говорилъ всегда нараспѣвъ, тоненькимъ, больнымъ голоскомъ, и это, въ противоположности съ его личностію, представляло столько истиннаго комизма, что при имени С. Е. Раича нельзя было не улыбаться. Впро-

чемъ, это не мѣшало ему искренно любить литературу, и доказательствомъ того служитъ постоянство, съ какимъ онъ переводилъ Тассовъ Освобожденный Іерусалимъ, переводилъ много лѣтъ, печаталъ отрывки изъ него въ журналахъ и не смотря на многія насмѣшки современниковъ, окончилъ и издалъ свой долголѣтній трудъ. Онъ также перевелъ, еще прежде, Виргиліевы Георгики, и во всю жизнь свою писалъ въ стихахъ о наслажденіяхъ жизнью или о грусти сердца. Неудивительно, что такой человѣкъ придалъ смѣшной характеръ литературному обществу молодыхъ людей, избравшихъ его своимъ предсѣдателемъ. Общество постоянно собиралось въ назначенные дни, имѣло, кромѣ предсѣдателя, секретаря, который велъ протоколы засѣданій, читало въ своихъ собраніяхъ стишки и прозаическія статейки членовъ, словомъ по-дѣтски подражало оффиціальному Обществу россійской словесности, собиравшемуся у Антонскаго.

Вся эта комедія не понравилась брату моему съ перваго взгляда; однако, онъ имѣлъ терпѣніе нѣсколько разъ являться въ собранія Общества, куда былъ принятъ членомъ. Молодые члены уважали Раича, какъ бывшаго своего наставника въ пансіонѣ; но этого похвальнаго чувства не могло быть въ человѣкѣ, знавшемъ въ руководителѣ ихъ только посредственнаго стихотворца и сладенькаго любителя классическихъ гремушекъ. Случилась еще одна комическая сцена въ послѣднемъ собраніи, гдѣ присутствовалъ Н. А. Помню, что, возвратившись оттуда, онъ хохоталъ и говорилъ, что не станетъ больше ѣздить въ Общество, которому остроумный С. А. Соболевскій, бывшій въ сношеніяхъ со всею образованною молодежью, придавалъ уморительные эпитеты, со смѣхомъ повторявшіеся самими членами Общества [1]). Князь Одоевскій увидѣлъ, что съ этимъ Обществомъ нельзя издавать журнала, хотя, повторяю, членами его были обра-

[1]) Жившій въ это время въ Москвѣ, В. Кюхельбекеръ, соиздатель Мнемозины, составилъ пародію извѣстной дѣтской пѣсни: «Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?» — «Раичъ, Раичъ, гдѣ ты былъ?»

зованные, отличные молодые люди. Рѣшились прекратить сношенія съ Обществомъ, и князь обѣщалъ участвовать въ нашемъ журналѣ отдѣльно, лично отъ себя. Не знаю, долго ли еще существовало литературное Общество Раича; кажется, оно само собой и разошлось въ это время. Нѣкоторые сочлены его основали, года черезъ два, «Московскій Вѣстникъ», о которомъ я долженъ буду говорить въ свое время. Но теперь, черезъ тридцать слишкомъ лѣтъ, протекшихъ съ тѣхъ поръ, кажется, можно, не нарушая никакихъ отношеній, назвать нѣкоторыхъ членовъ, и читатель удивится, что въ числѣ ихъ были: знаменитый нынѣ авторъ «Писемъ о богослуженіи», А. Н. Муравьевъ; Вл. Павл. Титовъ, бывшій потомъ посломъ въ Константинополѣ и уполномоченнымъ на вѣнскихъ конференціяхъ; Степанъ Петровичъ Шевыревъ, писатель и бывшій профессоръ Московскаго университета; Дм. Петр. Ознобишинъ, занимавшійся восточными языками, стихотворецъ и писатель, помѣщавшій статьи свои въ журналахъ подъ псевдонимомъ Делибюрадера; Рожалинъ, умершій въ молодыхъ лѣтахъ, памятный умомъ и ученостью, другъ Веневитинова, и нѣсколько другихъ замѣчательныхъ по разнымъ отношеніямъ людей. Но тогда всѣ они были молоды, раздражительны, самоувѣренны (какъ обыкновенно молодые люди) и, возбуждаемые пылкимъ и самолюбивымъ своимъ товарищемъ Александромъ Писаревымъ, не только не сблизились съ Николаемъ Алексѣевичемъ, но, послѣ неудачнаго знакомства въ Обществѣ Раича, легко и, можетъ быть, сами не зная какъ, сдѣлались его непріятелями.

Назвавъ А. И. Писарева (умершаго черезъ нѣсколько лѣтъ потомъ), я долженъ объяснить причину непріязни его къ моему брату. Писаревъ былъ надѣленъ отъ Бога блестящимъ стихотворнымъ дарованіемъ и съ малолѣтства почти экспромтомъ писалъ легкіе и звучные стихи. Можно представить себѣ, какъ это удивляло и восхищало его товарищей и наставниковъ въ то время, когда гладкіе стихи

доставались тяжкимъ трудомъ даже знаменитымъ писателямъ. Еще въ Университетскомъ Благородномъ пансіонѣ, гдѣ Писаревъ воспитывался, онъ былъ любимцемъ Антонскаго (директора пансіона и профессора, о которомъ говорено выше),, читывалъ свои стихи въ публичныхъ собраніяхъ Общества любителей россійской словесности, которое печатало ихъ въ своихъ «Трудахъ», и между сверстниками славился рукописными сатирами и эпиграммами. Онъ писалъ много стиховъ, нападалъ своими насмѣшками на всѣхъ и на все, не щадилъ даже тѣхъ, кого долженъ былъ любить и уважать: есть нѣсколько эпиграммъ его на А. А. Антонскаго и на многихъ товарищей пансіонскихъ. Жалѣю, что не сохранилась его пародія на «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ», гдѣ героями представилъ онъ московскихъ ученыхъ и литераторовъ, какъ Батюшковъ въ своей пародіи членовъ Бесѣды любителей русскаго слова. У меня остались въ памяти немногіе стихи, которые могутъ показать, сколько было остроты и силы въ насмѣшкахъ Писарева. Вотъ окончательные стихи куплета, гдѣ говорится о Каченовскомъ:

. . . . . Каченовскій!
Обруганъ онъ во всѣхъ листкахъ,
И всѣ кричатъ: таковскій!

О другомъ ученомъ, который славился тѣмъ, что занимался всѣмъ, науками и искусствами, Писаревъ говоритъ:

Въ профессорской отвагѣ,
У Канта онъ учился пѣть,
А логикѣ у Флагге.

Флагге былъ извѣстный тогда въ Москвѣ танцовальный учитель, и характеристика ученаго, который у танцмейстера учится логикѣ, а у философа Канта пѣнію, — очень оригинальна. Но лучшимъ портретомъ въ этой галлереѣ была характеристика Василія Львовича Пушкина, добрѣйшаго, свѣтскаго человѣка и пріятнаго стихотворца, автора остроумнаго стихотворенія «Опасный сосѣдъ». Онъ славился

притомъ дѣтскимъ простодушіемъ и страстью читать свои и чужіе стихи. Камердинеръ его и вмѣстѣ дядька и даже библіотекарь, Романычъ, былъ извѣстенъ всѣмъ знакомымъ Василія Львовича. Представляя смерть барина его, Писаревъ такъ заключаетъ куплетъ:

«О, горе!» вѣрный тѣмъ стихамъ,
Романычъ возвѣщаетъ:
«Отыде баринъ къ праотцамъ,
И больше не читаетъ!»

Захваленный прежде зрѣлости своего дарованія, самолюбивый и болѣзненно-раздражительный отъ природы, Писаревъ съ изумленіемъ увидѣлъ, что Н. А. Полевой, писавши въ «Отечественныхъ Запискахъ» объ одномъ засѣданіи Общества любителей россійской словесности, упомянулъ, что, между прочимъ, тамъ читалъ свое стихотвореніе А. И. Писаревъ, и кстати замѣтилъ, что этотъ молодой стихотворецъ, съ несомнѣннымъ дарованіемъ, идетъ ложнымъ путемъ, заботится только о звонкихъ стихахъ, не имѣетъ опредѣленнаго характера и не выражаетъ ничего поэтически. Одного этого замѣчанія довольно было для раздражительнаго Писарева: онъ возненавидѣлъ Н. А. Полеваго, и до конца жизни своей кололъ и бранилъ его гдѣ только могъ, какъ увидимъ далѣе. При такомъ расположеніи, онъ возсталъ противъ соединенія Раичева Общества съ ненавистнымъ ему Полевымъ и, конечно, способствовалъ удаленію отъ него многихъ своихъ товарищей. Только благородный и самобытный князь Одоевскій не обращалъ вниманія на возгласы самолюбія и остался съ нами въ прежнихъ отношеніяхъ, послѣ неудачной попытки сблизить Николая Алексѣевича съ Обществомъ Раича.

Чрезвычайно важно было для будущности нашего журнала и для отношеній Николая Алексѣевича знакомство и сближеніе его съ княземъ Петромъ Андреевичемъ Вяземскимъ. Надобно при этомъ объяснить тогдашнія литературныя отношенія самого князя Вяземскаго.

До 1824 года онъ пользовался литературною славою почти наравнѣ съ Жуковскимъ и Пушкинымъ. Называя этихъ истинныхъ поэтовъ, обыкновенно прибавляли: «и князь Вяземскій», какъ прежде писали: «Ломоносовъ и Сумароковъ», хотя между этими писателями не могло быть никакого сравненія. Князь Вяземскій, родственникъ и почти воспитанникъ Карамзина, другъ Жуковскаго, Батюшкова, И. И. Дмитріева и всѣхъ литераторовъ ихъ круга, богатый, блестящій свѣтскій человѣкъ, началъ свое литературное поприще такъ же счастливо, какъ и поприще общественной жизни. Онъ писалъ и помѣщалъ стихотворенія въ журналахъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ своихъ, напечаталъ біографическіе очерки Державина, Озерова, Дмитріева, и за все это справедливо пользовался, особливо въ своемъ кругу, славою писателя необыкновеннаго. Я сказалъ: въ своемъ кругу, и долженъ прибавить въ поясненіе, что князь Вяземскій не былъ въ университетѣ или какомъ нибудь высшемъ учебномъ заведеніи, учился свободно, независимо, и съ самыхъ молодыхъ лѣтъ былъ уже въ службѣ и въ свѣтѣ. Первые годы службы обѣщали ему самую блистательную будущность; но вдругъ судьба его измѣнилась, и онъ долженъ былъ не только оставить службу, отказаться отъ всѣхъ призраковъ честолюбія, но и жить въ Москвѣ, въ положеніи довольно зависимомъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Для людей съ необыкновеннымъ умомъ и сильною душею, это положеніе — самое выгодное для нравственной дѣятельности. Можетъ быть, пожалѣвъ только о нѣсколькихъ годахъ, потерянныхъ для призраковъ, князь Вяземскій посвятилъ себя кабинетнымъ занятіямъ и удовольствіямъ образованной жизни. Умъ его былъ обогащенъ знаніемъ людей и свѣта, душа воспитана благородными, возвышенными стремленіями, и оттого все, что писалъ онъ, носило на себѣ отпечатокъ силы и глубокаго чувства, а выраженіе его отличалось необыкновенною оригинальностью, и вотъ что нравилось въ немъ, вотъ что привлекало къ нему всѣхъ людей непредубѣжден-

ныхъ, особливо тѣхъ, у которыхъ были одинаковыя съ нимъ стремленія и направленія. Этого не могли понять педанты и рутинисты; они видѣли въ князѣ Вяземскомъ только свѣтскаго человѣка, осмѣливающагося быть писателемъ безъ ученаго диплома и критикомъ безъ знанія латинскаго языка и схоластическихъ преданій. Но они долго не смѣли нападать на него, опасаясь и его авторитета, и остраго его пера. Между тѣмъ, друзья его, можетъ быть, смѣшивая въ немъ отличноумнаго, возвышеннаго чувствованіями, любезнаго, остроумнаго свѣтскаго человѣка съ писателемъ, хвалили его безусловно, какъ поэта и какъ лучшаго русскаго критика. Безусловныя хвалы необходимо усыпляютъ дарованіе и придаютъ ему самоувѣренность, легко переходящую въ небрежность. Бываетъ и то, что люди, не одаренные всесильнымъ могуществомъ генія, но убаюканные похвалами людей своего круга, смѣло предпринимаютъ труды не по силамъ. Нѣчто въ этомъ родѣ случилось съ княземъ Вяземскимъ. Разсерженный привязчивыми и пустыми замѣчаніями Каченовскаго на «Исторію государства Россійскаго», онъ напечаталъ въ 1821 году «Посланіе къ Каченовскому», гдѣ язвительно и безпощадно разбранилъ завистливаго зоила. Посланіе это написано такъ ловко, что изъ него нельзя вытолковать никакой личности, почему оно и было напечатано. Но всѣ поняли, кого изобразилъ князь Вяземскій, и желчный Каченовскій сдѣлался непримиримымъ его противникомъ. Онъ выставилъ противъ него цѣлую фалангу своихъ приверженцевъ, которые начали въ «Вѣстникѣ Европы» нападать на князя Вяземскаго. Прежде всего они показали, что въ «Посланіи къ Каченовскому» есть стихи, буквально переведенные изъ Вольтера; они педантически разбирали каждое слово и неуважительно отзывались о дарованіи противника-поэта. Какъ человѣкъ умный, князь Вяземскій не обращалъ вниманія ни на критическія стрѣлы ихъ, ни на посланіе къ Ульминскому и подобныя произведенія топорной работы, которыя привлекали насмѣшки

на его противниковъ. Но партія «Вѣстника Европы» не пропускала ни малѣйшаго случая кольнуть остроумнаго поэта. Къ особенному ея счастію, князь Вяземскій, принявъ на себя въ Москвѣ изданіе «Бахчисарайскаго фонтана» Пушкина, помѣстилъ впереди его «Разговоръ классика съ издателемъ», гдѣ, разсуждая о классицизмѣ и романтизмѣ, предметѣ и теперь еще не совершенно поясненномъ, высказалъ нѣсколько мнѣній и поясненій, которыя легко было оспорить. Возрадовались и возвеселились сотрудники «Вѣстника Европы»! Они ухватились за легкую добычу, и особенное рвеніе показалъ при этомъ М. А. Дмитріевъ, почитавшій себя поэтомъ и великимъ критикомъ. Князь Вяземскій неосторожно вдался въ споръ, началъ печатать возраженія въ «Дамскомъ Журналѣ» князя Шаликова (потому что не было другаго, пріязненнаго ему журнала), и этимъ далъ новую пищу своимъ противникамъ. Въ «Литературныхъ Листкахъ» Ѳ. В. Булгарина отозвалась эта полемика также не совсѣмъ благопріятно для князя Вяземскаго и окончилась объясненіемъ со стороны Пушкина, напечатаннымъ въ «Сынѣ Отечества» (1824 г., № XVIII), гдѣ въ заключеніе поэтъ сказалъ: «Авторъ очень радъ, что имѣетъ случай благодарить кн. Вяземскаго за прекрасный его подарокъ. Разговоръ между Издателемъ и Классикомъ съ Выборгской стороны или съ Васильевскаго острова писанъ болѣе для Европы вообще, чѣмъ исключительно для Россіи, гдѣ противники романтизма слишкомъ слабы и незамѣтны и не стоятъ столь блистательнаго отраженія». И послѣ этого, полемика со стороны «Вѣстника Европы» затихла не скоро и сопровождалась эпиграммами, разными замѣтками и насмѣшками. Противники князя Вяземскаго торжествовали побѣду и долго еще посылали запоздалые выстрѣлы на опустѣлое поле сраженія.

Если разсмотрѣть теперь эти споры, эту схватку страстей и самолюбія, то прежде всего увидимъ, что спорили о постороннихъ предметахъ, а не о романтизмѣ и класси-

цизмѣ, которые меньше всего были понятны обѣимъ спорившимъ сторонамъ. Слѣдствіемъ такихъ споровъ обыкновенно бываетъ раздраженіе самолюбія, потому что наговорятъ другъ другу много непріятной правды и неправды. Противники князя Вяземскаго успѣли доказать, что онъ утвердительно говоритъ о предметѣ, неясномъ для него; но остроуміе, тонъ хорошаго общества и литературное изложеніе оставались на его сторонѣ во все продолженіе спора, который утвердилъ за «Вѣстникомъ Европы» только славу бранчивости и педантства.

Между тѣмъ князь Вяземскій былъ не въ дружескихъ отношеніяхъ и съ другими журналами. Тогда онъ еще не зналъ хорошо Воейкова, и послѣ удаленія его изъ «Сына Отечества» не могъ участвовать въ журналѣ г. Греча, котораго почиталъ несправедливымъ къ гонимому, бѣдному Воейкову, привыкнувъ смотрѣть на этого человѣка, какъ на литератора своего круга. «Сѣверный Архивъ» и «Литературные Листки» казались ему враждебными послѣ несчастной полемики съ М. А. Дмитріевымъ. Оставался пріязненнымъ «Дамскій Журналъ»; но это былъ не литературный журналъ и при дамскомъ своемъ характерѣ пользовался незавидною славою.

При такихъ отношеніяхъ, очень естественно, что князь Вяземскій былъ радъ появленію новаго журнала въ Москвѣ и охотно вызвался быть въ немъ постояннымъ сотрудникомъ, когда увидѣлъ въ будущемъ издателѣ «Московскаго Телеграфа» человѣка умнаго, образованнаго, съ современными понятіями, хотя мало опытнаго въ писательствѣ. Онъ вполнѣ раздѣлялъ мнѣніе издателя, что самымъ важнымъ отдѣломъ въ журналѣ должна быть критика, независимая неуклонная, основанная на современныхъ понятіяхъ въ наукахъ и въ искусствѣ; что мнѣнія журнала должны давать ему характеръ, котораго не даютъ періодическому изданію чужія стихотворенія и проза, писанныя различными по понятіямъ людьми. Редакторъ, или редакторы должны давать

тонъ и направленіе своему изданію. Въ этомъ былъ до такой степени убѣжденъ издатель «Московскаго Телеграфа», что въ журналѣ его, кромѣ нѣкоторыхъ спеціальныхъ критическихъ статей и кромѣ немногихъ исключеній, всѣ разборы и сужденія принадлежали ему самому и одномыслящимъ съ нимъ постояннымъ сотрудникамъ. Приступая къ участію въ новомъ журналѣ съ прямымъ и чистымъ желаніемъ пользы и успѣха литературѣ, князь Вяземскій не могъ, однако же, защититься отъ невольнаго и неизбѣжнаго желанія кольнуть, при случаѣ, своихъ недруговъ, къ чему вскорѣ представился не одинъ случай. Самъ издатель также не хотѣлъ стѣснять себя уклончивостью тамъ, гдѣ могъ сказать что нибудь новое, сообразное съ его убѣжденіями, хотя бы и противъ уважаемыхъ имъ людей. Въ такомъ направленіи были написаны всѣ критическія статьи въ первыхъ книжкахъ «Московскаго Телеграфа».

Изъ всего, что уже пересказалъ я объ умѣ, характерѣ и образованіи Н. А. Полеваго, читатели могутъ составить себѣ понятіе, какого рода журналъ могъ издавать этотъ необыкновенный человѣкъ, своеобразный умомъ. Въ головѣ его были тысячи идей, новыхъ для нашей публики, блестящихъ, потому что онѣ были современны, но не вполнѣ усвоенныхъ имъ себѣ, и это не отъ чего инаго, какъ отъ свойства его ума. Быстрый, неутомимый, проницательный умъ его легко знакомился со всякимъ предметомъ, легко узналъ и даже усвоивалъ его себѣ до извѣстной степени, но не могъ ничѣмъ заниматься долго, постоянно, не могъ пріобрѣсти ученыхъ познаній, которыя образовали бы изъ него эрудита. Такого рода умы бываютъ поверхностны, когда въ нихъ нѣтъ силы и быстроты; но при этихъ свойствахъ, при быстротѣ и силѣ, они дѣлаются энциклопедическими, то есть способными совмѣщать въ себѣ многія, разнородныя свѣдѣнія. Имъ вредитъ только то, что они безпрестанно переходятъ отъ одного предмета къ другому, не могутъ углубиться ни въ одинъ изъ нихъ и стремятся постоянно къ но-

вому, къ открытію невѣдомыхъ другимъ областей умственнаго міра. Эта переходчивость, это непостоянство, это стремленіе безпрерывно впередъ—одно постоянное въ нихъ—составляетъ ихъ слабость и вмѣстѣ силу. Такого рода умъ, только въ обширнѣйшихъ размѣрахъ и въ другихъ обстоятельствахъ, въ другомъ направленіи, былъ у Вольтера, о которомъ справедливо чье-то выраженіе, что онъ все зналъ и все сказалъ, а потому и сказалъ все, что все зналъ, былъ способенъ понимать все и одаренъ стремленіемъ высказывать и передавать другимъ все пріобрѣтаемое имъ самимъ. Точно тѣ же свойства были въ умѣ и дарованіи Н. А. Полеваго. Онъ обладалъ удивительною способностью схватывать главныя стороны и главныя подробности предмета, занимался имъ съ увлеченіемъ, и въ быстромъ умѣ его тотчасъ рождались свои, новыя идеи, которыя спѣшилъ онъ выразить на бумагѣ, отчего, при врожденной писательской способности, и сдѣлался энциклопедическимъ писателемъ. Какъ иначе опредѣлить человѣка, который съ ранней юности пишетъ съ равною легкостью стихами и прозою, занимается всѣми отраслями литературы, исторіи, политики, философіи, и не можетъ не писать о томъ, что кипитъ въ умѣ и въ душѣ его? Все, что сначала по-дѣтски, потомъ по-юношески выражалось въ его дѣятельности, все это повторилось въ его журнальной и многосторонней писательской дѣятельности. Думали и даже писали, что онъ хвасталъ множествомъ свѣдѣній, что онъ хотѣлъ только пускать пыль въ глаза, разсуждая о предметахъ, будто бы вовсе ему неизвѣстныхъ. Увѣренные въ этомъ не знали Николая Алексѣевича и ошибались, хотя очень естественно. Въ самомъ дѣлѣ, даже смѣшно (это и выставляли смѣшнымъ), что одинъ и тотъ же человѣкъ разсуждаетъ и пишетъ о русской и всеобщей грамматикѣ, о санскритскомъ языкѣ, объ исторіи всеобщей и русскихъ лѣтописяхъ, о театрѣ и о политической экономіи, о промышленности и о Шекспирѣ, о высшихъ взглядахъ въ наукахъ и искусствахъ, о преобразованіяхъ и

успѣхахъ по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности. О чемъ онъ не писалъ и въ чемъ не требовалъ новыхъ успѣховъ, въ чемъ не упрекалъ застывшихъ и заснувшихъ лѣнтяевъ и педантовъ! Но онъ дѣйствительно занимался, можно сказать, всѣмъ, то есть такимъ множествомъ разнообразныхъ предметовъ, что это касалось всего; дѣйствительно онъ изучалъ и всеобщую грамматику, и санскритскій языкъ, и нѣмецкую философію, и теорію искусства по современнымъ понятіямъ. Нельзя исчислить всѣхъ его разнообразныхъ трудовъ. Притомъ, онъ быстро усвоивалъ себѣ все изучаемое, и тотчасъ пылалъ желаніемъ говорить, писать о томъ предметѣ, который занималъ его и рождалъ новыя понятія въ умѣ, одушевляя благороднымъ желаніемъ дѣлиться своими пріобрѣтеніями съ другими.

VII.

Энциклопедическое направленіе «Московскаго Телеграфа».—Направленіе критическихъ статей журнала.—Участіе кн. П. А. Вяземскаго и его отношенія къ современной журналистикѣ.—Возбужденіе вражды излишнею искренностью Н. А—ча.—Полемика съ Булгаринымъ и Гречемъ, въ которой принимали участіе противъ Н. А—ча всѣ современные журналы.—Сочувственное отношеніе И. И. Дмитріева.—Заочное знакомство съ А. С. Пушкинымъ и его одобреніе «Московскаго Телеграфа».—Эпиграммы и прозаическія статьи его.—Важнѣйшіе сотрудники Н. А. Полеваго: К. А. Полевой, А. И. Красовскій и М. А. Максимовичъ.

Съ первыхъ книжекъ «Московскаго Телеграфа» означился въ немъ тотъ энциклопедическій характеръ, который вполнѣ соотвѣтствовалъ преобладающему настроенію ума его издателя; въ первыхъ критическихъ статьяхъ выразилось требованіе успѣха по всѣмъ отраслямъ наукъ и искусствъ, и чистое желаніе указывать на все новое, идти впередъ.

Появленіе журнала, гдѣ выполнялось это съ юношескою пылкостью, хотя, правду сказать, и съ юношескимъ легкомысліемъ, было настоящимъ праздникомъ для читающей публики. Дѣятельность новаго журналиста была тѣмъ разительнѣе, что другіе журналисты уже нѣсколько лѣтъ ограничивались наполненіемъ извѣстнаго числа печатныхъ страницъ, безъ дальняго выбора статей и безъ всякаго направленія. Да и много ли было журналистовъ? Каченовскій? но онъ смотрѣлъ на свое занятіе журналомъ какъ на ремесло. А. Е. Измайловъ? балагурилъ—вскорѣ мы увидимъ, удачно ли даже балагурилъ? Г. Гречъ уже нѣсколько лѣтъ отвлекался отъ своего журнала другими работами и видѣлъ необходимость измѣнить его. Г. Булгаринъ издавалъ журналъ чистоученый, и только въ «Литературныхъ Листкахъ» показалъ свое разнообразное дарованіе; но оба они готовились къ новой дѣятельности: соединили и преобразовали свои журналы, и прибавили къ нимъ газету политическую и литературную; это также было отчасти причиной, что послѣдній годъ своихъ прежнихъ изданій они доканчивали, сберегая и матеріалы, и свои силы для наступавшаго года. Сравнивая съ этимъ живой и разнообразный журналъ Полеваго, публика обратила на него самое благосклонное вниманіе. Похвалы доходили до журналиста отъ знакомыхъ и незнакомыхъ, а лучшимъ доказательствомъ, что новый журналъ соотвѣтствовалъ требованіямъ публики, было необыкновенное въ то время число подписчиковъ на него. Первое изданіе (кажется 700 экземпляровъ) разошлось все до выхода второй книжки; съ третьей книжки «Московскій Телеграфъ» печатался уже въ числѣ 1,200 экземпляровъ: успѣхъ, давно неслыханный въ тогдашнемъ журнальномъ мірѣ! Въ это время и братъ мой увидѣлъ, что, между прочимъ, журналъ даетъ порядочное денежное вознагражденіе за трудъ—и тѣмъ ревностнѣе принялся работать. До тѣхъ поръ, увѣряю, онъ и не разсчитывалъ на доходъ отъ журнала, а радовался только обширному поприщу для своей

многосторонней дѣятельности. Онъ, еще въ Иркутскѣ, ребенкомъ, мечтавшій издавать журналъ, блистательно выступалъ на этотъ давно желанный имъ путь, еще не зная, какіе терны ростутъ на немъ!.. Можно подумать, что судьба предназначила его быть журналистомъ, и хотѣла, чтобы онъ испыталъ вполнѣ важность и трудность этого призванія.

Между тѣмъ, какъ успѣхъ и общее одобреніе поощряли его, явились и неизбѣжныя въ занятіяхъ журналиста непріятности, которыя еще усиливало особенное положеніе Николая Алексѣевича.

Въ обозрѣніи русской литературы и въ другихъ критическихъ статьяхъ, напечатанныхъ въ первыхъ книжкахъ «Московскаго Телеграфа», издатель высказалъ много правды, не стѣсняя себя преданіями, какія господствовали въ тогдашнихъ мнѣніяхъ о разныхъ писателяхъ. Онъ выражалъ неограниченное уваженіе только къ современнымъ свѣтиламъ нашей литературы — Дмитріеву, Карамзину, Жуковскому, Пушкину, и къ нѣкоторымъ ихъ послѣдователямъ, отличавшимся дарованіемъ; остальнымъ прямо говорилъ онъ: посредственно, плохо, дурно, никуда не годится. Приговоры рѣшительные, неуклончивые, даже рѣзкіе, были произносимы писателемъ, еще мало извѣстнымъ, не показавшимъ ничѣмъ собственныхъ своихъ дарованій. Особенно оскорбились этимъ литераторы, которые искусственно составили себѣ извѣстность, даже что-то похожее на славу—пріятельскими похвалами и общественными связями, или пользовались общею снисходительностью единственно за то, что были почтенные, добрые люди, хотя и плохіе писатели. Такъ, напримѣръ, разсердился добрый и благородный Сергѣй Ник. Глинка за отзывъ о его «Русской исторіи», которую издатель «Московскаго Телеграфа» признавалъ не только плохою, но искажающею событія и потому вредною для науки. Встревожились и многіе другіе, почтенные старички и молодые стихотворцы. «Это что за выскочка»?—возопили многіе. Да какое онъ имѣетъ право судить о писателяхъ, ко-

торые пользуются общимъ уваженіемъ? Неужели онъ умнѣе другихъ?» Таковы обыкновенные возгласы посредственности или незаслуженной славы, когда ихъ начинаютъ разоблачать. Всѣмъ задѣтымъ и даже слегка затронутымъ казалась непостижимою дерзость журналиста, между тѣмъ, какъ публика тотчасъ выразила свое сочувствіе за искренность, съ какою высказывалъ онъ свои мнѣнія, согласныя съ ея убѣжденіями. Она тотчасъ одобрила и полюбила журналиста, который вполнѣ понималъ и исполнялъ свою обязанность. Съ свойственнымъ ей чутьемъ, публика сознавала, что журналъ не лицо, и что литераторы, участвующіе въ немъ, должны выражать мнѣнія независимыя, распространять, защищать истину. Тѣмъ больше благодарствовала она журналу, чѣмъ дѣятельнѣе, сильнѣе обличалъ онъ злоупотребленія, укоренившіяся въ литературѣ, чѣмъ независимѣе высказывалъ свои мысли о всѣхъ современныхъ предметахъ. Она смотрѣла не на лицо журналиста, а на мнѣнія журнала, которыя были отголоскомъ мнѣнія большинства, ибо журналъ можетъ имѣть успѣхъ только тогда, когда служитъ органомъ мнѣній, убѣжденій и направленія публики, или, по крайней мѣрѣ, образованной части ея. Счастливъ журналистъ, если онъ не раздѣляетъ убѣжденій публики испорченной, падающей нравственно въ тѣ несчастныя эпохи, когда мѣсто здравыхъ ученій заступаютъ ученія матеріальныя, угождающія только современнымъ страстямъ и увлеченіямъ! Къ счастію, «Московскій Телеграфъ» начался въ ту прекрасную эпоху, когда еще свѣжи были воспоминанія о побѣдѣ Россіи надъ Наполеономъ, то есть—блага и независимости надъ зломъ и тиранствомъ; когда еще здравствовали и дѣйствовали почти всѣ благородные участники этой борьбы, великой и вѣчно-памятной не только побѣдою надъ матеріальной силой, но и побѣдой возвышенныхъ идей свободы надъ деспотизмомъ, идей независимости и достоинства человѣческаго, воскресшихъ послѣ паденія Наполеона. Въ то же время на Западѣ происходила борьба романтиковъ съ

классиками, и возвышенной трансцедентальной философіи съ грубымъ ученіемъ матеріалистовъ и эмпириковъ; падали вѣковые авторитеты; блистательная слава нѣсколькихъ геніальныхъ писателей обращала вниманіе всѣхъ на новое направленіе искусства; во всемъ кипѣла, всюду пробивалась наружу сила, жизнь, независимость!.. Знакомый съ этимъ новымъ направленіемъ, пылкій, смѣлый Полевой съ увлеченіемъ пустился впередъ новымъ путемъ, тѣмъ самымъ, которымъ слѣдовала вся обновлявшаяся Европа. Онъ явился въ свое время первымъ, истинно современнымъ въ Россіи писателемъ, и журналъ его сдѣлался отголоскомъ многихъ, прежде неслыханныхъ мнѣній. Онъ опирался на мнѣніе большинства въ публикѣ: въ этомъ заключалось его право выражать свои мнѣнія независимо отъ личностей, въ этомъ было и могущество его. Это давно составляетъ общепринятыя убѣжденія въ литературахъ образованныхъ; но когда Н. А. Полевой началъ дѣйствовать такимъ образомъ въ нашей литературѣ, то съ нимъ не могли ни согласиться, ни помириться люди отсталые, или тѣ, которые пользовались запоздалыми злоупотребленіями. Они вооружились именно противъ лица, противъ самого журналиста, и знаете ли, повѣрите ли, если не знаете вы, читатель, на что̀ прежде всего начали нападать? На общественное званіе обвиняемаго!.. Начали повторять и язвительно насмѣхаться, что купецъ сдѣлался журналистомъ!.. Противникамъ Полеваго хотѣлось—выходитъ такъ!—увѣрить публику, что надобно непремѣнно быть чиновникомъ, чтобы имѣть умъ и дарованіе; имъ казалось, можетъ быть, что купецъ не можетъ ничему выучиться, не можетъ образовать себя, а тѣмъ меньше опередить другихъ въ образованности, какъ началъ это доказывать своимъ примѣромъ Полевой.

Противники его, да и публика, не знали, однако же, что не всѣ критическія статьи «Московскаго Телеграфа» были писаны самимъ издателемъ. Особенно въ первое время, онъ, еще не вполнѣ увѣренный въ своей литературной опытности,

отдавалъ свои критическія статьи на пересмотръ князю Вяземскому. Нѣкоторыя, съ начала до конца, были написаны княземъ; нѣкоторыя онъ передѣлывалъ почти совершенно. Такъ была составлена статья о «Русской Таліи», изданной на 1825-й годъ Ѳ. В. Булгаринымъ. Помню, что братъ мой написалъ легонькую статью объ этомъ сборникѣ, почти все одобряя въ немъ, и послалъ свою статью на пересмотръ къ князю Вяземскому. Тотъ возвратилъ ее, исписавъ замѣчаніями цѣлый листъ (своимъ уставнымъ почеркомъ, самымъ оригинальнымъ, какой мнѣ случалось видѣть), и при этомъ прислалъ еще слѣдующую записку:

«Возвращаю вамъ съ благодарностію вашу статью о Русской Таліи. Признаюсь, что мы разнимся въ мнѣніи о ней. Я накидалъ на бумагу главныя мысли, которыя служили бы основою моей рецензіи, если былъ бы расположенъ теперь писать. Предоставляю ихъ на ваше разсмотрѣніе и произволъ вашъ, если хотите ими воспользоваться. Впрочемъ, онѣ могутъ пойдти во вторую статью, если хотите оставить первую; но, и оставляя ее, кажется, нужно будетъ обратить вамъ вниманіе на нѣкоторыя мѣста, замѣченныя мною и требующія исправленія. Скажу откровенно, что вашъ разборъ написанъ слишкомъ лѣнивою рукою; надобно добраться до живаго и запустить руку далѣе: тогда доищешься истины и будетъ о чемъ поговорить. А поверхностное исчисленіе поверхностныхъ погрѣшностей ни къ чему не ведетъ.

«Уважая васъ и зная вашъ образъ мыслей, не имѣю нужды въ извиненіи за мою искренность: вы, вѣрно, если и не согласитесь со мною, то на нее не подосадуете. Примите увѣреніе въ моей совершенной преданности.

«Вяземскій».

Ничѣмъ нельзя было такъ затронуть моего брата, какъ намекомъ, что онъ уклоняется отъ обязанности журналиста. Онъ вмѣстилъ въ свой разборъ всѣ замѣчанія князя Вязем-

ского. Эта статья чрезвычайно раздражила многихъ, а едва ли не больше всѣхъ самого издателя Таліи, который вообще былъ недоволенъ тономъ новаго журнала. Упоминаю объ этомъ случаѣ, весьма важномъ не только въ исторіи «Московскаго Телеграфа», но и въ жизни Николая Алексѣевича Полеваго, потому что загорѣвшаяся послѣ этого литературная война имѣла вліяніе на многія его отношенія.

Непріязненное столкновеніе, даже съ людьми, которыхъ мы не можемъ любить или уважать,—всегда прискорбно; гораздо прискорбнѣе оно, когда невольнымъ образомъ увлекаемся въ распрю съ тѣми, кто долго былъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ нами. Братъ мой въ то время почиталъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ событій въ жизни своей дружественное сближеніе свое съ г. Гречемъ, потому что привыкъ уважать его, дорожить его мнѣніемъ еще съ тѣхъ поръ, когда въ Курскѣ съ такою жадностью и съ пользою читалъ «Сынъ Отечества», а въ немъ особенно критическія статьи и замѣчанія самого издателя [1]). Окончательное охлажденіе Николая Алексѣевича къ Каченовскому наступило послѣ литературной борьбы этого стараго журналиста съ «Сыномъ Отечества», въ 1821 году, когда права современности, вкуса, литературнаго такта были на сторонѣ петербургскаго журналиста.

Гораздо новѣе было знакомство и сближеніе моего брата съ Ѳ. В. Булгаринымъ; но онъ не могъ не дорожить пріязнью писателя умнаго, который былъ любимцемъ и почти

---

[1]) Г. Гречъ, въ краткихъ библіографическихъ замѣткахъ «Сына Отечества», иногда нѣсколькими словами умѣлъ сказать болѣе, нежели другіе много-шумящими и широко-вѣщательными рецензіями. Остроумный Марлинскій справедливо напечаталъ о немъ (въ «Полярной Звѣздѣ» 1823 года): «На пламени его критической лампы не одинъ литературный трутень опалилъ себѣ крылья». Въ самомъ дѣлѣ!.. Напримѣръ, когда вышелъ въ свѣтъ Филоктетъ, въ русскомъ переводѣ С. Т. Аксакова, Н. И. Гречъ выписалъ заглавіе его, и подъ нимъ написалъ только подъ-стиха подлинника:

Philoctète, est-ce vous?..

кумиромъ самыхъ блестящихъ петербургскихъ литераторовъ. Ѳ. Н. Глинка, Гнѣдичъ, Баратынскій писали къ нему поэтическія посланія; издатели «Полярной Звѣзды» были искренними его пріятелями; а плохіе писатели не любили и бранили его, что̀ также признакъ хорошаго.

Послѣ этого объясненія, читатель повѣритъ, что издатель «Московскаго Телеграфа» не думалъ и не желалъ входить въ распрю съ двумя литераторами, которыхъ мнѣніе было ему дорого.

По выходѣ первой книжки «Московскаго Телеграфа», въ «Сѣверной Пчелѣ» явился намекъ на журналиста, который умѣетъ составлять идеалъ хорошаго журнала, но не умѣетъ осуществлять его. Были и другіе несомнѣнные признаки неудовольствія «Сѣверной Пчелы» на «Московскій Телеграфъ», гдѣ между тѣмъ была напечатана статья о Русской Таліи. Братъ мой писалъ въ то же время къ Н. И. Гречу, что журнальныя несогласія не должны прекращать ихъ дружественныхъ отношеній. Г. Гречъ тотчасъ отвѣчалъ, что самъ желаетъ этого, но что его товарищъ сильно раздраженъ какими-то намеками «Московскаго Телеграфа» на его сочиненія, и еще больше замѣчаніями на «Горе отъ ума», изъ котораго отрывокъ былъ напечатанъ въ «Русской Таліи». Послѣ этого тотчасъ началась журнальная перестрѣлка, вскорѣ обратившаяся въ безпрерывную канонаду между «Московскимъ Телеграфомъ» и тремя изданіями гг. Греча и Булгарина. Никогда, ни прежде, ни послѣ, не бывало въ русскихъ журналахъ подобной войны, въ которой принимали участіе очень многіе литераторы. Заспорили о мнѣніяхъ касательно разныхъ предметовъ, но вскорѣ полемика обратилась просто во взаимныя перебранки и обличенія! Въ чемъ не обличали тутъ другъ друга? Между прочимъ, да и большею частію, упрекали другъ друга въ незнаніи самыхъ пошлыхъ, ученическихъ мелочей!.. «На брань слово купится»,—говоритъ русская пословица, и тутъ оправдалась она вполнѣ. Перечитывая теперь эту полемику,

нельзя не дивиться, откуда брали охоту и терпѣніе спорившіе!.. Но такъ способенъ былъ каждый изъ насъ увлекаться.

Не думаю, чтобы эта литературная война лучшихъ тогда періодическихъ изданій, продолжавшаяся почти три года, была полезна русской литературѣ; но нѣтъ никакого сомнѣнія, что она была чрезвычайно вредна издателю «Московскаго Телеграфа». Силы его были неравны съ силами противниковъ. Ратоборцами со стороны «Московскаго Телеграфа» были: самъ издатель его и долго бывшій вѣрнымъ союзу съ нимъ князь Вяземскій, да я. На сторонѣ противниковъ были всѣ друзья Греча и Булгарина, участвовавшіе и не участвовавшіе въ ихъ журналахъ, то есть цѣлая армія писателей, изъ которыхъ многіе были замѣчательны дарованіемъ, остроуміемъ или спеціальными свѣдѣніями, отчего стрѣлы ихъ были иногда очень язвительны для «Московскаго Телеграфа». Къ даровитымъ противникамъ присоединялись и разные обиженные новымъ журналомъ писатели и стихотворцы, петербургскіе и московскіе, которымъ, кромѣ того, были настежъ отверсты двери и въ «Вѣстникѣ Европы», и въ «Дамскомъ Журналѣ», и въ «Благонамѣренномъ»! Изъ нихъ также была открыта безпрерывная пальба противъ «Московскаго Телеграфа», хотя и не очень опасная для него. Другихъ журналовъ, собственно литературныхъ, не было. Смиренныя «Отечественныя Записки» Свиньина сами подвергались тяжкимъ ударамъ «Пчелы», и только отмалчивались. Бездушный Воейковъ похваливалъ «Московскій Телеграфъ», но его отвратительныя хвалы можно было почитать обидою, потому что онъ хвалилъ и бранилъ обыкновенно изъ какихъ нибудь корыстныхъ видовъ и, какъ увидимъ впослѣдствіи, сдѣлался отчаяннымъ поносителемъ «Московскаго Телеграфа» и его издателя. Въ «Вѣстникѣ Европы» съ шумомъ и торжественными кликами возстали прежніе противники князя Вяземскаго, зная, что онъ одушевляетъ «Московскій Телеграфъ», а самъ Каченовскій унижался до пошлой, непозволительной брани. Отъ лѣности

онъ не могъ написать ничего дѣльнаго, ни одной даже полемической статьи, и ограничивался площаднымъ глумленіемъ. Такъ, однажды, онъ напечаталъ въ своемъ «Вѣстникѣ», что въ Москвѣ выкинутъ или поднятъ телеграфъ на храмѣ Бахуса. Въ объясненіе этого благороднаго намека надобно сказать, что въ томъ же домѣ, гдѣ мы жили съ братомъ, на заднемъ дворѣ, выходившемъ на другую улицу, помѣщался водочный заводъ, наслѣдованный нами послѣ отца. Вотъ до чего доходили противники «Московскаго Телеграфа»!

Такимъ образомъ, выступивъ на защиту здравыхъ мнѣній, новыхъ понятій и вѣчныхъ истинъ образованности, просвѣщенія, литературы, Николай Алексѣевичъ подвергся насмѣшкамъ, обвиненіямъ, брани, какъ человѣкъ. Мало того, что, подмѣчая каждую его ошибку, описку, промахъ, выводили изъ этого, въ самыхъ подробныхъ комментаріяхъ, что онъ не знаетъ ни русскаго, ни иностранныхъ языковъ, не имѣетъ ни о чемъ свѣдѣній образованнаго человѣка, — мало того, что обвиняли его въ хвастливомъ невѣжествѣ, въ дерзкомъ и неумѣстномъ желаніи учить всѣхъ, не зная ничего,—его обвиняли, какъ шарлатана, какъ человѣка дурнаго общества, который всѣмъ жертвуетъ корыстолюбивымъ видамъ. Все это писали и печатали въ такомъ дерзкомъ тонѣ, что едва ли можно отзываться подобнымъ образомъ даже о человѣкѣ, недостойномъ и той наружной вѣжливости, которая всегда сохраняется въ сношеніяхъ людей, сколько нибудь образованныхъ.

Какъ могъ обыкновенный литературный споръ обратиться въ такое грубое состязаніе? Дѣйствіемъ взаимнаго самолюбія. Оно можетъ увлечь, незамѣтно—и далеко. Этимъ невольнымъ увлеченіемъ главныхъ противниковъ радостно воспользовались бездарные писатели и разные литературные фокусники и шарлатаны, которыхъ всегда преслѣдовалъ Н. А. и не переставалъ преслѣдовать потомъ, до конца своей жизни. При обыкновенномъ направленіи и обычномъ

ходѣ журналовъ, всякій критическій разборъ предоставляется окончательному рѣшенію публики, и хотя самолюбіе обиженнаго бываетъ столько же раздражено, однако молчитъ отъ боязни, что отповѣдь съ его стороны заслужитъ новое осужденіе, да и не найдетъ себѣ мѣста нигдѣ. Но тутъ открытъ былъ въ нѣсколькихъ журналахъ свободный доступъ всѣмъ желавшимъ ратовать противъ «Московскаго Телеграфа».

Знаете ли, кто раздражительнѣе всѣхъ на свѣтѣ и кто не умѣетъ прощать обиды? Авторъ, задѣтый въ своемъ самолюбіи. Говорю это на основаніи безчисленныхъ примѣровъ, мною самимъ видѣнныхъ, и вполнѣ подтверждаю слова покойнаго брата моего, который очень вѣрно выражался, не разъ такъ разсуждая объ этомъ предметѣ: «Назовите самаго плохаго стихотворца великимъ поэтомъ, сравните его съ Пушкинымъ, съ Байрономъ—какъ вы думаете: поморщится онъ? Нимало!.. Развѣ, изъ наружной скромности, но съ улыбкою счастія, онъ возразитъ: «Нѣтъ, ужъ вы слишкомъ... снисходительны, добры, слишкомъ ободряете мое слабое дарованіе»... А въ душѣ будетъ совершенно согласенъ съ вами и не подумаетъ сомнѣваться въ вашей искренности. Но замѣтьте тому же плохому стихотворцу, что онъ не вездѣ соблюдаетъ правила версификаціи, не вездѣ показываетъ истинное вдохновеніе; замѣтьте хвастливому компилятору, что онъ не совсѣмъ владѣетъ языкомъ (попросту: не знаетъ грамоты русской), что онъ не вездѣ вѣрно представляетъ событія, и что книга его мало похожа на образцовыя произведенія, — онъ придетъ въ неистовство и, не смѣя выцарапать вамъ глазъ, сдѣлается навсегда вашимъ врагомъ, будетъ обвинять васъ публично въ пристрастіи, въ ненависти къ дарованіямъ, въ невѣжествѣ, въ дерзости, пожалуй, даже въ неблагонамѣренности». И не подумайте, чтобы самолюбивые писатели были дурные сердцемъ или глупые люди: отнюдь нѣтъ! Это люди такіе же, какъ всѣ (кромѣ немногихъ исключеній къ лучшему или къ худшему). Но если вы увѣрены столько же, какъ я, въ раздражи-

тельности авторскаго самолюбія, то скажите: могли ли раздраженные писатели согласиться, что имъ говорилъ правду издатель «Московскаго Телеграфа», и могли ли они не возражать ему, не колоть, не бранить его, когда это сдѣлалось такъ легко? Всякая выходка, всякая грубая, пошлая насмѣшка могла быть напечатана, и вопли самолюбія, въ другое время задушаемые осторожностью, безпрерывно раздавались въ петербургскихъ и московскихъ журналахъ. Кажется, истощено было все, чтобы унизить, осмѣять, затоптать въ грязь издателя «Московскаго Телеграфа».

Если такъ дѣйствовали противъ него печатно, то можно представить себѣ, что говорилось при томъ въ обществѣ, особливо тамъ, гдѣ имѣли какое нибудь значеніе обиженные писатели!..

Должно удивляться не бурѣ, вызванной «Московскимъ Телеграфомъ», а противодѣйствію этого журнала подобной бурѣ. Достоинства и сила его заключались въ благородномъ, живомъ, современномъ направленіи, и, видно, что эти достоинства были такъ очевидны, что, не смотря на шумъ противниковъ, не смотря и на многіе недостатки и частные промахи журнала, онъ заслужилъ общее одобреніе. Въ этомъ сознаются теперь сами противники «Московскаго Телеграфа», которые еще остаются въ живыхъ. Для насъ, участниковъ въ немъ, общее одобреніе видно было изъ многихъ личныхъ и письменныхъ отзывовъ людей, стоявшихъ во главѣ общественнаго мнѣнія и не имѣвшихъ повода льстить издателю. Послѣ выхода первыхъ книжекъ «Московскаго Телеграфа», знаменитый Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ, тогда патріархъ русской литературы, написалъ къ Николаю Алексѣевичу письмо, гдѣ благодарилъ его за прекрасный его журналъ, указывая на статьи, которыя особенно ему нравились. Какъ бы въ доказательство, что онъ судилъ безпристрастно, заслуженный поэтъ замѣтилъ немногія бездѣлицы, которыхъ, по его мнѣнію, надлежало избѣгать. Помню, что онъ указалъ на слова, несвойственно

употребленныя, а именно на слово: остроты, которое (писалъ онъ) можетъ означать во множественномъ числѣ только вещественныя или химическія остроты; на слова: шотландскіе горцы, замѣчая, что мы привыкли означать именемъ горцевъ только полудикія орды Кавказа. Не сужу, справедливъ ли былъ Дмитріевъ, но это показываетъ, что онъ внимательно читалъ «Московскій Телеграфъ», и, прибавлю, что всегда потомъ онъ оставался въ пріязни съ Николаемъ Алексѣевичемъ и дорожилъ его мнѣніями. Нѣкоторые изъ молодыхъ людей, бывшіе впослѣдствіи извѣстными учеными или писателями, сдѣлались рѣшительными энтузіастами «Московскаго Телеграфа». Большая часть прежнихъ литераторовъ выражали одобреніе и желали знакомства съ издателемъ.

Особенно пріятно было Николаю Алексѣевичу получить, въ началѣ лѣта 1825 года, письмо отъ А. С. Пушкина, который жилъ тогда безвыѣздно въ своей Псковской деревнѣ. Пушкинъ писалъ въ этомъ письмѣ, что «Московскій Телеграфъ несомнѣнно лучшій русскій журналъ» и что онъ готовъ, чѣмъ можетъ, участвовать въ немъ. Вскорѣ прислалъ онъ нѣсколько своихъ стихотвореній и двѣ первыя свои статьи въ прозѣ, для напечатанія въ «Телеграфѣ», такъ что въ этомъ журналѣ русская публика познакомилась съ прозою Пушкина. Одна изъ прозаическихъ статей его была: «О предисловіи Лемонте къ французскому переводу басенъ Крылова»; другая о г-жѣ Сталь, въ возраженіе статьѣ, напечатанной въ «Сынѣ Отечества» Александромъ Михайловичемъ Мухановымъ. Пушкинъ прислалъ свои статьи къ издателю «Московскаго Телеграфа» безъ всякаго посредничества, слѣдовательно по личному убѣжденію признавалъ журналъ его достойнымъ своего участія. Это чрезвычайно обрадовало насъ и придало силъ къ продолженію борьбы съ безчисленными противниками. Кстати, вотъ замѣтка для исторіи литературы русской. Въ числѣ присланныхъ Пушкинымъ стихотвореній находилось его Ex ungue leonem. Оно

не можетъ быть понятно тѣмъ, кто не знаетъ, по какому поводу написалъ его Пушкинъ. Въ первыхъ книжкахъ «Московскаго Телеграфа» были напечатаны небольшія его стихотворенія, вытребованныя у него княземъ Вяземскимъ для новаго журнала, въ которомъ готовился онъ ревностно участвовать. Видно, у Пушкина не было ничего наготовѣ, и онъ, не желая отказать уважаемому имъ другу, прислалъ «Телѣгу жизни», поручивъ ему же передѣлать въ ней два-три слишкомъ выразительные стиха (она и напечатана съ передѣлкою князя Вяземскаго). Пушкинъ прислалъ тогда же еще два-три маленькія стихотворенія. Одно изъ нихъ, напечатанное безъ полной подписи (кажется, по желанію самого поэта), отличалось только силою Пушкинскихъ стиховъ:

Враги мои! покамѣстъ, я ни слова,
И, кажется, мой быстрый гнѣвъ угасъ;
Но изъ виду не выпускаю васъ,
И выберу когда нибудь любова:
Не избѣжитъ пронзительныхъ когтей,
Какъ налечу нежданный, безпощадный!
Такъ въ облакахъ кружится ястребъ жадный
И сторожитъ индѣекъ и гусей.

Между тѣмъ, съ «Московскимъ Телеграфомъ» повторялась басня: Умирающій левъ. Всѣ породы безсильныхъ стали нападать на него, всѣ онѣ почитали какъ за долгъ лягнуть его. Это очень неудачно выполнилъ Александръ Ефимовичъ Измайловъ, издававшій тогда журналъ «Благонамѣренный». Измайловъ былъ, какъ говорятъ, разгульный добрякъ, и этотъ же характеръ выражался въ его журналѣ. Я не зналъ А. Е. Измайлова лично, но знаю, что «Басни» его показываютъ нѣкоторое искусство владѣть русскимъ языкомъ, при совершенномъ отсутствіи образованнаго вкуса. Къ несчастію, онъ увлекся этимъ постепенно до того, что злой Воейковъ вѣрно изобразилъ характеръ его сочиненій, говоря о Измайловѣ (въ своемъ Домѣ сумасшедшихъ):

Вотъ Измайловъ, авторъ басенъ,
Одъ, посланій, эпиграммъ;
Онъ бормочетъ: «Я согласенъ,
Я писатель не для дамъ;
Я люблю носы съ угрями,
Хожу съ музою въ трактиръ,
Ѣмъ икру тамъ, лукъ съ сельдями;
Міръ квартальныхъ есть мой міръ!»

Какъ будто въ подтвержденіе этого, онъ наконецъ принялъ тонъ забавника, шутника, любезника въ обществѣ людей пятнадцатаго класса, какъ выразился о немъ тотъ же Воейковъ въ печатной статьѣ. Измайловъ безпрестанно шутилъ и гаерствовалъ въ своемъ «Благонамѣренномъ», упоминалъ о пѣнникѣ, о настойкѣ, о разстегайчикахъ, о трактирѣ и тому подобныхъ неблагоуханныхъ предметахъ. Издавая свой журналъ неисправно, онъ опоздалъ однажды слишкомъ много выдачею книжекъ, и какъ это случилось около Святой недѣли, то въ вышедшей затѣмъ первой книжкѣ онъ извинялся передъ публикой своимъ шутливымъ тономъ, и тутъ же прибавилъ о себѣ:

Какъ русскій человѣкъ на праздникахъ гулялъ:
Забылъ жену, дѣтей, не только что журналъ!

Пушкинъ упоминаетъ (въ своихъ замѣткахъ) объ этой неслыханной откровенности. Онъ всегда съ презрѣніемъ отзывался о тонѣ сочиненій А. Измайлова, и даже въ своемъ «Онѣгинѣ» сказалъ:

Я знаю: дамъ хотятъ заставить
Читать порусски; право, страхъ!
Могу ли ихъ себѣ представить
Съ Благонамѣреннымъ въ рукахъ?

На бѣду свою, «Благонамѣренный», по примѣру другихъ, потому что инаго повода не было, вздумалъ подсмѣяться надъ «Московскимъ Телеграфомъ» и выбралъ предметомъ насмѣшки стихотвореніе Пушкина: «Враги мои» и проч. Обыкновеннымъ своимъ тономъ онъ говорилъ: «У сочинителя есть и когти: у, какъ страшно!» Пушкинъ, видно,

вспыхнулъ, прочитавъ эту пошлую насмѣшку, и тотчасъ прилетѣло къ намъ, по почтѣ, собственною рукою его написанное:

Ex ungue leonem.

Недавно я стихами какъ-то свистнулъ
И выдалъ въ свѣтъ безъ подписи своей;
Журнальный шутъ о нихъ статейку тиснулъ
И въ свѣтъ пустилъ безъ подписи-жъ, злодѣй!
Но, что-жъ? ни мнѣ, ни площадному шуту,
Не удалось прикрыть своихъ проказъ:
Онъ по когтямъ узналъ меня въ минуту,
Я по ушамъ узналъ его какъ разъ!

Это окончательно сдѣлало Благонамѣренный неблагонамѣреннымъ въ отношеніи къ «Московскому Телеграфу»— по милости Пушкина.

Такъ начались прямыя сношенія Пушкина съ «Московскимъ Телеграфомъ». Они обѣщали прочное знакомство: далѣе увидимъ, отчего не могло это исполниться.

До половины 1825 года, «Московскій Телеграфъ» не отвѣчалъ на безчисленныя нападенія, какими сопровождалось появленіе каждой его книжки. Онъ только неуклонно продолжалъ дѣйствовать по своему направленію, преслѣдовалъ бездарность и обличалъ застой и разныя злоупотребленія въ литературѣ.

Постоянныхъ сотрудниковъ и участниковъ въ немъ было немного. Главнымъ одушевителемъ редакціи сдѣлался князь Вяземскій. Не умѣю назвать точнѣе участія его въ «Московскомъ Телеграфѣ». Онъ не могъ поддерживать журналъ однѣми своими статьями, хотя все, что писалъ онъ въ немъ, было ознаменовано блестящими мыслями и оригинальнымъ выраженіемъ. Статьи его служили украшеніемъ «Московскаго Телеграфа». Но гораздо больше способствовалъ онъ издателю ободреніемъ его къ той благородной дѣятельности, или, вѣрнѣе, борьбѣ, на которую Николай Алексѣевичъ выступилъ съ пылкостью и неопытностью молодаго писателя. Участіе князя Вяземскаго придавало также авто-

ритетъ журналу, въ которомъ онъ являлся сотрудникомъ, и было важно совѣтами этого истинно европейскаго литератора, искренно желавшаго водворить въ русской журналистикѣ взгляды и критику, достойные современнаго просвѣщенія.

Но князь Вяземскій участвовалъ въ «Московскомъ Телеграфѣ», какъ любитель-художникъ участвуетъ въ концертѣ, устроенномъ съ доброю цѣлію молодыми людьми, достойными ободренія.

Вся главная работа лежала на самомъ издателѣ. Онъ избиралъ статьи, отыскивалъ матеріалы для каждой изъ нихъ, съ удивительнымъ тактомъ открывалъ современность предметовъ для содержанія каждой книжки, и самъ больше всѣхъ работалъ, то есть слѣдилъ за всѣми явленіями иностранной и русской литературы, находилъ время прочитывать все, извлекалъ, переводилъ, писалъ неутомимо. Неудивительно, что при этомъ онъ дѣлалъ промахи и ошибался; надобно удивляться тому, какъ мало было промаховъ и ошибокъ при такихъ усиленныхъ занятіяхъ, и какъ многое было современно, живо, хорошо!.. Года черезъ три потомъ, Пушкинъ, разговаривая со мной о знакомомъ уже ему издателѣ «Московскаго Телеграфа», сказалъ, между прочимъ: «Я дивлюсь, какъ этотъ человѣкъ попадаетъ именно на то, что можетъ быть интересно!» Въ самомъ дѣлѣ, у Николая Алексѣевича былъ удивительный даръ въ этомъ отношеніи; а такой даръ проницательности — первое, главное качество журналиста. Читатель не останавливается на мелочныхъ недостаткахъ изложенія, когда самый предметъ увлекаетъ его, и такимъ-то образомъ объясняется успѣхъ «Московскаго Телеграфа», который былъ первымъ истиннымъ журналомъ въ нашей литературѣ. Эта заслуга неоспоримо принадлежитъ Н. А. Полевому.

Ближайшимъ сотрудникомъ его былъ я. Говорю это потому, что здѣсь нельзя не сказать того, что было. Съ одушевленіемъ, усердно и ревностно трудился я во все время,

покуда «Московскій Телеграфъ» былъ издаваемъ моимъ братомъ. Какъ вѣрный съ самаго дѣтства товарищъ его во всемъ, не раздѣлявшій своей жизни отъ его жизни, съ полнымъ убѣжденіемъ, что иначе и быть не можетъ, участвовалъ я во всѣхъ трудахъ его по журналу. Живя въ одномъ домѣ, иногда работая въ одной комнатѣ, мы помогали другъ другу, критиковали другъ друга, заботились о совершенствѣ юношескихъ нашихъ трудовъ, раздѣляли работы свои и нерѣдко спорили, не соглашались даже въ мнѣніяхъ, потому что были различны по характеру, по нѣкоторымъ убѣжденіямъ, а между тѣмъ искренно желали другъ другу совершенства. Напримѣръ, мнѣ казалось тогда, что Николай Алексѣевичъ слишкомъ смѣло принималъ на себя многое, не довольно заботился о совершенствѣ, объ отдѣлкѣ каждаго труда, не довольно обращалъ вниманія на языкъ, имѣлъ нѣкоторыя пристрастія, нѣкоторыя предубѣжденія, и, какъ выражался нашъ отецъ, иногда залеталъ за облака. Впрочемъ, я покорялся его авторитету въ общемъ направленіи журнала; но занятія сами собою раздѣлялись между нами. Я тогда съ особенною ревностью старался усовершенствовать себя въ знаніи иностранныхъ языковъ, читалъ, изучалъ великихъ писателей; исторія вообще и военная въ особенности была съ малолѣтства моею страстью; теорія и исторія искусствъ—также; по всѣмъ этимъ предметамъ я писалъ и переводилъ для нашего журнала. Въ переводахъ и въ чтеніи корректуры, Н. А. былъ всегда небреженъ и охотно предоставлялъ ихъ мнѣ; впослѣдствіи даже отдавалъ свои рукописи и корректуры для пересмотра, говоря при томъ съ веселымъ смѣхомъ: «Ну, что скажешь ты, glaneur? каково? худо вычитано?» Вообще, я принималъ самое дѣятельное участіе въ редакціи «Московскаго Телеграфа», хотя объ этомъ знали только ближайшіе къ намъ знакомые. Я не только не думалъ выставлять своихъ трудовъ, но, почти какъ Мольеровъ Г. Журденъ, удивился бы, если бъ кто сказалъ мнѣ тогда, что я занимаюсь литерату-

рой: я думалъ только помогать моему брату, желалъ только, чтобы журналъ его былъ хорошъ, и увлекался только трудомъ, не помышляя ни о какихъ самолюбивыхъ цѣляхъ.

Еще былъ одинъ постоянный и очень полезный сотрудникъ въ «Московскомъ Телеграфѣ», хотя имя его неизвѣстно въ литературѣ, и я даже не знаю, что съ нимъ сдѣлалось потомъ. Это былъ Авениръ Ивановичъ Красовскій, тогда очень молодой человѣкъ, необыкновенно ученый, дѣльный и притомъ скромный, какъ красная дѣвица. Званіемъ онъ былъ медикъ, и хотя блестящимъ образомъ кончилъ курсъ медицинскихъ наукъ, однако не занимался практикой. Кажется, у него было мало средствъ къ существованію, а онъ уже былъ женатъ по любви, на молоденькой женщинѣ, необыкновенно умной, образованной, бывшей потомъ предметомъ идеальной любви поэта Мицкевича. А. И. Красовскій зналъ древніе языки и притомъ французскій, нѣмецкій, англійскій, польскій—превосходно. Почти не было предмета, въ которомъ не имѣлъ бы онъ основательныхъ познаній. Такой человѣкъ былъ бы драгоцѣненъ для журнала, если бы притомъ онъ обладалъ литературнымъ дарованіемъ. Но А. И. Красовскій, умный, свѣдущій и хорошо знавшій русскій языкъ, былъ способенъ только для переводовъ: самъ онъ почти ничего не писалъ и, такъ сказать, не умѣлъ давать простора своему уму. Все, писанное имъ, выходило какъ-то сухо, нелитературно. У насъ и до сихъ поръ еще не совсѣмъ понимаютъ, что не всякій умный, образованный, даже ученый человѣкъ способенъ быть литераторомъ; писательское дарованіе не пріобрѣтается, но только совершенствуется трудомъ и ученіемъ. Его, какъ и дарованіе поэта, даетъ Богъ. Можно знать и усвоить себѣ всѣ правила словесности, а, всетаки, не быть литераторомъ. Потому-то и А. И. Красовскій занимался только переводами ученыхъ статей для «Московскаго Телеграфа».

Къ числу постоянныхъ сотрудниковъ «Московскаго Телеграфа», въ первые годы его, можно причислить также

Михаила Александровича Максимовича, который нѣсколько лѣтъ писалъ статьи для него по своей части. Надобно объяснить, какая была его часть, и кстати познакомить читателя съ этимъ сотрудникомъ «Московскаго Телеграфа», тѣмъ болѣе, что г. Максимовичъ долго былъ въ самыхъ близкихъ, пріязненныхъ сношеніяхъ съ моимъ братомъ, а потомъ сдѣлался непріятелемъ его—увидимъ далѣе какимъ образомъ.

Когда В. Ѳ. Тимковскій поручилъ вниманію брата моего обоихъ своихъ племянниковъ, учившихся въ Московскомъ университетѣ, одинъ изъ нихъ, М. А. Максимовичъ, началъ посѣщать насъ, показалъ себя скромнымъ, трудолюбивымъ юношею, и вскорѣ сдѣлался домашнимъ человѣкомъ въ нашемъ домѣ, такъ что, наконецъ, проводилъ цѣлые дни и иногда ночевалъ у насъ. Это началось съ 1822 года. Онъ былъ довольно оригиналенъ своимъ малороссійскимъ юморомъ и страстью къ ботаникѣ, которою занимался почти исключительно. Еще бывши студентомъ, онъ пописывалъ ботаническія статейки въ «Магазинѣ Естественныхъ Наукъ» Двигубскаго, профессора, очень значительнаго въ университетѣ, и любителя ботаники. Тогдашній профессоръ ботаники въ университетѣ, Гофманъ, почтенный старичекъ въ рыжемъ паричкѣ, также оказывалъ благосклонность молодому ученику своему, конечно, за его дѣльныя занятія общею для нихъ наукою. Въ нашемъ кругу всѣ близкіе знакомые любили шутить съ М. А. Максимовичемъ, даже подсмѣивались надъ любимыми его занятіями, потому что онъ пресмѣшно разсказывалъ о нихъ, иногда вставляя латинскія слова въ свои разсказы. Когда онъ былъ уже домашнимъ человѣкомъ у насъ, Николай Алексѣевичъ называлъ его не иначе, какъ Dominus, а встрѣчалъ обыкновенно какою нибудь латинскою фразою. Всѣ другіе, близкіе знакомые нашего круга, также называли его Dominus. Но, шутя и балагуря, юноша Dominus сдѣлался кандидатомъ и потомъ магистромъ естественныхъ наукъ, не переставалъ пописы-

вать и, когда началось изданіе «Московскаго Телеграфа», онъ принялъ на себя составленіе статей по естествознанію. Это было исключительною его частью въ «Московскомъ Телеграфѣ», потому что въ то время онъ и не думалъ заниматься словесностью собственно. Слабое зрѣніе и незнаніе иностранныхъ языковъ мѣшали ему читать; притомъ, онъ былъ страшный лѣнтяй и всегда казался дремлющимъ; но взамѣнъ всего онъ обладалъ удивительною смѣтливостью, умѣлъ спрашивать, слушать и, такъ сказать, учился изъ разговоровъ. Когда многіе тогдашніе молодые люди читали, изучали нѣмецкихъ философовъ, онъ не читалъ ихъ (да и не могъ читать), но слушалъ сужденія и объясненія профессора Павлова и всей фаланги его послѣдователей, съ которыми былъ знакомъ почти со всѣми. Словомъ, онъ вполнѣ воспользовался правиломъ древней мудрости: «Кто говоритъ, тотъ сѣетъ, кто слушаетъ, тотъ собираетъ». Отличаясь въ обхожденіи малороссійскимъ простодушіемъ, онъ чрезвычайно любилъ знакомиться съ людьми, самыми противоположными по всѣмъ отношеніямъ, и легко сближался съ ними, наконецъ, заставлялъ ихъ исполнять свои требованія, даже свои прихоти, и всѣ, смѣясь, дѣлали для него то, что онъ хотѣлъ. При всемъ наружномъ простодушіи, онъ отличался необыкновенною разсудительностью, умомъ проницательнымъ, и тѣмъ окончательно привязывалъ къ себѣ. Его небольшія статьи по части естествознанія были очень кстати въ «Московскомъ Телеграфѣ», потому что въ нихъ часто выражались новыя тогда идеи.

Князь В. Ѳ. Одоевскій въ началѣ 1825 года писалъ довольно дѣятельно музыкальныя статьи и юмористическіе очерки для «Московскаго Телеграфа»; но другія занятія и разныя отношенія отвлекали его отъ постояннаго сотрудничества въ нашемъ журналѣ. Онъ всегда, и до конца жизни Николая Алексѣевича, остался вѣрнымъ пріязни съ нимъ, но мало писалъ для его журнала.

И вотъ я исчислилъ всѣхъ, кого можно было назвать больше или меньше постоянными сотрудниками «Московскаго Телеграфа», въ первый годъ его существованія. Иногда присылались еще къ намъ забѣглыя статьи извѣстныхъ литераторовъ, не поладившихъ съ тѣми журналами, гдѣ были они сотрудниками; но такихъ статей было немного. Редакція могла надѣяться только на собственныя свои силы.

VIII.

Буря, поднятая противъ «Московскаго Телеграфа» его противниками. — «Особенное прибавленіе» къ «Московскому Телеграфу».—Противники, перешедшіе на сторону Н. А. Полеваго: Д. В. Веневитиновъ, В. А. Ушаковъ, Н. П. Демидовъ.—Насмѣшливые куплеты Писарева и энергическая защита Полеваго публикою.

Неисчислима была толпа тѣхъ, которые писали противъ «Московскаго Телеграфа» и усиливались уронить его окончательно. Какъ долженъ былъ поступить въ этомъ случаѣ издатель?

Онъ не отвѣчалъ ни на одно нападеніе до половины 1825 года. Это было не случайностью, а слѣдствіемъ плана, который онъ составилъ себѣ и который обсуживали мы, соображая всѣ обстоятельства.

Въ журнальной тактикѣ есть два способа отдѣлываться отъ нападающихъ. Можно не отвѣчать имъ, не отражать никакихъ нападеній и продолжать спокойно свой трудъ, поддерживая и развивая свои мнѣнія. Такъ дѣйствуютъ всѣ солидные, уже утвердившіе свою извѣстность журналы въ Европѣ; такъ дѣйствовалъ и у насъ Карамзинъ, когда былъ журналистомъ. Ему нечего было опасаться мелочныхъ нападеній, когда слава его была уже утверждена прочно. Въ новѣйшее время, Сенковскій, издавая «Библіотеку для Чтенія», также не отвѣчалъ ни на какія замѣчанія и кри-

тическіе разборы, писанные противъ его журнала. Но ему также нечего было опасаться: онъ былъ сначала негласнымъ редакторомъ журнала, вскорѣ заслужилъ извѣстность перваго остроумца между русскими писателями, умѣлъ пріобрѣсти славу первостепеннаго ученаго и не опасался большей части современныхъ литераторовъ, связанныхъ съ его журналомъ сотрудничествомъ, за которое редакція платила имъ щедро. Это было надежнымъ ручательствомъ въ сердечной ихъ дружбѣ. Вообще, Сенковскій поставилъ себя такъ, что могъ съ высоты своихъ оплотовъ глядѣть презрительно на весь міръ. Но не всегда можно побѣдить непріятелей недоступностью своею и равнодушіемъ къ ихъ нападеніямъ.

Есть другая метода въ журнальной тактикѣ: отражать всѣ нападенія, отвѣчать на всѣ критики и замѣчанія, слѣдуя примѣру Д. В. Дашкова, который въ спорѣ съ Шишковымъ, на дерзкое выраженіе его: «Хощеши ли сотворю ти подзатыльника?» отвѣчалъ: «И абіе воздамъ ти сторицею!» Издатель «Московскаго Телеграфа» избралъ эту методу къ защитѣ, не потому, что она была сходнѣе съ воинственнымъ, наступательнымъ его характеромъ, а потому, что нѣсколько мѣсяцевъ безотвѣтности съ его стороны не только не усмирили, не укротили его непріятелей, но придали имъ какую-то увѣренность и, какъ показалъ я, неслыханную до тѣхъ поръ дерзость. Издатель «Московскаго Телеграфа» только начиналъ свое литературное поприще и, уже въ первое время существованія его журнала, былъ, можно сказать, осыпанъ нападеніями и обвиненіями всякаго рода, начиная отъ обыкновенныхъ литературныхъ противорѣчій, до самыхъ дерзкихъ и нелитературныхъ выходокъ. Онъ былъ не Карамзинъ, не прославленный ученый и профессоръ; онъ учился не въ университетахъ, не въ академіяхъ; а въ глазахъ тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломовъ ни на какое ученое званіе, что̀ такъ усердно старались пояснить благо-

родные, повитые на щитахъ его противники. Они упрекали, кололи его званіемъ; выводили послѣдствія, по ихъ мнѣнію, очень логическія, что званіе купца, слѣдовательно торговца, промышленника, несовмѣстно съ литературными занятіями, и, почитая его какимъ-то паріею среди благородныхъ кастъ, на этомъ основаніи позволяли себѣ дерзости, какихъ не осмѣлились бы сказать другому. Наконецъ, издатель «Московскаго Телеграфа» могъ опасаться, что съ нимъ сбудется то, что Бомарше вложилъ въ уста Донъ-Базиліо о клеветѣ: «самая пошлая, самая нелѣпая клевета оставляетъ послѣ себя слѣдъ».

«Московскій Телеграфъ» отвѣчалъ на критики, направленныя противъ него. Отвѣчать было необходимо даже для того, чтобы публика не приняла наконецъ безотвѣтности издателя «Московскаго Телеграфа» за невольное сознаніе въ обвиненіяхъ, взводимыхъ на него. Но, рѣшившись отвѣчать, Н. А. хотѣлъ исполнить это со всею свойственною ему энергіею, хотѣлъ не только отразить нападенія, но и перейдти въ наступленіе на своихъ непріятелей, врубиться въ густую колонну ихъ и, какъ говорятъ военные, произвести атаку до дна à fond. Онъ собралъ все, что было писано противъ «Московскаго Телеграфа» съ самаго начала его, занялся подробнымъ разборомъ и многорѣчивыхъ критикъ, и злыхъ нападеній, особенно непріязненныхъ ему, посвятилъ на это довольно много времени, и въ половинѣ 1825 года напечаталъ при своемъ журналѣ цѣлую отдѣльную книжку, подъ заглавіемъ:

«Особенное Прибавленіе къ «Московскому Телеграфу». Обозрѣніе критическихъ и антикритическихъ статей и замѣчаній на «Московскій Телеграфъ», помѣщенныхъ въ «Дамскомъ Журналѣ», «Вѣстникѣ Европы», «Сынѣ Отечества», «Благонамѣренномъ», «Сѣверной Пчелѣ», «Сѣверномъ Архивѣ» и писанныхъ княземъ Шаликовымъ и гг. Н. Мел...., М. Дмитріевымъ, Булгаринымъ, Карніолинымъ-Пинскимъ, Усовымъ, Ертовымъ, А. Ѳ., П. Ж. К., Д. Р. К., —вымъ, и проч.».

Это Особенное Прибавленіе, по объему своему, не могло быть напечатано при одной книжкѣ «Московскаго Телеграфа» и, конечно, произвело впечатлѣніе различное: заняло вниманіе читающей публики, можетъ быть, оправдало издателя въ глазахъ многихъ, но еще больше раздражило противниковъ его. Они вскорѣ начали возражать въ различныхъ видахъ; издатель «Московскаго Телеграфа» уже не медлилъ отвѣтомъ имъ, и такимъ образомъ разгорѣлась та безпримѣрная въ нашей литературѣ полемика, о которой я вспоминаю съ сожалѣніемъ. О чемъ спорили? чего хотѣли и чего достигли спорившіе? Въ основаніи спора не было глубокой литературной идеи, не было какого нибудь богатаго послѣдствіями направленія. Хотѣли оспорить другъ друга, или, лучше сказать, обвинить, унизить непріятеля и, конечно, достигли этого хоть отчасти, потому что указывали на ошибки, обмолвки, слабыя и смѣшныя стороны, которыя есть въ каждомъ человѣкѣ, а слѣдовательно, и въ каждомъ писателѣ. Кто выдержитъ строгій судъ врага, особливо когда онъ раздраженъ? Вмѣсто того, чтобы слѣдовать вѣчной мудрости, заключающейся въ словахъ: «Пусть тотъ броситъ камень, кто чувствуетъ себя невиноватымъ ни въ чемъ», безпощадно обвиняли и обличали другъ друга, и въ громадѣ пустыхъ, вздорныхъ придирокъ было и столько правды, что самолюбіе спорившихъ не могло не страдать отъ того, а въ публикѣ не могло не остаться впечатлѣнія, неблагопріятнаго для обѣихъ сторонъ. Извѣстна старинная истина, что нѣтъ великаго человѣка для его камердинера. Раскрывая слабыя стороны писателя, унижаютъ его передъ толпою безъ пользы для литературы, когда это ведетъ не къ поясненію какого нибудь литературнаго вопроса или событія, а къ униженію только личности. Въ томъ-то и былъ несчастный характеръ войны противъ издателя «Московскаго Телеграфа», что спорили не о литературѣ собственно, а о немъ самомъ, стараясь унизить его во всѣхъ отношеніяхъ, какъ писателя, какъ члена общества, какъ человѣка.

И все это было не иное что, какъ игра раздраженнаго самолюбія. Въ доказательство я укажу не на озлобленныхъ противъ Николая Алексѣевича писателей, съ которыми никогда не могъ онъ помириться, не на Каченовскаго, не на А. Писарева (исторія не именуетъ живыхъ!), а на людей, съ которыми былъ онъ потомъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, и которые искренно уважали его. Изъ числа ихъ наименую прежде всѣхъ Дмитрія Владиміровича Веневитинова.

Веневитиновъ былъ человѣкъ, какіе встрѣчаются рѣдко. Онъ соединялъ въ себѣ способности поэта-художника съ умомъ философа. Необыкновенная натура его развилась рано при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Счастливый выборъ наставниковъ, избранное общество, довольство въ жизни, все способствовало тому, что въ двадцать лѣтъ онъ былъ уже болѣе нежели образованнымъ человѣкомъ—онъ былъ художникъ и мыслитель. Нельзя сказать, на какую степень возвысился бы онъ какъ писатель, потому что онъ умеръ 22-хъ лѣтъ, но у него было необыкновенное писательское дарованіе. Первымъ печатнымъ опытомъ его была статья противъ «Московскаго Телеграфа», напечатанная въ «Сынѣ Отечества». Дѣло шло о явившейся въ то время первой главѣ Онѣгина. Николай Алексѣевичъ, увлеченный прелестью и новостью этого явленія, расхвалилъ его почти безусловно, въ легкой журнальной статьѣ. Веневитиновъ насмѣшливо отозвался объ этомъ юношескомъ увлеченіи и указалъ на нѣкоторыя противорѣчія статьи «Московскаго Телеграфа». Отвѣчая своимъ противникамъ въ Особенномъ Прибавленіи, Н. А. рѣзко опровергалъ мнѣнія и замѣчанія Веневитинова, который, въ свою очередь, еще рѣзче отвѣчалъ ему. И вотъ два журнальные врага! Но, встрѣчаясь потомъ въ знакомыхъ домахъ, Веневитиновъ и Н. А. вскорѣ познакомились и посѣщали другъ друга. Въ немного мѣсяцевъ, которые Веневитиновъ оставался послѣ этого въ Москвѣ, знакомство ихъ не успѣло возрасти до

дружбы; но Веневитиновъ былъ не такой человѣкъ, чтобы онъ сталъ поддерживать знакомство и изъявлять уваженіе человѣку, непріятному ему. Передъ самымъ отъѣздомъ своимъ въ Петербургъ, бывшій противникъ Н. А. Полеваго провелъ у него цѣлый вечеръ въ самомъ пріятельскомъ разговорѣ.

Еще больше разительный примѣръ представляютъ вражда и потомъ искренняя пріязнь Николая Алексѣевича съ достопамятнымъ человѣкомъ и хорошимъ писателемъ—Василіемъ Аполлоновичемъ Ушаковымъ. Онъ достоинъ воспоминанія, какъ писатель, но гораздо больше, какъ человѣкъ, необыкновенно оригинальный. О немъ нѣтъ нигдѣ извѣстій, и потому я перескажу здѣсь, что знаю достовѣрно объ авторѣ Киргизъ-Кайсака. Онъ воспитывался въ Пажескомъ корпусѣ, учился отлично и вышелъ офицеромъ въ гвардію. Знавшіе его въ это время говорили мнѣ, что В. А. Ушаковъ былъ самый щеголеватый офицеръ и при томъ мечтатель, романическая голова. Онъ влюбился въ одну особу высокаго сана, но не могъ и мечтать о ней, тосковалъ и, можетъ быть, отъ этого постепенно сдѣлался чудакомъ, почти медвѣдемъ, какимъ мы знали его. Но прежде, нежели дошелъ онъ до такого состоянія, онъ прослужилъ офицеромъ лейбъ-гвардіи Литовскаго полка 1812, 1813 и 1814-й годы, находился въ одномъ изъ знаменитыхъ каре своего полка въ Бородинской битвѣ, и при этомъ обѣ руки его были прострѣлены картечью; но онъ вскорѣ выздоровѣлъ, и въ рядахъ нашей побѣдоносной гвардіи вступилъ въ Парижъ. Вышедши въ отставку, онъ уединился отъ общества, накупилъ себѣ множество книгъ, читалъ, худо управлялъ своимъ имѣніемъ и, кажется, къ концу своей жизни, былъ скорѣе бѣденъ, нежели богатъ. Оставшись на вѣкъ холостякомъ, онъ не терпѣлъ общества женщинъ, называлъ ихъ матушки мадамъ, и жилъ въ кругу театральныхъ артистовъ, а все остальное время посвящалъ литературнымъ занятіямъ. Таковъ былъ онъ, когда я узналъ его.

До 1825 года онъ не печаталъ ничего, но въ это время принялъ участіе въ войнѣ противъ «Московскаго Телеграфа» и написалъ противъ него нѣсколько рѣзкихъ и довольно замѣчательныхъ статей. Ни я, ни братъ мой не были съ нимъ знакомы. На свадьбѣ одного родственника нашего въ Москвѣ, гдѣ онъ жилъ, мы встрѣтились съ нимъ; но онъ глядѣлъ медвѣдемъ и не протягивалъ руки. Въ началѣ 1828 года, отправляясь изъ Москвы въ Петербургъ въ дилижансѣ, я неожиданно увидѣлъ себя лицомъ къ лицу съ В. А. Ушаковымъ. Въ то время переѣздъ отъ Москвы до Петербурга продолжался четверо сутокъ, а въ дорогѣ люди сближаются скоро. Я узналъ въ бывшемъ своемъ противникѣ человѣка добраго, умнаго и необыкновенно образованнаго. Онъ многое видалъ, много читалъ и зналъ въ совершенствѣ не только языки французскій и нѣмецкій, но и литературы. Вообще, что зналъ онъ, то зналъ хорошо, и отказывался говорить о томъ, чего не зналъ. На немъ былъ отпечатокъ образованныхъ людей времени Александра I-го, въ которыхъ, при всѣхъ ихъ недостаткахъ, было нѣчто рыцарское: они доказали это и во время великихъ войнъ съ Наполеономъ, и послѣ, пламенно, искренно любя и отечество, и независимость, и честь народную, и личную. Но, при многихъ прекрасныхъ качествахъ ума и души, В. А. Ушаковъ былъ оригиналъ и даже чудакъ. Правдивость его легко переходила въ грубость, и онъ безпощадно обличалъ невѣжество и шарлатанство, особливо въ людяхъ, имѣвшихъ наружность образованности. Плохимъ писателямъ онъ прямо говорилъ, что они не умѣютъ писать. При первой встрѣчѣ съ кѣмъ либо, онъ обыкновенно глядѣлъ медвѣдемъ, отмалчивался или выражался рѣзко. Въ общество свѣтское онъ никогда не показывался, хотя могъ бы играть тамъ роль, и посѣщалъ только немногихъ знакомыхъ, а вечера обыкновенно проводилъ въ театрѣ. По возвращеніи изъ Петербурга, онъ началъ навѣщать насъ, то есть меня и Николая Алексѣевича, наконецъ постоянно обѣдывалъ у насъ по

воскресеньямъ и иногда проводилъ цѣлые дни. Онъ вызвался писать въ «Московскомъ Телеграфѣ» о театрѣ и, кромѣ того, помѣщалъ въ немъ свои статьи. Пріязнь наша съ нимъ продолжалась до его смерти, хотя иногда случалось, что онъ вдругъ надуется, не приходитъ нѣсколько времени и потомъ вдругъ является, улыбаясь по-своему. Но въ основаніи это былъ человѣкъ съ истинными достоинствами и съ хорошимъ литературнымъ дарованіемъ. Изъ литературнаго врага онъ сдѣлался искреннимъ пріятелемъ Николая Алексѣевича. И не можетъ быть иначе между людьми прямодушными и образованными. Послѣ размолвки, какой бы то ни было, имъ стоитъ только объясниться, и они вѣрно будутъ справедливы другъ къ другу. Раздраженное самолюбіе замѣнится пріязнію и взаимнымъ уваженіемъ.

На сторонѣ литературныхъ противниковъ Николая Алексѣевича явился и остроумный А. Бестужевъ, насмѣшливо отозвавшійся о «Московскомъ Телеграфѣ» въ своемъ «Обозрѣніи литературы», напечатанномъ въ «Полярной Звѣздѣ» 1825 года. Это особенно изумило моего брата, потому что до тѣхъ поръ онъ былъ въ пріязненныхъ сношеніяхъ съ обоими издателями «Полярной Звѣзды, и одинъ изъ нихъ [1]), проѣзжая черезъ Москву зимою 1824 года, нѣсколько разъ былъ у насъ, какъ искренній пріятель. Лѣтомъ 1825 года, А. Бестужевъ прожилъ довольно долго въ Москвѣ, и хотя обмѣнялся съ нами визитами, но былъ холоденъ. Уже черезъ нѣсколько лѣтъ потомъ, съ Кавказа, онъ началъ переписку съ нами, и въ первомъ письмѣ къ Николаю Алексѣевичу признавалъ себя виновнымъ передъ нимъ въ томъ, что повѣрилъ клеветѣ В. С. Филимонова, нѣкогда друга его.

Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!

Такъ-то иногда невидимыя причины способствуютъ литературной распрѣ, и все это обрушивается на личность лите-

[1]) Рылѣевъ.

ратора. Публика не видитъ и не знаетъ тайныхъ, закулисныхъ, иногда темныхъ поводовъ къ непріязни между писателями, и судитъ только о томъ, что читаетъ. Могла ли она подозрѣвать, что Каченовскій возненавидѣлъ издателя «Московскаго Телеграфа» за сближеніе его съ княземъ Вяземскимъ; что Ѳ. В. Булгаринъ воспылалъ местію за разборъ «Таліи», въ которомъ издатель «Московскаго Телеграфа» не былъ виноватъ; другіе вступились за своихъ пріятелей; иные, особливо новички, хотѣли попробовать силъ и поострить надъ смѣльчакомъ, и когда примѣшалось къ этому человѣческое самолюбіе, и еще больше—авторское самолюбіе, тогда вражда легко возросла до неслыханнаго прежде въ нашей литературѣ раздраженія. Но громада обвиненій не могла не дѣйствовать на многихъ читателей. Il en reste toujours quelque chose!—говоритъ знатокъ дѣла. И это могли мы видѣть на самыхъ благородныхъ, просвѣщенныхъ людяхъ, не переставшихъ любить и уважать Николая Алексѣевича... Но въ ихъ улыбкѣ, въ ихъ невольныхъ фразахъ, вырывавшихся у нихъ, когда заходила рѣчь о «Московскомъ Телеграфѣ, видно было, что непріязненныя нападенія на него производили въ нихъ впечатлѣніе.

Нельзя не сказать: велика должна быть сила въ періодическомъ изданіи, котораго не сломитъ подобная буря. «Московскій Телеграфъ» выдержалъ ее, и общее мнѣніе, можетъ быть, колебавшееся иногда, вообще было рѣшительно въ его пользу. Доказательствомъ этого послужитъ достопамятный случай, достойный описанія.

Я уже упоминалъ о непримиримой и неукротимой враждѣ къ моему брату А. Писарева и пояснилъ причины ея. Можно представить себѣ, какъ радовался онъ разнообразной войнѣ, открывшейся со всѣхъ сторонъ противъ врага-писателя, ненавистнаго ему. Онъ и самъ участвовалъ въ нападеніяхъ за издателя «Московскаго Телеграфа», писалъ противъ него бранчивыя статейки и эпиграммы, печаталъ

что дозволялось, пускалъ въ ходъ въ рукописи то, чего нельзя было напечатать. Нельзя и теперь напечатать, по разнымъ отношеніямъ, всѣхъ язвительныхъ его стихотвореній противъ моего брата. Вотъ одна невинная эпиграмма Писарева, направленная собственно противъ «Московскаго Телеграфа».

— Ты видѣлъ «Телеграфъ»?—Во Франціи видалъ.
— Читалъ ли?—Нѣтъ.—А что-жъ тому причина?
— Какъ что?—Вѣдь «Телеграфъ»—журналъ!
— Пустое! Телеграфъ—машина!—

Не довольствуясь всѣмъ этимъ и желая, при шумѣ общихъ нападеній, торжественно пристукнуть издателя «Телеграфа», А. Писаревъ написалъ противъ него насмѣшливые куплеты и вставилъ ихъ въ свой водевиль «Три десятки», который былъ назначенъ для представленія на театрѣ. Объ этомъ, задолго до перваго представленія, пріятели Писарева разнесли слухъ, и таково было тогда участіе къ литературнымъ событіямъ, что вся читающая публика раздѣлилась на двѣ стороны: одна хотѣла уничтожить Полеваго, другая хотѣла защитить его. Въ день представленія, большой театръ былъ наполненъ зрителями такъ, что не доставало мѣстъ. Замѣтно было какое-то глухое движеніе, когда начался водевиль Писарева; но когда актеръ Сабуровъ пропѣлъ:

Теперь вездѣ народъ затѣйный,
Пренебрегаютъ простотой:
Всѣмъ милъ цвѣтокъ оранжерейный
И всѣмъ наскучилъ Полевой! (bis)

раздались рукоплесканія и вмѣстѣ страшное шиканье. Одни требовали повторенія куплета, другіе шикали, стучали, кричали: «не надо»! Смущенный актеръ повернулся и ушелъ за кулисы. Окончательный куплетъ пѣла милая, любимая публикою актриса, г-жа Рѣпина. Слышу, кажется, и теперь вкрадчивый голосъ, которымъ она произносила такъ граціозно:

Журналистъ безъ просвѣщенья
Хочетъ публику учить;
Самъ не кончивши ученья,
Всѣхъ сбирается учить;
Мертвыхъ и живыхъ тревожитъ?
Не пора ль ему шепнуть:
«Тотъ другихъ учить не можетъ,
Кто учился какъ нибудь»!

Шиканье, крикъ, шумъ, свистъ до такой степени оглушили актрису, что она, зажавъ уши, бросилась (буквально) бѣжать со сцены. Всѣ расхохотались, и защитники Полеваго уже думали торжествовать побѣду, когда раздались крики: «автора»! Не смотря на шиканье и крики противниковъ, Писаревъ явился въ директорской ложѣ, и едва успѣлъ поклониться публикѣ раза два-три, потому что шиканье, шумъ, усилились въ эти мгновенія еще больше, заглушили немногія «браво» пріятелей Писарева, и сопровождались такими знаками, которые принудили автора поскорѣе скрыться... Нѣкоторые грозили ему кулаками... Генералъ К. (убитый въ Турецкую войну въ 1828 году) всталъ съ креселъ перваго ряда и, оборотившись къ Писареву, плюнулъ!.. И все это происходило съ такою запальчивостью, неожиданностью, что я не помню ничего подобнаго въ театрѣ, и не думаю, чтобы въ русскомъ театрѣ бывало что нибудь подобное!.. Многіе свидѣтели описываемаго мною представленія, еще здравствующіе, подтвердятъ, что я не преувеличилъ ничего и разсказалъ то, что самъ видѣлъ и слышалъ. Можно сказать, что этотъ вечеръ (въ ноябрѣ 1825 года), былъ торжествомъ Н. А. Полеваго, ибо онъ ясно подтвердилъ, какъ любила его публика, и какъ многочисленны были его защитники противъ небольшой партіи противниковъ, которые собрались въ театръ съ намѣреніемъ поддержать нападеніе Писарева и, какъ они выражались, похоронить Полеваго, тогда какъ со стороны Николая Алексѣевича не было никакихъ приготовленій. Онъ никого не просилъ защищать себя, и кто были защитники его,—онъ не зналъ! Во время представленія, я сидѣлъ въ креслахъ подлѣ него,

и могу увѣрить, что онъ простодушно смѣялся куплетамъ Писарева, чуть ли не хлопалъ въ ладоши!.. Но чѣмъ неудачнѣе была попытка Писарева, тѣмъ сильнѣе былъ гнѣвъ его. Въ тотъ же вечеръ давали, кажется, переводную піесу П. Н. Арапова (не помню названія ея), какой-то бенефисный водевиль, къ которому нѣсколько нумеровъ музыки написалъ князь В. Ѳ. Одоевскій. Этой піесѣ рукоплескали отчаянно, явно на зло Писареву. Шелъ еще болѣе слабый водевиль графа П., съ музыкою капельмейстера Кубишты. И этому рукоплескали, тогда какъ «Три десятки», піесу, написанную искусною рукою и украшенную прекрасною музыкою А. Н. Верстовскаго, приняли холодно и готовы были ошикать. Раздраженный Писаревъ тутъ же написалъ куплетъ и передалъ его, черезъ своихъ знакомыхъ, въ кресла. Вотъ этотъ куплетъ.

Скропалъ А.....въ водевиль,
О.....й скропалъ музыку;
Man kann nicht immer was man will,
И пьеса хлопнулась безъ крику!
Но П...нъ авторовъ хвалилъ,
З**** радовался вчужѣ,
И пьянымъ голосомъ твердилъ:
«Да мы съ Кубиштой чѣмъ же хуже?»

Черезъ нѣсколько дней было повтореніе водевиля «Три десятки». Я поѣхалъ въ театръ посмотрѣть, что будетъ еще. Театръ былъ на половину пустъ. Когда Сабурову пришлось пѣть куплетъ о цвѣткѣ полевомъ, онъ, при послѣднемъ стихѣ, повернулъ голову въ сторону, прикрывъ лицо рукою, произнесъ его въ полголоса и съ слѣдующимъ измѣненіемъ:

И всѣмъ наскучилъ (въ сторону) луговой!

Не знаю, по собственному ли побужденію сдѣлалъ онъ эту перемѣну, но она имѣла такой видъ, какъ будто актеръ несогласенъ съ авторомъ. Г-жа Рѣпина, всегда развязная и ловкая, пропѣла послѣдній куплетъ свой робко, лишила его всей выразительности и отдѣлалась немногими знаками

неодобренія публики. Но самъ водевиль палъ! Его представляли потомъ, но очень рѣдко, какъ бы соображаясь съ мнѣніемъ большинства. А между тѣмъ, этотъ водевиль, можетъ быть, одинъ изъ самыхъ удачныхъ, написанныхъ Писаревымъ: по содержанію, по всѣмъ подробностямъ, въ немъ нѣтъ никакого отношенія къ издателю «Московскаго Телеграфа». Но за то, что Писаревъ включилъ въ него куплеты, явно направленные противъ ненавистнаго ему писателя, публика оказала ему на этотъ разъ свое неблаговоленіе.

Говоря о Писаревѣ, этомъ талантливомъ противникѣ Н. А. Полеваго, здѣсь кстати будетъ прибавить, что театральныя піесы его и другія сочиненія, которыя можно напечатать, не даютъ о немъ вѣрнаго понятія, потому что истинное дарованіе его проявлялось въ тѣхъ внезапныхъ эпиграммахъ и насмѣшливыхъ сочиненіяхъ, которыя теперь еще рано печатать. Онъ сдѣлался писателемъ для театра случайно, попавши въ общество актеровъ, танцовщицъ, актрисъ, предался ему со всею пылкостью юноши, и ласкаемый Кокошкинымъ, Загоскинымъ, управлявшими театромъ, изумлялъ ихъ, какъ прежде изумлялъ А. А. Антонскаго, гибкостью своего дарованія. Но онъ не обогатилъ литературы нашей ни однимъ замѣчательнымъ сочиненіемъ. Первый драматическій опытъ его, Лукавинъ, неудачная передѣлка Шериданової The School for Scandal, остался, всетаки, лучшимъ его произведеніемъ въ этомъ родѣ. Водевильныя остроты его, относящіяся къ современнымъ дѣламъ и событіямъ, теперь уже непонятны и не могутъ быть занимательны. Почти всѣ театральныя піесы были написаны имъ по заказу, къ случаю, на скорую руку, а лирическія сочиненія безъ всякаго вдохновенія. Писать стихами не стоило ему ничего, и онъ растратилъ свое прекрасное дарованіе на пустяки, особливо съ той поры, какъ былъ привязанъ къ театру всѣми возможными узами. Одинъ изъ школьныхъ друзей его справедливо сказалъ въ то время, что онъ сдѣлался театральнымъ ремесленникомъ. Другой

пріятель его, С. Т. Аксаковъ, простодушно разсказываетъ въ своихъ «Запискахъ», каковъ былъ Писаревъ къ концу своей жизни. Въ немъ сохранилось только озлобленіе на людей, которые нисколько не желали ему зла. Но дарованіе его вспыхивало иногда и выражалось въ злыхъ эпиграммахъ и насмѣшкахъ, которыми поражалъ онъ ловко и безъ пощады, безъ разбора—враговъ и друзей. Разскажу одинъ случай. Также пріятель его, тогда еще молодой студентъ, былъ страстнымъ театраломъ и пописывалъ для театра. Нѣкоторыя пьесы его были играны, и, ободряемый своимъ успѣхомъ, онъ написалъ для бенефиса г-жи Львовой-Синецкой новую пьесу, передѣланную имъ изъ «Ромео и Юліи» Шекспира. Пьеса была преуродливая, незрѣлое произведеніе юноши, скропанное для бенефиса, гдѣ Юлія отравляется, Ромео бѣснуется, гдѣ есть и свадьба, и похороны. Но молодаго автора любили, и между прочимъ нашъ литературный кругъ, бывшій въ непріязненныхъ отношеніяхъ къ партіи Кокошкина, Загоскина и Писарева, властвовавшихъ въ театрѣ, рѣшился, на зло всему, придать неожидаемый, блистательный успѣхъ новой пьесѣ. Каждый приглашалъ своихъ знакомыхъ на бенефисъ г-жи Синецкой и раздавалъ билеты, съ тѣмъ, чтобы аплодировать передѣлкѣ «Ромео и Юліи». Такихъ хлопальщиковъ собралось въ креслахъ болѣе ста человѣкъ—были они и въ ложахъ, и въ райкѣ. Пьеса шла ужасно; актеръ Мочаловъ, игравшій Ромео, свирѣпствовалъ на сценѣ, но при всякой несообразности раздавались рукоплесканія и особенно усилились они, когда Юлія была въ гробу на сценѣ и ожила. Вѣроятно, прахъ Шекспира содрогался въ могилѣ!.. Но едва успѣлъ опуститься занавѣсъ, какъ непрерывныя рукоплесканія, «браво» и «автора» огласили огромную залу Петровскаго театра. Нѣсколько голосовъ покушались шикать, но ревъ толпы заглушалъ ихъ и рукоплесканія походили на бѣглый огонь. Помню, что какой-то почтенный старичекъ, украшенный орденами, съ изумленіемъ обратился къ намъ и убѣдительно

говорилъ: «Господа! чему вы хлопаете! пьеса нелѣпость, шла дурно!.. Господа, помилуйте, пощадите!» Ему отвѣчали только улыбкою и продолжали рукоплескать. Авторъ долго не выходилъ—явно совѣстился своего успѣха. Но рукоплесканія тѣмъ больше усиливались... Наконецъ, онъ явился въ передней боковой ложѣ, и долженъ былъ раскланиваться съ восторженною публикою.

Эта невинная шалость молодежи привела Писарева въ величайшее раздраженіе, тѣмъ болѣе, что, кажется, шла въ тотъ же вечеръ его пьеса, которую встрѣтили равнодушно. Немедленно разлетѣлись по театру двѣ или три эпиграммы на невиноватаго въ своемъ успѣхѣ автора. Писаревъ экспромтомъ написалъ тотчасъ, какъ вызовъ кончился:

Вотъ піесы приговоръ:
Изъ себя Мочаловъ вышелъ,
Изъ терпѣнья зритель вышелъ,
Сочинитель въ ложу вышелъ,
А изъ пьесы — вышелъ вздоръ!

Но еще прежде опущенія занавѣси, выведенный изъ терпѣнія несвязностью пьесы и рукоплесканіями ей, Писаревъ написалъ и послалъ въ кресла слѣдующіе стихи:

То-то сѣчь бы, то-то драть бы,
Съ приговоркой: «Ахъ, уродъ!
Не вѣнчай печальной свадьбы!»
Не берись за переводъ!

Вотъ въ такихъ-то экспромтахъ являлось настоящее дарованіе Писарева. Можно представить себѣ, какъ бѣсила его неудача въ описанномъ мною нападеніи его на Н. А. Полеваго. Онъ остался до конца жизни своей врагомъ его.

Но въ то же время, какъ «Московскій Телеграфъ» возбуждалъ противъ себя многихъ, задѣтыхъ имъ и по разнымъ отношеніямъ вступившихъ съ нимъ въ войну, люди безпристрастные и непредубѣжденные отдавали справедливость полезной дѣятельности молодаго журналиста. Даже нѣкоторые изъ авторовъ, подвергшихся неблагопріятнымъ

замѣчаніямъ его на ихъ труды, желали послѣ этого узнать лично своего антагониста, знакомились съ нимъ и оставались добрыми его пріятелями. Изъ числа ихъ нельзя не вспомнить о Николаѣ Петровичѣ Демидовѣ, достойномъ воспоминанія по многимъ отношеніямъ.

Это тотъ самый Демидовъ, который въ Аустерлицкой битвѣ, бывши молодымъ артиллерійскимъ офицеромъ, не отдавалъ французамъ своей пушки, и былъ бы избитъ ими до смерти, если бы Наполеонъ, находившійся вблизи, не увидѣлъ геройскаго подвига русскаго офицера. Онъ не только спасъ его отъ свирѣпости раздраженныхъ своихъ солдатъ, но и велѣлъ увѣковѣчить подвигъ Демидова на картинѣ, изображающей Аустерлицкую битву: тамъ онъ представленъ ухватившимся за свою пушку.

Въ 1825 году, Н. П. Демидовъ былъ уже, конечно, не молодой человѣкъ, но имѣлъ видъ и манеры молодаго человѣка, и таковъ остался до смерти. Онъ былъ давно въ отставкѣ, съ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, но на брошюрахъ своихъ, которыя издавалъ обыкновенно на французскомъ языкѣ, означалъ себя отставнымъ артиллерійскимъ полковникомъ (ancien colonel d'artillerie). Съ особенною любовію занимаясь политическою экономіею, Н. П. Демидовъ печаталъ разныя изслѣдованія о ней, въ видѣ брошюръ, обыкновенно очень небольшихъ, потому что на большее сочиненіе не достало бы у него терпѣнія. Это былъ одинъ изъ самыхъ пылкихъ людей, какихъ случалось мнѣ видѣть. Живость его выражалась и въ обхожденіи, и въ поступкахъ. Онъ пріхалъ къ Николаю Алексѣевичу, говоря, что терпѣть не можетъ печатно спорить, но желалъ бы пояснить оспориваемыя имъ мысли одной его брошюры. Потомъ онъ всегда посѣщалъ его, когда живалъ въ Москвѣ. Иногда цѣлые годы проводилъ онъ за границею и возвращался въ Москву. Нельзя было не уважать въ этомъ человѣкѣ его любознательности. Русскій баринъ, военный человѣкъ, онъ не могъ жить, не занимаясь изслѣ-

дованіемъ какого нибудь важнаго вопроса политической экономіи и гражданскаго устройства; кромѣ того, онъ читалъ много философскихъ книгъ и имѣлъ много свѣтлыхъ идей. Успѣхамъ его и въ жизни, и въ службѣ, и въ наукахъ мѣшалъ нетерпѣливый, раздражительный характеръ, заставлявшій всегда опасаться отъ него непріятной вспышки. Это и было причиной многихъ его несчастій, какъ онъ говорилъ мнѣ самъ, потому что одно время онъ очень полюбилъ меня и откровенно говорилъ о самомъ себѣ. Но этотъ недостатокъ терпѣнія, или, лучше сказать, снисходительности къ людямъ, былъ вреденъ только ему самому. Напротивъ, съ людьми прямодушными, онъ никогда не ссорился, и вспышки его бывали больше забавны, нежели обидны. Какъ человѣкъ свѣтскій, онъ отличался пріятными манерами, говорилъ очень хорошо, но никогда не улыбался, и не умѣлъ не только льстить, но даже и промолчать, когда слышалъ что нибудь противное своимъ убѣжденіямъ. Я разскажу два случая, два анекдота, бывшіе при мнѣ: они лучше всего дадутъ понятіе о Н. П. Демидовѣ.

Какъ-то разъ онъ сидѣлъ у Николая Алексѣевича и бесѣдовалъ съ нимъ очень мирно, когда пріѣхалъ еще одинъ гость, любитель агрономіи [1]), дѣятельно участвовавшій въ трудахъ московскаго земледѣльческаго Общества, которое процвѣтало подъ покровительствомъ тогдашняго военнаго генералъ-губернатора, князя Д. В. Голицына. Новый гость, котораго Николай Алексѣевичъ познакомилъ съ Демидовымъ, потому что они встрѣтились тутъ въ первый разъ въ жизни, не истощался въ похвалахъ и восторженныхъ разсказахъ, говоря о своемъ земледѣльческомъ Обществѣ и просвѣщенномъ его покровителѣ. Демидовъ слушалъ, молчалъ и грызъ свою трость, что обыкновенно было у него признакомъ нетерпѣнія. При какой-то новой варіаціи выслушиваемаго имъ панегирика, онъ вдругъ обратился съ

[1]) С. А. Масловъ.

рѣчью къ новому своему знакомцу, почти въ слѣдующихъ словахъ: «М. Г.! изъ словъ вашихъ ясно, что вы человѣкъ умный и просвѣщенный; какимъ же образомъ можете вы хвалить ваше земледѣльческое Общество?» Тотъ какъ съ неба упалъ, не зналъ, что отвѣчать на это, и только глядѣлъ на своего собесѣдника, расширивъ глаза. «Да, конечно,—продолжалъ Демидовъ.—Не говорю, по какимъ побужденіямъ дѣйствуютъ многіе, засѣдающіе въ вашемъ Обществѣ; явная цѣль его: увеличить количество хлѣба въ Россіи. Но что сказали бы вы о томъ сапожникѣ, который, не имѣя возможности продать въ годъ пять сотъ паръ сапоговъ, стремился бы приготовлять ихъ тысячу паръ? Не сказали ли бы вы, что онъ дѣйствуетъ безразсудно?» Гость нашъ позеленѣлъ отъ ужаса при такихъ словахъ и началъ бормотать о благородствѣ побужденій, о высокомъ покровительствѣ, о поощреніяхъ. «Мы не малые ребята, м. г.,—возразилъ Демидовъ.—Генералъ-губернаторъ дѣлаетъ свое дѣло; онъ въ своей роли; но неужели сочлены его серьезно сбираются толковать о пустякахъ?»

Я не сужу, справедливо ли, и кстати ли было мнѣніе, выраженное Демидовымъ, а только передаю случай, выражающій его характеръ.

Другой случай съ нимъ, бывшій при мнѣ, еще лучше характеризуетъ этого человѣка.

Больше чѣмъ черезъ десять лѣтъ потомъ, когда Николай Алексѣевичъ жилъ въ Петербургѣ, а я въ Москвѣ, братъ мой пріѣхалъ въ Москву на нѣсколько времени и, по обыкновенію, остановился у меня. Его посѣщали многіе, какъ это бывало всегда во время пріѣздовъ его изъ Петербурга. Однажды утромъ, собралось нѣсколько посѣтителей вдругъ, и въ числѣ ихъ находился Н. П. Демидовъ. Одинъ изъ гостей, по какому-то поводу, заговорилъ объ одномъ изъ первыхъ богачей въ Россіи и удивлялся уму и способностямъ его, а въ заключеніе прибавилъ, какъ бы въ назиданіе: «Онъ служитъ примѣромъ, что можно пріі-

обрѣсти милліоны честнымъ образомъ, то есть, употребляя въ дѣло умъ, проницательность, смѣтливость, и не прибѣгая ни къ какимъ предосудительнымъ средствамъ». При этомъ значительномъ выводѣ, терпѣніе Н. П. Демидова лопнуло, и онъ, едва удерживая свое негодованіе, сказалъ панегиристу милліонера: «Князь! (Это былъ князь Михаилъ Андреевичъ Оболенскій). Вы хвалите человѣка, какъ видно, вовсе неизвѣстнаго вамъ. Позвольте же мнѣ сказать, что я знаю его лучше, нежели вы. Во-первыхъ, онъ получилъ еще отъ отца своего большое имѣніе и, какъ человѣкъ скупой, могъ, впродолженіе пятидесяти лѣтъ, сдѣлаться очень богатымъ отъ однихъ сбереженій. Но онъ не удовольствовался этимъ и употреблялъ всякія средства для увеличенія своего богатства. Какъ вамъ покажется, напримѣръ, то, что онъ купилъ имѣніе у моего отца, Петра Евдокимовича Демидова, съ разсрочкою платежа на десять лѣтъ, но за такую сумму, которая равнялась десятилѣтней сложности дохода, то есть, просто, взялъ его даромъ, и употребилъ орудіемъ для этого фаворитку моего отца, подлую калмычку, которая имѣла власть надъ слабымъ старикомъ!.. Я былъ тогда на службѣ, далеко отъ моего отца, и, услышавши, что онъ даромъ отдалъ значительную часть нашего имѣнія, прискакалъ въ Москву; но покупщикъ, на всѣ мои убѣжденія, очень вѣжливо показалъ мнѣ условіе, заключенное имъ съ моимъ отцомъ!.. Неудивительно, что, употребляя, между прочимъ, и такія средства для пріобрѣтенія богатства, г. N. N. сдѣлался однимъ изъ первыхъ богачей въ Россіи. Но гдѣ же вы видите его умъ, смѣтливость, проницательность»?

Не стану указывать на всѣхъ замѣчательныхъ и достойныхъ уваженія людей, которые сближались съ Николаемъ Алексѣевичемъ въ то самое время, когда непріятели старались осмѣять, унизить его печатно, а въ изустныхъ разсказахъ о немъ не скупились распространять о немъ все, что способенъ сказать раздраженный человѣкъ. Я говорю

это не о тѣхъ благородныхъ людяхъ, которые могли временно сдѣлаться его непріятелями, или, по крайней мѣрѣ, противниками, но не переставали отдавать ему справедливость и уважать его дарованія даже въ самый разгаръ литературной войны съ нимъ. Но не всѣ поступали такъ прямодушно и не всѣ потомъ сближались съ нимъ. Со многими онъ и самъ не хотѣлъ никогда вступать въ пріятельскія сношенія. Я желаю выразить здѣсь особенно ту истину, что, когда въ человѣкѣ есть дѣйствительныя достоинства, всѣ честные люди, раньше или позже, отдадутъ имъ справедливость. И только слѣпая ненависть и злоба преслѣдуютъ Николая Алексѣевича и послѣ смерти его. Приведенные мною примѣры достаточно свидѣтельствуютъ, что буря, возставленная на него противниками, не уронила его въ глазахъ людей безпристрастныхъ и благородныхъ, хотя была причиной множества непріятностей для него какъ въ то время, такъ и послѣ.

IX.

Кружокъ людей, близкихъ къ «Московскому Телеграфу».—Братья Кирѣевскіе.—М. П. Розбергъ и философскіе споры.—Д. П. Шелиховъ.—Философія Шеллинга и московскіе шеллингисты.—Классицизмъ и романтизмъ.—Экономическія теоріи.—Занятія Николая Алексѣевича санскритомъ и восточнымъ міромъ.

Говоря о тогдашнихъ знакомыхъ и временныхъ непріятеляхъ Николая Алексѣевича, не могу не упомянуть, наконецъ, о небольшомъ искреннемъ кружкѣ знакомыхъ, который образовался около этого времени въ нашемъ домѣ. Онъ составился, большею частію, изъ молодыхъ людей, пламенно любившихъ литературу и занимавшихся новымъ тогда направленіемъ философіи.

Изъ числа ихъ долженъ я упомянуть прежде, нежели о другихъ, объ Иванѣ Васильевичѣ Кирѣевскомъ, потому что

онъ былъ знакомъ съ нами еще прежде изданія «Московскаго Телеграфа». Можно сказать, что онъ принадлежалъ къ литературному семейству, гдѣ литература была необходимымъ элементомъ жизни. Мать его, близкая родственница знаменитаго поэта Жуковскаго, съ которымъ провела она юность свою, сама любила литературу и занималась ею, участвовала даже въ нѣкоторыхъ литературныхъ трудахъ Жуковскаго, когда онъ жилъ въ Бѣлевѣ, и дѣти ея воспитывались въ кругу литераторовъ. Иванъ Васильевичъ и Петръ Васильевичъ Кирѣевскіе были дѣти ея отъ перваго брака. Я началъ знать ее, когда она уже была въ замужествѣ за А. А. Елагинымъ, достойнымъ ея, благороднымъ, просвѣщеннымъ и очень любезнымъ человѣкомъ. Не трудно была образоваться въ этомъ семействѣ двумъ молодымъ людямъ, одареннымъ такими отличными способностями, какими обладали Иванъ и Петръ Васильевичи Кирѣевскіе. Младшій изъ нихъ, Петръ Васильевичъ, былъ неразговорчивъ и даже застѣнчивъ; но Иванъ Васильевичъ, совершенно напротивъ, любилъ и отличался умѣньемъ говорить. У него не было блестящаго дара слова, какъ у покойнаго Веневитинова, но необыкновенно-логическій, твердый умъ его способствовалъ ему быть непобѣдимымъ діалектикомъ. Это особенно обнаружилось въ то время, когда въ нашемъ домѣ явилось нѣсколько молодыхъ людей, только что окончившихъ университетскій курсъ, страстныхъ послѣдователей и поклонниковъ Шеллинговой философіи. Я уже говорилъ, какимъ образомъ эта философія была перенесена въ Московскій университетъ, и съ какимъ жаромъ занимались ею всѣ, кто имѣлъ какое нибудь желаніе быть наравнѣ съ просвѣщеніемъ вѣка. Но, разумѣется, съ исключительною пылкостью занимались ею молодые люди, воспитанники университета, гдѣ уже не одинъ Павловъ, но и профессоръ Давыдовъ (нынѣ сенаторъ) объясняли преподаваемые ими предметы согласно выводамъ нѣмецкой философіи. Однимъ изъ отличнѣйшихъ слушателей профессора Давы-

дова былъ Михаилъ Петровичъ Розбергъ (нынѣ профессоръ Дерптскаго университета). Онъ окончилъ университетскій курсъ въ 1825 году, и тогда же написалъ и напечаталъ свою диссертацію объ эстетическомъ развитіи грековъ и римлянъ. Диссертація его, написанная на латинскомъ языкѣ, была награждена серебряною, а не золотою медалью потому только, что первую награду присудили одному князю, за диссертацію на ту же тему, хотя всѣ знали, что эту диссертацію писалъ не самъ молодой князь, а, по заказу его, кандидатъ Рожалинъ, славившійся своими способностями. Такое столкновеніе не совсѣмъ обыкновенныхъ обстоятельствъ, огласившееся въ литературномъ кругу, и неоспоримое достоинство диссертаціи г. Розберга, побудили Николая Алексѣевича познакомиться съ молодымъ авторомъ, и онъ нашелъ въ немъ то, чего ожидалъ, то есть человѣка необыкновеннаго умомъ, образованностью и блестящими способностями, къ числу которыхъ и тогда принадлежалъ рѣдкій даръ слова. М. П. Розбергъ вскорѣ сдѣлался близкимъ нашимъ знакомымъ и ввелъ въ нашъ кругъ нѣсколько достойныхъ своихъ товарищей по университету. Назову изъ числа ихъ Ивана Ивановича Безсомыкина, Ивана Николаевича Камашева и Михаила Николаевича Лихонина. Всѣ мы были тогда молоды, беззавѣтно любили все, что только относится къ просвѣщенію, и съ жаромъ изучали глубокомысленныя, но трудныя для яснаго уразумѣнія книги Шеллинга и его послѣдователей. Такое общее стремленіе чрезвычайно сближаетъ людей, особливо молодыхъ, безкорыстно преданныхъ изысканію истины. Прибавьте къ этому тогдашнее направленіе европейской литературы, восторгъ, съ какимъ читали тогда безсмертныя созданія великихъ современныхъ писателей—Байрона, Вальтера Скотта, Гёте, Томаса Мура, и многихъ достойныхъ ихъ послѣдователей и соревнователей; вспомните, что тогда началась новая жизнь во французской литературѣ, что всѣ благородныя стремленія воскресали и развивались съ необычайною силою, и вы согласитесь, что

было о чемъ побесѣдовать и поспорить въ искреннемъ кругу молодымъ людямъ, больше жившимъ идеальною жизнію. Въ самомъ дѣлѣ, никогда не бывало между нами и рѣчи о современныхъ сплетняхъ, о спекуляціяхъ на литературу и жизнь, ни даже о томъ, какъ сдѣлать свою карьеру. Никто и не думалъ, что̀ онъ будетъ, и какъ пойдетъ по тернамъ жизни. За то умственная, идеальная жизнь, изслѣдованіе вѣчныхъ задачъ міра были въ полномъ разгарѣ. Но въ то время, которое описываю я, особенно занимала всѣхъ и была предметомъ жаркихъ сужденій нѣмецкая философія. Хотѣли объяснить себѣ ея положенія и примѣненія, потому что философія даетъ взглядъ на все и отражается во всѣхъ дѣйствіяхъ человѣка. Соглашаясь въ общихъ положеніяхъ и выводахъ Шеллинговой философіи, не всегда соглашались въ подробностяхъ, и это было поводомъ къ безконечнымъ спорамъ. Тутъ-то въ первый разъ показалъ вполнѣ и свой сильный умъ, и свою діалектическую способность Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій. C'était un fort jouteur! Съ нимъ особенно состязался М. П. Розбергъ, достойный его соперникъ въ діалектикѣ и въ словѣ. Помню, что разъ, какъ-то вечеромъ, завязался споръ, не кончившійся до глубокой ночи, и, чтобы окончить его, согласились собраться на другой день у Кирѣевскаго. На другой день явились тамъ всѣ споривше, но жаркое состязаніе длилось до того, что, наконецъ, Розбергъ, усталый, утомленный, перемѣнившійся въ лицѣ отъ двухъ-дневнаго спора, съ глубокимъ убѣжденіемъ и очень торжественно произнесъ, обращаясь къ Кирѣевскому:

— Я не согласенъ, но спорить больше нѣтъ силъ у меня!

Теперь, конечно, непостижимо было бы подобное явленіе, и нынѣшніе молодые люди, со своею положительною философіею, со своимъ утилитарнымъ умомъ, видѣли бы въ этомъ только сторону комическую. Но сколько было прекраснаго, поэтическаго и полезнаго въ этихъ юношескихъ

спорахъ и увлеченіяхъ! Тутъ выработывались идеи, убѣжденія, взгляды, и они-то должны были перейдти потомъ въ дѣйствія. Какое счастіе и благо, что основаніемъ для этого служила возвышенная философія Шеллинга, останавливающаяся передъ непостижимымъ, какъ остановился и самъ Шеллингъ, когда дошелъ до крайнихъ предѣловъ въ своихъ выводахъ.

Чтобы кончить рѣчь о тогдашнихъ нашихъ философскихъ бесѣдахъ, гдѣ была и примѣсь комизма въ подробностяхъ, я долженъ упомянуть еще объ одномъ лицѣ, нѣкоторое время участвовавшемъ въ общихъ спорахъ о философіи. Не помню, какимъ образомъ познакомился съ нами Дмитрій Потаповичъ Шелиховъ, который былъ извѣстенъ какъ стихотворецъ, какъ переводчикъ отрывковъ изъ Энеиды, какъ членъ Общества любителей россійской словесности, гдѣ онъ мастерски читывалъ стихи, потому что былъ одаренъ прекраснымъ органомъ и чистымъ произношеніемъ; притомъ былъ красавецъ. Онъ казался еще молодымъ человѣкомъ, хотя участвовалъ въ войнѣ противъ французовъ и находился въ отставкѣ, кажется, въ чинѣ полковника гвардіи. Никто и не подозрѣвалъ, что онъ былъ пламенный послѣдователь философіи Шеллинга, или, по крайней мѣрѣ, представлялся такимъ. Вообще, я и теперь не могу дать себѣ вѣрнаго отчета, что за человѣкъ былъ онъ? О немъ говорили много худаго; но о комъ же не говорятъ его? Разсказывали какія-то соблазнительныя исторіи; но гдѣ граница человѣческому злословію?

По крайней мѣрѣ, я лично не знаю ничего худаго о Д. П. Шелиховѣ, теперь уже давно умершемъ; но знаю, что онъ былъ необыкновенно оригиналенъ и показывалъ иногда необыкновенную смѣтливость ума. Несомнѣнно, что, въ свое время, онъ искренно любилъ литературу и не былъ лишенъ разнообразныхъ дарованій. Но видимымъ и иногда скучнымъ недостаткомъ его была говорливость. Это была не та быстрая, лихорадочная говорливость, при которой

человѣкъ не успѣваетъ произносить словъ, сливаетъ ихъ въ какой-то однообразный звукъ, и въ заключеніе брызгаетъ слюною или свиститъ. Про одного такого говоруна сказалъ братъ мой, что этотъ господинъ произносилъ «двадцать тысячъ словъ въ часъ», и это было такъ вѣрно, что въ нашемъ кругу называли его потомъ «Двадцать тысячъ словъ въ часъ». Говорливость Шелихова была совсѣмъ инаго рода. Онъ произносилъ слова ясно, велъ рѣчь плавно, возвышая и понижая голосъ; но эта рѣчь не имѣла конца, лилась рѣкою, и если слушавшій хотѣлъ прервать ее какимъ нибудь замѣчаніемъ или возраженіемъ, Шелиховъ усиливалъ голосъ, дѣлалъ движеніе рукою, какъ бы желая остановить собесѣдника, и продолжалъ свою рѣчь. Притомъ онъ любилъ иногда выражаться фигурно, высокопарно, съ школьнымъ краснорѣчіемъ, съ примѣсью латинскихъ стиховъ, которыхъ зналъ множество наизусть. Видно, что онъ дѣйствительно занимался и Шеллинговою философіею, но выражался съ комическимъ жаромъ, говоря о ней. Разсказывая, напримѣръ, что сначала онъ былъ пораженъ глубокомысліемъ выводовъ Шеллинга, но не могъ дать себѣ отчета въ нѣкоторыхъ основаніяхъ его, Шелиховъ говорилъ:

— Я приходилъ въ отчаяніе! Читая «Систему трансцендентальнаго идеализма», я прибѣгалъ къ моему любезному брату, совѣщался съ нимъ, и оба мы бывали въ такомъ настроеніи духа, что иногда бывало плачемъ, волосы на себѣ рвемъ! И что-жъ? Все прояснилось для насъ, когда мы прочли Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt!..

Молодежь подсмѣивалась немного надъ его непритворнымъ восторгомъ, какъ говорилъ Шелиховъ, надъ безусловнымъ самозабвеніемъ, съ какимъ, по увѣренію его, занимался онъ философіею. Но онъ долго оставался собесѣдникомъ нашихъ философскихъ собраній, и это уже показываетъ, что онъ не имѣлъ какихъ нибудь корыстныхъ

цѣлей, посвящая свое время спорамъ и разсужденіямъ съ юношами. Я увѣренъ, что тогда онъ самъ дѣлался юношей, а имъ нравился своею оригинальностью, въ которой отличительною чертою было какое-то простодушіе, искусственное или естественное, этого я не берусь рѣшить. Такъ, напримѣръ, встрѣтившись съ однимъ стариннымъ пріятелемъ, товарищемъ своимъ еще по университету, человѣкомъ очень ловкимъ, можетъ быть, даже слишкомъ ловкимъ, и увлеченный разговоромъ съ нимъ, Шелиховъ вдругъ воскликнулъ: «N. N.! вѣдь я знаю, что ты каналья, но я люблю тебя за то, что ты уменъ!»

Впослѣдствіи Шелиховъ предался агрономіи, хозяйничалъ, кажется, очень неудачно, хотя писалъ цѣлые трактаты объ устройствѣ имѣній, о земледѣліи и особенно объ унавоживаніи земли. Тутъ-то носились о немъ разные слухи. Но я не пишу о томъ, чего не знаю достовѣрно.

Новый взглядъ, бывшій слѣдствіемъ знакомства Николая Алексѣевича съ философіею Шеллинга, выражался въ «Московскомъ Телеграфѣ» съ самаго начала этого журнала. Въ слѣдующій годъ тамъ было довольно статей, можетъ быть, даже излишне проникнутыхъ новою тогда философіею; но журнальная смѣтливость издателя была такова, что онъ никогда не увлекался въ однообразное направленіе, всегда имѣя въ виду общность своихъ читателей. Всѣ части шли ровно въ его журналѣ. Послѣ описаннаго мною, можно было бы подумать, что философія должна была преобладать въ «Московскомъ Телеграфѣ». Но тамъ выражалась она только въ направленіи статей, во взглядѣ, и никогда не вытѣсняла другихъ частей просвѣщенія. Замѣчу, какъ важное достоинство, дѣлающее особенную честь издателю, что, сдѣлавшись ревностнымъ послѣдователемъ трансцендентальной философіи, онъ не искажалъ языка терминами и выраженіями ея, темными для русскихъ читателей. Въ этомъ можно видѣть превосходство его надъ тѣми писателями русскими, которые, начиная говорить философскимъ языкомъ, пре-

вращаютъ русскій языкъ въ варварское сцѣпленіе непонятныхъ словъ, и русскія слова передѣлываютъ на нѣмецкій ладъ, такъ что въ нихъ остаются одни только русскіе звуки. Въ «Московскомъ Телеграфѣ» здравыя, вѣрныя идеи излагались языкомъ понятнымъ и незамѣтно усвоивались читающею публикою. Это можно признать великою услугою, оказанною Н. А. Полевымъ. До появленія «Московскаго Телеграфа» было напечатано лишь нѣсколько статей, написанныхъ въ духѣ новой философіи, но и тѣ были не всѣ удачны, именно потому, что изложеніе ихъ казалось непонятно. Въ «Московскомъ Телеграфѣ» не говорили прямо о философіи, но при всякомъ случаѣ передавали понятія и выводы ея. Такимъ образомъ Н. А. Полевой способствовалъ не только распространенію здравой философіи, но и рѣшительной побѣдѣ ея надъ чувственною, матеріальною философіею, которая до тѣхъ поръ господствовала у насъ надъ всѣми умами. Еще за нѣсколько лѣтъ прежде, въ «Вѣстникѣ Европы» писали о философіи Локка и предлагали выводы ея какъ выводы самой мудрости; еще большинство образованныхъ людей почитало философами Гельвеція, Вейсса и даже отвратительнаго барона Гольбаха съ компаніею. Въ немного времени эти кумиры были ниспровергнуты, и ихъ стали называть философами не иначе, какъ въ насмѣшку. Можно гордиться такою заслугою.

Не менѣе важную услугу оказалъ «Московскій Телеграфъ» поясненіемъ и распространеніемъ новой теоріи словесности. До тѣхъ поръ у насъ господствовала такъ называемая классическая теорія, и оракулами ея были Горацій и Буало, худо понятые (мимоходомъ сказать); полнѣйшимъ изложеніемъ этой теоріи почитался курсъ Баттё, уважавшійся во всей Европѣ. Въ Германіи началось противоборство ложному классицизму, и уже во Франціи книга г-жи Сталь, брошюры и курсъ А. Шлегеля тревожили умы; а у насъ еще мало и слышали о томъ. Профессоръ Мерз-

ляковъ попрежнему читалъ свои лекціи, руководствуясь переведенною имъ книжкою Эшенбурга, и побранивалъ Пушкина какъ нововводителя, какъ отступника отъ классическихъ преданій. Въ это-то время «Московскій Телеграфъ» смѣло и откровенно принялъ сторону нововводителей, началъ восхвалять новыхъ поэтовъ, подсмѣиваться надъ мнимыми классиками и помѣщать на своихъ страницахъ изслѣдованія о новой теоріи словесности. Тутъ борьба была легкая, потому что ее подкрѣпляли изящные образцы; но изложеніе самой теоріи было трудно, потому что она еще не прояснилась въ умахъ самихъ защитниковъ ея. Противоположный классицизму — романтизмъ, и до сихъ поръ изъясняемый различно, давалъ поводы къ спорамъ между самими защитниками его. Въ этой борьбѣ, Николай Алексѣевичъ, не великій теоретикъ, принесъ много пользы своими критическими разборами, въ которыхъ старался показать красоты поэтическихъ сочиненій Пушкина и другихъ современныхъ ему поэтовъ. Въ настоящее время трудно даже понять, какъ безусловно господствовалъ у насъ ложный классицизмъ, и тѣмъ удивительнѣе быстрое его паденіе. До 1820 года, всѣ образованные люди наши, всѣ литераторы, всѣ профессоры и учители словесности оставались въ глубокомъ убѣжденіи, что теорія, извлеченная изъ древнихъ писателей, непреложна, и остается только слѣдовать ей, чтобы достигнуть возможнаго совершенства. Это казалось логически неопровержимо. Какъ же? Греки и римляне достигли возможнаго совершенства по всѣмъ отраслямъ литературы; французы, рабски подражая имъ, возвели свою литературу почти на такую же степень совершенства; геніальные писатели ихъ слѣдовали безусловно древнимъ образцамъ, не только подражали имъ, но и просто переводили изъ нихъ. Чего же искать, и гдѣ можно найдти что нибудь болѣе совершенное? И не будетъ ли всякое отступленіе отъ великихъ образцовъ упадкомъ, гибельнымъ для успѣховъ, а нарушеніе теоріи — святотатствомъ? Такъ раз-

суждали всѣ умные и просвѣщенные люди, подкрѣпляя свои убѣжденія примѣромъ цѣлыхъ вѣковъ и всѣми успѣхами литературы со времени возрожденія. Другой теоріи не знали, и были убѣждены, что другой теоріи нѣтъ. Станемъ ли осуждать нашихъ предшественниковъ за ихъ убѣжденія? Станемъ ли насмѣхаться надъ Херасковымъ, который воображалъ, что въ точности слѣдуетъ Гомеру,—отрицать дарованіе у Озерова, который наложилъ на себя оковы классицизма, или—почитать невѣждою профессора Мерзлякова, который умеръ съ убѣжденіемъ, что нѣтъ другой теоріи словесности, кромѣ классической? Мы сами были бы смѣшны, если бы поддались ребяческому удовольствію воображать, что мы умнѣе нашихъ предшественниковъ. Напротивъ, въ томъ-то и состояла заслуга людей, возставшихъ противъ классицизма, что они вступили въ борьбу съ людьми умными, просвѣщенными и даровитыми, которыхъ побѣдить было столько же трудно, сколько славно. Теперь всякій школьникъ знаетъ наизустъ то, чего въ 1820 году можно было достигнуть только глубокимъ умомъ и разнообразными изученіями. За классиковъ говорило все прошедшее; а противники ихъ могли выставить въ защиту своихъ мнѣній будущее, то есть будущіе успѣхи послѣдователей ихъ теоріи, тогда еще во многомъ не поясненной. Вотъ почему теоретическая борьба была трудна, и быстрое паденіе старинной теоріи должно приписать не столько усиліямъ новыхъ теоретиковъ, сколько появленію романтическихъ писателей, знакомству съ ними публики, и, наконецъ, тому блистательному созвѣздію великихъ поэтовъ, которые вдругъ появились въ началѣ нашего столѣтія. Гёте, Шиллеръ, Байронъ, Вальтеръ Скоттъ и достойные ихъ послѣдователи могущественно подкрѣпили новую теорію, и умы, уже давно утомленные классическимъ однообразіемъ, быстро воспрянули къ новой жизни. Въ самомъ дѣлѣ, исторія литературы не представляетъ другаго столь быстраго переворота. Толпа, всегда жадная къ новому, разумѣется, вдругъ превратилась въ

жаркую защитницу новаго искусства, и, какъ всегда, перешла за границы справедливости. Между тѣмъ какъ во Франціи стали сомнѣваться даже въ дарованіи великихъ классическихъ поэтовъ, у насъ прежніе литературные авторитеты разрушались, еще прежде, нежели новая теорія оправдала свои выводы. Когда такое направленіе умовъ дѣлается модою, достояніемъ толпы, тогда люди обыкновенные, не превышающіе грамотной черни своими понятіями, повторяютъ чужія мнѣнія безотчетно и представляютъ иногда комическіе примѣры своей измѣнчивости. Такъ, напримѣръ, Воейковъ,—о которомъ я уже говорилъ довольно подробно,—Воейковъ, всегда провозглашавшій свои хвалы и брани по отношеніямъ, по направленію вѣтра, восклицалъ, прежде 1812 года, въ своемъ посланіи къ Эмилію (то есть къ Сперанскому):

Херасковъ, нашъ Гомеръ, воспѣвшій древни брани,
Россіи торжество, паденіе Казани!

А въ 1818 году, въ посланіи къ Уварову, гдѣ онъ такъ неловко защищалъ гекзаметръ, уже говорилъ про того же Гомера-Хераскова:

И Херасковъ повлекся за нимъ—слѣпой подражатель!

Не такъ дѣйствовалъ Н. А. Полевой. Не повторителемъ безотчетнымъ, но критикомъ явился онъ у насъ въ знаменитой борьбѣ новой школы со старою, и старался теоретически оправдать то, чему искренно удивлялся, чѣмъ восхищался онъ въ сочиненіяхъ Жуковскаго и Пушкина. Журналъ его, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, высказалъ въ этомъ отношеніи много мнѣній новыхъ, основательныхъ, утвердившихъ въ умахъ новый взглядъ, новую теорію словесности. Скажутъ, что здѣсь онъ самъ часто ошибался и иногда показывалъ шаткость и неопытность въ мнѣніяхъ. Не отрицаю этого; но что значили частныя ошибки, когда дѣло шло о цѣломъ переворотѣ въ понятіяхъ? У кого же нѣтъ ошибокъ? Самъ А. В. Шлегель, критикъ образцовый, первый распространившій новую теорію словесности съ тою

ясностью, убѣдительностью, которыя дали ей рѣшительную побѣду, самъ Шлегель является иногда одностороннимъ, не вездѣ справедливымъ; а мелкія ошибки отыщутся у всякаго писателя. Но отымаетъ ли все это у его критики великую заслугу?

Такъ должно смотрѣть на критическую и даже на полемическую часть «Московскаго Телеграфа»; его частныя ошибки не мѣшали быть вѣрною и здравою той теоріи, которая проникала всѣ статьи, гдѣ излагались новыя воззрѣнія на литературу. Люди, привыкшіе къ стариннымъ учебнымъ и ученымъ книгамъ, издѣвались надъ высшими взглядами издателя «Московскаго Телеграфа», а потомъ, постепенно, усвоили ихъ себѣ всѣ. Онъ приносилъ имъ пользу уже тѣмъ, что указывалъ на многія иностранныя сочиненія, о которыхъ они не слыхивали, хотя тамъ излагались совершенно новые взгляды на науку. Сколько было насмѣшекъ надъ высшими взглядами! сколько разъ было повторено названіе верхогляда, которое примѣняли къ Н. А. Полевому! А что-жъ такое были эти высшіе взгляды, какъ не расширеніе предѣловъ науки, взглядъ на общность ея, безъ ограниченія себя преданіями старовѣровъ? Этого не хотѣли видѣть, и иногда съ невѣжественнымъ цинизмомъ насмѣхались надъ верхоглядомъ! Имъ казалось это очень остроумнымъ!

Въ примѣръ невѣжественной насмѣшки упомяну объ одномъ случаѣ. Въ сочиненіи нашего извѣстнаго писателя и политико-экономa Шторха, изданномъ въ Парижѣ въ 1824 году, была въ первый разъ изложена богатая послѣдствіями мысль о невещественномъ капиталѣ. Со временъ Адама Смита, экономисты недоумѣвали, какъ разумѣть и куда причислить тѣхъ членовъ общества, которые не занимаются матеріальнымъ трудомъ, какъ занимаются земледѣльцы, ремесленники и прочіе производители, собственно такъ называемые. Готовы были почитать писателя, художника, медика, даже полководца просто дармоѣдами,

которые только потребляютъ чужой трудъ, не производя сами ничего, составляющаго капиталъ, который есть не иное что, какъ скопленный трудъ. Шторхъ съ необыкновенною ясностью доказалъ, что писатель, медикъ и подобные имъ члены общества—такіе же производители, какъ другіе, и что трудъ ихъ такъ же полезенъ и необходимъ, какъ трудъ вещественный, и способность такого производителя, и самый трудъ его назвалъ онъ капиталомъ невещественнымъ. Н. А. Полевой, зорко наблюдая всѣ новые шаги въ наукахъ и самъ занимаясь политическою экономіею, сталъ при случаѣ повторять и примѣнять мысль Шторха; впослѣдствіи онъ издалъ даже отдѣльную брошюру о невещественномъ капиталѣ. И что же? наши остроумцы осыпали его насмѣшками за невещественный капиталъ!.. Мысль, теперь обще-принятая и расширившая предѣлы науки, была поводомъ къ самому пошлому гаерству надъ тѣмъ, кто первый высказалъ ее порусски!

Также онъ первый началъ писать о взглядѣ знаменитаго Риттера на Землевѣдѣніе. Это до такой степени было ново, что впослѣдствіи отъявленный врагъ Николая Алексѣевича, бывшій профессоръ М. П. Погодинъ, тогда еще молодой человѣкъ, пришелъ къ нему попросить у него сочиненій Риттера, о которыхъ тотъ упомянулъ въ рецензіи на книжку о древней географіи, изданную Погодинымъ. Между прочимъ, по экземпляру, взятому у Николая Алексѣевича, Погодинъ издалъ потомъ Sechs Karten von Europa, въ русскомъ переводѣ. До тѣхъ поръ, онъ, вѣроятно, и не слыхивалъ о Риттерѣ, какъ многіе другіе [1]).

Насмѣхались также надъ занятіями Н. А. Полеваго санскритскимъ языкомъ и восточнымъ міромъ. Онъ никогда не представлялъ себя санскритологомъ и индологомъ, но не могъ не обратить вниманія и на этотъ міръ, съ которымъ

[1]) О причинахъ вражды М. П. Погодина къ моему брату и о нѣкоторыхъ любопытныхъ подробностяхъ ея упомяну я въ надлежащемъ мѣстѣ. Это потребуетъ поясненій.

такъ недавно стала знакомиться Европа. Въ наше время, когда сравнительная филологія сдѣлалась основаніемъ философическаго изученія человѣческаго слова, нѣтъ надобности доказывать, что для такого изученія индоевропейскихъ языковъ слѣдуетъ обратиться къ языку санскритскому. Проницательный умъ Н. А. Полеваго тотчасъ постигъ это, и онъ хотѣлъ не сдѣлаться санскритологомъ, а узнать до нѣкоторой степени и составить себѣ понятіе, что́ такое санскритскій языкъ? Тогда не было для этого никакихъ пособій на русскомъ языкѣ, да и на иностранныхъ было ихъ немного. Онъ выписалъ себѣ руководства, о какихъ могъ найдти свѣдѣнія, и нѣсколько времени изучалъ этотъ предметъ. Можетъ быть, онъ прежде всѣхъ изъ русскихъ занимался санскритскимъ языкомъ, не съ тѣмъ, чтобы изучить его и читать санскритскія книги, но чтобы дать себѣ отчетъ о связи древнѣйшаго языка съ новыми, и съ русскимъ въ особенности, открыть тамъ нѣкоторые законы и воспользоваться ими для поясненія законовъ русскаго языка. Такого рода занятіе предметомъ, совершенно новымъ у насъ тогда, должно было бы принести ему честь въ глазахъ просвѣщенныхъ соотечественниковъ; но литературные враги его обратили и это въ насмѣшку. Пошлыя шуточки ихъ обличаютъ только собственное ихъ невѣжество, но тогда и это было однимъ изъ обвиненій противъ Н. А. Полеваго. «Каковъ? занимается санскритскимъ языкомъ! Что за шарлатанъ!» Таковъ былъ смыслъ ихъ нападеній. Въ настоящее время, напротивъ, кто не отдастъ справедливости проницательному его уму, его любознательности и неутомимому трудолюбію, съ какимъ занимался онъ всѣмъ? Но именно за то, что онъ шелъ впереди многихъ, люди отсталые или неспособные старались представить дѣятельность его въ искаженномъ видѣ.

Разсматривая такимъ образомъ разныя отрасли литературы, которыми занимался Н. А. Полевой, можно убѣдиться, что почти въ каждой изъ нихъ онъ высказалъ что нибудь

новое, внесъ новый взглядъ и указалъ на новые успѣхи и шаги впередъ. Съ особенною любовью занимался онъ русскою исторіею; но въ 1825 году онъ еще не успѣлъ сдѣлать ничего по этой части, и только въ критическихъ разборахъ и замѣчаніяхъ своихъ высказалъ много новыхъ мыслей, возбудившихъ негодованіе старовѣровъ и чтителей авторитетовъ. Описывая жизнь его за слѣдующіе годы, я укажу на услуги, оказанныя имъ русской исторіи, и объясню, отчего многіе труды его по этой части были предметомъ жаркихъ споровъ, нападеній и обвиненій.

X.

Литературная жизнь Н. А. Полеваго.—Его ближайшій кружокъ.—Встрѣча съ Мицкевичемъ.—Сближеніе Мицкевича съ братьями Полевыми.—Характеристика Мицкевича; его отношенія къ Пушкину и русскимъ писателямъ; его импровизація.—Е. А. Баратынскій, какъ поэтъ и человѣкъ.—Его дружескія отношенія къ Николаю Алексѣевичу.

Въ описываемое нами время, Н. А. велъ жизнь почти исключительно литературную. Онъ передалъ второму своему брату [1]) управленіе водочнымъ заводомъ, доставшимся намъ отъ отца нашего (хотя и прежде почти не занимался имъ), а самъ посвятилъ себя вполнѣ журналу и литературѣ. Такимъ образомъ онъ достигъ цѣли, къ которой стремился съ малолѣтства, и достигъ ея единственно силою своихъ дарованій. Одно это уже показываетъ человѣка необыкновеннаго, писателя по призванію. Другой остановился бы при первыхъ попыткахъ, устрашился бы препятствій, палъ бы подъ тяжестью окружавшихъ его обстоятельствъ. Но люди съ такою силою призванія къ литературѣ, какъ Н. А.,

[1]) Евсевію Алексѣевичу Полевому.

умѣютъ побѣждать всѣ препятствія и занимаютъ мѣсто, имъ назначенное. Не сравниваю его ни съ кѣмъ; но въ исторіи нашей литературы, послѣ Ломоносова, никто изъ извѣстныхъ писателей не боролся съ такими препятствіями на пути своемъ, какъ Н. А. Полевой, и никто не преодолѣлъ ихъ такъ блистательно, какъ онъ.

Былъ ли Николай Алексѣевичъ счастливъ, или, по крайней мѣрѣ, доволенъ своимъ положеніемъ въ это время? Кажется, счастье не бываетъ удѣломъ людей, одаренныхъ способностью сильно чувствовать, и только въ немногія минуты бываютъ они довольны внутреннимъ сознаніемъ, что не даромъ живутъ на свѣтѣ. Конечно, въ матеріальномъ, вещественномъ отношеніи, положеніе его было хорошо. Но безконечный трудъ и безчисленныя непріятности литературныя вознаграждались немногими пріятными ощущеніями. Къ числу такихъ пріятныхъ ощущеній должно причислить, прежде всего, уваженіе многихъ изъ благороднѣйшихъ современниковъ,—уваженіе, тѣмъ болѣе знаменательное, что его не могли возмутить никакія брани, осужденія и клеветы враговъ Николая Алексѣевича.

Князь П. А. Вяземскій не только оставался постояннымъ сотрудникомъ «Московскаго Телеграфа», но и оказывалъ постепенно болѣе дѣятельности въ участіи своемъ по журналу. Онъ писалъ для него много самъ, доставлялъ статьи знакомыхъ ему литераторовъ и оказывалъ издателю искреннюю пріязнь, ободрялъ, поощрялъ его къ труду и былъ лучшимъ совѣтникомъ въ затруднительныхъ случаяхъ. Участія одного этого отличнаго литератора, человѣка, глубоко уважаемаго Николаемъ Алексѣевичемъ, было бы достаточно для приданія мужества и новой дѣятельности журналисту молодому, но чувствовавшему въ себѣ неизмѣримыя силы.

Неизмѣнный въ чувствахъ дружбы, князь Вл. Ѳ. Одоевскій, хотя почти вовсе не участвовалъ въ нашемъ журналѣ, но отношенія его къ Николаю Алексѣевичу оставались прежнія. Онъ былъ пріятнѣйшимъ гостемъ его и часто

проводилъ съ нимъ время, не обращая вниманія на внушенія школьныхъ своихъ товарищей, которые сдѣлались врагами или недоброжелателями Н. А. Полеваго.

Не называю еще нѣсколькихъ человѣкъ, которые уже давно сошли со сцены міра, но тогда были близкими людьми къ моему брату. Казалось, что возставшая противъ него литературная буря только увеличила ихъ участіе къ нему, и они, видя правоту на его сторонѣ, дѣлались тѣмъ болѣе жаркими его защитниками. Къ этому же времени относится первоначальное знакомство и вскорѣ искреннее сближеніе Николая Алексѣевича съ двумя достопамятными и славными писателями. Это были: знаменитый польскій поэтъ Мицкевичъ и необыкновенный своею судьбою, одинъ изъ лучшихъ поэтовъ своего времени, Евгеній Аврамовичъ Баратынскій.

Чтобы показать, какъ было не только пріятно, но и важно для Николая Алексѣевича знакомство съ Мицкевичемъ, я долженъ сказать здѣсь все, что знаю о Мицкевичѣ и что могу высказать. Не бѣда, что нѣкоторыя черты его характеристики и знакомства нашего съ нимъ будутъ относиться не къ одному 1825 году; гораздо важнѣе показать значеніе этого писателя и необыкновеннаго человѣка, и его отношенія къ нашему литературному кругу.

Зимою 1825 года, явился къ брату моему, знакомый ему еще по Курску, полковникъ Похвисневъ, долго жившій въ Польшѣ и пріѣхавшій временно въ Москву. Между прочимъ, онъ заговорилъ о Мицкевичѣ какъ о поэтѣ, славнѣйшемъ въ польской литературѣ, и прибавилъ, что Мицкевичъ въ Москвѣ, что онъ другъ его, а въ заключеніе просилъ къ себѣ на вечеръ, гдѣ обѣщалъ быть и польскій поэтъ. Хотя почтенный полковникъ былъ самъ не литераторъ, однако его убѣдительный и торжественный разсказъ возбудилъ въ насъ любопытство и желаніе увидѣть славнаго поэта. Я вмѣстѣ съ братомъ, по приглашенію полковника, также пріѣхалъ къ нему на вечеръ. Хозяинъ уже сидѣлъ

за карточнымъ столомъ. Онъ познакомилъ насъ съ Мицкевичемъ и другомъ его г. Малевскимъ [1]) и возвратился къ своему висту. Изъ числа неигравшихъ, кажется, мы были единственные, но разговоры наши тянулись вяло. Мицкевичъ не зналъ русскаго языка, мы не знали языка польскаго, и французскій разговоръ нашъ больше касался общихъ предметовъ, нежели литературы. Къ тому же, Мицкевичъ былъ грустенъ, говорилъ мало, и образованный, любезный его товарищъ сдѣлалъ на насъ болѣе пріятное впечатлѣніе. Надобно замѣтить, что оба они и нѣкоторые другіе ихъ товарищи были въ Москвѣ не по собственному желанію. Послѣ какой-то исторіи въ прежнемъ Виленскомъ университетѣ, многіе бывшіе студенты его были посланы на службу во внутреннія губерніи Россіи. Мицкевичъ, вышедшій уже за нѣсколько лѣтъ изъ Виленскаго университета и занимавшій должность учителя въ какомъ-то уѣздномъ городѣ Виленской губерніи, былъ отправленъ первоначально въ Одессу, имѣлъ случай съѣздить оттуда въ Крымъ, и написалъ тамъ чудесные свои «Крымскіе сонеты». Изъ Одессы онъ былъ переведенъ въ Москву, причисленъ къ канцеляріи московскаго военнаго генералъ-губернатора и оставался покуда безъ занятія, безъ знакомствъ и довольно въ стѣсненномъ положеніи.

Послѣ перваго нашего свиданія съ нимъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и уже весною 1826 года, близкій пріятель моего брата, Ю. И. Познанскій, тогда молодой офицеръ генеральнаго штаба, пріѣхавшій изъ Польши, привезъ съ собою нѣсколько стихотвореній, переведенныхъ имъ изъ Мицкевича, и при свиданіи съ братомъ изумился, что онъ почти не знакомъ съ лучшимъ поэтомъ Польши, который живетъ въ Москвѣ. Онъ просилъ Николая Алексѣевича

[1]) Достойный другъ Мицкевича, г. Малевскій, былъ не меньше его съ нами въ дружескихъ сношеніяхъ. Этотъ благородный, ученый и любезный человѣкъ былъ пріятнѣйшимъ собесѣдникомъ нашего искренняго общества.

познакомить его съ Мицкевичемъ, желая прочитать ему свои переводы. Восхищеніе, съ какимъ Ю. И. Познанскій говорилъ о великомъ польскомъ поэтѣ, и переводы его, хотя не образцовые, заставили моего брата поѣхать къ Мицкевичу, пригласить его къ себѣ, и, послѣ нѣсколькихъ свиданій, онъ былъ какъ родной въ нашемъ домѣ. Онъ почти ни съ кѣмъ не былъ знакомъ въ Москвѣ, жилъ уединенно съ немногими своими товарищами, и, кажется, любящая душа его была обрадована искреннимъ привѣтомъ, какой нашелъ онъ въ русскомъ семействѣ, въ кругу образованныхъ людей и литераторовъ. Всѣ, кто встрѣчалъ у насъ Мицкевича, вскорѣ полюбили его, не какъ поэта (ибо очень немногіе могли читать его сочиненія), но какъ человѣка, привлекавшаго къ себѣ возвышеннымъ умомъ, изумительною образованностью и особенною, какою-то простодушною, только ему свойственною любезностью. Ему тогда не могло быть тридцати лѣтъ. Наружность его была истинно прекрасна. Черные, выразительные глаза; роскошные черные волосы; лицо съ яркимъ румянцемъ; довольно длинный носъ, признакъ остроумія; добрая улыбка, часто являвшаяся на его лицѣ, постоянно выражавшемъ задумчивость,—таковъ былъ Мицкевичъ въ обыкновенномъ, спокойномъ расположеніи духа; но когда онъ одушевлялся разговоромъ, глаза его воспламенялись, физіономія принимала новое выраженіе, и онъ бывалъ въ эти минуты увлекателенъ, очаровывая при томъ своею рѣчью, умною, отчетливою, блистательною, не смотря на то, что въ кругу русскихъ онъ обыкновенно говорилъ пофранцузски. Доказательствомъ необыкновенныхъ его способностей можетъ служить легкость, съ какою онъ усвоивалъ себѣ иностранные языки. Всѣ знаютъ, до какой степени обладалъ онъ французскимъ языкомъ, на которомъ впослѣдствіи былъ литераторомъ; но онъ свободно говорилъ также на нѣмецкомъ языкѣ; въ знаніи латинскаго и греческаго отдавалъ ему всю справедливость знатокъ этихъ языковъ г. Ежовскій, извѣстный филологъ, другъ и,

кажется, соученикъ его. Я упомянулъ, что вскорѣ по пріѣздѣ въ Москву Мицкевичъ почти не зналъ русскаго языка; черезъ годъ, онъ говорилъ на немъ совершенно свободно, и, что̀ особенно трудно для поляка, говорилъ почти безъ акцента, не сбиваясь на свой родной выговоръ. Кромѣ того, онъ зналъ языки: англійскій, итальянскій, испанскій и, кажется, восточные. Начитанность его была истинно изумительна. Казалось, онъ прочиталъ все лучшее во всѣхъ литературахъ. О какомъ бы поэтѣ и славномъ писателѣ ни зашла рѣчь, онъ зналъ его, читалъ съ размышленіемъ, цитовалъ его стихи или цѣлыя страницы. Помню, какъ на одномъ литературномъ обѣдѣ онъ изумилъ всѣхъ, читая погречески разныя мѣста изъ Иліады, и даже такъ, что одинъ изъ собесѣдниковъ, хорошо изучившій Гомера, прочитывалъ какой нибудь стихъ, а Мицкевичъ произносилъ слѣдующіе, какъ будто вся Иліада была въ его памяти. Въ другой разъ, онъ изумилъ одного страстнаго любителя и почитателя Жанъ-Поль-Рихтера. Этотъ любитель изучалъ нѣмецкаго поэта, глотая по капелькѣ всѣ его отвлеченности и трудясь надъ разгадываніемъ нелѣпостей, которыя иногда также встрѣчаются у Жанъ-Поль-Рихтера. Мицкевичъ сталъ доказывать, что это составляетъ недостатокъ, что у великихъ писателей все ясно и свѣтло, и когда противникъ хотѣлъ дать ему знать, что онъ, конечно, не трудился надъ великимъ нѣмецкимъ геніемъ, Мицкевичъ въ быстромъ очеркѣ объяснилъ ему содержаніе лучшихъ романовъ Жанъ-Поля, сталъ цитовать многія мѣста, замѣчательныя несообразностями, и тѣмъ доказалъ, что онъ говорилъ не наобумъ.

Способность выражать мысли и ощущенія свои восходила у Мицкевича до импровизаціи. Я слышалъ отъ друзей его, что онъ превосходно импровизировалъ цѣлыя сочиненія на польскомъ языкѣ, всегда прекрасными стихами. Однажды, его упросили сказать импровизацію на заданную тэму по-французски. Это было гораздо труднѣе, потому что фран-

цузскій языкъ былъ ему не родной, да онъ же, со своими опредѣленными формами, неудобенъ для импровизатора. Но Мицкевичъ пригласилъ одного изъ собесѣдниковъ играть какую нибудь тихую мелодію на фортепіано, сѣлъ, закрылъ глаза рукою, и послѣ нѣсколькихъ тактовъ музыки началъ свою импровизацію, истинно поэтическую, богатую образами и чувствованіями, хотя выраженную не стихами. Вообще, Богъ надѣлилъ его удивительнымъ даромъ во всемъ, что относится къ выраженію себя въ словѣ.

Въ доказательство, что я нисколько не преувеличиваю достоинствъ Мицкевича, могу сослаться на мнѣніе о немъ знаменитѣйшихъ современниковъ. Пушкинъ, пріѣхавшій въ Москву осенью 1826 года, вскорѣ понялъ Мицкевича и оказывалъ ему величайшее уваженіе. Любопытно было видѣть ихъ вмѣстѣ. Проницательный русскій поэтъ, обыкновенно господствовавшій въ кругу литераторовъ, былъ чрезвычайно скроменъ въ присутствіи Мицкевича, больше заставлялъ его говорить, нежели говорилъ самъ, и обращался съ своими мнѣніями къ нему, какъ бы желая его одобренія. Въ самомъ дѣлѣ, по образованности, по многосторонней учености Мицкевича, Пушкинъ не могъ сравнивать себя съ нимъ, и сознаніе въ томъ дѣлаетъ величайшую честь уму нашего поэта. Уваженіе его къ поэтическому генію Мицкевича можно видѣть изъ словъ его, сказанныхъ мнѣ, въ 1828 году, когда и Мицкевичъ, и Пушкинъ жили оба уже въ Петербургѣ. Я пріѣхалъ туда временно и остановился въ гостинницѣ Демута, гдѣ обыкновенно жилъ Пушкинъ, до самой своей женитьбы. Желая повидаться съ Мицкевичемъ, я спросилъ о немъ у Пушкина. Онъ началъ говорить о немъ и, невольно увлекшись въ похвалы ему, сказалъ, между прочимъ: «Недавно Жуковскій говоритъ мнѣ: знаешь ли, братъ, вѣдь онъ заткнетъ тебя за поясъ.—Ты не такъ говоришь,—отвѣчалъ я:—онъ уже заткнулъ меня». Въ другой разъ, при мнѣ, въ той же квартирѣ, Пушкинъ объяснялъ Мицкевичу планъ своей еще не изданной тогда

«Полтавы» (которая первоначально называлась «Мазепою»), и съ какимъ жаромъ, съ какимъ желаніемъ передать ему свои идеи старался показать, что изучилъ главнаго героя своей поэмы. Мицкевичъ дѣлалъ ему нѣкоторыя возраженія о нравственномъ характерѣ этого лица.

Еще покуда Мицкевичъ не переселился въ Петербургъ и оставался постояннымъ жителемъ Москвы, въ 1827 году напечаталъ онъ тамъ свои «Сонеты» (на польскомъ языкѣ), которыхъ одна часть названа «Крымскими», потому что они были внушены ему картинами и впечатлѣніями Крыма. Въ этихъ стихотвореніяхъ Мицкевичъ явился въ полной зрѣлости своего поэтическаго дарованія. Нѣкоторое понятіе о «Сонетахъ» его можно получить изъ переложеній слѣпца-поэта Козлова. Не знаю, кто первоначально объяснялъ Козлову подлинникъ, котораго онъ не могъ понимать, не зная попольски, но я былъ свидѣтелемъ, что Мицкевичъ, сидя у болѣзненнаго одра слѣпаго поэта, самъ указывалъ ему мѣста, невѣрно выражавшія его мысли. Козловъ обыкновенно читалъ наизусть свои стихотворенія; такъ прочитывалъ онъ и Мицкевичу переводы его «Сонетовъ». Я дивился терпѣнію, съ какимъ творецъ «Сонетовъ» слушалъ декламацію своего подражателя, и когда мы вмѣстѣ шли отъ Козлова, я спросилъ, неужели онъ доволенъ тѣмъ, что мы слышали? «Que voulez-vous! c'est un pauvre aveugle...» (Что-жъ дѣлать! онъ заслуживаетъ сожалѣнія какъ слѣпецъ!). Эти слова произнесъ Мицкевичъ съ глубокимъ участіемъ къ страдальцу, какъ бы не думая, что дѣло шло о собственныхъ его стихотвореніяхъ. Вообще, мало встрѣчалъ я людей, столь кроткихъ въ обхожденіи, какъ Мицкевичъ. Обыкновенный тонъ его рѣчи всегда отзывался мягкостью, нѣжностью, и самыя возвышенныя мысли выражалъ онъ безъ всякой напыщенности, какая невольно проглядываетъ во многихъ людяхъ, чувствующихъ себя выше другихъ. Снисходительность его къ людямъ была истинно младенческая, и только низость и порокъ приводили въ него-

дованіе пылкую его душу, только благородныя страсти воспламеняли его, и подъ вліяніемъ ихъ онъ преображался въ другаго человѣка. Въ сужденіяхъ о литературныхъ предметахъ высказывалъ онъ всегда оригинальное свое мнѣніе, но все возвышенное и прекрасное цѣнилъ высоко и не останавливался на мелкихъ недостаткахъ. Однажды, кто-то при немъ сталъ указывать на разныя слабыя стороны нашего Пушкина и обратился къ Мицкевичу, какъ бы ожидая отъ него подтвержденія своего мнѣнія. Мицкевичъ отвѣчалъ: «Pouchkine est le premier poête de sa nation: c'est là son titre à la gloire». (Пушкинъ первый поэтъ своего народа: вотъ что даетъ ему право на славу). Съ особеннымъ уваженіемъ отзывался онъ о Жуковскомъ и, кажется, еще больше уважалъ въ немъ человѣка, нежели поэта, находя, что его сочиненія тѣмъ и хороши, что ихъ писалъ человѣкъ превосходный, который вложилъ въ нихъ свою душу. Остроуміе Крылова приводило его въ восторгъ, и онъ любилъ повторять анекдоты и слова, въ которыхъ такъ хорошо выражался умъ нашего баснописца. Онъ не могъ безъ смѣха вспомнить, напримѣръ, что Крыловъ сказалъ ему о Ш—ѣ: «У этого человѣка умъ вотъ какой: можно иногда послушаться его, когда онъ не совѣтуетъ чего нибудь; но Боже сохрани дѣлать то, что онъ совѣтуетъ!» Вообще, ему казалось, что лично Крыловъ былъ выше своей печатной славы.

Во время пребыванія Мицкевича въ Петербургѣ была напечатана поэма его «Конрадъ Валленродъ». Многочисленный кругъ русскихъ почитателей поэта зналъ эту поэму, не зная польскаго языка, то есть зналъ ея содержаніе, изучалъ подробности и красоты ея. Это едва ли не единственный въ своемъ родѣ примѣръ! Но онъ объясняется общимъ вниманіемъ петербургской и московской публики къ славному польскому поэту, и какъ въ Петербургѣ много образованныхъ поляковъ, то знакомые обращались къ нимъ и читали новую поэму Мицкевича въ буквальн-

номъ переводѣ. Такъ прочелъ ее и Пушкинъ. У него былъ даже рукописный подстрочный переводъ ея, потому что нашъ поэтъ, восхищенный красотами подлинника, хотѣлъ, въ изъявленіе своей дружбы къ Мицкевичу, перевести всего «Валленрода» своими чудесными стихами. Онъ сдѣлалъ попытку: перевелъ начало «Валленрода», но увидѣлъ, какъ говорилъ онъ самъ, что не умѣетъ переводить, то есть не умѣетъ подчинить себя тяжелой работѣ переводчика. Свидѣтельствомъ этого любопытнаго случая остаются прекрасные стихи, переведенные изъ «Валленрода» Пушкинымъ, не переводившимъ ничего.

Сближеніе и, наконецъ, искренняя дружба съ Мицкевичемъ были для моего брата истиннымъ подаркомъ судьбы. Въ нашемъ кругу онъ былъ, какъ родной, какъ семьянинъ. Прекрасная душа его не могла не сочувствовать той дружбѣ, какую постоянно выражали ему не только братъ мой и я, но и всѣ люди нашего искренняго круга. Передъ отъѣздомъ своимъ за границу,— кажется, это было въ 1829 году,—Мицкевичъ нарочно пріѣзжалъ изъ Петербурга въ Москву, еще разъ побыть съ друзьями, которые прежде всѣхъ другихъ въ Москвѣ оказали ему привѣтъ и сочувствіе. Послѣ былъ онъ принятъ и въ аристократическіе салоны, и всѣ наперерывъ старались пріобрѣсти его знакомство. Мицкевичъ былъ признателенъ ко всѣмъ, но сохранялъ искреннюю привязанность къ московскимъ своимъ друзьямъ. Благосклонности нѣкоторыхъ высокихъ покровителей онъ обязанъ былъ тѣмъ, что ему позволили отправиться заграницу.

Можно ручаться, что въ душѣ его не было никакого озлобленія противъ Россіи, и Пушкинъ очень вѣрно изобразилъ отношенія Мицкевича къ русскому обществу, съ грустнымъ чувствомъ вспоминая о немъ въ 1834 году:

«Онъ между нами жилъ,
Средь племени ему чужаго; злобы
Въ душѣ своей къ намъ не питалъ онъ; мы
Его любили. Мирный, благосклонный,

Онъ посѣщалъ бесѣды наши. Съ нимъ
Дѣлились мы и чистыми мечтами,
И пѣснями (онъ вдохновленъ былъ свыше
И съ высоты взиралъ на жизнь). Нерѣдко
Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ,
Когда народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Онъ
Ушелъ на Западъ — и благословеньемъ
Его мы проводили.

Нѣтъ надобности прибавлять, что разговоры и дружескія бесѣды съ Мицкевичемъ были не только пріятны, но и чрезвычайно полезны Николаю Алексѣевичу. Ничто не совершенствуетъ, не возвышаетъ насъ такъ, въ извѣстные годы, какъ сообщество людей необыкновенныхъ, высокихъ умомъ и духомъ. Мицкевичъ, при многосторонней, удивительной своей образованности, глядѣлъ на все самобытно, и въ каждомъ предметѣ умѣлъ находить новыя стороны. Пошлость, тривіальность, мелкія понятія были для него нестерпимы. Приведу здѣсь одинъ случай, который покажетъ и оригинальный взглядъ, и пылкость Мицкевича. Въ «Вѣстникѣ Европы» Каченовскаго была переведена статья извѣстнаго французскаго остроумца Гоффмана, гдѣ онъ подсмѣивался надъ Петраркой, надъ его платоническою любовью къ Лаурѣ и старался доказать, что достоинство его сонетовъ въ игрѣ словъ, изысканной до такой степени, что, наконецъ, нельзя различить, о комъ онъ говоритъ: о Лаурѣ, или о лавровомъ деревѣ. Кто-то сталъ хвалить остроуміе этой статьи. Мицкевичъ вспыхнулъ и съ негодованіемъ произнесъ: «Этотъ нестерпимый Каченовскій только тѣмъ и замѣчателенъ, что умѣетъ отыскивать такія статьи и затрогивать такіе вопросы, гдѣ въ основаніи злость и безсильное желаніе уронить чью нибудь славу. Во-первыхъ, статья Гоффмана есть только выборка изъ Сисмонди, который холоднымъ умомъ судилъ о самомъ нѣжномъ и страстномъ изъ поэтовъ. Нигдѣ идеальная страсть къ женщинѣ не выражена съ такой силою и съ такимъ разно-

образіемъ, какъ въ сонетахъ Петрарки. Изъ каждаго воспоминанія о любви своей онъ создалъ поэтическую пѣснь! И какъ все это выражено, съ какою истиною, съ какимъ неподдѣльнымъ чувствомъ!» Тутъ Мицкевичъ началъ переводить пофранцузски разные сонеты Петрарки, и въ заключеніе сказалъ: «Нѣтъ поэзіи на свѣтѣ, если это не поэзія!» Онъ говорилъ такъ умно, сильно, возвышенно, что я не могу передать этого, передавая только основную мысль его, которую развилъ онъ какъ самый блистательный профессоръ.

Почти въ это же время поселился въ Москвѣ и сблизился съ нами Евгеній Абрамовичъ Баратынскій. Еще незадолго, жизнь его была очень печальна. Онъ принадлежалъ къ одной изъ значительнѣйшихъ дворянскихъ фамилій и воспитывался въ одномъ изъ военно-учебныхъ заведеній, въ С.-Петербургѣ. До выпуска изъ заведенія, гдѣ онъ воспитывался, и когда онъ былъ уже извѣстенъ какъ поэтъ съ необыкновеннымъ дарованіемъ, шалость, почти ребяческая съ его стороны, но окруженная самыми несчастными обстоятельствами, была причиной, что его разжаловали въ рядовые и послали на службу въ финляндскіе линейные баталіоны. Мы никогда не говаривали съ нимъ объ этомъ несчастномъ случаѣ его жизни. Онъ пробылъ въ Финляндіи нѣсколько лѣтъ... вдохновлялся дикою природою страны, куда былъ заброшенъ судьбою, и написалъ тамъ многія прекрасныя стихотворенія, отличающіяся силою впечатлѣній... Наконецъ, онъ былъ произведенъ въ офицеры, и послѣ этого, при первой возможности, вышелъ въ отставку. Здоровье его было разстроено и требовало продолжительнаго отдыха послѣ тяжкихъ душевныхъ страданій. Онъ не говорилъ о нихъ; но его блѣдное, страдальческое лицо ясно показывало, что этотъ человѣкъ выстрадалъ многое. Тѣмъ больше дѣлаетъ ему чести удивительная ясность духа, которую вынесъ онъ изъ своего несчастія. Нисколько не казался онъ разочарованнымъ и не показывалъ себя

страдальцемъ. Съ любезностью самаго свѣтскаго человѣка соединялъ онъ живость ощущеній, и все достойное вниманія мыслящаго человѣка возбуждало его вниманіе. Воспитаніе его, какъ видно, было больше блестящее, нежели основательное. Въ совершенствѣ зная только французскій языкъ и французскую литературу, онъ уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ долженъ былъ знакомиться съ современнымъ просвѣщеніемъ, и успѣлъ въ этомъ, чему способствовалъ умъ его, чрезвычайно ясный, отчетливый, не останавливавшійся на поверхности предметовъ. Потому-то въ нашемъ обществѣ, гдѣ философскія воззрѣнія были тогда въ величайшемъ ходу, онъ любилъ затрогивать самые трудные вопросы, и восхищалъ нашихъ молодыхъ философовъ ясностью своего ума. Притомъ онъ былъ большой мастеръ говорить, и бесѣда съ нимъ была всегда пріятна. Поселившись въ Москвѣ, онъ вскорѣ женился, и долго былъ постояннымъ, часто ежедневнымъ, нашимъ собесѣдникомъ. Его привлекалъ, прежде всего, конечно, самъ хозяинъ, Николай Алексѣевичъ, по истинѣ, очаровательный въ искреннихъ сношеніяхъ, потому что тутъ можно было видѣть не только возвышенный его умъ, но и чистоту, благородство всѣхъ его стремленій. Кромѣ того, какъ можно видѣть изъ моего разсказа, наше тогдашнее общество составляли люди, вообще необыкновенные, такъ что рѣдко можно встрѣтить подобное избранное соединеніе людей въ свѣтскихъ гостиныхъ, гдѣ гости сбираются, какъ на службу, для исполненія опредѣленныхъ обязанностей, съ извѣстными правами и условіями. Неудивительно, что Мицкевичъ, Баратынскій и нѣсколько другихъ лицъ, не столь громко извѣстныхъ, но вполнѣ достойныхъ быть ихъ собесѣдниками, собирались въ небогатомъ домикѣ, гдѣ жилъ Николай Алексѣевичъ, и проводили у него вечера, а иногда и цѣлые дни. Причисляю эти дни къ пріятнѣйшимъ въ моей жизни, потому именно, что только счастливое стеченіе обстоятельствъ могло соединить столько избранныхъ людей. Чего не было тутъ

переговорено! Какіе вопросы не были предметомъ сужденій! Сколько оригинальнаго, умнаго, высокаго было сказано!

Баратынскій пользуется славою поэта, и справедливо. У него были и поэтическія ощущенія, и необыкновенное искусство въ выраженіи. Но, знавши его очень хорошо, могу сказать, что онъ еще больше былъ умный человѣкъ, нежели поэтъ. Отчасти, онъ обязанъ поэтическою славою своею Пушкину, который всегда и постоянно говорилъ и писалъ, что Баратынскій чудесный поэтъ, котораго не умѣютъ цѣнить. Почти то же говорилъ онъ о Дельвигѣ, и готовъ былъ иногда поставить ихъ обоихъ выше себя. Трудно понять, что заставляло Пушкина доходить до такихъ преувеличеній. Правда, что онъ называлъ Баратынскаго однимъ изъ лучшихъ своихъ друзей; но дружба не могла ослѣпить необыкновенной его проницательности. Говорили, что онъ превозносилъ Дельвига и Баратынскаго, чтобы тѣмъ больше возвысить свой геній, потому что если они были необыкновенные поэты, то что же сказать о Пушкинѣ? Можетъ ли быть какое нибудь сравненіе между ними и имъ? Но я не предполагаю такой мелкой хитрости въ нашемъ великомъ поэтѣ. Онъ превозносилъ и Катенина, и даже написалъ о немъ:

. . . . Катенинъ воскресилъ
Корнеля геній величавый!

Но это были странности, какія-то прихоти умнаго человѣка, можетъ быть, первоначально порожденныя уваженіемъ или дружескимъ чувствомъ его къ людямъ, близкимъ къ нему по обстоятельствамъ жизни. Какъ бы то ни было, но авторитетъ Пушкина, конечно, способствовалъ повторявшемуся безотчетно мнѣнію, что Баратынскій поэтъ, по достоинствамъ своимъ близкій къ самому Пушкину. Теперь, кажется, излишне было бы опровергать такое мнѣніе. Баратынскій поэтъ, иногда очень пріятный, вездѣ показывающій вѣрный вкусъ, но писавшій не по вдохновенію, а вслѣдствіе выводовъ ума. Онъ трудился надъ своими

сочиненіями, отдѣлывалъ ихъ изящно, находилъ иногда вѣрныя картины и живыя чувствованія; бывалъ остроуменъ, игривъ, но все это, какъ умный человѣкъ, а не какъ поэтъ. Въ немъ не было ни поэтическаго огня, ни оригинальности, ни національности. Оттого-то лучшія его произведенія тѣ, гдѣ онъ философствуетъ, какъ, напримѣръ, въ стихотвореніи на смерть Гёте. Я увѣренъ, что если бы онъ не почиталъ себя поэтомъ и занялся теоріею и критикою литературы, онъ написалъ бы въ этомъ родѣ много умнаго, прекраснаго, пояснилъ бы много идей для своихъ современниковъ. Его ясный умъ, строгій вкусъ, сильная и глубокая душа давали ему всѣ средства быть отличнымъ критикомъ. Это показывали сужденія его о многихъ тогдашнихъ литературныхъ явленіяхъ, сужденія, которыя развивалъ онъ въ нашемъ кругу. Когда пріѣхалъ въ Москву Пушкинъ и начали появляться одно за другимъ сочиненія его (Цыганы, 2-я глава Онѣгина и много лирическихъ стихотвореній), поговорить было о чемъ, и Баратынскій судилъ объ этихъ явленіяхъ съ удивительною вѣрностью, съ любовью, но строго и основательно. Въ поэмахъ слѣпца Козлова не находилъ онъ никакихъ достоинствъ и почти сердился, когда хвалили ихъ, хотя отдавалъ справедливость нѣкоторымъ его стихотворнымъ переводамъ. Кажется, и потомство подтверждаетъ эти сужденія. Онъ не былъ фанатикомъ ничьимъ, ни даже самого Пушкина, не смотря на дружбу свою съ нимъ и на похвалы, какими тотъ всегда осыпалъ его.

Чтобы дополнить характеристику Баратынскаго, я долженъ сказать, что въ немъ нисколько не было чванства ни своимъ дарованіемъ, ни своимъ положеніемъ въ свѣтѣ, хотя какъ поэтъ, всюду прославляемый, какъ человѣкъ свѣтскій и богатый (послѣ своей женитьбы), онъ имѣлъ бы поводы къ тому, если бы душа его была меньше возвышенна. Онъ всегда оставался одинаковъ съ тѣми, въ комъ видѣлъ достоинства ума и души. Я не приписываю этого

испытаннымъ имъ несчастіямъ, которыя могли показать ему суетность общественнаго положенія, когда оно не соединено съ личнымъ достоинствомъ человѣка. Нѣтъ, Баратынскій по убѣжденію ума и духа своего былъ таковъ, какимъ мы видѣли его. И не почитайте этой черты мелочною: люди, самые необыкновенные во многихъ отношеніяхъ, не всегда бываютъ свободны отъ чванства въ какомъ нибудь видѣ. Вскорѣ мы увидимъ здѣсь же достопамятный примѣръ въ этомъ родѣ.

XI.

«Калужскій Корреспондентъ» «Сына Отечества». — С. Д. Полторацкій. — Знакомство съ нимъ Николая Алексѣевича и установленіе дружескихъ отношеній къ братьямъ Полевымъ. — Кончина императора Александра I. — 14-е декабря 1825 года. — Впечатлѣніе, произведенное этимъ событіемъ. — Эпизодъ съ анонимнымъ письмомъ.

Говоря о замѣчательныхъ людяхъ, съ которыми сблизился Николай Алексѣевичъ со времени изданія «Московскаго Телеграфа», не могу не упомянуть еще о Сергѣѣ Дмитріевичѣ Полторацкомъ. Слава Богу, онъ здравствуетъ, а о живыхъ современникахъ нельзя говорить, какъ говорилъ я о сошедшихъ съ поприща жизни[1]). Но никакіе законы приличія не мѣшаютъ мнѣ сказать, что дружба этого благороднаго человѣка была истиннымъ услажденіемъ моего брата и продолжалась до самой смерти Николая Алексѣевича, который лучше всего выразилъ въ посвященіи своего перевода Гамлета С. Д. Полторацкому, какъ высоко уважалъ онъ его. Могу прибавить, что съ того времени началась и моя дружба съ Сергѣемъ Дмитріевичемъ,

[1]) С. Д. Полторацкій скончался лѣтъ десять тому назадъ.
П. П.

и остается неизмѣнною до сихъ поръ. Ея не могли поколебать никакія измѣненія въ нашей жизни, и она еще больше укрѣпилась отъ времени, а это бываетъ, конечно, только исключеніемъ изъ общаго правила. Сколько людей, съ которыми находится каждый человѣкъ въ самыхъ искреннихъ отношеніяхъ! А потомъ они остаются ему чужды, и не черезъ десятки лѣтъ! Знакомство Николая Алексѣевича съ С. Д. Полторацкимъ началось довольно оригинальнымъ образомъ, и такъ какъ случай, сдѣлавшійся поводомъ къ нему, относится къ исторіи литературы, то я опишу его здѣсь.

Въ «Сынѣ Отечества» 1824 года была напечатана хорошо написанная и довольно рѣзкая статья о разныхъ предметахъ литературы, съ подписью: «Калужскій Корреспондентъ». Въ ней, между прочимъ, авторъ коснулся Мнемозины, издававшейся въ Москвѣ и наполненной, наряду съ умными и дѣльными статьями, множествомъ странностей. Это неудивительно: однимъ изъ издателей ея былъ очень свѣдущій и даже даровитый человѣкъ, но, можно сказать, весь составленный изъ нелѣпостей! Нѣсколько времени онъ былъ съ нами въ большой пріязни; но съ этимъ человѣкомъ нельзя было разсчитывать логически ни на что: онъ часто поступалъ и дѣйствовалъ, какъ въ жизни, такъ и въ литературѣ, совершенно наперекоръ разсудку. Потому-то и пріязнь наша съ нимъ не могла поддержаться. Противъ статьи «Калужскаго Корреспондента» явилось возраженіе издателей Мнемозины, гдѣ они, между прочимъ, намекали, что «Калужскій Корреспондентъ» лицо вымышленное, не существующее, и что статья «Сына Отечества» съ его подписью, вѣроятно, написана самимъ издателемъ этого журнала. Это было незадолго до 1825 года, когда уже Н. А. Полевой объявилъ объ изданіи «Московскаго Телеграфа». Отвѣчая на возраженіе издателей «Мнемозины», г. Гречъ сказалъ, что доставитъ къ издателю «Московскаго Телеграфа», какъ къ третьему, безпристраст-

ному лицу въ спорѣ, доказательства, что дѣйствительно статья «Калужскаго Корреспондента» доставлена была изъ Калуги, а не сочинена кѣмъ нибудь въ Петербургѣ. Черезъ нѣсколько времени онъ прислалъ къ книгопродавцу Ширяеву, для доставленія Николаю Алексѣевичу, подлинную статью «Калужскаго Корреспондента». Когда Н. А. развернулъ эту статью при Ширяевѣ, тотъ, при первомъ взглядѣ на рукопись, сказалъ, что знаетъ, чья это рука, и въ доказательство представилъ письма С. Д. Полторацкаго, который, съ юныхъ дней бывши библіоманомъ, если еще не библіографомъ, выписывалъ отъ него множество книгъ для знаменитой своей Авчуринской библіотеки, и поэтому былъ съ нимъ въ постоянной перепискѣ. Не оставалось сомнѣнія, что «Калужскій Корреспондентъ» былъ С. Д. Полторацкій, и въ «Московскомъ Телеграфѣ» вскорѣ явилось объявленіе издателя, что онъ получилъ отъ Н. И. Греча несомнѣнное доказательство въ дѣйствительной присылкѣ къ нему изъ Калуги статьи, противъ которой возражали издатели «Мнемозины».

Надобно замѣтить, что имя С. Д. Полторацкаго, какъ писателя, было уже извѣстно моему брату, потому что на оберткѣ каждой книжки парижскаго журнала «Revue Encyclopédique» въ числѣ сотрудниковъ означался M-r Serge Poltoratsky de Moscou, и въ самомъ этомъ журналѣ мы читали статьи о русской литературѣ съ тою же подписью, показывавшія близкое знакомство съ предметомъ и часто оригинальный взглядъ. Если бы и теперь кто нибудь изъ образованныхъ русскихъ помѣщалъ въ одномъ изъ лучшихъ французскихъ журналовъ дѣльныя извѣстія о русской литературѣ, это было бы любопытно и важно въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ; тогда, въ 1824 году, это казалось событіемъ, потому что даже въ русскихъ журналахъ мало встрѣчалось дѣльныхъ статей о русскихъ писателяхъ и книгахъ.

Очень естественно, что братъ мой желалъ узнать лич-

ность замѣчательнаго корреспондента «Сына Отечества» и сотрудника французскаго журнала. Но С. Д. Полторацкій жилъ тогда не постоянно въ Москвѣ, и не прежде какъ осенью 1825 года познакомился съ Николаемъ Алексѣевичемъ. Есть люди, съ которыми первая встрѣча есть залогъ неразрывной пріязни. Я убѣжденъ, что это происходитъ отъ одинаковости основныхъ силъ души, хотя бы при томъ характеры, способности, даже направленіе жизни были различны. Они не мѣшаютъ любить того, съ кѣмъ мы одинаковы въ нравственныхъ силахъ. Ни въ характерѣ, ни въ образѣ жизни, ни во взглядѣ на многіе предметы не было ничего сходнаго между моимъ братомъ и С. Д. Полторацкимъ. Но это не мѣшало имъ оставаться всегда друзьями, потому что братъ мой видѣлъ въ этомъ другѣ человѣка, какъ выразился онъ печатно. Свиданіе съ С. Д. Полторацкимъ было для него праздникомъ; онъ дѣлался съ нимъ веселъ, шутливъ, любезенъ, хотя бы за четверть часа передъ тѣмъ сидѣлъ нахмуривъ брови. Видно было, что сердце его младенчески радовалось.

Между тѣмъ какъ Николай Алексѣевичъ пріобрѣталъ дружбу и уваженіе людей благородныхъ, необыкновенныхъ по разнымъ отношеніямъ, находя отраду и утѣшеніе въ ихъ сообществѣ, журнальныя распри его продолжались, и «Московскій Телеграфъ» принужденъ былъ безпрестанно отражать разныя нападенія на него. Многія выходки, особливо въ «Вѣстникѣ Европы», были таковы, что отвѣтомъ на нихъ могло быть только презрѣніе: но нѣкоторыя, хотя вообще рѣзкія критики, требовали опроверженія, или, по крайней мѣрѣ, объясненія, и къ «Московскому Телеграфу» прилагались для этого особые листы, не входившіе въ составъ журнала. И теперь прискорбно видѣть, что въ этихъ безполезныхъ спорахъ утвердился характеръ вовсе не литературный, и, какъ я уже объяснялъ не одинъ разъ, всего чаще это были личности, то есть выходки противъ нравственныхъ и умственныхъ достоинствъ издателя «Москов-

скаго Телеграфа». Сколько ни была неприлична и несправедлива такая чернильная война, но она, повторяю, чрезвычайно вредила моему брату и оставила глубокій слѣдъ даже въ слѣдующихъ поколѣніяхъ. Отчего и теперь иногда непризванные судьи позволяютъ себѣ отзываться о трудахъ его и о немъ самомъ такъ рѣзко, несправедливо, неприлично, какъ нельзя отзываться ни о комъ? Оттого, что это сдѣлалось какою-то формою выраженія о немъ, какою-то рутиною людей, не вникающихъ въ событія прошедшаго. Это отголосокъ того, что писали противъ «Московскаго Телеграфа» въ пылу раздраженныхъ страстей, и чему хоромъ вторила толпа бездарныхъ, желчныхъ писакъ, оскорбленныхъ правдою, которую высказывалъ имъ безпристрастный журналистъ. И теперь, черезъ тридцать лѣтъ, я принужденъ иногда обличать несправедливыя нападенія на моего брата, появляющіяся въ нѣкоторыхъ изданіяхъ, гдѣ еще имѣютъ вліяніе старинные его противники. Они будто передали новому поколѣнію въ наслѣдство свою вражду къ одному изъ самыхъ полезныхъ дѣятелей въ нашей литературѣ. Можно представить себѣ, каково было ожесточеніе ихъ въ 1825 году!

Эта пустая, ничтожная, вредная литературѣ война должна была временно стихнуть, и всѣ мелкія, личныя вражды онѣмѣли, когда получено было извѣстіе о неожиданномъ, великомъ не для одной Россіи событіи, которымъ ознаменовалось окончаніе 1825 года... Читатели понимаютъ, что я говорю о смерти императора Александра Павловича... Нельзя описать впечатлѣнія, какое произвело извѣстіе о кончинѣ этого монарха, еще недавняго тогда побѣдителя Наполеона, освободителя Европы, восшедшаго на такую высоту славы и могущества, какой только можетъ достигнуть земной повелитель. Въ его двадцати-пяти-лѣтнее царствованіе, и силою его воли и мужества въ борьбѣ съ могущественнымъ врагомъ Россіи, совершились величайшія міровыя событія. Не одно поколѣніе русскихъ возросло и

возмужало въ славное царствованіе императора Александра I, и мы всѣ оставались въ невозмутимой никакимъ предчувствіемъ увѣренности, что онъ еще долго будетъ царствовать надъ нами. Онъ находился въ полной крѣпости мужества, и временное переселеніе его на югъ Россіи было только умилительнымъ доказательствомъ заботливости его о здоровьѣ августѣйшей его супруги. Посреди такой-то спокойной увѣренности всей Россіи, вдругъ пронеслись сначала темные слухи о болѣзни государя, за ними быстро слѣдовали тревожныя извѣстія, и когда никто еще и не думалъ, чтобы такъ близко было послѣднее, роковое извѣстіе,—оно поразило умы и сердца всѣхъ. Повторяю, что нельзя описать, какое сильное впечатлѣніе произвело это извѣстіе. Въ полномъ смыслѣ слова, вся Россія облеклась въ трауръ. Я самъ видѣлъ, что во многихъ семействахъ плакали неутѣшно, какъ при потерѣ драгоцѣннаго роднаго! Въ другихъ, не имѣвшихъ оффиціальной обязанности одѣваться въ траурный нарядъ,—потому что это были семейства не знатныхъ или придворныхъ особъ, — дамы одѣлись въ глубокій трауръ. Да, печальное платье было не только наружнымъ выраженіемъ общей скорби! Оно показывало, что печаль была искренняя. Императоръ Александръ Павловичъ, справедливо названный Благословеннымъ, такъ долго былъ обожаемымъ монархомъ Россіи, и съ нимъ было соединено такъ много великихъ воспоминаній для русскаго человѣка, что внезапная кончина его и не могла произвести инаго впечатлѣнія.

Еще не успѣли мы опомниться отъ этого, неизмѣримаго по своимъ послѣдствіямъ событія, какъ вскорѣ услышали о другомъ, столько же печальномъ, сколько прискорбномъ для Россіи происшествіи, бывшемъ въ Петербургѣ 14-го декабря 1825 года. Для насъ, людей частныхъ, оно казалось совершенно непонятнымъ, и только заставляло скорбѣть, что въ немъ было замѣшано нѣсколько именъ, принадлежавшихъ людямъ, извѣстнымъ своими дарованіями.

Нѣкоторые изъ нихъ были даже близкими знакомыми Николая Алексѣевича, и онъ тѣмъ больше изумлялся ихъ несчастію, что никогда, въ самыхъ искреннихъ разговорахъ, не слыхалъ отъ нихъ ни малѣйшаго намека на то, что, какъ можно было предполагать, задумали они издавна. Теперь, когда это происшествіе сдѣлалось достояніемъ исторіи, нѣтъ надобности объяснять извѣстнаго всѣмъ; но тогда, послѣ первыхъ извѣстій о немъ, оно больше всего приводило въ недоумѣніе и невольно тревожило душу. Могу увѣрить, однако же, что Николай Алексѣевичъ ни на одну минуту не безпокоился за себя, потому что какъ въ то время, такъ и до конца жизни, онъ всегда могъ открыть свою душу передъ самымъ строгимъ судилищемъ. Никогда не былъ онъ однимъ изъ тѣхъ пошлыхъ и смѣшныхъ либераловъ, которые кричатъ и шумятъ въ своемъ углу, а потомъ прячутся отъ всякаго; никогда не принадлежалъ и къ числу тѣхъ пессимистовъ, которые находятъ дурнымъ все и съ голосу иностранныхъ газетъ хулятъ все свое, не соображая ни историческихъ причинъ съ видимыми въ данное время явленіями, ни своего народа съ тѣми преобразованіями, о какихъ кричатъ, ни закона необходимости, чаще всего управляющаго человѣческими обществами. Николай Алексѣевичъ не былъ ни невѣжда, ни безумецъ; онъ зналъ свое любезное отечество, зналъ его потребности, и потому никогда не думалъ объ общихъ, политическихъ преобразованіяхъ его, въ убѣжденіи, что для нихъ еще не настало время, и еще болѣе въ убѣжденіи, что частный человѣкъ въ Россіи не можетъ имѣть столько свѣдѣній о своемъ отечествѣ, чтобы основательно судить о его потребностяхъ.

Я почитаю необходимымъ объяснить въ этомъ отношеніи умоначертаніе и направленіе покойнаго моего брата, потому что нѣкоторые думали видѣть въ немъ какого-то безпокойнаго человѣка, крикуна, наполненнаго завиральными идеями. Этого не было въ немъ нисколько. Но какъ

человѣкъ честный, съ сильною, пылкою душою, онъ ненавидѣлъ злоупотребленія, неизбѣжныя въ каждомъ обществѣ, и обличалъ, преслѣдовалъ ихъ гдѣ только могъ. Много непріятностей испыталъ онъ за это, но не боялся ничего, потому что дѣйствовалъ открыто, выражалъ свои мнѣнія, излагалъ событія печатно, и затаенныхъ мыслей у него не было. Онъ первый въ Россіи началъ писать о такихъ предметахъ, которые прежде него почитались не принадлежащими къ литературѣ, или излагались въ старинныхъ журналахъ въ видѣ какой-то миѳологіи, къ которой надобно было имѣть ключъ. Николай Алексѣевичъ, напротивъ, говорилъ прямо о многомъ, обличалъ злоупотребленія, смѣялся надъ тѣмъ, что было смѣшно, писалъ, какъ говорилъ бы передъ собраніемъ справедливыхъ судей, и потому событія, ознаменовавшія окончаніе 1825 года, не тревожили его лично за себя.

Увѣренность его оправдалась вполнѣ, и хотя пріятели съ нетерпѣніемъ ожидали, что онъ исчезнетъ съ горизонта литературы, однако онъ остался не только неприкосновеннымъ, но и не слыхалъ ни отъ кого ни малѣйшаго намека, который относился бы къ тогдашнимъ событіямъ.

Былъ одинъ случай, къ которому первоначальнымъ поводомъ, конечно, должно почесть тогдашнія событія, но онъ кончился развязкою не печальною, а забавною. Какъ характеристическая черта человѣка, извѣстнаго многими подобными эпизодами въ жизни своей, этотъ случай стоитъ быть разсказаннымъ даже потому, что онъ, вѣрно, разсмѣшитъ читателя.

Въ началѣ 1826 года, въ январѣ мѣсяцѣ, Николай Алексѣевичъ получилъ изъ Петербурга письмо, не подписанное никѣмъ. Въ этомъ письмѣ, неизвѣстный корреспондентъ его говорилъ о 14-мъ декабря, о негодованіи своемъ противъ злодѣевъ Россіи, и жалѣлъ, что не всѣ они открыты, что остаются въ обществѣ извѣстные возмутители и злодѣи, какъ, напримѣръ, Булгаринъ и Н. И. Гречъ, ко-

торые умѣли укрыться отъ преслѣдованій правосудія. «Сучья обрублены; дерево остается»,—говорилъ краснорѣчивый корреспондентъ въ заключеніе. Вѣроятно, онъ разсчитывалъ, что Николай Алексѣевичъ, бывшій тогда въ жаркой литературной войнѣ съ издателями «Сѣверной Пчелы», обрадуется случаю повредить имъ и побѣжитъ куда нибудь съ доносомъ на нихъ. Но онъ поступилъ, разумѣется, иначе: разорвалъ или сжегъ письмо и забылъ о немъ. Черезъ нѣсколько дней потомъ, какъ-то утромъ, является къ моему брату очень вѣжливый, любезный человѣкъ и объявляетъ, что онъ чиновникъ, служащій для особыхъ порученій при московскомъ военномъ генералъ-губернаторѣ. Поговоривши довольно долго о постороннихъ предметахъ, о литературѣ, о журналахъ, онъ вдругъ спрашиваетъ:

— А что, Николай Алексѣевичъ, получили вы надняхъ изъ Петербурга безъимянное письмо?

Братъ мой, конечно, удивился; но, видя, что это уже оффиціальный вопросъ, отвѣчалъ безъ всякаго замѣшательства:

— Получилъ.

— Что же вы съ нимъ сдѣлали?

— Кинулъ въ огонь.

— Не можете ли вы пересказать мнѣ содержанія его?

— Извольте.

Онъ пересказалъ ему содержаніе письма, бывшее у него еще въ свѣжей памяти. Тогда гость его спросилъ, почему не представилъ онъ этого письма начальству, когда въ немъ содержались довольно важныя показанія?

— Потому, — отвѣчалъ братъ мой: — что безъимянное письмо совершенно ничтожно, какъ признаетъ его законъ; къ тому же вы, благородно-мыслящій человѣкъ, понимаете, что я не могъ оглашать такого письма, не могъ, по закону уваженія къ самому себѣ, дѣлать людямъ непріятности безъ всякаго основанія.

— Такъ; но въ нынѣшнихъ исключительныхъ обстоя-

тельствахъ надобно быть осторожнымъ. Не догадываетесь ли вы, кто писалъ это письмо?

— Я даже и не подумалъ о томъ. Да и какъ угадать это?

— Не получали ли вы прежде писемъ, писанныхъ тою же рукою?

— Право, я не обратилъ вниманія на почеркъ, и теперь не помню его.

— Да, вотъ не тотъ ли это почеркъ?

Тутъ посѣтитель моего брата вынулъ письмо, писанное точно тѣмъ же почеркомъ и даже на такой же бумагѣ, какъ письмо, полученное братомъ по почтѣ; только въ спискѣ его было прибавлено на концѣ: «Точно таковое письмо отправлено къ издателю «Московскаго Телеграфа».

Братъ мой вглядѣлся въ почеркъ и вспомнилъ, что такою же рукою были писаны разныя рукописи, которыя получалъ онъ изъ Петербурга отъ стихотворца Олина. Валеріанъ Николаевичъ Олинъ былъ плохой писатель, лично незнакомый моему брату; но онъ часто присылалъ къ нему свои сочиненія, для помѣщенія въ «Московскомъ Телеграфѣ», и въ письмахъ при томъ выражалъ большую непріязнь къ г. Гречу и къ г. Булгарину, ужъ не знаю за что. Очень немногія, мелкія его стихотворенія, удачнѣе другихъ написанныя, были напечатаны въ «Московскомъ Телеграфѣ»; но самая большая часть присланныхъ имъ рукописей оставалась не напечатанною и еще хранилась у Николая Алексѣевича. Онъ отыскалъ ихъ; сличили съ ними почеркъ письма; несомнѣнно было, что рукописи Олина и письма писала одна рука. Братъ мой объяснилъ своему посѣтителю, что онъ не знаетъ Олина, но судя по его письмамъ, знаетъ, что онъ очень не любитъ гг. Греча и Булгарина, и потому не невозможно, что онъ вздумалъ прислать и письмо къ нему.

Тогда посѣтитель объявилъ ему, что копія съ этого письма была адресована къ московскому военному гене-

ралъ-губернатору, и что, для личнаго объясненія съ его сіятельствомъ, братъ мой долженъ явиться къ нему на слѣдующій день. Одну изъ рукописей Олина посѣтитель взялъ съ собою.

Всѣ знаютъ, что тогдашній московскій военный генералъ-губернаторъ, князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ, былъ одинъ изъ благороднѣйшихъ людей, истинный покровитель всѣхъ жителей Москвы. Когда братъ мой явился къ нему и пересказалъ то же, что говорилъ онъ вчерашнему посѣтителю, князь вполнѣ одобрилъ его дѣйствія и сказалъ, что онъ можетъ быть спокоенъ за себя. Тѣмъ и кончился этотъ случай для моего брата; но въ Петербургѣ онъ имѣлъ забавныя послѣдствія.

Разумѣется, что тамъ прежде всего обратились къ Олину. Несчастный стихотворецъ изумился, и на вопросъ, онъ ли писалъ письмо къ издателю «Московскаго Телеграфа», отвѣчалъ, что и не думалъ писать ничего подобнаго. Но какимъ же образомъ его рукописи и письмо писаны одною и тою же рукою? Тогда Олинъ объяснилъ, что это рука не его, а писца, который обыкновенно переписываетъ драгоцѣнныя его сочиненія и занимается переписываніемъ у многихъ другихъ. Обратились къ писцу. Онъ ли писалъ письмо? Онъ, но не отъ себя: онъ только скопировалъ нѣсколько экземпляровъ съ черновой рукописи, которую далъ ему Воейковъ! Это была продѣлка А. Ѳ. Воейкова, уже извѣстнаго читателямъ моимъ по характеристикѣ его, которую помѣстилъ я выше. Вѣроятно, онъ, въ злости своей, рѣшился надѣлать непріятностей гг. Гречу и Булгарину, разослалъ нѣсколько экземпляровъ своего письма въ Петербургѣ извѣстнымъ лицамъ, отправилъ его къ Н. А. Полевому въ Москву, и (къ чести моего брата) полагая, что онъ не пуститъ въ ходъ клеветы, придумалъ извѣстить о своей посылкѣ московскаго военнаго генералъ-губернатора. Онъ, конечно, не думалъ, чтобы могли открыть истиннаго сочинителя клеветы, потому что письмо его было списано

чужою рукою, безвѣстнымъ писцомъ, который не давалъ себѣ ни малѣйшаго отчета въ томъ, что онъ списывалъ. Но надобно же было такое странное сближеніе случайностей, что по рукѣ писца открыли настоящаго сочинителя клеветы! Не знаю, какъ отдѣлался Воейковъ отъ хлопотъ, которыя надѣлалъ самъ себѣ. Вѣрно, какъ обыкновенно дѣйствовалъ онъ въ подобныхъ случаяхъ, обратился къ Жуковскому, и завопилъ: «Спаси!» И тотъ спасъ его, конечно, не для его личности. Я уже объяснялъ, по какимъ побужденіямъ Жуковскій много разъ спасалъ его отъ разныхъ бѣдъ.

1826-й годъ былъ богатъ историческими событіями, занимавшими все вниманіе публики. Россія готовилась праздновать коронованіе новаго монарха, и Москва постепенно наполнялась множествомъ пріѣзжающихъ. Обыкновенно, при такимъ событіяхъ литература удаляется на задній планъ и не обращаетъ на себя такого вниманія, какъ въ другое время, когда умы спокойно ищутъ себѣ пищи и занятія. Несчастная журнальная полемика также пріутихла, и только изрѣдка раздавалась кой-гдѣ безвредная ея перестрѣлка, ни для кого не занимательная.

Кажется, никогда и ни одинъ журналистъ въ Россіи не встрѣчалъ такого сильнаго сопротивленія въ своей дѣятельности, какъ Н. А. Полевой. Съ первыхъ шаговъ его на этомъ поприщѣ возстала противъ него буря, дошедшая до крайнихъ предѣловъ возможности. Разсматривая причины этого достопамятнаго явленія, найдемъ ихъ, конечно, въ томъ, что онъ вдругъ сталъ дѣйствовать иначе, нежели до тѣхъ поръ дѣйствовали журналисты. Со времени Карамзина, русскіе журналы были не иное что, какъ сборники статей, статеекъ, стиховъ и стишковъ, больше или меньше хорошихъ, больше или меньше занимательныхъ, но всегда добрыхъ, уклончивыхъ въ сужденіяхъ. Главное, существенное, что составляетъ жизнь журнала и даетъ ему характеръ, критика, самобытность въ сужденіяхъ, были допускаемы какъ можно меньше. Даже по выходѣ въ свѣтъ такого

колоссальнаго произведенія, какъ «Исторія Государства Россійскаго», одинъ Каченовскій посмѣшилъ (на свой счетъ) читающую публику привязками къ нѣсколькимъ фразамъ «Предисловія» Карамзина. И того не кончилъ!... При такомъ состояніи журналистики явился «Московскій Телеграфъ», гдѣ главнымъ отдѣломъ была критика, отличавшаяся самобытностью, смѣлостью и возможнымъ безпристрастіемъ въ сужденіяхъ. Очень естественно, что она возстановила противъ молодаго журналиста многихъ писателей, и казалась укоромъ прежнимъ журналистамъ, которые не могли согласиться съ его новымъ образомъ дѣйствій. Раздраженныя самолюбія довершили разладъ!... Но послѣ 1825 года Николай Алексѣевичъ могъ имѣть сознаніе, что онъ дѣйствовалъ не безполезно, что онъ вѣрно понималъ потребности литературы и публики, и заслужилъ одобреніе большинства. При такомъ сознаніи не могъ онъ уклониться отъ пути, имъ избраннаго, не искалъ сближенія съ своими противниками, простодушно воображая, что, наконецъ, они отдадутъ ему справедливость, какъ отдавали ему справедливость многіе изъ отличнѣйшихъ современниковъ. Мы увидимъ далѣе, до какой степени оправдались его ожиданія, и какъ духъ партій, самолюбіе, вражда могутъ дѣйствовать на людей даже необыкновенныхъ. Любопытныя доказательства этого начали являться вскорѣ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Возвращеніе Пушкина изъ ссылки въ Москву.— Отношеніе русской публики къ поэту. — Личное знакомство Н. А. и К. А. Полевыхъ съ Пушкинымъ. — Странное впечатлѣніе, вынесенное изъ этого знакомства.— Явные признаки охлажденія Пушкина къ «Московскому Телеграфу» и его издателямъ. — Особыя воззрѣнія Пушкина на знатность происхожденія.— Сближеніе поэта съ Погодинымъ и съ кружкомъ «Московскаго Вѣстника». — Покровительственныя отношенія къ этому кружку. — Явно-враждебныя дѣйствія Пушкина противъ «Московскаго Телеграфа». — Старанія отвлечь князя Вяземскаго отъ участія въ «Московскомъ Телеграфѣ». — Полный неуспѣхъ «Московскаго Вѣстника».— Смѣшные укоры «Московскому Телеграфу». — Отъѣздъ Пушкина изъ Москвы и проводы его.

Осенью 1826 года, пріѣхалъ въ Москву поэтъ Пушкинъ. Это событіе, которое составляло эпоху въ жизни самого поэта, оказалось не безъ послѣдствій на литературныя отношенія Н. А. Полеваго. Потому-то я долженъ войдти здѣсь въ нѣкоторыя подробности, любопытныя для тайной или закулисной исторіи нашей литературы и довольно важныя въ жизни моего брата.

Знаю, что я долженъ очень осторожно говорить о Пушкинѣ. Нашлись люди, которые въ послѣднее время усиливались представить меня какимъ-то ненавистникомъ нашего великаго поэта и чуть не клеветникомъ нравственной его жизни. Я опровергъ такую клевету, когда она выказалась явно [1]), и показалъ, что никто болѣе меня не уважаетъ

[1]) Опроверженія мои напечатаны въ «Сѣверной Пчелѣ» 1859 г., въ № 129-мъ и 169-мъ.

памяти Пушкина, никто не цѣнитъ болѣе высоко чудеснаго его дарованія. Но дознанная истина, что клевета всегда оставляетъ послѣ себя слѣды, и особенно та клевета, которая передается изустно, въ сборищахъ, гдѣ, въ кругу порядочныхъ людей, можно высказывать возмутительныя нелѣпости, повторяемыя съ улыбкой. Видно, такую клевету испыталъ самъ Пушкинъ, упомянувшій о ней очень выразительно.

Имя Пушкина сдѣлалось извѣстно публикѣ со времени изданія Руслана и Людмилы въ 1820 году; но еще прежде онъ сталъ любимцемъ и баловнемъ образованной петербургской молодежи за многія свои лирическія стихотворенія, несравненныя прелестью выраженія, гармоніей стиха и совершенно новою, небывалою до тѣхъ поръ вольностью мыслей въ разныхъ отношеніяхъ. Эротическія подробности въ посланіяхъ къ Лидамъ и Лилетамъ, острые, умные сарказмы противъ извѣстныхъ лицъ въ посланіяхъ къ друзьямъ, наконецъ, сальныя стихотворенія, гдѣ думалъ онъ подражать А. Шенье, но далеко превзошелъ свой образецъ, — были совершенно во вкусѣ и приходились по сердцу современной молодежи. Лирическія произведенія Пушкина этой эпохи большею частью писаны были не для печати, и въ рукописи разлетались по рукамъ. Вскорѣ составилась цѣлая тетрадь такихъ стихотвореній; современные юноши усердно переписывали ее, невольно выучивали наизусть,— и Пушкинъ пріобрѣлъ самую громкую, блестящую извѣстность и жаркую любовь молодыхъ современниковъ своихъ. Почти въ то же время стало извѣстно, что онъ удаленъ изъ Петербурга; внутри Россіи даже не знали—куда, за что? Но тѣмъ больше казалась поэтическою судьба изгнанника самовольнаго (какъ называлъ Пушкинъ самъ себя), особенно, когда онъ упоминалъ о себѣ въ задумчивыхъ, грустныхъ стихахъ, то благословляя дружбу, спасшую его отъ грозы и гибели, то вспоминая объ Овидіѣ на берегахъ Чернаго моря. И вдругъ новая превратность въ судьбѣ его:

онъ живетъ въ своей деревнѣ, не выѣзжаетъ оттуда, не можетъ выѣзжать — и русскій Овидій принялъ оттѣнокъ чуть ли не Вольтера въ Ферне, или Руссо въ самовольномъ изгнаніи. Между тѣмъ явились его Кавказскій плѣнникъ, Бахчисарайскій фонтанъ, наконецъ, первая глава Онѣгина, сопровождаемыя множествомъ изящныхъ лирическихъ стихотвореній, и уже слышно было, что поэтъ, въ своемъ уединеніи, готовитъ новыя, великія созданія. Въ такихъ отношеніяхъ находился Пушкинъ къ русской публикѣ, когда, во время торжествъ коронаціи, въ 1826 году, вдругъ разнеслась въ Москвѣ радостная и неожиданная вѣсть, что императоръ вызвалъ Пушкина изъ его уединенія, и что Пушкинъ въ Москвѣ. Всѣхъ обрадовала эта вѣсть; но изъ числа самыхъ счастливыхъ ею былъ мой братъ, Николай Алексѣевичъ. Читатели видѣли отношенія его къ Пушкину: искренній жаркій поклонникъ его дарованія, онъ почиталъ наградою судьбы за многія непріятности на своемъ литературномъ поприщѣ то уваженіе, какое оказывалъ ему Пушкинъ, который признавалъ «Московскій Телеграфъ» лучшимъ изъ современныхъ русскихъ журналовъ, присылалъ свои стихи для напечатанія въ немъ, и въ немъ же напечаталъ первые свои прозаическіе опыты. Оставалось укрѣпить личнымъ знакомствомъ этотъ нравственный союзъ, естественно связывающій людей необыкновенныхъ, и однимъ изъ лучшихъ желаній Николая Алексѣевича было свиданіе съ Пушкинымъ. Можно представить себѣ, какъ онъ обрадовался, когда услышалъ о его пріѣздѣ въ Москву! Онъ тотчасъ поѣхалъ къ нему и воротился домой не въ веселомъ расположеніи. Я увидѣлъ это, когда съ юношескимъ нетерпѣніемъ и любопытствомъ прибѣжалъ къ нему въ комнату, восклицая: — Ну, что? видѣлъ Пушкина?... разсказывай скорѣе. Съ обыкновенною своею умною улыбкою, онъ поглядѣлъ на меня и отвѣчалъ въ раздумьѣ: — Видѣлъ. — Ну, каковъ онъ? — Да я, братецъ, нашелъ въ немъ совсѣмъ не то, чего ожидалъ. Онъ ужасно холоденъ, при-

нялъ меня церемонно, безъ всякаго искренняго выраженія.

Онъ пересказалъ мнѣ послѣ этого весь свой, впрочемъ, непродолжительный разговоръ съ Пушкинымъ, въ самомъ дѣлѣ состоявшій изъ вѣжливостей и пустяковъ. Пушкинъ торопился куда-то съ визитомъ; видно было, что въ это свиданіе онъ только поддерживалъ разговоръ и, наконецъ, обѣщалъ Николаю Алексѣевичу пріѣхать къ нему въ первый свободный вечеръ.

Мы посудили, потолковали и утѣшили себя тѣмъ, что, вѣроятно, Пушкинъ, занятый какими нибудь своими политическими отношеніями, не въ духѣ. Но, всетаки, странно казалось, что онъ не выразилъ Николаю Алексѣевичу дружескаго, искренняго расположенія.

Не помню, скоро ли послѣ этого, но, какъ-то вечеромъ, онъ пріѣхалъ къ намъ вмѣстѣ съ С. А. Соболевскимъ, который сдѣлался путеводителемъ его по Москвѣ и впослѣдствіи поселилъ его у себя. Этотъ вечеръ памятенъ мнѣ впечатлѣніемъ, какое произвелъ на меня Пушкинъ, видѣнный мною тутъ въ первый разъ. Когда мнѣ сказали, что Пушкинъ въ кабинетѣ у Николая Алексѣевича, я поспѣшилъ туда, но, проходя черезъ комнату передъ кабинетомъ, невольно остановился при мысли: я сейчасъ увижу его!.. Толпа воспоминаній, ощущеній мелькнула и въ умѣ, и душѣ... Съ тревожнымъ чувствомъ отворилъ я дверь...

Надобно замѣтить, что, вѣроятно, какъ и большая часть моихъ современниковъ, я представлялъ себѣ Пушкина такимъ, какъ онъ изображенъ на портретѣ, приложенномъ къ первому изданію «Руслана и Людмилы», т. е. кудрявымъ, пухлымъ юношею, съ пріятною улыбкою...

Передъ конторкою (на которой обыкновенно писалъ Н. А.) стоялъ человѣкъ, немного превышавшій эту конторку, худощавый, съ рѣзкими морщинами на лицѣ, съ широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щекъ и подбородка, съ тучею кудрявыхъ волосовъ. Ничего юно-

шескаго не было въ этомъ лицѣ, выражавшемъ угрюмость, когда оно не улыбалось. Я былъ такъ пораженъ неожиданнымъ явленіемъ, нисколько не осуществлявшемъ моего идеала, что не скоро могъ опомниться отъ изумленія и увѣрить себя, что передо мною находился Пушкинъ. Онъ былъ не веселъ въ этотъ вечеръ, молчалъ, когда рѣчь касалась современныхъ событій, почти презрительно отзывался о новомъ направленіи литературы, о новыхъ теоріяхъ, и между прочимъ сказалъ:

— Нѣмцы видятъ въ Шекспирѣ чортъ знаетъ что̀, тогда какъ онъ просто, безъ всякихъ умствованій говорилъ, что было у него на душѣ, не стѣсняясь никакой теоріей. — Тутъ онъ выразительно напомнилъ о неблагопристойностяхъ, встрѣчаемыхъ у Шекспира, и прибавилъ, что это былъ геніальный мужичекъ! Меня поразило такое сужденіе тѣмъ больше, что я тогда былъ безусловный поклонникъ Авг. Шлегеля, который не находитъ никакихъ недостатковъ въ Шекспирѣ.

Пушкинъ нѣсколько развеселился бутылкой шампанскаго (тогда необходимая принадлежность литературныхъ бесѣдъ!) и даже диктовалъ Соболевскому комическіе стихи въ подражаніе Виргилію. Не припомню, какая случайность разговора была поводомъ къ тому, но тутъ я видѣлъ, какъ богатъ былъ Пушкинъ средствами къ составленію стиховъ: онъ за нѣсколько строкъ уже готовилъ мысль или созвучіе и находилъ прямое выраженіе, не замѣнимое другимъ. И это шутя, между разговоромъ! О «Московскомъ Телеграфѣ» не было и рѣчи: Пушкинъ, видно, не хотѣлъ говорить о немъ, потому что не желалъ сказать о немъ своего мнѣнія при первомъ личномъ знакомствѣ съ издателемъ. Это мнѣніе было уже не то, которое выразилъ онъ въ письмѣ къ Н. А., какъ увидимъ сейчасъ. Свиданіе кончилось тѣмъ, что мы съ братомъ остались въ недоумѣніи отъ обращенія Пушкина.

Прошло еще нѣсколько дней, когда, однажды утромъ, я

заѣхалъ къ нему. Онъ, временно, жилъ въ гостинницѣ, бывшей на Тверской, въ домѣ князя Гагарина, отличавшемся вычурными уступами и крыльцами снаружи. Тамъ занималъ онъ довольно грязный нумеръ въ двѣ комнаты, и я засталъ его, какъ обыкновенно заставалъ потомъ утромъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ, въ татарскомъ серебристомъ халатѣ, съ голою грудью, не окруженнаго ни малѣйшимъ комфортомъ: такъ живалъ онъ потомъ въ гостинницѣ Демута въ Петербургѣ. На этотъ разъ онъ былъ, какъ мнѣ показалось сначала, въ какомъ-то раздраженіи, и тотчасъ началъ рѣчь о «Московскомъ Телеграфѣ», въ которомъ находилъ множество недостатковъ, выражаясь объ иныхъ подробностяхъ саркастически. Я возражалъ ему, какъ умѣлъ, и разговоръ шелъ довольно запальчиво, когда въ комнату вошелъ г. Шевыревъ, тогда еще едва начинавшій писатель, членъ Раичева литературнаго Общества (о которомъ я говорилъ въ первой части этихъ записокъ). Онъ принесъ Пушкину незадолго прежде напечатанную книжку: Объ искусствѣ и художникахъ, размышленія и проч., изданную Тикомъ и переведенную съ нѣмецкаго гг. Титовымъ, Мельгуновымъ и Шевыревымъ. Стихи, находящіеся въ этой книгѣ, были писаны послѣднимъ, и Пушкинъ началъ горячо расхваливать ихъ, вообще оказывая г. Шевыреву самое пріязненное расположеніе, хотя и съ высоты своего величія, тогда какъ со мною онъ разговаривалъ почти какъ непріятель. Вскорѣ ввалился въ комнату М. П. Погодинъ. Пушкинъ и къ нему обратился дружески. Я увидѣлъ, что буду лишній въ такомъ обществѣ, и взялся за шляпу. Провожая меня до дверей и пожимая мнѣ руку, Пушкинъ сказалъ:

— Sans rancune, je vous en prie!—и захохоталъ тѣмъ простодушнымъ смѣхомъ, который памятенъ всѣмъ знавшимъ его.

Я воротился домой почти съ убѣжденіемъ, что Пушкинъ за что-то непріязненъ къ «Московскому Телеграфу», или, лучше сказать, къ редакторамъ его. Но за что-же? Не самъ

ли онъ признавалъ «Московскій Телеграфъ» лучшимъ изъ русскихъ журналовъ; и дѣйствительно, не былъ ли это, какъ говорятъ теперь, передовой журналъ, оказавшій обществу нѣкоторыя услуги. Могъ ли остановиться Пушкинъ на мелочныхъ недостаткахъ его, и за нихъ отвергать достоинства его, какъ дѣлали пристрастные наши враги?

Вскорѣ услышали мы, что Пушкинъ основываетъ свой журналъ, «Московскій Вѣстникъ», подъ редакціей г. Погодина и при участіи всѣхъ членовъ бывшаго Раичева Общества, всѣхъ недовольныхъ «Московскимъ Телеграфомъ». Это объяснило намъ многое въ недавнихъ отношеніяхъ его съ нами, особливо, когда стали извѣстны подробности, какъ заключился такой странный союзъ. Въ самомъ дѣлѣ, странно было, что этотъ сердечный союзъ устроился слишкомъ проворно, и сближеніе Пушкина въ важномъ литературномъ предпріятіи съ молодыми людьми, еще ничѣмъ не доказавшими своихъ дарованій, казалось еще изумительнѣе, когда во главѣ ихъ являлся г. Погодинъ! Гдѣ могъ узнать и какъ могъ оцѣнить всю эту компанію Пушкинъ, только-что пріѣхавшій въ Москву?

Я упомянулъ, что Пушкинъ пріѣхалъ въ Москву неожиданно ни для кого. Онъ былъ привезенъ прямо въ Кремлевскій дворецъ и неожиданно представленъ императору. Никто не можетъ сказать, что говорилъ ему августѣйшій его благодѣтель, но можно вывести положительное заключеніе о томъ изъ словъ самого государя императора, когда, вышедши изъ кабинета съ Пушкинымъ, послѣ разговора наединѣ, онъ сказалъ окружавшимъ его особамъ: «Господа, это Пушкинъ мой!»

Несомнѣнно также, что разговоръ съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ оставилъ сильное впечатлѣніе въ Пушкинѣ, и если не совершенно измѣнилъ прежній образъ его мыслей, то заставилъ его принять новое направленіе, которому остался онъ вѣренъ до конца своей жизни. На смертномъ одрѣ, въ часы послѣднихъ страданій передъ кон-

чиной, онъ просилъ увѣрить императора, что «весь былъ бы его», если бы остался живъ [1]). Онъ, конечно, въ эту торжественную минуту лишь высказалъ то, что было въ душѣ его. Какъ человѣкъ высокаго ума, до зрѣлыхъ лѣтъ мужества остававшійся либераломъ, и по образу мыслей, и въ поэтическихъ изліяніяхъ своей души, онъ не могъ вдругъ отказаться отъ своихъ убѣжденій; но, разъ давши слово слѣдовать указанному ему новому направленію, онъ хотѣлъ исполнить это и благоговѣйно отзывался о наставленіяхъ, данныхъ ему императоромъ [2]).

Въ самомъ началѣ, въ первые дни своего нравственнаго кризиса, встрѣтился онъ въ Москвѣ съ издателемъ «Московскаго Телеграфа» и, можетъ быть, первоначально не хотѣлъ сближаться съ нимъ, по разсчету обыкновеннаго и очень понятнаго благоразумія. Еще правительство не обращало своего вниманія на молодаго журналиста, а Пушкинъ уже понималъ, что не можетъ слѣдовать одному съ нимъ направленію. Живя въ Михайловскомъ, онъ почиталъ его журналомъ передовымъ и откровенно хвалилъ его; перенесенный въ Москву, онъ былъ уже не тотъ Пушкинъ, и потому-то, съ первыхъ свиданій, встрѣтилъ холодно Н. А. Полеваго, и въ первомъ разговорѣ со мной порицалъ, между прочимъ, неосторожность, съ какою пишутся многія статьи «Московскаго Телеграфа». Это былъ всегдашній припѣвъ его и потомъ, когда мнѣ случалось говорить съ нимъ о «Московскомъ Телеграфѣ». Только-что прощенный государемъ императоромъ за прежнія свои вольнодумства, взволнованный милостивымъ его словомъ, онъ хотѣлъ держать себя на-сторожѣ съ издателемъ «Московскаго Телеграфа» и хотя внутренно не могъ не отдавать ему справедливости, однако, желалъ, можетъ быть, лучше узнать его. Таковы были, по моему убѣжденію, первыя причины хо-

[1]) См. статью Жуковскаго: «Письмо къ С. Л. Пушкину».
[2]) См. «Соч. Пушкина», изд. Анненкова, т. I, стр. 172.

лодности Пушкина къ Н. А. Полевому. Къ нимъ вскорѣ присоединились многія другія. Не невозможно, что Пушкинъ, не смотря на свои ребяческія, смѣшныя мнѣнія объ аристократствѣ, простилъ бы моему брату званіе купца, если бы тотъ явился предъ нимъ смиреннымъ поклонникомъ. Но когда издатель «Московскаго Телеграфа» протянулъ къ нему руку свою, какъ родной, онъ хотѣлъ показать ему, что такое сближеніе невозможно между потомкомъ бояръ Пушкиныхъ, внукомъ Арапа Ганнибала, и между смиреннымъ гражданиномъ. Я готовъ согласиться, что Пушкинъ, человѣкъ высокаго ума, никогда не былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что проповѣдывалъ такъ громко о русскомъ аристократствѣ и знатности своего рода; но онъ игралъ эту роль постоянно, по крайней мѣрѣ, съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ знать его лично. Онъ соображалъ свое обхожденіе не съ личностью человѣка, а съ положеніемъ его въ свѣтѣ, и потому-то признавалъ своимъ собратомъ самаго ничтожнаго барича и оскорблялся, когда въ обществѣ встрѣчали его, какъ писателя, а не какъ аристократа. Эту мысль выражалъ онъ и на словахъ, и въ своихъ сочиненіяхъ: она послужила ему основою вступительной части и отрывка «Египетскія ночи». Въ Чарскомъ изобразилъ онъ себя. Такой образъ мыслей мѣшалъ сближенію его съ Н. А. Полевымъ, и естественно заставилъ его легко согласиться на предложеніе безвѣстныхъ молодыхъ людей, которые просили его быть не столько сотрудникомъ, сколько покровителемъ предпринимаемаго ими журнала. И онъ, и они разсчитывали на вѣрный успѣхъ отъ одного имени Пушкина, которому все остальное должно было служить только рамою. Пушкину было очень кстати получать большую плату за свои стихотворенія, печатанныя въ журналѣ, покорномъ ему во всѣхъ отношеніяхъ, и въ этой-то надеждѣ онъ имѣлъ новую причину отдалиться отъ «Московскаго Телеграфа», который не платилъ и не предлагалъ ему ничего за его сотрудничество, потому что, до 1825 года, такъ поступали

всѣ журналисты. Съ этого года, г. Гречъ первый началъ платить за трудъ постоянныхъ своихъ сотрудниковъ, но все еще не за стихи, которые всегда составляютъ роскошь журнала и не придаютъ собственно ему ни малѣйшаго достоинства. Не постигая этого, издатель и сотрудники «Московскаго Вѣстника» ликовали, что могутъ получать большіе барыши отъ своего журнала, и подъ эгидой Пушкина ратоборствовать, какъ имъ угодно, особенно противъ «Московскаго Телеграфа». Можно представить себѣ, что наговорили они Пушкину объ издателѣ ненавистнаго имъ журнала! Въ числѣ ихъ были люди барскаго происхожденія, и Пушкинъ надѣялся симпатизировать съ ними больше, нежели съ простолюдиномъ Полевымъ. Аристократъ по системѣ, если не въ дѣйствительности, онъ увидалъ себя еще больше чуждымъ ему, когда блестящее свѣтское общество встрѣтило съ распростертыми объятіями знаменитаго поэта, бывшаго диковинкою въ Москвѣ. Онъ какъ будто не видалъ, что въ немъ чествовали не потомка бояръ Пушкиныхъ, а писателя и современнаго льва, въ первое время, по крайней мѣрѣ. Увлекшись въ вихрь свѣтской жизни, которую всегда любилъ онъ, Пушкинъ почти стыдился званія писателя.

Все это объяснилось постепенно, не вдругъ, и если теперь ясны причины страннаго отчужденія Пушкина отъ «Московскаго Телеграфа» и его издателя, то тогда мы могли только оставаться въ недоумѣніи и были въ правѣ негодовать, что онъ безъ всякой видимой причины, безъ малѣйшаго повода, становился въ положеніе, непріятное для насъ. Холодность и высокомѣріе его очень уязвляли Николая Алексѣевича, и, положивъ руку на сердце, всякій согласится, что на такое расположеніе, явно выражаемое, нельзя же было отвѣчать дружбою и преданностью. Еще больше оскорбляло Николая Алексѣевича то, что Пушкинъ принялъ подъ свое покровительство противниковъ его и оказывалъ дружеское расположеніе г. Погодину, заклятому врагу его.

Изъ напечатанныхъ писемъ Пушкина можно видѣть, что онъ желалъ отклонить отъ «Московскаго Телеграфа» главнаго сотрудника, придававшаго свой авторитетъ этому журналу, князя Вяземскаго[1]). Это окончательно показываетъ непріязненное расположеніе къ Н. А. Полевому, и даже не совсѣмъ хорошее желаніе повредить ему. Князь Вяземскій, котораго Пушкинъ всегда называлъ своимъ другомъ, даже не говорилъ намъ о предложеніяхъ Пушкина, но, какъ человѣкъ самостоятельный и благородный, вызвался принять еще болѣе участія въ «Московскомъ Телеграфѣ», и дѣйствительно работалъ для него въ 1827 году усердно и дѣятельно. Не долженъ ли былъ и Пушкинъ, если бы онъ еще раздѣлялъ образъ мыслей князя Вяземскаго, придать свой авторитетъ «Московскому Телеграфу», а не руководствоваться корыстными разсчетами и вступать въ союзъ съ незнакомой ему молодежью, которую такъ хорошо зналъ и оцѣнивалъ князь Вяземскій, и очень вѣрно изобразилъ Грибоѣдовъ въ извѣстномъ своемъ экспромтѣ, оканчивающемся стихами:

Студенческая кровь, казенные бойцы!
Холопы «Вѣстника Европы»!

Разсчетъ Пушкина и новыхъ друзей его оказался невѣренъ во многихъ отношеніяхъ. «Московскій Вѣстникъ» не понравился публикѣ съ первой книжки, и съ каждою новою книжкою оказывался ребяческимъ предпріятіемъ, недостойнымъ вниманія. Не спасли его и стихи Пушкина, хотя ихъ было тамъ много. Такой неуспѣхъ былъ новымъ торжествомъ для «Московскаго Телеграфа» и только утвердилъ за нимъ первенство въ русской журналистикѣ. И не могло быть иначе. «Московскій Телеграфъ» былъ

[1]) Въ письмѣ къ Языкову (Н. М.) онъ писалъ, отъ 21-го ноября 1826 года: «Одинъ Вяземскій остался твердъ и вѣренъ «Телеграфу», жаль, но что же дѣлать». («Соч. Пушкина», изданіе Анненкова, т. I, стр. 174). Слѣдовательно, онъ желалъ и старался отклонить князя Вяземскаго отъ участія въ «Московскомъ Телеграфѣ».

журналъ, органъ извѣстнаго рода мнѣній, касавшійся современныхъ вопросовъ, а «Московскій Вѣстникъ» оказался—какъ и другіе современные журналы русскіе—сборникомъ разнородныхъ статей, иногда хорошихъ, но чаще плохихъ, потому что хорошихъ писателей никогда не бываетъ много, и невозможно завербовать ихъ всѣхъ въ свои сотрудники: поневолѣ придется наполнять журналъ чѣмъ попало. Но когда издатель его бываетъ органомъ опредѣленныхъ убѣжденій и современной доктрины, тогда всѣ эти статьи его журнала составляютъ одно цѣлое, и журналъ постепенно дѣлается могуществомъ, которому можетъ противоборствовать только подобное же могущество своего рода, то есть органъ другихъ убѣжденій.

Мы еще такъ молоды въ общественной жизни, что до сихъ поръ не дали себѣ отчета въ значеніи журналовъ, и оттого-то водворилась въ нынѣшней журналистикѣ нетерпимость, не показывающая высокаго просвѣщенія. Она хочетъ, чтобы всѣ журналы выражали одно и то же ученіе, одни и тѣ же мнѣнія, не замѣчая, что это порождаетъ односторонность, деспотизмъ мнѣній, всегда вредный для успѣха, который возможенъ только при свободномъ выраженіи самыхъ противоположныхъ взглядовъ.

Если въ наше время такъ ложно понимаютъ истинное назначеніе журналовъ, то можно представить себѣ, каково было понятіе о нихъ тридцать пять лѣтъ назадъ. Издатели «Московскаго Вѣстника» думали, что стихи Пушкина, и даже одно имя его, дадутъ успѣхъ ихъ сборнику; но прекрасные стихи Пушкина не могли закрыть ничтожности почти всего остальнаго. Главными дѣйствователями «Московскаго Вѣстника» вскорѣ остались г. Погодинъ со своими возгласами и мужиковатымъ тономъ и г. Шевыревъ со своими плаксивыми стихами и критиками. Участь журнала была рѣшена. Пушкинъ вскорѣ охладѣлъ къ нему вмѣстѣ съ публикою. Правда, что еще нѣсколько времени онъ, въ письмахъ своихъ, старался ободрять издателя «Мо-

сковскаго Вѣстника» и хвалилъ не въ мѣру его главнаго сотрудника, его милаго нашего Шевырева (Соч. Пушкина, т. I, стр. 182); но это не могло быть искренно и всего скорѣе было вызвано обиженнымъ самолюбіемъ и разочарованіемъ въ прежней увѣренности, что публика станетъ платить оброкъ одному имени Пушкина. Изъ его же писемъ видно, что онъ не имѣлъ никакой опредѣленной идеи о журналѣ, которому сдѣлался кумомъ, и самъ себѣ противорѣчилъ, когда говорилъ о цѣли его. Г. Анненковъ полагаетъ, что «цѣль журнала была именно уничтожить безплодные сборники, такъ сильно развившіеся въ это время». (Соч. Пушкина, т. I, стр. 181). Это, вѣроятно, основано на трехъ словахъ Пушкина въ упомянутомъ выше письмѣ къ Языкову: «Пора задушить альманахи». Но могла ли войдти въ здоровую голову мысль—издавать для этого журналъ? Какъ изданіемъ журнала задушить альманахи, бывшіе потребностью для публики? Пушкинъ написалъ свои три слова о нихъ мимоходомъ, такъ, между прочимъ, и не могъ соединять съ ними постояннаго убѣжденія. Напротивъ, одобрялъ альманахи, много лѣтъ снабжалъ ихъ своими стихами, и послѣ изданія «Московскаго Вѣстника». Особенно заботился онъ объ успѣхѣ «Сѣверныхъ Цвѣтовъ» Дельвига. Какая же еще была цѣль журнала? 1-го іюля 1827 года, Пушкинъ писалъ къ г. Погодину: «Надобно, чтобы нашъ журналъ издавался и на слѣдующій годъ. Онъ, конечно, будь сказано между нами, первый единственный журналъ на Руси! Должно терпѣніемъ, добросовѣстностью, благородствомъ и особенно настойчивостью оправдать ожиданія извѣстныхъ друзей словесности и одобреніе великаго Гете» (Соч. Пушкина изд. Анн., т. I, 182 стр.). Къ чему тутъ одобреніе великаго Гёте? Какъ могъ судить о русскомъ журналѣ великій Гёте? Ясно: сказано это, чтобы чѣмъ нибудь ободрить унывшихъ сотрудниковъ. Но замѣчательно, что тутъ Пушкинъ проповѣдуетъ добросовѣстность и всѣ добродѣтели, а отъ 31-го августа, слѣдовательно

черезъ два мѣсяца, пишетъ къ тому же г. Погодину: «Главная ошибка наша была въ томъ, что мы хотѣли быть дѣльными; стихотворная часть у насъ славная, проза, можетъ быть, еще лучше; но вотъ бѣда: въ ней слишкомъ мало вздору. Вѣдь вѣрно есть у васъ повѣсть для Ураніи? Давайте ее въ «Вѣстникъ». Кстати о повѣстяхъ: онѣ должны быть непремѣнно существенной частью журнала, какъ моды у «Телеграфа». У насъ не то, что въ Европѣ—повѣсти въ диковинку. Онѣ составили первоначальную славу Карамзина, у насъ про нихъ еще толкуютъ. Ваша индѣйская сказка: «Переправа», въ европейскомъ журналѣ обратитъ общее вниманіе, какъ любопытное открытіе учености; у насъ тутъ видятъ просто повѣсть и важно находятъ ее глупою (стран. 181)». Вотъ вамъ и добросовѣстность, и настойчивость, и одобреніе великаго Гёте! Давайте вздору, потому что публика не понимаетъ мудрыхъ статей «Московскаго Вѣстника»!... Да, больно видѣть, что даровитый, необыкновенный человѣкъ унижалъ себя такимъ образомъ, льстилъ бездарнымъ людямъ изъ постороннихъ видовъ и противорѣчилъ себѣ и правдѣ! Развѣ онъ не зналъ, что повѣсти и прежде, и въ его время (какъ теперь) были необходимымъ отдѣломъ изящныхъ произведеній? Развѣ не писалъ онъ потомъ самъ повѣстей, которыя составляютъ часть его славы? Публика находитъ какую нибудь повѣсть глупою, конечно, не потому, что видѣла въ ней не повѣсть. Ужъ вѣрно такъ! Глупые писатели обыкновенно недовольны публикой, и Пушкину, баловню и любимцу ея, не кстати было утѣшать своихъ новыхъ друзей, какъ утѣшалъ онъ ихъ: благороднѣе, лучше было бы прямо сказать имъ, что они взялись не за свое дѣло. Онъ, конечно, понималъ это прежде всѣхъ, но, какъ я сказалъ, изъ самолюбія и нелитературныхъ видовъ или разсчетовъ, хотѣлъ убаюкивать незаслуженными похвалами своихъ данниковъ.

Не нужно пояснять, что, при этой журнальной неудачѣ Пушкина и клевретовъ его, Н. А. Полевой, былъ для нихъ

бѣльмомъ на глазу. Въ немногихъ приведенныхъ мною строкахъ изъ писемъ Пушкина видно, что упомянуть о «Телеграфѣ» было неизбѣжно при сужденіяхъ о журнальномъ успѣхѣ, и великій поэтъ не совѣстился повторять пошлый намекъ, будто моды были существенною частью «Московскаго Телеграфа»! Не станемъ характеризовать побужденій Пушкина; но кто же не согласится, что въ словахъ его явно непріязненное расположеніе къ «Телеграфу» и издателю его? Поэтъ какъ будто старался поддерживать и даже раздувать это расположеніе въ своихъ клевретахъ, а они, разумѣется, и не нуждались въ такихъ поощреніяхъ. Г. Шевыревъ исписывалъ груды бумаги, усердно трудясь уронить «Телеграфъ» и выставить издателя его самымъ дурнымъ писателемъ и даже дурнымъ человѣкомъ; г. Погодинъ не столько писалъ, сколько дѣйствовалъ противъ него непріязненно. Вся его партія искала случая и не пренебрегала никакими средствами, чтобы уязвить журналъ, а если можно, то нанести ударъ издателю «Телеграфа». Но, при этомъ, наружныя формы пріязни и всѣ приличія соблюдались вполнѣ. Пушкинъ и его сотрудники бывали у Н. А. Полеваго и при встрѣчѣ казались добрыми пріятелями. Весною 1827 года, не помню по какому случаю, у брата былъ литературный вечеръ, гдѣ собрались всѣ пишущіе друзья и недруги; ужинали, пировали всю ночь и разъѣхались уже утромъ. Пушкинъ казался предсѣдателемъ этого сборища и, попивая шампанское съ сельтерской водой, разсказывалъ смѣшные анекдоты, читалъ свои непозволенные стихи, хохоталъ отъ рѣзкихъ сарказмовъ И. М. Снегирева, вспоминалъ шутливые стихи Дельвига, Баратынскаго и заставилъ послѣдняго припомнить написанные имъ съ Дельвигомъ когда-то разсказы о житьѣ-бытьѣ въ Петербургѣ. Его особенно смѣшило то мѣсто, гдѣ въ пышныхъ гексаметрахъ изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоихъ поэтовъ, которые «въ лавочку были должны, руки держали въ карманахъ (перчатокъ они не имѣли!)»...

Глядя на пирующихъ вмѣстѣ образованныхъ, большею частью, любезныхъ людей, кто подумалъ бы, что въ душѣ многихъ изъ нихъ таились мелкія страстишки и ненависть къ тому, у кого они пировали? Только «приличія были спасены»,—если позволятъ употребить здѣсь выразительный французскій идіотизмъ.

Весною того же года, Пушкинъ спѣшилъ отправиться въ Петербургъ, и мы были приглашены проводить его. Мѣстомъ общаго сборища для проводинъ была назначена дача С. А. Соболевскаго, близъ Петровскаго дворца. Тогда еще не существовало нынѣшнее Петровское, то есть множества дачъ, окружающихъ Петровскій паркъ, также не существовавшій: все это миловидное предмѣстье Москвы явилось по мановенію императора Николая, около 1835 года. До тѣхъ поръ, вокругъ историческаго Петровскаго дворца, гдѣ нѣсколько дней укрывался Наполеонъ отъ московскаго пожара въ 1812 году, было нѣсколько старинныхъ, очень незатѣйливыхъ дачъ, стоявшихъ отдѣльно одна отъ другой, а все остальное пространство, почти вплоть до заставы, было изрыто, заброшено или покрыто огородами, и даже полями съ хлѣбомъ.

Въ эту-то пустыню, на дачу Соболевскаго, около вечера, стали собираться знакомые и близкіе Пушкина. Мы увидѣли тамъ Мицкевича, который съ комическою досадою разсказывалъ, что вмѣстѣ съ однимъ товарищемъ онъ забрался въ Петровское съ полудня, надѣясь осмотрѣть на досугѣ достопамятный дворецъ и потомъ найдти какой нибудь пріютъ, или хоть трактиръ, гдѣ пообѣдать. Но дворецъ, тогда только снаружи покрашенный [1]), внутри представлялъ опустошеніе; что же касается до утоленія голода, который, наконецъ, сталъ напоминать Мицкевичу объ обѣдѣ, то въ Петровскомъ не оказалось никакихъ пособій для этого: въ пустынныхъ дачахъ жили только сторожа, а трак-

[1]) Кажется, одинъ нижній этажъ его былъ отдѣланъ наскоро.

тира вблизи не было. Въ такомъ отчаянномъ положеніи, Мицкевичъ увидѣлъ какого-то жалкаго разносчика съ колбасами, но когда поѣлъ колбасы, то весь остальной день мучила его жажда, хотя желудокъ былъ пустъ. Онъ такъ уморительно разсказывалъ всѣ эти приключенія, что слушавшіе его не могли не хохотать; а гостепріимный хозяинъ дачи спѣшилъ возстановить упадшія силы знаменитаго литвина. Постепенно собралось много знакомыхъ Пушкина, и уже былъ поздній вечеръ, а онъ не являлся. Наконецъ, пріѣхалъ Александръ Михайловичъ Мухановъ—противъ котораго написалъ свою первую критическую статью Пушкинъ, вступившійся за m-me Staël—и объявилъ, что онъ былъ вмѣстѣ съ Пушкинымъ на гуляньѣ въ Марьиной рощѣ (въ этотъ день пришелся семикъ), и что поэтъ скоро пріѣдетъ. Уже поданы были свѣчи, когда онъ явился, разсѣянный, невеселый, говорилъ не улыбаясь (что̀ всегда показывало у него дурное расположеніе) и тотчасъ послѣ ужина заторопился ѣхать. Коляска его была подана, и онъ, почти не сказавши никому ласковаго слова, укатилъ въ темнотѣ ночи. Помню, что это произвело на всѣхъ непріятное впечатлѣніе. Нѣкоторые объясняли дурное расположеніе Пушкина, разсказывая о непріятностяхъ его по случаю дуэли, окончившейся не къ славѣ поэта. Въ толстомъ панегирикѣ своемъ Пушкину, г. Анненковъ умалчиваетъ о подобныхъ подробностяхъ жизни его, заботясь только выставить поэта мудрымъ, непогрѣшительнымъ, чуть не праведникомъ.

Изъ всего разсказаннаго здѣсь мною видно, однако-жъ, что Пушкинъ дѣйствовалъ въ отношеніи къ моему брату непріязненно и, вольно или невольно, повредилъ ему во многомъ. Конечно, въ его волѣ было затѣять свой журналъ; но уже одно то, что онъ не присоединился къ «Телеграфу», вдругъ перемѣнилъ свой образъ мыслей о немъ и сталъ постоянно отзываться какъ о ловкомъ шарлатанствѣ, это уже не могло не повредить Н. А. Полевому, и усилило непріязненныя дѣйствія его противниковъ. Если въ пись-

махъ своихъ онъ не совѣстился говорить, что въ «Телеграфѣ» существенная часть были моды, то можно представить себѣ, какъ отзывался онъ объ этомъ журналѣ и его издателѣ въ разговорахъ своихъ съ тѣми людьми, которые, и черезъ много лѣтъ послѣ смерти Н. А. Полеваго, не могутъ простить ему успѣховъ его и не отдаютъ ему справедливости? Несомнѣнно, что не лучше отзывался о немъ Пушкинъ и въ разговорахъ съ посторонними людьми; а его слово могло сильно дѣйствовать на общее мнѣніе. Чѣмъ же оправдать такую непріязненность, когда лучшіе люди своего времени — князь Вяземскій, Мицкевичъ, Баратынскій, и много другихъ, которыхъ авторитета не отвергалъ Пушкинъ, были тѣсно соединены съ Н. А. Полевымъ и уважали его журналъ? Теперь никто не станетъ спорить, что Пушкинъ во всю жизнь свою былъ плохой судья въ литературѣ, даже когда бывалъ искрененъ; но тутъ едва ли можно признать въ немъ даже искренность? Я старался объяснить внезапную перемѣну его въ отношеніи къ моему брату; но разъ выступивъ на ложный путь, онъ невольно увлекался дальше и дальше, такъ что, наконецъ, не стыдился входить въ сношенія съ неблагопристойнымъ, продажнымъ писакой Александромъ Аѳимовичемъ Орловымъ, и уськалъ его противъ Полеваго! Объ этомъ я скажу впослѣдствіи.

Теперь остановимся на томъ, что пріѣздъ въ Москву и житье тамъ Пушкина были для моего брата только поводомъ къ разнымъ непріятностямъ въ литературныхъ его отношеніяхъ. Противъ него явились: новый непріязненный журналъ, подъ покровительствомъ Пушкина, и авторитетъ великаго поэта, сильно дѣйствовавшій на публику, которая, разумѣется, не знала причинъ этого явленія, и многіе, конечно, присоединились къ блестящему авторитету. Словомъ Пушкинъ сдѣлался непріятелемъ «Московскаго Телеграфа», слѣдственно и издателя его; а онъ, при своихъ средствахъ, могъ нанести ему существенный вредъ, хотя бы даже не имѣлъ того въ виду.

II.

Новыя непріятности изъ-за старой пріязни. — Вдова Ходаковскаго и его завѣтъ Н. А. Полевому.—Бумаги Ходаковскаго.—Разборъ ихъ въ сообществѣ съ Мицкевичемъ, Малевскимъ и Дашкевичемъ. — Жалоба вдовы генералъ-губернатору.—Объясненіе, данное Николаемъ Алексѣевичемъ. — Клеветы враговъ по этому поводу. — Вальтеръ-Скоттъ, какъ виновникъ вражды Н. А. Полеваго съ Погодинымъ.—Переводъ «Жизни Наполеона» и хлопоты о пропускѣ его цензурою въ Петербургѣ.—В. Г. Анастасевичъ и баронъ Розенкампфъ.—Разрѣшеніе перевода цензурою. — Происки Погодина и желаніе подѣлить съ Полевыми ихъ будущіе барыши. — Неосторожный шагъ Н. А. Полеваго. — С. Т. Аксаковъ, какъ цензоръ «М. Телеграфа» и личный врагъ Н. А. Полеваго.— Запрещеніе перевода «Жизни Наполеона».

Непріятныя отношенія къ Пушкину были не единственнымъ разочарованіемъ для Николая Алексѣевича въ 1826 году; онъ начиналъ уже чувствовать около себя шипѣніе враговъ, которые въ желаніи своемъ вредить ему не разбирали никакихъ средствъ. Любопытнымъ доказательствомъ тому можетъ послужить слѣдующее обстоятельство, которое относится къ 1826 году.

Въ этомъ году, неожиданно явилась къ Н. А. Полевому жена Ходаковскаго, того оригинала-археолога, котораго изобразилъ я въ первой части этихъ записокъ. Она явилась съ сокрушеннымъ видомъ, расплакалась, и между вздыханій и всхлипываній разсказала, что Зоріанъ Яковлевичъ скончался и, умирая, говорилъ ей: «Я не оставляю тебѣ ничего, кромѣ долговъ; но положеніе твое можетъ перемѣниться вотъ какимъ образомъ: послѣ смерти моей поѣзжай въ Москву, къ Н. А. Полевому, и скажи ему, что я, на смертномъ одрѣ, прошу его разобрать мои рукописи, продать ихъ или извлечь изъ нихъ какимъ другимъ способомъ все, чего они стоятъ. У меня въ бумагахъ много драгоцѣннаго; а Полевой самый честный человѣкъ, какого только знаю, и я увѣренъ, что онъ сдѣлаетъ всевозможное для стараго

своего друга Зоріана Ходаковскаго. Онъ при жизни много одолжалъ меня, а по смерти не откажетъ въ моей просьбѣ оказать тебѣ благодѣяніе. Такъ и скажи ему все, что я говорю теперь тебѣ».

Разсказъ этотъ, переданный простою женщиной, на ломаномъ русскомъ языкѣ, такъ растрогалъ Николая Алексѣевича, что онъ старался какъ могъ ободрить бывшую кухарку, а теперь вдову Ходаковскаго, выдалъ ей даже сколько-то денегъ и обѣщалъ исполнить завѣтъ стараго своего пріятеля. Ему было пріятно, что Зоріанъ такъ хорошо оцѣнивалъ его, и онъ просилъ вдову прислать ему рукописи покойнаго ея мужа, обѣщая въ точности исполнить послѣднее его желаніе. Онъ надѣялся, что въ рукописяхъ этого чудака найдется хоть что нибудь, достойное вниманія, изъ чего можно будетъ выручить сколько нибудь денегъ для бѣдной его вдовы. Черезъ нѣсколько времени она прислала довольно большой сундукъ, набитый рукописями и книгами, и увѣдомила, что собрала въ этомъ сундукѣ всѣ бумаги и книги покойнаго, прибавляя, что сама, по милости господъ, у которыхъ жилъ мужъ ея, остается покуда въ Тверской губерніи, съ надеждою, что г. Полевой доставитъ ей средства къ существованію. Г. Полевой раскрылъ сундукъ и увидѣлъ, что въ немъ, кромѣ нѣсколькихъ толстѣйшихъ фоліантовъ, гдѣ Ходаковскій вписывалъ городки, о которыхъ узнавалъ всякими способами, было еще нѣсколько томовъ разныхъ истасканныхъ, разрозненныхъ книгъ, исписанныхъ его замѣтками, нѣсколько экземпляровъ печатныхъ изслѣдованій его о городкахъ и, наконецъ, довольно большое число тетрадей и отдѣльныхъ листковъ, исписанныхъ попольски. Озадаченный такой плохою находкою, онъ подумалъ, что, можетъ быть, въ польскихъ рукописяхъ Ходаковскаго есть что нибудь дѣльное, о чемъ братъ мой не могъ судить, почти не зная попольски. Онъ пересказалъ это Мицкевичу, Малевскому и молодому, пылкому Дашкевичу, бывшему любимому ученику знаме-

нитаго Лелевеля, и просилъ ихъ прійдти къ нему какъ нибудь съ утра, для разсмотрѣнія польскихъ рукописей Ходаковскаго. Въ назначенный день они пришли, начали читать его рукописи, и громкій хохотъ часто прерывалъ это занятіе: большая часть рукописей оказалась спискомъ народныхъ пѣсней польскихъ и разныхъ славянскихъ; какъ видно, особенною цѣлью Зоріана было собирать пѣсни неблагопристойныя, хотя иногда очень смѣшныя, отчего такъ и хохотали его земляки. Кромѣ этого, были у него какія-то описанія и изображенія дворянскихъ гербовъ, разныя пустыя замѣтки—и больше ничего. Обманутый въ своемъ ожиданіи Дашкевичъ, мечтавшій найдти что нибудь историческое въ рукописяхъ Ходаковскаго, назвалъ его дуракомъ, а Мицкевичъ и Малевскій посмѣялись—тѣмъ и кончился разборъ рукописей хвастливаго мечтателя. Но братъ мой увидѣлъ себя въ досадномъ положеніи. Онъ вызвался вдовѣ Ходаковскаго извлечь деньги изъ рукописей покойнаго ея мужа; но что̀ можно было извлечь изъ такого вздора, какой онъ нашелъ въ нихъ? Сначала, онъ хотѣлъ было купить этотъ вздоръ, т. е. выдать за него какую нибудь небольшую сумму, и оставить на съѣденіе мышамъ историческое наслѣдство Ходаковскаго; но сообразивъ, что вдова будетъ имѣть поводъ воображать, что онъ воспользовался стѣсненнымъ ея положеніемъ и купилъ за безцѣнокъ цѣлый сундукъ золота,—оставилъ это намѣреніе и пріискивалъ охотника купить рукописи Ходаковскаго, хоть бы для рѣдкости, или съ желаніемъ оказать помощь бѣдной женщинѣ; но такого охотника не выискивалось, а напечатать изъ рукописей было рѣшительно нечего, да это и не представляло надежды къ какой нибудь выручкѣ. Между тѣмъ вдова Ходаковскаго писала къ моему брату, напоминая о его обѣщаніи, и наконецъ пріѣхала въ Москву. Тутъ онъ откровенно объяснилъ ей все дѣло, т. е., что въ рукописяхъ покойнаго не нашлось ничего, достойнаго напечатанія, а продать ихъ кому нибудь довольно трудно. Вдова ушла, ра-

зумѣется, недовольная такимъ разочарованіемъ. Не знаю даже, была ли она грамотная, но ужъ вѣрно то, что ничего не понимала въ рукописяхъ своего мужа и вѣрила на слово ему, что онъ оставилъ ей въ этихъ рукописяхъ драгоцѣнность. Съ такими понятіями, вѣроятно, она разжаловалась кому нибудь изъ своихъ знакомыхъ, что Полевой обижаетъ ее, и когда это дошло до друзей Николая Алексѣевича, желавшихъ всячески вредить ему, они придумали выставить его чуть не уголовнымъ преступникомъ. Ударъ казался неотклонимымъ, и привелъ въ изумленіе самого Николая Алексѣевича.

Въ одно прекрасное утро, онъ получилъ приглашеніе явиться къ военному генералъ-губернатору, князю Д. В. Голицыну. Князь зналъ его лично и съ улыбкою сказалъ, что до него дошла престранная жалоба на Н. А. Полеваго. Вдова Ходаковская представила губернскому предводителю дворянства просьбу, гдѣ умоляла его, какъ законнаго защитника всѣхъ дворянскихъ лицъ, принять мѣры къ огражденію ея собственности, которую присвоиваетъ себѣ издатель журнала Полевой. Тутъ великолѣпно описывались труды и заслуги, оказанныя русской исторіи Зоріаномъ Ходаковскимъ, который будто бы посвятилъ свою жизнь изысканіямъ древностей русскихъ, собралъ драгоцѣнные матеріалы для русской исторіи, и когда смерть не допустила его окончить свои труды, тогда Полевой выпросилъ у нея, вдовы Ходаковской, всѣ рукописи и книги покойнаго ея мужа, обѣщая издать ихъ въ свѣтъ, а теперь утверждаетъ, что не нашелъ въ нихъ ничего достопамятнаго, и предлагаетъ взять ихъ обратно, конечно, потому, что онъ уже выбралъ и присвоилъ себѣ все лучшее и драгоцѣнное изъ ввѣренныхъ ему бумагъ Ходаковскаго. Затѣмъ шли воззванія къ правосудію, возгласы противъ вѣроломства Полеваго и излагалось горестное положеніе ограбленной имъ вдовы.

Когда Николай Алексѣевичъ прочиталъ эту бумагу, от-

данную ему княземъ, онъ не могъ скрыть своего негодованія, и тутъ же сказалъ ему, что это гнусная клевета. Изложивъ въ короткихъ словахъ все дѣло, онъ просилъ позволить ему написать отвѣтъ откровенно. «Я прошу васъ о томъ,—сказалъ князь,—и увѣренъ, что человѣкъ вашихъ достоинствъ не способенъ ни на что иное; но не принять жалобы нельзя было, такъ же какъ теперь вамъ необходимо опровергнуть ее».

Я жалѣю, что у меня не сохранилась копія съ написаннаго братомъ моимъ отвѣта на жалобу Ходаковской. Это была не приказная бумага, а превосходная защитительная рѣчь, написанная горячо, увлекательно, гдѣ онъ не только опровергъ клевету, но и показалъ всю нелѣпость взведеннаго на него обвиненія. Въ короткихъ словахъ далъ онъ понятіе о значеніи Ходаковскаго въ ученомъ мірѣ, упомянулъ о знакомствѣ своемъ съ нимъ, о жалкомъ его положеніи въ послѣдніе годы и о денежномъ пособіи, какое онъ ему оказывалъ; потомъ, обращаясь къ ученому наслѣдству Ходаковскаго, онъ исчислилъ все найденное въ присланномъ сундукѣ, и въ подтвержденіе, что тамъ не было ничего болѣе, а между найденнымъ ничего дѣльнаго,—свидѣтельствовался соотечественниками покойнаго, знаменитымъ поэтомъ Мицкевичемъ и друзьями его, гг. Малевскимъ и Дашкевичемъ, изъ которыхъ двое первые числились при канцеляріи самого г. военнаго генералъ-губернатора. Они вмѣстѣ съ Полевымъ разбирали и разсматривали бумаги и книги Ходаковскаго, и могли засвидѣтельствовать, было ли тамъ что нибудь болѣе, нежели показываетъ онъ? Всѣ они—люди ученые по званію и призванію—конечно, замѣтили бы, если бы между найденнымъ было что нибудь достойное вниманія. Въ доказательство же, что онъ не могъ утаить чего нибудь изъ сундука, присланнаго къ нему, просилъ освидѣтельствовать этотъ сундукъ и увѣриться, что въ немъ не могло помѣститься болѣе того, что находится; а что не могло быть чего либо другаго, это доказываютъ сами руко-

писи, всѣ писанныя рукою Ходаковскаго, и книги, усѣянныя его замѣтками. Не могъ же Полевой поддѣлать этого! Въ заключеніе онъ не требовалъ никакого возмездія за клевету Ходаковской, зная, что она женщина простая, вовлеченная въ этотъ поступокъ злыми совѣтами людей, которые хотѣли повредить ему.

Дѣйствительно, Николай Алексѣевичъ зналъ и могъ бы даже назвать людей, которые уговорили невѣжественную женщину подать низкій извѣтъ, и забыть всѣ одолженія, которыя оказывалъ Полевой мужу ея и самой ей. Имъ не трудно было убѣдить эту женщину, что мужъ ея, великій ученый и изыскатель древностей, оставилъ сокровище учености, а Полевой хочетъ завладѣть ими. Самая просьба показывала, что сочинялъ ее человѣкъ, знающій историческую литературу и разныя подробности, о которыхъ не могла имѣть понятія вдова Ходаковская. Она только уцѣпилась за этотъ случай, какъ за средство получить деньги. Къ счастью, тогдашній начальникъ Москвы былъ столько же просвѣщенный, сколько безпристрастный судья въ подобномъ дѣлѣ, и когда онъ прочиталъ отвѣтъ Н. А. Полеваго, то поручилъ губернскому предводителю дворянства объявить Ходаковской, чтобы впередъ она не слушала людей пристрастныхъ и была осторожнѣе въ своихъ жалобахъ. Узнавъ рѣшеніе князя Голицына, Н. А. Полевой просилъ губернскаго предводителя дворянства принять отъ него сундукъ съ бумагами и книгами Ходаковской, чтобы самому не имѣть съ нею болѣе никакихъ сношеній. Предводитель (кажется, тогда былъ имъ графъ А. И. Гудовичъ) благосклонно исполнилъ его просьбу, и дѣло тѣмъ кончилось въ судебномъ смыслѣ.

Но враги Н. А. Полеваго не умолкли: они не переставали разглашать и даже печатно намекать и утверждать, что онъ тайкомъ присвоилъ себѣ драгоцѣнныя рукописи Ходаковскаго, и выдаетъ его изысканія по русской исторіи за свои собственныя. Нелѣпое это обвиненіе повторялось

много лѣтъ сряду: московскій Воейковъ, Надеждинъ, не посовѣстился употребить это обвиненіе орудіемъ противъ Николая Алексѣевича; позднѣе его повторилъ М. А. Максимовичъ, который за многолѣтнее доброжелательство и гостепріимство заплатилъ моему брату враждою и желаніемъ повредить. Въ своемъ мѣстѣ я объясню это подробнѣе.

Въ настоящее время, конечно, никто и не подумаетъ обвинять Н. А. Полеваго въ присвоеніи имъ рукописей и небывалыхъ историческихъ открытій Ходаковскаго. Могъ ли у такого человѣка что нибудь заимствовать Н. А. Полевой, который и по складу ума былъ совершенною противоположностью ему? Умъ Ходаковскаго былъ мелочной, а Николай Алексѣевичъ жилъ идеями и вовсе не умѣлъ заниматься мелочными подробностями ни въ наукѣ, ни въ жизни, ни даже въ слогѣ своемъ. Онъ съ жадностью хватался за идеи, которыя находилъ у великихъ современныхъ писателей; но что могъ онъ заимствовать у Ходаковскаго, который нянчился съ одною мыслью о городкахъ и злобно отыскивалъ мелочныя обмолвки у Карамзина?

Впрочемъ, если мало всѣхъ этихъ доказательствъ, что враги только хотѣли оскорбить и очернить моего брата, обвиняя въ похищеніи сокровищъ, собранныхъ Ходаковскимъ, то само время оправдало его отъ такого обвиненія. Ни въ одномъ изъ сочиненій автора «Исторіи Русскаго народа», такъ же какъ и въ самой этой «Исторіи», враги не могли указать того, въ чемъ безсмысленно обвиняли его.

Вспоминая о непріятностяхъ, какія старались дѣлать моему брату литературные друзья, я разскажу еще объ одной продѣлкѣ, которою досаждалъ ему нѣсколько времени М. П. Погодинъ, одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ его недоброжелателей, и если эта продѣлка не удалась, то не потому, что не хотѣлъ довершить ее г. Погодинъ.

Въ концѣ 1827 года, братъ мой получилъ, отъ одного изъ своихъ петербургскихъ корреспондентовъ, чрезвычайно любопытную въ то время книгу: «Жизнь Наполеона»,

сочиненную Вальтеръ-Скоттомъ. Она вышла въ свѣтъ лишь за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ и имѣла громадный успѣхъ въ Европѣ, но въ Россіи оставалась подъ строгимъ запрещеніемъ. Мы читали до тѣхъ поръ разборы ея и кое-какіе отрывки изъ нея въ иностранныхъ журналахъ, даже переводили ихъ и печатали въ «Московскомъ Телеграфѣ», и съ понятнымъ любопытствомъ принялись читать ее вполнѣ. Къ удивленію, мы не нашли въ ней ничего, что стоило бы запрещенія: знаменитый романистъ порицалъ и унижалъ все то, что и въ нашихъ книгахъ порицали, и хотя во многомъ ошибался, но хвалилъ Россію и русскихъ, гдѣ приходилось ему говорить о нихъ. За исключеніемъ немногихъ страницъ, книга его могла быть напечатана у насъ при самой строгой цензурѣ. Эта мысль поощрила насъ заняться переводомъ «Жизни Наполеона», для того, чтобы напечатать ее. Но какъ быть съ московской цензурой, гдѣ предсѣдательствовалъ тогда Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ, не разъ задѣтый издателемъ «Московскаго Телеграфа» за плохія его сочиненія, другъ театральной партіи Писарева, и вслѣдствіе всего этого непримиримый врагъ моего брата? Нѣсколько времени онъ былъ цензоромъ «Московскаго Телеграфа» и чинилъ намъ всякія притѣсненія: черкалъ самопроизвольно невинныя статьи, возвращалъ иныя, требуя, чтобы ихъ переписали хорошо; даже пользовался тѣмъ параграфомъ цензурнаго устава, гдѣ сказано, что цензоръ долженъ наблюдать за исправностью слога, и браковалъ нѣкоторыя статьи, будто бы худо написанныя! Это еще больше раздражило отношенія между нимъ и моимъ братомъ, такъ что, наконецъ, пришлось просить о перемѣнѣ цензора для «Телеграфа». Разумѣется, если бы такому благопріятелю предоставили рѣшать судьбу перевода запрещенной книги, онъ не сталъ бы и разсуждать, когда увидѣлъ бы, что переводъ принадлежитъ Н. А. Полевому— онъ просто донесъ бы въ Петербургъ, какъ и сдѣлалъ впослѣдствіи. При такихъ отношеніяхъ съ московскою цен-

зурою, мы рѣшились представить первый томъ своего перевода въ с.-петербургскій цензурный комитетъ, не безъ основанія надѣясь, что тамъ будутъ судить безпристрастно вопросъ: можно ли допустить къ напечатанію книгу, хотя запрещенную за нѣкоторыя страницы, но за исключеніемъ ихъ не представляющую въ переводѣ ничего подлежащаго запрещенію? Мы съ братомъ рѣшили также, что для личнаго поясненія какихъ нибудь недоумѣній я поѣду въ Петербургъ, буду тамъ хлопотать, просить,—если бы понадобилось,—самого министра просвѣщенія; а между тѣмъ, переводомъ книги остановились до тѣхъ поръ, когда разрѣшатъ къ напечатанію первый томъ ея. Этотъ томъ перевели мы съ братомъ сами, но для ускоренія перевода слѣдующихъ томовъ имѣли въ виду нѣкоторыхъ молодыхъ своихъ знакомыхъ, людей способныхъ и свѣдущихъ.

Вслѣдствіе такого рѣшенія я отправился въ Петербургъ (въ мартѣ 1828 года), явился тамъ въ цензурный комитетъ и представилъ свою рукопись, отлично переписанную. Секретаремъ комитета былъ тогда г. Комовскій, который изумился, взглянувъ на заглавіе моей рукописи и, какъ бы страшась даже высказать свое мнѣніе русскими звуками о таковомъ ужасномъ предметѣ, сказалъ мнѣ пофранцузски и въ полголоса: «Mais M-r, ne savez vous pas que cet ouvrage est rigoureusement défendu?» (Развѣ вы не знаете, что это сочиненіе строго запрещено?)—я отвѣчалъ, что, какъ частное лицо, не могу знать, какое иностранное сочиненіе запрещено, и уже дѣло цензурнаго комитета рѣшить, можно ли дозволить къ напечатанію представляемую мною рукопись. Къ столу секретаря подошли человѣка два цензоровъ и, услышавъ, о чемъ у насъ шла рѣчь, улыбнулись и сомнительно покачали головою; но въ то же время сказали, что объ этомъ дѣлѣ надобно посудить въ общемъ присутствіи. Такимъ образомъ рукопись мою приняли, и я на другой же день узналъ, что рѣшили доложить о ней министру и испросить его разрѣшенія въ такомъ стран-

номъ казусѣ. Черезъ нѣсколько дней мнѣ объявили, что министръ приказалъ разсмотрѣть рукопись обыкновеннымъ порядкомъ, и если въ ней не найдется ничего противнаго цензурному уставу, то и дозволить напечатать. Для разсмотрѣнія рукопись моя была передана цензору Василію Григорьевичу Анастасевичу.

Въ слѣдующій день, утромъ, я пришелъ къ Анастасевичу, который жилъ тогда въ домѣ Котомина (у Полицейского моста), въ одномъ изъ верхнихъ этажей. Звоню. Черезъ минуту отворяетъ дверь миловидный, улыбающійся пожилой человѣкъ въ длинномъ сюртукѣ: это былъ самъ Анастасевичъ. Не боясь наскучить читателямъ, я долженъ передать нѣсколько подробностей объ этомъ замѣчательномъ лицѣ. Анастасевичъ былъ, кажется, польскаго происхожденія, но въ немъ ничто не напоминало поляка. Онъ памятенъ въ нашей литературѣ нѣсколькими полезными трудами: упомяну о единственномъ до сихъ поръ хорошемъ каталогѣ русскихъ книгъ, составленномъ имъ для библіотеки Плавильщикова (впослѣдствіи Смирдина), и о переводѣ съ польскаго книги графа Стройновскаго: О условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами, и другихъ подобныхъ. Кромѣ того, Анастасевичъ издавалъ когда-то журналъ, писалъ множество всякой всячины, и былъ заклятый славянофилъ, или, лучше сказать, шишковіанецъ, то есть приверженецъ мнѣній Шишкова, неизмѣнный членъ Бесѣды любителей русскаго слова, за что Батюшковъ и помѣстилъ его въ свою остроумную сатиру на эту бесѣду и характеризовалъ, вмѣстѣ съ другимъ несчастнымъ писателемъ, въ стихахъ:

«Хвала нашъ пасмурный Гервей,
Обруганный Станевичъ,
И съ польской музою твоей
Холуй Анастасевичъ!» [1]).

[1]) Слово холуй употреблено здѣсь не въ смыслѣ холопа или лакея, а единственно потому, что Анастасевичъ писалъ что-то и много о словѣ холуй въ этимологическомъ отношеніи.

Услышавъ мое имя, Анастасевичъ дружески привѣтствовалъ меня и ввелъ въ свою ученую храмину. Я не знаю, какъ назвать иначе его квартиру, которая состояла изъ двухъ, можетъ быть, изъ трехъ большихъ комнатъ, уставленныхъ и загроможденныхъ шкафами, полками, столами съ книгами и бумагами, а еще больше картонами разныхъ размѣровъ, гдѣ хранились тысячи лоскутковъ бумаги, исписанныхъ замѣтками и выписками библіографическими, историческими и всякими, которыя онъ собирался употребить въ дѣло. Надъ всѣмъ этимъ господствовала пыль, скоплявшаяся всюду, безъ всякаго преслѣдованія, потому что Анастасевичъ жилъ одинъ одинехонекъ, и не держалъ никакой прислуги, боясь, что прислуга разстроитъ у него картонки и лоскутки его. Говорили, будто этому была и другая причина: скупость, доходившая до крайнихъ предѣловъ. Какъ бы ни было, но Анастасевичъ жилъ одинъ, безъ прислуги: по утру, дворникъ приносилъ ему горячей воды для чаю, чистилъ платье и сапоги, и оставлялъ своего жильца посреди его картоновъ до слѣдующаго утра. Анастасевичъ запиралъ за нимъ дверь, и оставался, блаженствуя посреди своей пыли, до того времени, когда желудокъ напоминалъ ему объ обѣдѣ. Тогда онъ одѣвался и шелъ обѣдать къ кому нибудь изъ знакомыхъ, гдѣ и оставался весь остальной день, а домой возвращался спать. Знакомыхъ, гдѣ могъ онъ проводить цѣлый день, было у него много, такъ что поочереди достало бы на мѣсяцъ; но чаще, чѣмъ у другихъ, бывалъ онъ у друзей славянофиловъ. Хотя Шишковъ былъ въ описываемое мною время министромъ просвѣщенія, но Анастасевичъ посѣщалъ его какъ и всегда. Много разсказываютъ анекдотовъ объ Анастасевичѣ и его скупости; напримѣръ, когда онъ, сдѣлавшись боленъ, не хотѣлъ призвать лѣкаря, а когда знакомый привелъ ему лѣкаря, готоваго лѣчить его безплатно, онъ объявилъ, что ему не на что покупать лѣкарствъ, которыя и отпускали ему изъ аптеки безплатно, по бѣдности! Говорятъ также,

что послѣ смерти нашли у него значительныя суммы денегъ, тогда какъ онъ при жизни отказывалъ себѣ въ малѣйшемъ удобствѣ. Я не ручаюсь за всѣ эти разсказы, но самъ видѣлъ его оригиналомъ, въ родѣ В. Скоттова антикварія, и готовъ вѣрить еще одному анекдоту, который очень возможенъ для такого человѣка и случился уже послѣ того, какъ я видѣлъ Анастасевича. По обыкновенію, онъ отправился обѣдать къ знакомымъ, и въ отсутствіе его оказался пожаръ вблизи его комнатъ въ домѣ Котомина. Пожарные, нашедши комнаты его запертыми, вышибли въ нихъ рамы и, увидѣвши множество картоновъ и ящиковъ, вачали выкидывать ихъ на улицу, разумѣется, думая тѣмъ спасти имущество, къ которому приближался огонь; но картоны раскрывались на полетѣ отъ верхняго этажа до земли и покрывали улицу лоскутками бумаги. Между тѣмъ Анастасевичъ услышалъ о пожарѣ, поспѣшилъ домой, и можно представить себѣ его отчаяніе, когда онъ увидѣлъ свои картоны и лоскутки, разбросанные по улицѣ! Какъ въ насмѣшку, пожаръ не дошелъ до его комнатъ, былъ скоро потушенъ, и пожарные напрасно опустошили его комнаты. Онъ подобралъ, что было можно, изъ своихъ сокровищъ; но потеря была такъ велика, что онъ заболѣлъ, и уже не выздоровѣлъ до конца жизни: зачахъ отъ грусти!

Я видѣлъ въ Анастасевичѣ человѣка кроткаго, привѣтливаго, и даже занимательнаго своею оригинальностью. Онъ и говорилъ, и разсуждалъ, и даже нюхалъ табакъ какъ-то посвоему. Когда дошла рѣчь до моей рукописи, онъ сказалъ, что хотя Александръ Семенычъ (такъ всегда называлъ онъ Шишкова) и разрѣшилъ цензурному комитету разсмотрѣть эту рукопись, но отвѣтственность будетъ, всетаки, на цензорѣ. «Вѣдь если бы мы дѣйствовали коллегіально—иное дѣло!—прибавилъ онъ:—а то, вотъ, комитетъ рѣшилъ, а цензоръ отвѣчай!». Такія оригинальныя оговорки не мѣшали мнѣ видѣть, что главное въ моемъ дѣлѣ уже кончено: цензоръ не могъ найдти въ представ-

ленной мною рукописи ничего противнаго даже строгому уставу, бывшему тогда въ дѣйствіи; а разсмотрѣть ее позволилъ министръ, кто же осмѣлился бы найдти препятствіе въ томъ, что рукопись эта была переводъ запрещенной книги? Если бы кто спросилъ: по какому побужденію поступилъ такъ либерально въ этомъ случаѣ А. С. Шишковъ, то я могу отвѣчать одно: Шишковъ былъ человѣкъ благородный и безпристрастный (это показалъ онъ во множествѣ случаевъ); онъ самъ былъ литераторъ и глядѣлъ на литературу не съ одной форменной или бюрократической точки зрѣнія. Онъ ошибался только тамъ, гдѣ не хватало его ума или силъ, и былъ нелѣпъ и смѣшонъ лишь въ страстныхъ своихъ убѣжденіяхъ. Онъ былъ полезенъ и какъ литераторъ, потому что всегда дѣйствовалъ добросовѣстно, по искреннему убѣжденію, и какъ министръ народнаго просвѣщенія, потому что не измѣнялъ своимъ правиламъ, занимая этотъ высокій и трудный постъ. Пользуюсь случаемъ отдать справедливость человѣку, подвергавшемуся при жизни всевозможнымъ нападкамъ.

Анастасевичъ разсматривалъ мою рукопись чрезвычайно тихо, или, лучше сказать, лѣниво, вѣроятно, отдавая слишкомъ много времени своимъ лоскуткамъ и послѣобѣденнымъ бесѣдамъ. Между тѣмъ я познакомился съ нимъ довольно близко, особенно проводя вмѣстѣ много часовъ у барона Розенкампфа, автора ученаго изслѣдованія о Кормчей Книгѣ, бывшаго прежде статсъ-секретаремъ, если не ошибаюсь, и главнымъ дѣйствователемъ въ комиссіи составленія законовъ. Въ 1828 году, онъ былъ уже болѣзненный старикъ, бѣлый какъ лунь и страдавшій подагрой такъ, что не могъ ходить; но лицо его было съ свѣжимъ румянцемъ, и онъ отличался юношескою живостью въ рѣчахъ и движеніяхъ. Въ назначенный день, разъ въ недѣлю, у него непремѣнно обѣдывалъ Анастасевичъ, бывалъ и я, всегда съ удовольствіемъ проводя часы въ бесѣдѣ съ умнымъ старцемъ, который представлялъ совершенную противоположность съ

Анастасевичемъ. Розенкампфъ былъ столько же пылокъ, сколько Анастасевичъ невозмутимо-спокоенъ, и когда они заспаривали о чемъ нибудь, выходила сцена истинно комическая. Розенкампфъ возвышалъ голосъ, лицо его пылало, нѣмецкое произношеніе путало русскія слова въ его устахъ, и онъ махалъ руками, покушался вскочить съ креселъ; но боль въ ногахъ мѣшала, и онъ только подымалъ и опускалъ ихъ на подушку. Анастасевичъ въ такія минуты умолкалъ, но едва лишь успокоивался Розенкампфъ, онъ хладнокровно повторялъ свое мнѣніе, и буря снова начиналась. Однажды, говоря о купцѣ Лаптевѣ, который славился какъ знатокъ старинныхъ русскихъ книгъ и рукописей, Розенкампфъ назвалъ его археологомъ. Анастасевичъ возразилъ, что Лаптевъ не археологъ; Розенкампфъ вспыхнулъ, и началъ доказывать, что Лаптевъ археологъ, и когда горячность дошла до извѣстной степени, Анастасевичъ умолкъ; но едва лишь старецъ успокоился и уложилъ на подушку свои ноги, возражатель, преспокойно понюхивая табакъ, произнесъ: «А Лаптевъ, всетаки, не археологъ!» Розенкампфъ чуть не вспрыгнулъ; вся гимнастика его возобновилась, и полунѣмецкія фразы полились рѣкою. И это повторялось нѣсколько разъ, такъ что я едва задушалъ въ себѣ смѣхъ при такой сценѣ.

Наконецъ, Анастасевичъ объявилъ мнѣ, что онъ прочелъ мою рукопись и не нашелъ въ ней ничего подлежащаго запрещенію, такъ что готовъ подписать одобреніе, исключивши нѣсколько фразъ. Я просилъ его о томъ, и поспѣшилъ увѣдомить брата о полномъ успѣхѣ нашего предпріятія. Но оригинальный цензоръ мой протянулъ еще недѣли двѣ, и при настоятельныхъ моихъ просьбахъ подписалъ рукопись уже въ началѣ іюня мѣсяца. Наконецъ, я получилъ ее изъ цензурнаго комитета, со всѣми формальностями, и на другой же день отправился въ Москву. Тамъ узналъ я, что между тѣмъ разыгрывалась цѣлая исторія у моего брата, по поводу этой несчастной рукописи. М. П. По-

годинъ, какими-то невѣдомыми путями, узналъ, что министръ дозволилъ разсмотрѣть и одобрить къ печатанію переводъ Жизни Наполеона, представленный нами въ с.-петербургскій цензурный комитетъ. Сообразивъ, что книга, чрезвычайно любопытная для современной публики, вѣроятно, дастъ большія выгоды, когда ее издадутъ въ русскомъ переводѣ, онъ вздумалъ быть участникомъ въ этихъ выгодахъ, и лично или письменно (не знаю, потому что не былъ въ Москвѣ) объявилъ моему брату, что также переводитъ Жизнь Наполеона, сочиненную Вальтеръ-Скоттомъ, и, чтобы не помѣшать другъ другу двойнымъ изданіемъ одной и той же книги, желаетъ войдти въ сдѣлку съ моимъ братомъ, то есть издавать книгу вмѣстѣ, или какимъ нибудь образомъ подѣлить барыши. Николай Алексѣевичъ тотчасъ увидѣлъ, къ чему клонится такое вмѣшательство въ его предпріятіе, и далъ какой-то уклончивый отвѣтъ. Тогда г. Погодинъ началъ осаждать его и переговорами, и письмами, и увѣщаніями, и страхомъ соперничества. Ревностнымъ помощникомъ г. Погодина при этомъ былъ г. Шевыревъ. Долго тянулись жаркіе переговоры, памятникомъ которыхъ остаются у меня нѣсколько записокъ г. Погодина, писанныхъ, по обыкновенію его, на засаленныхъ клочкахъ бумаги, непрочтимымъ (indéchiffrable) почеркомъ, и наполненныхъ грубыми выраженіями. Наконецъ, брату моему надоѣли наглыя притязанія, которыя вели только къ досадѣ и убытку: онъ объявилъ, что предоставляетъ г. Погодину издавать переводъ его какъ онъ хочетъ, а свой будетъ издавать отдѣльно.

Я не знаю, былъ ли у г. Погодина какой нибудь переводъ сочиненія Вальтеръ-Скотта, когда ему вздумалось присоединиться къ чужому труду, но впослѣдствіи онъ доказалъ, что умѣетъ переводить цѣлыя книги въ одну ночь [1]); очень могло быть, что онъ и тутъ переводилъ бы

[1]) С. С. Уваровъ, бывши министромъ народнаго просвѣщенія, посѣтилъ Московскій университетъ, и въ аудиторіи г. Погодина, который

по одному тому въ сутки и издалъ бы переводъ, а это непремѣнно повредило бы задуманному нами предпріятію, но судьбамъ угодно было окончить всѣ наши хлопоты иначе.

Не боясь соперничества г. Погодина и даже не вѣря, чтобы онъ въ самомъ дѣлѣ рѣшился издавать другой переводъ Жизни Наполеона, когда ему не удалось безъ труда сорвать что нибудь съ чужаго предпріятія,—мы спѣшили начать печатаніе процензурованнаго тома и продолжать переводъ слѣдующихъ томовъ, которые и были отданы для этого двумъ или тремъ способнымъ къ тому нашимъ знакомымъ. Такимъ образомъ на изданіе нашего перевода потрачено было уже довольно труда и денегъ. Печатаніе перваго тома приближалось къ окончанію, когда былъ готовъ переводъ двухъ слѣдующихъ томовъ. Тутъ, кажется, слишкомъ понадѣялись мы на безпристрастіе С. Т. Аксакова, занимавшаго должность предсѣдателя московскаго цензурнаго комитета, рѣшившись представить въ этотъ комитетъ второй и третій томы перевода Жизни Наполеона, вмѣстѣ съ процензурованнымъ въ Петербургѣ и уже отпечатаннымъ первымъ томомъ, въ доказательство, что нѣтъ препятствія цензуровать эту книгу. Мы рѣшились на это для удобства, и думая ускорить цензурованіе. Но когда Аксаковъ увидѣлъ, что въ цензурный комитетъ представленъ переводъ запрещенной книги, и кѣмъ же? По-

---

занималъ тогда каѳедру русской исторіи, похвалилъ мимоходомъ книжку Демишеля: Исторія среднихъ вѣковъ, 2 части. Угодливый и догадливый профессоръ, тотчасъ по выходѣ министра, воззвалъ къ ревностному усердію своихъ слушателей и предложилъ имъ перевести книгу Демишеля, разорвавъ ее по страничкамъ и раздѣливъ между собою трудъ, такъ, чтобы онъ былъ конченъ къ слѣдующему утру. Это и было сдѣлано. На другой день онъ поднесъ министру обыденный переводъ книжки Демишеля, въ доказательство, какъ дорожатъ мудрыми указаніями его и онъ (профессоръ!), и студенты. Всего лучше, что Уваровъ не пожурилъ его за такой фокусъ-покусъ, а остался очень доволенъ! Послѣ г. Погодинъ напечаталъ этотъ самый переводъ книжки Демишеля и продавалъ его уже отъ себя, не знаю для какой или чьей пользы.

левымъ! онъ выразилъ благочестивое негодованіе противъ беззаконнаго писателя, велѣлъ задержать представленную имъ рукопись и объявить ему, что дерзкій поступокъ его будетъ доведенъ до свѣдѣнія высшаго начальства. Напрасно братъ мой представлялъ, что если первый томъ дозволенъ къ напечатанію петербургскою цензурою, и съ разрѣшенія самого министра, то московской цензурѣ не надъ чѣмъ задумываться, и она не имѣетъ права отказать ему въ разсмотрѣніи продолженія того же, дозволеннаго къ напечатанію сочиненія. Аксаковъ отвѣчалъ, что дѣйствія с.-петербургскаго цензурнаго комитета ему не указъ, а о разрѣшеніи министра онъ не знаетъ ничего оффиціально, и предоставитъ высшему начальству судить о поступкѣ г. Полеваго. Онъ такъ и сдѣлалъ, то есть, вѣроятно, написалъ въ своемъ донесеніи о поступкѣ Полеваго, какъ о неслыханномъ преступленіи противъ законовъ. Его ободрило къ такому дѣйствію особенно то обстоятельство, что Шишковъ уже не былъ министромъ народнаго просвѣщенія, и мѣсто его занялъ князь Ливенъ, человѣкъ новый, чуждый литературы и смотрѣвшій на литераторовъ вообще, какъ на людей безпокойныхъ и опасныхъ. По донесенію Аксакова, онъ не сталъ справляться, виноватъ ли Полевой, а велѣлъ отобрать у него рукопись перевода Жизни Наполеона, конфисковать отпечатанные листы перваго тома, отобрать оригиналъ, съ котораго переводили мы Вальтеръ-Скотта и строго спросить и изслѣдовать: откуда и черезъ кого получилъ переводчикъ запрещенную книгу? Не знаю, по какому внушенію новый министръ показалъ въ этомъ дѣлѣ столь неумѣстную строгость, не справившись, или не обративъ вниманія, что переводъ былъ дозволенъ къ напечатанію съ разрѣшенія его предшественника-министра, что въ этомъ переводѣ не было ничего преступнаго, что запрещенныя книги множество разъ бывали разрѣшаемы къ обращенію въ публикѣ; но кто же могъ, или посмѣлъ бы противорѣчить сердитому министру?

Приказанія его исполнили буквально и, такимъ образомъ, предпріятіе наше рушилось, съ немалымъ убыткомъ для насъ. Конечно, мы могли бы, основываясь на цензурномъ же уставѣ, требовать вознагражденія убытковъ отъ напечатанія I тома, дозволеннаго къ тому цензурою и потомъ запрещеннаго высшимъ начальствомъ; но такое взысканіе пало бы на невиноватаго цензора, добраго пріятеля нашего, Анастасевича, который честно и добросовѣстно исполнилъ свою обязанность. Такого вознагражденія нельзя было допустить, и мы принуждены были только вздохнуть о трудѣ, совершенно потерянномъ, о неудовольствіяхъ и убыткахъ, намъ причиненныхъ нашимъ предпріятіемъ. Предоставляю читателямъ судить о поступкахъ при этомъ гг. Погодина, Аксакова и князя Ливена. Въ доказательство самопроизвольности, съ какою поступилъ послѣдній, я скажу только одно: черезъ три или четыре года потомъ, «Жизнь Наполеона», сочиненная Вальтеръ-Скоттомъ, была напечатана въ русскомъ переводѣ де-Шаплета, и даже не одинъ разъ. На какомъ же основаніи ту же самую книгу не позволили печатать намъ? Развѣ она измѣнилась, или выдыхлась въ три года? Ясно, что тутъ дѣйствовалъ одинъ произволъ, вызванный нашими литературными непріятелями.

Впрочемъ, надобно сказать, что мы смотрѣли тогда на С. Т. Аксакова не какъ на литератора, и на немъ вполнѣ осуществились стихи Грибоѣдова:

На свѣтѣ дивныя бываютъ превращенья
Одеждъ и климатовъ, и нравовъ, и умовъ!
Есть люди важные,—слыли за дураковъ,
Иной по должности, иной плохимъ поэтомъ,
Иной... боюсь назвать, но признано всѣмъ свѣтомъ,
Особенно въ послѣдніе года,
Что стали умны хоть куда!

Мало сказать, что Аксакова почитали плохимъ стихотворцемъ, онъ былъ въ ту пору смѣшонъ своими претензіями на литературу, не написавши ничего, даже сноснаго. Въ обществѣ Шишкова, какъ онъ самъ разсказываетъ въ «За-

пискахъ о своей жизни», онъ былъ даже не славянофиломъ, а только угодникомъ. Я не зналъ его лично (видѣлъ раза два мимоходомъ), но много слышалъ о его похожденіяхъ въ свѣтѣ, и это не могло внушить желанія сблизиться съ нимъ. Больше всего онъ терся въ кругу разрумяненнаго Кокошкина (особенно съ тѣхъ поръ, какъ этотъ сдѣлался директоромъ московскаго театра), и жилъ въ большой дружбѣ съ актерами и актрисами; но, не смотря на безграничное сближеніе съ этимъ міромъ, ему плохо удавались попытки сдѣлаться театральнымъ авторомъ, и сочиненія, даже переводы его не находили себѣ пріюта на сценѣ, оттого, что были плохи изъ рукъ вонъ! Пріятель мой, В. А. Ушаковъ, бывшій потомъ сотрудникомъ «Телеграфа» по части театра, не могъ говорить о сочиненіяхъ Аксакова безъ смѣха, и жестоко преслѣдовалъ его за переводъ «Школы мужей» и «Скупаго», Мольера. Но онъ умѣлъ ловко обдѣлывать дѣла міра сего. Онъ первый умѣлъ получить мѣсто цензора въ московскомъ цензурномъ комитетѣ при его преобразованіи, хотя не было ничего лестнаго быть цензоромъ при тогдашнемъ (1827 года) цензурномъ уставѣ, чрезвычайно строгомъ и противорѣчивомъ; даже умѣлъ упрочить себѣ это мѣсто и заслужить такую довѣренность начальства, что во все время дѣйствія устава 1827 года занималъ должность предсѣдателя московскаго цензурнаго комитета. Я упоминалъ, какъ онъ пользовался своею властью по цензурѣ въ отношеніи къ Н. А. Полевому. Друзьямъ своимъ, напротивъ, онъ дозволялъ печатать почти все, что они хотѣли. Это положеніе сдѣлалось бы, наконецъ, нестерпимо для издателя «Московскаго Телеграфа», если бы вскорѣ обстоятельства не измѣнились къ лучшему.

III.

В. В. Измайловъ и С. Н. Глинка, какъ новые цензоры.—Глинка-французоѣдъ.—Его чудачества и странности.—Его дѣятельность въ 1812 году.—Встрѣча Глинки съ Карамзинымъ.—Поразительное безкорыстіе Глинки.—Смѣлый отпоръ князю С. М. Голицыну.—Какъ Глинка цензуровалъ книги.—Тріумфъ Глинки во время ареста на Сенатской гауптвахтѣ.—Огорченіе Глинки и отъѣздъ въ Петербургъ.—Глинка-слѣпецъ.—Послѣднее свиданіе съ нимъ.—Продолженіе невзгодъ на «Московскій Телеграфъ»: жалоба на журналъ со стороны профессоровъ Московскаго университета.—Благопріятный исходъ этой жалобы.

Какъ разъ въ то время, когда «Московскій Телеграфъ» наиболѣе страдалъ отъ несправедливыхъ притѣсненій Аксакова, въ помощь къ нему (или уже послѣ него, не помню) выступили два достопамятные человѣка: Владиміръ Васильевичъ Измайловъ и Сергѣй Николаевичъ Глинка. Не могу написать этихъ именъ безъ характеристики, какой они заслуживаютъ.

В. В. Измайловъ былъ издавна извѣстенъ какъ самый страстный послѣдователь и подражатель Карамзина, удачно усвоившій себѣ его способъ выраженія, но доведшій до крайности сантиментальное одушевленіе, какимъ отличались первыя сочиненія незабвеннаго творца русской прозы. «Путешествіе въ полуденную Россію» Измайлова написано легкимъ слогомъ, напоминающимъ Карамзина, и вмѣстѣ пропитано сантиментальностью, доведенною до смѣшнаго. Таковъ, хотя не въ равной степени, общій характеръ и другихъ сочиненій В. В. Измайлова, который въ жизнь свою много писалъ, переводилъ, издавалъ журналы («Патріотъ», и въ 1814 году «Вѣстникъ Европы»). Въ 1827 году, онъ былъ уже дряхлый старичокъ, съ отвисшей губою, говорилъ пришепетывая, но всегда свысока и напоминая сантиментальностью свои сочиненія. Какъ цензоръ, онъ дѣйство-

валъ честно и благонамѣренно; мы отдохнули, когда онъ сталъ цензуровать «Московскій Телеграфъ» послѣ Аксакова.

Другой цензоръ былъ Сергѣй Николаевичъ Глинка, одно изъ оригинальнѣйшихъ лицъ, встрѣченныхъ мною въ жизни. Память о немъ жива и теперь для всѣхъ, кто зналъ его, и особенно зналъ близко; но для потомства надобно сохранить хоть нѣкоторыя черты его жизни. Онъ принадлежитъ къ даровитой фамиліи Глинокъ, родовыхъ смоленскихъ дворянъ, и самъ отличался необыкновенными качествами ума и еще болѣе — души. Въ малолѣтствѣ, по рѣдкому стеченію случайностей, самою Екатериною Великою онъ былъ записанъ въ 1-й кадетскій корпусъ, и получилъ тамъ воспитаніе и образованіе, въ блестящій періодъ, когда корпусомъ управлялъ принцъ Ангальтъ. Сергѣй Николаевичъ недолго оставался въ военной службѣ и вышелъ въ отставку маіоромъ, желая вести независимую жизнь и заниматься литературой, которую любилъ страстно. Онъ поселился въ Москвѣ и провелъ тамъ жизнь свою до старости. Лѣтъ тридцать, если не болѣе, вся Москва знала Глинку за его оригинальность, и только немногіе могли оцѣнить высокую его душу и блестящія дарованія, потому что все закрывала въ немъ странность его поступковъ, жизни и даже разговоровъ. Наружность его поражала съ перваго взгляда. Высокій, мощный, онъ, вѣроятно, былъ красивый мужчина въ молодости; но до такой степени пренебрегалъ всѣмъ наружнымъ, что это доходило, наконецъ, до цинизма. Можно было ручаться, что онъ никогда не брѣетъ бороды, хотя онъ увѣрялъ, что брѣется каждый день — «въ двѣ минуты и безъ зеркала, мой любезнѣйшій!» — какъ онъ говаривалъ обыкновенно. Правда, бритва оставляла нѣкоторые слѣды на лицѣ его: порѣзы, выбритыя полоски; но клочки и кусты волосъ торчали по всему его подбородку, осѣненному густыми бакенбардами. Видно, метода бриться «въ двѣ минуты и безъ зеркала» не много пособляла опрятности лица. Костюмъ его былъ неизмѣненъ, уже съ незапамятныхъ временъ: ши-

рокій синій фракъ съ стоячимъ двойнымъ воротникомъ и съ обтянутыми сукномъ пуговицами; синія панталоны въ сапоги, какіе остаются нынѣ только у гвардейскихъ гусаръ (то есть сапоги съ высокими выпуклыми голенищами и съ кисточками); бѣлый пикейный жилетъ и черный галстухъ, въ родѣ веревочки, — таковъ былъ неизмѣнный костюмъ Сергѣя Николаевича, съ утра до ночи, въ праздники и въ будни. Въ непогоду и зимою накидывалъ онъ на плечи свои, сверхъ фрака, сѣрую шинель, также съ двойнымъ стоячимъ воротникомъ, нѣчто въ родѣ чуйки, но безъ ватной подкладки и безъ мѣху, даже зимою. Въ сильнѣйшіе морозы надѣвалъ онъ, для переѣзда по улицамъ, нанковый сюртукъ сверхъ фрака, и уже на это накидывалъ свою шинель; но шубы не зналъ и не употреблялъ никогда. Едва ли бывалъ день въ году, въ который бы Сергѣй Николаевичъ оставался дома: онъ, кажется, съ утра до вечера былъ въ разъѣздахъ, и всегда находилъ спѣшныя дѣла, отчего вѣчно торопился, и любилъ засиживаться только на обѣдахъ и вечерахъ у пріятныхъ ему людей. Ѣзда его по улицамъ Москвы бывала своеобразна, какъ все, что дѣлалъ онъ. Обыкновенно, возницей себѣ избиралъ онъ сквернѣйшаго ваньку, и тотъ могъ тащить его какъ хотѣлъ, потому что Глинка вѣчно мечталъ и даже декламировалъ, самъ не подозрѣвая того. Весною, когда по улицамъ московскимъ трудно ѣздить, онъ иногда бралъ двухъ извозчиковъ: одного съ санями, другаго съ дрожками-калибероМъ; ѣздилъ въ саняхъ, гдѣ оставалась санная ѣзда, и пересаживался на дрожки, гдѣ нельзя было ѣхать иначе, какъ на колесахъ. Пѣшкомъ онъ не отправлялся странствовать по своимъ дѣламъ; но зато любилъ прогуливаться по Дѣвичьему полю, близь котораго жилъ: въ «приходѣ Неопалимыя Купины, въ домѣ аудитора Подчиненнаго», — я и теперь помню этотъ адресъ, который много лѣтъ печатали на всѣхъ изданіяхъ С. Н. Глинки. Тамъ онъ жилъ до самаго выѣзда своего изъ Москвы, и въ рѣдкіе свободные часы выходилъ прохажи-

ваться по Дѣвичьему полю. Окрестные жители всѣ знали его, и когда ихъ спрашивали о немъ, то обыкновенно отвѣчали: «Какъ не знать Глинку! это тотъ-то, что̀ по Дѣвичьему полю разгуливаетъ, да все бьетъ себя по спинѣ палкой». Въ объясненіе должно прибавить, что Сергѣй Николаевичъ, одинъ на прогулкѣ, или даже на переходѣ по улицѣ, впадалъ въ мечты, забывалъ все окружающее, напѣвалъ, мурлыкалъ что нибудь, декламировалъ и, закинувъ руки за спину, размахивалъ тростью и чаще всего ударялъ себя ею по спинѣ. Онъ шелъ, самъ не зналъ куда, поворачивалъ влѣво, вправо, иногда оборачивался и шелъ назадъ; вдругъ повертывался и шелъ опять впередъ, такъ что проходилъ очень немного пространства. Помню, что однажды, въ воскресенье, день, въ который онъ обѣдывалъ у насъ впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, Сергѣй Николаевичъ явился какъ-то раньше обыкновеннаго и, увидѣвши, что еще до обѣда остается больше часа, сказалъ, что онъ успѣетъ сходить къ сосѣду нашему, Селивановскому, котораго домъ былъ саженяхъ во ста отъ нашей квартиры (мы жили на Большой Дмитровкѣ, въ домѣ, принадлежащемъ нынѣ генералу Бартоломею). Увѣряя, что ему крайне нужно видѣться съ Селивановскимъ, онъ убѣжалъ, обѣщая вернуться къ назначенному времени. Прошло съ полчаса, когда кто-то, нечаянно взглянувъ въ окно, увидѣлъ Глинку, идущаго зигзагами по улицѣ, и всѣ бросились къ окну наблюдать нашего гостя. Зрѣлище было достойно того!

Сергѣй Николаевичъ шагалъ раза два, три; останавливался, разсуждалъ самъ съ собою, иногда размахивалъ руками, шелъ въ сторону, даже назадъ; и такимъ образомъ почти не подвигался впередъ. Налюбовавшись имъ, мы послали просить его къ себѣ, потому что уже пора было садиться за столъ; и онъ воротился, не дошедши до дома Селивановскаго! Всегда, но за обѣдомъ особенно, онъ бывалъ любезенъ, неистощимъ въ разсказахъ, потому что находился въ сношеніяхъ почти со всѣми извѣстными совре-

менниками, а въ 1812 году игралъ видную, почти политическую роль. Сдѣлавшись извѣстенъ своимъ «Русскимъ Вѣстникомъ», журналомъ, который издавалъ онъ много лѣтъ и съ ожесточеніемъ порицалъ въ немъ нашу неизлѣчимую подражательность всему французскому, Глинка, въ 1812 году, получилъ отъ главнокомандующаго въ Москвѣ графа Растопчина, также знаменитаго ненавистника французовъ Наполеонова времени, порученіе—всѣми средствами способствовать возбужденію ненависти къ непріятелямъ, опустошавшимъ тогда наше отечество. Ему ассигновано было, кажется, 300,000 рублей на издержки по этому порученію. Глинка говаривалъ намъ много разъ, что не взялъ ни копѣйки денегъ; но онъ сдѣлался, можно сказать, народнымъ трибуномъ, и для встрѣчи императора Александра, при ожиданіи пріѣзда его въ Москву, за Глинкою шло нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ. Государь пожаловалъ ему въ это время орденъ Владиміра 4-й степени, при милостивомъ рескриптѣ, гдѣ было именно сказано, что онъ получаетъ награду «за любовь къ отечеству, доказанную его дѣяніями и сочиненіями». Тогдашняя ненависть его къ французамъ была глубокая, искренняя, и надобно сказать, что послѣ Тильзитскаго мира это чувство было во всѣхъ мыслящихъ русскихъ; но у Глинки все выражалось оригинальнымъ образомъ. Братъ его, вдохновенный нашъ поэтъ Ѳедоръ Николаевичъ Глинка, разсказываетъ въ своихъ «Письмахъ русскаго офицера», что, проходя съ арміею черезъ Москву, незадолго передъ вступленіемъ въ нее французовъ, онъ засталъ Сергѣя Николаевича истребляющимъ свою французскую библіотеку: лучшія французскія книги, разорванныя, валялись по комнатѣ, и онъ топталъ и уничтожалъ ихъ съ озлобленіемъ. Вотъ еще черта тогдашняго его одушевленія. Наканунѣ, или въ самый день приближенія французовъ къ Москвѣ, Карамзинъ выѣзжалъ изъ нея, въ одну изъ городскихъ заставъ. Тамъ, неожиданно, онъ увидѣлъ С. Н. Глинку, который подлѣ заставы, на грудѣ бревенъ, сидѣлъ окру-

женный небольшою толпою, разрывалъ и ѣлъ арбузъ, бывшій у него въ рукахъ, и ораторствовалъ, обращаясь къ окружавшимъ его. Завидѣвъ Карамзина, онъ всталъ на бревнахъ и, держа въ одной рукѣ арбузъ, въ другой ножъ, закричалъ ему: — «Куда же это вы удаляетесь? Вѣдь, вотъ, они приближаются, друзья-то ваши! Или наконецъ вы сознаетесь, что они людоѣды, и бѣжите отъ своихъ возлюбленныхъ! Ну, съ Богомъ! Добрый путь вамъ!» Карамзинъ прижался въ уголокъ своей коляски и, раскланиваясь съ Глинкою, спѣшилъ удалиться, боясь, что онъ сдѣлаетъ съ нимъ какую нибудь исторію. Этотъ анекдотъ слышалъ я отъ А. С. Пушкина, которому разсказывалъ его самъ Карамзинъ. Мы не разъ сердили добродушнаго Глинку, повторяя анекдотъ, шедшій отъ Карамзина, и спрашивали:—«Гдѣ вы, С. Н., достали арбузъ въ это суматошное время?»—Сначала онъ отрицалъ все; но наконецъ припомнилъ, что точно видѣлъ Карамзина у заставы и бранилъ его: — «Но ужъ ѣлъ ли арбузъ при этомъ, не помню! Ну, да что-жъ, если и ѣлъ арбузъ?»

Необходимо дополнить, что въ то время, когда мы стали знать С. Н. Глинку, онъ былъ уже не ненавистникъ, а обожатель французовъ: читалъ наизусть цѣлыя страницы изъ славныхъ французскихъ сочиненій, самъ писалъ по-французски и любилъ выражаться на языкѣ французовъ. Еще за нѣсколько лѣтъ прежде, онъ напечаталъ свой французскій переводъ нѣкоторыхъ избранныхъ «Писемъ русскаго офицера», а въ это время даже отговаривался, когда мы называли его патріотомъ. «Я филантропъ, а не патріотъ»,—говаривалъ онъ и доказывалъ, что слово патріотъ означаетъ понятіе узкое, что патріотомъ можно быть временно, а филантропомъ должно быть всегда. У него все переходило въ крайности: наконецъ онъ даже закаивался писать порусски, и хотѣлъ писать не иначе, какъ на языкѣ всемірномъ (la langue universelle), — такъ онъ называлъ французскій языкъ. Надобно замѣтить, что онъ обладалъ

имъ въ превосходной степени; говорилъ на немъ свободно, чисто, избранными фразами, зная, можно сказать, наизусть писателей цвѣтущаго вѣка французской литературы. Память у него была удивительная: онъ помнилъ всѣ славныя французскія пѣсни и распѣвалъ ихъ, аккомпанируя себѣ на фортепіано — «однимъ пальцемъ», — какъ говаривалъ пріятель его Кашинъ, старинный музыкантъ. Истинно комическая сцена представлялась, когда Кашинъ розыгрывалъ свои русскія пѣсни, и Глинка, слушая ихъ, сердился; отчего — вы думаете? Оттого, что не понималъ, будто бы, откуда берутся эти русскіе звуки и напѣвы, отъ которыхъ «плакать хочется»? Онъ утверждалъ, что въ Россіи ничего нѣтъ; что даже нѣтъ самой Россіи, «а русскіе звуки есть!» Скептицизмъ его доходилъ до того, что онъ почиталъ въ Россіи все призракомъ, не вѣрилъ подлинности русскихъ лѣтописей, и со смѣхомъ восклицалъ: «Да какія лѣтописи: все выдумано!» У Глинки не было ничего ложнаго, и убѣжденія его были искренни; только подвижная природа его духа была способна къ измѣнчивости, и онъ являлся всего чаще въ противорѣчіи съ своимъ прошедшимъ, даже вчерашняго дня, поддаваясь каждому сильному впечатлѣнію. Одно было въ немъ неизмѣнно: благородство, возвышенность души, которая и заставляла его презирать наружнымъ и дорожить только тѣмъ, что почиталъ онъ истиннымъ и согласнымъ съ достоинствомъ человѣка. Онъ былъ христіанинъ, въ истинномъ значеніи слова. Никогда и никого не обидѣлъ онъ, а самъ всегда прощалъ и забывалъ обиды. Безкорыстіе его доходило до безразсудства, по обыкновенному понятію человѣческому: онъ тратилъ деньги, не соображая ничего, и раздавалъ много милостыни, такъ что часто оставался безъ гроша. «Русскій Вѣстникъ» приносилъ ему значительный доходъ, другія изданія его тоже почти всѣ расходились хорошо. Донцы, которыхъ онъ превозносилъ съ увлеченіемъ въ своемъ журналѣ, послѣ 1812 года, упросили его завести пансіонъ для воспитанія ихъ дѣтей;

и это одно могло бы обезпечить его положеніе. Смоленскіе дворяне поднесли ему въ даръ около 10,000 рублей, въ изъявленіе своей признательности, какъ своему сословному, дѣлающему имъ честь. Но Глинка былъ вѣчно безъ денегъ, и куда онѣ шли у него—самъ не зналъ. Жилъ онъ всегда тѣсно, бѣдно, и постепенно уронилъ всѣ предметы своего дохода, потому что не умѣлъ ничего поддерживать. «Русскій Вѣстникъ» умеръ отъ неакуратности и небрежности его; пансіонъ закрылся отъ недостатка въ деньгахъ; и бѣдный Глинка бился какъ рыба объ ледъ. Онъ издавалъ старыя и новыя свои сочиненія, и они хоть немного поддерживали его. Каждый день заѣзжалъ онъ въ почтамтъ справляться, не прислано ли къ нему денегъ; а въ крайности забѣгалъ къ своему другу экспедитору газетной экспедиціи Жарову (тоже оригиналу немалаго размѣра) и занималъ у него нѣсколько рублей, даже рубль, до будущей присылки денегъ. Но тутъ бывали съ нимъ новыя исторіи. Онъ никогда не отказывалъ просящимъ милостыни, если была хоть копѣйка въ карманѣ; нищіе, разузнавъ, что онъ всегда получаетъ изъ почтамта деньги, обыкновенно ожидали его при выходѣ изъ газетной экспедиціи. Однажды, онъ получилъ тамъ 50 рублей, присланные къ нему. При выходѣ, нищіе окружили его. Глинка пошарилъ въ карманахъ и, не находя тамъ ничего, кромѣ только-что полученной 50-ти рублевой бумажки, бросилъ ее нищимъ, говоря: «Ну, больше ничего нѣтъ! Только раздѣлите между собой честно!» И отправился прямо къ книгопродавцу Ширяеву занять рубль, чтобы не воротиться домой съ пустымъ карманомъ. Клеветали на него, будто онъ велъ разгульную жизнь и былъ пьяница. Почитаю долгомъ опровергнуть эту клевету, основанную всего болѣе на извѣстныхъ стихахъ злаго Воейкова:

. . . . . на лежанкѣ
Истый Глинка возсѣдитъ:
Передъ нимъ духъ русскій въ стклянкѣ,
Не откупоренъ стоитъ!

Я зналъ Глинку въ продолженіе многихъ лѣтъ. Онъ любилъ выпить рюмку водки, выпивалъ за обѣдомъ бутылку вина, бывалъ, что называется, навеселѣ; но ни разу не видалъ я его пьянымъ и не слыхалъ отъ своихъ знакомыхъ, чтобы они видали его въ опьяненіи. Онъ дѣлался отъ лишней рюмки еще нелѣпѣе, если можно такъ выразить высшую степень того характера, какимъ всегда отличался Глинка въ обхожденіи. Онъ обыкновенно и всегда былъ въ какомъ-то подвижномъ состояніи, двигался, вертѣлся огромнымъ своимъ тѣломъ, подпрыгивалъ неуклюже, а за обѣдомъ разбрызгивалъ и разбрасывалъ кушанье, попадалъ рукавомъ въ супъ и безъ умолку продолжалъ рѣчь, переходя отъ одного предмета къ другому. Одинъ знакомый нашъ, глядя на него, сказалъ: «Что это, братъ Глинка-то, что за бурда такая!» Но лучше всѣхъ характеризовалъ его Н. И. Гречъ, когда, пріѣхавши въ первый разъ въ Москву и поѣздивши по московскимъ улицамъ, онъ сказалъ, при посѣщеніи моего брата: «Знаете ли, Николай Алексѣевичъ: я думаю, Москву строилъ С. Н. Глинка!» Въ самомъ дѣлѣ, Глинка напоминалъ собою зигзаги и особенности московскихъ улицъ и кривыхъ переулковъ. Неудивительно, что незнавшіе его близко иногда принимали его за пьянаго, когда онъ бывалъ только въ обычномъ своемъ настроеніи: подпрыгивалъ, подплясывалъ, вертѣлся угловато и распѣвалъ романсы и пѣсни. Но душа въ немъ была всегда чистая, младенческая! Онъ не боялся насмѣшекъ и пересудовъ, потому что не боялся ничего въ мірѣ, и очень хорошо выразилъ это свойство свое, сказавши: «Я прихожу въ трепетъ только въ одномъ случаѣ: когда вижу ребенка на открытомъ окнѣ четвертаго этажа!» Сильные міра не устрашали его, и онъ никогда и ничего не искалъ у нихъ, а, напротивъ, при случаѣ высказывалъ свой независимый характеръ. Послѣдній изъ бояръ Екатерининскаго вѣка, enfant gâté de la Cour, какъ называли его, одинъ изъ первыхъ богачей и вельможъ русскихъ, князь Сергій Михаиловичъ

Голицынъ былъ, между прочимъ, нѣсколько лѣтъ попечителемъ Московскаго университета въ то время, когда Глинка оставался еще цензоромъ; а цензурный комитетъ былъ подчиненъ попечителю университета. Князь Голицынъ вовсе не занимался своею должностью, не допускалъ къ себѣ просителей по университетскимъ дѣламъ и отклонялъ отъ себя дѣла университета, дорожа своимъ драгоцѣннымъ временемъ, Богъ знаетъ для чего. Говорили, что онъ принялъ должность попечителя университета единственно по желанію государя императора и хотѣлъ только поскорѣе освободиться отъ нея. Разумѣется, такой вельможа ни разу не бывалъ въ цензурномъ комитетѣ, хотя по уставу былъ предсѣдателемъ его. Но когда ему надули въ уши, что цензоръ Глинка, по стачкѣ съ издателемъ «Московскаго Телеграфа», пропускаетъ въ этомъ журналѣ безбожныя и законопротивныя статьи, Голицынъ неожиданно явился въ засѣданіе комитета, и тотчасъ, въ присутствіи всѣхъ членовъ его, обратился къ Глинкѣ съ грознымъ выговоромъ, называя его статчикомъ съ неблагонамѣреннымъ журналистомъ, обвиняя въ неисполненіи обязанностей и присяги по службѣ. Глинка возражалъ, но, вскорѣ выведенный изъ терпѣнія, вскочилъ, обратился къ портрету императора Александра I, висѣвшему надъ предсѣдательскимъ мѣстомъ, и, уже не обращая вниманія на Голицына, началъ рѣчь, въ родѣ воззванія къ тѣни умершаго императора: «Государь, побѣдитель враговъ Россіи, названный отъ всей Россіи Благословеннымъ! Ты, въ благости своей, наградилъ меня выше заслугъ, признавъ во мнѣ любовь къ отечеству, доказанную моею жизнью и сочиненіями! Теперь, когда передъ твоимъ ликомъ называютъ меня невѣрнымъ своему долгу, своимъ обязанностямъ, и подозрѣваютъ въ неблагонамѣренности, я обращаюсь къ тебѣ, протестую противъ обвиненія и возвращаю тебѣ знакъ твоей милости, данный мнѣ какъ прямому сыну отечества!»... Съ этими словами онъ сорвалъ съ своей петлицы Владимірскій крестъ, положилъ его на столъ, за которымъ про-

исходило засѣданіе, и выбѣжалъ изъ комнаты. «Голова моя горѣла, — разсказывалъ Глинка, — и когда я вышелъ въ переднюю комнату, кровь хлынула изъ моего горла!»

Не знаю, какое впечатлѣніе произвела эта сцена на князя Голицына, но послѣ нея Глинка недолго оставался цензоромъ и вышелъ въ отставку. Голицынъ не мстилъ ему, потому что въ основаніи былъ человѣкъ добрый; можетъ быть, ему даже не хотѣлось продолжать начатой имъ исторіи, въ которой онъ не могъ оказаться правымъ, и онъ прекратилъ ее, когда увидѣлъ, что слова его не устрашили того, кого хотѣлъ онъ припугнуть, по обычаю многихъ начальниковъ.

Говоря откровенно, Глинка не годился въ цензора, когда отъ нихъ требовали мелочной внимательности, и они не имѣли никакихъ опредѣленныхъ правилъ, что̀ можно и чего нельзя было дозволить къ обнародованію. «Какъ можно судить мысль и намѣреніе человѣка? — говаривалъ Глинка. — Въ самыхъ невинныхъ словахъ можетъ быть злое намѣреніе; а какъ я угадаю это?» Онъ выражалъ этимъ мысль справедливую въ обширномъ смыслѣ; но былъ несносенъ тѣмъ, что вслѣдствіе своихъ убѣжденій и своего характера подписывалъ все, не читая!.. Онъ не только не скрывалъ этого, но говорилъ во всеуслышаніе, что дѣйствуетъ именно такъ. Я самъ слышалъ, какъ онъ повторялъ много разъ: «Дайте мнѣ стопу бѣлой бумаги, я подпишу ее всю по листамъ какъ цензоръ; а вы пишите на ней что хотите! Да! я не вѣрю, чтобы нашелся такой человѣкъ, который употребилъ бы во зло довѣренность цензора, когда притомъ онъ и самъ отвѣчаетъ за то, что̀ пишетъ». Когда онъ былъ цензоромъ «Московскаго Телеграфа», мы тщетно уговаривали его оставить избранную имъ систему; просили читать внимательно все, присылаемое къ нему для разсмотрѣнія, исключать или, по крайней мѣрѣ, замѣчать, что несогласно съ инструкціею цензору. Писатель не можетъ знать множество отношеній, извѣстныхъ только цензурѣ. Но, повто-

ряю, убѣжденія были тщетны: Глинка подписывалъ одобреніе цензорское на рукописяхъ и корректурахъ, не читая ихъ. Когда дозволено было представлять журнальныя статьи на разсмотрѣніе цензорамъ въ корректурныхъ листахъ, мы бывали иногда въ затрудненіи: Глинка оставлялъ или забывалъ ихъ у себя, и такъ какъ его большею частью не бывало дома, то случалось не разъ, что уже вся книжка кончена наборомъ, а цензоръ еще не подписалъ ни одного листа къ печатанію; приходилось отыскивать его по городу, и онъ, гдѣ нибудь отысканный, вдругъ подписывалъ всѣ листы. Опытъ доказалъ, однако-жъ, что система Глинки была не совсѣмъ дурна: онъ нѣсколько лѣтъ оставался цензоромъ, и, кромѣ схватки съ княземъ Голицынымъ, не получалъ никакихъ замѣчаній отъ высшаго начальства, когда товарищи его, внимательные къ тому, что прочитывали, не разъ получали выговоры и замѣчанія. Если не ошибаюсь, онъ былъ смѣненъ и высидѣлъ двѣ недѣли на гауптвахтѣ за какую-то пустѣйшую статейку, гдѣ нашли личности противъ какихъ-то сановныхъ лицъ[1]); но, прочитывая эту статейку съ самымъ строгимъ вниманіемъ, нельзя было открыть въ ней ничего преступнаго, и всякій цензоръ подписалъ бы ее—и попалъ бы на гауптвахту!

Я упомянулъ о его арестѣ на гауптвахтѣ и не могу отказать себѣ въ удовольствіи посмѣшить читателя разсказомъ, какъ невинный арестантъ проводилъ свое время подъ стражею. Сначала его посадили на гауптвахту, бывшую во дворѣ сената (въ Кремлѣ). Когда знакомые Глинки—а кто не зналъ его въ Москвѣ?—услышали, что онъ сидитъ на гауптвахтѣ, многіе поѣхали навѣстить его. Число посѣтителей увеличивалось безпрестанно, такъ что черезъ нѣсколько дней сенатская гауптвахта представляла что-то въ родѣ гулянья: подлѣ нея было всегда нѣсколько экипажей,

[1]) Статья была напечатана въ «Московскомъ Вѣстникѣ» или въ «Телескопѣ»,—не помню хорошенько, а справляться не стоитъ.

и гостей у Глинки собиралось иногда такъ много, что въ небольшой, занимаемой имъ комнатѣ бывало тѣсно. Онъ былъ очень радъ этому, встрѣчалъ всѣхъ съ веселымъ лицомъ, смѣялся, шутилъ и говорилъ безъ умолку, или пѣлъ французскіе романсы, акомпанируя себѣ на маленькомъ фортепіано, которое велѣлъ привезти себѣ изъ дому. Къ нему привозили всякихъ припасовъ, фруктовъ, вина, и онъ пировалъ самъ и угощалъ посѣтителей. Разъ, въ веселомъ расположеніи, онъ вздумалъ угостить солдатъ, державшихъ караулъ на гауптвахтѣ, досталъ какъ-то полведра пѣннику и отдалъ его солдатамъ, приглашая ихъ выпить за здоровье всѣхъ добрыхъ людей. Офицеръ, видно, не досмотрѣлъ этого и встревожился, когда увидѣлъ своихъ солдатъ пьяными и готовыми кричать ура Глинкѣ. Онъ тотчасъ донесъ объ этомъ по начальству; явился плацъ-маіоръ, добрый толстякъ, кажется, даже пріятель Глинки, и, вѣроятно, самъ смѣясь внутренно, сталъ объяснять ему, что арестантъ не имѣетъ права подчивать водкою своихъ стражей. Глинка возсталъ противъ него, засыпалъ его филантропическими возгласами, и тотъ, видя, что съ нимъ не сговоришь, почелъ необходимымъ доложить коменданту о необыкновенномъ происшествіи, случившемся на сенатской гауптвахтѣ. Комендантъ приказалъ перевести Глинку на главную гауптвахту (бывшую тогда подъ Ивановской колокольнею) и держать его тамъ построже. На другой день, плацъ-маіоръ явился для исполненія приказанія коменданта, но не рано, когда у Глинки была уже толпа гостей. Послѣ нѣсколькихъ обиняковъ онъ объявилъ ему, что комендантъ приказалъ перевести его на главную гауптвахту. Глинка запрыгалъ и, прищелкивая, запѣлъ какую-то французскую пѣсню. «Очень радъ, очень радъ!» — сказалъ онъ потомъ. «Пріятно прогуляться по чистому воздуху! А пріятели проводятъ меня!»—прибавилъ онъ, обращаясь къ своимъ гостямъ. «Фортепіано пойдутъ со мной подъ арестъ и туда: дайте же мнѣ людей перенести ихъ!»—сказалъ онъ плацъ-маіору. Вскорѣ

всѣ вещи Глинки были расхватаны гостями, слугами ихъ и нѣсколькими инвалидами; началось шествіе отъ сената до Ивановской колокольни: впереди шелъ Глинка съ плацъ-маіоромъ; вокругъ нихъ и позади толпа гостей арестанта, которые несли кто кисетъ, кто трубку его, кто кружку и все остальное. Тутъ же несли фортепіано. Все это составляло невиданную процессію, не унылую, а веселую и смѣшную импровизированную комедію.

Съ ликованіемъ Глинка водворился въ новой своей квартирѣ. Плацъ-маіоръ не могъ же гнать гостей его, видя въ нихъ по большей части людей порядочныхъ; такъ это и продолжалось до окончанія ареста Глинки, неожиданно сократившагося тѣмъ, что изъ Петербурга дано было знать о немедленномъ освобожденіи заключеннаго цензора, котораго назначено было продержать подъ арестомъ три дня, а по ошибкѣ или недоразумѣнію написано было: три недѣли. Плацъ-маіоръ былъ радъ освобожденію его чуть ли не больше всѣхъ и увѣрялъ, что никогда еще не бывало въ вѣдѣніи его такого безпокойнаго арестанта.

Мы видимъ, что Глинка шутя переносилъ подобныя непріятности, никогда и ни на что не жаловался, не скорбѣлъ ни отъ какихъ стѣсненій и неизбѣжныхъ въ жизни несчастій. Но когда клевета вздумала запятнать его честь, благородная душа его взволновалась, и онъ уѣхалъ изъ Москвы навсегда. Вотъ какъ это случилось. Одинъ мерзавецъ, тогда еще не разгаданный, имѣющій формы порядочнаго и даже свѣтскаго человѣка, болтунъ и злоязычникъ, ни съ того ни съ сего сталъ повторять въ разныхъ обществахъ, что С. Н. Глинка — тайный шпіонъ, котораго надобно остерегаться; что онъ прикрываетъ простодушіемъ и громкимъ либеральствомъ злонамѣренность и доноситъ на тѣхъ, кто говоритъ съ нимъ неосторожно.

Глинка сначала не понималъ холодности, которую стали оказывать ему нѣкоторые знакомые; наконецъ, видя что-то недоброе противъ себя, сталъ внимательнѣе, и когда одинъ

изъ близкихъ людей сказалъ ему, какіе слухи распространены въ обществѣ на его счетъ, Глинка, чистый въ душѣ, былъ уязвленъ и пораженъ этимъ такъ глубоко, что рѣшился оставить Москву навсегда, немедленно собрался и уѣхалъ сначала на свою родину, въ Смоленскъ, а оттуда въ Петербургъ, гдѣ и провелъ остальные годы своей жизни. Люди могли бы истолковать, можетъ быть, и истолковали это не въ его пользу, повторяя: «Бѣжалъ отъ стыда! совѣстно было ему глядѣть въ глаза честнымъ людямъ!» Но Глинка не совѣстился тѣхъ честныхъ людей, которые готовы вѣрить самой нелѣпой клеветѣ и приносить ей въ жертву честное имя, заслуженное цѣлою жизнію. Онъ самъ говорилъ мнѣ послѣ: «Если я, слишкомъ тридцать лѣтъ проживъ въ Москвѣ, не удостоенъ отъ нея увѣренностью, что я честный человѣкъ, то я уже не могу жить въ ней, съ людьми, которые глядятъ на меня, какъ на предателя. Я не могу оставаться тамъ, гдѣ отнимаютъ у меня одно, чѣмъ я дорожу». Почти то же выражалъ онъ въ письмѣ ко мнѣ изъ Смоленска.

Глинку поразило именно то зло, которымъ онъ гнушался всего болѣе, почиталъ его рѣдкимъ явленіемъ въ сердцѣ человѣческомъ, и на этомъ-то основаніи говорилъ всегда откровенно, не стѣсняясь, и, бывши цензоромъ, дозволялъ все печатать. «Les livres ne se dénoncent pas; on les dénonce! (книги не доносятъ сами на себя; на нихъ доносятъ)» — восклицалъ онъ, не предполагая, чтобы въ книгѣ могло быть что нибудь злоумышленное, и думая, что если человѣкъ и проговорится, такъ это не бѣда; а люди, даже злые, рѣдко рѣшаются представлять бѣлое чернымъ. Кардиналъ Ришельё радовался легкости клеветы, когда говорилъ: «Donnez-moi deux lignes du plus honnête homme, je le ferai pendre! (Дайте мнѣ двѣ строчки честнѣйшаго человѣка, и я сдѣлаю его достойнымъ висѣлицы)». А Глинка не вѣрилъ, чтобы клеветники и доносчики не были исключительнымъ явленіемъ. Кажется, я сказалъ уже, что самъ онъ ни о комъ не говорилъ дурнаго, и если при немъ разговоръ переходилъ въ

обыкновенное человѣческое злословіе, онъ вставалъ съ своего мѣста, начиналъ подпрыгивать (т. е. дѣлать какія-то угловатыя движенія, только ему свойственныя, для которыхъ надобно изобрѣсти новое слово) и запѣвалъ какой нибудь французскій романсъ, совершенно противоположный разговору.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ Глинку незадолго передъ его смертію. Это было зимою 1846—1847 года, когда я жилъ временно въ Петербургѣ, и давно не слыхалъ ничего о старомъ, всегда уважаемомъ мною пріятелѣ. Изъ знакомыхъ никто не упоминалъ о немъ. Неожиданно я получилъ приглашеніе посѣтить его. Въ письмѣ, писанномъ не его рукою, онъ упоминалъ, что по болѣзни не можетъ посѣтить меня самъ. Я отправился по его адресу на Сергіевскую улицу, близъ Таврическаго сада, гдѣ занималъ онъ квартиру во флигелькѣ какого-то полуразвалившагося дома. Я изумился, когда увидѣлъ Глинку слѣпаго: онъ въ послѣдніе годы свои имѣлъ несчастіе лишиться зрѣнія. Можно было бы предполагать, что этотъ живой, огненный человѣкъ нетерпѣливо переносилъ свое ужасное несчастіе; напротивъ, онъ еще больше изумилъ меня своимъ смиреніемъ, своею преданностью Провидѣнію. Лишенный возможности ходить свободно, онъ совершенно отказался отъ свѣта, почитая слѣпоту свою указаніемъ Божіимъ для новой жизни, и почти не выходилъ изъ своей квартиры, а такъ какъ движеніе было ему необходимо, то онъ велѣлъ протянуть въ комнатѣ веревочку и, держась за нее, расхаживалъ, сколько ему хотѣлось. Я радовался, глядя на него, совершенно преобразившагося въ новомъ несчастіи. Черты лица его приняли какое-то глубокое, благородное выраженіе, все лицо, прежде всегда горѣвшее багровымъ румянцемъ, было блѣдно, и хотя онъ вообще былъ разстроенъ въ здоровьѣ, однако былъ совершенно спокоенъ и съ услажденіемъ говорилъ, что скоро надѣется перейдти въ другой, лучшій міръ. Въ рѣчахъ его не было прежнихъ, иногда пустыхъ, надутыхъ фразъ и

сентенцій, которыя повторялъ онъ по привычкѣ. «Чѣмъ вы занимаете свое время?» — спросилъ я. — «Молюсь, размышляю, вспоминаю о прошедшемъ, слушаю библію и повторяю псалмы Давида», — отвѣчалъ онъ и, указывая на молоденькую дочь свою, тутъ же бывшую, прибавилъ: «Et voici ma lectrice et ma consolatrice! Она всегда при мнѣ». Онъ съ благодарностію говорилъ о своей супругѣ и обо всѣхъ, кто любилъ его. — «Жалѣю, что теперь никто не навѣщаетъ меня», — сказалъ онъ. Изъ всѣхъ старыхъ знакомыхъ, только князь Петръ Андреевичъ Вяземскій посѣтилъ слѣпаго Глинку. «Онъ истинно утѣшилъ меня своею бесѣдою, и я душевно благодаренъ ему». Онъ сказалъ мнѣ, что затѣмъ просилъ и меня къ себѣ, чтобы въ моемъ лицѣ выразить благодарность всему нашему семейству за многіе часы, проведенные съ нами, и за неизмѣнную дружбу нашу. Я разстался съ нимъ, сердечно растроганный, и надѣялся еще увидѣть его; но, живя на другомъ краю города, въ заботахъ и хлопотахъ жизни, не успѣлъ побывать у него до начала весны, когда неожиданно прочиталъ въ газетахъ извѣстіе о его смерти и вмѣстѣ приглашеніе ко всѣмъ друзьямъ покойнаго на отпѣваніе тѣла его въ церковь Волковскаго кладбища. Я поѣхалъ туда и бросилъ горсть земли на его гробъ, который отнесли мы изъ церкви до могилы.

Надѣюсь, что читатели не посѣтуютъ на меня за длинное отступленіе отъ главнаго моего разсказа. Я не могъ не заговориться, начавъ рѣчь о Глинкѣ, достопамятномъ и своею оригинальностью, и необыкновенными качествами ума и души. Мы видѣли, что при началѣ изданія «Московскаго Телеграфа» Сергѣй Николаевичъ сердился за неблагосклонный отзывъ о его «Русской исторіи», напечатанный въ этомъ журналѣ. Но его младенческое сердце не знало злобы, и съ первой встрѣчи съ моимъ братомъ онъ полюбилъ его, сказалъ, что самъ знаетъ цѣну своей книги, и что сердился только за выраженіе о ней, которое перетолковывали не въ его пользу. Вскорѣ онъ сдѣлался искрен-

нимъ, ближайшимъ нашимъ пріятелемъ, собесѣдникомъ, и въ такихъ отношеніяхъ оставались мы до выѣзда его изъ Москвы. Онъ какъ родной участвовалъ во всѣхъ нашихъ семейныхъ праздникахъ, и хотя по пылкости, странности и даже угловатости характера не былъ способенъ къ сближенію умственному, но по сердцу, по душѣ, по благородному направленію былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ намъ людей. Мы дорожили имъ какъ неподдѣльнымъ человѣкомъ, какіе встрѣчаются рѣдко. Излишняя пылкость, увлекательность была недостаткомъ его, но за то о немъ можно было повторить слова Спасителя: «Сей есть израильтянинъ, въ немъ же нѣсть льсти». Искренняя привязанность такого человѣка была почетна для моего брата.

Впродолженіе того времени, когда Глинка былъ цензоромъ «Московскаго Телеграфа», одинъ разъ угрожали ему большія непріятности, и братъ мой былъ невольною причиною ихъ, потому что это было не иное что, какъ новая попытка непріятелей стереть Полеваго съ лица земли, или, по крайней мѣрѣ, уничтожить его журналъ. Въ неумолкавшей полемикѣ съ «Вѣстникомъ Европы», онъ какъ-то рѣзко выразился объ издателѣ его, профессорѣ Каченовскомъ. Я показалъ уже, до какой пошлости, можно сказать, низости доходилъ Каченовскій въ бранныхъ своихъ выходкахъ противъ моего брата, который не могъ же всегда отмалчиваться. Но дряхлый профессоръ разжаловался на него своимъ сослуживцамъ и, вѣроятно, внушилъ имъ мысль, которую они привели въ исполненіе самымъ любезнымъ образомъ. Въ собраніи университетскаго совѣта была прочитана статья «Московскаго Телеграфа», будто бы оскорблявшая въ лицѣ Каченовскаго, почетнѣйшаго между сочленами, все ихъ сословіе. Ни одинъ голосъ не возсталъ противъ этого нелѣпаго обвиненія, и всѣ присутствовавшіе подписали прошеніе къ министру народнаго просвѣщенія, гдѣ выставляли издателя «Московскаго Телеграфа» какъ оскорбителя ученаго сословія и просили расправы съ дерзкимъ своевольникомъ, а еще болѣе съ

явнымъ его сообщникомъ, цензоромъ Глинкою, который дозволяетъ ему печатать все, что онъ хочетъ. Знаю, что въ числѣ подписавшихъ такую просьбу не было Ивана Ивановича Давыдова, который оказывалъ тогда большую пріязнь моему брату, часто посѣщалъ его и невольно чуждался университетскихъ сослуживцевъ своихъ, которые усердно заботились сдѣлать больше тягостною лежавшую на немъ опалу[1]).

Просьба цѣлаго сословія университета, оффиціальная жалоба,—или назовите еще другимъ, ближайшимъ къ смыслу такой жалобы словомъ, — могла имѣть серьезныя послѣдствія для цензора и для моего брата, особенно при министрѣ князѣ Ливенѣ, который, какъ я изложилъ выше, оказалъ строгость неумѣстную по дѣлу о переводѣ «Жизни Наполеона». Можно было предполагать, что онъ воспользуется жалобою цѣлаго университета, и въ видахъ общей пользы исходатайствуетъ запрещеніе «Московскаго Телеграфа». Это могло тревожить издателя его, особенно въ описываемое мною время; но я увѣряю, какъ ближайшій свидѣтель, что братъ мой не встревожился ни на минуту; да и увѣрять не нужно: доказательствомъ неустрашимости его служатъ рѣзкія и насмѣшливыя статьи, которыя напечаталъ онъ въ своемъ журналѣ тотчасъ, какъ только услышалъ онъ о грозѣ, воздвигнутой противъ него Каченовскимъ и его сослуживцами. Эти статьи писалъ онъ подъ вліяніемъ глубокаго негодованія и изобразилъ въ нихъ многолѣтнія литературныя продѣлки Каченовскаго. Любопытные могутъ отыскать ихъ въ послѣднихъ нумерахъ «Московскаго Теле-

---

[1]) И. И. Давыдовъ, долго бывшій инспекторомъ университетскаго благороднаго пансіона, былъ внезапно удаленъ отъ этой должности, но, оставаясь профессоромъ университета, вздумалъ преподавать философію, и за свою «вступительную лекцію» (которая тогда же была напечатана) подвергся удаленію и отъ профессорской каѳедры. Довольно долго онъ только носилъ званіе профессора, но не преподавалъ ничего. Въ это-то время онъ сблизился съ моимъ братомъ.

графа» за 1829 годъ, съ подписью Иванъ Бенигна. Тамъ Каченовскій былъ засыпанъ указаніями на его ошибки, промахи, озлобленіе, чаще всего выражавшееся противъ истинныхъ дарованій, начиная отъ Карамзина до Пушкина, противъ котораго въ это самое время писалъ въ «Вѣстникѣ Европы» тогдашній клевретъ Каченовскаго Надеждинъ, подписывавшій свои статьи псевдонимомъ Недоумко. Николай Алексѣевичъ нарочно избралъ разговорную форму его статей, ввелъ въ свои статьи даже одно изъ лицъ, изобрѣтенныхъ Надеждинымъ, и далъ полный разгулъ своему перу. Это была, можетъ быть, самая жестокая изъ всѣхъ его полемическихъ выходокъ. Знакомые наши дивились смѣлости моего брата, видя, что въ такой жаркой схваткѣ онъ поддалъ еще пàру, какъ выразился одинъ изъ нихъ. «Смѣлость моя,—отвѣчалъ онъ,—должна быть такъ же велика, относительно, какъ безсовѣстность интриги, начатой противъ меня; жаль, что это невозможно». (Онъ употребилъ слово не то, которое здѣсь подчеркнуто). А что сдѣлалъ въ это время обвиняемый цензоръ, С. Н. Глинка? Онъ былъ истинно уморителенъ и утѣшителенъ: его возгласы, тирады противъ несправедливости людей, его комическая радость, что онъ пострадаетъ за свободное выраженіе мысли, наконецъ, мѣры къ защитѣ, какія придумывалъ онъ, были достойны безхитростнаго дитяти! Между прочимъ, онъ составилъ какую-то записку въ оправданіе свое, съ выписками и цитатами изъ Руссо, Вольтера, Фенелона, Бенжаменъ-Констана и подобныхъ старыхъ и новыхъ французскихъ писателей. Нельзя было не хохотать, слушая чтеніе этой записки! И мысли, и возгласы были достойны Глинки, который и читалъ ее достойнымъ образомъ, самъ не разбирая своей рукописи, состоявшей изъ множества листовъ бумаги, потому что Сергѣй Николаевичъ обыкновенно писалъ крупно, криво, такъ что послѣднія строчки на страницѣ иногда не находили себѣ мѣста: на иной страницѣ онъ не уписывалъ и десяти строкъ... Никакъ не могъ онъ

понять, что его оправдательной записки съ цитатами изъ Руссо и Вольтера никто не сталъ бы и читать, а еслибъ прочли, то она навѣяла бы на него новую вину въ глазахъ такихъ людей, какъ князь Ливенъ, министръ просвѣщенія. Происшествіе на обѣдѣ у профессора Цвѣтаева было для Глинки также поводомъ къ разсказу, который не разъ заставилъ насъ похохотать. Цвѣтаевъ былъ членомъ цензурнаго комитета и слѣдовательно сослуживцемъ Глинки, котораго какъ-то и пригласилъ къ себѣ на обѣдъ, празднуя, не знаю что такое. Это случилось въ самый разгаръ обвиненія моего брата и Глинки въ мнимомъ оскорбленіи университета. Нѣкоторые господа уже напередъ торжествовали побѣду и нетерпѣливо ждали грознаго рѣшенія ихъ совокупной жалобы. И въ такое-то сборище явился простодушный Глинка! Его встрѣтили насмѣшками, стали обвинять за Качеповскаго, кричать, какъ разсказывалъ онъ, и, наконецъ, профессоръ П., сидѣвшій развалясь на диванѣ, громко возгласилъ: «Другъ вашъ Полевой справедливо бранилъ вашу русскую исторію: эта книга скверная, мерзкая, вредная, и...» бухъ! Тутъ онъ вскочилъ, сжавши кулаки. Я повторяю здѣсь собственныя слова Сергѣя Николаевича, который, произнося: бухъ! показывалъ движеніе сердитаго профессора, и продолжаю разсказъ его же словами, слышанными мною изъ устъ его множество разъ: «Тутъ два сидѣвшіе возлѣ П.—одинъ профессоръ В., другой не знаю кто, схватили его подъ руки и усадили снова на диванъ. А я, по какому-то внушенію свыше, протянулъ руку не впередъ къ П., а въ сторону, къ моей шляпѣ (знаменитой мягкой шляпѣ Глинки, извѣстной тогда всей Москвѣ), и, раскланиваясь съ почтеннымъ собраніемъ, сказалъ: «Милостивые государи! я приглашенъ сюда обѣдать, а не браниться и драться; изъ уваженія къ хозяину, беру шляпу и повторяю слова мудрости: удалися отъ зла и сотвори благо!» Съ этими словами онъ вышелъ изъ комнаты. Я не сомнѣваюсь, что въ основаніи происшествіе было такъ, какъ разсказывалъ его Глинка

хотя, можетъ быть, что пылкое его воображеніе преувеличивало нѣкоторыя подробности. Г. П. здравствуетъ и теперь: онъ всегда представлялъ себя правдолюбомъ и отличался ловкимъ цинизмомъ въ обращеніи, чѣмъ особенно выигрывалъ у сильныхъ міра. Я могъ бы разсказать о немъ много анекдотовъ, подобныхъ тому, что когда Надеждинъ, этотъ даровитый пройдоха, уже служа въ Петербургѣ, увидѣлъ П. въ знакомомъ домѣ и хотѣлъ броситься къ нему съ лобызаніемъ, какъ къ старому сослуживцу по Московскому университету, П., не двигаясь съ дивана, на которомъ сидѣлъ, протянулъ къ нему вмѣсто руки ногу! Но если П. и закричалъ на Глинку, то едва ли хотѣлъ бить его. Да дѣло не въ самомъ происшествіи, а въ томъ, какъ разсказывалъ его Глинка: это была истинная умора! Онъ вмѣшивалъ съ нее само Провидѣніе! «Отчего же, — повторялъ онъ всякій разъ,— рука моя двинулась не прямо, а въ сторону? Я человѣкъ и кровь горѣла во мнѣ; отчего же рука моя не протянулась прямо?.. На это была уже не моя воля, а вотъ откуда шла она!» — торжественно прибавлялъ онъ, указывая рукою вверхъ.

Прошло съ мѣсяцъ: братъ мой продолжалъ трудиться какъ обыкновенно, хотя не очень надѣялся на безпристрастіе тѣхъ, кто долженъ былъ судить жалобу на него профессоровъ Московскаго университета. Скорѣе всего ожидалъ онъ неблагопріятнаго рѣшенія, и потому-то Глинка иногда надоѣдалъ ему своими преувеличиваніями. Забѣгая къ нему почти каждый день, онъ въ это время всякій разъ кричалъ, какъ только вваливался къ нему въ комнату: «Въ Сибирь, батюшка, въ Сибирь!» Мы ожидали извѣстій изъ Петербурга, не имѣя тамъ никакого заступника, а это, конечно, было неутѣшительно, и естественно, что іереміады Глинки были, наконецъ, скучны. Но часъ «Московскаго Телеграфа» еще не насталъ. По странной игрѣ случая, жалоба профессоровъ была получена въ Петербургѣ въ такой промежутокъ времени, когда князь Ливенъ почему-то не

занимался дѣлами министерства просвѣщенія — былъ боленъ или въ отлучкѣ — и должность его исправлялъ, если не ошибаюсь, графъ Блудовъ. Мнѣ самому смѣшно теперь, какъ мало заботились мы тогда о столь важномъ дѣлѣ, какъ существованіе нашего журнала, зависѣвшее отъ рѣшенія министра; мы не только не хлопотали вокругъ него, но даже не знали, кто исправлялъ должность его! Я и теперь не могу сказать навѣрное, кто былъ тотъ благородный и безпристрастный человѣкъ, который, разсмотрѣвъ жалобу профессоровъ Московскаго университета, призналъ ее неосновательною, и какъ издателя «Московскаго Телеграфа», такъ и цензора его — нисколько невиноватыми, находя въ преслѣдуемой статьѣ обыкновенное явленіе полемики между двумя журналистами, нимало не касавшееся университета. Онъ здраво указалъ на совершенное различіе между профессоромъ и журналистомъ и предписалъ не смѣшивать впредь званія писателя съ тѣмъ, что онъ пишетъ.

Послѣ такого рѣшенія, можно представить себѣ, какъ были раздосадованы противники «Московскаго Телеграфа», и какъ возликовалъ добрый нашъ С. Н. Глинка. Онъ подпрыгивалъ и распѣвалъ, сочинилъ стихи и музыку на нихъ, и увѣрился, что правда еще не совсѣмъ умерла на землѣ.

Но замѣтьте, что всѣ такія происшествія неизбѣжно увеличивали число непріятелей моего брата. Разумѣется, что всѣ профессоры, участвовавшіе въ жалобѣ на него министру, почитали себя вдвойнѣ оскорбленными справедливымъ рѣшеніемъ, полученнымъ изъ Петербурга. Не только не достигли они предположенной цѣли, но и могли думать, что поступокъ ихъ не понравился начальству. А извѣстно, какъ у насъ страшатся этого! «И всему виной Полевой! Не будь его, не было бы и этой непріятности! Ужъ мы же ему!..» Такой образъ мыслей, естественно, раздѣляли родные и друзья ихъ, — все народъ, больше или меньше, прикосновенный къ литературѣ.

IV.

Новый и опасный врагъ — Надеждинъ. — Курьезное знакомство съ М. Н. Загоскинымъ. — Характеристика князя Шаликова и нѣкоторыя біографическія подробности о немъ.—Прекращеніе литературной войны между «Московскимъ Телеграфомъ» и петербургскими журналистами—Гречемъ и Булгаринымъ. — Поѣздка К. А. Полеваго въ Петербургъ для типографскихъ заказовъ.—Сближеніе его съ литературнымъ кружкомъ Булгарина и Греча.— В. А. Ушаковъ въ роли посредника.— Нѣсколько словъ о петербургской жизни Пушкина. — Характеристика поэта.— Частыя свиданія съ нимъ К. А. Полеваго. — Глумленіе Пушкина надъ П. И. Свиньинымъ.

Въ то самое время, когда отношенія къ Каченовскому привели Н. А—ча къ столкновенію съ Московскимъ университетомъ, сталъ извѣстенъ въ литературѣ Надеждинъ, о которомъ упомянулъ я уже не разъ. Онъ постепенно сдѣлался однимъ изъ непримиримыхъ враговъ моего брата, и былъ опасенъ и нестерпимъ особенно тѣмъ, что не дѣлалъ различія въ средствахъ, которыми старался достигать своихъ цѣлей. Я не зналъ его лично, встрѣтилъ только разъ въ жизни, и гдѣ же? у С. Н. Глинки, когда тотъ сидѣлъ на гауптвахтѣ: Надеждинъ, видно, хотѣлъ показать ему свое участіе!.. Но я знаю его хорошо, бывши участникомъ въ литературной войнѣ противъ него нѣсколько лѣтъ. Говорили, что онъ съ необыкновеннымъ отличіемъ прошелъ полный курсъ наукъ въ духовныхъ училищахъ, и несомнѣнно имѣлъ обширныя познанія, особливо въ церковныхъ и духовныхъ предметахъ. Какъ человѣкъ съ умомъ, способнымъ на все, онъ могъ заниматься и литературой, могъ бы даже работать для нея съ пользою, имѣя свѣдѣнія въ древнихъ языкахъ; но у такого человѣка, какъ Надеждинъ, все служитъ только для корыстныхъ видовъ и не можетъ быть одушевлено любовью къ успѣху, къ добру, къ истинѣ. Онъ явился въ Москву съ цѣлью получить мѣсто профессора въ университетѣ, и скоро увидѣлъ, что для этого необходимо пріобрѣсти благосклонность хоть одного изъ старшихъ про-

фессоровъ, имѣющихъ авторитетъ. Каченовскій обладалъ всѣми качествами для покровительствованія покорнаго ему кліента. Онъ былъ гордъ, самолюбивъ и твердъ, такъ что сочлены почти боялись его, знали его авторитетъ и готовы были сдѣлать для него многое потому даже, что не хотѣли съ нимъ ссориться. Распознавъ это, Надеждинъ уцѣпился за Каченовскаго и прикинулся жаркимъ его поборникомъ. Такой образъ дѣйствій обыкновенно называютъ ловкостью; но мнѣ кажется, что къ этой ловкости способенъ каждый, не совсѣмъ глупый человѣкъ: стоитъ ему только продать душу чорту, то есть не гнушаться никакими средствами, когда они могутъ служить корыстнымъ его видамъ, и все пойдетъ какъ по маслу! Такіе примѣры встрѣчаются на всякомъ шагу. Каченовскій страшно злобствовалъ на Пушкина, сначала за его сочиненія, а окончательно за Курилку-журналиста, за Зоила, за Подколодный Вѣстникъ, и проч. Эти эпиграммы лишали его покоя, и онъ готовъ былъ язвить и бранить Пушкина всѣми способами; но всегдашняя лѣнь, хилое здоровье и отчасти боязнь проиграть еще больше въ новой войнѣ—заставляли его молчать. Въ это-то время предложилъ ему свои покорныя услуги Надеждинъ, представлявшій себя поклонникомъ его и поборникомъ всѣхъ его убѣжденій. Въ «Вѣстникѣ Европы» стали появляться длинныя и многоглаголивыя статьи, съ подписью Недоумко, гдѣ больше всѣхъ доставалось Пушкину. Сначала мы думали, что подъ завѣсой новаго псевдонима пишетъ самъ Каченовскій: такъ умѣлъ Надеждинъ перенять у него взгляды, мнѣнія и даже слогъ! Какая-то путаная теорія, какая-то іезуитская или тартюфская нравственность и тяжелый, фигурный, напоминавшій кутейника языкъ были отличительными свойствами этихъ статей. Каченовскій ожилъ въ нихъ, съ прибавкою еще чего-то тяжелаго, безжизненнаго. Особенно хороши тамъ мѣста, гдѣ авторъ хотѣлъ острить; надъ шуточками его (въ родѣ: «стихи-хи-хи!») послѣ забавлялся самъ Пушкинъ.

Достигнувъ цѣли, то есть сдѣлавшись профессоромъ университета, Надеждинъ отчуждился отъ Каченовскаго и потомъ смѣялся надъ нимъ. Но онъ возненавидѣлъ моего брата за то, что въ статьяхъ «Телеграфа» былъ обличенъ въ безвкусіи и разныхъ промахахъ, которыми изобиловали рабскія его подражанія Каченовскому, напечатанныя въ «Вѣстникѣ Европы». Вскорѣ онъ сталъ издавать журналъ «Телескопъ» съ отдѣльными листками, носившими заглавіе «Молвы». Тамъ-то, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, онъ выражалъ всю злобу свою противъ моего брата и употреблялъ оружіе всякаго рода: иногда обвинялъ за то, чего не писалъ и не думалъ его противникъ, иногда приводилъ изъ его сочиненій невѣрныя цитаты и пересыпалъ свои навѣты всевозможными грубостями. Вокругъ Надеждина образовался особый кружокъ ненавистниковъ Н. А. Полеваго, которые дѣйствовали въ духѣ своего предводителя.

Всякій, кто только владѣетъ критическимъ перомъ, долженъ непремѣнно встрѣтить много противниковъ и непріятелей. Это было и прежде, это явно и теперь, при размноженіи журналовъ, которые почти всѣ воюютъ одинъ съ другимъ! Но противники бываютъ разныхъ свойствъ, или,— какъ бы сказать яснѣе?—разныхъ выраженій духа человѣческаго: съ однимъ поссоришься, даже готовъ идти съ нимъ подраться, хоть бы въ смертномъ бою, а какъ пройдетъ пылъ страсти, то готовъ подать ему руку; съ другимъ и мысль о примиреніи не приходитъ въ голову, конечно, потому, что осуществленіе ея невозможно. Могъ ли когда нибудь примириться братъ мой съ Каченовскимъ, съ Надеждинымъ и подобными имъ писателями, которые дѣйствовали противъ него не только полемикою, или хоть бы самою жаркою перебранкою, но и всѣми средствами: интригами, жалобами, клеветою, печатною и изустною, старались наносить ему вредъ какъ человѣку, какъ гражданину, и покушались отбить у него доходы не трудомъ, не искусствомъ, а такими махинаціями, какія указалъ я въ дѣйствіяхъ

г. Погодина. Но онъ охотно сближался съ тѣми, съ кѣмъ былъ только въ литературной распрѣ. Примѣромъ можетъ послужить сближеніе его съ Михаиломъ Николаевичемъ Загоскинымъ,—сближеніе курьезное, но искреннее, оставшееся неразрывнымъ до конца жизни.

Загоскинъ, страстный театралъ, драматическій писатель, служилъ при театрѣ и принадлежалъ къ московской партіи Кокошкина и Писарева: это само собою удаляло его отъ моего брата, на котораго Писаревъ готовъ былъ возстановить небо и землю. Послѣ смерти Писарева, Кокошкинъ былъ въ пріязненныхъ отношеніяхъ съ Николаемъ Алексѣевичемъ и со мною. Но до 1829 года вся эта партія глядѣла непріязненно на издателя «Московскаго Телеграфа»; вѣроятно, и Загоскинъ, подъ вліяніемъ Писарева, раздѣлялъ ея мнѣнія. Надобно сказать, что Загоскинъ былъ человѣкъ добрый, простодушный, но горячій, вспыльчивый, капризный, какъ избалованное дитя. Вспыльчивость его всего чаще бывала смѣшна, потому что въ ней не было и слѣда злобы. Разумѣется, что на такого человѣка электрически дѣйствовала критика его сочиненій, и онъ приходилъ въ бѣшенство отъ самаго легкаго замѣчанія о недостаткахъ милыхъ его чадъ. Успѣхъ «Юрія Милославскаго» придалъ ему еще больше авторскаго самолюбія. Когда изданъ былъ второй романъ его «Рославлевъ», издатель «Московскаго Телеграфа» напечаталъ о немъ въ своемъ журналѣ отзывъ не очень благосклонный и показалъ ничтожность самаго основанія этого сочиненія. Общее мнѣніе впослѣдствіи подтвердило такой приговоръ. Но въ тотъ самый день, когда раздавалась книжка «Московскаго Телеграфа», гдѣ былъ напечатанъ отзывъ о Рославлевѣ, Загоскинъ пришелъ зачѣмъ-то въ книжную лавку Ширяева, всемірнаго злослова, который самъ поносилъ всѣхъ и любилъ ссорить людей. Хотя онъ всегда ласкался около моего брата, потому что получалъ черезъ него разныя выгоды, а иногда и обиралъ его безсовѣстно (особенно, когда тотъ нуждался въ деньгахъ), однако, увидѣвъ

Загоскина, онъ не могъ удержаться отъ своей милой привычки и насмѣшливо спросилъ у него: «А читали вы, что пишетъ Полевой о вашемъ новомъ романѣ?» — «Нѣтъ!» — отвѣчалъ Загоскинъ и уже вспыхнулъ. — «Да, это можетъ повредить сбыту вашей книги; не угодно ли взглянуть на его статейку?». И онъ подалъ ему книжку «Московскаго Телеграфа». Загоскинъ пробѣжалъ статью о своемъ романѣ, покраснѣлъ, задрожалъ и, бѣснуясь на всѣ манеры, сталъ бранить моего брата. Ширяевъ поджигалъ его гнѣвъ своими хладнокровными сарказмами, такъ что, наконецъ, Загоскинъ, стукнувъ тростью, бывшею у него въ рукахъ, вскричалъ: «Вы видите эту трость? Я сейчасъ иду къ Полевому и прибью его вотъ этою самою тростью». Квартира наша была въ трехъ шагахъ отъ университетской книжной лавки, и Загоскинъ дѣйствительно тотчасъ прибѣжалъ къ Николаю Алексѣевичу и сказалъ встрѣтившему его слугѣ, что Загоскинъ желаетъ видѣть издателя «Московскаго Телеграфа». Вѣроятно, покуда онъ шелъ отъ Ширяева до нашей квартиры, горячка его уже немного пріутихла; когда же онъ вступилъ въ комнаты того дома, гдѣ обѣщалъ себѣ драться, онъ одумался еще больше; наконецъ, Николай Алексѣевичъ, услыхавъ о Загоскинѣ, поспѣшилъ встрѣтить его съ такимъ обрадованнымъ, добрымъ лицомъ, что у сердитаго добряка руки опустились. — «Какъ я радъ видѣть васъ у себя, почтеннѣйшій Михаилъ Николаевичъ!—началъ братъ мой:— я давно желалъ имѣть удовольствіе познакомиться съ вами лично, зная васъ»...— «Позвольте, позвольте, Николай Алексѣевичъ,—прервалъ его Загоскинъ, смягчая сколько могъ голосъ свой: — я пришелъ объясниться съ вами!» — «Я къ вашимъ услугамъ, но прежде прошу васъ, сдѣлать мнѣ честь, садиться... Вы такой дорогой гость». Разумѣется, я не могу передать здѣсь собственныхъ словъ моего брата, и передаю только тонъ, въ какомъ началъ онъ разговоръ съ Загоскинымъ, неподдѣльно обрадовавшись посѣщенію его, потому что давно любилъ его, какъ драматическаго автора, и вообще

уважалъ въ немъ человѣка и честнаго писателя. Онъ и не подозрѣвалъ, съ какимъ обѣтомъ явился къ нему этотъ гость! Онъ точно принялъ за честь первый визитъ съ его стороны. Почти обезоруженный его встрѣчею, Загоскинъ сначала хотѣлъ поддерживать свой серьезный тонъ; но Николай Алексѣевичъ отвѣчалъ ему такъ прямодушно, просто, сказалъ нѣсколько комплиментовъ такъ искренно, что Загоскинъ протянулъ къ нему руку и сказалъ: «Я нахожу васъ совсѣмъ не такимъ, какимъ представлялъ себѣ по чужимъ разсказамъ, и жалѣю, что мы давно не сошлись. Въ знакъ искренности, позвольте же мнѣ попросить у васъ извиненія въ томъ злomъ намѣреніи, съ какимъ я пришелъ къ вамъ: я хотѣлъ съ вами ссориться, драться за отзывъ о Рославлевѣ; но теперь сознаюсь, что вы пользовались только своимъ правомъ, которое принадлежитъ всякому журналисту». Тутъ начался разговоръ о самомъ романѣ, и братъ мой умѣлъ такъ ясно представить ему свое искреннее мнѣніе, оправдалъ замѣчанія свои такъ искусно, что Загоскинъ согласился съ нимъ во многомъ, увѣрился, что отзывъ сдѣланъ не съ желаніемъ унизить его дарованіе, а только показать слабую сторону одного сочиненія, и въ концѣ своего визита онъ уже смѣялся, шутилъ и просилъ Николая Алексѣевича о продолженіи пріязни, начавшейся такъ внезапно и оригинально.

Я жилъ въ нижнемъ этажѣ того дома, гдѣ въ верхнемъ, который занималъ мой братъ, происходила описанная мною сцена. Проводивъ Загоскина, братъ сошелъ ко мнѣ и пересказалъ всѣ подробности своего съ нимъ свиданія. Съ одной стороны нельзя было не смѣяться надъ дѣтской вспыльчивостью Загоскина; съ другой стороны нельзя было не полюбить его за доброе сердце. Онъ своимъ добрымъ сердцемъ понялъ Николая Алексѣевича вѣрнѣе, нежели многіе, которые предполагали въ немъ глубокую хитрость, когда, напротивъ, во всѣхъ дѣлахъ и отношеніяхъ, выходившихъ изъ очарованнаго круга литературы, братъ мой былъ про-

стофиля! Кто не обманывалъ, не обиралъ, не надувалъ его? Онъ искренно предавался чувству пріязни и всегда старался болѣе одолжать другихъ, нежели самъ искать одолженій. Не было человѣка болѣе готоваго на услугу, больше расположеннаго забыть и простить обиду. Въ этомъ у него было своего рода самолюбіе. Самый жестокій противникъ (только не подлецъ) могъ протянуть къ нему дружескую руку и послѣ этого требовать даже пожертвованій съ его стороны. Онъ не мирился только съ тѣми, въ комъ видѣлъ неистребимыя начала зла или шаткую, ненадежную нравственность.

Вотъ еще примѣръ. Князь Шаликовъ, издатель «Дамскаго Журнала», самый смѣшной подражатель сантиментальности Карамзина, не меньше смѣшной своей чопорною наружностью, своими высокопарными фразами и всѣмъ существомъ своимъ,—этотъ единственный типъ своего рода,—открылъ въ «Дамскомъ Журнальчикѣ» войну противъ моего брата съ самаго начала изданія «Московскаго Телеграфа» и продолжалъ ее нѣсколько лѣтъ. Выраженія его, обыкновенно отзывавшіяся розовою водою, иногда пахли дегтемъ, когда онъ писалъ противъ издателя «Московскаго Телеграфа». Всего больше обижался онъ тѣмъ, что надъ нимъ смѣетъ подшучивать мужикъ, и онъ почиталъ себя въ правѣ обращаться къ нему иначе, нежели къ людямъ благороднымъ. Пріятель его, тоже плохой писатель, Волковъ (авторъ «Освобожденной Москвы») замѣтилъ ему однажды, что онъ выходитъ изъ границъ вѣжливости и грубо обращается въ своемъ журналѣ къ Полевому. Шаликовъ, чуть ли не больше всего дорожившій своимъ титуломъ грузинскаго князя, величественно возразилъ Волкову: «Вы, какъ человѣкъ благородный, не можете переселиться въ чувства этого мюжжика! Онъ не пойметъ тонкихъ намековъ свѣтскаго челловѣка, который считаетъ сорокъ поколѣній своихъ предковъ князей!» При другомъ случаѣ, когда ему замѣтили, что онъ слишкомъ горячится, онъ при-

мѣнилъ къ себѣ стихъ, вложенный Пушкинымъ въ уста черкешенки, и воскликнулъ тоненькимъ, дрожащимъ своимъ голоскомъ:

Я близь Кавказа рождена!

Но, не смотря на свои смѣшные недостатки, на свое чванство, тупоуміе и безчисленныя претензіи, князь Шаликовъ былъ человѣкъ не злой, не дурной! Испорченный своимъ вѣкомъ, онъ, по слабости разсудительной силы, не могъ освободиться отъ многихъ дурачествъ, обратившихся въ его природу; но никто не могъ упрекнуть его въ низости или какомъ нибудь злонамѣренномъ поступкѣ. Онъ сдѣлалъ глупость, нарочно оставшись въ Москвѣ въ 1812-мъ году и вообразивъ, что французы, образованные люди, не станутъ обижать благороднаго, свѣтскаго человѣка, который станетъ разговаривать съ ними на французскомъ діалектѣ. Онъ едва ли и видѣлъ французовъ, какъ разнонародная сволочь, нахлынувшая на Москву, ограбила его такъ, что онъ остался въ одномъ халатѣ, а домъ, гдѣ онъ жилъ, сгорѣлъ въ общемъ пожарѣ. Разочарованный князь Шаликовъ ждалъ утѣшеній и пособій на пожарищѣ, когда графъ Ростопчинъ, возвратившись въ Москву, грозно приказалъ ему явиться къ себѣ, полагая, что онъ былъ въ дружескихъ сношеніяхъ съ непріятелями. Но раздраженный грузинскій князь далъ ему такой отпоръ, что Ростопчинъ старался только усмирить его! Послѣ одного этого поступка не стыдно было вступать въ сношенія съ княземъ Шаликовымъ, который не испугался тогдашняго свирѣпаго главнокомандующаго Москвы, а прямо въ лицо укорялъ его въ обманчивыхъ увѣреніяхъ о безопасности столицы, гдѣ многіе и оставались до тѣхъ поръ, что уже не было средствъ къ спасенію себя и своего имущества. Говорятъ даже, что Шаликова привезли къ Ростопчину, какъ онъ былъ въ халатѣ, и онъ, указывая на свое рубище, прежде всего потребовалъ у него себѣ одежды и пріюта, приписывая ему свое бѣдствіе. Такихъ чертъ князя Шаликова было

извѣстно нѣсколько, и онѣ мирили съ нимъ. Не знаю какъ, братъ мой, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ журнальной перебранки, сошелся гдѣ-то съ нимъ и оставался уже всегда въ дружественныхъ сношеніяхъ. Князь бывалъ иногда и обѣдывалъ у него, и тутъ я имѣлъ случай познакомиться съ этимъ неподражаемымъ Ахалкинымъ. Потомъ мы пріятельски встрѣчались съ нимъ на Тверскомъ бульварѣ, гдѣ онъ бродилъ еще незадолго до своей смерти, едва передвигая ноги, но все попрежнему разсматривая въ лорнетъ встрѣчавшихся женщинъ и никогда не упуская случая воскликнуть: «Ахъ, какая хорошенькая!» Я зазналъ его уже дряхлымъ старикомъ; но онъ всегда бывалъ одѣтъ, какъ куколка, подкрашенъ, накрашенъ, затянутъ, и терпѣть не могъ напоминанія о старости. Обыкновенная слабость всѣхъ щеголей и волокитъ!

Непріятели моего брата выставляли почти дурнымъ поступкомъ прекращеніе непріязненныхъ отношеній между нимъ и издателями «Сѣверной Пчелы», гг. Гречемъ и Булгаринымъ. Говорили даже, будто я нарочно ѣздилъ въ Петербургъ для примиренія съ ними. Здѣсь настоящее мѣсто опровергнуть эти лживые разсказы и толки, къ которымъ поводомъ была чистая выдумка нашихъ непріятелей. Я разскажу прямо и откровенно, какъ прекратилась наша литературная война съ упомянутыми писателями, и въ какихъ отношеніяхъ были мы съ ними въ слѣдующіе годы, потому что эти отношенія не разъ измѣнялись. По порядку времени, упомяну я объ этихъ измѣненіяхъ; теперь рѣчь только о первомъ сближеніи послѣ войны.

До половины 1827 года, война все еще продолжалась, хотя уже не запальчиво, потому что обѣ стороны были утомлены ею и она жестоко имъ надоѣла. Лѣтомъ 1827 года, братъ мой неожиданно получилъ, чрезъ книгопродавца Ширяева, первое изданіе «Сочиненій Булгарина», только что отпечатанное, и при немъ письмо автора. Жалѣю, что не сохранилось это письмо, надобно сознаться, написанное очень

ловко, съ военною искренностью, какую нѣкогда находилъ въ Булгаринѣ А. Бестужевъ. Я не помню выраженій письма, но первыя фразы его могу передать и теперь почти буквально:

«Не журналисту, врагу моему непримиримому, критику неумолимому, посылаю мои сочиненія,—писалъ Булгаринъ:—нѣтъ, посылаю ихъ Николаю Алексѣевичу Полевому, который, въ былое время, посѣщалъ меня, какъ добрый пріятель, котораго полюбилъ я всѣмъ сердцемъ, и всегда съ удовольствіемъ вспоминаю о знакомствѣ съ нимъ и о многихъ часахъ проведенныхъ вмѣстѣ. Мы поссорились, какъ бѣшеные, и перебраниваемся на утѣшеніе нашимъ истиннымъ врагамъ и вмѣстѣ врагамъ литературы, которые этимъ пользуются и насъ же подругиваютъ. Будетъ ли этому конецъ? Не знаю; но, во всякомъ случаѣ, прошу васъ принять мои томики, какъ знакъ воспоминанія о старой дружбѣ. Браните, терзайте ихъ сколько угодно, только будьте увѣрены, что я не разлюбилъ васъ и храню въ душѣ прежнее къ вамъ уваженіе».

Таково было содержаніе этого письма, памятнаго мнѣ потому, что оно было страннымъ событіемъ въ тогдашней нашей войнѣ съ Булгаринымъ. Въ немъ было что-то похожее на благородную искренность, была и правда; сверхъ того, оно могло льстить самолюбію Николая Алексѣевича. Онъ, однако-жъ, и не думалъ принять его за предложеніе мира, не хотѣлъ возобновлять пріязненныхъ сношеній съ Булгаринымъ и, по совѣщанію съ княземъ Вяземскимъ, бывшимъ тогда обязательнымъ сотрудникомъ «Московскаго Телеграфа», даже не отвѣчалъ Булгарину на ловкое его письмо. Осенью 1827 года, братъ мой получилъ въ подарокъ отъ Н. И. Греча вышедшую тогда его «Практическую грамматику», также при коротенькомъ письмѣ, состоявшемъ изъ нѣсколькихъ обыкновенныхъ вѣжливостей, но безъ всякихъ предложеній о мирѣ, хотя еще прежде этого они встрѣтились на обѣдѣ у П. П. Свиньина и раз-

говаривали пріятельски. Николай Алексѣевичъ никогда не питалъ непріязни къ Н. И. Гречу и, при свиданіи у Свиньина, они были какъ старые знакомые, которымъ литературныя распри не мѣшаютъ уважать другъ друга. Война прекращалась сама собою, отъ усталости воевавшихъ, но мира не было. Булгаринъ началъ, однако-жъ, иногда упоминать въ «Сѣверной Пчелѣ» объ Николаѣ Алексѣевичѣ безъ непріязни; но это по собственному побужденію, безъ всякихъ сношеній съ нимъ.

Такъ прошло время до весны 1828 года, когда я пріѣхалъ въ Петербургъ съ рукописью перевода Вальтеръ-Скоттовой «Жизни Наполеона», о чемъ я уже подробно разсказывалъ. Это была главная, если не единственная, причина моей поѣздки въ Петербургъ, гдѣ я не бывалъ до тѣхъ поръ. Очень естественно, что, какъ молодому человѣку, мнѣ любопытно было познакомиться съ самимъ этимъ знаменитымъ городомъ и съ разными его достопамятностями. Невольно остававшись тамъ до іюня мѣсяца, я пользовался всѣми случаями узнать не однѣ рѣдкости историческія и художественныя, которыми богатъ Петербургъ, но хотѣлъ видѣть вблизи и всѣхъ замѣчательныхъ людей. Кромѣ того, мы рѣшились съ братомъ устроить свою типографію, если только, бывши въ Петербургѣ, я удостовѣрюсь, что тамъ точно есть на Александровской мануфактурѣ скоропечатный типографскій станъ, какъ увѣрялъ насъ одинъ свѣдущій человѣкъ.

Кстати сказать, я безъ всякаго хвастовства могу почитать себя первымъ вводителемъ или распространителемъ скоропечатныхъ становъ въ Россіи. Вотъ какъ это случилось. Я пріѣхалъ въ Александровскую мануфактуру, явился къ главному начальнику ея, ученому генералу Вильсону, и просилъ его не только позволить мнѣ осмотрѣть всѣ заведенія мануфактуры, но и объяснить нѣкоторыя подробности механическаго ея заведенія. Г. Вильсонъ былъ такъ благосклоненъ, что самъ повелъ меня туда, показывалъ и объяс-

нялъ всѣ подробности превосходной, единственной тогда въ Россіи, мануфактуры, которую составляли нѣсколько образцовыхъ заведеній, какъ-то: бумагопрядильня, ткацкое заведеніе, парусная фабрика, карточная фабрика и обширная машинная фабрика, гдѣ приготовлялись почти всѣ машины, выписываемыя нынѣ изъ Англіи и Бельгіи. На карточной фабрикѣ, составлявшей малѣйшую часть Александровской мануфактуры, генералъ Вильсонъ ввелъ скоропечатаніе, посредствомъ двухъ англійскихъ станковъ, что̀ весьма улучшило и облегчило печатаніе крапа и рисунковъ картъ. Онъ объяснилъ мнѣ, что это-то и есть машина, которую желалъ я видѣть и о которой мы читали чудеса въ иностранныхъ журналахъ. Тогда она еще не была такъ усовершенствована, какъ нынѣ, однако, я пришелъ въ восторгъ, глядя на ея дѣйствія, и спросилъ у генерала Вильсона, можетъ ли онъ взяться сдѣлать мнѣ такой станокъ для типографіи. Онъ отвѣчалъ, что очень радъ, что цѣль механическаго заведенія—распространять полезныя машины. Мы тутъ же сговорились о времени, въ какое можетъ быть изготовлена машина, и приблизительно онъ назначилъ мнѣ цѣну ея—10,000 рублей ассигнаціями. Я сказалъ ему, что не могу теперь рѣшиться окончательно, но, послѣ совѣщанія съ моимъ братомъ, увѣдомлю его изъ Москвы или пріѣду самъ, нарочно для этого заказа. Дѣйствительно, въ августѣ я пріѣхалъ въ Петербургъ, заказалъ скоропечатную машину и уговорился, что она будетъ готова къ лѣту будущаго года. Г. Вильсонъ сказалъ, что раньше онъ не можетъ сдѣлать ее, при множествѣ другихъ работъ, но когда будетъ она готова, онъ увѣдомитъ меня, и потомъ, по перевозкѣ въ Москву, пришлетъ механика—пустить въ ходъ машину. Свидѣтелемъ всего этого былъ Сергѣй Александровичъ Соболевскій, съ которымъ мы вмѣстѣ пріѣхали тогда изъ Москвы, жили на одной квартирѣ, и вмѣстѣ были у г. Вильсона; онъ же помогъ мнѣ тогда деньгами на задатокъ за машину и за типографскія матрицы и литеры, которыя за-

казалъ я у Юргенсона. Но, видно, судьба не хотѣла, чтобы Николай Алексѣевичъ и я были типографщиками. Г. Вильсонъ еще не увѣдомилъ насъ, какъ вдругъ Н. И. Гречъ пишетъ къ моему брату, что видѣлъ заказанный для него у г. Вильсона скоропечатный станъ и проситъ уступить его за ту самую цѣну, какую надобно заплатить за него; что г. Вильсонъ сдѣлаетъ намъ другой, а ему (г. Гречу) скоропечатный станокъ нуженъ сейчасъ; что онъ почтетъ за одолженіе такую уступку. Братъ мой согласился на это, и г. Гречъ былъ первый, который въ Петербургѣ поставилъ въ своей типографіи скоропечатный станъ. Изготовленіе новаго стана для насъ замедлилось, и, когда онъ былъ доставленъ въ Москву, обстоятельства перемѣнились, такъ что мы отмѣнили намѣреніе заводить типографію и продали всѣ заготовленныя для нея принадлежности, а скоропечатный станъ, за ту же цѣну, какую мы заплатили, купила у насъ московская синодальная типографія, гдѣ съ этихъ поръ и введено скоропечатаніе.

Оправдываю разсказанными здѣсь подробностями свою претензію на первоначальное введеніе въ Россіи скоропечатныхъ станковъ. Рѣчь объ этомъ мимоходомъ, такъ пришлось сказать кстати; но занятія мои въ Петербургѣ, за время перваго пріѣзда моего туда, показываютъ, что я былъ тамъ вовсе не для заключенія мира съ издателями «Сѣверной Пчелы». Сначала я даже раздумывалъ, знакомиться ли съ ними лично, хотя это было любопытно и желательно мнѣ по многимъ отношеніямъ. Любопытно разсмотрѣть поближе и звѣря, съ которымъ былъ въ жаркой схваткѣ. Многіе разсказы объ оригинальности Булгарина и простодушіи въ обращеніи также заставляли меня желать встрѣтиться съ нимъ. Къ этому былъ даже случай. Василій Аполлоновичъ Ушаковъ, ѣхавшій со мной изъ Москвы въ одномъ дилижансѣ и показавшій мнѣ себя прямодушнымъ и образованнымъ человѣкомъ (какъ описывалъ я въ первой части этихъ «Записокъ»), просилъ меня посѣтить его въ Пе-

тербургѣ и сказалъ, что онъ будетъ жить у своего друга, Булгарина, съ которымъ былъ онъ въ близкихъ сношеніяхъ, еще служивши въ гвардіи, слѣдовательно въ ранней молодости. Но я не спѣшилъ знакомиться ни съ г. Гречемъ, ни съ Булгаринымъ. Въ первое время по пріѣздѣ въ Петербургъ, я жилъ въ гостинницѣ «Демутъ», гдѣ обыкновенно квартировалъ А. С. Пушкинъ. Я каждое утро заходилъ къ нему, потому что онъ встрѣчалъ меня очень любезно и привлекалъ къ себѣ своими разговорами и разсказами. Какъ-то въ разговорѣ съ нимъ я спросилъ у него—знакомиться ли мнѣ съ издателями «Сѣверной Пчелы»?—«А почему же нѣтъ?—отвѣчалъ не задумываясь Пушкинъ.—Чѣмъ они хуже другихъ? Я нахожу въ нихъ людей умныхъ. Для васъ они будутъ особенно любопытны!» Тутъ онъ вошелъ въ нѣкоторыя подробности, которыя показали мнѣ, что онъ говоритъ искренно, и находилъ, что съ моей стороны было бы неумѣстной взыскательностью отказываться отъ этого знакомства. Мнѣніе Пушкина въ этомъ случаѣ было для меня такъ значительно, что всякое предубѣжденіе исчезло во мнѣ, и въ первое свободное утро я зашелъ въ квартиру Булгарина, спрашивая В. А. Ушакова. Онъ жилъ въ кабинетѣ Булгарина, и я засталъ тутъ довольно многочисленное общество, между прочимъ, Мицкевича, Грибоѣдова и Греча. Безъ объясненій и рекомендацій я очутился какъ будто въ давно знакомомъ обществѣ. Булгаринъ обратился ко мнѣ такъ просто и радушно, какъ старый знакомый; онъ даже показался мнѣ смиреннымъ и кроткимъ простофилей, можетъ быть, оттого, что я ожидалъ увидѣть пылкаго говоруна, какимъ онъ никогда не былъ. Напротивъ, Гречъ съ перваго свиданія былъ таковъ, какимъ я знаю его и теперь: любезнымъ, остроумнымъ собесѣдникомъ. Для Мицкевича и какого-то бывшаго тутъ же француза разговоръ часто переходилъ изъ русскаго во французскій, и французское остроуміе г. Греча было не хуже русскаго. Гречъ просилъ меня посѣтить его. Грибоѣдова я не успѣлъ даже раз-

смотрѣть, потому что онъ вскорѣ ушелъ, въ сопровожденіи какого-то театральнаго артиста: съ нимъ часто бывалъ кто нибудь изъ театральныхъ чѣмъ-то въ родѣ адъютанта. Если не ошибаюсь, тутъ же былъ А. А. Жандръ, другъ Грибоѣдова. Для чего было мнѣ отказываться отъ такого общества, гдѣ, кромѣ самихъ хозяевъ, всегда радушныхъ, я встрѣчалъ множество людей умныхъ, отличенныхъ дарованіями, достойныхъ всякаго уваженія? Послѣ, черезъ много лѣтъ, Булгаринъ составилъ себѣ отдѣльный кругъ, который постепенно оставили всѣ прежніе его знакомые, и даже товарищъ его, Гречъ; но въ описываемое мною время его не чуждался никто, ни Гнѣдичъ, ни Пушкинъ, ни Грибоѣдовъ, ни благороднѣйшій адмиралъ Рикордъ, съ которымъ я познакомился также черезъ Булгарина. Чудакъ, но неподкупный правдорѣзъ, В. А. Ушаковъ, распинался за Булгарина и видѣлъ въ немъ друга! Могъ ли человѣкъ молодой, и не какой нибудь славный литераторъ, а случайно-брошенный на литературное поприще, не увлечься обаяніемъ истинно-литературнаго кружка, встрѣчавшаго его самымъ лестнымъ вниманіемъ? Тогда мнѣ было это просто пріятно, и я, безъ всякихъ разсчетовъ и цѣлей, часто посѣщалъ Греча и Булгарина. Я не могъ предвидѣть что послѣ сдѣлаетъ изъ себя Булгаринъ; а тогда видѣлъ въ немъ умнаго, иногда смѣшнаго, капризнаго, но любезнаго человѣка, и если съ моей стороны было ошибкою сближеніе съ Булгаринымъ, то я раздѣлялъ эту ошибку съ благороднѣйшими людьми, которыхъ видѣлъ въ лучшихъ отношеніяхъ съ нимъ. Грибоѣдовъ до смерти оставался въ самыхъ искреннихъ связяхъ съ нимъ и поручилъ ему свои интересы, уѣзжая изъ Петербурга. Мицкевичъ находилъ его добрякомъ и только смѣялся надъ комическими его сторонами. Всѣ другіе, общіе наши знакомые, глядѣли на него какъ на человѣка съ разными недостатками, которые, однако, выкупались добрыми качествами и дарованіемъ. Я и теперь думаю, что онъ дѣйствительно былъ таковъ въ описываемое мною время.

Покуда я оставался въ Петербургѣ, не было у меня никакихъ переговоровъ ни съ Гречемъ, ни съ Булгаринымъ о литературномъ примиреніи. Когда невольно иногда касалась рѣчь нашей литературной войны, оба они жалѣли, что она была, и надѣялись, что мирныя отношенія наши будутъ на пользу литературы. Объ этомъ убѣдительно говорилъ и новый знакомецъ мой В. А. Ушаковъ. «На что это похоже,— повторялъ онъ мнѣ много разъ,—лучшіе журналисты, люди съ умомъ, съ образованнымъ вкусомъ, съ познаніями, перебраниваются, тогда какъ они должны уважать другъ друга и общими силами заботиться объ успѣхѣ литературы и просвѣщенія! За что эта война? изъ-за чего началась и продолжается она? Изъ-за пустыхъ претензій человѣческаго самолюбія! Вѣдь вы не можете не согласиться, что журналы, издаваемые Гречемъ и Булгаринымъ (тогда это были: «Сѣверный Архивъ», «Сынъ Отечества» и «Сѣверная Пчела»), да «Московскій Телеграфъ» — лучшіе журналы въ Россіи? Отчего же не вооружаются они дружно противъ всякой литературной шушеры, которая кишитъ вокругъ нихъ, а перебраниваются, и тѣмъ только даютъ пищу разнымъ гадинамъ, которыя спокойно грѣются на солнышкѣ и надъ вами же подсмѣиваются».

Въ словахъ его была правда, и онъ говорилъ искренно, безъ всякихъ корыстныхъ видовъ—за это могу поручиться, узнавши его потомъ очень хорошо. Я увѣренъ, что онъ то же говорилъ Булгарину, и хотя по своему мизантропическому характеру не очень довѣрялъ прямотѣ людей вообще, однако видѣлъ въ своемъ другѣ самолюбіе на пользу литературы, и готовъ былъ ручаться за чистоту его побужденій. Въ доказательство искренности своей, Ушаковъ, бывшій также нашимъ литературнымъ противникомъ, вызвался работать для «Московскаго Телеграфа». «Я самъ заблуждался на счетъ васъ, — говорилъ онъ мнѣ, — теперь вижу это и хочу дать вамъ лучшее доказательство моей искренности. Честный писатель не боится пересудовъ, дѣйствуя всегда

честно. Пусть говорятъ, что я переметчикъ: когда этого нѣтъ, то и бояться нечего!» Ушаковъ, по возвращеніи въ Москву, дѣйствительно сдѣлался усерднымъ сотрудникомъ «Московскаго Телеграфа» и не измѣнилъ словамъ своимъ никогда.

Изъ всего разсказаннаго здѣсь мною безпристрастный читатель можетъ составить себѣ понятіе, какимъ образомъ прекратилась литературная война, доходившая до крайняго ожесточенія. Это сдѣлалось само собою, безъ переговоровъ, безъ корыстныхъ стачекъ, придуманныхъ потомъ злостью непріятелей Николая Алексѣевича. Замѣчательно, что они упрекали въ этомъ естественномъ замиреніи всегда одного моего брата, находя какъ бы понятнымъ и не требующимъ объясненія тотъ же самый поступокъ со стороны Греча и Булгарина. Отчего же такъ? Развѣ братъ мой покорился имъ и подчинился ихъ мнѣніямъ? Напротивъ, онъ остался навсегда независимымъ, и потомъ много разъ ссорился съ Булгаринымъ, который постепенно дѣлался нестерпимѣе, такъ что, наконецъ, братъ мой сказалъ: «Ужъ лучше быть съ нимъ въ ссорѣ, нежели въ мирѣ!» Когда я возвратился въ Москву и передавалъ Николаю Алексѣевичу разныя подробности о своихъ знакомствахъ въ Петербургѣ, онъ больше радовался сближенію моему съ Пушкинымъ и Грибоѣдовымъ, нежели пріязни съ журналистами. Проницательный взглядъ его, какъ бы предвидя будущее, заставлялъ его говорить мнѣ: «Сближеніе съ такими необыкновенными людьми, какъ Грибоѣдовъ и Пушкинъ, всегда пріятно, и для тебя остается какъ бы страницею исторіи; но пріязнь съ журналистами никогда не надежна, и миръ съ ними можетъ быть, какъ говорится порусски, только до первой ссоры. Я радуюсь, что Гречъ и Булгаринъ не питаютъ противъ меня непріязненныхъ чувствованій; но мы еще поссоримся не одинъ разъ, если долго останемся журналистами. Повѣрь мнѣ, что если и Пушкинъ вздумаетъ издавать журналъ, онъ покажетъ запальчивости не меньше Булгарина.

Мы видѣли маленькій опытъ этого: чуть онъ прилѣпился къ этому дрянному «Московскому Вѣстнику», какъ уже и сталъ въ непріятельскую позицію противъ меня. Что же будетъ, когда журналъ сдѣлается его плотью и кровью? Хорошо и то, что Булгаринъ хоть на время перестанетъ лаять на насъ и отвлекать этимъ отъ другихъ занятій. А не отвѣчать на придирки чьи бы то ни было нельзя: такова наша публика, что у нея правъ тотъ, за кѣмъ послѣднее слово. Или надобно, чтобы нападающій журналистъ былъ такъ ничтоженъ, какъ Воейковъ: отъ этого можно только отплевываться. Публика знаетъ цѣну ему, и онъ уже такъ заруганъ, что на него не стоитъ тратить силъ; да лежачаго и не бьютъ. Напротивъ, Каченовскій какъ ни гадокъ, а еще имѣетъ вѣсъ и свою партію, потому что онъ много разъ показалъ и умъ, и свѣдѣнія: нельзя не отбиваться отъ него иногда. Еще больше необходимо будетъ отвѣчать Булгарину, когда онъ вздумаетъ опять нападать на меня: ему вѣритъ публика».

Я передаю здѣсь сущность мнѣнія Николая Алексѣевича, высказаннаго имъ мнѣ въ разное время. Можно видѣть, что онъ не считалъ даже окончательнымъ событіемъ прекращенія литературной войны съ Булгаринымъ и не надѣялся на прочность мира, котораго и не искалъ. Но когда это сдѣлалось само собою, онъ былъ очень доволенъ, потому что пріятнѣе быть въ мирѣ, нежели въ ссорѣ съ человѣкомъ, въ которомъ невольно признаешь не безсиліе, а умъ и дарованіе. Никакихъ другихъ побужденій радоваться этому случаю у него не было и не могло быть. Читатели согласятся съ этимъ, уже довольно зная изъ моего разсказа независимый характеръ издателя «Московскаго Телеграфа»; дальнѣйшія событія въ его жизни еще больше убѣдятъ ихъ въ томъ. Я упомянулъ о сближеніи моемъ съ Грибоѣдовымъ и Пушкинымъ. Здѣсь можно было бы разсказать любопытныя подробности моего знакомства съ Грибоѣдовымъ; но я уже давно изложилъ ихъ въ біографіи его, написанной

мною и напечатанной при одномъ изъ изданій «Горе отъ ума» Любопытные могутъ прочитать ихъ тамъ, тѣмъ удобнѣе, что біографія эта не разъ перепечатана, даже безъ моего согласія.

О Пушкинѣ любопытны всѣ подробности, и потому я посвящу ему здѣсь нѣсколько страницъ. Уже не одинъ разъ упоминалъ я, что онъ жилъ въ гостинницѣ Демута, гдѣ занималъ бѣдный нумеръ, состоявшій изъ двухъ комнатокъ, и велъ жизнь странную. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, онъ, когда былъ одинъ, читалъ лежа въ постели, а когда къ нему приходилъ гость, онъ вставалъ съ своей постели, усаживался за столикъ съ туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистилъ, обтачивалъ и приглаживалъ свои ногти, такіе длинные, что ихъ можно назвать когтями. Иногда заставалъ я его за другимъ столикомъ — карточнымъ, обыкновенно съ какимъ нибудь невѣдомымъ мнѣ господиномъ, и тогда разговаривать было нельзя; послѣ нѣсколькихъ словъ я уходилъ, оставляя его продолжать игру. Извѣстно, что онъ велъ довольно сильную игру, и чаще всего продувался въ пухъ! Жалко бывало смотрѣть на этого необыкновеннаго человѣка, распаленнаго грубою и глупою страстью! Зато, онъ былъ удивительно уменъ и пріятенъ въ разговорѣ, касавшемся всего, что можетъ занимать образованный умъ. Многія его замѣчанія и сужденія невольно врѣзывались въ памяти. Говоря о своемъ авторскомъ самолюбіи, онъ сказалъ мнѣ: «Когда читаю похвалы моимъ сочиненіямъ, я остаюсь равнодушенъ: я не дорожу ими; но злая критика, даже безтолковая, раздражаетъ меня». Я замѣтилъ ему, что этимъ доказывается неравнодушіе его къ похваламъ. — «Нѣтъ, а можетъ быть, авторское самолюбіе?» — отвѣчалъ онъ смѣясь. Въ немъ пробудилась досада, когда онъ вспомнилъ о критикѣ одного изъ своихъ сочиненій, напечатанной въ «Атенеѣ», журналѣ, издававшемся въ Москвѣ профессоромъ Павловымъ. Онъ сказалъ мнѣ, что даже написалъ возраженіе на эту

критику, но не рѣшился напечатать свое возраженіе и бросилъ его. Однако, онъ отыскалъ клочки синей бумаги, на которой оно было писано, и прочелъ мнѣ кое-что. Это было собственно не возраженіе, а насмѣшливое и очень остроумное согласіе съ глупыми замѣчаніями его рецензента, котораго обличалъ онъ въ противорѣчіи и невѣжествѣ, повидимому соглашаясь съ нимъ. Я уговаривалъ Пушкина напечатать остроумную его отповѣдь «Атенею», но онъ не согласился, говоря: «Никогда и ни на одну критику моихъ сочиненій я не напечатаю возраженія; но не отказываюсь писать въ этомъ родѣ на утѣху себѣ». Послѣ, онъ пробовалъ быть критикомъ, но очень неудачно, а въ печатныхъ спорахъ выходилъ изъ границъ и прибѣгалъ къ пособію своихъ язвительныхъ эпиграммъ. Никто столько не досаждалъ ему своими злыми замѣчаніями, какъ Булгаринъ и Каченовскій, зато онъ и написалъ на каждаго изъ нихъ по нѣскольку самыхъ задорныхъ и острыхъ своихъ эпиграммъ. Вообще, какъ критикъ, онъ былъ умнѣе на словахъ, нежели на бумагѣ. Иногда вырывались у него чрезвычайно мѣткія остроумныя замѣчанія, которыя были бы некстати въ печатной критикѣ, но въ разговорѣ поражали своею истиною. Разсуждая о стихотворныхъ переводахъ Вронченки, производившихъ тогда впечатлѣніе своими неотъемлемыми достоинствами, онъ сказалъ: «Да, они хороши, потому что даютъ понятіе о подлинникѣ своемъ; но та бѣда, что къ каждому стиху Вронченки привѣшена гирька»!

Увидѣвши меня по пріѣздѣ моемъ изъ Москвы, когда были изданы двѣ новыя главы «Онѣгина», Пушкинъ желалъ знать, какъ встрѣтили ихъ въ Москвѣ. Я отвѣчалъ: «Говорятъ, что вы повторяете себя: нашли, что у васъ два раза упомянуто о битьѣ мухъ»! Онъ расхохотался; однако спросилъ: «Нѣтъ? въ самомъ дѣлѣ говорятъ это»?—«Я передаю вамъ не свое замѣчаніе; скажу больше: я слышалъ это изъ устъ дамы».—«А вѣдь это очень живое замѣчаніе: въ Москвѣ рѣдко услышишь подобное»,—прибавилъ онъ.

Самолюбіе его проглядывало во всемъ. Онъ хотѣлъ быть прежде всего свѣтскимъ человѣкомъ, принадлежащимъ къ аристократическому кругу; высокое дарованіе увлекало его въ другой міръ, и тогда онъ выражалъ свое презрѣніе къ черни, которая гнѣздится, конечно, не въ однихъ рядахъ мужиковъ. Эта борьба двухъ противоположныхъ стремленій заставляла его повременамъ покидать столичную жизнь, и въ деревнѣ свободно предаваться той дѣятельности, для которой онъ былъ рожденъ. Но дурное воспитаніе и привычка опять выманивали его въ омутъ бурной жизни, только отчасти свѣтской. Онъ ошибался, полагая, будто въ свѣтскомъ обществѣ принимали его какъ законнаго сочлена; напротивъ, тамъ глядѣли на него какъ на пріятнаго гостя изъ другой сферы жизни, какъ на артиста, своего рода Листа или Серве. Свѣтская молодежь любила съ нимъ покутить и поиграть въ азартныя игры, а это было для него источникомъ безчисленныхъ непріятностей, такъ что онъ вѣчно былъ въ раздраженіи, не находя или не умѣя занять настоящаго мѣста. Очень замѣтно было, что онъ хотѣлъ и въ качествѣ поэта играть роль Байрона, которому подражалъ не въ однихъ своихъ стихотвореніяхъ. Байронъ былъ не только урожденный аристократъ, но и мастеръ на разныя продѣлки бурной жизни, отличный пловецъ, ѣздокъ на лошади; подъ конецъ жизни готовился даже сражаться за свободу грековъ. Пушкинъ, кромѣ претензіи на аристократство и несомнѣнныхъ успѣховъ въ разгульной жизни, считалъ себя отличнымъ танцоромъ и наѣзникомъ, хотѣлъ даже воевать противъ турокъ и для этого поѣхалъ въ Азіатскую Турцію, гдѣ кипѣла тогда война (въ 1829 году) и гдѣ вздумалъ даже участвовать въ одномъ сраженіи, что̀ въ такомъ смѣшномъ видѣ изображено генераломъ Ушаковымъ, историкомъ похода, бывшаго подъ начальствомъ графа Эриванскаго.

Въ 1828 году, Пушкинъ былъ уже далеко не юноша, тѣмъ болѣе, что, послѣ бурныхъ годовъ первой молодости

и тяжкихъ болѣзней, онъ казался по наружности истощеннымъ и увядшимъ; рѣзкія морщины виднѣлись на его лицѣ; но онъ все еще хотѣлъ казаться юношею. Разъ какъ-то, не помню по какому обороту разговора, я произнесъ стихъ его, говоря о немъ самомъ:

Ужель мнѣ точно тридцать лѣтъ?

Онъ тотчасъ возразилъ: «Нѣтъ, нѣтъ! у меня сказано: Ужель мнѣ скоро тридцать лѣтъ. Я жду этого роковаго термина, а теперь еще не прощаюсь съ юностью». Надобно замѣтить, что до роковаго термина оставалось нѣсколько мѣсяцевъ! Кажется, въ этотъ же разъ я сказалъ, что въ сочиненіяхъ его встрѣчается иногда такая искренняя веселость, какой нѣтъ ни въ одномъ изъ нашихъ поэтовъ. Онъ отвѣчалъ, что въ основаніи характеръ его—грустный, меланхолическій, и если онъ бываетъ иногда въ веселомъ расположеніи, то рѣдко и ненадолго. Мнѣ кажется и теперь, что онъ ошибался, такъ опредѣляя свой характеръ. Ни одинъ глубокочувствующій человѣкъ не можетъ быть всегда веселымъ и гораздо чаще бываетъ грустенъ: только поверхностные люди способны быть весельчаками, то есть постоянно и отъ всего быть веселыми. Однако, человѣкъ, не умершій душою, приходитъ и въ свѣтлое, веселое расположеніе; разница можетъ быть только въ томъ, что одинъ предается ему искренно, отъ души, другой не способенъ къ такой искренней веселости. И Жуковскій иногда веселъ въ своихъ стихотвореніяхъ; но Пушкинъ, какъ пламенный лирическій поэтъ, былъ способенъ увлекаться всѣми сильными ощущеніями, и когда предавался веселости, то предавался ей, какъ неспособны къ тому другіе. Въ доказательство можно указать на многія стихотворенія Пушкина изъ всѣхъ эпохъ его жизни. Человѣкъ грустнаго, меланхолическаго характера не былъ бы способенъ къ тому.

Однажды я былъ у него вмѣстѣ съ Павломъ Петровичемъ Свиньинымъ. Пушкинъ, какъ увидѣлъ я изъ разговора, сердился на Свиньина за то, что очень неловко и

некстати тотъ вздумалъ гдѣ-то на балѣ рекомендовать его славной тогда своей красотой и любезностью дѣвицѣ Л. Нельзя было оскорбить Пушкина болѣе, какъ рекомендуя его знаменитымъ поэтомъ; а Свиньинъ сдѣлалъ эту глупость. За то поэтъ и отплатилъ ему, какъ я былъ свидѣтелемъ, очень зло. Кромѣ того, что онъ горячо выговаривалъ ему и просилъ впередъ не принимать труда знакомить его съ кѣмъ бы то ни было, Пушкинъ, поуспокоившись, навелъ разговоръ на приключенія Свиньина въ Бессарабіи, гдѣ тотъ былъ съ важнымъ порученіемъ отъ правительства, но поступалъ такъ, что его удалили отъ всякихъ занятій по службѣ. Пушкинъ сталъ разспрашивать его объ этомъ очень ловко и смѣло, такъ что несчастный Свиньинъ вертѣлся, какъ береста на огнѣ. «Съ чего же взяли, — спрашивалъ онъ у него,—что будто вы въѣзжали въ Яссы съ торжественною процессіею, верхомъ, съ многочисленною свитой, и внушили такое почтеніе соломеннымъ молдавскимъ и валахскимъ боярамъ, что они поднесли вамъ сто тысячъ серебряныхъ рублей?»—«Сказки, мивый Александръ Сергѣевичъ! сказки! Ну, стоитъ ли повторять такой вздоръ!»—восклицалъ Свиньинъ, который прилагалъ слово мивый (милый) въ пріятельскомъ разговорѣ со всякимъ изъ знакомыхъ.—«Ну, а вѣдь вамъ подарили шубы?»—спрашивалъ опять Пушкинъ и такими вопросами преслѣдовалъ Свиньина довольно долго, представляя себя любопытствующимъ, тогда какъ зналъ, что рѣчь о бессарабскихъ приключеніяхъ была для Свиньина—ножъ острый! Разговоръ перешелъ къ петербургскому обществу, и Свиньинъ сталъ говорить о лучшемъ избранномъ кругѣ, называя многія вельможныя лица; Пушкинъ и тутъ косвенно кольнулъ его, доказывая, что не всегда чиновные и значительные по службѣ люди принадлежатъ къ хорошему обществу. Онъ почти прямо указывалъ на него, а для прикрытія своего намека разсказалъ, что какъ-то онъ былъ у Карамзина (исторіографа), но не могъ поговорить съ нимъ оттого, что къ нему безпрестанно

пріѣзжали гости и, какъ нарочно, все это были сенаторы. Уѣзжалъ одинъ, и будто на смѣну его являлся другой. Проводивши послѣдняго изъ нихъ, Карамзинъ сказалъ Пушкину: «Avez-vous remarqué, mon cher ami, que parmi tous ces messieurs il n'y avait pas un seul qui soit un homme de bonne compagnie?» (Замѣтили вы, что изъ всѣхъ этихъ господъ ни одинъ не принадлежитъ къ хорошему обществу?). Свиньинъ совершенно согласился съ мнѣніемъ Карамзина и поспѣшно проговорилъ: «Да, да, мивый, это такъ, это такъ!» Пушкинъ вообще любилъ повторять изрѣченія или апоѳегмы Карамзина, потому что питалъ къ нему уваженіе безграничное. Исторіографъ былъ для него не только великій писатель, но и мудрецъ, — человѣкъ высокій, какъ выражался онъ. Когда онъ писалъ своего Бориса Годунова, Карамзинъ, услышавъ о томъ, спрашивалъ поэта, не надобно ли ему, для новаго его созданія, какихъ нибудь свѣдѣній и подробностей изъ исторіи избранной имъ эпохи и вызывался доставить все, что можетъ. Пушкинъ отвѣчалъ, что онъ имѣетъ все въ «Исторіи Государства Россійскаго», великомъ созданіи великаго историка, которому обязанъ и идеею новаго своего творенія. Эту же мысль выразилъ Пушкинъ въ лапидарномъ посвященіи Бориса Годунова памяти исторіографа. Дѣло критики показать, на сколько повредило его драмѣ слишкомъ близкое воспроизведеніе Карамзинскаго Годунова и увѣренность, что исторіографъ не ошибался. За Карамзина же онъ окончательно разошелся и съ моимъ братомъ.

V.

Изученіе исторіи было смолоду любимымъ занятіемъ Николая Алексѣевича. — Его подготовка къ будущимъ ученымъ трудамъ. — Работы надъ «Исторіей Государства Россійскаго» и его уваженіе къ труду Карамзина. — Знакомство съ Нибуромъ и другими западными историками, радикально измѣнившее взглядъ Николая Алексѣевича на задачи русской исторической науки. — Мысль — написать «Исторію русскаго народа». — Подписка, какъ средство для выполненія изданія. — Значеніе этого труда. — Буря, вызванная появленіемъ труда въ средѣ поклонниковъ Карамзина. — Критика на XII томъ Карамзина, какъ поводъ къ разрыву съ кн. Вяземскимъ. — Готовность Николая Алексѣевича на услуги и его добрыя отношенія къ молодежи. — Бѣгичевъ и его романъ «Семейство Холмскихъ». — Работа Николая Алексѣевича надъ этимъ романомъ. — Неумѣстная деликатность Н. А. Полеваго и грустные результаты, къ которымъ она приводитъ.

Важную эпоху въ жизни Н. А. Полеваго составляютъ его труды въ области русской исторіи, результатомъ которыхъ явилась «Исторія русскаго народа». Неотлучный свидѣтель и другъ, которому повѣрялъ онъ всѣ свои идеи, всѣ намѣренія, я могу разсказать, какъ явилась и выполнялась мысль его. Это тѣмъ необходимѣе, что «Исторія русскаго народа» была поводомъ ко множеству клеветъ на моего брата, порицаній и всякихъ непріятностей для него. Здѣсь особенно необходимо возстановить истину.

Съ самыхъ юныхъ лѣтъ, братъ мой любилъ заниматься исторіею вообще и особенно русскою. Мы видѣли, что еще въ Иркутскѣ онъ читалъ и самъ писалъ историческія сочиненія, разумѣется, какъ дитя; въ 1811 и 1812 годахъ, покуда жилъ въ Москвѣ, онъ вздумалъ продолжать «Опытъ повѣствованій о Россіи», Елагина, конечно, плѣнившись славою, какою пользовалось тогда это сочиненіе; изъ Курска онъ уже посылалъ въ «Вѣстникъ Европы» историческія изслѣдованія о разныхъ предметахъ русской исторіи, и Каченовскій, знатокъ предмета, одобрялъ ихъ и печаталъ въ

своемъ журналѣ, отчего и завязалось ихъ знакомство, бывшее нѣсколько времени очень близкимъ. Когда, наконецъ, братъ мой могъ пользоваться всѣми учеными пособіями въ Москвѣ, онъ занялся подробнымъ разсмотрѣніемъ русскихъ лѣтописей, изучилъ важнѣйшія изслѣдованія о нихъ, и пріобрѣлъ такимъ образомъ обширныя свѣдѣнія въ исторіи старой Россіи. Шлецеровъ Несторъ и «Исторія Государства Россійскаго» были у него исписаны разными замѣтками. Иногда онъ писалъ отдѣльныя изслѣдованія изъ русской исторіи, и въ 1825 году, то есть ко времени изданія «Московскаго Телеграфа», былъ, конечно, однимъ изъ лучшихъ знатоковъ исторіи Руси, что̀ и доставило ему лестное знакомство и уваженіе такихъ знатоковъ нашей старины, какъ П. М. Строевъ, К. Ѳ. Калайдовичъ; да и самъ Каченовскій, покуда не злобствовалъ на него, отдавалъ ему справедливость. Все это было прежде начала «Московскаго Телеграфа», и, кажется, въ то время онъ былъ избранъ членомъ «Общества исторіи и древностей россійскихъ», слѣдовательно заслужилъ почетную извѣстность какъ дѣльный изслѣдователь и знатокъ любимаго имъ предмета. Припоминаю эти подробности, желая доказать событіями, что онъ не былъ поверхностнымъ любителемъ русской исторіи, а дѣйствительно зналъ ее, какъ ученый, изучалъ въ источникахъ, и пріобрѣлъ свѣдѣнія во всѣхъ ея отрасляхъ. Тому способствовалъ необыкновенный умъ его, который могъ глубоко проникать въ каждый изучаемый имъ предметъ, легко усвоивалъ себѣ матеріальную часть, то есть событія исторіи, и не довольствовался ими, а всегда глядѣлъ на предметъ съ новой стороны.

Изданіе журнала, особливо въ первые годы, отвлекло его отъ занятій русскою исторіею. Страшная, почти безпримѣрная полемика съ другими журналами, множество, такъ сказать, черной работы, неизбѣжной въ журналѣ, какъ-то: переводы, корректуры, исправленіе статей сотрудниковъ и тому подобное, — поглощали его время. Но когда полемика

пріутихла, когда черная работа въ журналѣ постепенно почти вся перешла ко мнѣ, такъ же, какъ и вся матеріальная часть, Николай Алексѣевичъ имѣлъ болѣе досуга для другихъ занятій.

Страстно слѣдя за успѣхами исторической науки въ Европѣ, братъ мой постепенно знакомился съ новыми взглядами на событія и прошедшее. Онъ писалъ въ своемъ журналѣ разборы историческихъ книгъ, являвшихся на русскомъ языкѣ, и книги эти уже до такой степени противорѣчили его взгляду, что онъ выражалъ всего чаще презрѣніе къ нимъ. Поймавъ слова его: «высшіе взгляды» на науки, противники Николая Алексѣевича привязались къ нимъ и усердно называли его «верхоглядомъ», осуждая себя рыться въ землѣ, гдѣ, сами не подозрѣвая того, они рыли могилу своимъ ветхимъ познаніямъ. Послѣднимъ блестящимъ представителемъ старой исторической школы былъ Карамзинъ, въ своей «Исторіи Государства Россійскаго»; но братъ мой съ полнымъ уваженіемъ защищалъ его отъ ничтожныхъ нападковъ «Вѣстника Европы». Это было еще въ 1825 году, когда одинъ изъ клевретовъ Каченовскаго усиливался доказать, что твореніе Карамзина ничѣмъ не лучше «Россійской исторіи» князя Щербатова. Намъ сказывали тогда же, что Карамзинъ, по обычаю своему не читавшій злобныхъ рецензій на свои сочиненія, прочелъ возраженіе, напечатанное въ «Московскомъ Телеграфѣ», и сказалъ:

— Я полагалъ, что Каченовскій пишетъ противъ меня дѣльнѣе: теперь радуюсь, что не читаю его критикъ.

Братъ мой уважалъ въ Карамзинѣ великаго писателя и высоко цѣнилъ услугу, оказанную имъ разборомъ и умною критикою матеріаловъ русской исторіи. Глядя на «Исторію Государства Россійскаго» какъ на великолѣпный и единственный памятникъ въ современной исторической литературѣ, братъ мой любилъ въ Карамзинѣ и человѣка, которому былъ обязанъ дорогими впечатлѣніями въ своей юности. Но всѣ прекрасныя качества любимаго писателя не ослѣ-

пляли его до такой степени, чтобы онъ не видѣлъ недостатковъ въ историческомъ его твореніи. Чѣмъ больше знакомился Николай Алексѣевичъ съ новыми взглядами европейскихъ изслѣдователей исторіи, тѣмъ яснѣе становились для него недостатки «Исторіи Государства Россійскаго». Но рѣшительное дѣйствіе произвелъ на него Нибуръ своею «Римскою исторіею».

Позвольте, благосклонный читатель, замѣтить здѣсь: не оказалъ ли великую услугу русскому просвѣщенію Н. А. Полевой однимъ тѣмъ, что онъ первый сталъ быстро знакомить нашу читающую публику съ замѣчательными явленіями и успѣхами европейскихъ литературъ? Нетрудно слѣдить за ними и пользоваться всѣми необыкновенными ихъ явленіями въ настоящее время, когда всѣ журналы, наперерывъ одинъ передъ другимъ, больше или меньше удачно—изъ какихъ бы ни было видовъ—пишутъ о всѣхъ замѣчательныхъ европейскихъ явленіяхъ въ литературѣ, представляютъ изъ нихъ извлеченія, даже предлагаютъ gratis своимъ подписчикамъ переводы многотомныхъ книгъ; но то ли было во время изданія «Московскаго Телеграфа?» Одинъ этотъ журналъ ставилъ первою своею обязанностью извѣщать обо всѣхъ важныхъ новостяхъ заграничной литературы, одинъ онъ указывалъ на замѣчательнѣйшія произведенія ея, словомъ, знакомилъ съ ними, и если ему сочувствовало новое поколѣніе, желавшее сбросить съ себя вериги схоластики и рутины, то какъ встрѣчали труды и всѣ усилія молодаго журналиста записные ученые и старые литераторы? Насмѣшками, бранью, осмѣяніемъ всѣхъ новыхъ идей! Надобно было много мужества и любви къ наукѣ, чтобы продолжать неблагодарный трудъ, ибо въ этомъ отношеніи противниками Н. А. Полеваго были не одни журналисты, но и профессоры, и ученые. Безпрестанно нападая на него и ославляя его верхоглядомъ, они повторяли это уже, какъ аксіому. Ссылаюсь на событія! Но онъ не унывалъ и безпрерывно, безостановочно продолжалъ трудиться,

предвидя еще не ясную для него цѣль—сблизить наши взгляды съ европейскими.

Въ дружескихъ бесѣдахъ съ Ф. М. Малевскимъ, товарищемъ и другомъ Мицкевича, также сблизившимся съ нами, какъ Мицкевичъ, Николай Алексѣевичъ впервые ознакомился съ идеями Нибура въ древней исторіи. Г. Малевскій, послѣ окончанія курса наукъ въ Виленскомъ университетѣ, жилъ довольно долго въ Берлинѣ, гдѣ, подъ руководствомъ знаменитыхъ профессоровъ, пополнилъ и усовершенствовалъ свои юридико-историческія познанія. Разговоры съ нимъ открыли много новаго, бывшаго до тѣхъ поръ незнакомымъ Николаю Алексѣевичу; но больше всего поразили его взгляды Нибура на первобытную исторію Рима, которые братъ мой, по свойству своего ума, сталъ примѣнять къ первоначальной исторіи Руси. Онъ не примѣнялъ ихъ къ нашей исторіи слѣпо, но составилъ себѣ о ней много новыхъ идей. Почти въ это же время онъ читалъ и, можно сказать, изучалъ историческія изслѣдованія Тіерри, совершенно измѣнившія взглядъ на первоначальную исторію Франціи и народовъ германскаго племени. Въ 1828 году, явились печатные курсы Гизо, Кузена, Вилльмена, и братъ мой перечитывалъ ихъ съ наслажденіемъ и, можно сказать, съ восторгомъ. Особенно Гизо увлекалъ его. Онъ съ такимъ же наслажденіемъ читалъ его знаменитые «Опыты объ исторіи Франціи» и другія историческія сочиненія. Незадолго передъ тѣмъ заслужила всеобщую славу Барантова «Исторія герцоговъ Бургундскихъ», гдѣ искусство излагать событія исторіи обогатилось новымъ пріобрѣтеніемъ. Въ журналахъ доктринеровъ: «Le Globe» и «La Revue française», помѣщались критики, двинувшія впередъ науку исторіи и замѣчательныя вообще обширнымъ взглядомъ и новыми идеями. Все это чрезвычайно занимало, увлекало Николая Алексѣевича, и хотя не вдругъ, но быстро измѣнило взглядъ его на исторію Россіи. Безсмертный трудъ Карамзина казался ему уже не только неудовлетворительнымъ, но даже искажающимъ мно-

гое въ нашей старой исторіи. Въ этой перемѣнѣ взгляда не должно видѣть легкомыслія: это было естественное явленіе въ умѣ человѣка, стремившагося во всемъ къ необходимымъ для успѣха преобразованіямъ. Могъ ли онъ, во всемъ шедшій впереди другихъ, только принять къ свѣдѣнію великія, открытыя великими умами историческія истины, и не воспользоваться ими для успѣховъ нашей исторіи? Николай Алексѣевичъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ твердыхъ, но лѣнивыхъ умовъ, которые весь вѣкъ свой копятъ сокровища свѣдѣній и все сбираются создать изъ нихъ что-то до тѣхъ поръ, пока дряхлость или смерть прекратитъ всяческую ихъ дѣятельность. Не рѣдкость встрѣтить людей ученыхъ, глубокомысленныхъ, но ничего не сдѣлавшихъ для успѣха общества или науки. Не таковъ былъ братъ мой, смѣлый вчинатель всякаго дѣла, въ которомъ онъ видѣлъ шагъ къ лучшему, успѣхъ. Не этимъ ли объясняется неугомонная его дѣятельность на другихъ путяхъ жизни, его ревностное участіе въ комитетахъ и совѣтахъ, куда призывали его къ участію[1]). Усвоивши себѣ новые взгляды на исторію, онъ жаждалъ примѣнить ихъ

[1]) Его избирали около этого времени въ члены разныхъ комитетовъ по городскому обществу, избрали въ члены мануфактурнаго совѣта, въ члены совѣта коммерческой академіи, и онъ не только принималъ на себя всѣ эти обязанности, но и занимался ими усердно. Одинъ комитетъ, учрежденный въ Москвѣ для пересмотра проекта новаго вексельнаго устава (это было въ началѣ 1828 года), засѣдавшій болѣе года, отымалъ у него много времени. Такъ же усердно и дѣятельно занимался онъ въ совѣтѣ коммерческой академіи, гдѣ былъ членомъ нѣсколько лѣтъ. Тутъ же еще онъ тратилъ довольно денегъ на неизбѣжныя пожертвованія. Въ мануфактурномъ совѣтѣ, во время выставки предметовъ промышленности, онъ и дежурилъ, и занимался пріемомъ и разстановкой вещей, онъ же составилъ и каталогъ выставленныхъ предметовъ. Напрасно я убѣждалъ его оставить всѣ подобныя занятія, которыя приносили ничтожную пользу и чаще всего оканчивались непріятностями; онъ увлекался при первомъ случаѣ дѣйствовать на пользу общую, какъ бы не видя, что въ современномъ состояніи общества это было невозможно, и что истиннымъ назначеніемъ его была литературная дѣятельность, отъ которой онъ только отвлекался всѣми этими членствами. К. П.

къ русской исторіи, и въ разговорахъ со мной, ближайшимъ совѣтникомъ своимъ, излагалъ такъ много новыхъ, свѣтлыхъ идей, что это увлекало и меня. Я вполнѣ одобрилъ его намѣреніе изложить эти новыя идеи въ историческомъ сочиненіи о Россіи; но онъ еще самъ не давалъ себѣ отчета, какое предпринять сочиненіе. Пылкость его была такова, что иногда онъ хотѣлъ избрать какой нибудь драматическій эпизодъ нашей исторіи, напримѣръ, царствованіе Іоанна Грознаго, или междуцарствіе, и изложить ихъ по-барантовски, или даже больше, въ видѣ компиляціи, написанной Жакобомъ Библіофиломъ о XVI столѣтіи; но онъ видѣлъ, что это было бы только игрушкой или чѣмъ-то въ родѣ фокусъ-покуса истиннаго историка. Онъ даже написалъ нѣсколько листовъ изъ жизни Іоанна Грознаго, прочиталъ ихъ мнѣ, и тутъ же разодралъ, сознавши, что не такъ надобно писать исторію, и особливо русскую, гдѣ событія не открываютъ въ простомъ разсказѣ своего истиннаго значенія, и гдѣ, сверхъ того, они затемнены выдумками и ложными взглядами, утвержденными всѣми нашими историками и даже самимъ Карамзинымъ. Обдумывая предметъ, занимавшій его, онъ рѣшилъ наконецъ для себя, что русская исторія приняла свой особый характеръ съ самаго начала, и что послѣдующія событія были только продолженіемъ того, что видимъ при самомъ началѣ Руси. Скандинавскіе удальцы завладѣли всѣмъ, начали распоряжаться покорившимися имъ народцами и всею Русскою землею, какъ своею отчиною, подѣлили ее, какъ одно обширное помѣстье, и призракъ великаго князя не мѣшалъ дробленію Руси, такъ что, наконецъ, въ ней исчезло единство, вышедшее потомъ уже изъ-подъ татарскаго ига, скрѣпленное вѣковыми бѣдствіями и еще долго тонувшее въ потокахъ крови, въ туманѣ злодѣйствъ и всякихъ преступленій. Такимъ образомъ это была исторія не государства, не наслѣдія какого нибудь великокняжескаго племени, а исторія народа, русскаго народа, который пережилъ восемь столѣтій, прежде нежели водво-

рилось у него государственное единство. Такую идею русской исторіи нельзя было изложить въ какомъ нибудь эпизодѣ, и Н. А. Полевой рѣшился написать Исторію русскаго народа, отъ начала его до новѣйшаго времени.

Предпріятіе его было смѣло, почти, можно сказать, дерзко. Могъ ли онъ совершить его, притомъ въ немного времени, какъ предполагалъ? Но увѣренность его въ своихъ силахъ была такова, что онъ не зналъ границъ возможнаго въ этомъ отношеніи. Съ одной стороны это недостатокъ, но, прибавимъ, неизбѣжный въ тѣхъ людяхъ, которые предназначены идти впереди другихъ. Развѣ колонна солдатъ, идущая взять огнедышащую батарею, увѣрена, что возьметъ ее? Но если она не пойдетъ почти на вѣрную погибель свою, то еще вѣрнѣе, что никогда не возьметъ батареи! Такъ разсуждаютъ и передовые люди, ободряющіе себя мыслію, что если удастся имъ совершить предпринимаемый подвигъ, то за него ожидаетъ ихъ и благо общества, и, можетъ быть, слава. Не осуждайте ихъ, а съ благодарностью пользуйтесь ихъ самопожертвованіемъ.

Николай Алексѣевичъ сначала предполагалъ,—и я убѣдительно совѣтовалъ ему,—написать русскую исторію не подробную, а въ видѣ очерка, въ размѣрѣ трехъ-четырехъ томовъ. Но когда онъ началъ свое сочиненіе, то каждое событіе, почти каждая подробность увлекали его, и онъ старался объяснить все, дать отчетъ во всемъ. При такомъ изложеніи были необходимы примѣчанія: они увеличили объемъ сочиненія. На замѣчаніе мое, что при такомъ изложеніи не будетъ границъ книгѣ, онъ отвѣчалъ, что подробности необходимы при началѣ, но дальше повѣствованіе пойдетъ сокращеннѣе. Такъ написалъ онъ два, три тома, и работа его шла чрезвычайно быстро, не смотря на то, что онъ не переставалъ заниматься журналомъ и не разставался съ разными другими отвлеченіями, о которыхъ я упоминалъ. Прочитывая написанное,—разумѣется, тѣмъ людямъ, которыхъ знаніямъ и вкусу онъ довѣрялъ,—Николай Алексѣе-

вичъ слышалъ самые одобрительные отзывы о своемъ трудѣ, и это заставляло его желать услышать мнѣніе публики. Во всякомъ случаѣ, важное сочиненіе столь извѣстнаго писателя, какимъ былъ онъ тогда, должно было возбудить сильное вниманіе. Мысль о томъ естественно подстрекаетъ самолюбіе всякаго писателя, а надобно сказать, что авторское самолюбіе моего брата было очень велико и оправдывалось литературными его успѣхами. Въ немного лѣтъ онъ сдѣлался любимцемъ публики, и если былъ въ войнѣ съ большею частью писателей, то видѣлъ въ то же время уваженіе достойнѣйшихъ своихъ современниковъ и горячую любовь къ себѣ молодаго поколѣнія, выражавшуюся при всякомъ возможномъ случаѣ. Вотъ для кого онъ работалъ и хотѣлъ поскорѣе издать свое сочиненіе, подѣлиться новымъ своимъ трудомъ съ тѣми, кого всегда имѣлъ въ виду, при всѣхъ своихъ литературныхъ занятіяхъ

Издать многотомное сочиненіе дѣло не легкое во всѣ времена и у самыхъ образованныхъ народовъ; но еще труднѣе это было у насъ, тридцать лѣтъ назадъ, когда книги расходились не тысячами экземпляровъ, такъ что второе, лучшее изданіе Исторіи Государства Россійскаго сѣло на рукахъ у издателей-книгопродавцевъ братьевъ Слѣнинныхъ, и окончательно было продано на рынокъ, послѣ смерти послѣдняго изъ нихъ. Изданіе нѣсколькихъ большихъ томовъ потребовало бы значительной суммы, какой не было у моего брата, а онъ нетерпѣливо хотѣлъ печатать новое свое сочиненіе. Оставалось одно средство: открыть подписку на полное изданіе, потому что еще не было въ обычаѣ издавать и продавать отдѣльно каждый отпечатанный томъ.

Не имѣя этого въ разсчетѣ и не предвидя возможности ждать окончанія своего труда, когда на изданіе потребовалась бы еще болѣе значительная сумма, братъ мой рѣшился печатать первый томъ Исторіи русскаго народа и въ то же время открыть подписку на нее. Конечно, это было единственное средство для изданія его книги; но онъ по-

ступилъ притомъ легкомысленно и безразсчетно, не смотря на всѣ мои предостереженія и совѣты. Если бы рукопись его сочиненія была окончена, или, по крайней мѣрѣ, былъ опредѣленъ размѣръ ея, то приблизительно можно было бы опредѣлить и время появленія ея въ свѣтъ, и назначить цѣну книги съ вѣрнымъ разсчетомъ. Но онъ еще самъ не зналъ объема ея, не могъ опредѣлить, когда онъ окончитъ ее, и обязался представить 12 томовъ за 40 рублей ассигнаціями! Онъ рисковалъ не исполнить принятой имъ на себя обязанности и назначилъ за книгу слишкомъ малую цѣну, которая не только не вознаграждала труда, но и не обезпечивала расходовъ на изданіе. Такъ и случилось, что онъ не окончилъ книги, и не получилъ отъ нея денежныхъ выгодъ; но хуже всего было то, что предпріятіе его, благородное и прекрасное по своему происхожденію, приняло видъ спекуляціи, почти шарлатанства, и противникамъ его открылось обширное поле для нападеній, укоризнъ и порицаній всякаго рода. Я не оправдываю моего брата въ этомъ случаѣ: обвиняю его въ неосторожности, въ легкомыслiи, и если угодно въ самонадѣянности; но какъ ближайшій къ нему человѣкъ, повѣренный всѣхъ его намѣреній и помышленій, ручаюсь, что онъ дѣйствовалъ безъ всякихъ корыстолюбивыхъ разсчетовъ, былъ увѣренъ, что исполнитъ обѣщанное имъ, и могъ бы исполнить это, если бы не увлекался новыми стремленіями и не развлекалъ себя множествомъ посторонникъ работъ и занятій. Я слишкомъ долго не убѣждался, что въ этомъ отношеніи онъ былъ неизлѣчимъ; я еще не давалъ себѣ отчета, что сила его заключалась въ многосторонности, а не въ постоянствѣ, и впослѣдствіи былъ приведенъ къ сознанію въ томъ горькимъ собственнымъ опытомъ.

Я не стану судить здѣсь о достоинствѣ Исторіи русскаго народа. При появленіи въ свѣтъ каждаго тома ея, она подвергалась самымъ пристрастнымъ осужденіямъ, такъ что враги Николая Алексѣевича, какъ, напримѣръ, Пого-

динъ и Надеждинъ, не разбирали, а поносили и ругали ее, или, вѣрнѣе, ругали ея автора. Но безпристрастные люди находили и находятъ въ ней первый опытъ истинной исторіи Россіи. Новое поколѣніе ученыхъ изслѣдователей нашей исторіи видитъ въ ней много свѣтлыхъ идей и взглядовъ, и первую мысль объ исторіи народа. Я увѣренъ, что потомство оцѣнитъ еще болѣе этотъ трудъ и укажетъ на всѣ открытія и объясненія, которыми наполнены изданные моимъ братомъ томы Исторіи русскаго народа. Сами враги его, внутренно сознаваясь въ томъ, невольно высказывали, что въ этой книгѣ есть новые взгляды, вѣрныя объясненія извѣстныхъ событій и что она представляетъ Русь не въ томъ видѣ, какъ представляли ее прежніе наши историки. Можно ли понимать иначе обвиненіе, что нѣкоторые взгляды моего брата были заимствованы у Гизо? Стало быть, это было нѣчто новое? и почему же не долженъ былъ онъ заимствовать у Гизо, у Тіерри, у Нибура все, что примѣняется къ общему у всѣхъ народовъ объясненію событій? До извѣстной степени и въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, всѣ народы, имѣющіе исторію, развивались одинаково, потому что человѣкъ одинаковъ всегда и вездѣ, и въ древнемъ Римѣ, и въ Россіи, и въ Германіи. Тіерри подтвердилъ неоспоримыми доказательствами мысль свою, что исторія каждаго народа начинается завоеваніемъ. Не видимъ ли этого и въ покореніи славянъ варягами? Не было ли мнимое призваніе норманскихъ князей просто завоеваніемъ? Еще Карамзинъ видѣлъ безпримѣрное событіе въ томъ, что народъ по волѣ призываетъ къ себѣ властителей, мѣняетъ свободу на рабство; но если бы даже ильменскіе славяне и дѣйствительно призвали княжить у нихъ Рюрика и братьевъ его, то развѣ эти молодцы не покоряли потомъ оружіемъ и вѣроломствомъ другія племена, обитавшія на Русской землѣ. Согласимся, наконецъ, что объясненіе начала Руси требуетъ еще многихъ изслѣдованій; но развѣ это мѣшаетъ видѣть въ мысли Тіерри, примѣненной къ

началу Руси, новое и богатое пріобрѣтеніе въ сокровищницѣ нашей исторіи? Пусть всѣ наши изслѣдователи примѣняютъ такъ удачно чужія мысли и открытія великихъ историковъ къ нашей исторіи — они заслужатъ только благодарность. Я увѣренъ, что потомство будетъ благодарно и моему брату за подобныя заимствованія. Всегда неосторожный, онъ возставилъ противъ себя новую бурю еще однимъ неосторожнымъ дѣйствіемъ. Незадолго до появленія Исторіи русскаго народа, былъ напечатанъ 12-й, не совсѣмъ оконченный томъ Исторіи Государства Россійскаго. Карамзинъ, скончавшійся въ 1826 году, былъ уже передъ судомъ не современниковъ, а потомства. Между тѣмъ, именно въ то время, когда онъ дописывалъ свое безсмертное сочиненіе, совершился крутой, безпримѣрный переворотъ въ понятіяхъ объ исторіи. Отъ сочиненій историческихъ стали требовать не одного искусства въ изложеніи, не одной безпристрастной изыскательности, но и вѣрной оцѣнки событій, вѣрной характеристики каждаго вѣка, вѣрнаго изображенія историческихъ лицъ. Извѣстно, что этихъ качествъ нѣтъ въ твореніяхъ Карамзина. Онъ глядѣлъ на самыя отдаленныя событія съ современной ему точки зрѣнія, изображалъ историческія лица, какъ современныхъ героевъ, и больше всего заботился быть изящнымъ въ изложеніи, избравъ себѣ образцами древнихъ историковъ Рима. Еще въ Письмахъ русскаго путешественника высказалъ онъ свою теорію, и остался вѣренъ ей въ Исторіи Государства Россійскаго, гдѣ эпическій разсказъ его, образцовый по языку и изложенію, почти вездѣ придаетъ ложный характеръ событіямъ и лицамъ. Въ 12-мъ томѣ есть мѣста умилительныя, страницы, написанныя великимъ мастеромъ, но паѳосъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доведенъ до крайности, и самый языкъ образцоваго нашего прозаика становится изысканнымъ, надутымъ. Помню, какъ мы смѣялись, безпрестанно встрѣчая въ 12-мъ томѣ стратиговъ, доблестныхъ мужей, или читая описаніе подвиговъ новгородскаго попа, который му-

жествовалъ одинъ, и т. п. Разумѣется, подъ вліяніемъ такихъ впечатлѣній, послѣ внимательнаго изученія русской исторіи въ источникахъ и уже составивши себѣ совсѣмъ другую теорію исторіи вообще, братъ мой не могъ безусловно хвалить Исторію Государства Россійскаго и, разбирая 12-й томъ въ своемъ журналѣ, коснулся вообще недостатковъ этого творенія, хотя въ то же время отдавалъ всю справедливость достоинствамъ его. Но у Карамзина были поклонники безусловные, и къ числу ихъ принадлежали,—увы!—князь Вяземскій и Пушкинъ, не говоря уже о цѣлой фалангѣ друзей и современниковъ Карамзина. Князь Вяземскій, воспитанникъ и потомъ другъ исторіографа, питалъ къ нему родственную любовь и не хотѣлъ видѣть недостатковъ въ его сочиненіяхъ. А до какой степени простиралось благоговѣніе родныхъ къ этому незабвенному человѣку, можетъ показать слѣдующій анекдотъ, случившійся на моихъ глазахъ. Мы находились въ самыхъ искреннихъ, почти ежедневныхъ сношеніяхъ съ княземъ Вяземскимъ, когда—уже послѣ смерти Карамзина—князь присылаетъ къ моему брату нарочнаго, съ запиской, гдѣ пишетъ, что къ нему пріѣхали изъ Петербурга Карамзины, у которыхъ принято, какъ святое правило, прочитывать каждый день нѣсколько страницъ изъ Исторіи Государства Россійскаго. «Мой экземпляръ въ Остафьевѣ,—писалъ князь,—и потому пришлите мнѣ какіе нибудь томы «Исторіи Государства Россійскаго». Братъ мой, самъ безпрестанно имѣя надобность въ этой книгѣ, не хотѣлъ подѣлиться собственнымъ экземпляромъ, и, вспомнивъ, что въ сундукѣ Ходаковскаго есть два-три тома 1-го изданія Исторіи Государства Россійскаго, вынулъ ихъ и отослалъ къ князю Вяземскому. Не знаю, забылъ ли онъ, или вовсе не заглядывалъ въ затасканныя книги Ходаковскаго, и потому не зналъ, что томы Карамзина были у этого чудака съ разными, писанными имъ на поляхъ замѣтками, иногда циническими и вообще нисколько не хвалебными. На другой же день князь Вя-

земскій возвратилъ посланные къ нему томы, и въ запискѣ притомъ выражалъ неудовольствіе за плохую шутку, сыгранную съ нимъ и чуть не поссорившую его съ Карамзиными. Въ самомъ дѣлѣ можно представить себѣ, какой ужасъ и негодованіе произвели въ нихъ грубыя порицанія противъ обожаемаго человѣка, написанныя на самомъ твореніи его! Братъ мой поспѣшилъ извиниться передъ княземъ Вяземскимъ въ своей ненамѣренной оплошности, и миръ водворился попрежнему, когда братъ объяснилъ, какъ было дѣло. Но если одно простое, невольное указаніе на какіе нибудь недостатки въ Исторіи Государства Россійскаго могло поссорить съ почитателями памяти Карамзина, то какое дѣйствіе должна была произвести основательная критика, гдѣ въ первый разъ твореніе его было представлено, какъ неудовлетворительное для новыхъ требованій науки? И кто же писалъ такую критику? Человѣкъ, до тѣхъ поръ изъявлявшій безграничное уваженіе къ труду исторіографа. Слѣпое пристрастіе не могло внушить обожателямъ Карамзина, что критикъ его, при измѣнившемся отъ новыхъ изслѣдованій взглядѣ своемъ, не долженъ же былъ оставаться при своихъ прежнихъ понятіяхъ, и наперекоръ новымъ убѣжденіямъ хвалить безусловно то, въ чемъ видѣлъ коренные недостатки. Онъ былъ журналистъ, онъ былъ обязанъ сказать свое мнѣніе объ одномъ изъ важнѣйшихъ явленій современной литературы Онъ исполнилъ это добросовѣстно и съ обыкновенною своею смѣлостью. Вотъ, если бы онъ поступилъ иначе, то есть хвалилъ то, что находилъ неудовлетворительнымъ, должно было бы порицать его и видѣть въ немъ лицемѣра. Но, повторяю, у Карамзина были почитатели,—нѣтъ, мало сказать почитатели,—обожатели, и совсѣмъ не рѣзко примѣняются къ нимъ слова, что они лелѣяли въ себѣ слѣпое пристрастіе къ нему. Довольно вспомнить, что Пушкинъ находилъ его безусловно мудрымъ и совершеннымъ; Жуковскій не довольствовался этимъ: въ стихотвореніи своемъ: «Къ И. И. Дмит-

ріеву» (т. IV, стр. 139, изд. 1849 г.), онъ велитъ молиться ему и называть святымъ. Князь Вяземскій, когда прочелъ въ «Московскомъ Телеграфѣ» критику творенія Карамзина, разстался навсегда съ братомъ моимъ, хотя лучше, нежели кто другой, могъ знать и оцѣнить достоинства его ума и души. Я называю здѣсь трехъ главнѣйшихъ и благороднѣйшихъ писателей того времени. Надобно ли послѣ этого называть другихъ, которые общимъ хоромъ признали, что Н. А. Полевой дерзкій вѣроломецъ, предатель, словомъ — преступникъ, достойный всесожженія? Это явно кричали добрые и сантиментальные фанатики Карамзина, какъ, напримѣръ, Иванчинъ-Писаревъ, князь Шаликовъ, и т. п.

И пусть бы добрые, безпристрастные въ другихъ отношеніяхъ люди заблуждались отъ убѣжденія искренняго въ большей части. Но къ нимъ присоединилась та многочисленная толпа противниковъ Н. А. Полеваго, которая во всемъ видитъ только разсчетъ корыстолюбія. Когда было объявлено объ изданіи Исторіи русскаго народа, враги автора ея тотчасъ вывели сближеніе, что онъ для того незадолго выставилъ Исторію Государства Россійскаго неудовлетворительною, чтобы дать ходъ своей книгѣ. Я передаю здѣсь эту барышническую мысль въ скромныхъ выраженіяхъ; но московскіе журналы, непріязненные «Московскому Телеграфу», истощали всю желчь и злобу свою, доказывая корыстолюбивые разсчеты моего брата при изданіи Исторіи русскаго народа. Тошно вспомнить, до чего унижались они въ порицаніяхъ! Я назвалъ неосторожностью со стороны Ник. Ал. напечатаніе критики Исторіи Государства Россійскаго, особливо въ то время, когда онъ самъ готовился издавать сочиненіе о томъ же предметѣ. Прибавлю, что честный человѣкъ всего скорѣе впадетъ въ такую ошибку или въ неосторожность, потому что собственно это ошибка противъ такой разсчетливости, которая не придетъ ему въ голову. Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ съ развращеннымъ воображеніемъ избѣгаетъ самаго невиннаго

двусмыслія или двусмысленнаго сближенія, даже слова; напротивъ, человѣкъ честный смѣло высказываетъ тѣ слова, которыя вѣрнѣе выражаютъ его мысль, и не заботится о кривомъ толкованіи ихъ. Такъ и въ поступкахъ. Нравственный іезуитъ никогда не сдѣлаетъ публично того, что могутъ перетолковать въ ущербъ его наружной чистотѣ; человѣкъ прямодушный, напротивъ, и не вспомнитъ о томъ, что̀ скажутъ другіе о его поступкѣ, когда онъ дѣйствуетъ по чистому побужденію. И неужели братъ мой, столь проницательный въ дѣлахъ ума, долженъ былъ удержаться отъ желанія сказать правду о сочиненіи Карамзина, если бы даже предвидѣлъ, что это перетолкуютъ какъ дурной поступокъ? Но такіе разсчеты никогда не были побужденіями для его поступковъ. Побужденіе его было просто — высказать глубоко-прочувствованную правду, а для человѣка прямодушнаго это почти необходимо, когда мнѣніе его, какъ онъ полагаетъ, можетъ исправить ложное мнѣніе, сложившееся о данномъ предметѣ. Я увѣренъ, что каждый честный человѣкъ испытывалъ отрадное чувствованіе, когда высказывалъ лежавшую на душѣ его правду. Это для него обязанность, почти упоительная, усладительная при исполненіи, и уклониться отъ нея не заставятъ его никакія, даже предвидимыя имъ противорѣчія людей пристрастныхъ.

Я тѣмъ больше обязанъ въ этомъ случаѣ оправдывать моего брата, что самъ много разъ дѣйствовалъ такъ же безразсчетно, или неосторожно по мнѣнію свѣта. Лучшіе изъ моихъ друзей, очень недавно, обвиняли меня, что я напалъ на Бѣлинскаго, въ то самое время, когда во всѣхъ газетахъ провозглашали его геніемъ, великимъ человѣкомъ, двигателемъ цѣлыхъ поколѣній. «Какая надобность, и какая польза была тебѣ возстановлять противъ себя всѣхъ? Тебя только заругали, и ты много потерялъ въ мнѣніи большинства, не говоря уже о потерѣ и другихъ, существенныхъ выгодъ». Что-жъ дѣлать! слишкомъ тридцать пять лѣтъ дѣйствовалъ я на литературномъ поприщѣ, всегда

имѣя въ виду истину и общую пользу и не думая о своихъ личныхъ выгодахъ, когда шло дѣло объ опроверженіи ложныхъ ученій и корыстныхъ похвалъ идоламъ толпы. Надѣюсь остаться до смерти неисправимымъ въ этомъ отношеніи и утѣшаю себя мыслію, что мое мнѣніе о Бѣлинскомъ восторжествуетъ окончательно надъ безумными или лицемѣрными хвалами ему. И теперь уже начинаютъ образумливаться на счетъ его; начинаютъ въ журналахъ высказывать, что онъ не былъ благодѣтельный геній, и робко указываютъ на его недостатки. Придетъ время, что подтвердятъ вполнѣ мое мнѣніе и перестанутъ приписывать ему то, чего въ немъ не было. Разъ высказанная правда не умираетъ. Какъ согласились впослѣдствіи съ мнѣніемъ моего брата объ историческомъ трудѣ Карамзина, такъ согласятся со мною въ мнѣніи о Бѣлинскомъ, о которомъ придется мнѣ говорить еще и въ этихъ запискахъ. «Да вѣдь онъ не былъ твоимъ врагомъ?»—говорятъ мнѣ мои пріятели.—«Онъ отзывался о твоихъ сочиненіяхъ такъ лестно, какъ о немногихъ другихъ; гдѣ же поводъ противорѣчить хотя бы и преувеличеннымъ похваламъ ему?» Какъ согласить такое убѣжденіе съ моимъ, которое говоритъ мнѣ, что я тѣмъ больше въ правѣ говорить о немъ безпристрастно, что при жизни его никогда не имѣлъ повода ссориться съ нимъ, и за печатныя хвалы его не могу питать непріязни къ его памяти. Я уважалъ въ немъ честнаго, хотя иногда сумасшедшаго, больнаго человѣка, и очень хорошо оцѣниваю литературныя его достоинства, также, какъ недостатки. Словомъ, я потому могу и долженъ писать о немъ, что могу писать безпристрастно.

Переходя отъ общественной и литературной жизни Николая Алексѣевича къ его жизни домашней, я долженъ сказать, что онъ былъ самый гостепріимный, самый радушный хозяинъ и особенно любилъ ласкать, кормить и всячески ободрять молодыхъ людей, которые ему нравились или въ которыхъ онъ видѣлъ какія нибудь дарованія или

добрыя стремленія. Нѣсколькихъ молодыхъ людей воспитывалъ братъ мой на свой счетъ; могу даже назвать двоихъ изъ нихъ, потому что они уже оба умерли: это были дѣти Акима Алексѣевича Титова, нѣкогда воспитанника моего отца. Я упоминалъ о Титовѣ при описаніи нашихъ дѣтскихъ лѣтъ; а о двухъ сыновьяхъ его, воспитывавшихся на счетъ моего брата, можно навести справки въ архивѣ московской коммерческой академіи, куда братъ мой платилъ за нихъ деньги. Другихъ пансіонеровъ его не называю, сохраняя понятную скромность въ отношеніи къ здравствующимъ въ семъ свѣтѣ. Могу замѣтить, наконецъ, что составился бы порядочный капиталъ изъ тѣхъ денегъ, которыя братъ мой давалъ въ займы (безъ отдачи!) своимъ знакомымъ десятками и даже сотнями рублей и, разумѣется, почти никогда не получалъ обратно. Въ бумагахъ его сохранились до сихъ поръ, хотя немногія росписки, которыхъ онъ никогда не требовалъ; но заемщики—великолѣпныя и донынѣ здравствующія лица!—говорили: «нѣтъ, нѣтъ, для порядку это необходимо!» Я бывалъ свидѣтелемъ такихъ сценъ, и росписки остаются только доказательствомъ, что деньги по нимъ никогда не были выплачены. Безъ доказательствъ, можетъ быть, стали бы противорѣчить моимъ словамъ клеветники моего брата, печатно укорявшіе его въ корыстолюбіи и, по волѣ Провидѣнія, пережившіе своего врага. Н. А. Полевой—корыстолюбецъ! Это такъ нелѣпо для людей, хорошо знавшихъ его, что даже не стоитъ опроверженія. Потому-то я и привожу здѣсь для изображенія его событія: они краснорѣчивѣе всякихъ сужденій показываютъ, что онъ былъ великодушенъ, готовъ на услугу всякому и часто съ забвеніемъ собственныхъ своихъ выгодъ. Въ свѣтѣ называютъ такихъ людей безразсчетными.

Кто зналъ моего брата, какъ я, тотъ признаетъ во многихъ дѣйствіяхъ его недостатокъ, противоположный корыстолюбію—безкорыстіе, иногда доходившее до безразсудства, безкорыстіе не святаго безсребренника, а простофили, или

человѣка, до такой степени щекотливаго въ денежныхъ интересахъ, что, казалось, иногда онъ дѣйствуетъ во вредъ себѣ изъ какого-то пустаго самолюбія или чванства, неумѣстнаго и виновнаго въ томъ отношеніи, что это подрывало благосостояніе и спокойствіе всего его семейства. Я опишу одинъ случай такого рода, любопытный и какъ литературное событіе.

Братъ мой, бывши членомъ комитета о пересмотрѣ проекта вексельнаго устава, сблизился съ Д. Н. Бѣгичевымъ, который также былъ членомъ того же комитета, служилъ когда-то въ военной службѣ и, вышедши въ отставку полковникомъ, уже много лѣтъ жилъ на отдыхѣ, блаженствуя лѣтомъ въ деревнѣ, а зимою въ Москвѣ. Онъ принадлежалъ къ тѣмъ изъ русскихъ дворянъ, которыхъ типъ изобразилъ Грибоѣдовъ въ своемъ Платонѣ Михайловичѣ. Я слышалъ даже, что въ Платонѣ Михайловичѣ Грибоѣдовъ представилъ Д. Н. Бѣгичева, съ которымъ, а еще больше съ братомъ его Степаномъ Никитичемъ, онъ оставался въ большой дружбѣ до самой своей смерти. Дмитрій Никитичъ, отличавшійся необыкновеннымъ добродушіемъ въ обхожденіи, казалось, долженъ былъ навсегда остаться добрымъ московскимъ семьяниномъ, когда положеніе его вдругъ перемѣнилось. Сослуживецъ и пріятель его въ старыя времена, Арсеній Андреевичъ Закревскій, уже графъ и министръ внутреннихъ дѣлъ, не знаю по какому побужденію предложилъ Д. Н. Бѣгичеву занять мѣсто губернатора въ одной изъ русскихъ губерній. Такъ говорилъ намъ объ этомъ самъ Бѣгичевъ; но вѣроятнѣе, что онъ, во имя старой пріязни, просилъ графа Закревскаго о хорошемъ мѣстечкѣ, и тотъ истинно попріятельски исполнилъ его просьбу: изъ полковниковъ въ отставкѣ, Бѣгичевъ былъ переименованъ въ статскіе совѣтники и назначенъ губернаторомъ Воронежской губерніи. Сбираясь къ отъѣзду туда, въ новомъ своемъ санѣ, Бѣгичевъ нѣсколько разъ заѣзжалъ къ брату моему, изъявляя ему самую искреннюю пріязнь и даже со-

вѣтуясь кое-о-чемъ.. Помню, что Николай Алексѣевичъ не разъ говорилъ мнѣ, покачивая головой: «Не знаю, какъ этотъ добрякъ справится съ такимъ обширнымъ и разнообразнымъ управленіемъ, какъ губернаторское!» Онъ ошибался: добрякъ справился съ управленіемъ, и даже возвысился на губернаторскомъ мѣстѣ! Но рѣчь не о томъ, а объ отношеніяхъ его къ брату моему, за которымъ онъ ухаживалъ въ это время чрезвычайно; вскорѣ объяснилось—съ какою цѣлью. Уже послѣ большаго прощальнаго обѣда, оживленнаго веселостью и говорливостью любезнѣйшаго изъ собесѣдниковъ, Дениса Давыдова, чуть ли не наканунѣ своего отъѣзда въ Воронежъ, Бѣгичевъ еще заѣхалъ къ Николаю Алексѣевичу, сидѣлъ у него долго, и между искренними разговорами робко сознался, что онъ—авторъ, что у него, между прочимъ, оконченъ большой романъ, взятый изъ современныхъ событій и изображающій извѣстныя всей Россіи лица, но что онъ не смѣетъ издать его безъ одобренія знатока въ литературѣ; потому проситъ Николая Алексѣевича просмотрѣть его рукопись и, если онъ найдетъ ее достойною издать, предоставляетъ ему полное право исправлять и измѣнять ее, какъ онъ признаетъ за лучшее. Отказаться было нельзя, и на другой же день братъ мой получилъ цѣлую кипу мелкоисписанной бумаги: это была рукопись Семейства Холмскихъ. Кажется, даже онъ не успѣлъ послѣ этого свидѣться съ новымъ неожиданнымъ авторомъ, который какъ будто остерегался личнаго объясненія о своей рукописи. Кому случалось заниматься пересмотромъ плохихъ рукописей, тотъ знаетъ, какая это скучная и утомительная работа.

Трудно было даже прочитать до конца груду бумаги, присланной Бѣгичевымъ. Однако, братъ мой, при своей способности оцѣнивать всякія литературныя произведенія, одолѣлъ трудъ и нашелъ, что сочиненіе Бѣгичева, написанное безграмотно и безъ всякаго искусства, заключаетъ въ себѣ многія любопытныя картины и подробности, взятыя

съ натуры, что анекдоты объ извѣстныхъ лицахъ и разныя ихъ продѣлки понравятся нашей публикѣ, жадной ко всякимъ общественнымъ сплетнямъ (за неимѣніемъ лучшаго), и что книга можетъ имѣть успѣхъ, если напечатать ее въ приличномъ видѣ. Въ этой предварительной оцѣнкѣ прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и Бѣгичевъ, въ дружескихъ письмахъ къ моему брату, уже спрашивалъ объ участи своей рукописи. Тотъ отвѣчалъ ему, наконецъ, что находитъ ее любопытною и достойною напечатанія, но не иначе какъ съ большими измѣненіями. Несамолюбивый авторъ обрадовался и просилъ его принять на себя трудъ пересмотра и изданія, снова уполномочивая дѣйствовать во всемъ этомъ по усмотрѣнію. Братъ мой взялся исполнить порученіе его, по своему обыкновенію, безъ дальнихъ соображеній; но, развлекаемый множествомъ собственныхъ своихъ занятій, могъ посвящать новому, скучному труду лишь немногіе часы, отрывая ихъ отъ трудовъ болѣе важныхъ. Работа была прескучная, преутомительная: оказывалось необходимымъ испещрять каждую страницу грамматическими поправками, а многія страницы, наполненныя нелѣпостей и безвкусія, вовсе исключать, замѣняя чѣмъ нибудь новымъ связь въ разсказѣ. Иногда братъ призывалъ на помощь меня, и я перечертилъ и исправилъ многія тетради безконечной рукописи Бѣгичева. Разумѣется, что все это не могло идти скоро: скука и тоска занятія иногда надолго отвращали отъ него. Между тѣмъ братъ мой напечаталъ въ своемъ журналѣ нѣсколько отрывковъ изъ романа неизвѣстнаго автора (это было строжайшимъ условіемъ), и они обратили на себя вниманіе, какъ снимки съ натуры и съ извѣстныхъ оригиналовъ. Особенно понравились разсказы объ одномъ генералъ-губернаторѣ и объ одномъ предводителѣ дворянства, которыхъ по именамъ называли московскіе Репетиловы. Книгопродавецъ Ширяевъ, поощренный говоромъ о новой книгѣ, предложилъ Николаю Алексѣевичу напечатать ее на свой счетъ съ тѣмъ, чтобы все изданіе было отдано

ему на комиссію. Такъ она и была напечатана, когда, наконецъ, пересмотрѣна была вся рукопись, послѣ тяжкаго утомленія и скуки для моего брата, который еще и въ корректурѣ исправлялъ драгоцѣнную рукопись Бѣгичева. Но она явилась въ свѣтъ въ благоприличномъ видѣ, съ легкимъ языкомъ, предшествуемая молвою, и удостоилась успѣха неожиданнаго. Первое изданіе было вскорѣ распродано, и Ширяевъ купилъ право на второе, уже за нѣсколько тысячъ рублей. Кажется, и третье изданіе проходило черезъ руки Николая Алексѣевича; но, такъ или иначе, онъ выручилъ для Бѣгичева чистаго барыша тысячъ двадцать рублей и, что̀ было еще важнѣе, составилъ ему литературное имя, потому что инкогнито, разумѣется, сохранилось недолго: всѣ знали, что Семейство Холмскихъ сочинилъ воронежскій губернаторъ Д. Н. Бѣгичевъ.

Позволяю себѣ спросить читателя: имѣлъ ли право Н. А. Полевой получить за свой тяжелый трудъ, за потерянное на него время и за искусство, съ какимъ онъ далъ ходъ книгѣ, созданной имъ изъ грубыхъ матеріаловъ,— имѣлъ ли онъ право получить вознагражденіе и даже требовать его? Кажется, тутъ не можетъ быть разногласнаго отвѣта. Всякій трудъ требуетъ вознагражденія, а благосклонная услуга, доставившая много тысячъ рублей, обязываетъ того, кому она оказана, подѣлиться пріобрѣтенною выгодою. Но братъ мой и Бѣгичевъ, каждый съ своей стороны, поступили иначе. Бѣгичевъ, конечно, и не мечталъ получить денежную выгоду, ласкаясь только пріобрѣсти какую нибудь авторскую извѣстность; но когда онъ увидѣлъ неожиданно, какъ упавшую съ неба, груду денегъ, тѣмъ больше, казалось бы, долженъ былъ предложить хоть половину ея тому, кто доставилъ ему, своимъ трудомъ и пособіемъ, неожиданное и очень пріятное пріобрѣтеніе. Онъ не заикнулся о томъ, ограничиваясь тысячью благодарностей въ письмахъ къ моему брату; а этотъ, вмѣсто того, чтобы просто требовать справедливаго вознагражденія за

трудъ и за услугу, доставившіе не одну денежную выгоду безсовѣстному его пріятелю,—и не заикнулся написать ему о томъ.

Я не вмѣшивался въ его разсчеты съ Бѣгичевымъ, потому что въ это время я и братъ жили уже въ разныхъ домахъ, видѣлись не каждый день, и послѣ многихъ споровъ о его безразсчетности, уговорились вести вмѣстѣ только дѣла по изданію журнала. Самъ сдѣлавшись семьяниномъ, я не могъ, какъ было впродолженіе многихъ лѣтъ, безотчетно предоставлять ему свою будущность и былъ бы благоразуменъ, если бы никогда не отступалъ отъ этой рѣшимости.

Бѣгичевъ, еще оставаясь воронежскимъ губернаторомъ, проѣзжалъ черезъ Москву въ Петербургъ и видѣлся съ моимъ братомъ. Послѣ этого свиданія Николай Алексѣевичъ съ огорченіемъ пересказалъ мнѣ свои отношенія къ автору Семейства Холмскихъ. Изъ вырученныхъ за его книгу денегъ онъ не доплатилъ ему четыре или пять тысячъ рублей, и вмѣсто того, чтобы потребовать вознагражденія за свой трудъ, просилъ его подождать полученія остальныхъ денегъ, надѣясь, какъ говорилъ братъ мой, что тотъ самъ предложитъ ему хоть часть пріобрѣтенной его же трудомъ суммы, въ знакъ своей благодарности. Напротивъ, Бѣгичевъ задумался, и потомъ очень равнодушно сказалъ: «Ну, что же, въ остальной суммѣ вы дадите мнѣ заемное письмо, пожалуй, хоть на годъ. Я не имѣю надобности въ деньгахъ». Если бы онъ сказалъ это брату моему при мнѣ, я не удержался бы обличить и упрекнуть неблагодарнаго корыстолюбца. Но братъ мой безспорно согласился и выдалъ ему заемное письмо на себя. Выслушавши эту исторію, я напалъ на моего брата, обвиняя его въ неумѣстномъ потворствѣ корыстолюбивой безсовѣстности, и еще больше въ томъ, что онъ представилъ себя какъ бы виноватымъ въ задержкѣ чужихъ денегъ. Но дѣло было сдѣлано, и оставалось подвергнуться послѣдствіямъ его, а они оказались очень не сладки и для брата моего, и для меня. Чтобы не

возвращаться къ этой грустной исторіи, я доскажу ее здѣсь, нарушая хронологическій порядокъ моего разсказа. Братъ мой, нуждаясь въ деньгахъ, не могъ заплатить въ срокъ по заемному письму Бѣгичева, и тотъ, проѣзжая въ Петербургъ на службу, гдѣ получилъ онъ высшее мѣсто, благосклонно согласился переписать письмо, съ прибавленіемъ къ суммѣ процентовъ за все протекшее время и за будущее до новаго срока. Проценты назначилъ онъ не банковскіе, а ростовщическіе, отчего сумма вдругъ возросла невѣроятно. Такъ переписывалось заемное письмо нѣсколько разъ, и въ 1842 или 1843 году долгъ моего брата Бѣгичеву возвысился отъ процентовъ до десяти тысячъ рублей. Заплатить его, послѣ прекращенія «Московскаго Телеграфа» въ 1834 году, не было никакой возможности. Между тѣмъ, Николай Алексѣевичъ переселился въ Петербургъ и уже былъ въ холодныхъ отношеніяхъ съ Бѣгичевымъ, который не оказывалъ ему прежней дружбы, обходился съ нимъ, наконецъ, какъ непріятель, и когда, зимою 1842—1843 года пришелъ новый срокъ по заемному письму, онъ представилъ его ко взысканію въ полицію, то есть готовился посадить моего брата въ тюрьму, ибо зналъ, что у него нѣтъ для платежа денегъ. Видя себя въ такомъ отчаянномъ положеніи, Николай Алексѣевичъ экстренно написалъ ко мнѣ, чтобы я взялся немедленно заплатить за него Бѣгичеву 5,000 рублей ассигнаціями и прислалъ бы увѣдомительное письмо о томъ; что въ такомъ случаѣ Бѣгичевъ перешлетъ въ Москву своему повѣренному два заемныя письма, для полученія по нимъ означенной суммы, а остальной долгъ соглашается отсрочить. Я имѣлъ тогда въ Москвѣ книжную торговлю, и съ насиліемъ себѣ могъ исполнить просьбу моего брата. Долженъ ли былъ я исполнить ее, или оставить его на жертву безсовѣстному ростовщику? Въ надеждѣ на помощь Божью, я немедленно отвѣчалъ моему брату, что заплачу 5,000 рублей, и чтобы онъ только обезопасилъ себя отъ новыхъ притѣсненій добряка. Черезъ нѣсколько дней послѣ

этого явился ко мнѣ повѣренный Бѣгичева, г. Наумовъ, кажется, бывшій оберъ-секретаремъ въ сенатѣ, и предъявилъ два заемныя письма, каждое въ 2,500 рублей ассигнаціями, данныя Н. А. Полевымъ его довѣрителю, протестованныя по неплатежу въ срокъ. Отдавая г. Наумову деньги, я спросилъ его: «Знаете ли вы, за что получаетъ ихъ Бѣгичевъ?»— «За Холмскихъ»,—отвѣчалъ онъ.—«Нѣтъ, стало быть, вы не знаете, что это, просто, грабежъ, а поводомъ къ нему была глупая деликатность моего брата». Можетъ быть, я выражался еще сильнѣе, и пересказалъ г. Наумову всю исторію сношеній моего брата съ Бѣгичевымъ. Онъ безстрастно слушалъ и наконецъ провозгласилъ обыкновенную въ такихъ случаяхъ отговорку: «Все это до меня не касается: я не больше, какъ довѣренное лицо Бѣгичева». — «Справедливо,—возразилъ я:—но вмѣстѣ съ тѣмъ вы членъ общества, а я желаю, чтобы всѣ знали истину въ этомъ дѣлѣ, которому постараюсь придать всевозможную гласность». Слова мои, повидимому, не произвели никакого дѣйствія на г. Наумова; но я съ тою же цѣлію, съ какою пересказалъ ему исторію поступка Бѣгичева съ моимъ братомъ, передаю ее здѣсь, въ книгѣ, посвященной изображенію Н. А. Полеваго въ истинномъ его видѣ. Онъ дѣйствовалъ въ описанномъ мною случаѣ легкомысленно, безразсудно, не договорившись напередъ въ платежѣ за свой трудъ и рѣшившись отдать дорогое для него время за ласковыя слова чуждаго ему человѣка. Какъ глава многочисленнаго семейства, онъ даже не имѣлъ права дѣйствовать такимъ образомъ, въ ущербъ и отягощеніе своимъ роднымъ. Но его оправдываютъ многія обстоятельства. Согласившись на просьбу Бѣгичева, онъ не зналъ, что̀ тотъ пришлетъ ему, и, вѣроятно, полагалъ, что все это кончится ничѣмъ. Добросовѣстно рѣшившись извлечь нѣсколько хорошихъ зеренъ изъ груды сору, то есть не желая бросить и малой доли хорошаго или полезнаго для литературы, онъ, конечно, не предполагалъ, какъ это будетъ ему тяжело и трудно; наконецъ, уже кончивши трудъ, онъ,

можетъ быть, не предполагалъ, что книга доставитъ огромныя выгоды, и разсчитывалъ, что барышъ можно подѣлить всегда, думая за Бѣгичева, какъ думалъ самъ. Почитая его человѣкомъ добрымъ и благороднымъ, Николай Алексѣевичъ несомнѣнно былъ увѣренъ, что тотъ предложитъ ему самъ приличное вознагражденіе, когда увидитъ, какія выгоды доставили ему труды и заботы человѣка чужаго, дружески посвятившаго ему много труда и своего дарованія, потому что, конечно, Семейство Холмскихъ не имѣло бы успѣха, если бы братъ мой не придалъ ему литературнаго достоинства. Не знаю, кто передѣлывалъ Бѣгичеву слѣдовавшія за Холмскими разныя его сочиненія (потому что самъ онъ худо зналъ грамоту), только они не обращали на себя ничьего вниманія, были пусты, безцвѣтны. Все это оправдываетъ брата моего въ томъ, что онъ не сдѣлалъ предварительнаго договора съ Бѣгичевымъ за свой трудъ, и ошибка его сводится къ тому, что онъ неосновательно полагался на благородство того, съ кѣмъ имѣлъ дѣло. Но когда, при разсчетѣ въ Москвѣ, онъ увидѣлъ безсовѣстность этого человѣка, тогда уже глупо было церемониться съ нимъ и деликатничать съ нимъ, надѣвая себѣ петлю на шею. Тогда онъ могъ бы сказать ему: «Четыре (или пять) тысячъ остальныя удерживаю себѣ за трудъ». Онъ могъ бы потребовать больше, но никакъ не долженъ былъ поддаваться безсовѣстному корыстолюбцу и признавать себя должникомъ его. Если бы тотъ заспорилъ, заупрямился, братъ мой могъ бы предложить ему третейскій судъ, или просто предоставить дѣло рѣшенію обыкновеннаго, гражданскаго суда, даже для того, чтобы огласить свою правоту и выставить добряка въ настоящемъ его видѣ. Не сдѣлавши этого, онъ далъ поводъ, можетъ быть, даже говорить о себѣ какъ о человѣкѣ ненадежномъ, который задержалъ чужія деньги. Наконецъ, онъ подвергъ себя гнету ростовщика, угрозѣ тюрьмой, и способствовалъ общему нашему разоренію.

Одного описаннаго мною случая достаточно для доказа-

тельства, что Н. А. Полевой былъ даже неспособенъ къ корыстолюбію, потому именно, что онъ былъ человѣкъ возвышенный духомъ, какъ показываетъ вся жизнь его, а такіе люди неспособны къ низкимъ страстямъ. Такіе люди увлекаются иными стремленіями. Братъ мой, какъ человѣкъ, имѣлъ много недостатковъ, происходившихъ отъ пылкости, отъ вѣтренности, отъ слабости характера; но душа его осталась чиста и благородна при всѣхъ испытаніяхъ, до послѣдняго дыханія жизни. Свѣтъ могъ признать его неосторожнымъ, самолюбивымъ, но никогда не имѣлъ права подозрѣвать въ какой бы то ни было низости. Доказательства этого будутъ еще встрѣчаться намъ много разъ.

VI.

Многосторонность и разнообразіе литературнаго таланта Николая Алексѣевича. — Его стихи, повѣсти и романы. — Обличительныя статьи «Московскаго Телеграфа» и вызванныя ими непріятности.—Возростающая вражда между Н. А. Полевымъ и Пушкинымъ.—Нападки Николая Алексѣевича на «Посланіе къ вельможѣ» и другія стихотворенія Пушкина.—Пушкинъ и А. А. Орловъ.—Письма Пушкина къ Орлову. — Справедливое негодованіе Николая Алексѣевича на неискренность Пушкина. — Начало непріязни къ С. С. Уварову. — Размолвка и примиреніе съ И. В. Кирѣевскимъ.—Нападки на Н. А. Полеваго со стороны «Денницы» Максимовича.—Литературная Газета и ея киваніе на «Московскій Телеграфъ».—Грубыя выходки Надеждина противъ «Московскаго Телеграфа».—Общія усилія враговъ этого журнала сводятся къ тому, чтобы добиться его запрещенія.

Указавъ въ прошлой главѣ на тѣ поводы, которые увлекали моего брата къ выполненію его завѣтной исторической задачи, я долженъ теперь хотя мелькомъ упомянуть и объ остальныхъ его литературныхъ занятіяхъ.

Литературное дарованіе моего брата было чрезвычайно разнообразно и способно проявляться почти во всѣхъ видахъ.

Онъ писалъ въ прозѣ и въ стихахъ съ равною легкостью, почти импровизировалъ, и отъ безпрерывнаго упражненія эта способность восходила у него до изумительной степени. Безъ приготовленія переходилъ онъ отъ важнаго къ шутливому, отъ труднаго, умственнаго занятія къ такому, которое было для него отдыхомъ. Въ примѣръ приведу слѣдующій случай. Въ 1830 и 1831 годахъ, жила въ одномъ съ нами домѣ родственница Николая Алексѣевича по женѣ, молодая, хорошенькая вдова, веселая, милая хохотунья, которую въ домашнемъ кругу называли Аннета. Ежедневная собесѣдница наша, она умѣла развеселять моего брата, и онъ почти всегда шутилъ и смѣялся съ нею. Однажды, шутя, онъ вызвался изобразить ее въ поэмѣ; она привязалась къ слову и требовала, чтобы онъ исполнилъ его, прибавляя, что онъ не сдержитъ слова, даже потому, что у него никогда нѣтъ минуты досуга.

— Для васъ я найду его, милая Аннета! — возразилъ онъ. — Я попрошу жену, чтобы она приказала подавать ужинать получасомъ позже обыкновеннаго, и эти полчаса буду посвящать поэмѣ, которая такимъ образомъ напишется незамѣтно.

Дѣйствительно, вмѣсто 10 часовъ, стали подавать ужинать въ $10^1/_2$ часовъ, и Николай Алексѣевичъ всякій вечеръ приносилъ нѣсколько десятковъ стиховъ поэмы Аннета. Подъ этимъ заглавіемъ, въ формѣ шутливой поэмы, раздѣленной на строфы, какъ Онѣгинъ, онъ изображалъ милую свою родственницу, разные случаи изъ ея жизни, и особенно лица, бывшія предметомъ ея шутокъ. Эта бездѣлка не имѣетъ никакого значенія для публики и не можетъ быть даже понятна для тѣхъ, кто не знаетъ подробностей тогдашней нашей семейной жизни, но она, тѣмъ не менѣе, изображала дѣйствительность, и такъ вѣрно, остроумно, весело, что нельзя было не смѣяться и вмѣстѣ не дивиться искусству автора. Стихи его были хороши, легки, оригинальны; такъ что, будь только иное содержаніе въ

этой шуткѣ, она бы составила извѣстность иному поэту! А между тѣмъ, она была писана урывками, наскоро, труженикомъ, утомленнымъ занятіями цѣлаго дня.

Но такая способность писать служитъ вѣрнымъ признакомъ дарованія не глубокаго и творчества не возвышеннаго. Истинный поэтъ долго обдумываетъ то, что стремится выразить душа его, долго лелѣетъ свои идеи и никогда не согласится издать свое твореніе безъ тщательной обработки. Онъ никогда не бываетъ вполнѣ доволенъ своими произведеніями, и оттого-то дѣлится ими скупо. Совершенно иное явленіе представлялъ Н. А. Полевой. При необычайной своей способности писать обо всемъ и на всѣ тэмы, онъ не умѣлъ, не былъ способенъ создавать и обдумывать долго, писалъ быстро, и тотчасъ передавалъ общему суду все, что писалъ. Оттого сочиненія его носятъ на себѣ печать какой-то поспѣшности и, можно сказать, незрѣлости, хотя вездѣ видны въ нихъ умъ, чувство, душа. Таковы его повѣсти, которыя писалъ онъ и печаталъ въ «Московскомъ Телеграфѣ» въ 1832—1833 годахъ. Только двѣ или три изъ нихъ отличаются глубиною чувствованій и многими поэтическими мѣстами; но этому была особенная причина. Желая представить изображаемаго мною человѣка вполнѣ, я не могу умолчать, что впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ страдалъ сердцемъ, любилъ—кого? Я не могу сказать, хотя бы могъ назвать двухъ, даже трехъ особъ, въ которыхъ онъ видѣлъ какой-то идеалъ, и поперемѣнно казался безумно-страдающимъ то по одной, то по другой. Любовь эта была безнадежная и чисто-платоническая; притомъ онъ не переставалъ любить и уважать свою добрую жену. Такое противорѣчіе сердца не могло не мучить его, и онъ иногда впадалъ въ сильное уныніе, иногда переселялся въ мечтательный міръ. Но всякое сильное, истинное чувство можетъ быть выражено такъ, что произведетъ впечатлѣніе въ читателѣ и даже поразитъ его, именно потому, что оно истинно. Въ часы глубокой тоски выражая свои ощущенія, «бездну души», какъ сказалъ онъ гдѣ-то,

Николай Алексѣевичъ написалъ нѣсколько повѣстей, которыя производятъ сильное впечатлѣніе на читателя не предубѣжденнаго. Таковы: Блаженство безумія, Эмма и особенно Живописецъ, — лучшее изъ его произведеній въ этомъ родѣ. Главное лицо въ немъ, Аркадій, изображено съ такою силою, такъ истинно представляетъ характеръ человѣка съ высокой душою, что на русскомъ языкѣ едва ли есть что либо равное ему. Многія мѣста и сближенія въ этой повѣсти также превосходны. Укажу, для примѣра, на чувствованія Аркадія, когда ему объясняютъ, что значитъ заработывать хлѣбъ; на старика отца его, когда онъ получилъ картину сына; но такихъ мѣстъ множество въ Живописцѣ, и вообще весь этотъ разсказъ одушевленъ какимъ-то благородствомъ, возвышенностью, которыя приносятъ отраду душѣ. Только грубое пристрастіе или невниманіе современной критики, не отличили этого произведенія среди множества тогдашнихъ повѣстей и романовъ. Люди съ душой, съ изощреннымъ вкусомъ, справедливо удивлялись разнообразію дарованій моего брата, и даровитый, благородный современникъ его, А. Бестужевъ, выразилъ это въ письмахъ своихъ къ нему, напечатанныхъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1861 года. Я увѣренъ, что исторія русской литературы современемъ упомянетъ о нѣкоторыхъ повѣстяхъ Н. А. Полеваго, какъ о замѣчательнѣйшихъ произведеніяхъ въ этомъ родѣ. Позднѣйшія повѣсти его ничтожны и, большею частію, были писаны по заказу. Таковы же и романы его: Аббаддонна, Синіе и Зеленые. Въ Клятвѣ при гробѣ Господнемъ жизнь старой Руси, которую авторъ зналъ такъ хорошо, изображена съ поразительной истиною; но въ общности романа нѣтъ поэтическаго созданія, и оттого онъ тяжелъ для чтенія.

Я не принимаю на себя обязанностей критика, говоря о поэтическихъ сочиненіяхъ моего брата; но, какъ историкъ его жизни, не могу не сказать, что въ нихъ есть многое, что дастъ ему право стать выше нѣкоторыхъ прославлен-

ныхъ романистовъ, современниковъ его. Я убѣжденъ, по крайней мѣрѣ, что исторія подтвердитъ это мнѣніе.

Но не въ этомъ родѣ сочиненій была его сила и его главная услуга русскому просвѣщенію. Онъ былъ двигатель, вчинатель почти во всемъ, за что принимался съ полнымъ увлеченіемъ своей пламенной души; но онъ не былъ ни поэтъ, ни писатель первостепенный. Вспоминаю, что одинъ изъ умнѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей своего времени, Михаилъ Ѳедоровичъ Орловъ, удостоивавшій меня искренней пріязни (упоминаю объ этомъ съ нѣкоторою гордостью), сказалъ мнѣ однажды, разсуждая о моемъ братѣ: «У него дарованіе рѣдкое и огромное; только онъ размѣнялъ его на мелочь и распускаетъ по бѣлу свѣту въ видѣ малой монеты». Я нисколько не согласенъ съ этимъ и остаюсь при своемъ убѣжденіи, что Н. А. Полевой не могъ быть ничѣмъ инымъ, кромѣ того, чѣмъ былъ, не могъ дѣйствовать иначе, нежели дѣйствовалъ: такова была его природа, и въ разнообразіи, въ непостоянствѣ занятій было настоящее его назначеніе. Очень возможно, что онъ сдѣлалъ бы больше, нежели удалось сдѣлать ему, если бы враждебныя обстоятельства вдругъ не прекратили его дѣятельности въ самый разгаръ ея и не нанесли ему такого удара, отъ котораго онъ не могъ оправиться до самой рановременной своей смерти. Но и прежде, и послѣ существованія своего журнала, онъ одинаково стремился быть начинателемъ на всѣхъ путяхъ, гдѣ видѣлъ застой, сонъ, лѣнь, и гдѣ можно было двинуть впередъ какой либо предметъ общей пользы. Это заставляло его, какъ я уже упоминалъ, часто принимать на себя участіе въ дѣлахъ разныхъ комитетовъ, коммерческой академіи, мануфактурнаго совѣта, и даже не отказываться отъ услугъ всякому, кто имѣлъ въ нихъ нужду. Я показалъ, какъ дорого обошлась ему услуга, оказанная Бѣгичеву; но побужденіемъ къ ней было доставить русской публикѣ хорошую книгу, особенно важную потому, что она была обличительною для многихъ лицъ. Теперь это легко;

но тогда надобно было большое искусство, чтобы придать форму такому разсказу, гдѣ изображались злоупотребленія современнаго общества и нѣкоторыхъ значительныхъ лицъ. Братъ мой не пропускалъ случаевъ къ обличенію не только мелкихъ, но и крупныхъ злоупотребленій, срывалъ маску не съ однихъ мелкихъ негодяевъ, злоупотребителей всякаго рода, но и съ такихъ лицъ, которыя, по своему положенію въ обществѣ, могли мстить ему. Онъ открылъ въ своемъ журналѣ даже особый отдѣлъ обличительныхъ статей, издававшійся при «Московскомъ Телеграфѣ» подъ заглавіемъ «Новаго Живописца», и заглавіе это было дано по тому поводу, что знаменитый Новиковъ, въ блестящее время своей дѣятельности, издавалъ очень остроумный обличительный журналъ Живописецъ. Въ Новомъ Живописцѣ напечатано много смѣлыхъ статей, гдѣ обличались современныя злоупотребленія, глупости, или извѣстныя лица, достойныя посмѣянія за свои подвиги. Нѣкоторые портреты были такъ вѣрны, что въ нихъ публика узнавала изображенныя лица, а иногда и сами эти лица узнавали себя. Нечего прибавлять, что такой образъ дѣйствій надѣлалъ много враговъ Николаю Алексѣевичу и не обходился безъ непріятностей, иногда довольно серьезныхъ. Я разскажу здѣсь одинъ случай такого рода, неважный и окончившійся очень смѣшно. Въ Новомъ Живописцѣ напечатано было изображеніе знаменитаго и богатаго барина, дряхлаго старика, но притомъ сибарита и отвратительнаго сластолюбца. Въ числѣ разныхъ подробностей, при описаніи этого лица, были названы двѣ любимыя его собаки. Надобно же было такъ случиться, что у одного московскаго вельможи, знатнаго барина и богача, были двѣ собаки, называвшіяся тѣми самыми именами, какія упомянуты въ Новомъ Живописцѣ; еще удивительнѣе, что этотъ баринъ, и своею жизнію, и дряхлостію, и своимъ гаремомъ извѣстный всей Москвѣ, представлялъ разительное сходство съ портретомъ отвратительнаго сибарита, изображеннаго въ Новомъ Живописцѣ! Вѣроятно,

кто нибудь намекнулъ ему о томъ, и уязвленный вельможа имѣлъ неосторожность пожаловаться на издателя «Московскаго Телеграфа» князю Д. В. Голицыну, военному генералъ-губернатору. Князь не могъ отказать ему въ просьбѣ погонять дерзкаго журналиста, пригласилъ Николая Алексѣевича и началъ серьезно выговаривать ему за дерзости, которыя онъ позволяетъ себѣ писать противъ извѣстныхъ лицъ. Братъ мой отвѣчалъ, что не понимаетъ, кого могъ онъ обидѣть статьями Новаго Живописца, гдѣ изображаются пороки и недостатки человѣческіе, и просилъ объяснить, какую именно статью его можно признать личностью противъ кого бы то ни было. Тогда, князь, послѣ нѣсколькихъ обиняковъ, сказалъ ему: «Да вотъ, напримѣръ, въ одной статьѣ вы изображаете вельможу, развратнаго старика, и вокругъ него двѣ собаки; а собаки съ такими именами находятся у знатнѣйшаго въ Москвѣ вельможи, заслуженнаго старца; и теперь въ обществѣ толкуютъ, что вы изобразили его». Братъ мой, едва сдерживая свой смѣхъ,—да и самъ князь Голицынъ невольно улыбался,—отвѣчалъ ему: «Помилуйте, ваше сіятельство! Можетъ ли князь N. N. принять на свой счетъ изображеніе развратнаго старика, сибарита, негодяя? Неужели есть какое нибудь сходство въ немъ съ такимъ портретомъ? Я не знаю лично князя N. N., но знаю, что онъ носитъ знаменитое имя и долженъ быть достоинъ его; если же у него есть двѣ собаки съ такими же именами, какія далъ я двумъ собакамъ въ моемъ разсказѣ, то это какая-то непостижимая случайность». Князь Голицынъ засмѣялся и возразилъ, что не князь N. N. узнаётъ себя въ портретѣ, а толкуютъ въ обществѣ, что это его портретъ, и въ доказательство называютъ его собакъ!—«Надобно избѣгать такого соблазна,—прибавилъ онъ.—Знатныхъ вельможъ въ Москвѣ всего двое—трое; и если вы напишите что нибудь оскорбительное о знатныхъ московскихъ вельможахъ, то кто нибудь изъ насъ долженъ принять это на свой счетъ!» Онъ еще больше засмѣялся и въ заключеніе совѣтовалъ брату моему быть осторожнѣе.

Если бы князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ не былъ чудесно-благородный человѣкъ, то не раздѣлался бы братъ мой такъ легко за сатирическое изображеніе сластолюбиваго старика-вельможи!

Какъ рыцарь, какъ смѣлый боецъ на избранномъ имъ поприщѣ, Николай Алексѣевичъ не робѣлъ ни передъ знатностью, ни передъ какими бы ни было авторитетами, когда надобно было обличить порокъ, низость, злоупотребленіе. Онъ ненавидѣлъ старинную русскую поговорку: «Не нашу тысячу рубятъ!» и кидался въ схватку при всякомъ случаѣ, который пробуждалъ въ немъ неизмѣнное чувство на защиту правды и добра. Повидимому, какая надобность была ему задѣвать Пушкина и возстановлять противъ себя опаснаго непріятеля въ этомъ могущественномъ писателѣ? Не выгоднѣе ли было бы позабыть распри и жить съ нимъ, по крайней мѣрѣ, въ пріязни? Но это было уже невозможно для моего брата съ тѣхъ поръ, какъ Пушкинъ написалъ нѣкоторыя свои стихотворенія и напечаталъ въ Литературной Газетѣ Дельвига Посланіе къ вельможѣ. Николай Алексѣевичъ пришелъ въ глубокое негодованіе, потому что видѣлъ самовольное, жалкое униженіе Пушкина особенно въ этомъ посланіи. Онъ сталъ при всякомъ случаѣ указывать на слабыя стороны поэта и за измѣнчивость его платилъ ему рѣзкою правдою. Многіе видятъ мастерское произведеніе въ Посланіи къ вельможѣ; но братъ мой тѣмъ больше сердился, что находилъ въ немъ прекрасные, пушкинскіе стихи.

Курьезно сужденіе объ этомъ г. Анненкова, который въ хвалебной компиляціи своей о Пушкинѣ говоритъ: «При появленіи своемъ, оно (Посланіе къ вельможѣ), какъ и многія другія произведенія поэта, возбудило недоумѣніе. Въ свѣтѣ считали его недостойнымъ лица, къ которому писано; въ журналахъ, наоборотъ, недостойнымъ автора, котораго обвиняли въ намѣреніи составить панегирикъ. Любопытно сужденіе одного повременнаго изданія объ этой

пьесѣ, одинаково поражающей и совершенствомъ формы, и совершенствомъ содержанія. При разборѣ «Бориса Годунова», журналъ («Московскій Телеграфъ», 1833 г., ч. 49-я № 1-й) замѣчалъ: «Мы увѣрены, что современемъ самъ Пушкинъ выброситъ изъ собранія своихъ сочиненій многое, какъ-то: Загадку, Собраніе насѣкомыхъ, Дорожныя жалобы, Посланіе къ вельможѣ—все это недостойно его». Пониманіе эстетическихъ произведеній, связывающее журналъ 1833 года съ журналами 1820 года!» (Матеріалы для біографіи Пушкина, страница 253-я). Пониманіе!.. Гдѣ г. критикъ подслушалъ, что въ свѣтѣ считали «Посланіе» недостойнымъ лица, къ которому оно писано?.. Развѣ это были Суворовъ, Екатерина Великая, Карамзинъ, т. е. или герой, или богиня мудрости, или великій писатель? Извѣстно, какою славою пользовался въ Москвѣ прославленный Пушкинымъ вельможа!.. Напротивъ, какъ современникъ событія, я помню, что всѣ единогласно пожалѣли объ униженіи, какому подвергъ себя Пушкинъ. Чего желалъ, чего искалъ онъ? Похвалить богатство и сластолюбіе? Пообѣдать у вельможи и насладиться бесѣдою полумертваго, изможженнаго старика, недостойнаго своихъ почтенныхъ лѣтъ? Вотъ въ чемъ было недоумѣніе и вотъ что возбуждало негодованіе. Пониманіе! Тѣмъ хуже было, что, писавши о недостойномъ предметѣ, Пушкинъ находилъ прекрасные стихи и какъ будто вдохновеніе. Не таковъ былъ Державинъ: когда его уговорили написать похвальное стихотвореніе Потемкину, онъ написалъ пустѣйшее произведеніе Рѣшемыслу, то есть не умѣлъ льстить и находить вдохновеніе по заказу; но, пораженный внезапною смертью Потемкина, онъ написалъ свой Водопадъ, когда уже не могъ разсчитывать на благосклонность умершаго. Вотъ чего требовали современники и отъ Пушкина, и чего всегда требуютъ всѣ благородные, чистые духомъ люди отъ поэтовъ. Неужели Франція не встрепенулась бы отъ негодованія, когда бы Викторъ Гюго, въ началѣ 1830 года, написалъ льстивое

посланіе къ министру Полиньяку, такъ же знатному вельможѣ, который былъ, конечно, не хуже того, къ кому писалъ Пушкинъ? Неужели и теперь, если бы кто нибудь изъ лучшихъ современныхъ стихотворцевъ прекрасными стихами написалъ такое же хвалебное стихотвореніе къ современному недостойному вельможѣ, — неужели теперь это не возбудило бы негодованія? Неужели стали бы только любоваться стихами, не обращая вниманія на смыслъ и значеніе сочиненія? Г. Анненковъ очень низко думаетъ о своихъ современникахъ, если скажетъ да! Я не желаю такого пониманія ни нынѣшнему, ни будущему поколѣнію. Повторяю: тѣмъ хуже, что Пушкинъ нашелъ вдохновеніе для такого предмета! Если бы это не было временнымъ, исключительнымъ проступкомъ, нельзя было бы вѣрить истинѣ другихъ его стихотвореній, и они казались бы намъ противны, именно вслѣдствіе эстетическаго пониманія.

Братъ мой, постепенно разочарованный поступками Пушкина въ отношеніи къ нему самому, былъ еще больше разочарованъ его дѣйствіями въ обществѣ, которому этотъ великій поэтъ готовъ былъ жертвовать нравственнымъ достоинствомъ, льстя вельможамъ, втираясь въ большой свѣтъ, добиваясь камеръ-юнкерскаго мундира и разныхъ милостей, которыя и сыпались на него щедро. Вспомнимъ, что Пушкинъ былъ первый поэтъ своего народа и своего времени, что на него были обращены взоры цѣлой Россіи, и перестанемъ дивиться, что въ это время публика съ недовѣрчивостію, почти съ холодностью встрѣчала лучшія его произведенія. Она перестала вѣрить нравственной его силѣ. Это самое ощущеніе было испытано Н. А. Полевымъ, который наконецъ не уважалъ въ немъ нравственнаго человѣка. Онъ прощалъ болѣе людямъ слабымъ, мелкодушнымъ,—но Пушкинъ!.. Отъ такого человѣка каждый соотечественникъ въ правѣ требовать больше, нежели отъ какого нибудь рядоваго писателя. Потому-то наконецъ нападенія моего брата на Пушкина доходили до крайности. Онъ доказывалъ даже

слабость его стиховъ, не находя въ нихъ связи, и для примѣра предлагалъ читать нѣкоторые отрывки ихъ съ конца къ началу, причемъ смыслъ почти не измѣняется. Такъ переложилъ или переставилъ онъ и напечаталъ въ «Телеграфѣ» Посвященіе Онѣгина П. А. Плетневу. За то и Пушкинъ пылалъ гнѣвомъ противъ него и, не отвѣчая прямо, мстилъ косвенно, иногда непозволительнымъ образомъ, чѣмъ опять ронялъ нравственное достоинство свое. Къ числу такихъ отмщеній принадлежитъ унизительное поощреніе, которое онъ оказывалъ писакѣ Орлову. Этотъ пошлый писака, издававшій отвратительныя брошюрки подъ разными циническими заглавіями, какъ, напримѣръ: Поросенокъ въ мѣшкѣ, или угнетенная невинность, очень угодилъ Пушкину тѣмъ, что началъ издѣваться и глумиться надъ Булгаринымъ, съ которымъ Пушкинъ былъ въ это время чуть не на ножахъ. Великій поэтъ обрадовался случаю бросить грязью въ автора «Выжигиныхъ», и написалъ одобрительное и поощрительное письмо къ Орлову, уськая его бранить Булгарина. Тотъ отвѣчалъ ему, и такимъ образомъ между ними завязалась переписка и почти пріязнь. Пушкинъ старался представить все это въ видѣ забавной шутки; но, тѣмъ не менѣе, событіе несомнѣнно: онъ унижался до переписки съ Орловымъ, поощряя этого уличнаго писаку передразнивать и поносить тѣхъ людей, которые писали неуважительно о послѣднихъ сочиненіяхъ Пушкина. Когда, наконецъ, онъ былъ раздраженъ на Н. А. Полеваго за разныя колкія его замѣчанія, тогда началъ поощрять Орлова писать противъ автора Исторіи русскаго народа. Несомнѣннымъ доказательствомъ всего этого служитъ слѣдующая копія съ письма Пушкина, сохранившаяся въ бумагахъ Н. А. Полеваго. Замѣчательна надпись, сдѣланная на ней рукою моего брата: «Прежде всего надобно хорошенько представить себѣ: кто̀ и къ кому пишетъ? Пушкинъ—къ Орлову!! Теперь начинайте чтеніе».

Письмо А. С. Пушкина къ А. А. Орлову.

«Искренно благодарю за удовольствіе, доставленное мнѣ письмомъ вашимъ. Радуюсь, что посильное заступленіе мое за дарованіе, конечно, не имѣющее нужды ни въ чьемъ заступленіи, заслужило вашу благосклонность. Вы оцѣнили мое усердіе, а не успѣхъ. Малъ былъ въ братіи моей, и если мой камешекъ угодилъ въ мѣдный лобъ Голіаѳу Фиглярину, то слава Создателю! Первая глава новаго вашего «Выжигина» есть новое доказательство неистощимости вашего таланта; но, почтенный А. А., удержите сіе благородное, справедливое негодованіе; обуздайте свирѣпость творческаго духа вашего. Не приводите яростью пера вашего въ отчаяніе присмирѣвшихъ издателей «Пчелы». Оставьте меня впереди соглядатаемъ и стражемъ. Даю вамъ слово, что если они чуть пошевельнутся, то Ѳ. Косичкинъ заваритъ такую кашу, или паче кутью, что они ею подавятся.

«Читалъ я въ «Молвѣ» объявленіе о намѣреніи вашемъ писать Исторію русскаго народа. Можно ли вѣрить сей пріятной новости?

«Съ истиннымъ почтеніемъ и неизмѣннымъ усердіемъ остаюсь всегда готовый къ вашимъ услугамъ, 24 ноября, 1831 г.

«Вотъ письмо, долженствовавшее къ вамъ явиться, милостивый государь Александръ Аѳимовичъ! Но, отправляясь въ Москву, я его къ вамъ не отослалъ, а надѣялся лично съ вами увидѣться. Судьба насъ не свела, о чемъ искренно сожалѣю. Повторяю здѣсь просьбу мою: оставьте въ покоѣ людей, которые не стоятъ и не заслуживаютъ вашего гнѣва. Кажется, теперь Полевой нападаетъ на васъ и на меня, собираюсь на него разсердиться; покамѣстъ съ нимъ возятся Воейковъ и Сомовъ подъ именемъ Н. Луговова, наше дѣло сторона. 1832 года 9 января».

Жаль, что не сохранилась вся переписка великаго поэта съ трактирнымъ писакой: любопытно было бы видѣть, какъ они братались! Приведенное мною здѣсь письмо, какъ видно, одно изъ многихъ; но цѣль ихъ всѣхъ, конечно, была одна

и та же. Пушкинъ подстрекалъ Орлова писать противъ непріятныхъ ему людей, и для этого льстилъ ему, хотя въ двусмысленномъ тонѣ. Орловъ ликовалъ и показывалъ письма его встрѣчному и поперечному, предлагая съ каждаго копію за двугривенникъ! Вѣроятно, такъ досталъ и братъ мой копію съ означеннаго письма. Для поясненія замѣчу, что подъ именемъ Косичкина писалъ Пушкинъ бранчивыя статьи противъ Булгарина въ «Телескопѣ» и въ «Литературной Газетѣ», которой издателемъ былъ Дельвигъ, а редакціею занимался Орестъ Мих. Сомовъ, добрый малый и образованный словесникъ, но переметная сумà по мнѣніямъ. Онъ былъ поперемѣнно другомъ почти всѣхъ враждовавшихъ между собою партій. Пушкинъ, между прочимъ, находилъ въ Орловѣ больше дарованія, нежели въ Булгаринѣ, отчего авторъ «Выжигина» ужасно бѣсился. Орловъ писалъ пародіи на романъ его и, какъ видно, сбирался писать пародію на Исторію русскаго народа, а Пушкинъ радовался тому и ободрялъ его.

Все это были мелкія интриги, сплетни, унизительныя, конечно, не для брата моего. Онъ прямо и открыто нападалъ на Пушкина, когда находилъ его достойнымъ порицанія. Предположите даже, что онъ ошибался, увлекался досадой, страстью, но во всякомъ случаѣ дѣйствія его были благородны. «Въ полѣ съѣзжаются—родней не считаются», но нападайте же, какъ подобаетъ рыцарю, а не подучайте какого нибудь бродягу бросить камнемъ въ вашего противника или дернуть его за ногу въ пѣшемъ бою. Пушкинъ не хотѣлъ вступить въ открытый бой, а не брезговалъ войдти въ интригу съ А. Орловымъ! Не такъ дѣйствовалъ въ свое время Карамзинъ. Повѣрятъ ли послѣ всего этого, что братъ мой никогда не переставалъ любить Пушкина и восхищаться его чудеснымъ дарованіемъ, его усладительными стихами. Можно сказать даже, что эта любовь къ великому поэту была главной причиной досады, а иногда и неудержимаго негодованія, когда онъ видѣлъ, что Пушкинъ дѣйствуетъ

недостойно своего великаго призванія. Онъ порицалъ его, какъ порицаетъ братъ любимаго брата, впадшаго въ проступокъ. Говорятъ же, что кого мы любимъ, на того чаще досадуемъ, и это отчасти справедливо, потому что сердцу больно за дорогаго человѣка. Въ порядкѣ вещей, что какой нибудь Орловъ купается въ грязи; но можно ли равнодушно видѣть, когда съ такимъ человѣкомъ сближается Пушкинъ? Въ самой замѣткѣ моего брата на письмѣ Орлова видна не злость, а какая-то грустная досада.

Послѣ прекращенія «Московскаго Телеграфа», братъ мой не имѣлъ никакихъ сношеній съ Пушкинымъ; не знаю даже, встрѣчались ли они въ послѣдніе годы жизни поэта. Одинъ жилъ въ Москвѣ, другой въ Петербургѣ. Но лучшимъ доказательствомъ, какъ высоко уважалъ и любилъ Пушкина Н. А. Полевой, можетъ служить впечатлѣніе, произведенное на него смертью поэта. Въ Москвѣ пронеслись слухи о дуэли и опасномъ положеніи Пушкина, но мы не слыхали и не предполагали, что онъ былъ уже не жилецъ міра. Утромъ, по какому-то дѣлу, братъ заѣхалъ ко мнѣ и сидѣлъ у меня въ кабинетѣ, когда принесли съ почты «Сѣверную Пчелу», гдѣ въ немногихъ строкахъ было напечатано извѣстіе о смерти Пушкина. Взглянувъ на это роковое извѣстіе, братъ мой измѣнился въ лицѣ, вскочилъ, заплакалъ и, бѣгая по комнатѣ, воскликнулъ: «Да что-жъ это такое?.. Да это вздоръ, нелѣпость! Пушкинъ умеръ!.. Боже мой!»... И рыданія прервали его слова. Онъ долго не могъ успокоиться. Искреннія слезы тоски, пролитыя имъ въ эти минуты, конечно, примирили съ нимъ память поэта, если при жизни между ними еще оставалась тѣнь непріязни.

Не льстя никому, честно исполняя обязанности журналиста, Николай Алексѣевичъ безпрестанно увеличивалъ число своихъ непріятелей. Въ толпѣ ихъ надобно отмѣтить одного, замѣчательнаго по разнымъ отношеніямъ человѣка— Сергѣя Семеновича Уварова, который, наконецъ, былъ побудителемъ къ запрещенію «Московскаго Телеграфа». Не-

пріязненное расположеніе его къ издателю этого журнала началось съ того, что онъ признавалъ неслыханною дерзостью многія и иногда колкія замѣчанія Н. А. Полеваго на разныя изданія академіи наукъ, гдѣ Уваровъ былъ президентомъ. Особенно сердили его безпощадные разборы календаря или мѣсяцеслова, искони издававшагося академіею, но въ описываемые мною годы съ такою небрежностью, которая кидалась въ глаза и была непростительна. Въ разборахъ календаря, братъ мой указывалъ на множество ошибокъ, промаховъ, недосмотровъ, противорѣчій. Онъ также не щадилъ и «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», издававшихся отъ академіи, не знаю подъ чьею редакціею, но еще больше календаря достопамятныхъ всевозможными недостатками и ужаснымъ языкомъ. Уваровъ не постигалъ, какъ можно осмѣливаться критиковать, и такъ дерзко, изданія ученой академіи? Когда онъ сдѣлался товарищемъ министра народнаго просвѣщенія, то уже очень не любилъ Н. А. Полеваго и, не помню, лично или черезъ кого-то, сказалъ ему, чтобы онъ былъ осторожнѣе и вообще умѣреннѣе въ мнѣніяхъ. Но онъ еще не могъ ничѣмъ пристукнуть его—и выжидалъ къ тому случая, говоря, что Полевой былъ неисправимъ. Вскорѣ мы увидимъ, какъ онъ исправлялъ или лечилъ его отъ излишняго усердія къ просвѣщенію.

Тѣмъ-то и невыгодно положеніе журналиста, что, для сохраненія мирныхъ отношеній съ большинствомъ писателей, онъ долженъ мирволить имъ, хвалить противъ совѣсти, соображаться съ разными отношеніями; иначе, т. е. идя путемъ правды, онъ встрѣтитъ множество непріятелей, и даже въ такихъ людяхъ, которые, сами не бывши писателями, имѣютъ какія нибудь отношенія къ литературѣ.

Я упоминалъ объ искренней пріязни и, можно сказать, дружбѣ Николая Алексѣевича съ Иваномъ Васильевичемъ Кирѣевскимъ. Она разстроилась, и вотъ по какому обстоятельству.

Пріятель нашъ, домашній человѣкъ въ нашемъ семей-

ствѣ, впродолженіе многихъ лѣтъ, М. А. Максимовичъ, всегда казавшійся намъ ботаникомъ и очень ловко занимавшій каѳедру ботаники въ университетѣ, вдругъ вздумалъ заниматься словесностью и издавать литературные альманахи. Въ началѣ 1829 года, онъ издалъ альманахъ «Денница», гдѣ было обозрѣніе современной русской словесности, написанное И. В. Кирѣевскимъ. Этотъ необыкновенно умный и образованный человѣкъ не имѣлъ нисколько литературнаго дарованія, и оттого все, что писалъ онъ, выходило какъ-то нескладно и дико. Онъ началъ было даже издавать журналъ но остановился, кажется, на первой книжкѣ, и, много занимаясь философіей, не умѣлъ написать о ней ничего дѣльнаго. Такъ было написано имъ и обозрѣніе словесности, напечатанное въ «Денницѣ». Онъ самъ не зналъ, чего требовалъ отъ русской литературы, противорѣчилъ самъ себѣ и выражался дикимъ языкомъ; но хуже всего было, что при оцѣнкѣ русскихъ писателей онъ былъ пристрастенъ или несправедливъ и до тошноты хвалилъ всѣхъ друзей и любимцевъ Пушкина. Дельвигъ, пріятный, иногда остроумный пѣсенникъ, былъ превознесенъ имъ и притомъ самымъ смѣшнымъ образомъ; напримѣръ, желая характеризовать его нѣсколькими словами, Кирѣевскій говорилъ, что онъ на свѣтлый идеалъ древнихъ набросилъ душегрѣйку новѣйшаго уныніа. Такія же странности были и въ другихъ его опредѣленіяхъ. Притомъ, онъ явно поддерживалъ довольно распространенное тогда мнѣніе, что писатель не можетъ быть хорошъ, если не принадлежитъ къ высшему свѣтскому обществу,—мнѣніе, которое безпрестанно выражалъ и упорно поддерживалъ Пушкинъ, вѣроятно, соединяя его съ своимъ понятіемъ объ аристократствѣ. Такое потворство ложному ученію было нестерпимо въ человѣкѣ умномъ и благородномъ, какимъ я всегда почиталъ Кирѣевскаго. Мнѣ казалось даже, что онъ дезертируетъ изъ нашего круга и желаетъ быть пріятнымъ боярину Пушкину, который видѣлъ умъ и любезность въ полумертвомъ, ничтожномъ

вельможѣ, и не хотѣлъ видѣть ихъ въ моемъ братѣ. Подъ вліяніемъ такихъ ощущеній я написалъ длинную статью: «Взглядъ на два обозрѣнія русской словесности 1829 года помѣщенныхъ въ «Денницѣ» и «Сѣверныхъ Цвѣтахъ». («Московскій Телеграфъ» 1830 года, № 2-й, стран. 203—232). Обличая тамъ ложныя мнѣнія и ошибки разнаго рода, я съ особенною горячностью опровергалъ мнѣніе, будто Богъ даетъ художническое дарованіе только свѣтскимъ людямъ. Видно, это было выражено довольно сильно и пылко; доказательствомъ тому служитъ искренняя хвала, которую выразилъ мнѣ Денисъ Давыдовъ съ обыкновенною своею оригинальностью. Вскорѣ послѣ напечатанія моей критики, онъ какъ-то заѣхалъ ко мнѣ, съ просьбою перевести для него отрывокъ изъ «Жизни Агриколы Тацита», который ему нужно было вмѣстить въ свою прекрасную статью: «Замѣчанія на біографію Раевскаго». Я отказался, говоря, что не смѣю переводить Тацита, не довольно изучивши его языкъ. «Я перевелъ самъ, да съ французскаго!» — сказалъ онъ. Тутъ онъ прочелъ мнѣ свой переводъ изъ жизни Агриколы. Выслушавши его, я искренно выразилъ ему свое мнѣніе, что если бы самъ Тацитъ перевелъ этотъ отрывокъ на русскій языкъ, то переводъ не былъ бы лучше. Можетъ быть, онъ не во всемъ вѣренъ буквальному смыслу подлинника, зато вѣренъ духу его. «Нѣтъ, куда мнѣ!—возразилъ Д. Давыдовъ.—Нынче хорошо пишутъ и молодые писатели, такъ что намъ, ветеранамъ, только любоваться ими. Да вотъ, у васъ напечатана въ «Телеграфѣ» критика на Кирѣевскаго. Я не судья въ томъ, кто правъ, но въ этой критикѣ есть двѣ-три страницы, которыя берутъ за душу: въ нихъ есть сердечная горечь, полынь, сознаніе правды, которое одно можетъ такъ выражаться». Тутъ онъ даже повторилъ нѣкоторыя фразы моей статьи, именно тѣ, гдѣ говорится, что Шекспиръ сдѣлался великимъ писателемъ, конечно, не въ обществѣ благородныхъ лордовъ. Дѣло не въ томъ, что такая похвала, услышанная отъ одного изъ изящнѣйшихъ

нашихъ писателей, могла польстить моему самолюбію, но въ томъ, что статья противъ Кирѣевскаго, очевидно, произвела впечатлѣніе. Она дѣйствительно была написана съ прямодушіемъ истиннаго убѣжденія и ниспровергала какъ теорію, вымышленную Кирѣевскимъ, такъ и пристрастныя сужденія его о частныхъ явленіяхъ русской литературы. Но могъ ли согласиться со мною человѣкъ, который при всемъ своемъ умѣ, былъ убѣжденъ въ превосходствѣ своемъ чуть ли не надъ всѣми смертными, былъ возлелѣянъ неумѣренными хвалами всѣхъ окружавшихъ его и притомъ надѣленъ характеромъ ипохондрическимъ, слѣдовательно склоннымъ къ подозрительности? Онъ, какъ видно, почелъ мою критику предательствомъ, былъ уязвленъ въ неограниченномъ своемъ самолюбіи и прекратилъ знакомство съ братомъ моимъ и со мною. Но благородная душа его, несомнѣнно, тяготилась такою несправедливостью и высказалась впослѣдствіи. Я упомяну здѣсь о произвольномъ сознаніи его въ своемъ заблужденіи, потому что, кажется, мнѣ не придется болѣе говорить о Кирѣевскомъ. Въ 1834 году, послѣ прекращенія «Московскаго Телеграфа», И. В. Кирѣевскій неожиданно посѣтилъ моего брата. Онъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ почтеннымъ своимъ вотчимомъ А. А. Елагинымъ, искренно обнялъ, поцѣловалъ моего брата и объявилъ ему, что наканунѣ важнѣйшаго событія въ своей жизни желаетъ увѣрить его въ своемъ уваженіи и уничтожить темное облако, раздѣлявшее ихъ въ послѣднія годы. Событіемъ, о которомъ онъ упоминалъ, была его женитьба. Какъ христіанинъ, приготовляясь къ таинству брака, онъ хотѣлъ прежде очистить свою душу и, признавая себя неправымъ противъ моего брата, хотѣлъ примириться съ нимъ. Объясненій о томъ, что было причиной ихъ размолвки и кто былъ правъ и кто виноватъ,—разумѣется, не высказывали. Но оба старые пріятеля понимали другъ друга, и Николай Алексѣевичъ былъ тронутъ благороднымъ поступкомъ Кирѣевскаго, какъ онъ говорилъ мнѣ въ тотъ же день. Впрочемъ,

разорванная ихъ пріязнь не возобновилась. Можно вѣрить только, что онъ не остался нашимъ непріятелемъ за огорчившую его статью.

Въ началѣ 1831 года, Максимовичъ опять издалъ свою Денницу, и опять съ обозрѣніемъ русской литературы за истекшій годъ, какъ будто необходимы были публикѣ сужденія его альманаха о современныхъ явленіяхъ нашей словесности, которыми онъ ограничивался почти исключительно, сказавъ нѣсколько двусмысленныхъ фразъ объ Исторіи русскаго народа. Остальныя сужденія были повтореніемъ пристрастныхъ мнѣній Литературной Газеты, издававшейся подъ вліяніемъ Пушкина и его партіи. Максимовичъ хвалилъ не въ мѣру всѣхъ писателей этой партіи и язвительно отзывался о всѣхъ ихъ противникахъ. Явно было, что онъ не изрекъ какого нибудь оскорбительнаго приговора о трудахъ моего брата единственно потому, что еще хотѣлъ сберечь себѣ пріязнь съ нимъ. Напротивъ, все казалось ему превосходно въ произведеніяхъ и дѣятельности пушкинской фаланги, съ которою мы находились тогда въ войнѣ, и онъ млѣлъ отъ восторга, указывая на самыя пустяшныя сочиненія Дельвига, Сомова и компаніи, восхваляя и прекрасное направленіе Литературной Газеты. Вотъ это восхваленіе особенно разсердило Николая Алексѣевича и меня, потому что, если чего не было въ Литературной Газетѣ, такъ ужъ, конечно, добросовѣстности. Почти всѣ хвалы и порицанія ея были внушены духомъ партіи: она съ безпримѣрною запальчивостью порицала не только сочиненія, но и нравственность своихъ противниковъ, а между тѣмъ, что̀ дѣлала сама?.. Я разумѣю здѣсь не только неблагосклонные отзывы, но часто и уличныя порицанія противъ моего брата. Къ несчастію, таковъ былъ и до сихъ поръ остается тонъ русской критики вообще. Но если извинительно до нѣкоторой степени, въ пылу и разгарѣ спора, наговорить своему противнику невѣжливостей и обвиненій въ родѣ того, что онъ не знаетъ грамоты и пишетъ без-

смыслицу, то ни въ какомъ случаѣ непозволительно нападать на его нравственность. Литературная Газета не ограничивалась даже всѣмъ этимъ. Какъ прикажете назвать, напримѣръ, вотъ какую выходку, напечатанную въ Литературной Газетѣ (1830 года, № 43-й, стран. 72) и относящуюся къ извѣстному мнѣнію Пушкина объ аристократствѣ:

..... «Пренебрегать своими предками, изъ опасенія шутокъ гг. Полеваго, Греча, Булгарина, непохвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Не дворяне (особливо не русскіе), позволяющіе себѣ насмѣшки насчетъ русскаго дворянства, болѣе извинительны. Но и тутъ шутки ихъ достойны порицанія. Эпиграммы демократическихъ писателей XVIII столѣтія (которыхъ, впрочемъ, ни въ какомъ отношеніи сравнивать съ нашими невозможно) пріуготовили крики: «Аристократовъ къ фонарю!» и ничуть не забавные куплеты съ припѣвомъ: Повѣсимъ ихъ, повѣсимъ. Avis au lecteur».

Чѣмъ это «Avis au lecteur» лучше тѣхъ указаній, которыми славился и наконецъ сдѣлался ненавистенъ впослѣдствіи Булгаринъ? Развѣ это не явный доносъ, не обвиненіе въ распространеніи революціонныхъ мнѣній? Не нужно пояснять, къ кому взываетъ «Avis au lecteur!» И это печатали Пушкинъ и его единомышленники въ 1830-мъ году, при тогдашней опалѣ журналовъ, указывая на Полеваго, который больше другихъ отличался независимыми мнѣніями!.. Довольно было бы одной такой выходки, чтобы навсегда отвернуться отъ Литературной Газеты, или, по крайней мѣрѣ, не почитать ея добросовѣстною, не способною къ тому же, въ чемъ она упрекала Булгарина.

Очень понятно, что преклоненіе передъ Литературной Газетой, пристрастныя хвалы ей и подражаніе ея мнѣніямъ и сужденіямъ, явныя въ «Обозрѣніи русской литературы», написанномъ г. Максимовичемъ и напечатанномъ имъ въ Денницѣ на 1831 годъ, чрезвычайно огорчили и

изумили насъ; тѣмъ болѣе, что онъ, который прежде всегда совѣтовался съ нами о своихъ литературныхъ предпріятіяхъ и писаніяхъ, не показывалъ намъ этого Обозрѣнія, и оно явилось совершенно для насъ неожиданно. По выходѣ своего альманаха, онъ и самъ не показывался къ намъ, конечно, желая дать пройдти первому впечатлѣнію отъ его поступка. Между тѣмъ, въ первомъ же пылу негодованія, я написалъ (напечатанное въ «Московскомъ Телеграфѣ» 1831 года, въ № 4-мъ, стран. 537-я) извѣстіе о появленіи Денницы и рѣзко выразилъ при этомъ свое негодованіе противъ г. Максимовича, упрекая его въ недобросовѣстности мнѣній, выраженныхъ имъ въ своемъ «Обозрѣніи литературы». И можно ли было говорить иначе не какому нибудь Воейкову или Надеждину, которые расхохотались бы, еслибъ ихъ упрекнули въ предательствѣ и недобросовѣстности, а человѣку, долго бывшему какъ роднымъ въ нашемъ семействѣ, всегда оказывавшему уваженіе къ нашимъ мнѣніямъ и поступкамъ, и обязанному намъ если не чѣмъ другимъ, то, по крайней мѣрѣ, нашею искреннею пріязнью, доброжелательствомъ и неизмѣннымъ радушіемъ въ услугахъ, чего нельзя вознаградить какими либо корыстными выгодами въ дѣлахъ, внушившими г. Максимовичу новый образъ его дѣйствій. Надѣясь пріобрѣсти больше выгодъ отъ братства съ партіями Пушкина и Надеждина, онъ какъ будто обрадовался случаю заявить торжественно свой разрывъ съ нами и напечаталъ въ Москвѣ, въ отвѣтъ на разборъ Денницы, оскорбительную для моего брата статью. Тамъ, между прочимъ, выразился онъ такъ:

«Г. Полевой говоритъ о возвышенной цѣли, безпристрастіи, «прямодушіи», истинѣ, bonne foi, благородствѣ характера, приличіи; но объ этихъ предметахъ въ настоящемъ случаѣ спорить и мудрено, и некстати; и я могу только сказать: не ему бы говорить и не мнѣ бы слушать».

Этими словами онъ хотѣлъ выразить передъ публикой

мысль, что я, дескать, знаю васъ, г. Полевой, какъ домашній вашъ человѣкъ, знаю васъ десять лѣтъ, и потому не говорите мнѣ о возвышенности и благородствѣ, которыхъ въ васъ нѣтъ. Слова его могли имѣть сильное дѣйствіе, ибо всѣ многочисленные наши знакомые, впродолженіе долгаго времени, видѣли и знали искреннія отношенія, въ какихъ находился съ нами г. Максимовичъ. Хорошо понимая вредъ, какой могли нанести слова его моему брату, онъ дерзко высказалъ ихъ. Всегда отличаясь необыкновенною смѣтливостью въ своихъ дѣйствіяхъ, онъ не могъ не давать себѣ отчета въ томъ, что становится въ положеніе брата, обвиняющаго своего брата. Обвиненіе въ неблагородствѣ, такъ грубо высказанное имъ, въ отповѣди на мою статью, было гораздо значительнѣе всѣхъ клеветъ и ругательствъ Надеждина и другихъ отъявленныхъ враговъ издателя «Московскаго Телеграфа». Читая ихъ статьи, всякій зналъ, что тутъ нѣтъ святой правды, какъ нѣтъ ея никогда въ перебранкахъ двухъ непріятелей. Но обвиненіе въ безнравственности, высказанное искреннимъ человѣкомъ, знавшимъ всѣ подробности семейной жизни Николая Алексѣевича, непремѣнно должно было пробудить въ читателѣ мысль: «Видно, Полевой—дурной человѣкъ, когда это громко выражаютъ самые близкіе его пріятели!»

Особеннымъ отличіемъ обвиненія, напечатаннаго г. Максимовичемъ, было еще то, что оно не высказывало ничего прямо, а было глухимъ намекомъ на какую-то общую безнравственность моего брата, въ которомъ Максимовичъ отрицалъ и безпристрастіе, и прямодушіе, и благородство характера! Высказывать такія обвиненія, конечно, очень легко (разумѣется, кто способенъ къ тому), но они гораздо злѣе прямыхъ, ясныхъ указаній на какой нибудь нравственный проступокъ или недостатокъ. Ничего подобнаго не могъ сказать противъ моего брата самый злой врагъ его, но тѣмъ язвительнѣе являлся намекъ на безнравственность во всемъ, высказанный другомъ, долженствовавшимъ пи-

тать благодарность къ моему брату. Это имѣло видъ невольнаго, прискорбнаго сознанія!.. Но если бы г. Максимовичъ долженъ былъ указать хотя на одинъ безнравственный поступокъ Н. А. Полеваго,—онъ не нашелъ бы его. Читающіе эту книгу знаютъ, что я не скрываю слабостей и недостатковъ моего брата, не щажу его заблужденій и ошибокъ; но и слабости, и заблужденія его были слѣдствіемъ не безнравственности или преступнаго направленія, а несовершенства природы человѣка, котораго не осуждаетъ самъ Богъ, наказывающій прегрѣшенія вольныя. Г. Максимовичъ повторялъ въ статьѣ своей пошлое осужденіе за прекращеніе войны «Московскаго Телеграфа» съ «Сѣверной Пчелой» и за нападеніе на Пушкина и на его партію, противорѣчившія похваламъ, какія высказывались въ первыхъ годахъ того же журнала. Но послѣ объясненій, подробно изложенныхъ мной объ этихъ предметахъ, читатели знаютъ, какъ естественно и праводушно дѣйствовали мы съ братомъ и въ отношеніи къ гг. Гречу и Булгарину, и въ отношеніи къ Пушкину.

Дѣйствительно, мнѣніе объ издателѣ «Московскаго Телеграфа» было очень неблагопріятно, особливо въ тѣхъ кругахъ, отъ которыхъ могло зависѣть существованіе его журнала. Лучшіе писатели были озлоблены противъ него, или, по крайней мѣрѣ, глядѣли на него непріязненно. Уваровъ, назначенный министромъ народнаго просвѣщенія, строго наблюдалъ за нимъ, и братъ мой сталъ нерѣдко получать замѣчанія и выговоры за разныя статьи, появлявшіяся въ его журналѣ. Къ тому же и журналисты (не устающіе до сихъ поръ порицать Булгарина) часто помѣщали въ своихъ листахъ явные доносы на издателя «Московскаго Телеграфа». Какъ назвать иначе слѣдующія строки, напечатанныя Надеждинымъ въ «Молвѣ» 1831 года, въ № 48: «Если находятся еще въ Россіи квасные патріоты, которые наперекоръ Наполеону почитаютъ Лафайэта человѣкомъ мятежнымъ и пронырливымъ, то пусть они заглянутъ въ № 16 «Московскаго Телеграфа» (на стр. 464) и увѣрятся, что «Лафайэтъ

самый честный, самый основательный человѣкъ во Французскомъ королевствѣ, чистѣйшій изъ патріотовъ, благороднѣйшій изъ гражданъ, хотя вмѣстѣ съ Мирабо, Сіесомъ, Баррасомъ, Барреромъ, и множествомъ другихъ, былъ однимъ изъ главныхъ двигателей революціи; пусть сіи квасные патріоты увидятъ свое заблужденіе и перестанутъ

«Презрѣнной клеветой злословить добродѣтель!»

Я поясню впослѣдствіи этотъ злонамѣренный намекъ, послужившій къ обвиненію моего брата въ распространеніи революціонныхъ мнѣній; здѣсь замѣчу только, что приведенныя выше слова вырваны «Молвою» изъ большой переводной статьи и принадлежатъ не брату моему, а извѣстной писательницѣ леди Морганъ, которая также передавала только чужія слова въ анекдотѣ о Наполеонѣ, графѣ Сегюрѣ и Лафайэтѣ. Но такими-то сближеніями и искаженіями разныхъ строкъ «Московскаго Телеграфа» старались повредить ему враги-журналисты, зная непріязненное мнѣніе о немъ новаго министра народнаго просвѣщенія. Они извлекали ядъ изъ самыхъ невинныхъ словъ, какъ доказываютъ приводимыя мною событія. Можно представить себѣ, какими комментаріями дополняли они изустно свои печатныя указанія. Надобно удивляться только тому, какъ долго оказывались недѣйствительными ихъ усилія погубить издателя «Московскаго Телеграфа», который продолжалъ свое существованіе до 1834 года. Въ самомъ дѣлѣ, это особенно удивительно! Какихъ подкоповъ, какихъ стѣнобитныхъ орудій и какихъ клеветъ, интригъ не употребляли враги «Московскаго Телеграфа», усиливаясь стереть съ лица земли этотъ журналъ и его издателя! Читатели видѣли, что орудіемъ служили не только журнальныя перебранки, какими сражались съ «Московскимъ Телеграфомъ» непріязненные журналы въ первые годы. Тогда, въ самыхъ запальчивыхъ выходкахъ, дѣло шло, всетаки, о литературныхъ правахъ или достоинствахъ, и если упрекали другъ друга въ какихъ нибудь неправдахъ, то упреки не намекали на политическое или нравственное достоинство человѣка. Но люди,

порицавшіе моего брата за примиреніе съ Булгаринымъ, послѣ подобныхъ перебранокъ, далеко превзошли этого литератора: его выходки кажутся ученическими винами передъ изобрѣтеніями другихъ противниковъ моего брата. Я разсказывалъ, какъ они хотѣли представить его человѣкомъ способнымъ выкрасть въ свою пользу важныя открытія изъ рукописи Зоріана Ходаковскаго, какъ старались представить уголовнымъ преступленіемъ переводъ Жизни Наполеона, какъ составили обвинительный актъ, жалуясь на оскорбленіе цѣлаго ученаго сословія въ лицѣ Каченовскаго, какъ Литуратурная Газета и Надеждинъ обличали его въ распространеніи революціонныхъ мнѣній, какъ г. Максимовичъ, воспользовавшись качествомъ семейнаго друга, провозгласилъ Н. А. Полеваго лишеннымъ всѣхъ нравственныхъ качествъ. Я упоминаю здѣсь только о немногомъ, слишкомъ гласномъ или явномъ; но, вѣроятно, сотни подобныхъ обвиненій и гораздо больше тяжкихъ были распространяемы и передаваемы изустно, невѣдомо для моего брата и меня. Но что они были, это доказываетъ неумолимая логика событій. Человѣкъ, который дѣлаетъ на васъ письменный доносъ, задумается ли въ разговорѣ и при всякомъ удобномъ случаѣ очернить васъ какъ можно усерднѣе. Если Пушкинъ или кто изъ его приверженцевъ напечаталъ въ Литературной Газетѣ «Avis au lecteur», то сколько подобныхъ «Avis» могъ онъ передать безъ печатной гласности? Если печатно утверждали, что Н. А. Полевой способенъ къ самому преступному дѣйствію, то что же клеветали на него въ общественныхъ разговорахъ?

А «Московскій Телеграфъ» не прекращался, и шелъ своимъ путемъ! Опаснѣе всего было для него неблагосклонное расположеніе Уварова, министра народнаго просвѣщенія, выраженное много разъ; но министръ не имѣлъ никакого повода запретить изданіе нашего журнала, и мы, увѣренные, что онъ выше всякихъ мелкихъ страстей и отношеній, продолжали дѣйствовать съ прежнею откровенностью въ мнѣніяхъ.

VII.

Два слова о значеніи «Московскаго Телеграфа».—Несчастная случайность губитъ журналъ.—Драма Кукольника и ея успѣхъ на петербургской сценѣ.—Критика Николая Алексѣевича на эту драму.—По пріѣздѣ въ Петербургъ онъ сознаетъ свою ошибку, но не успѣваетъ ее исправить.—Ожиданіе грозы.—Распоряженіе о высылкѣ Н. А. Полеваго съ жандармомъ въ Петербургъ.—Его возвращеніе и разсказъ объ эпизодахъ поѣздки.—Засѣданіе въ кабинетѣ графа Бенкендорфа.—Министръ народнаго просвѣщенія въ роли прокурора.—Обвиненіе въ распространеніи революціонныхъ идей.—Запрещеніе «Московскаго Телеграфа».—Новые планы изданій, затѣваемыхъ Николаемъ Алексѣевичемъ и новыя карательныя мѣры Уварова, подавляющія его энергію.

Я не почиталъ и не почитаю нужнымъ, въ «Запискахъ» о жизни и сочиненіяхъ Николая Алексѣевича Полеваго, говорить о содержаніи издававшагося имъ журнала, и указываю иногда только на тѣ статьи его, которыя относятся къ какому нибудь важному случаю на поприщѣ издателя, или представляютъ черту его ума и характера. Любопытствующіе могутъ въ самомъ «Московскомъ Телеграфѣ» видѣть, въ какомъ направленіи издавался этотъ журналъ, и остались ли мы вѣрны общему его характеру и духу до конца его существованія. Въ настоящее время, «Московскій Телеграфъ», какъ старый журналъ, потерялъ всю свою занимательность и статьи его, большею частію, не могутъ обратить на себя вниманія,—даже не могутъ быть вполнѣ понятны для новаго поколѣнія. Но, въ свое время, для своихъ современниковъ, онъ былъ истиннымъ, и, какъ говорятъ нынѣ, передовымъ журналомъ; по крайней мѣрѣ, покуда онъ существовалъ, общее мнѣніе признавало его лучшимъ изъ русскихъ журналовъ, и я остаюсь въ увѣренности, что онъ принесъ много пользы распространеніемъ всякаго рода свѣдѣній, и еще больше взглядомъ своимъ на успѣхи въ наукахъ и на событія умственной и общественной жизни. Не знаю, долго ли еще могъ бы онъ существо-

вать, если бы неожиданный случай не сдѣлался поводомъ къ его прекращенію, и не утомилась ли бы, наконецъ, дѣятельность самого издателя его, встрѣчавшаго, какъ мы видѣли, безчисленныя непріятности на своемъ поприщѣ. Но могу удостовѣрить, что и въ послѣдніе, такъ же какъ въ первые года «Московскаго Телеграфа», мы съ братомъ равно усердно трудились, стараясь дать своему журналу значеніе современнаго органа правды и всякаго успѣха.

Такъ достигли мы 1834 года. Въ началѣ этого года была напечатана въ Петербургѣ новая драма г. Кукольника: Рука Всевышняго отечество спасла. Г. Кукольникъ показалъ первою своею драмою: Торквато Тассо, что у него было поэтическое дарованіе; но онъ шелъ ложнымъ путемъ, больше заботясь о театральныхъ эффектахъ, нежели о драматическомъ выраженіи истины, впадалъ въ ошибки при изображеніи характеровъ дѣйствующихъ лицъ, и наполнялъ рѣчи ихъ высокопарными фразами. Эти общіе недостатки всѣхъ его драмъ особенно ярко выказались въ Рукѣ Всевышняго, гдѣ авторъ, желая сильнѣе выразить патріотическія чувства, впалъ въ самыя странныя преувеличенія.

Прочитавъ драму Кукольника, Николай Алексѣевичъ написалъ разборъ ея, гдѣ строго выставлялъ и осуждалъ недостатки произведенія, нелишеннаго достоинствъ, но составленнаго по ложной системѣ. Онъ тѣмъ сильнѣе хотѣлъ выразить это, что признавалъ въ г. Кукольникѣ необыкновенное поэтическое дарованіе, и, какъ критикъ, хотѣлъ предохранить автора отъ ошибокъ въ будущихъ его произведеніяхъ. Особенно рѣзко отозвался онъ о ложномъ патріотизмѣ, который преувеличеніями своими вредитъ истинѣ.

Между тѣмъ, онъ сбирался съѣздить въ Петербургъ по разнымъ дѣламъ своимъ. Это было передъ масляницею, когда Рука Всевышняго уже была поставлена на петербургской сценѣ, и первыя представленія ея отличались необыкновеннымъ блескомъ. Сказывали, что 40,000 рублей было употре-

блено на постановку этой знаменитой пьесы, и самая блистательная публика наполняла ложи и кресла въ первыя представленія ея на Александринскомъ театрѣ. Государь Императоръ удостоилъ ее своимъ вниманіемъ и одобреніемъ. Рука Всевышняго казалась патріотическою, народною драмою, передъ которою преклонялись всѣ — и знатные, и простолюдины. О ней не произносили ничего, кромѣ похвалъ.

Въ это-то время тріумфовъ г. Кукольника и его драмы, братъ мой пріѣхалъ въ Петербургъ. Съ первыхъ шаговъ тамъ оглушенный хвалами Рукѣ Всевышняго, онъ тотчасъ отправился въ театръ посмотрѣть ее въ представленіи, и былъ изумленъ съѣздомъ публики въ театръ и необыкновенными изъявленіями одобренія пьесѣ. Первые ряды креслъ были заняты высшими сановниками и генералами, ложи наполнены знатными семействами, и зала потрясалась отъ рукоплесканій. Николай Алексѣевичъ повстрѣчался въ театрѣ съ однимъ изъ вліятельныхъ людей, благосклоннымъ къ нему, и почти первымъ вопросомъ того было: «Напишетъ ли онъ въ «Московскомъ Телеграфѣ» одобрительное извѣстіе о патріотической піесѣ Кукольника?» Братъ мой отвѣчалъ, что онъ уже написалъ разборъ ея, по печатному экземпляру, полученному имъ въ Москвѣ, но что этотъ разборъ будетъ вовсе неодобрительнымъ для пьесы. «И разборъ вашъ уже напечатанъ?» спросилъ тотъ же знакомый. — Нѣтъ еще; однако я уже отдалъ его для печатанія въ моемъ журналѣ. — «Что вы дѣлаете, Николай Алексѣевичъ!» воскликнулъ чуть не съ ужасомъ вліятельный знакомецъ. «Вы видите, какъ принимаютъ здѣсь пьесу; надобно соображаться съ этимъ мнѣніемъ; иначе вы навлечете себѣ страшныя непріятности!.. Прошу васъ, какъ искренній вашъ доброжелатель, примите самыя дѣятельныя мѣры, чтобы вашъ неодобрительный разборъ Руки Всевышняго не появлялся въ печати. Напишите, если можно, завтра же, чтобы въ Москвѣ не печатали его».

Такая просьба была равносильна приказанію, и братъ

мой на другой же день написалъ ко мнѣ, чтобы я не печаталъ разбора Руки Всевышняго, написаннаго имъ для «Московскаго Телеграфа», а если онъ уже напечатанъ, но еще книжка не вышла въ свѣтъ, то онъ просилъ исключить этотъ разборъ и замѣнить его какою нибудь другою статьею. Въ немногихъ словахъ, но довольно ясно, онъ объяснялъ мнѣ причину такого распоряженія. Я получилъ его письмо, когда несчастный разборъ былъ уже напечатанъ, книжка «Московскаго Телеграфа» съ этимъ разборомъ была роздана и, вѣроятно, уже получена въ Петербургѣ, когда письмо его дошло до меня. Не судьба ли это? Иногда печатаніе «Московскаго Телеграфа» задерживалось на недѣлю и больше; а тутъ, когда было бы такъ кстати встрѣтиться какой нибудь задержкѣ въ выходѣ послѣдней книжки нашего журнала — она вышла изъ типографіи необыкновенно скоро!.. Видно, я, въ отсутствіе моего брата, хлопоталъ о томъ слишкомъ усердно.

Вскорѣ послѣ этого, воротившись въ Москву, Николай Алексѣевичъ передалъ мнѣ свои опасенія, что надобно ожидать какихъ нибудь непріятностей за статью о Рукѣ Всевышняго. Онъ основывалъ свои опасенія на разговорѣ о ней, изложенномъ мною выше: этотъ разговоръ съ оффиціальнымъ лицомъ, которое почти приказывало ему расхвалить пьесу г. Кукольника и въ противномъ случаѣ предсказывало послѣдствія непріятныя, конечно, былъ предупрежденіемъ доброжелательнымъ, и имѣло свое значеніе. Когда оказалось невозможно исполнить полуоффиціальное приказаніе — оставалось ждать, что изъ того выйдетъ? Мы утѣшались надеждою, что, можетъ быть, все кончится нашими опасеніями, или много если строгимъ замѣчаніемъ.

Прошло недѣли двѣ, и мы продолжали обыкновенныя занятія по журналу, нисколько не подозрѣвая близости грозы. Я и братъ мой жили въ разныхъ домахъ: онъ за Сухаревой Башнею, въ домѣ Кошелева (нынѣ Перлова), я на Тверской, въ домѣ Мятлевой, гдѣ была и контора «Мо-

сковскаго Телеграфа» — первая въ Россіи контора журнала, какъ будто и въ этомъ брату моему суждено было служить примѣромъ для русскихъ журналистовъ!

Въ день Благовѣщенія, 25 марта, явился въ контору «Московскаго Телеграфа» посланный отъ оберъ-полицеймейстера, съ извѣщеніемъ къ Николаю Алексѣевичу Полевому, чтобы онъ немедленно явился къ его превосходительству. Когда мнѣ сказали объ этомъ, я тотчасъ послалъ къ моему брату, передать ему полученное извѣщеніе, и въ запискѣ при томъ просилъ заѣхать отъ оберъ-полицеймейстера ко мнѣ (это было очень близко), уже предвидя, что начинается тревога по журналу. Часа черезъ два или три, проведенные мною неспокойно, братъ заѣхалъ ко мнѣ и сказалъ, что ему приказано немедленно отправиться въ Петербургъ. Онъ просилъ отсрочить ему отъѣздъ до слѣдующаго дня, располагаясь ѣхать въ дилижансѣ, но генералъ-губернаторъ (князь Д. В. Голицынъ), къ которому сопровождалъ его оберъ-полицеймейстеръ, лично объявилъ ему, хотя и съ выраженіемъ сожалѣнія, что онъ долженъ отправиться на перекладныхъ, и въ сопровожденіи жандармскаго унтеръ-офицера, не откладывая своего отъѣзда далѣе вечера того же дня. «Мнѣ приказано отправить васъ въ самый день полученія приказа, прибавилъ добрый князь, и все что могу я сдѣлать, это— дозволить вамъ оставаться въ Москвѣ до вечера; хоть поздно, но выѣзжайте сегодня».

Братъ мой нисколько не сробѣлъ отъ такого строгаго распоряженія высшаго начальства, ибо онъ былъ убѣжденъ въ чистотѣ своихъ поступковъ. Могли обвинить его въ оплошности, но не въ какомъ нибудь зломъ намѣреніи, и потому-то онъ, надѣясь на справедливость тѣхъ, къ кому долженъ былъ предстать для оправданія, вѣрилъ, что дѣло его кончится объясненіемъ съ его стороны. Для чего однакожъ отправляли его съ оффиціальнымъ провожатымъ и требовали въ Петербургъ экстренно? Это одно могло безпокоить насъ, и неизвѣстность, зачѣмъ и для чего это, была тягостна. Оберъ-по-

лицеймейстеръ сказалъ моему брату только, что сопровождающій его унтеръ-офицеръ получитъ приказаніе куда доставить его въ Петербургѣ.

Остальное время дня мы провели вмѣстѣ. Братъ передалъ мнѣ не только разныя рукописи для журнала и дѣловыя бумаги, но и свои намѣренія и предположенія на случай какого нибудь неожидаемаго имъ несчастія, точно будто отправлялся въ невозвратный путь. Такъ требовало благоразуміе, потому что одинъ Богъ знаетъ будущее.

«Журналъ нашъ продолжай, если я долго не ворочусь, не перемѣняя направленія; за него не обвинитъ насъ никто, и это готовъ я сказать самымъ строгимъ моимъ судьямъ»,— прибавилъ онъ въ заключеніе разныхъ своихъ распоряженій о «Московскомъ Телеграфѣ». Словомъ, и онъ, и я—мы были тверды, сколько возможно, въ подобныхъ обстоятельствахъ; однако, грустное ощущеніе было неизбѣжно при этой нравственной борьбѣ. Къ счастію, добрая жена Николая Алексѣевича оказала удивительное для женщины мужество въ этотъ печальный день и даже сама ободряла мужа, прося его быть спокойнымъ и за себя, и за семейство. Двери были заперты для всѣхъ постороннихъ, и мы провели всѣ часы до ночи въ семейномъ кружкѣ. Помню, что за ужиномъ Николай Алексѣевичъ шутилъ и смѣялся, стараясь развеселить маленькихъ своихъ дѣтей. Между тѣмъ, пріѣхалъ провожатый его, съ почтовою телѣжкою, и надобно было отправляться. Эти послѣднія минуты были горьки. Изъ квартиры Николая Алексѣевича до Тверской заставы, мы съ братомъ ѣхали въ городскихъ саняхъ, а телѣжка сзади. Покуда унтеръ-офицеръ пошелъ явить свою подорожную у заставы, мы еще сказали другъ другу нѣсколько словъ, давая обѣщаніе быть неизмѣнными и осторожными въ своихъ дѣйствіяхъ. Наконецъ, телѣжка двинулась въ темнотѣ ночи, и я оставался на мѣстѣ, покуда былъ слышенъ стукъ ея... Перекрестившись и поручивъ себя и брата Милосердому Защитнику слабыхъ людей, я воротился домой.

Черезъ нѣсколько дней—можетъ быть и черезъ недѣлю, потому что тогда почты ходили между Петербургомъ и Москвой дня по три—я получилъ отъ брата письмо, запечатанное огромною графскою печатью. Онъ увѣдомлялъ меня, что доѣхалъ до Петербурга благополучно, живетъ тамъ очень спокойно, еще никого не видалъ и просилъ меня успокоивать его семейство, къ которому было приложено письмецо, въ такомъ же смыслѣ написанное. Черезъ нѣсколько дней, было получено еще письмо отъ него, гдѣ писалъ онъ почти то же, что̀ и въ первомъ. Апрѣля 3-го или 4-го, уже вечеромъ, ко мнѣ прискакалъ посланный отъ Николая Алексѣевича съ извѣстіемъ, что онъ возвратился и зоветъ меня къ себѣ. Я поспѣшилъ къ нему и увидѣлъ его идущаго ко мнѣ на встрѣчу съ улыбкой. Начались разспросы и разсказы, и мы пробесѣдовали долго. Не въ одинъ этотъ вечеръ, но и потомъ много разъ передавалъ онъ мнѣ всѣ подробности своего невольнаго путешествія въ Петербургъ, и я изложу здѣсь главныя изъ нихъ, необходимыя для поясненія событія, важнаго въ жизни моего брата.

Въ Петербургъ привезли его въ квартиру Леонтія Васильевича Дубельта, начальника штаба корпуса жандармовъ. Генералъ Дубельтъ встрѣтилъ моего брата не только вѣжливо, но и съ изъявленіемъ самаго дружескаго расположенія. Онъ отвелъ ему одну изъ комнатъ въ своемъ помѣщеніи и сказалъ: «Скажу вамъ откровенно, что, по обязанности моей, я долженъ приставить стражу къ вашей комнатѣ; но я не сдѣлаю этого; только вы дайте мнѣ слово, что не будете имѣть ни съ кѣмъ сообщенія, ни переписки, оставаясь неотлучно дома. Къ вамъ въ комнату будутъ приносить обѣдъ, чай и все, что вамъ нужно. Я знаю, что вы не можете жить безъ книгъ: библіотека моя къ вашимъ услугамъ, и, сверхъ того, если вамъ угодно какую книгу, напишите мнѣ заглавіе,—она будетъ къ вамъ доставлена. Между тѣмъ отдыхайте отъ дороги. Я доложу о вашемъ пріѣздѣ графу Александру Христофоровичу и передамъ вамъ его распоряженія».

Брату моему, въ тогдашнемъ его положеніи, оставалось благодарить за такую привѣтливость. Онъ далъ слово, котораго требовалъ генералъ Дубельтъ, и, не желая употреблять во зло его благосклонности, просилъ только послать купить для него книгу, незадолго вышедшую въ свѣтъ. Эта книга была — толстѣйшая физика Велланскаго! Братъ мой еще въ Москвѣ хотѣлъ купить ее, хотя не могъ бы тамъ скоро избрать время одолѣть такую книгу; вдругъ очутившись посреди полнаго досуга, онъ вздумалъ занять его трудною работою читать Велланскаго. Тяжелыя, трудныя для чтенія, но дѣльныя книги — истинное благодѣяніе для того, кому надобно занять досугъ, иногда болѣе тягостный, нежели самая трудная работа.

На другой или на третій день по пріѣздѣ моего брата въ Петербургъ, генералъ Дубельтъ объявилъ ему, что онъ долженъ явиться къ графу Бенкендорфу. «Въ семь часовъ, потрудитесь отправиться къ нему: это очень близко отсюда, и графъ будетъ дома». Николай Алексѣевичъ пошелъ пѣшкомъ, безъ провожатаго, и могъ почесть это знакомъ особенной довѣренности.

По прибытіи въ домъ, гдѣ жилъ графъ Бенкендорфъ, братъ мой назвалъ себя, и его немедленно пригласили въ кабинетъ графа. При входѣ туда, онъ удивился, когда увидѣлъ министра народнаго просвѣщенія Уварова, сидѣвшаго подлѣ стола, насупротивъ графа Бенкендорфа, который привѣтливо встрѣтилъ моего брата и попросилъ его подсѣсть къ нимъ. Братъ еще не успѣлъ исполнить этого, какъ Уваровъ обратился къ нему съ рѣчью, торжественно говоря:

— Вотъ, г. Полевой, вы видите, справедливо ли я предупреждалъ васъ много разъ, чтобы вы, какъ журналистъ, дѣйствовали благоразумно и соображались съ внушеніями высшихъ властей. Теперь вамъ, конечно, непріятно явиться здѣсь отвѣтчикомъ?

— Позвольте мнѣ сказать, ваше высокопревосходительство,— отвѣчалъ Николай Алексѣевичъ,—что я не понимаю

вашихъ словъ. Въ чемъ и за что являюсь я отвѣтчикомъ?

— Садитесь, садитесь, Николай Алексѣевичъ! — перебилъ его графъ Бенкендорфъ. Намъ надобно поговорить съ вами о многомъ.

Когда братъ мой сѣлъ, графъ спросилъ его, какимъ побужденіемъ руководствовался онъ въ своемъ отзывѣ о патріотической драмѣ Кукольника? И какъ могъ онъ выразить мнѣніе, противоположное мнѣнію всѣхъ. Братъ мой отвѣчалъ, что въ отзывѣ своемъ онъ пользовался правомъ, даннымъ всякому критику выражать свое мнѣніе о произведеніяхъ литературы, и если его мнѣніе противоположно мнѣнію большинства или даже всѣхъ, то другіе критики могутъ опровергать его убѣжденія и доводы.

— Тутъ дѣло идетъ не о литературныхъ достоинствахъ сочиненія,—возразилъ Уваровъ,—а о противорѣчіи вашемъ общему патріотическому чувству, которое возбуждаетъ драма Кукольника. Вы, какъ русскій, не должны были бы чувствовать иначе, нежели всѣ самые возвышенные патріоты.

— Я ничего и не писалъ противъ патріотическихъ чувствованій, а указывалъ только на недостатки сочиненія, которое можетъ возбуждать патріотическій восторгъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ быть неудовлетворительно, какъ произведеніе литературное и поэтическое.

— Но, осуждая его, вы охлаждаете общее впечатлѣніе, которое, напротивъ, должно быть поддерживаемо. Драма Кукольника была для васъ какъ будто поводомъ къ осмѣянію самаго возвышеннаго чувства.

Брату моему не трудно было опровергать такія обвиненія, шедшія совсѣмъ не отъ того побужденія, которое заставило его указать на недостатки Руки Всевышняго. Болѣе и болѣе одушевляясь, онъ развилъ свой взглядъ такъ убѣдительно, что графъ Бенкендорфъ сталъ поддерживать его и иногда возражать Уварову, который явно желалъ обличить моего брата въ неблагонамѣренности. Споръ длился уже часа два, когда, наконецъ, графъ сказалъ:

— Объ этомъ предметѣ довольно. А о другихъ поговоримъ завтра, для чего вы, Николай Алексѣевичъ, пожалуете ко мнѣ вечеромъ въ тотъ же часъ, какъ сегодня.

Изъ этого разговора братъ мой ясно увидѣлъ, что обвинителемъ его былъ Уваровъ, а графъ Бенкендорфъ старался придать всему форму обыкновеннаго разговора, и предупредительностью своею останавливалъ рѣзкія выходки и обвиненія министра народнаго просвѣщенія. Ясно было также, что Рука Всевышняго служила поводомъ къ какимъ-то другимъ обвиненіямъ. Передъ Уваровымъ лежала толстая тетрадь въ листъ; по временамъ, онъ перевертывалъ въ ней листы и заглядывалъ въ нее мимоходомъ.

Въ слѣдующій вечеръ, въ кабинетѣ графа Бенкендорфа, братъ мой опять увидѣлъ министра Уварова. Онъ сидѣлъ на томъ же мѣстѣ, передъ своею толстою тетрадью, и на сей разъ сталъ прямо обвинять брата моего въ неблагонамѣренномъ направленіи «Московскаго Телеграфа», въ дерзостяхъ, какія онъ позволяетъ себѣ писать въ немъ, и главное — въ возбужденіи умовъ къ неуваженію властей и въ похвалахъ французской революціи.

Братъ мой твердо возразилъ, что хотя онъ могъ бы не отвѣчать на такія обвиненія, сославшись законнымъ образомъ на то, что ни одна строчка въ его журналѣ не напечатана безъ одобренія цензуры, а послѣ такого одобренія, онъ свободенъ отъ всякой отвѣтственности, однако, желая уничтожить даже тѣнь подозрѣнія противъ его благонамѣренности и чистоты его помышленій, онъ проситъ объяснить, гдѣ и что въ его журналѣ могло дать поводъ къ тѣмъ обвиненіямъ, какія объявляетъ ему г. министръ.

Тогда Уваровъ, послѣ метафизическаго объясненія, что направленіе журнала выказывается не въ отдѣльныхъ статьяхъ, а въ духѣ, проникающемъ каждую изъ нихъ, и что это явно для опытнаго наблюдателя, хотя и не можетъ быть обличено осязательно, провозгласилъ:

— За всѣмъ тѣмъ, какъ искусно ни скрываете вы тайное

направленіе вашего журнала, оно невольно проявляется во многихъ статьяхъ. Напримѣръ...

Тутъ онъ развернулъ свою толстую тетрадь, и началъ прочитывать выписки или, лучше сказать, выдержки изъ «Московскаго Телеграфа», наполнявшія эту тетрадь. То были большею частью отдѣльныя фразы или мысли изъ большихъ статей, и въ такомъ видѣ иногда представляли смыслъ, противоположный тому, какой придавалъ имъ авторъ. Къ числу такихъ выдержекъ принадлежалъ отзывъ о Лафайэтѣ, услужливо перепечатанный Надеждинымъ въ «Молвѣ», съ злонамѣреннымъ намекомъ на образъ мыслей издателя «Московскаго Телеграфа», какъ показалъ я это раньше.

Прочитавъ эту выписку, Уваровъ сказалъ:

— Такимъ образомъ, вы выхваляете Лафайэта, называя его самымъ честнымъ человѣкомъ, благороднѣйшимъ изъ гражданъ, а этотъ человѣкъ былъ однимъ изъ главныхъ двигателей французской революціи; это отъявленный противникъ королевской власти, самый опасный бунтовщикъ.

Братъ мой, какъ говорилъ онъ мнѣ, былъ изумленъ нелѣпостью такого обвиненія въ устахъ просвѣщеннаго человѣка (какимъ несомнѣнно былъ Уваровъ); но, припомнивъ, откуда взята была похвала Лафайэту, онъ сказалъ, что, выписанное изъ «Московскаго Телеграфа», мнѣніе о Лафайэтѣ принадлежитъ не ему; что это слова изъ анекдота, разсказаннаго англійскою писательницею лэди Морганъ, и слышаннаго ею во время путешествія въ Парижъ. Она пишетъ, что какъ-то Наполеонъ началъ жестоко порицать Лафайэта въ присутствіи графа Сегюра, который вступился за отсутствовавшаго своего друга, сослуживца, кажется, даже родственника, и, не страшась гнѣва деспота, сказалъ ему, что онъ отзывается о Лафайэтѣ, не зная его, что Лафайэтъ честнѣйшій человѣкъ и проч.

Объяснивъ это, братъ мой спросилъ:

— Неужели изъ этого анекдота можно вывести, что я

не только хвалю Лафайэта какъ политическое лицо, но въ лицѣ его хвалю и французскую революцію? Можно ли приписывать мнѣ слова и мнѣнія, которыя составляютъ мимоходную подробность въ статьѣ, не мною писанной?

Уваровъ, продолжая утверждать, что таково постоянное направленіе «Московскаго Телеграфа», привелъ въ доказательство еще одну выписку, гдѣ было сказано, что «Франція всегда идетъ впереди другихъ государствъ и даритъ своими успѣхами европейскіе народы». Чудесная память моего брата тотчасъ надоумила его, что это было сказано въ одной ученой статьѣ объ успѣхахъ французовъ въ химіи и вообще въ естествознаніи. Онъ, невольно улыбаясь, объяснилъ это, и заставилъ тѣмъ графа Бенкендорфа разсмѣяться. Вообще, какъ говорилъ мнѣ братъ мой, графъ Бенкендорфъ, казался больше защитникомъ его или, по крайней мѣрѣ, доброжелателемъ: онъ не только удерживалъ порывы Уварова, но иногда подшучивалъ надъ нимъ, иногда просто смѣялся, и во все время страннаго допроса, какой производилъ министръ народнаго просвѣщенія, шефъ жандармовъ старался придать характеръ обыкновеннаго разговора тягостному состязанію бѣднаго журналиста съ его грознымъ обвинителемъ. Съ этой поры братъ составилъ себѣ благопріятное мнѣніе о характерѣ графа Бенкендорфа, который оправдалъ такое мнѣніе во всѣхъ послѣдующихъ сношеніяхъ съ нимъ.

Невозможно было прочитать всю тетрадь, лежавшую передъ Уваровымъ: изъ нея были прочитаны лишь немногія мѣста, подававшія поводъ къ опроверженіямъ со стороны Николая Алексѣевича и, наконецъ, уже просто шелъ разговоръ о разныхъ предметахъ, сообразныхъ съ обстоятельствами. Братъ мой откровенно передавалъ свои мнѣнія, свой взглядъ, свои убѣжденія, думая, конечно, что чѣмъ лучше узнаютъ его, тѣмъ больше отдадутъ ему справедливости. Разговоръ кончился тѣмъ, что Уваровъ прекратилъ свои нападенія, графъ Бенкендорфъ былъ очень любезенъ, и

братъ мой могъ полагать, что онъ оправдалъ себя въ мнѣніи этихъ двухъ сановниковъ. Онъ оставилъ ихъ уже довольно поздно вечеромъ. Возвратившись къ генералу Дубельту, онъ пересказалъ ему происходившее въ этотъ вечеръ, и спросилъ, что-жъ остается ему еще дѣлать?—«Подождите,—отвѣчалъ г. Дубельтъ.—Вѣроятно вы скоро узнаете это».

Прошло еще дня два, въ которые братъ мой оставался не выходя изъ дому и не слыша ничего новаго.

Давши слово не видаться ни съ кѣмъ, онъ и не думалъ нарушать его; но въ описываемые мною дни случилось съ нимъ нѣчто смѣшное: стоитъ разсказать эту смѣшную случайность.

Проходя въ сумерки отъ своей квартиры до дому графа Бенкендорфа, братъ мой повстрѣчалъ лицомъ къ лицу знакомаго своего, камеръ-юнкера Пильсутскаго, который въ Москвѣ былъ нѣсколько времени сослуживцемъ его по одному комитету. Надобно замѣтить, что этотъ господинъ былъ величайшій лгунъ, доводившій ложь до поэзіи: разсказывалъ небывалыя приключенія, выдавалъ за событія свои выдумки; словомъ, лгалъ для того, чтобы лгать, безъ всякихъ корыстныхъ видовъ и злыхъ намѣреній. Всѣ такъ и знали его, такъ принимали и рѣчи его. Увидѣвъ Николая Алексѣевича, онъ изъявилъ радость, осыпалъ его вопросами, и тотъ едва отдѣлался отъ него приличнымъ образомъ, спѣша на назначенное ему свиданіе. Въ тотъ же вечеръ г. Пильсутскій разсказалъ знакомымъ, что встрѣтилъ Полеваго, что говорилъ съ нимъ, и повторялъ это всѣмъ, знавшимъ Николая Алексѣевича. Но какъ они знали, что Полевой незадолго передъ тѣмъ былъ въ Петербургѣ и уѣхалъ въ Москву, а потомъ нигдѣ не появлялся въ тѣ дни, когда г. Пильсутскій утверждалъ, что встрѣтилъ его, то всѣ только улыбались и говорили другъ другу: «Неизмѣнный враль! разсказываетъ небылицу и готовъ побожиться, что говоритъ правду!»

Впослѣдствіи, когда объяснилось это изъ разговоровъ съ

знакомыми, братъ мой много смѣялся тому, что г. Пильсутскій, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни, сказалъ правду — и никто не повѣрилъ ему!

Но обратимся къ разсказу истинному. Кажется, на третій день послѣ второго вечера, проведеннаго братомъ моимъ у графа Бенкендорфа въ состязаніи съ Уваровымъ, генералъ Дубельтъ объявилъ ему, что онъ долженъ возвратиться въ Москву.

— Какъ же я могу понимать это?—спросилъ братъ мой.— Оправдалъ я себя отъ нареканій? Свободенъ совершенно?

— Не знаю,—отвѣчалъ г. Дубельтъ.—Объявляю вамъ только, что вы должны возвратиться въ Москву и отправиться туда сегодня же вечеромъ, съ тѣмъ же провожатымъ.

— Какъ, опять на перекладныхъ? въ телѣжкѣ?

— Да.

— Помилуйте, генералъ! Меня измучилъ такой переѣздъ изъ Москвы сюда, и уже слишкомъ тягостно будетъ ѣхать еще такимъ образомъ.

— Чтожъ дѣлать! Мнѣ приказано такъ отправить васъ.

— Да у меня и денегъ нѣтъ на проѣздъ; а откуда я возьму ихъ, не выходя изъ комнаты?

Въ объясненіе надо замѣтить, что братъ мой ѣхалъ изъ Москвы, платя прогоны отъ себя, хотя подорожная была выдана жандарму. При отъѣздѣ у него было немного денегъ, и оставшихся въ Петербургѣ не достало бы на обратный переѣздъ въ Москву. Онъ полагалъ, что ему возвратятъ издержки на это невольное путешествіе; но генералъ Дубельтъ съ обычною своею любезностью сказалъ:

— О деньгахъ не заботьтесь, любезнѣйшій Николай Алексѣевичъ! Возьмите у меня, сколько вамъ надобно. По пріѣздѣ въ Москву, вы возвратите ихъ мнѣ.

Онъ немедленно вручилъ ему двѣсти рублей, и заботился вообще снарядить его сколько возможно удобнѣе. Но личная его любезность не закрывала отъ моего брата, что дѣло еще не было кончено. Правда, что съ нимъ обходились

самымъ пріязненнымъ образомъ, и онъ прожилъ у генерала Дубельта нѣскольно дней со всѣми удобствами; однако, видѣлъ себя все-таки арестантомъ и не зналъ, чѣмъ это кончится. Понятно, что послѣ этого, переѣздъ въ Москву былъ ему не веселъ, и онъ доѣхалъ до заставы ея грустный и измученный, стараясь угадать, куда тамъ повезетъ его жандармъ. Надобно сказать, что это былъ тотъ же унтеръ-офицеръ, который сопровождалъ его въ Петербургъ, добрый малороссіянинъ, отличавшійся необыкновеннымъ простодушіемъ. Онъ ни въ чемъ не стѣснялъ моего брата и, напротивъ, во время дороги, прислуживалъ ему, какъ самый усердный слуга. Когда почтовая телѣжка остановилась у заставы, унтеръ-офицеръ соскочилъ на мостовую, снялъ фуражку и пожелалъ моему брату всякаго благополучія.

— Стало быть, я могу ѣхать прямо домой? спросилъ у него братъ мой.

— Безпремѣнно, ваше благородіе. Дальше я провожать васъ не могу: такъ приказано.

Обрадованный своею свободою, братъ мой вынулъ остававшуюся у него въ бумажникѣ двадцати пяти рублевую ассигнацію и на радости отдалъ ее доброму служивому, вмѣстѣ съ русскимъ «спасибо» за услуги въ дорогѣ. Неожиданная щедрость моего брата изумила унтеръ-офицера до такой степени, что онъ благодарилъ его, называя чуть ли не превосходительствомъ, и въ заключеніе воскликнулъ:

— Дай Богъ и впередъ ѣздить съ вами, ваше превосходительство!

— Ну, братъ, дай Богъ чтобы этого не случалось! возразилъ Николай Алексѣевичъ, смѣясь.

Разсуждая обо всѣхъ подробностяхъ его поѣздки и особливо о разговорахъ, какіе имѣлъ онъ въ Петербургѣ, мы недоумѣвали, что же такое было это и чѣмъ могло кончиться? Обвиненія, высказанныя Уваровымъ, были такъ неопредѣленны, общи и, прибавлю, такъ натянуты и нелѣпы, что графъ Бенкендорфъ справедливо смѣялся, выслушивая ихъ,

и братъ мой надѣялся на его заступленіе. Уваровъ показалъ явное предубѣжденіе противъ моего брата, обвинялъ его пристрастно, однако, послѣ выслушанныхъ объясненій, могъ быть справедливымъ. Словомъ сказать, мы обольщали себя надеждою, что все случившееся было только мимолетною грозою, которая пройдетъ безъ непріятныхъ для насъ послѣдствій.

Возобновились прежнія занятія Николая Алексѣевича по журналу, которому онъ столько лѣтъ посвящалъ труды свои, и такимъ образомъ прошло недѣли двѣ. Между тѣмъ, готова была новая книжка журнала, и изъ типографіи отправили ее въ цензурный комитетъ, для полученія билета на выпускъ; но посланному сказали, что билета выдать нельзя, и что издатель «Московскаго Телеграфа» долженъ самъ явиться въ комитетъ. Онъ немедленно поѣхалъ туда, и ему объявили, что изданіе его журнала запрещено. Даже отпечатанная его книжка не могла быть выдана въ свѣтъ и подверглась конфискаціи.

Надобно ли говорить, что это событіе было для насъ прискорбно? Кромѣ того, что оно прекращало полезную дѣятельность Николая Алексѣевича и набрасывало на него тѣнь въ глазахъ правительства, оно, мало сказать, наносило ему убытокъ, — разоряло его. Всѣ заготовленные для журнала матеріалы погибли, и надобно было чѣмъ нибудь замѣнить получавшійся отъ него доходъ; а легко ли это? возможно ли даже было это человѣку, въ продолженіе многихъ лѣтъ занимавшемуся исключительно литературой? Онъ вдругъ увидѣлъ себя въ положеніи самомъ стѣсненномъ, и скоро ли могъ найдти занятіе, которое давало бы ему достаточный на прожитіе доходъ?

Могу увѣрить читателя, что въ эту критическую минуту мы нисколько не сробѣли. «Видно, Богу такъ угодно: покоримся его волѣ и будемъ надѣяться, что онъ насъ поддержитъ и подкрѣпитъ». Таковъ былъ единственный оплотъ, на которомъ могли мы утвердиться и который далъ намъ

бодрость и мужество въ новой борьбѣ съ жизнью. Надѣяться на людей мы не могли, потому что были не ребята неопытные. Мы знали по собственному опыту, чего можно ожидать отъ друзей, которые видѣли отъ насъ много добра; какъ же не было бы ребячествомъ съ нашей стороны ожиданіе какого нибудь участія отъ людей чуждыхъ? Къ тому же «Московскій Телеграфъ» возстановилъ противъ насъ столько обиженныхъ самолюбій, что многіе явно выражали свое удовольствіе, когда услышали, что прекратился ненавистный имъ журналъ. Прибавлю, однако-жъ, что немногіе, которыхъ мнѣніемъ дорожили мы, изъявили Николаю Алексѣевичу искреннее участіе въ неожиданномъ его горѣ. Я упоминалъ, что благородный Ив. Вас. Кирѣевскій пріѣзжалъ къ нему въ это время засвидѣтельствовать свое уваженіе; было и еще нѣсколько человѣкъ, сдѣлавшихъ тоже. Не называю ихъ, но благодарность къ нимъ жива въ моемъ сердцѣ.

Что было главною, если не единственною причиною запрещенія «Московскаго Телеграфа»? Говорю положительно: желаніе Уварова, бывшаго тогда министромъ просвѣщенія. Это несомнѣнно, это доказываютъ подробности, которыя сопровождали вызовъ Николая Алексѣевича въ Петербургъ, разговоры съ нимъ Уварова и дальнѣйшія преслѣдованія со стороны министра, который, кажется, хотѣлъ уничтожить всякую дѣятельность моего брата, какъ покажетъ дальнѣйшій мой разсказъ, и являлся ожесточеннымъ его гонителемъ при всякомъ случаѣ, въ продолженіе многихъ лѣтъ. Теперь обратимся къ тому, какъ онъ воспользовался обстоятельствами для запрещенія «Московскаго Телеграфа».

Не знаю навѣрное, но имѣю причины думать, что онъ же представилъ государю императору ложное обвиненіе противъ моего брата, будто онъ обращаетъ въ смѣхъ и охуждаетъ патріотическія чувствованія, выраженныя г. Кукольникомъ въ драмѣ его: Рука Всевышняго отечество спасла. Желая изслѣдовать это, государь приказалъ вытребовать Полеваго въ Петербургъ и поручилъ графу Бен-

кендорфу, вмѣстѣ съ Уваровымъ, узнать образъ мыслей издателя «Московскаго Телеграфа». Сказываютъ, что государь прибавилъ: «Уваровъ давно говорилъ мнѣ про этого человѣка и даже показывалъ цѣлую книгу выписокъ изъ его журнала; кстати, пусть спроситъ объясненій и по журналу». Такимъ образомъ, Уваровъ является главнымъ дѣйствующимъ лицомъ во всемъ этомъ дѣлѣ. Во время разговора съ моимъ братомъ, онъ былъ обвинителемъ, а графъ Бенкендорфъ только удерживалъ его отъ увлеченій. Онъ непремѣнно хотѣлъ обвинить гонимаго имъ журналиста, и, вѣроятно, въ такомъ смыслѣ составилъ докладъ о немъ, то есть, представилъ его человѣкомъ опаснымъ по образу мыслей, потому что и впослѣдствіи представлялъ такимъ же (это мы увидимъ далѣе). Не такъ думалъ о братѣ моемъ графъ Бенкендорфъ, обращавшійся къ нему не какъ Уваровъ и, наконецъ, давшій ему возможность оправдать себя въ мнѣніи правительства единственно добрыми своими отзывами о немъ. Зная это, не трудно рѣшить, кто изъ нихъ двухъ требовалъ запрещенія «Московскаго Телеграфа» какъ блага отечеству?

Не ошибаясь въ томъ, что Н. А. Полевой не перестанетъ писать и послѣ запрещенія его журнала, Уваровъ предписалъ цензурнымъ комитетамъ, чтобы они не дозволяли печатать ничего, написаннаго бывшимъ издателемъ «Московскаго Телеграфа», такъ что, по произволу министра народнаго просвѣщенія, самое имя Н. А. Полеваго сдѣлалось запрещеннымъ для печати! Не нужно объяснять, что такое распоряженіе было не только несправедливо, притѣснительно, но и нелѣпо, потому что неисполнимо. Кто сталъ бы сомнѣваться въ истинѣ разсказываемаго мною событія, а очень естественно сомнѣваться въ истинѣ разсказа о такой нелѣпости, того прошу продолжать чтеніе этихъ «Записокъ». Доказательства встрѣтятся скоро.

Мы съ братомъ рѣшились заняться переводомъ и изданіемъ разныхъ книгъ, надѣясь такимъ образомъ съ пользою

употребить свое время, оставшееся свободнымъ послѣ прекращенія «Московскаго Телеграфа». Этому могла способствовать небольшая книжная торговля, образовавшаяся при конторѣ «Московскаго Телеграфа», гдѣ продавались книги, принимавшіяся отъ издателей въ комиссію, и, кромѣ того, покупались тѣ, которыя обѣщали значительный сбытъ. Такъ, напримѣръ, мы купили за наличныя деньги, разумѣется съ уступкою, нѣсколько сотенъ экземпляровъ Исторіи Пугачевскаго бунта Пушкина, и они были немедленно распроданы. Переименовавъ контору журнала въ книжную лавку, мы продолжали это дѣло, даже увеличивая его понемногу, то есть покупая для продажи всѣ лучшія книги. Оно было тѣмъ удобнѣе и легче для насъ, что для управленія нашею книжною торговлею былъ у насъ человѣкъ испытанной честности, благоразумный, дѣятельный, уже много лѣтъ, съ первой юности своей, бывшій своимъ и какъ бы роднымъ въ нашемъ домѣ. Это — извѣстный впослѣдствіи книгопродавецъ Петръ Алексѣевичъ Ратьковъ, сначала бывшій секретаремъ при журналѣ, а потомъ управляющимъ конторою его.

Николай Алексѣевичъ предоставилъ мнѣ ближайшій надзоръ за нашею книжною торговлею, которая производилась въ томъ же домѣ, гдѣ я жилъ, а самъ онъ искалъ себѣ занятій кабинетныхъ. Кипучая его дѣятельность не могла ограничиваться переводомъ какой нибудь книги, и онъ, придумывая разныя предпріятія, рѣшился начать изданіе, небывалое до тѣхъ поръ въ Россіи. Не за много лѣтъ прежде, въ Англіи и во Франціи начали появляться, такъ называемыя, иллюстрированныя изданія съ политипажами, т. е. съ рисунками, вырѣзываемыми на деревѣ. Рѣзьба на деревѣ несравненно дешевле рѣзьбы на мѣди или на стали, и съ деревянной гравированной доски можно оттиснуть тысячи рисунковъ; къ этому придумали еще снимать съ доски металлическое клише (или слѣпокъ), а клише можетъ дать почти неограниченное число рисунковъ, отчего оттиски

дѣлаются чрезвычайно дешевы, и изданія съ такими рисунками могутъ продаваться почти по той же цѣнѣ какъ и изданія безъ рисунковъ. Собравъ свѣдѣнія обо всемъ этомъ, братъ мой рѣшился издавать періодически сборникъ съ политипажными рисунками, издавать выпусками, такъ что его нельзя было признать журналомъ, хотя по образу выхода онъ походитъ на журналъ, и могъ быть издаваемъ на подписку. Подготовивъ все къ новому своему предпріятію, Николай Алексѣевичъ представилъ въ московскій цензурный комитетъ программу, гдѣ стояло въ заглавіи: «Живописное Обозрѣніе» и проч., издаваемое Николаемъ Полевымъ. Въ программѣ онъ объяснялъ планъ и цѣль своего изданія, упоминая также, что это книга, для удобства издаваемая выпусками. Онъ думалъ, что его не допустятъ печатать ее, потому что признаютъ періодическимъ изданіемъ, которое могло быть дозволено только съ высочайшаго разрѣшенія. Открылось совсѣмъ иное: цензурный комитетъ наотрѣзъ отказалъ въ дозволеніи издавать «Живописное Обозрѣніе», потому что въ заглавіи его должно было находиться имя Николая Полеваго, какъ издателя, а предписаніемъ министра народнаго просвѣщенія было запрещено дозволять къ печатанію что̀ бы то ни было съ этимъ именемъ. Напрасны были всѣ хлопоты отклонить такое неслыханное притѣсненіе. Цензурный комитетъ не рѣшался дать позволеніе на изданіе «Живописнаго Обозрѣнія» отъ имени Н. А. Полеваго, а если бы послалъ это дѣло на разрѣшеніе министра народнаго просвѣщенія, то, конечно, получилъ бы въ отвѣтъ новое подтвержденіе прежняго его распоряженія объ опальномъ журналистѣ. Замѣтимъ, что г. министръ дѣйствовалъ не на основаніи какого нибудь закона или судебнаго рѣшенія, а просто по собственному произволу. Братъ мой не былъ подъ судомъ, не былъ лишенъ никакихъ гражданскихъ правъ, даже не слыхалъ никакого оффиціальнаго приговора или осужденія за свой журналъ, а г. Уваровъ не былъ ни законодатель, ни судья. Но какъ могъ противиться его произвольнымъ распоряженіямъ братъ мой?

Принимая въ соображеніе стѣсненное свое положеніе и не надѣясь ни на какой успѣхъ отъ борьбы съ сильнымъ гонителемъ, Николай Алексѣевичъ рѣшился издавать «Живописное Обозрѣніе» не отъ своего лица. Онъ былъ въ самыхъ пріятельскихъ сношеніяхъ съ г. Семэномъ, искуснымъ типографщикомъ и образованнымъ французскимъ книгопродавцемъ, у котораго нѣсколько лѣтъ печатался «Московскій Телеграфъ». Г. Семэнъ былъ въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Франціею по своей типографіи и торговлѣ и способствовалъ Николаю Алексѣевичу въ приготовленіяхъ къ «Живописному Обозрѣнію», принявъ на себя всѣ хлопоты по матеріальной и художественной части, за что долженъ былъ получать половину предполагаемаго дохода отъ изданія. Когда, по произволу Уварова, нельзя было издавать «Живописное Обозрѣніе» отъ имени Н. А. Полеваго, братъ мой передалъ всѣ права на него г. Семэну, ограничившись тѣмъ, что за редакцію этого изданія долженъ былъ получать условленную половину выгодъ. Вотъ отчего «Живописное Обозрѣніе» явилось съ именемъ г. Семэна, какъ издателя, и появленіе изданія замедлилось до половины 1835 года. Но никакія затрудненія и стѣсненія не помѣшали успѣху «Живописнаго Обозрѣнія». Оно было первымъ въ Россіи иллюстрированнымъ изданіемъ, и хотя политипажныя гравюры были тогда вообще плохи, даже очень плохи, такъ что англійскій Penny Magazine и французскій Magasin Pittoresque, изъ которыхъ были заимствованы главнѣйшіе рисунки «Живописнаго Обозрѣнія», мало отличались отъ старинныхъ нашихъ лубочныхъ изданій, однако, публика встрѣтила ихъ какъ пріятную новость. Впослѣдствіи, глазъ нашъ привыкъ къ изящнымъ политипажнымъ рисункамъ, которые почти не хуже рисунковъ на мѣди; но тогда, я помню это, плохіе политипажи казались удовлетворительными, отчего они и имѣли такой громадный успѣхъ во всей Европѣ. Большое достоинство «Живописному Обозрѣнію» придавали статьи, наполнявшія его и

писанныя Николаемъ Алексѣевичемъ, съ тѣмъ необыкновеннымъ тактомъ, какой показывалъ онъ во всѣхъ своихъ литературныхъ предпріятіяхъ. Онѣ были совершенно по плечу нашей читающей публикѣ, хотя могли удовлетворять и самаго образованнаго читателя. Онъ избиралъ для нихъ рисунки любопытнѣйшихъ предметовъ природы, искусства, ремеслъ, портреты и памятники замѣчательныхъ людей, кстати помѣщалъ и современныя извѣстія; словомъ, придалъ своему сборнику почти занимательность журнала. Общее одобреніе было таково, что съ перваго же года «Живописное Обозрѣніе» стали выписывать въ большомъ числѣ экземпляровъ для учебныхъ заведеній, и самъ Уваровъ разрѣшилъ получать его въ разныхъ подвѣдомыхъ ему заведеніяхъ. Г. Семэнъ былъ знакомъ съ нимъ и представилъ ему свое изданіе, которое онъ и принялъ, какъ будто не зналъ, кто былъ душою этого изданія.

Между тѣмъ, братъ мой не могъ же не выставлять своего имени на нѣкоторыхъ, прежде начатыхъ имъ книгахъ, какъ-то на «Исторіи русскаго народа», которая, при появленіи своемъ, удостоилась Высочайшаго благоволенія. Онъ полагалъ, что такимъ образомъ постепенно смягчитъ онъ своими дѣйствіями упрямую жестокость министра народнаго просвѣщенія.

ПРИЛОЖЕНІЯ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ.

1.

Письмо Сергѣя Николаевича Глинки.

Почтенный и любезный

Ксенофонтъ Алексѣевичъ!

Я жилъ и не жилъ въ Москвѣ. Извѣстно, что я не былъ около 25-ти лѣтъ ни въ театрѣ, ни въ клобахъ. Мѣстился въ кругу семейства и въ кругу добрыхъ друзей. Большая часть семейства со мною; друзья въ душѣ моей.

И такъ съ улицъ московскихъ, то есть изъ обители моихъ мечтаній, согнали меня крючкотворная ябеда и истома души: то есть—тяжба.

Я пишу теперь на французскомъ языкѣ: Considérations sur la marche graduelle de la Révolution française. Двѣ главныя причины переворота французскаго суть: презрѣніе къ человѣчеству и недостатокъ ума и духа законодательнаго.

Вотъ нѣкоторыя свидѣтельства:

«La vie des hommes semble trop abandonnée au caprice».—L'anarchie féodale ne subsiste plus, et plusieurs de ses lois subsistent encore; ce qui met dans la législation française une confusion intolérable. (Voltaire).

«Je voudrais autant soumettre ma cause au premier passant qu'à des juges armés de leurs ordonnances nombreuses». Это сказалъ Монтаній. И Екатерина почти то же повторила въ Наказѣ (§ 107).

Въ надгробномъ словѣ президенту Ламоаньону, Флешье говоритъ: «Combien de fois a-t-il essayé de bannir du Palais ces lenteurs affectées, et ces détours presque infinis, que l'avarice

a inventés a fin de faire durer des procès par les lois mêmes qu'on a faites pour les finir, et de profiter en même temps des dépouilles de celui qui perd, et de celui qui gagne sa cause»!

Вотъ что называютъ Юриспруденціей!..

«Les Romains, говоритъ Кондильякъ, ont eu le malheur de créer la jurisprudence, fausse science que les Grecs n'ont pas connus (тутъ слѣдуетъ еще выписка, но такъ неразборчиво написанная, что почти невозможно прочитать ее вполнѣ; пропускаю ее).

«Dieu,—говоритъ Боссюэтъ,—veut-il faire des législateurs, il leur envoye son esprit de sagesse et de prévoyance, il leur fait prévenir les maux qui menacent les états, et poser les fondements de la tranquillité publique».

Привѣтствуя М. М. Сперанскаго съ Сводомъ Законовъ, я писалъ, что этотъ подвигъ вѣкомъ двинулъ впередъ Россію. Пусть Сводъ Законовъ сведетъ и сдружитъ правду и правоту, и пусть правда и правота выведутъ изъ Свода Законовъ то, что̀ Екатерина въ Наказѣ называетъ первымъ счастіемъ государства, то есть букварь узаконеній.

Нельзя не подивиться странности сердца человѣческаго! Когда я мечталъ, что по самоотверженію отъ всякой земной собственности, не буду никогда знать порога судовъ, тогда безпечнымъ окомъ смотрѣлъ на ябеду и на тяжбы, которыя вписали меня въ цехъ насильствователя, грабителя, и такъ далѣе. Этимъ всѣмъ честятъ меня въ доносѣ.

Но то же странное сердце любитъ и помнитъ васъ и всѣхъ вашихъ.

«Къ вамъ несется,
«Сердце рвется,
«Не уймется
«Васъ любить,
«Съ вами жить».

Salut et hommages à vous et à tous les vôtres.

Tout à vous S. Glinka.

19-го января 1835 года.
Смоленскъ.

2.

Выписка изъ книги: «Исторія военныхъ дѣйствій въ Азіятской Турціи въ 1828 и 1829 годахъ» (Спб. 1836 года).

Перестрѣлка 14-го іюня 1829 года замѣчательна потому, что въ ней участвовалъ славный поэтъ нашъ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Онъ прибылъ къ нашему корпусу въ день выступленія на Саганлугъ и былъ обласканъ графомъ Эриванскимъ. Когда войска, совершивъ трудный переходъ, отдыхали въ долинѣ Инжа-Су, непріятель внезапно атаковалъ передовую цѣпь нашу, находившуюся подъ начальствомъ подполковника Басова. Поэтъ, въ первый разъ услышавъ около себя столь близкіе звуки войны, не могъ не уступить чувству энтузіазма. Въ поэтическомъ порывѣ онъ тотчасъ выскочилъ изъ ставки, сѣлъ на лошадь и мгновенно очутился на аванпостахъ. Опытный маіоръ Семичевъ, посланный генераломъ Раевскимъ вслѣдъ за поэтомъ, едва настигнулъ его и вывелъ насильно изъ передовой цѣпи казаковъ въ ту минуту, когда Пушкинъ, одушевленный отвагою, столь свойственной новобранцу-воину, схвативъ пику послѣ одного изъ убитыхъ казаковъ, устремился противу непріятельскихъ всадниковъ. Можно повѣрить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидѣвъ передъ собою незнакомаго героя въ круглой шапкѣ и въ буркѣ. Это былъ первый и послѣдній военный дебютъ любимца музъ на Кавказѣ. (Стр. 305-я (послѣдняя) 2-го тома).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Переводъ и изданіе Путешествія Дюмонъ-Дюрвиля.—Высочайшее благоволеніе императора Николая I, объявленное Николаю Алексѣевичу чрезъ графа А. Х. Бенкендорфа, за статью о памятникѣ Петра Великаго, напечатанную въ «Живописномъ Обозрѣніи».—Первая мысль о переводѣ Шекспировыхъ пьесъ для русской сцены.—Переводъ Гамлета.—Достоинства этого перевода и его чрезвычайная популярность.—Трудности постановки «Гамлета» на сценѣ.—Совмѣстная работа Н. А. Полеваго и Мочалова.—Заслуги Н. А. Полеваго для русской сцены и его чрезмѣрное безкорыстіе.—Причины его увлеченій сценою.—Мочаловъ въ Гамлетѣ.

Ограниченный кругъ литературной дѣятельности по изданію «Живописнаго Обозрѣнія» не могъ удовлетворять пылкаго и многосторонняго Николая Алексѣевича. Онъ занимался этимъ изданіемъ добросовѣстно, съ обычною своею любовью ко всякому литературному предпріятію, которое принималъ на себя, и успѣлъ образовать первое въ Россіи иллюстрированное періодическое изданіе, по образцу тогдашнихъ французскихъ и англійскихъ изданій того же рода. Оно, какъ уже я упоминалъ, чрезвычайно понравилось русской публикѣ и утвердилось надолго. Такимъ образомъ Николай Алексѣевичъ, между прочимъ, такъ сказать мимоходомъ, сдѣлалъ еще одно полезное нововведеніе въ нашей литературѣ, и можетъ быть названъ вчинателемъ иллюстрированныхъ изданій въ Россіи. Но полу-педагогическій характеръ «Живописнаго Обозрѣнія», которое, доставляя вообще пріятное и полезное чтеніе, предназначалось осо-

бенно для дѣтей, и много-много если для юношей и людей неученыхъ,—этотъ характеръ не давалъ довольно разгула воображенію и трудолюбію бывшаго издателя «Московскаго Телеграфа». Потому-то онъ, наполняя листы «Живописнаго Обозрѣнія», писалъ въ то же время повѣсти, романы, и началъ переводъ и изданіе извѣстнаго Путешествія Дюмонъ-Дюрвиля, думая, что эта книга будетъ для современнаго поколѣнія тѣмъ же, чѣмъ былъ для отцовъ нашихъ, да и для самого Николая Алексѣевича, Всемірный путешествователь, составленный аббатомъ Дела-Портомъ и переведенный на русскій языкъ трудолюбивымъ писателемъ и умнымъ дипломатомъ Я. И. Булгаковымъ. Это предпріятіе моего брата оказалось очень неудачно. Во-первыхъ, въ то же время сталъ издавать другой переводъ той же самой книги г. Плюшаръ, славный книжный антрепренеръ, бывшій тогда въ большой силѣ, такъ что всѣ журналы только похваливали его предпріятія. Его петербургское изданіе чрезвычайно помѣшало московскому изданію. Любопытно замѣтить, что съ тѣхъ поръ какъ началась издательская дѣятельность Смирдина, и почти всѣ лучшіе литераторы жили въ Петербургѣ, тамъ выходили самыя занимательныя, дѣльныя книги, тамъ легче были и всѣ литературныя предпріятія, при множествѣ лицъ, которыя готовы были способствовать имъ. Москва далеко отставала въ этомъ отношеніи отъ Петербурга, и, наконецъ, въ публикѣ образовалось мнѣніе, что только петербургскія книги хороши. Это доказывалось даже отзывами книгопродавцевъ и бродячихъ продавцевъ книгъ, которые охотнѣе покупали петербургскія книги и дороже платили за нихъ, говоря: «Намъ вотъ что̀ дорого», и указывая на магическое для нихъ въ заглавіи слово «С.-Петербургъ». При такомъ направленіи мнѣнія, трудно было моему брату соперничать съ изданіемъ Плюшара. Потому-то, напечатавъ нѣсколько томовъ своего Путешествія Дюмона-Дюрвиля, онъ, съ большою уступкою, продалъ все свое изданіе книгопродавцу Ули-

тину и разсрочилъ полученіе денегъ въ дальніе сроки. Но не прошло нѣсколькихъ мѣсяцевъ, послѣ продажи книги, какъ Улитинъ прекратилъ платежи и предложилъ своимъ кредиторамъ сдѣлку. Это не только нанесло большой убытокъ Николаю Алексѣевичу, но и чрезвычайно стѣснило его. Начатое имъ предпріятіе погибло и не было кончено.

Стѣсненный со всѣхъ сторонъ, подъ гнетомъ долговъ, уже довольно значительныхъ, братъ мой изыскивалъ средства къ облегченію себя, но средства эти заключались въ его умѣ и его перѣ, а именно за нихъ-то Уваровъ умѣлъ представить его человѣкомъ опаснымъ и подвергнулъ опалѣ и своему личному преслѣдованію. Первое облегченіе увидѣлъ опальный по одному неожиданному случаю, который долженъ я описать здѣсь въ знакъ признательности къ тѣмъ, кто были главными дѣйствователями при этомъ случаѣ. Изъ нихъ только одинъ остается въ живыхъ, [1]) и потому откровенность моя должна быть еще дозволительнѣе.

Императоръ Николай часто посѣщалъ Москву, и его почти всегда сопровождалъ графъ А. Х. Бенкендорфъ. Въ одинъ изъ такихъ пріѣздовъ, графъ спросилъ у состоявшаго при его канцеляріи чиновника, занимавшаго въ Москвѣ должность цензора періодическихъ изданій: «А что подѣлываетъ Полевой? какъ живетъ онъ?» Надобно замѣтить, что чиновникъ былъ за много лѣтъ прежде знакомъ съ Николаемъ Алексѣевичемъ, но въ описываемое мною время они почти не видались. На вопросъ графа онъ отвѣчалъ: «Полевой завѣдываетъ редакціей небольшого періодическаго изданія: «Живописное Обозрѣніе» и пишетъ тамъ прекрасныя статьи». Бывшій при этомъ московскій оберъ-полицеймейстеръ, генералъ свиты его величества Левъ Михайловичъ Цынскій, прибавилъ съ своей стороны, что онъ, по обязанности наблюдая за всѣми поступками Николая Алексѣевича Полеваго, не можетъ сказать о немъ ничего, кромѣ

[1]) Писано въ 1865 году.

добраго; Полевой живетъ тихо, скромно, трудится и рѣдко показывается въ обществѣ. «А что же это за журналъ, котораго редакторомъ Полевой?» спросилъ графъ Бенкендорфъ у своего чиновника (не называю его, потому что онъ здравствуетъ и въ настоящее время). Тотъ вынулъ изъ своего портфеля листки «Живописнаго Обозрѣнія» и, представляя ихъ графу, сказалъ: «Вотъ изданіе Полеваго. Прошу ваше сіятельство обратить вниманіе на статью: Памятникъ Петру Великому въ Петербургѣ, и вы согласитесь со мною, что нельзя писать благонамѣреннѣе и лучше». Графъ пробѣжалъ указанную ему статью, и она произвела на него такое благопріятное впечатлѣніе, что онъ воскликнулъ: «Я сейчасъ представлю это Государю Императору!» И съ листкомъ въ рукѣ онъ ушелъ во внутреннія комнаты дворца, а черезъ нѣсколько времени возвратился съ веселымъ лицомъ и сказалъ своему чиновнику: «Государь Императоръ чрезвычайно доволенъ статьею о Петрѣ Великомъ и поручилъ мнѣ изъявить свое благоволеніе за нее автору. Отправьте же сейчасъ фельдъегеря, съ приказаніемъ къ Полевому, чтобы онъ немедленно пріѣхалъ ко мнѣ. Надобно порадовать его!» Добрый чиновникъ замѣтилъ графу, что внезапный пріѣздъ фельдъегеря, съ приказаніемъ явиться къ шефу жандармовъ, можетъ встревожить Николая Алексѣевича Полеваго и еще больше испугать его семейство. «Позвольте, ваше сіятельство,—прибавилъ онъ,—мнѣ самому отправиться къ Полевому и предупредить его, что онъ явится къ вамъ для счастливой вѣсти».—Спасибо вамъ, что вы вздумали объ этомъ,—отвѣчалъ графъ Бенкендорфъ. Съ Богомъ, отправляйтесь.

Кто не согласится, что эта сцена дѣлаетъ величайшую честь доброму сердцу графа Бенкендорфа и показываетъ благородство, съ какимъ онъ отправлялъ трудную свою должность. Дѣйствія добраго его чиновника не нуждаются въ похвалахъ и говорятъ сами за себя. Онъ съ радостнымъ лицомъ пріѣхалъ къ Николаю Алексѣевичу, намекнулъ ему

о доброй вѣсти и привезъ его къ графу Бенкендорфу, который объявилъ ему высочайшее благоволеніе и объяснилъ, что Государь готовъ поощрять его во всѣхъ полезныхъ трудахъ. Послѣ разговора съ графомъ Бенкендорфомъ, братъ мой поуспокоился за свою будущность, видя или полагая, по крайней мѣрѣ, что противъ него нѣтъ постояннаго, неумолимаго предубѣжденія и что гоненіе отъ Уварова было слѣдствіемъ личнаго озлобленія на неугомоннаго писателя.

Во всѣхъ послѣдующихъ сношеніяхъ своихъ съ Николаемъ Алексѣевичемъ, графъ Бенкендорфъ дѣйствовалъ съ неизмѣннымъ доброжелательствомъ къ нему, и даже когда случалось ему (и не одинъ разъ послѣ этого) дѣлать выговоры неосторожному писателю, онъ старался щадить и ободрять въ немъ человѣка. Странное противорѣчіе въ поступкахъ двухъ сильныхъ тогда людей! Тотъ, кто, по назначенію своему, могъ преслѣдовать литератора, всячески облегчалъ его и старался вывесть изъ опалы, тогда какъ другой, по званію своему покровитель и защитникъ всѣхъ литераторовъ, преслѣдовалъ невиноватаго ни въ чемъ и игралъ въ отношеніи къ нему роль инквизитора. Потому-то братъ мой очень справедливо сказалъ, однажды, что «полиція обходится съ нимъ какъ министръ просвѣщенія, а дѣйствительный министръ просвѣщенія какъ полиція».

Еще во время изданія «Московскаго Телеграфа», Николай Алексѣевичъ имѣлъ мысль перевести одну изъ драмъ Шекспира и поставить ее на сцену, въ полномъ убѣжденіи, что это воскреситъ и нашу публику и актеровъ, которые чувствовали неудовлетворительность современнаго репертуара. И актеры, и публика скучали, но продолжали довольствоваться пошлыми комедіями и водевилями, которые ввелъ въ моду А. Писаревъ. Однообразіе репертуара нарушалось иногда чудовищными мелодрамами или нелѣпыми передѣлками знаменитыхъ драмъ. Никому и въ мысль не приходило, какъ измѣнить такое жалкое состояніе театра. И литераторы, и актеры были увѣрены, что сочиненія Шек-

спира писаны не для нашего времени, не годятся для сцены и не могутъ имѣть успѣха передъ нашею публикою. Братъ мой думалъ совсѣмъ иначе, часто говаривалъ мнѣ объ этомъ и жалѣлъ, что не имѣетъ досуга заняться переводомъ Шекспировой драмы. Въ 1835 году, хотя также занятый множествомъ литературныхъ работъ, онъ сталъ отдыхать иногда за переводомъ Шекспира (это собственное его выраженіе). Для перевода избралъ онъ Гамлета, конечно, самую глубокомысленную изъ драмъ великаго британскаго поэта, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, едва ли не самую богатую живыми, потрясающими душу, сценами и безсмертными изреченіями. Выборъ этой пьесы для перевода показываетъ необыкновенную проницательность Николая Алексѣевича. Какъ хорошо зналъ онъ, что̀ нужно было нашей публикѣ, и чѣмъ можно было вызвать ее къ невѣдомому ей до тѣхъ поръ эстетическому наслажденію! Какую ни избралъ бы онъ другую изъ пьесъ Шекспира для перваго знакомства съ нимъ нашей публики, успѣхъ едва ли увѣнчалъ бы предпріятіе? Другія пьесы Шекспира не представляютъ такого разнообразія подробностей, какъ Гамлетъ, и подчиняютъ зрителя какому нибудь одному глубокому ощущенію; а тогдашняя публика наша еще не могла увлечься этимъ. Въ Гамлетѣ, если она и не понимала основной мысли автора, то увлекалась общимъ ходомъ, чудеснымъ разнообразіемъ и силою почти каждаго явленія. Самая оригинальность содержанія этой великой драмы, таинственный, не всякому доступный характеръ главнаго лица, въ которомъ Шекспиръ вовсе не думалъ выставить героя, все тутъ было такъ ново, поразительно, полно жизни, что публика не могла остаться равнодушною при такой пьесѣ. Николай Алексѣевичъ одинъ за всѣхъ сообразилъ это и, наконецъ, съ необыкновенною своею пылкостью занялся новымъ для него самого трудомъ. Я уже не разъ упоминалъ, что онъ почти съ равною легкостью писалъ стихами и прозой; но борьба съ Шекспиромъ и самый родъ стиховъ его представляли

много трудностей для переводчика. За всѣмъ тѣмъ, онъ исполнилъ свое дѣло совершенно удовлетворительно, и лучшимъ доказательствомъ этого служитъ успѣхъ, необычайный, продолжительный и постоянный, какимъ была награждена смѣлая его попытка. Могутъ перевести Гамлета гораздо лучше и ближе, нежели перевелъ его братъ мой, но достоинство его перевода можетъ отрицать только пристрастная критика. Многія мѣста этого перевода прекрасны, и вообще онъ написанъ въ томъ характерѣ и тонѣ, какими отличается подлинникъ, что и способствовало его успѣху. Очень хорошій переводъ той же пьесы, еще прежде исполненный Вронченкомъ, больше всего страдаетъ тѣмъ, что онъ не въ духѣ подлинника и не передаетъ разнообразія его тоновъ и оттѣнковъ. Но Шекспировы лица въ переводѣ Полеваго говорятъ такъ, какъ должны они говорить сообразно своему характеру и намѣренію автора. Вотъ что̀ дало успѣхъ переводу моего брата и въ сценическомъ представленіи, и въ обыкновенномъ чтеніи. Враги его желчно повторяли, что въ этомъ переводѣ есть ошибки, неточности, неудачныя передѣлки. Можетъ быть; но общность выкупаетъ мелкіе недостатки, неизбѣжные во всякомъ трудѣ. Въ безсильной злости старались представить смѣшными нѣкоторыя выраженія того же перевода, сдѣлавшіяся общенародными поговорками, напримѣръ—за человѣка страшно! Что ему Гекуба! и еще другія. Но это выраженія прекрасныя, сильныя, правильныя, которые недаромъ сдѣлались популярными. Смѣшны тѣ, которые смѣются надъ ними.

Переводъ былъ конченъ, но предстояла еще великая трудность—поставить его на сцену. Николай Алексѣевичъ призвалъ къ себѣ актера Мочалова и предложилъ ему свой переводъ даромъ для представленія въ его бенефисъ. Мочаловъ былъ актеръ съ дарованіемъ, съ сильнымъ чувствомъ, но человѣкъ грубый, необразованный, неспособный собственными силами понимать Шекспира, потому что былъ совершенный невѣжда, и начитанность его ограничивалась ро-

лями, которыхъ игралъ онъ безчисленное множество. При первомъ предложеніи моего брата, онъ попятился, почти испугался и сталъ повторять общее тогда мнѣніе, что Шекспиръ не годится для русской сцены. Братъ мой старался объяснить ему, что онъ ошибается, польстилъ успѣхомъ самолюбію его, которое было неизмѣримо, прочиталъ съ нимъ Гамлета и отдалъ ему свою рукопись для изученія. Черезъ нѣсколько времени Мочаловъ явился къ нему, сталъ декламировать нѣкоторые монологи Гамлета, и братъ мой увидѣлъ, что онъ вовсе не понимаетъ назначаемой ему роли. Братъ толковалъ ему, что тутъ надобно не декламировать, не бѣсноваться, а объяснять мысль и чувство, вложенныя авторомъ въ слова. Онъ самъ началъ прочитывать ему каждое явленіе, со всѣми возможными комментаріями, выслушивалъ его чтеніе, поправлялъ, указывалъ, что̀ и какъ должно быть произнесено и, наконецъ, пробудилъ въ этомъ даровитомъ человѣкѣ чувство и сознаніе. Мочаловъ, артистъ неподдѣльный, охотно приходилъ къ нему совѣтоваться во всемъ, касательно роли Гамлета, и слѣдовалъ его совѣтамъ, конечно, потому, что находилъ отголосокъ имъ въ своей душѣ. Все лѣто 1836 года занимался такимъ образомъ Николай Алексѣевичъ съ Мочаловымъ и, наконецъ, былъ доволенъ имъ, обѣщая ему блистательный успѣхъ. Принятіе Гамлета на сцену не могло встрѣтить препятствій, потому что директоромъ московскаго театра былъ добродушный Загоскинъ, тогда искренній пріятель Николая Алексѣевича, а душою театральнаго управленія былъ Алексѣй Николаевичъ Верстовскій, самъ художникъ и образованный цѣнитель изящнаго. Онъ также находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ моимъ братомъ и много способствовалъ хорошей постановкѣ пьесы на сценѣ. Роль Гамлета занималъ Мочаловъ, Полонія—г. Щепкинъ, роль Офеліи занимала г-жа Орлова, а королевы, матери Гамлета — г-жа Львова-Синецкая. Всѣ они были хороши въ своихъ роляхъ, а особливо трое первые. Второстепенныя лица также

нашли себѣ хорошихъ представителей; напримѣръ, роль могильщика-говоруна отлично представлялъ г. Орловъ. Николай Алексѣевичъ присутствовалъ на нѣсколькихъ репетиціяхъ и былъ полезенъ своими совѣтами всѣмъ этимъ даровитымъ артистамъ и общности ихъ игры. Кромѣ того, что онъ вполнѣ понималъ Шекспира, онъ превосходно читалъ и могъ дать хорошій совѣтъ и примѣръ тѣмъ, кто произносилъ неправильно, ложно какую нибудь рѣчь, или не понималъ чувства, которое должно было одушевлять дѣйствующее лицо. Наконецъ, пьеса была слажена для представленія, и бенефисъ Мочалова назначенъ, кажется, въ февралѣ 1837 года [1]). Это было достопамятное событіе и для моего брата, и для будущности русской сцены. Отъ успѣха или неуспѣха зависѣла новая дѣятельность бывшаго журналиста и новая жизнь драматическаго искусства въ Россіи.

Я былъ на первомъ представленіи русскаго Гамлета и помню впечатлѣнія, какія испытывала публика, наполнявшая театръ. Первыя сцены, особливо та, гдѣ является тѣнь Гамлетова отца, были непонятны и какъ бы дики для зрителей; но когда начались чудесные монологи Гамлета, одушевленные дарованіемъ Мочалова, и превосходныя, вѣчно-оригинальныя сцены, гдѣ Гамлетъ выступаетъ на первый планъ, поражая зрителя неожиданностью и глубиной своихъ чувствованій, публика вполнѣ предалась очарованію великаго творенія и сочувствовала всѣмъ красотамъ, такъ щедро разсыпаннымъ въ этой дивной пьесѣ. Рукоплесканіямъ, вызовамъ не было конца, и переводчикъ увидѣлъ все сочувствіе, всю признательность къ нему публики. Почти то же повторилось и на Петербургской сценѣ, гдѣ вскорѣ былъ постав-

---

[1]) Первое представленіе Гамлета на московской сценѣ происходило 22-го января 1837 года. Въ дневникѣ Н. А. Полеваго находимъ объ этомъ упоминаніе въ слѣдующихъ словахъ: «Давали на театрѣ Гамлета. Поутру послѣдняя репетиція». И далѣе, подъ 27-мъ января: «2-е представленіе Гамлета. Не поѣхалъ, и смотрѣлъ танцы дѣтей».
П. П.

ленъ переводъ Николая Алексѣевича и гдѣ роль Гамлета занималъ В. А. Каратыгинъ. Это послѣднее обстоятельство служитъ лучшимъ опроверженіемъ мнѣнія тѣхъ вѣчныхъ порицателей Николая Алексѣевича, которые утверждали, что успѣхъ Гамлета зависѣлъ отъ игры Мочалова. Въ Петербургѣ занималъ главную роль Каратыгинъ и исполнилъ ее совсѣмъ иначе, нежели Мочаловъ; однако успѣхъ былъ не меньше, оттого, что главная причина этого успѣха заключалась въ самой пьесѣ и почти въ каждой роли, которыя даже при посредственной игрѣ производятъ удивительное дѣйствіе. При хорошемъ исполненіи, какъ въ Москвѣ, такъ и въ Петербургѣ, Гамлетъ не могъ не имѣть великаго успѣха, потому что открывалъ и публикѣ, и хорошимъ актерамъ новый міръ. Нельзя не сознаться, что тотъ, кто первый усвоилъ русской сценѣ Шекспира, оказалъ великую услугу сценическому искусству въ Россіи.

Объясненіемъ этой заслуги я желаю подтвердить ту мысль, которая находится въ основаніи моихъ «Записокъ» о Н. А. Полевомъ: онъ былъ передовой человѣкъ въ нашей литературѣ, начинатель всякаго успѣха, бывшаго на очереди. Нельзя отрицать событій, и потому нельзя не согласиться, что онъ былъ преобразователемъ многихъ отраслей нашей литературы, и успѣхи его въ этомъ происходили оттого, что онъ глядѣлъ на все свѣтлымъ взглядомъ, видѣлъ то, чего не видали другіе, а при неусыпной дѣятельности своей безпрерывно стремился къ новымъ успѣхамъ. Проложивъ дорогу въ одномъ направленіи, онъ начиналъ работать въ другомъ и за каждое предпріятіе принимался со всѣмъ увлеченіемъ своей пылкой души. Несомнѣнныя его дарованія помогали ему въ этомъ.

Всеобщій, неоспоримый успѣхъ Гамлета доставилъ Николаю Алексѣевичу новую, громкую извѣстность, и въ то же время глубокое уваженіе артистовъ. Онъ вошелъ въ этотъ новый для него міръ и, восхваляемый со всѣхъ сторонъ, началъ почти тотчасъ писать большую драму собствен-

наго своего сочиненія: Уголино. Черезъ годъ она была представлена, и успѣхъ ея былъ также блистателенъ, хотя она не имѣла никакихъ достоинствъ, кромѣ сценическихъ эффектовъ и нѣсколькихъ великолѣпныхъ тирадъ. Станемъ ли удивляться послѣ этого, что обольщенный успѣхомъ авторъ увлекся драматическимъ поприщемъ и поставилъ на сцену цѣлый рядъ театральныхъ пьесъ, удачныхъ и неудачныхъ, но долго поддерживавшихъ русскую сцену? Сценическіе успѣхи обольстительны; трудно защититься отъ увлеченія ими и самому несамолюбивому автору; а въ Николаѣ Алексѣевичѣ было много самолюбія именно такого рода, которое любитъ блескъ и громъ. Иногда онъ жертвовалъ ему всѣми другими соображеніями, какъ случилось, къ сожалѣнію, и съ его дѣятельностью для театра. Мы увидимъ это въ постепенномъ описаніи дальнѣйшихъ годовъ его жизни. Я не нахожу ничего похвальнаго въ томъ, что онъ не воспользовался блистательными и нежданными своими театральными успѣхами для пособія своему стѣсненному положенію. Какъ первую, такъ и слѣдующія пьесы свои, онъ дарилъ на бенефисы актерамъ и актрисамъ; а между тѣмъ, почти каждая пьеса его выдерживала безчисленныя представленія, и это составило бы значительный доходъ для автора. Извѣстно, что у насъ пьеса, представленная въ бенефисъ актера или актрисы, дѣлается достояніемъ театральной дирекціи и уже не даетъ никакого вознагражденія автору или переводчику. Какой же суммы дохода лишился Николай Алексѣевичъ отъ этихъ дарствованій гг. артистамъ? Можетъ быть, мнѣ случится упомянуть и о томъ, какою благодарностью отплатили ему нѣкоторые изъ нихъ! Здѣсь замѣчу только, что, не хваля неумѣстнаго великодушія моего брата, я вижу въ этомъ новое доказательство, какъ мало думалъ онъ о денежныхъ своихъ выгодахъ. А враги прославляли его корыстолюбцемъ. Хорошъ корыстолюбецъ, не умѣвшій соблюдать собственныхъ своихъ законныхъ выгодъ!

II.

Уваженіе молодежи къ Николаю Алексѣевичу. — Его знакомство съ Бѣлинскимъ. — Смирдинъ предлагаетъ Н. А. Полевому редактированіе «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества». — Передача московскихъ дѣлъ брату и сборы въ Петербургъ.—Рабусъ и Верстовскій.— Проводы Николая Алексѣевича. — Бѣдственное положеніе Бѣлинскаго и его недовольство Н. А. Полевымъ. — Мочаловъ и «Уголино».

Образъ жизни Николая Алексѣевича и послѣ прекращенія «Телеграфа» не измѣнился ни въ чемъ. Попрежнему онъ работалъ въ своемъ кабинетѣ съ утра до вечера, принималъ добрыхъ пріятелей, оставшихся ему вѣрными, и находилъ отдыхъ и утѣшеніе въ своемъ семействѣ. Молодые ученые и литераторы почитали за долгъ являться къ нему съ выраженіемъ своего уваженія. Къ числу ихъ принадлежали молодые люди, готовившіеся въ Дерптскомъ педагогическомъ институтѣ къ занятію каѳедръ въ русскихъ университетахъ. Еще изъ Дерпта прислали они моему брату печатныя свои диссертаціи, съ самыми лестными для него надписями. Эти книжки и до сихъ поръ сохранились. Пріѣзжавшіе для занятія каѳедръ въ Московскомъ университетѣ гг. Рѣдкинъ, Крюковъ и нѣкоторые другіе являлись къ Николаю Алексѣевичу и потомъ посѣщали его, покуда онъ оставался въ Москвѣ. Нѣтъ надобности пояснять, что такіе знаки уваженія благородныхъ молодыхъ людей были истиннымъ вознагражденіемъ человѣку, посвятившему жизнь свою на пользу русскаго просвѣщенія.

Къ этому времени относится знакомство Николая Алексѣевича съ Бѣлинскимъ [1]), который былъ нѣсколько лѣтъ жаркимъ его поклонникомъ, а потомъ — озлобленнымъ, не-

[1]) Въ Дневникѣ Николая Алексѣевича Полеваго, уже въ самомъ началѣ 1837 года, о Бѣлинскомъ упоминается, какъ о близкомъ человѣкѣ. П. П.

примиримымъ врагомъ. Я не знаю первоначальной жизни Бѣлинскаго; знаю только, что онъ былъ въ положеніи самомъ невыгодномъ, даже бѣдственномъ, когда началъ свое литературное поприще критическими статейками въ журналахъ Надеждина. Отчасти онъ самъ былъ причиною своего печальнаго положенія: не уживался ни съ кѣмъ, былъ вспыльчивъ, задоренъ и самолюбивъ до невообразимой степени. Подтвержденіемъ этого служитъ та исторія, которая заставила его выйдти изъ университета. Онъ написалъ какую-то часть русской грамматики, признавая, что всѣ писавшіе до него объ этомъ предметѣ ничего не смыслили. Съ рукописью своего опыта грамматики явился Бѣлинскій къ тогдашнему попечителю Московскаго университета, графу С. Г. Строгонову, и сталъ объяснять ему, что онъ много трудился надъ грамматикой, открылъ въ ней новые законы и представляетъ г. попечителю часть своего труда. Просвѣщенный, искренній покровитель всякаго любознательнаго стремленія, особливо въ студентахъ подвѣдомаго ему университета, графъ С. Г. Строгоновъ принялъ рукопись Бѣлинскаго очень благосклонно и сказалъ, что отдастъ разсмотрѣть ее свѣдущимъ людямъ. Когда, черезъ нѣсколько времени, Бѣлинскій явился узнать объ участи своего труда, графъ Строгоновъ возвратилъ ему рукопись его, исписанную замѣчаніями довольно колкими, насмѣшливыми и сказалъ, что приговоръ людей ученыхъ неблагосклоненъ къ этому дѣтскому, поверхностному труду; что онъ даже удивляется, какъ Бѣлинскій вздумалъ представить ему свой легкій опытъ за нѣчто образцовое. Бѣлинскій отвѣчалъ на этотъ отзывъ такъ, что уже не могъ болѣе оставаться въ университетѣ и бѣдствовалъ, находясь нѣсколько времени гувернеромъ при воспитанникахъ у г. Погодина, а потомъ сдѣлался сотрудникомъ Надеждина, который платилъ ему бездѣлицы за многорѣчивыя его статьи. Но въ этихъ статьяхъ, при всѣхъ ихъ недостаткахъ, была искренняя любовь къ просвѣщенію, были и мысли иногда

очень вѣрныя, всегда смѣлыя, словомъ, въ нихъ виденъ былъ тотъ Бѣлинскій, который разросся впослѣдствіи до необыкновенныхъ размѣровъ въ хорошемъ, и въ дикомъ, нелѣпомъ. Опытный взглядъ Николая Алексѣевича угадалъ это въ первыхъ попыткахъ Бѣлинскаго, котораго тогда же назвалъ онъ нелѣпымъ; но, всегда цѣня любовь къ просвѣщенію и юношескій жаръ въ стремленіи къ лучшему, онъ приблизилъ его къ себѣ, любилъ бесѣдовать съ нимъ, познакомилъ его со мною, и вскорѣ Бѣлинскій сдѣлался постояннымъ гостемъ у брата моего и у меня. Эта пріязнь была совершенно безкорыстною какъ съ нашей, такъ и съ его стороны. Братъ мой, самъ опальный литераторъ, не могъ покровительствовать ему ни въ чемъ; а Бѣлинскій, безвѣстный юноша, не могъ оказать ему никакой услуги. Мы видѣли въ немъ только добродушную искренность и благородную пылкость во всѣхъ его стремленіяхъ; онъ, съ своей стороны, выражалъ намъ свои жалобы, свои сѣтованія на людей, на ихъ испорченность, пошлость и, конечно, находилъ утѣшеніе въ бесѣдѣ съ тѣми, кому такъ искренно открывалъ свою душу. Самолюбіе его еще не было затронуто.

Вскорѣ представился моему брату случай измѣнить свое положеніе къ лучшему, какъ полагалъ онъ, и, не задумываясь ни мало, онъ рѣшился на это. Дѣятельный, прославившійся своими книжными, почти всегда счастливыми предпріятіями, А. Ф. Смирдинъ задумалъ новое большое предпріятіе. Онъ согласилъ издателей «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества» передать ему на условленное время изданіе ихъ газеты и журнала, съ правомъ пригласить для редакціи обоихъ изданій Н. А. Полеваго, который изъявилъ на то свое согласіе. Для разсказа моего важны не подробности условій этого предпріятія, а одно то, что братъ мой рѣшился переселиться въ Петербургъ, съ тѣмъ, чтобы принять на себя главную, какъ онъ полагалъ, редакцію двухъ большихъ изданій. Онъ объявилъ мнѣ объ этомъ, когда до-

говоръ его съ Смирдинымъ былъ уже конченъ. Смирдинъ обезпечивалъ ему большія выгоды, а на издержки переселенія и уплату нѣкоторыхъ нетерпящихъ долговъ выдавалъ впередъ 20,000 рублей ассигнаціями, правда, не наличными деньгами, а своими векселями, которые принимались тогда всѣми процентерами какъ чистыя деньги. Человѣкъ осторожный задумался бы надъ этими блестящими предложеніями, соединенными съ такимъ сцѣпленіемъ разныхъ обстоятельствъ и отношеній, изъ которыхъ каждое, при неудачѣ, могло разстроить все предпріятіе и поставить Николая Алексѣевича въ бѣдственное положеніе (какъ это и случилось!); между тѣмъ онъ разрывалъ всѣ прежнія связи, лишался хоть маленькихъ средствъ и поддержекъ въ Москвѣ, и переселялся въ Петербургъ, гдѣ на всѣхъ путяхъ множество состязающихся, гдѣ, по русской поговоркѣ, на обухѣ рожь молотятъ. Однимъ изъ величайшихъ неудобствъ новаго его положенія было то, что онъ долженъ былъ часто сталкиваться съ Булгаринымъ, который оставался непремѣннымъ участникомъ въ «Сѣверной Пчелѣ», и хотя братъ мой еще не зналъ его такъ, какъ узналъ впослѣдствіи, однако, имѣлъ много случаевъ удостовѣриться, что это былъ человѣкъ капризный, взбалмошный, готовый всѣмъ пожертвовать своему мелкому самолюбію—и корысти, какъ оказалось послѣ.

Другая опасность грозила брату моему въ лицѣ неумолимаго преслѣдователя его, министра Уварова, который, своимъ вліяніемъ, могъ препятствовать ему во всемъ, дѣлать разныя непріятности и воспользоваться какою нибудь его неосторожностью, чтобы совершенно раздавить его. Но братъ еще вѣрилъ, что правота его могла обезоружить сильнаго врага. Наконецъ, самъ Смирдинъ, честный, добрый, готовый на все хорошее, былъ человѣкъ пустой, слабый со многихъ сторонъ, и главное — загадочный, какъ купецъ. Братъ мой, конечно, зналъ, что Смирдинъ не имѣлъ почти никакого капитала въ своей торговлѣ, развелъ огромныя

дѣла на кредитъ, и отъ перваго удара могъ пошатнуться. Но, зная это, могъ ли онъ предполагать, что предпріятія Смирдина будутъ всегда удачны, а при неудачѣ могъ ли надѣяться, что этотъ добрый человѣкъ поддержитъ его, когда самъ очутится въ тискахъ? Всѣ эти соображенія могли бы придти въ голову кого нибудь другого, но не моего брата, довѣрчиваго до легкомыслія, легко увлекавшагося и ослѣпленнаго новымъ, обширнымъ поприщемъ литературной дѣятельности. Денежныя выгоды казались ему второстепеннымъ обстоятельствомъ; главнымъ для него было то, что онъ опять будетъ дѣйствовать какъ журналистъ. Я передалъ ему кой-какія свои соображенія, но увидѣлъ, что это былъ тщетный трудъ. Онъ мечталъ, что успѣетъ устроить свои отношенія и поправить стѣсненныя обстоятельства. Оставалось пожелать ему возможнаго успѣха и способствовать, чѣмъ я могъ, въ его дѣлахъ.

Онъ былъ долженъ въ Москвѣ значительныя суммы и, что̀ еще хуже—долженъ ростовщикамъ, то-есть людямъ, которые даютъ деньги не меньше, какъ за 12 процентовъ. При такихъ чудовищныхъ процентахъ ожидаетъ заемщика неминуемая гибель, если какой нибудь счастливый оборотъ не пособитъ ему собрать въ короткое время сумму для платежа окончательнаго. Братъ мой разсчитывалъ и надѣялся, что въ новомъ положеніи ему удастся это. На платежъ ближайшихъ долговъ своихъ онъ оставлялъ мнѣ нѣсколько векселей, передавалъ принадлежавшія ему изданія и обѣщалъ, что если бы мнѣ случилось произвести за него какой-либо платежъ своими деньгами, то онъ возвратитъ ихъ при первой возможности. Я могъ взяться за это, потому что нѣсколько удачныхъ изданій книгъ доставили мнѣ капиталъ, хотя небольшой: сверхъ того, книжная торговля, родившаяся изъ бывшей конторы «Московскаго Телеграфа», шла очень успѣшно, такъ что у меня была оборотная сумма. Разумѣется, что основаніемъ такихъ отношеній служила наша беззавѣтная, безкорыстная дружба,—которая не знаетъ

разсчетовъ. Я готовъ былъ сдѣлать для моего брата все, что только могъ, такъ же какъ онъ дѣлалъ для меня все, что было въ его возможности. Мы не думали о томъ, кто кому изъ насъ останется долженъ, а разсчитывали только, какъ бы пособить другъ другу въ случаѣ нужды. Словомъ, я обѣщалъ ему успокоивать и облегчать его въ Москвѣ, а онъ обѣщалъ способствовать мнѣ въ Петербургѣ всѣмъ, чѣмъ и гдѣ только могъ. Съ горькою улыбкою вспоминаю, что, говоря о долгахъ, о векселяхъ, о деньгахъ, мы прилагали къ нимъ презрительные эпитеты, жалѣли о людяхъ, которые только ими занимаютъ свою жизнь, и смѣялись, довѣрчиво утѣшая себя, что скоро избавимся отъ такихъ отношеній съ людьми. Мы еще не испытали на себѣ, какъ трудно избавиться отъ гидры, называемой долгами!.. Если книгу мою будутъ читать молодые люди, вступающіе на поприще жизни, умоляю ихъ, для счастія въ жизни, не входить ни въ какіе, даже малѣйшіе долги. Лучше ѣсть черный хлѣбъ, испытать голодъ, холодъ, всякое стѣсненіе, чѣмъ занимать деньги, не имѣя вѣрнаго фонда для уплаты ихъ. Тотъ долженъ навѣкъ проститься съ спокойствіемъ и свободой, кто дѣлается должникомъ ростовщиковъ.

Но мы съ братомъ не знали этихъ горькихъ истинъ и вполнѣ были увѣрены, что избавимся отъ крайняго стѣсненія дѣятельностью, трудомъ, терпѣніемъ. Я не очень вѣрилъ петербургскимъ его надеждамъ, но былъ увѣренъ въ немъ, зналъ его неизмѣнимое никакими случайностями благородство, его умъ, неистощимый въ средствахъ, и не думалъ только объ одномъ, что онъ самъ могъ очутиться въ положеніи неисходномъ! Что значатъ воля и самая геройская рѣшимость передъ всемогущими обстоятельствами?

Братъ передалъ мнѣ редакцію «Живописнаго Обозрѣнія», потому что, переселяясь въ другой городъ, не могъ больше заниматься ею. Я поддержалъ это изданіе и занимался имъ нѣсколько лѣтъ, раздѣляя выгоды съ издателемъ, г-мъ Семэномъ, человѣкомъ пріятнымъ во всѣхъ сно-

шеніяхъ. Оно служило мнѣ поддержкою и въ собственныхъ моихъ дѣлахъ, и въ обязательствахъ моего брата. Лѣтомъ 1837 года Николай Алексѣевичъ отправилъ свою жену и часть своего семейства въ Ревель для поправленія здоровья морскими купаньями; съ остальными дѣтьми онъ жилъ до осени въ скромной своей квартирѣ (подъ Новинскимъ, во флигелѣ дома Сафонова). Эти мѣсяцы оставили пріятное воспоминаніе въ моей жизни. Братъ мой, полу-одинокій, чаще обыкновеннаго видался со мною и иногда проводилъ цѣлые дни со мною и моимъ семействомъ, на дачѣ, а его сообщество въ искреннемъ кругу заключало въ себѣ прелесть неизъяснимую. Всѣмъ извѣстенъ его умъ; но только ближайшіе къ нему люди могли судить, до какой степени этотъ умъ, обогащенный самой обширной начитанностью и основательнымъ изученіемъ многихъ предметовъ, былъ пріятенъ и, можно сказать, обаяленъ. Онъ примѣнялся ко всѣмъ предметамъ, ко всѣмъ положеніямъ, къ самымъ разнообразнымъ лицамъ. Равно способный разговаривать съ первостепеннымъ ученымъ о его предметѣ и весело шутить съ ребенкомъ, Николай Алексѣевичъ умѣлъ придать всему форму образованности, и былъ такъ же уменъ въ сужденіяхъ о предметахъ науки, какъ и въ пріятной болтовнѣ съ умною женщиною. Замѣчу мимоходомъ, что онъ былъ особеннымъ любимцемъ женщинъ, которыя находили въ его бесѣдѣ остроуміе и пріятную, легкую, оригинальную игру воображенія, придававшую разговору поэтическій оттѣнокъ. Въ самой веселости его всегда проглядывала грусть—свойство многихъ необыкновенныхъ людей; но онъ умѣлъ шутить и предаваться радости, какъ бы подавляя неисцѣлимую грусть своей души. Сколько жизни и силы было въ его мечтахъ о совершенствованіи и счастіи человѣчества! Сколько любви къ изящному и ко всѣмъ поэтамъ и художникамъ! Сколько идей и порывовъ благородныхъ, прекрасныхъ, чистыхъ! Къ сожалѣнію, онъ только немногое могъ осуществить своею дѣятельностью и постояннымъ трудомъ,—но

счастливъ и тотъ, кто можетъ сдѣлать столько же, какъ онъ успѣлъ сдѣлать въ непродолжительную свою жизнь!

Бесѣды наши разнообразились иногда присутствіемъ немногихъ искреннихъ знакомыхъ. Въ это время особенно сблизился съ нами академикъ Карлъ Ивановичъ Рабусъ, хорошій ландшафтный живописецъ, образованный художникъ и чрезвычайно любезный человѣкъ. Нѣмецъ по происхожденію, малороссіянинъ по воспитанію, онъ соединялъ въ себѣ хорошія качества того и другого народа. Продолжительное путешествіе по Греціи и Германіи, ученіе въ Академіи Художествъ, оригинальныя черты малороссіянъ, все служило предметомъ для его остроумныхъ разсказовъ и сужденій. Онъ вынесъ теплую душу изъ разныхъ испытаній жизни и отличался дѣтскимъ простодушіемъ въ обращеніи; но когда рѣчь касалась искусства, въ немъ видна была душа художника. Этотъ необыкновенный человѣкъ умеръ слишкомъ рано. Воспоминаніе о немъ не умретъ для его друзей.

Николай Алексѣевичъ находилъ истинное наслажденіе въ дружескихъ сношеніяхъ съ другимъ необыкновеннымъ человѣкомъ, Алексѣемъ Николаевичемъ Верстовскимъ, въ которомъ столько же любилъ и уважалъ онъ блестящее его дарованіе и глубокія познанія въ музыкѣ, сколько пылкую, поэтическую его душу. Притомъ рѣдко можно встрѣтить человѣка столь оригинально-остроумнаго! Все это вмѣстѣ привязывало Николая Алексѣевича къ Алексѣю Николаевичу Верстовскому, и онъ очень часто видѣлся съ нимъ въ послѣдніе мѣсяцы своего житья въ Москвѣ. Онъ вызвался написать либретто для новой оперы г. Верстовскаго. Былъ избранъ сюжетъ, даже написано нѣсколько сценъ; но сначала хлопоты переселенія, а потомъ заботы и непріятности, начавшіяся для моего брата тотчасъ по пріѣздѣ въ Петербургъ, помѣшали исполненію этого намѣренія.

Не называю другихъ, безвѣстныхъ публикѣ лицъ, съ которыми жаль было разставаться Николаю Алексѣевичу

при переселеніи его въ городъ. Семейныя привязанности также должны быть тайною лишь тѣхъ, кому онѣ принадлежатъ. Тѣмъ не меньше грустно оставлять людей, дорогихъ сердцу или душѣ по какимъ бы то ни было отношеніямъ. Братъ мой испытывалъ это вполнѣ, но мужественно стремился къ исполненію принятаго имъ намѣренія.

Послѣднія двѣ или три недѣли, послѣ отправленія въ Петербургъ остальной части своего семейства, Николай Алексѣевичъ прожилъ у меня въ квартирѣ, въ отдѣльныхъ комнатахъ, гдѣ у него перебывало множество посѣтителей. Иные приходили по дѣламъ, другіе желали побесѣдовать съ нимъ, нѣкоторые хотѣли на прощанье выразить ему свое уваженіе, потому что для всѣхъ нашихъ знакомыхъ отъѣздъ моего брата казался событіемъ. Какъ жители Москвы, они, можно подумать, хотѣли выразить за нее, что она разстается съ однимъ изъ достойнѣйшихъ сыновъ своихъ.

Въ это время Бѣлинскій оказывалъ ему самую жаркую приверженность, и едва ли не чаще всѣхъ бывалъ у него. Николай Алексѣевичъ, видя его умъ и добрыя стремленія, желалъ оказать ему пособіе въ бѣдственномъ его положеніи и вмѣстѣ способствовать его успѣхамъ. Съ такими цѣлями, онъ приглашалъ его писать для тѣхъ изданій, которыхъ готовился быть редакторомъ, и обѣщалъ переселить его въ Петербургъ, если откроется постоянное и выгодное для него занятіе. Бѣлинскій съ увлеченіемъ желалъ, чтобы это исполнилось, обѣщалъ самое искреннее сотрудничество и боялся только, что въ газетѣ слишкомъ тѣсны рамы для его статей, которыя любилъ онъ писать размашисто, многословно, и не умѣлъ укладываться въ опредѣленныхъ границахъ. «Что можно сказать въ фельетонѣ»! говаривалъ онъ. «Иную мысль не разовьешь и въ книгѣ»,— прибавлялъ онъ, не зная искусства быть краткимъ и любя вводить въ свои разсужденія всякую посторонщину. Надѣялись отвратить какъ-нибудь это затрудненіе, отдѣливъ для Бѣлинскаго побольше мѣста въ «Сѣверной Пчелѣ» и «Сынѣ Отече-

ства». Онъ умолялъ только объ одномъ: напечатать вполнѣ его статью о Гамлетѣ и Мочаловѣ, котораго признавалъ онъ геніальнымъ актеромъ. Онъ еще только сбирался писать эту статью, но говорилъ, что она выйдетъ объемиста, вѣроятно располагаясь разговориться въ ней de omni re scibili. Братъ мой не могъ судить о ней, но на вѣру въ дарованіе и усердіе Бѣлинскаго обѣщалъ, что исполнитъ его желаніе. Можно ли было предполагать, что эта несчастная статья, никогда вполнѣ и не написанная, будетъ поводомъ для Бѣлинскаго къ непримиримой злобѣ и мщенію противъ того, кто оказывалъ ему столько радушія?

Время летѣло быстро при множествѣ посѣщеній, визитовъ, дѣлъ и разныхъ приготовленій къ отъѣзду. Уладивши всѣ свои дѣла въ Москвѣ, сколько было можно, Николай Алексѣевичъ спѣшилъ оставить прежнія отношенія для новыхъ, которыя призывали его въ Петербургъ. Наконецъ, назначенъ былъ день его отъѣзда. Грустный день! Я чувствовалъ тоску невыразимую, теряя много съ его удаленіемъ, теряя единственнаго друга, съ которымъ, въ продолженіе столькихъ лѣтъ, дѣлилъ всѣ радости и горести, труды и заботы, мысли и ощущенія. Мнѣ казалось невообразимо жить въ Москвѣ безъ него!

Николай Алексѣевичъ не говорилъ никому изъ знакомыхъ о днѣ своего отъѣзда, не желая, чтобы толпа провожала его, и стѣсняла въ послѣдніе часы, которые хотѣлъ онъ посвятить родственной любви и дружбѣ. Такъ и случилось, что его никто не провожалъ; пришелъ только Бѣлинскій[1]), и когда, наконецъ, братъ мой сѣлъ въ дорожный экипажъ, я съ Бѣлинскимъ отправился проводить его за Тверскую заставу. Проѣхавъ съ версту по шоссе, мы остановились; Николай Алексѣевичъ вышелъ изъ своего эки-

[1]) Въ Дневникѣ Николая Алексѣевича Полеваго, подъ 12 октября 1837 года, находимъ слѣдующую помѣтку: «Уѣхалъ. Братъ, Мочаловъ и Бѣлинскій провожали меня до заставы. Со мною Ратьковъ».
П. П.

пажа, и когда мы крѣпко обнялись на прощанье — слезы невольно покатились изъ нашихъ глазъ... Онъ спѣшилъ броситься въ дилижансъ (кажется, взятый имъ весь, потому что съ нимъ отправлялся П. А. Ратьковъ и еще кто-то)... Долго и безмолвно стоялъ я на дорогѣ, покуда экипажъ не скрылся изъ глазъ. Когда, наконецъ, опомнился я отъ моихъ ощущеній, я увидѣлъ стоявшаго вблизи меня Бѣлинскаго — въ слезахъ!.. Онъ не могъ равнодушно видѣть сцены прощанія моего съ братомъ. Не говоря ничего, я пожалъ ему руку и пригласилъ ѣхать ко мнѣ, провести нѣсколько времени вмѣстѣ. Помню, что мы говорили немного, но я былъ чрезвычайно благодаренъ ему за его сочувствіе... Довольно было видѣть его въ этотъ день, чтобы увѣриться въ его добромъ сердцѣ. Я и теперь увѣренъ, что онъ былъ способенъ къ самымъ нѣжнымъ и возвышеннымъ чувствованіямъ, хотя грубая кора покрывала его. Несчастіемъ жизни его была — желчная болѣзнь, можетъ быть, порожденная страданіями и бѣдностью, и еще больше — гордость и самолюбіе, эти страшные недуги души, особенно когда они владѣютъ человѣкомъ такъ, какъ владѣли Бѣлинскимъ.

Николай Алексѣевичъ оставилъ мнѣ нѣсколько скучныхъ дѣлъ и заботъ. Тягостнѣе всего былъ платежъ долговъ его по срочнымъ векселямъ, которыхъ скопилось въ это время довольно много. Средствъ, переданныхъ имъ мнѣ, не доставало, и поневолѣ надобно было прибавлять своихъ денегъ, а это затрудняло меня. Я принужденъ былъ самъ занимать, въ надеждѣ, что вскорѣ онъ будетъ въ состояніи уплатить и по прежнимъ и по новымъ векселямъ. Не безразсудство и не исключительно дружба къ брату заставляли меня такъ дѣйствовать, а увѣренность, что труды его вознаградятся, особливо при тѣхъ выгодныхъ условіяхъ, на какихъ онъ долженъ былъ начать свою дѣятельность въ Петербургѣ. Да и могъ ли я не платить за него, хотя бы собственными деньгами, когда гибель его могла погубить и меня?

Другою скучною, хотя пустою въ основаніи, заботою

былъ для меня Мочаловъ съ своимъ бенефисомъ. Надобно пояснить, что братъ мой отдалъ ему Уголино, какъ и Гамлета, безплатно, и Мочаловъ назначилъ его для представленія въ свой бенефисъ, который, по росписанію дирекціи, приходился въ первыхъ числахъ января. Братъ мой уѣхалъ въ Петербургъ въ половинѣ октября, и долго потомъ даже не упоминалъ, отдалъ ли онъ въ цензуру свою пьесу и скоро ли она выйдетъ оттуда. Между тѣмъ въ Москвѣ уже разучивали роли и начали репетировать Уголино, прежде нежели онъ былъ дозволенъ къ представленію, и Мочаловъ безпрестанно приходилъ ко мнѣ справиться, не получилъ ли я извѣстія изъ Петербурга? Когда это замедлилось, онъ началъ изъявлять отчаяніе, бѣсноваться, печалиться, даже высказывать иногда опасенія, что онъ, по милости Николая Алексѣевича, останется безъ бенефиса. Я останавливалъ его порывы, утѣшалъ его и видѣлъ въ немъ только ребенка, покуда онъ не явился ко мнѣ однажды—пьяный! Я выпроводилъ его и велѣлъ отказывать ему, если онъ придетъ еще. Къ счастію, разрѣшеніе представлять Уголино пришло во-время, и Мочаловъ снова явился передо мною ребенкомъ: радовался, просилъ извиненія и такъ искренно сожалѣлъ о безпокойствахъ, надѣланныхъ имъ мнѣ, что я помирился съ нимъ. Онъ, такъ же какъ отецъ его, славный въ свое время актеръ, былъ одаренъ отъ природы чрезвычайно щедро, но не умѣлъ или не могъ воспользоваться своимъ дарованіемъ вполнѣ. Выразительное, благородное лицо, симпатическій голосъ, рѣдкая способность одушевляться своею ролью, могли бы способствовать ему усовершенствоваться въ сценическомъ искусствѣ. Но, оставшись безъ всякаго образованія, онъ слишкомъ рано выступилъ на сцену и, къ несчастію, слѣдовалъ примѣрамъ и указаніямъ дурной, ложной школы; наконецъ, что совершенно погубило его и свело преждевременно въ гробъ, онъ—также подобно отцу—предавался пьянству до изступленія. За всѣмъ тѣмъ, въ хорошіе, трезвые періоды своей жизни, онъ пока-

зывалъ иногда такое сильное сценическое дарованіе, что могъ быть причисленъ къ лучшимъ актерамъ, какіе бывали на русской сценѣ. Роль Гамлета исполнялъ онъ превосходно, лучше нежели какой либо другой изъ русскихъ артистовъ, и это доказываетъ, какимъ художникомъ явился бы онъ, если бы съ юныхъ дней получилъ хорошее образованіе, воспитался не на театральныхъ подмосткахъ въ періодъ ложнаго направленія и не испортилъ себя глупыми ролями и безпорядочною жизнью.

Не ропталъ, какъ Мочаловъ, но появлялся ко мнѣ съ печальнымъ лицомъ Бѣлинскій. Онъ также ждалъ утѣшительныхъ вѣстей отъ Николая Алексѣевича, а ихъ не было. Читатели увидятъ причины этого въ письмахъ моего брата, которыя приведу я далѣе; но я не зналъ въ первое время, почему онъ и ко мнѣ писалъ лишь немного словъ, а о Бѣлинскомъ даже не упоминалъ. Вотъ что̀ печалило Бѣлинскаго, и я скорбѣлъ, видя его несчастное положеніе, не имѣя средствъ помочь ему, тѣмъ больше, что съ нимъ надобно было обходиться какъ съ огнемъ, готовымъ вспыхнуть отъ легчайшаго прикосновенія горючаго вещества. Необходимо было щадить его самолюбіе и гордость, а между тѣмъ онъ находился подъ гнетомъ — мало сказать бѣдности — тяжкой нищеты. Опишу случай, который покажетъ это.

Съ нимъ жили одинъ или двое братьевъ: по крайней мѣрѣ помню одного, въ изношенномъ студенческомъ нарядѣ. Кажется, Бѣлинскій взялъ къ себѣ брата (или братьевъ), когда еще имѣлъ кой-какія средства къ существованію, сотрудничая въ журналахъ Надеждина. Когда не стало этого пособія, онъ очутился въ отчаянномъ положеніи. Въ описываемое мною время, братъ его приходитъ ко мнѣ и говоритъ, что Виссаріонъ Григорьевичъ боленъ, такъ что не можетъ выходить, а между тѣмъ ему необходимо повидаться со мною, и онъ проситъ меня посѣтить его. Я немедленно отправился къ нему, по указанію его брата. Бѣлинскій жилъ въ домѣ князя Касаткина-Ростовскаго, выходящемъ

главнымъ фасадомъ на Петровку, а другимъ въ переулокъ и на канаву. Этотъ огромный домъ всегда бывалъ наполненъ множествомъ жильцовъ, находившихъ тамъ самыя дешевыя квартиры. Входъ въ квартиру Бѣлинскаго былъ изнутри двора. Когда я переступилъ къ нему за порогъ, то невольно остановился, увидѣвъ себя въ какой-то обширной комнатѣ, раздѣленной на каморки и углы, гдѣ отъ мрака и пàру трудно было разглядѣть что нибудь. На спросъ мой о В. Г. Бѣлинскомъ, мнѣ указали уголъ, гдѣ, за какою-то перегородкою, сидѣлъ въ полумракѣ бѣдный мой знакомецъ и, окутанный шарфами, сильно кашлялъ. Онъ изъявилъ мнѣ свою благодарность за посѣщеніе, и послѣ нѣсколькихъ обиняковъ и горькихъ шутокъ надъ своимъ положеніемъ, сказалъ, что ему крайне необходимы—пять рублей!.. Я посѣтовалъ на него за церемоніи и предложилъ сколько ему было нужно для всѣхъ неотступныхъ потребностей. Мое радушное ободреніе было видимо пріятно страдальцу. Онъ не благодарилъ меня, а только крѣпко пожалъ мнѣ руку, когда я уходилъ.

Бѣдность всегда тягостна, иногда убійственна; но особенно болѣзненна она для того, кто чувствуетъ въ себѣ возвышенныя стремленія и душевныя силы—потому что ихъ-то она и придавливаетъ. Я видѣлъ, что въ такомъ положеніи находился Бѣлинскій. Онъ чувствовалъ себя выше многихъ; можетъ быть, мечталъ и о той славѣ, какою пользуется послѣ своей смерти; но, томясь въ грязномъ углу, почти безъ хлѣба, больной, онъ конечно страдалъ тяжко. Изыскивая всѣ средства помочь ему и зная, что гордость его возмутилась бы отъ всякаго предложенія, которое почтетъ онъ унизительнымъ для себя, я рѣшился, наконецъ, предложить ему работу, въ видѣ одолженія для меня самого. Я издавалъ тогда многотомную книгу: Дѣянія Петра Великаго, сочиненія Голикова (2-е изданіе), и написалъ къ Бѣлинскому самое дружеское письмо, гдѣ просилъ его принять на себя чтеніе корректурныхъ листовъ печатаемой

мною книги и предлагалъ ему за трудъ такую плату, какой обыкновенно корректоры не получаютъ. Я опасался, что онъ, по гордости своей, отвергнетъ мое предложеніе какъ обиду, и обрадовался, когда получилъ отъ него отвѣтъ, почти въ слѣдующихъ словахъ: «Не только не отказываюсь отъ вашего предложенія, но хватаюсь за него какъ за спасительное средство въ моемъ положеніи. Присылайте мнѣ поскорѣе корректуры, давайте ихъ больше, и будьте увѣрены, что я стану съ величайшимъ усердіемъ исправлять всѣ ошибки наборщиковъ. Да это поэзія въ моемъ положеніи!»

Я былъ очень радъ, что могъ быть хоть сколько нибудь полезенъ Бѣлинскому; но сношенія наши послѣ этого были непродолжительны. Въ № 4 «Сѣверной Пчелы» 1838 года—слѣдовательно въ самомъ началѣ года—была напечатана статья Бѣлинскаго подъ заглавіемъ: Гамлетъ. Драма Шекспира. Мочаловъ въ роли Гамлета. Статья первая. Въ ней нѣтъ ничего замѣчательнаго, и она должна была только служить приступомъ или частью введенія, потому что авторъ сбирался написать цѣлую книгу о Гамлетѣ и Мочаловѣ. Вскорѣ онъ послалъ второй большой отрывокъ ея къ моему брату; но этотъ отрывокъ не былъ напечатанъ, по той причинѣ, какъ говорилъ мнѣ потомъ Николай Алексѣевичъ, что Бѣлинскій слишкомъ хвалилъ переводчика Гамлета, а всѣ знали, что переводчикъ былъ редакторомъ «Сѣверной Пчелы», и ему казалось неумѣстнымъ печатать похвалы себѣ въ той газетѣ, которая находилась въ его распоряженіи. Оттого второй отрывокъ знаменитой статьи Бѣлинскаго не являлся въ печати, и онъ сначала недоумѣвалъ, жаловался мнѣ на брата моего и, наконецъ, разсердился на него, когда были напечатаны гдѣ-то насмѣшливыя замѣчанія на первую статью о Гамлетѣ. «Зачѣмъ же онъ манилъ меня надеждами?» говорилъ мнѣ Бѣлинскій. «Зачѣмъ напечаталъ первую статью и не печатаетъ второй? и гдѣ же теперь буду я защищаться отъ нападеній за первую, когда мнѣ заперты двери въ «Сѣверную

Пчелу?» Я совѣтовалъ ему подождать объясненій отъ моего брата, ручался, что съ его стороны, вѣрно, нѣтъ ничего, кромѣ желанія быть пріятнымъ и полезнымъ Бѣлинскому; но этотъ пылкій человѣкъ явно охладѣлъ къ моему брату. Онъ еще продолжалъ посѣщать меня, но уже не упоминалъ ни о Гамлетѣ, ни о статьѣ своей. Тутъ вскорѣ онъ сблизился съ нѣсколькими молодыми людьми, которые совершенно повернули ему голову. Онъ приводилъ ко мнѣ одного изъ нихъ (Бакунина); съ другими я былъ знакомъ прежде его, и не могъ никогда сблизиться съ этимъ кружкомъ. Вскорѣ они рѣшились издавать свой журналъ; но объ этомъ рѣчь впереди.

III.

Какъ правительство относилось въ это время къ Николаю Алексѣевичу. — Приготовленія къ изданію «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества» въ 1838 году, подъ редакціею Николая Алексѣевича. — Новое гоненіе на него министра Уварова. — Запрещеніе Николаю Алексѣевичу даже подписывать имя свое подъ статьями. — Ксенофонту Алексѣевичу не дозволяютъ издавать «Московскаго Наблюдателя». — Хлопоты Ксенофонта Алексѣевича объ устраненіи этихъ запрещеній. — Успѣхъ «Гамлета» въ Петербургѣ. — Что заставило Николая Алексѣевича уѣхать изъ Москвы. — Онъ дѣлается негласнымъ редакторомъ «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества», не смотря на запрещеніе Уварова. — Предположеніе объ устройствѣ этихъ двухъ журналовъ. — Заботы о постановкѣ «Уголино» на Московскомъ театрѣ. — Блестящій успѣхъ «Уголино» въ Петербургѣ. — Мнѣніе Николая Алексѣевича объ «Уголино».

Я не могъ не безпокоиться о моемъ братѣ, когда онъ, въ первое время по пріѣздѣ своемъ въ Петербургъ, писалъ ко мнѣ коротенькія письма, съ самыми тревожными упоминаніями о разныхъ подробностяхъ своей жизни. Наконецъ, я получилъ отъ него первое большое письмо, отъ 5-го ноября, гдѣ онъ подробно излагалъ печальныя обстоя-

тельства, вдругъ окружившія его въ Петербургѣ такъ тяжко, какъ нельзя было и ожидать.

Прежде нежели перепишу здѣсь его письмо, для поясненія я долженъ упомянуть, что братъ мой почиталъ себя не въ такихъ отношеніяхъ къ правительству, какъ это оказалось на дѣлѣ. Послѣ высочайшаго благоволенія, объявленнаго ему за статью о Петрѣ Великомъ (какъ упоминалъ я выше), графъ Бенкендорфъ не одинъ разъ, во время пріѣздовъ своихъ въ Москву, призывалъ его къ себѣ, разсуждалъ съ нимъ очень любезно о разныхъ предметахъ, поручалъ составлять статьи о пребываніи государя императора въ Москвѣ, и вообще обходился съ нимъ, какъ съ человѣкомъ уважаемымъ и отнюдь не подозрительнымъ для правительства. Тотъ, кому, повидимому, былъ порученъ ближайшій надзоръ за моимъ братомъ послѣ запрещенія «Московскаго Телеграфа», Левъ Михайловичъ Цынскій (оберъ-полицеймейстеръ въ Москвѣ), постоянно изъявлялъ ему уваженіе и, можно сказать, самую искреннюю пріязнь, любилъ съ нимъ побесѣдовать, пообѣдать запросто съ двумя-тремя общими знакомыми, и когда доходила рѣчь до отношеній моего брата къ правительству, генералъ Цынскій увѣрялъ его, что онъ можетъ быть спокоенъ, что его безукоризненныя дѣйствія и честная жизнь вполнѣ извѣстны. Я былъ знакомъ съ генераломъ Цынскимъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, и могу засвидѣтельствовать, что это былъ не такой человѣкъ, который былъ бы способенъ говорить то, чего не было. Я всегда видѣлъ въ немъ благороднаго, достойнаго сподвижника офицеровъ 1812 года, въ которыхъ господствовалъ честный характеръ. Нѣсколько жесткія формы не мѣшали ему дѣлать добро и пользу при исполненіи трудныхъ его обязанностей. Я самъ, лично, обязанъ ему за дѣйствія его при одномъ важномъ случаѣ моей жизни, и умру съ сердцемъ, полнымъ благодарнаго воспоминанія о немъ. Повторяю, что такой человѣкъ не былъ способенъ обманывать моего брата, когда говорилъ о благосклонномъ вниманіи къ нему правительства, о чемъ онъ, конечно, могъ имѣть

вѣрное убѣжденіе. Да онъ не имѣлъ и надобности хитрить съ нимъ или ставить ему ловушку; а это также служитъ подтвержденіемъ искренности его словъ. При неблаговоленіи правительства, онъ, конечно, не былъ бы такъ предупредителенъ и дружелюбенъ во всѣхъ отношеніяхъ съ моимъ братомъ, какъ это видѣли мы въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Такимъ образомъ, братъ мой уѣхалъ въ Петербургъ съ увѣренностью, что онъ уже не въ опалѣ у правительства. Послѣ этого необходимаго поясненія тогдашнихъ политическихъ его отношеній, понятны будутъ подробности о нихъ въ его письмахъ ко мнѣ. Привожу здѣсь письма Николая Алексѣевича, какъ лучшія историческія свидѣтельства о его жизни, о немъ самомъ и о нашей беззавѣтной дружбѣ. Въ этихъ письмахъ видны—вся душа его, все благородство, вся чистота каждаго его помышленія, и вмѣстѣ та сила ума и духа, которая поддерживала его въ трудныхъ, почти невыносимыхъ обстоятельствахъ. Читая эти письма—писанныя къ другу, которому одному открывалъ онъ всего себя, и, конечно, не помышлялъ, чтобы когда нибудь сдѣлались они извѣстны публикѣ—читатель оцѣнитъ умъ, возвышенность и вмѣстѣ дѣтское простодушіе человѣка, на котораго такъ безсовѣстно клеветали многіе современники, клевещутъ и нѣкоторые изъ современныхъ настоящей эпохѣ писателей. Прости имъ, Боже: не вѣдаютъ, что̀ творятъ! Желаю только, чтобы они уразумѣли истину, если сколько нибудь безпристрастія будетъ оставаться въ нихъ при чтеніи писемъ моего брата, которыя переписываю здѣсь буквально, даже со всѣми мелочными подробностями, и поясняю при томъ нѣкоторыя семейныя, искреннія фразы, намеки, названія.

«С.-Петербургъ, ноября 5-го дня 1837 года.

«Вотъ уже три недѣли завтра, мой добрый другъ и братъ Ксенофонтъ, какъ я въ Петербургѣ, и все еще послѣ

записочки, на другой день послѣ пріѣзда моего, отсюда отправленной, ты не получаешь отъ меня ничего, когда мы положили писать другъ къ другу непремѣнно, и когда это, просто потребность души! Извиняешь ли меня?.. Что я не умеръ, это ты долженъ былъ навѣрное полагать, ибо «Сѣверная Пчела», конечно, не замедлила бы донести тебѣ о моей смерти, съ прибавленіемъ «извѣстный» и проч. Впрочемъ, за первую недѣлю моего петербургскаго житья могъ отдать тебѣ отчетъ почтеннѣйшій[1]),—я виноватъ только въ двухъ остальныхъ недѣляхъ. Но вотъ одно оправданіе—во все это время я только что живъ былъ, но до того истерзался во всѣхъ отношеніяхъ, что не хотѣлъ даже печалить твоего добраго сердца моими письмами; притворяться же передъ тобою я не могъ бы... Теперь отдыхаю, и, первое дѣло—писать къ тебѣ! Вотъ неизмѣнный порядокъ, какой мы установимъ: ты получишь это письмо въ среду, отвѣчай въ субботу немедленно, а я, получивъ опять отъ тебя въ среду, буду неизмѣнно отвѣчать въ субботу. Такимъ образомъ, будемъ мы писать по два раза въ мѣсяцъ. Безъ этого, мой милый, наша разлука будетъ слишкомъ тяжела. И то, Богъ знаетъ, долго ли намъ еще придется писать по субботамъ нашимъ... но это въ сторону. Ты согласенъ на мое условіе? По рукамъ. Я начинаю; буду передавать тебѣ хронологически все, что увидится, испытается, перечувствуется, въ двѣ недѣли, что услышу, узнаю, хочу дѣлать, что мечтаю, что отогрѣетъ и расхолодитъ мою душу. При полномъ познаніи меня, ты лучше моего будешь знать мою современную біографію. А ты, братъ и другъ, говори мнѣ правду, суди, брани, утѣшай меня; говори и о себѣ все. Дѣла—писать особо. О слогѣ и складѣ позабудемъ.

«Отъѣздъ всегда представляетъ что-то грустное и тя-

---

[1]) Такъ называлъ Николай Алексѣевичъ, а за нимъ и всѣ въ семействѣ, Петра Алексѣевича Ратькова, который съ юныхъ лѣтъ жилъ въ нашемъ домѣ и много лѣтъ былъ ближайшимъ къ намъ человѣкомъ, раздѣлявшимъ наши радости и горести.

желое; но мой отъѣздъ былъ для меня тяжеле всего, что подобнаго испыталъ я прежде, такъ какъ и пріѣздъ мой въ Петербургъ. Впрочемъ, это ничего чрезвычайнаго и предвѣщательнаго не имѣетъ. Москва, гдѣ прожилъ я 18 лѣтъ, съ которой разстался навѣки, гдѣ оставлялъ тебя и твоихъ—единственное, съ чѣмъ дѣлился я сердцемъ, безъ чего теперь осиротѣлъ, даже въ собственной семьѣ своей (съ кѣмъ я тутъ подѣлюсь? Любить моихъ дѣтей, жертвовать для нихъ жизнью и всѣмъ, это дѣло совсѣмъ другое). Въ Петербургѣ, конечно, мнѣ придется уже умереть, и Петербургъ встрѣтилъ меня грустно; но вѣдь и въ Москвѣ умереть было бы когда нибудь надобно; а что встрѣтилъ я въ Петербургѣ, то могло случиться и въ Москвѣ. Все такъ; да что будешь дѣлать съ сердцемъ человѣческимъ? Это слово: «навсегда», это разставанье съ немногими, воспоминаніе о которыхъ навѣки уношу въ душѣ моей, разрывъ всѣхъ прежнихъ связей и отношеній, робость, при началѣ новой жизни, разлука навсегда съ тобою, тяжкая перспектива будущаго, неизвѣстнаго, лишеннаго всѣхъ обольщеній юности, облеченнаго въ трудъ, заботы, безъ любви, безъ дружбы истинной,—я плакалъ, рыдалъ, сѣвши въ дилижансъ свой, скрывалъ, задушалъ свое горе,—и, какъ благодаренъ я былъ «почтеннѣйшему»: онъ притворился спящимъ, не говорилъ ни слова со мною! За это я полюбилъ болѣе прежняго его умъ и сердце. Дорога наша шла изрядно.—Было смѣшное.—По пріѣздѣ увидѣлъ я то, чего уже ожидалъ—нѣмочку умирающую[1]). Но все однакожъ не думалъ я, чтобы это было такъ тяжело для меня и такъ быстро совершилось. Пять только дней страдала она при мнѣ, страдала ужасно,

[1]) Любя давать свои названія близкимъ и даже знакомымъ, по отличительнымъ чертамъ ихъ наружности или характера, Николай Алексѣевичъ называлъ нѣмочкою младшую сестру жены своей, миловидную и очень красивую дѣвицу, бѣлокурую, нѣжную, совершенную нѣмку по наружности и довольно мечтательную. Она жила у него въ домѣ и умерла отъ чахотки.

страшно стенала въ сосѣдней комнатѣ: — я почти не спалъ эти пять дней. За три дня она уже знала свою участь, и въ перемежки страданій призывала насъ къ себѣ, говорила съ нами о жизни за гробомъ, какъ о веселомъ гуляньѣ, говорила, что прежде ей хотѣлось жить; она любила меня, обожала, умерла почти на рукахъ моихъ, разговаривала еще минуты за двѣ до кончины, когда уже только въ груди ея оставалась жизнь, а все остальное принадлежало могилѣ. Мнѣ надобно было между тѣмъ ѣздить къ пасторамъ, которыхъ нашелъ я превеликими .....(Рейнботъ былъ уже тогда боленъ и недавно умеръ), потомъ на кладбище — заказывать могилу, заботиться о гробѣ, о факелахъ, Gewölbe, куда принесли бездушное тѣло!.. Старуха Mutter[1]) не перенесла удара, смертельно занемогла, и доктора почти отказывались отъ нея. Все это убило жену мою; я боялся, что она сляжетъ въ постель. Но все теперь помаленьку кончилось. Мы проводили нѣмочку на божію ниву (и, по ея заказу, на памятникѣ ей написано будетъ: Dahin, Dahin!). Нѣсколько дней все оставалось печально, тяжко,—теперь жизнь беретъ свое: старуха поправляется, жена моя принялась за хозяйство, дѣти опять играютъ. Мы располагаемся житьемъ, ладимъ, устраиваемся, разбираемся, хотя ничего еще не успѣли приноровить въ порядкѣ; все ново, незнакомо, многое иначе, а главное — на все надобно деньги, и ихъ у меня теперь очень немного... Старуха Mutter занимаетъ еще мой кабинетъ; я живу еще кое-какъ, не приглашаю еще никого къ себѣ, вижусь съ людьми только по дѣламъ. Я боялся, чтобы сильно не поддаться горю, не заболѣть; къ тому же дѣлъ такая тьма, и погода была все время ужасная; но, слава Богу, я отдѣлался только тяжелымъ припадкомъ гемороя моего; погода стала теперь прелестная. Думаю, что именно усиленная дѣятельность въ дѣлахъ спасла меня. Кантъ совершенно правъ, и потому-то монахамъ предписывается фи-

[1]) Теща Николая Алексѣевича. Она жила у него почти со времени его женитьбы и до своей смерти.

зическая молитва, чтобы отвлечь ихъ отъ психической гибели.—О главномъ дѣлѣ моемъ скажу, что оно все укладывается очень хорошо для меня, но не безъ досадъ, и все еще не кончено. Съ Булгаринымъ и Смирдинымъ мы уладили тотчасъ—написали разсчеты, проекты, условія, приготовили программу, но—первое: Гречъ не ѣдетъ [1]), а безъ него формально ничего нельзя кончить, хотя уже мы принялись за приготовленія и матеріалы (однихъ журналовъ и газетъ выписываемъ на 3,000 рублей и 7,000 рублей опредѣляется на книги; редакція передается вполнѣ мнѣ); второе—весьма важное, о чемъ прошу тебя никому не говорить, и что тебѣ между тѣмъ нужно знать—Уваровъ объявилъ мнѣ явное гоненіе—не принялъ меня, сказалъ, что не позволитъ объявлять имени моего въ журналѣ какъ сотрудника, не позволитъ мнѣ даже подписывать имени подъ статьями; упоминалъ съ неудовольствіемъ о предпріятіи твоемъ снять «Наблюдателя», сказалъ, что издастъ нарочно запрещеніе книгопродавцамъ снимать журналы! Все это сначала меня испугало, при мысли: неужели еще таится на меня подозрѣніе, и вся ласка, вся благосклонность ко мнѣ въ послѣднее время были только хитростью? Изъ чего же и для чего хитрить со мною? Меня успокоили слова добрѣйшаго Л. В. Дубельта, который клялся мнѣ, что это капризы Уварова, и что правительство противъ меня не только ничего не имѣетъ, но даже видитъ во мнѣ добраго и почтеннаго гражданина. Мы написали записку, письмо къ графу А. Х., другое къ А. Н. Мордвинову; я писалъ еще особо къ нашему пріятелю Н. А., и все это поскакало въ Москву при письмѣ Л. В. [2]). Въ письмахъ и запискахъ я говорилъ искренно, просто, и съ надеждою жду отвѣта,—увѣренъ, что добрый царь раз-

[1]) Н. И. Гречъ возвращался тогда изъ-за границы и запоздалъ пріѣздомъ въ Петербургъ по непредвидѣннымъ причинамъ.

[2]) Графъ Бенкендорфъ, со всею своею канцеляріею былъ въ это время въ Москвѣ, гдѣ высочайшій дворъ проводилъ осень.

рѣшитъ все, что, можетъ быть, и Уварову нашептали какіе нибудь мерзавцы, потому что въ прошломъ году онъ изъявлялъ мнѣ всю свою благосклонность. Увѣдомь меня, что дѣлалось у тебя по «Наблюдателю», и бросаешь или берешь ты это дѣло [1])? Не думаютъ ли видѣть тутъ чего нибудь общаго, какого нибудь хитраго литературнаго плана? Увѣдомь.

«Вотъ тебѣ главное изъ того, что касается до меня. Теперь присовокуплю нѣсколько мелочей. Меня облелѣяло здѣсь все театральное. Гамлета давали здѣсь уже пять разъ, и успѣхъ былъ неслыханный! Каратыгина вызывали даже среди самой пьесы, послѣ 3-го акта, и два раза по окончаніи. Надобно сознаться, что онъ показалъ дарованіе необыкновенное, бросилъ крикъ, и если искусство можетъ замѣнить все, то онъ замѣнилъ все искусствомъ. Сцены: «Удались отъ людей, Офелія!», съ матерью, To be or not to be, на кладбищѣ, глубокое изученіе роли вообще—это очаровало даже самого меня. Обстановка пьесы превосходная; тѣнь—совершенство сценическаго очарованія; Асенкова удивительно мила въ сценахъ безумія. Каратыгинъ прибѣжалъ ко мнѣ благодарить меня, просить Уголино, о которомъ увѣдомили его изъ Москвы, и чуть не прыгалъ отъ восторга, слушая чтеніе его; тутъ же былъ В. И. Орловъ и

---

[1]) «Московскій Наблюдатель» былъ журналъ, существовавшій уже нѣсколько лѣтъ, но издавался очень плохо при помощи г. Шевырева и К° и оттого едва ли окупалъ издержки изданія. Отвѣтственный издатель его, В. А. Андреевъ (я уже говорилъ о немъ), былъ очень радъ сбыть его съ рукъ, когда я предложилъ ему купить право изданія «Наблюдателя», которое было очень важно въ такую эпоху, когда не позволяли предпринимать новыхъ журналовъ. Я надѣялся извлечь всяческую пользу изъ журнала, не предполагая, что Уваровъ и въ этомъ найдетъ злоумышленіе. Дѣло о передачѣ журнала шло черезъ Моск. цензурный комитетъ, когда графъ С. Г. Строгоновъ (попечитель университета) призвалъ меня и сказалъ: «Сергій Семеновичъ пишетъ ко мнѣ, что онъ не согласенъ на передачу вамъ «Моск. Наблюдателя». Уваровъ не почиталъ необходимымъ облекать свой произволъ хоть бы въ законную форму!

обнималъ меня отъ радости. Каратыгинъ выпросилъ, наконецъ, у меня Уголино на бенефисъ, съ тѣмъ однакожъ, чтобъ Мочаловъ далъ его сперва въ Москвѣ. Я кончилъ и пересмотрѣлъ теперь Уголино. Онъ наскоро переписывается и поступитъ немедленно въ цензуру. Списокъ отдѣльный предварительно пошлю къ Мочалову. Почти нельзя сомнѣваться въ будущемъ успѣхѣ, хотя я лучше всѣхъ чувствую слабость и недостатки моего дѣтища. Но теперь оно было мнѣ истинною отрадою и утѣхою въ грусти, и въ немъ отзовется немножко моя душа. Вообще всѣ литераторы [1]) и знакомые приняли меня здѣсь радостно и ласково. Но главное, что̀ теперь я чувствую—это совершенное между всѣхъ одиночество и безпрестанно невольная мысль: «Съ этими людьми тебѣ доживать вѣкъ!» тяготитъ меня. Это страшно. Мы такъ крѣпко держимся за жизнь; а развѣ жизнь это? Вижу людей добрыхъ, не глупыхъ, но гдѣ тѣ, у ума которыхъ хотѣлось бы поучиться и къ груди которыхъ прижаться? Работа, и тайная, унылая грусть и дума—вотъ одно утѣшеніе въ этомъ мірѣ, гдѣ теперь я нахожусь—ласковомъ, блестящемъ, вѣтренномъ, чопорномъ и холодномъ. Можетъ быть, обживусь, привыкну—да жизнь ли это?

«Булгаринъ, право, добрякъ; въ восторгѣ теперь отъ меня и отъ тебя; онъ состарѣлся и посѣдѣлъ, но не сдѣлался ни умнѣе, ни опытнѣе, ни ученѣе. Сенковскому весьма не любы всѣ наши новыя предпріятія; онъ старается даже разстроить, разссорить насъ, порядочно сплетничаетъ и немножко клевещетъ. Я принялъ за правило: ни на что не сердиться.

«У старика К. Т. Хлѣбникова я обѣдалъ въ прелюбопытномъ обществѣ: тутъ были Врангель и все моряки. Мы ѣли устрицы, запивали портеромъ, и я не видалъ какъ

---

[1]) Это слово въ подлинникѣ подчеркнуто и послѣ него поставленъ вопросительный знакъ въ скобкахъ. К. П.

пролетѣло нѣсколько часовъ. Преспокойно разсказывали тутъ о Мексикѣ, Перу, Исландіи, Мадрасѣ, Кантонѣ,—эти люди все это сами видѣли! Гораздо скучнѣе провелъ я нѣсколько часовъ у Карльхофа, который, кажется, немножко плѣсневѣетъ... Да, нѣсколько словъ о почтеннѣйшемъ. Онъ былъ здѣсь превосходенъ; помирилъ Смирдина съ Фариковымъ, билъ въ руки съ Заикинымъ и И. Глазуновымъ, а Исаевы и проч. были просто рабы его. Кажется, что поѣздка его была не безполезна, и изъ этого ты можешь извлечь разсчеты; а почтеннѣйшій радъ сюда ѣздить, ибо онъ влюбленъ въ Асенкову и такой другъ съ Заикинымъ, что тотъ подчивалъ его шампанскимъ, и послѣ того не удавился! Сейчасъ пересмотрѣлъ я три письма, до сихъ поръ отъ тебя полученныя. За первое пожимаю у тебя руку, и — не говорю ни слова. Благослови тебя Богъ за то утѣшеніе, какое доставило мнѣ чтеніе его! Второе и третье требуютъ отвѣта. Я говорилъ Смирдину о цѣнѣ «Дѣяній» и онъ увѣряетъ, что это просто была съ его стороны ошибка, которую онъ исправитъ. Кстати: твои выписки изъ Марманта въ «Библ. для Чтенія» явились, кажется, вовсе искаженныя. Съ этимъ несноснымъ Сенковскимъ нельзя имѣть дѣла. Спѣшу теперь дописать ему, что слѣдуетъ на декабрь [1]), и ни за что не соглашусь быть долѣе его сотрудникомъ. Вокругъ него какая-то адская атмосфера и страшно пахнетъ сѣрою, хоть онъ безпрестанно куритъ лучшія сигарки.

«Меня во всемъ связали теперь уваровскія журнальныя недоумѣнія,—не знаю даже какую принять рѣчь, и что я такое?—А. Н. Верстовскому ты скажешь, что окончаніе «Уголино» задержало его оперу, но тѣмъ лучше я обдумаю и тѣмъ легче напишу ее. Мочалову передай, что выше говорилъ я объ «Уголино», а о Каратыгинѣ скажи ему по-

[1]) Николай Алексѣевичъ былъ обязательнымъ сотрудникомъ «Библіотеки для Чтенія» въ 1837 г.

осторожнѣе—я между двухъ огней, и, услышавъ мой отзывъ, онъ можетъ придти въ отчаяніе, когда между тѣмъ его, какъ добраго, избалованнаго ребенка, надобно беречь. (Тутъ въ письмѣ еще слѣдуетъ нѣсколько строкъ, гдѣ онъ посылаетъ поклоны нѣсколькимъ близкимъ знакомымъ, упоминаетъ о своихъ векселяхъ разнымъ лицамъ, о платежахъ, и въ заключеніе говоритъ):

«Боже мой! на какую каторгу не согласился бы я, если бы только избавиться отъ этихъ мелкихъ змѣй, заботъ о хлѣбѣ и старикахъ[1]), что̀ столько лѣтъ отравляетъ жизнь, да и когда не отравляло? Надежда, надежда! Будущее будетъ лучше. Нашъ отецъ, правда, думалъ такъ, умирая въ бѣдности и горѣ... Когда я прощался съ вами—ты знаешь: горе дѣлаетъ суевѣрнымъ — я сталъ цѣловать Минну[2]). Передъ тѣмъ она никакъ не хотѣла отвѣчать на вопросъ мой: какъ ее зовутъ, но тутъ подумалъ я: «Ея слова будутъ заключать будущую судьбу мою»!.. спрашиваю — она протягиваетъ рученки, ангельски улыбнулась и ясно отвѣчала: «Минна, Минна», Мнѣ казалось, что самъ Богъ сказалъ мнѣ за будущее ея словами! Зато, что она утѣшила меня, я полюбилъ ее больше; мнѣ даже совѣстно было передъ Бетси, что я простился съ нею гораздо равнодушнѣе, а милашка между тѣмъ плакала, какъ будто жалѣла о своемъ бѣдномъ дядѣ. Сынъ твой былъ превосходенъ... Перецѣлуй всѣхъ ихъ, поцѣлуй ручки жены и Maman, поговори съ Иваномъ Ивановичемъ о его умѣньѣ знать сердца людскія, и — на первый разъ до свиданія, милый братъ и другъ! Твой Николай».

Предположеніе брата и вызовъ писать другъ другу по субботамъ, черезъ двѣ недѣли непремѣнно — никогда не осуществилось. Это былъ только порывъ его пылкаго сердца,

---

[1]) Стариками называлъ онъ, по особенному случаю—ростовщиковъ, съ которыми, по несчастію, имѣлъ дѣла.

[2]) Маленькую дочь мою, которая сама называла себя Минною, и мы, смѣясь, такъ называли ее. Она умерла въ младенчествѣ.

едва ли исполнимый и для двухъ самыхъ аккуратныхъ, самыхъ счастливыхъ нѣмцевъ, которые находятъ пріятное занятіе въ перепискѣ. Для двухъ русскихъ, вовсе не счастливыхъ, озабоченныхъ самыми разнообразными дѣлами и тревогами жизни, это нисколько не исполнимо. Послѣ приведеннаго здѣсь письма, опять цѣлый мѣсяцъ я получалъ отъ Николая Алексѣевича только коротенькія увѣдомленія о разныхъ непріятныхъ случаяхъ. Въ одномъ письмѣ онъ просилъ меня добиться свиданія съ А. Н. Мордвиновымъ, правителемъ канцеляріи графа Бенкендорфа, а если можно, то и съ самимъ графомъ, чтобы узнать, помогутъ ли они ему освободиться отъ притязаній Уварова, который не позволялъ даже выставлять имени Н. А. Полеваго подъ журнальными статьями, а объ объявленіи его редакторомъ «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества» не хотѣлъ и слышать. Изъ письма Ник. А. ко мнѣ видно, что онъ писалъ объ этомъ къ графу Бенкендорфу и къ А. Н. Мордвинову, и, не получая отвѣта, не зналъ, что ему дѣлать. Мнѣ легко было повидаться съ г. Мордвиновымъ, потому что онъ жилъ въ домѣ искренняго нашего пріятеля, который и представилъ ему меня, какъ своего стараго знакомаго. Когда я заговорилъ о просьбѣ моего брата, г. Мордвиновъ нахмурился и рѣзко сказалъ мнѣ, что Николай Алексѣевичъ проситъ самъ не знаетъ о чемъ; что графъ Бенкендорфъ не можетъ вмѣшиваться въ распоряженія министра просвѣщенія. Я упомянулъ, что графъ, по благосклонности своей, могъ бы испросить соизволеніе государя императора на дозволеніе брату моему быть редакторомъ уже дозволенныхъ журналовъ. На это г. Мордвиновъ отвѣчалъ мнѣ сардоническимъ смѣхомъ и прибавилъ, что графъ не приметъ на себя такого ходатайства. Послѣ нѣсколькихъ другихъ подобныхъ отзывовъ его, я увидѣлъ, что напрасный трудъ былъ бы мнѣ безпокоить своею просьбою графа Бенкендорфа, когда мнѣ такъ рѣшительно отсовѣтывалъ это г. Мордвиновъ. Онъ сказалъ мнѣ, наконецъ, что Николай Алексѣевичъ вскорѣ

получитъ отвѣтъ графа на свою просьбу. Дѣйствительно, отвѣтъ не замедлилъ прилетѣть въ Петербургъ, но былъ только повтореніемъ того, что сказалъ мнѣ г. правитель канцеляріи графа Бенкендорфа. Брату моему объявляли, что онъ долженъ соображаться съ распоряженіями министра просвѣщенія.

Я начиналъ очень безпокоиться о положеніи моего брата, не получая отъ него извѣстій нѣсколько недѣль сряду. Наконецъ, онъ прислалъ мнѣ новый, подробный отчетъ о себѣ за эти недѣли, когда, можно сказать, совершался кризисъ въ его петербургской жизни. Переписываю здѣсь и это письмо, только съ мелочными исключеніями немногихъ домашнихъ подробностей, которыя были бы непонятны читателю безъ длинныхъ поясненій; да онѣ и не представляютъ ничего важнаго или существеннаго. Въ этомъ письмѣ опять можно видѣть задушевныя его мысли и ощущенія, а они всего лучше знакомятъ съ человѣкомъ. Въ разсказѣ я не могъ бы ни припомнить, ни передать всего, что заключаетъ въ себѣ это замѣчательное письмо.

«С.-Петербургъ, 1-го января 1838 г. (20-го декабря 1837 г.).

«Опять мѣсяцъ безмолвствовалъ я, и пропустилъ всѣ назначенные между нами сроки, мой добрый братъ и другъ Ксенофонтъ, — безмолвствовалъ, получивши даже и твое милое письмо отъ 6-го (11-го) декабря. Мнѣ стыдно было бы извиняться передъ тобою, — это значило бы унижать тебя и себя, и дружбу нашу, переходящую пошлые предѣлы приличій. Но я могу показаться неизвинимымъ передъ сердцемъ твоимъ, при мысли, что я могу существовать и жить раздѣльно отъ тебя, не дѣлясь съ тобою душою и сердцемъ — этого ты не подумаешь, я увѣренъ, а если бы подумалъ — мнѣ это было бы горько! Ты умнѣе меня [1]), но сердце твое я знаю лучше тебя самого — спроси

[1]) Онъ употребляетъ здѣсь не то слово, которымъ хотѣлъ выразить свою мысль.

въ такомъ случаѣ у него, а не у холоднаго ума—обвинителя, часто клевещущаго на жизнь и душу человѣка. Надобно было давно писать къ тебѣ, отполнить немного отъ моего сердца—ему тогда становится легче, но... изъ слѣдующихъ за симъ описаній ты увидишь, что я не могъ передать тебѣ ничего, кромѣ грусти моей, и если бы, высказавши тебѣ, я и почувствовалъ себя легче—зачѣмъ раздѣлять съ тобой темныя стороны жизни? У тебя и своихъ довольно... Не знаю съ чего, но мнѣ кажется, что съ «сегодня» новый годъ (съ которымъ усердно тебя поздравляю), и въ моей судьбѣ сдѣлался какой-то переломъ къ лучшему. Ничего и нисколько особеннаго—но мнѣ такъ сдается что̀-то. Первый еще день проснулся я съ какой-то безотчетной отрадой въ душѣ, и первая мысль была: «Писать къ Ксенофонту!»—Рѣшено, и вотъ тебѣ посланіе, которое, думаю, будетъ длинновато. Есть у сердецъ свое тайное сочувствіе. Декабря 6-го я принялся писать къ тебѣ, не могъ не писать и—изорвалъ цѣлый исписанный мною листъ... на него капнуло нѣсколько слезъ!.. Зачѣмъ было посылать ихъ въ Москву къ тебѣ? Пусть онѣ высохнутъ здѣсь!...

«Неужели же, братъ», скажешь ты—«тебѣ не было радостнаго дня во все это время, пока ты не писалъ ко мнѣ»?—Да, клянусь Богомъ—да, ни одного дня, который отмѣтить бы въ календарѣ!—«Зачѣмъ же скакалъ ты въ Петербургъ? чего искалъ ты? Не раскаяваешься ли, что уѣхалъ туда?»—Нѣтъ не раскаяваюсь! Переселеніе въ Петербургъ было слѣдствіемъ продолжительнаго обдумыванія и рѣшительности на все! Я зналъ, что мнѣ будетъ тяжело, тяжело, но, смотри самъ, что было первоначальною причиною мысли о побѣгѣ изъ Москвы—ты знаешь и согласишься, что меня ни что̀ не могло спасти отъ моего несчастія, отъ этого проклятія, наложеннаго судьбою на жизнь мою, отъ огня сжигавшаго меня медленно и страшно—ни что̀, кромѣ побѣга? Бѣжать, задушить себя работою, трудомъ, уединеніемъ... Разумѣется, что отъ этого лѣкарства умереть можно

(да, кажется, этимъ дѣло и кончится, и—слава Богу!), но, по крайней мѣрѣ, я умру въ бою съ жизнью, не теряя достоинства человѣка, стараясь еще быть, сколько могу, полезнымъ моему семейству, моему отечеству, людямъ, можетъ быть... Воздухъ Москвы былъ тлетворенъ для меня, губилъ меня, жегъ меня... Итакъ... бѣжать[1])! Съ этимъ соединялась другая мысль: здѣсь могъ я употребить послѣднія средства спасти себя отъ стариковъ,—другого убійства жизни моей, а тамъ, въ Москвѣ, я не видѣлъ къ этому средствъ. Работать и видѣть какъ безплодно гибнетъ трудъ и время, мѣнять векселя на векселя... Трудъ мой, который я принимаю на себя здѣсь, едва выносимъ, но я вижу, по крайней мѣрѣ, цѣль его, вижу, что, поработавши два-три года, я буду чистъ съ стариками и дѣтямъ оставлю кусокъ насущнаго хлѣба... Ну, мой суровый Ксенофонтъ,—суди и говори:—Надобно ли мнѣ было ѣхать въ Петербургъ.—Да? не правда ли?—Ты видишь, что я разбираю себя, какъ анатомистъ разбираетъ трупъ человѣческій; а я точно трупъ—жить пересталъ я давно; отрицательное бытіе мое, польза и счастіе дѣтей—это уже не принадлежитъ къ моей жизни. Вѣдь жизнь-то значитъ счастье и наслажденье, а я откупорилъ стклянку съ этимъ небеснымъ газомъ—онъ вылетѣлъ, и теперь, какъ ни запирай эту драгоцѣнную стклянку—она пуста! Остается улыбнуться и ждать, когда судьбѣ будетъ угодно разбить ее... Все это ты понималъ и знаешь, хоть я не имѣлъ силъ говорить съ тобою объ этомъ такъ обстоятельно; но написать, теперь, собралъ силы... хорошо. Итакъ, если переѣздъ въ Петербургъ былъ рѣшеніемъ въ жизни, необходимостью, отчего же грустить и хныкать? Я не грущу и не хныкаю передъ другими. Мое семейство видитъ меня всегда веселымъ—люди задумчивымъ иногда; но никому я не жа-

[1]) Это мѣсто его письма, темное для читателя, не можетъ быть пояснено мною. Скажу только, что онъ говоритъ о тайнѣ сердца, унесенной имъ въ могилу.

луюсь, работаю какъ только могу и умѣю; а иное дѣло съ тобою говорить — ты одинъ, которому могу, долженъ сказать все, что сказалъ я тебѣ здѣсь. И тебѣ, разъ сказавши, я уже не повторю этого болѣе никогда. Отъ тебя не скрою и того, что до сегодня—жизнь моя въ Петербургѣ была безпрерывнымъ страданіемъ, и гораздо тяжеле московской жизни... Причины?.. Прежде всего—разлука съ тобой, мысль, что эта разлука уже навсегда, что даже могилы наши станутъ розно, и въ мой послѣдній часъ я не протяну къ тебѣ руки, не обращу на тебя взора, когда ты у меня одинъ въ мірѣ... Тяжело!!.. А потомъ, рѣшимость на разлуку, такую же съ тѣмъ, кто принудилъ меня бѣжать, и разлука съ нимъ... Если люди умираютъ два раза, то я уже испыталъ одинъ разъ томленія смерти... Отъ этихъ двухъ ранъ язвы останутся навсегда неисцѣльны; но до сихъ поръ изъ нихъ точилась горячая, свѣжая кровь. Далѣе, не ожидалъ я, признаться, чтобы переѣздъ мой сопровождался такими случайными непріятностями. Какъ нарочно, тутъ все скопилось: болѣзнь и смерть бѣдной нѣмочки, болѣзнь старухи, разстройство и горе въ семействѣ. Вообрази, что мы еще отпѣвали мертвеца: Матрена, эта толстая, добрая женщина, правая рука по хозяйству въ семействѣ нашемъ, къ которой всѣ мы такъ привыкли—умерла надняхъ... Неправда ли, что, какъ нарочно, одно за другимъ?—Но, послѣ моего письма къ тебѣ, главнѣйшую непріятность составили мнѣ мои политическія, такъ сказать, обстоятельства—этотъ холодный, суровый отвѣтъ отъ графа Алекс. Христ. [1])—Признаюсь, что сначала это меня какъ громомъ поразило! Къ чему же было ласкать меня, лелѣять посулами? и неужели не увѣрились еще во мнѣ,

[1]) Отвѣтъ былъ почти повтореніемъ того, что сказалъ мнѣ лично А. Н. Мордвиновъ, и, вѣроятно, былъ писанъ имъ же. Графъ Бенкендорфъ объявлялъ моему брату довольно рѣзко, что дѣло его относится къ министру просвѣщенія, и даже не упоминалъ, что правительство смотритъ на Н. А. Полеваго, какъ на человѣка безукоризненнаго.

не видѣли моей искренности, не поняли меня, и хотятъ терзать даже послѣ такого письма, какое посылалъ я къ графу въ Москву? Ѣхать въ Москву самому, просить, объясняться—это было невозможно, невозможно всячески—даже потому, что безплодная издержка 500 рублей, при теперешней моей нуждѣ, была бы мнѣ чувствительна. И между тѣмъ затягивать Смирдина и обширное его предпріятіе, когда все оно основывалось на мнѣ и на моемъ имени, и мысль, что отказъ можетъ дѣйствовать на отношенія ко мнѣ Греча и Булгарина, можетъ положить въ ихъ глазахъ темную на меня тѣнь и дѣйствительно вредить имъ... Я боялся эгоизма Греча, поляцизма Булгарина, трусости Смирдина... И обо всемъ этомъ столько говорили; а главное: съ разрушеніемъ этого разрушалась вся моя надежда въ будущемъ, мечта о спасеніи отъ стариковъ, мечта о томъ, что можно еще сдѣлать много хорошаго, и я становился оплеванъ передъ всѣми, выѣхавъ на берега Невы, опять писать на заказъ романы и переводить Дюмонъ-Дюрвилей, биться изъ куска хлѣба... Согласись, что мое положеніе было, если не ужасно, то непріятно и прискорбно въ высшей степени! Надобно было рѣшиться—я отправился къ Гречу, Булгарину, Смирдину; сказалъ имъ все—вѣроятно, говорилъ какъ Цицеронъ [1]), говорилъ сильно и искренно. Нѣтъ! всѣ могутъ быть людьми: Булгаринъ расплакался, Гречъ обнялъ меня, Смирдинъ сказалъ, что меня съ нимъ ничто не разлучитъ. Всѣ мы подали другъ другу руки и, благословясь, подписали наши условія. Но уже тѣмъ болѣе мнѣ надобно было послѣ этого налечь на работу, ибо умолчаніе имени моего значило 20% долой, а бѣдный мой Смирдинъ шутитъ въ плохую шутку, рискуя на предпріятіе въ сотни тысячъ: бюджетъ «Пчелы» составляетъ 150,000, а «Сына Отечества» 50,000 рублей,

[1]) Выраженіе одного нашего знакомаго Попова, которое Николай Алексѣевичъ иногда употреблялъ смѣясь.

когда теперь «Пчелы» расходуется только 2,500 экземпляровъ, а «Сына Отечества»—смѣшно сказать—279 экземпляровъ! Но to be or not to be.—По крайней мѣрѣ, теперь мое положеніе обозначилось и опредѣлилось. Я понялъ такъ, что мнѣ надобно какъ можно не выказываться, не лѣзть въ глаза, стараться, чтобы увидѣли и удостовѣрились въ моей правотѣ, чистотѣ моихъ намѣреній. Жить, дышать и работать мнѣ не мѣшаютъ—чего-жъ болѣе? Надежда на Бога, на чистую совѣсть и на трудъ.—И вотъ теперь, во-первыхъ я засѣлъ въ мою конуру; самъ никуда не бросаюсь; радъ, кто придетъ, но никого къ себѣ гостить не зову, никого у себя не собираю; являюсь въ литературныя общества тихо, скромно, вѣжливо. Во-вторыхъ—работаю. Сплю я теперь не болѣе пяти часовъ въ сутки. Что есть что̀ подѣлать—ты самъ понимаешь. Что̀ только надобно прочитать, что̀ обдумать и что̀ написать—голова идетъ кругомъ, когда вообразишь... Чтобы докончить тебѣ описаніе вещественнаго моего положенія, скажу такъ: житье у меня хорошо, домъ прекрасный, кабинетъ прелестный, по моему вкусу; семейныя грусти утишаются—жена моя теперь спокойнѣе; есть еще нужда въ деньгахъ, ибо ты самъ видѣлъ, что прежде всего надобно было бросить въ пасть старикамъ—15,000 рублей; а переѣздъ, обзаведеніе, etc., etc. пожираютъ до сихъ поръ кучу денегъ—но все-таки у меня житье какъ было въ Москвѣ... Это все улаживается. Дѣти переносятъ переселеніе, слава Богу, хорошо. Ужасная погода во все это время не оказала и надо мною большого дѣйствія.—Надежды на вещественное улучшеніе моего быта, кажется, несомнительны—подписка здѣсь идетъ хорошо; публика ждетъ и говоритъ, хоть моего имени нѣтъ... Увидимъ, увидимъ что̀ будетъ, а между тѣмъ ты, конечно, пожелаешь знать, что̀ же мы и какъ готовимъ? Извольте, любезнѣйшій судія, слушайте и судите:

«Уваровъ и еще кое-кто (къ чести человѣчества немногіе!) торжествовали, когда полученъ былъ отказъ изъ

Москвы. Если вѣрить Булгарину (порядочному лжецу), Уваровъ сказалъ ему: «Вы не знаете Полеваго: если онъ напишетъ Отче нашъ, то и это будетъ возмутительно!» Почему и отчего даетъ онъ мнѣ une célébrité si cruelle—особый вопросъ; но, кромѣ строжайшаго приказа смотрѣть за каждой моей строчкой, онъ самъ читалъ, маралъ, держалъ нашу программу, такъ что мы умоляли его только отпустить душу на покаяніе, и вотъ почему программа вышла нелѣпа. Но вѣдь говорить дѣло Уваровъ запретить не можетъ, когда мои намѣренія чисты? Дать всему жизнь неужели нельзя? Матеріаловъ бездна. Мы выписываемъ около 40 журналовъ и газетъ. И вотъ «Пчела» будетъ почти въ половину болѣе форматомъ, на хорошей бумагѣ. Треть листа отдѣляется на фельетонъ; сверху три первыя колонны — внутреннія извѣстія, три потомъ — политика; одинъ столбецъ далѣе— русская библіографія, одинъ — иностранная библіографія, и четыре на статьи. Фельетонъ внизу—театръ и потомъ всякая всячина, а треть трехъ столбцевъ сзади — объявленія, какъ въ «Journal des Débats». Форма европейская — поколику то можно. О содержаніи что говорить? Что Богъ дастъ — для газеты нѣтъ запаса. Что только позволятъ, то все будетъ передано, и надобно только, чтобы все кипѣло новостью. Надзоръ мой полный — ни одна статья не пройдетъ безъ меня, кромѣ вранья Булгарина; но постараюсь, чтобы ему чаще садился на языкъ типунъ. Вотъ человѣкъ! Гречъ и я умоляемъ: «Пиши меньше», но онъ хорохорится и безжалостно пишетъ.—Библіографія будетъ моя, скромная, но дѣльная. Статьямъ надо придать колоритъ Шалевскій и Жаденовскій.— «Сынъ Отечества» будетъ въ форматѣ Библіотеки и толще ея. Тутъ всего важнѣе критика. Хочу принять благородный, скромный тонъ, говорить только о дѣлѣ. Въ наукахъ и искусствахъ больше историческаго и практическаго. Русской словесности—что Богъ дастъ—стану покупать, хоть и не знаю у кого?—Иностранной словесно-

сти богатство, и я тонȣ въ немъ. Первая книжка «Сынъ Отечества» явится 1-го января, почти въ 30 листовъ. Послѣ стиховъ, я бухнулъ въ нее мое начало Исторіи Петра Великаго; затѣмъ статьи Греча, Булгарина,Одоевскаго, двѣ повѣсти — Ж. Зандъ и Жакоба (библіофила) — премилыя. Статьи сухія: о Мининѣ, журналъ Сапѣги, посольство Баторія; статья Ротчева—очень дѣльная, о Ситхѣ; критика Сентъ-Бёва (Делиль и его сочиненія)—прелесть! Критика моя будетъ на книгу Менцеля; обзоръ литературы за 1837 годъ—тутъ я объявляю свою отдѣльность отъ Брамбеуса и независимость мнѣній моихъ, говорю истины всѣмъ! Въ заключеніе—политика или современная исторія—довольно плохо, однакожъ любопытно. — Ну, что скажешь? Разсуди самъ: когда успѣлъ я все это сдѣлать, и главное — кѣмъ? Вѣдь взяться не за кого—строки дать перевести некому? Что̀ ни дашь сдѣлать, все долженъ переработать самъ. Корректуру держитъ послѣднюю—Гречъ, и онъ истинно великій мастеръ, и даже ты передъ нимъ ничто [1]). Говорить съ нимъ о грамматикѣ — для меня наслажденіе! — Теперь тутъ же шлепнутся о смирдинскій прилавокъ въ одинъ день и «Сынъ Отечества» и «Библіотека для Чтенія».—Неужели не увидятъ разницы въ языкѣ, тонѣ, системѣ, критикѣ? Тамъ безстыдство и кабакъ—здѣсь человѣческій языкъ и умъ, скромный, но вѣрный всему доброму и прекрасному. Жду рѣшенія, боюсь и надѣюсь. Ради Бога, я поспѣшу тебѣ послать 1-ю книжку, а ты мнѣ немедленно, и какъ можно скорѣе, напиши потомъ безпристрастно свое мнѣніе. Говори какъ посторонній, и говори правду, какъ она жестка ни будетъ; даже скажи о самомъ наружномъ видѣ, въ которомъ стараюсь я быть опрятнымъ. О «Пчелѣ» тоже говори истину. Твоего приговора буду ждать какъ голодный куска хлѣба.

---

[1]) Шутливый намекъ на всегдашніе мои споры съ нимъ объ исправности языка и корректуры въ «Московскомъ Телеграфѣ».

«Теперь надобно бы потолковать о томъ, что можешь ты дѣлать для меня, какъ братъ и другъ, и какъ человѣкъ, которому надобно дать рѣчь въ Божьемъ мірѣ (а кстати можно и заработать: вѣдь ты работаешь же?). Объ этомъ я много думалъ, и все еще не рѣшилъ, а главное — рука моя устала писать, и такъ много еще надобно бы говорить тебѣ, что на сей разъ я не соберу мыслей. До января надѣюсь еще писать тебѣ, и о дѣлахъ будетъ надобно поговорить — объ этой мерзости! — И описать тебѣ характеристику людей, съ которыми живу и которыхъ вижу. Это все отдѣльно. Но вотъ еще теперь необходимое.—1-е, къ Мочалову я писалъ и послалъ на твое имя рукопись Уголино. Изъ цензуры онъ надняхъ выйдетъ. Ольдекопъ не находитъ затрудненія, и только увѣряетъ, что это переводъ, и что онъ даже читалъ его понѣмецки! [1]) Слѣдственно, нѣтъ никакого сомнѣнія Мочалову списывать роли, ставить и учить Уголино. Здѣсь все это дѣятельно дѣлаютъ, ибо Каратыгинъ ухватился за Уголино руками и ногами и въ концѣ января дастъ его въ свой бенефисъ. Если Мочаловъ рѣшится (процензурованный списокъ перешлется къ нему немедленно), то, сдѣлай милость, прими на себя трудъ собрать къ себѣ Мочалова, Щепкина, Орлова и прочитай съ ними вполнѣ Уголино. Это необходимо, чтобы имъ растолковать содержаніе пьесы; а по моему списку ты вѣдь можешь читать свободно. Если мой почеркъ затруднитъ въ списываніи ролей, то отдай переписать его «мошенникамъ» [2]), и самъ послѣ того пересмотри списокъ. Отъ всего этого Уголино можетъ тебѣ надоѣсть, но будь снисходи-

---

[1]) Евстафій Ивановичъ Ольдекопъ, переводчикъ многихъ русскихъ сочиненій на нѣмецкій языкъ, издатель нѣмецкихъ журналовъ и книгъ въ Петербургѣ, былъ человѣкъ двусмысленный, какъ гражданинъ, но великій оригиналъ.

[2]) Были въ Москвѣ какіе-то два брата, отличные переписчики, которые переписывали намъ многое. Ихъ-то называлъ братъ мой «мошенниками»—и не безъ основанія.

теленъ и добръ. Увѣрь Мочалова (что и сущая правда), что я не могъ скорѣе сдѣлать, и что если я не писалъ къ нему, то не переставалъ и не перестаю его любить, и на Каратыгина его не промѣняю (хотя, между нами, Каратыгинъ мнѣ весьма нравится—художникъ съ дарованіемъ и умный, образованный плутъ). Мочалову грѣшно винить меня, если онъ знаетъ все, что встрѣтило меня въ Петербургѣ. 2-е, скажи А. Н. Верстовскому, что каждый часъ отдыха моего посвящаю я теперь оперѣ, и что къ нему буду скоро писать подробно и обо многомъ любопытномъ. 3-е, важное обстоятельство—поговори съ Бѣлинскимъ, къ которому, если успѣю, напишу теперь письмо. Я получилъ его письма, но, ей-Богу, ничего не могу теперь сдѣлать! Первое, мое положеніе теперь и самого меня еще самое сомнительное. Надобно дать время всему укласться, и затягивать человѣка сюда, когда онъ при томъ такой неукладчивый (и довольно дорого себя цѣнитъ) было бы неосторожно всячески, и даже по политическимъ отношеніямъ. Второе—что̀ онъ можетъ дѣлать, и уживемся ли мы съ нимъ, при большой разницѣ во многихъ мнѣніяхъ, и когда на̀чисто ему поручить работы нельзя, при его плохомъ знаніи языка и языковъ и недостаткѣ знаній и образованности? Все это нельзя ли искусно объяснить, увѣривъ при томъ (что̀ клянусь Богомъ, правда), что какъ человѣка я люблю его и радъ дѣлать для него что̀ только мнѣ возможно. Но, при объясненіяхъ, щади чувствительность и самолюбіе Бѣлинскаго. Онъ достоинъ любви и уваженія, и бѣда его одна—нелѣпость. Объ исполненіи всѣхъ этихъ порученій не замедли меня увѣдомить, ибо все это меня безпокоитъ.—Наконецъ, еще порученіе: вѣроятно, ты пойдешь къ Стефану Алексѣевичу [1]), 27 декабря, хоть ради моего напоминанія—отнеси ему мое письмо, а не то отошли его въ этотъ именно день, поутру. Я поздравляю его съ днемъ ангела, который про-

[1]) Маслову.

водили мы столько лѣтъ вмѣстѣ. Пожалуйста, поди самъ; ты его обрадуешь, Богъ знаетъ какъ, да вѣдь и собраніе бываетъ драгоцѣнное. — Съ душевнымъ чувствомъ читалъ я, какъ ты проводилъ день моихъ именинъ, этотъ печальный день, который всегда и столько лѣтъ бывали мы вмѣстѣ съ тобой... Нѣтъ! я провелъ его здѣсь грустно; всѣмъ отказывалъ, кто приходилъ; обѣдалъ у насъ только дядя Карлъ Ивановичъ; но, сидя подлѣ него, я читалъ тихонько: «я пью одинъ»... и грустно переносился то къ тебѣ, то къ могилѣ матери и сына, почіющихъ вмѣстѣ, далеко отъ меня [1])... У Греча, съ смертью сына, пиры на именинахъ его прекратились, и онъ провелъ день именинъ своихъ, въ первый разъ въ жизни, одинъ, запершись, и со слезами, наканунѣ, просивши не посѣщать его и не поздравлять. Потеря сына чуть было не убила его совсѣмъ и оставила въ немъ неизгладимое грустное впечатлѣніе.— Говорить ли тебѣ о несчастномъ событіи пожара [2])? Зрѣлище было ужасное, и когда на другой день пришелъ я туда и вся эта громада предстала мнѣ, объятая пламенемъ—я невольно содрогнулся и прослезился! Весь главный корпусъ выгорѣлъ! Впрочемъ, почти все движимое успѣли спасти—драгоцѣнности, бумаги—но убытокъ и затѣмъ милліонами считать надобно. Никакія усилія человѣческія не могли затушить пожара.

«Но, довольно—давай руку и прощай. Не сердишься за то, что я молчалъ? Тотъ ли же я въ этой кучѣ словъ, ко-

[1]) Смерть нашей кроткой, незабвенной матери была истинно-трагическимъ событіемъ въ семействѣ. Она скончалась внезапно, мгновенно, отъ аневризма въ сердцѣ, 6-го декабря 1827 года, вечеромъ, когда у Николая Алексѣевича собралось много гостей и начались веселые танцы. Весь день она казалась здоровою, была весела и сама одѣвала дочь и внучекъ въ бальныя платья... Въ полночь мы всѣ окружали уже охладѣвшій ея трупъ. Это произвело впечатлѣніе на всю жизнь, и братъ мой всегда грустно проводилъ день своихъ именинъ. Онъ упоминаетъ также о своемъ маленькомъ сынѣ Николаѣ, который умеръ въ Москвѣ.

[2]) Зимняго дворца въ Петербургѣ.

торую посылаю тебѣ, каковъ былъ?... Въ заключеніе, становлюсь на колѣни передъ твоею женою и цѣлую ея ручки, цѣлую Бетси, Колю и мою незабвенную, милую Минну—Минну! Благословляю васъ на здоровье и веселье. Твой всегда и вездѣ Николай».

Послѣ этого письма прошло опять довольно много времени, когда братъ увѣдомлялъ меня только, что онъ живъ, и просилъ объ исполненіи разныхъ своихъ порученій. Смѣшно подумать, что онъ, обремененный тяжкими трудами и заботами, въ нѣсколькихъ маленькихъ своихъ письмахъ писалъ мнѣ объ Уголино! Назначивъ эту пьесу на бенефисъ Мочалова, онъ долго не могъ добиться подписаннаго цензоромъ экземпляра, а между тѣмъ день бенефиса приближался, и братъ мой, боясь сдѣлать непріятность Мочалову, не зналъ что̀ дѣлать. И это между множествомъ опасностей, бѣдъ и невыносимыхъ работъ! Вотъ, между прочимъ, что писалъ онъ мнѣ отъ 1-го января 1838 года:

«Вчера, въ первый разъ послѣ столькихъ лѣтъ встрѣчи Новаго года вмѣстѣ съ тобою, любезный, добрый братъ и другъ Ксенофонтъ, я встрѣтилъ его одинъ, думалъ только о тебѣ, далъ себѣ слово, что первое письменное слово мое въ Новомъ годѣ будетъ къ тебѣ, и суевѣрно исполняю это. Мой привѣтъ тебѣ любви и счастья, здоровья и всего хорошаго! Да отыдетъ отъ твоего порога всякое зло; да не посѣтитъ сердце твое духъ сомнѣнія въ моей къ тебѣ дружбѣ. Благословляю тебя и твоихъ, и молю Бога о вашемъ счастьѣ!... (Пропускаю нѣсколько строкъ, относящихся къ моему семейству). Другъ и братъ! лучше быть не обѣщаю, но что тотъ же буду и въ этомъ году—вотъ тебѣ рука моя! Я встрѣтилъ Новый годъ тихо, уныло, но, не знаю, какое-то отрадное чувство теплоты сливалось съ моею грустью, и я почелъ это добрымъ знакомъ. Въ послѣднія двои сутки у меня было столько работы, что спалъ я въ эти двое сутокъ, конечно, не болѣе шести часовъ всего-на-всего. Вчера, съ девяти часовъ утра до девяти вечера, безвыходно сидѣлъ

я въ типографіи Смирдина, тамъ и обѣдалъ, и только два раза отправлялся къ цензорамъ, два раза къ Гречу. «Сынъ Отечества» вышелъ и «Пчела» вылетѣла (о нихъ послѣ); но усиліе работы привело меня въ какое-то одурѣніе. Я заѣхалъ въ англійскій магазинъ взять винца, къ Беранже взять пирогъ, и дома принужденъ былъ лечь. Тутъ меня утѣшила мысль, что я трудился для милыхъ мнѣ, для общаго спокойствія, можетъ быть, для пользы ближнихъ, и я отдохнулъ среди моихъ дѣтей. Въ 11 часовъ сѣли за столъ, я съ женой и семействомъ, и встрѣтили Новый годъ почти безмолвно — каждый думалъ о своемъ, о томъ, какъ провелъ эти минуты за годъ. Изъ числа тогдашнихъ не было уже нѣмочки — а вы далеко... Сегодня нарочно проспалъ я почти до девяти часовъ, не велѣлъ никого пускать, и думаю, что проведу въ far niente и отдыхѣ цѣлый день. Впрочемъ, чувствую себя совершенно здоровымъ... О дѣлахъ ничего не пишу—послѣ, послѣ, и потому, что писать надобно о многомъ, и эстетическомъ, и политическомъ, и стариковскомъ, и душевномъ. Твои письма получилъ,—благодарю за все, за все... Сегодня обѣщали возвратить Уголино съ цензурной подписью. Онъ не сгорѣлъ, но его обрѣзываютъ, требуя разныхъ уступокъ и перемѣнъ, но, кажется, не важныхъ. Какъ не сказать, что письмо твое о немъ порадовало меня, именно потому, что оно было отъ тебя письмо!.. Что-то скажешь ты о «Сынѣ Отечества», о «Пчелѣ», которые сегодня къ тебѣ отправляются... Помни мое положеніе, обстоятельства, отношенія—не рѣшай абсолютно. Надняхъ былъ у меня Галаховъ, и, право, я обрадовался ему, какъ родному! Къ тебѣ явится съ письмомъ моимъ офицеръ, съ большими бакенбардами и холодною наружностью — это Губеръ, переводчикъ «Фауста», и единственный человѣкъ, котораго по сю пору отыскалъ я въ Петербургѣ— поэтъ въ душѣ, благороденъ, уменъ, ученъ, нѣмецъ головою, русскій душою — полюби и обласкай его... Но довольно—изъ маленькой записочки письмо мое сдѣлается те-

традкою — сколько бы говорить теперь съ тобою! Всего написать невозможно»...

Черезъ двѣ недѣли, посреди неотступныхъ порученій о своихъ долгахъ и платежахъ, онъ опять, въ самомъ короткомъ письмѣ, говорилъ объ Уголино.

....«Второе, что̀ должно бы меня веселить—это проклятый Уголино, которому, право, я ужъ не радъ, если только подумаю, что Загоскинъ не согласится позволить дать его въ бенефисъ Мочалова, не имѣя цензурованнаго списка, скрѣпленнаго Ольдекопомъ. Зная отчаянную голову Мочалова, я, право, не радъ ничему! Ты повѣришь: 1-е, что я не имѣлъ возможности до сихъ поръ послать желанный списокъ; 2-е, что я не лгу, говоря, что Уголино пропущенъ и здѣсь играется, и что къ 1-му февраля списокъ его я вышлю. Неужели Загоскинъ не согласится сдѣлать маленькаго послабленія въ строгости канцелярскихъ правилъ по дирекціи? Неужели Верстовскій тутъ не пособитъ? Надѣюсь, что ты отвезъ имъ мои письма и присоединилъ къ моему свое ходатайство. Для убѣжденія, пришло мнѣ въ голову послать при семъ афишку, которая означаетъ полное разрѣшеніе на представленіе Уголино. Ради Бога увѣдомь меня обо всемъ этомъ глупомъ дѣлѣ, которое мнѣ чрезвычайно непріятно!... По моему, только капризъ, несогласный съ добротою Загоскина, не позволитъ ему дать разрѣшенія, ибо бояться ему совершенно нечего».

Эти строки, гдѣ выражалъ онъ свое безпокойство, были въ письмѣ отъ 14 января; черезъ недѣлю, 21 января, вотъ что писалъ онъ:

«Есть въ нашей бѣдной жизни, въ жизни страдальцевъ, отрада, мой милый другъ и братъ Ксенофонтъ, если мы страданіемъ платимъ за то, что выдвигаемся немного изъ толпы, что̀ отдаемъ здѣшнія блага, удовлетворяющія стольких, за что-то, Богъ знаетъ, такое, чего и изъяснить сами не можемъ! Есть такая отрада, и есть часы такой отрады, когда толпа отдаетъ намъ справедливость за наше самопо-

жертвованіе, когда она дѣлается нашею рабою, чувствуетъ свое ничтожество и невольно сознается, что въ ней хранятся еще и всегда будутъ храниться искры божественнаго, которыя выбиваются изъ нея, какъ искры изъ кремня огнивомъ. Въ эти мгновенія забываетъ она всѣ разсчеты, всѣ отношенія, плачетъ, хохочетъ, и награждаетъ художника-страдальца. Такія минуты рѣдки, такія награды драгоцѣнны, и я испыталъ теперь такую минуту, получилъ такую награду. Ты понимаешь, что я хочу говорить тебѣ о представленіи «Уголино». Для чего тебя не было здѣсь? Для чего не было здѣсь..... ты знаешь кого—я плакалъ бы съ вами, раздѣлился съ вами сердцемъ, и хоть на мгновеніе узналъ минуту радости, среди бездны золъ, скорбей, тяжкаго труда! Теперь, именно, еще не полно мое наслажденіе тѣмъ, что мнѣ не съ кѣмъ дѣлить его. Если удовлетворенъ художникъ, то человѣкъ унылъ, и тѣмъ грустнѣе ему. Но—ты и заочно со мною—спѣшу набросать тебѣ нѣсколько несвязныхъ словъ. Читай и воображай, что это я лично говорю съ тобою. Успѣхъ «Уголино» моего былъ здѣсь неслыханный и неожиданный. Только 5-го января могли мы получить рукопись изъ цензуры, и тогда начались репетиціи. Оставалось 12 дней, ибо положено было непремѣнно дать его 17-го. Въ воскресенье былъ я на предпослѣдней пробѣ—шло несвязно, неудовлетворительно и я не струсилъ потому только, что, ты знаешь, съ какимъ горькимъ равнодушіемъ смотрю я на все, мною созданное, особливо теперь. Какъ нарочно, въ понедѣльникъ былъ я окруженъ непріятностями, досадами,—ну, жизнью—понимаешь!—Вечеромъ покатился нашъ рыдванъ къ театру, и я заползъ въ ложу надъ бель-этажемъ (отъ котораго нарочно отказался, потому что явился въ ложѣ точно такъ, какъ описывалъ Вильгельма въ Аббадоннѣ. Съ нами были дѣти, тетка, другая, Л., дядя, Д. съ мужемъ etc. etc., потому что мнѣ подарили двѣ ложи). Театръ былъ полонъ—добрый знакъ, ибо тогда было 25° мороза, и Таліони плясала въ Большомъ театрѣ, а при такихъ

случаяхъ всѣ другіе театры обыкновенно пусты. Я зналъ притомъ, что есть люди, пришедшіе шикать, смѣяться, и много другого. И вотъ начинается, расшевеливается, пошло дѣло—гремятъ! Послѣ 1-го акта Каратыгинъ вызванъ; второй шумнѣе—вызываютъ въ срединѣ акта; съ третьимъ актомъ плачутъ, а съ окончаніемъ его—громъ и шумъ! Четвертый кончается, и отвсюду клики—автора! Послѣ пятаго новый вызовъ. Каратыгина вызывали разъ восемь. Успѣхъ былъ полный; по городу заговорили, но все еще были толки и споры. Бенефисная публика не публика, въ бель-этажѣ торчали бородки[1]), въ креслахъ студенческая кровь[2]). Назначили поскорѣе играть «Уголино», именно вчера, ибо его требовалъ голосъ публики. За билеты была драка, и я отправился уже въ кресла, и одинъ (съ Петровымъ, который пріѣхалъ живъ и здравъ), въ сюртукѣ, запросто—хотѣлъ быть зрителемъ. Театръ былъ набитъ биткомъ,—въ креслахъ знатоки, въ бель-этажѣ beau-monde, въ 1-мъ ярусѣ почти ни одной бородки. Каратыгинъ былъ утомленъ еще прежнею игрою за два дня; но онъ ожилъ—началось. Никогда—не я говорю это—не былъ онъ такъ хорошъ. Хлопанье было сначала умѣренное; но не могу изобразить, что сдѣлалось потомъ! Каждый стихъ былъ оцѣненъ, узнанъ, принятъ—и это въ холодномъ Петербургѣ, отъ beau-monde!

---

[1]) Бородки!.. черта времени. Тогда борода была принадлежностью купцовъ и простолюдиновъ.

[2]) Выраженіе Грибоѣдова въ извѣстномъ его экспромпѣ:

И сочиняютъ—врутъ, и переводятъ—врутъ!
Зачѣмъ же врете вы, о дѣти? Дѣтямъ прутъ!
Шалите риѳмами, нанизывайте стопы,
Ужъ такъ и быть, но вы ругаться удальцы!
Студенческая кровь! Казенные бойцы!
Холопы «Вѣстника Европы»!

Въ «Вѣстникѣ Европы» приверженцы Каченовскаго порицали все, что отличалось въ современной словесности вкусомъ и дарованіемъ. Тогдашніе студенты особливо казеннокоштные, иногда грубые и малообразованные, бранились съ особеннымъ пыломъ. Казенные бойцы и студенческая кровь вошли у насъ въ поговорку.

Рукоплесканія сыпались, но это ничего; Каратыгина вызывали послѣ каждаго акта, но и это еще ничего. Третій актъ—всюду слезы: плакали дамы, мужчины, гвардейцы; иные вскакивали съ мѣстъ съ трепетомъ, и въ концѣ третьяго акта какъ страшный волканъ лопнулъ: «Автора!» загремѣло съ ревомъ, съ крикомъ, съ дрожаніемъ стѣнъ. Я принужденъ былъ выйдти при оглушительномъ воплѣ. Въ четвертомъ актѣ, въ пятомъ актѣ—то мертвое молчаніе, то бѣшеный громъ хлопанья, то «браво», то слезы, и всѣ какъ будто забыли, что на сценѣ передъ ними пустая выдумка. Говорили громко, что «Уголино» выше всего, и Богъ знаетъ что; меня обнимали, цѣловали, бѣжали за мной по корридорамъ; Каратыгину били, били; меня еще разъ опять вызвали; молодежь пила за мое здоровье, и «Уголино» опять даютъ, кажется, въ понедѣльникъ. Вотъ тебѣ описаніе этого любопытнаго вечера, а я, въ заключеніе, признаюсь тебѣ, вовсе не понимаю причинъ этого неслыханнаго успѣха!.. Вижу, чувствую всѣ недостатки пьесы, и когда и какъ она писана!

«Боже мой! если бы знали!.. Или сцены высокой любви, суеты человѣческой, чувства отца такъ доступны даже и этимъ людямъ, свѣтскимъ, избалованнымъ, прихотливымъ, взыскательнымъ? Не понимаю, ибо говорю тебѣ, что въ театрѣ былъ и такъ увлекся Петербургъ, и высшій Петербургъ! Неужели, въ самомъ дѣлѣ, эта Вероника, эта любовь, это презрѣніе къ жизни, эта жизнь за гробомъ—куда уже давно перешелъ я душою, могутъ быть доступны всѣмъ? Всего же болѣе удивляетъ меня, что драма, въ наше время, можетъ увлекать какъ дѣйствительная жизнь, и то, что религіозное въ «Уголино» все было принято съ восторгомъ. Скажи, суди, рѣши, и даже скажи еще: продолжать ли мнѣ? Ты знаешь, что это не стоитъ мнѣ никакихъ усилій; но должно ли еще писать, или остановиться, сознавая свое жалкое безсиліе противъ великихъ образцовъ и не льстясь на успѣхъ, какимъ, право, божусь

Богомъ, не знаю за что̀ меня теперь оглушили? Этого рѣшенія твоего на будущее буду ждать нетерпѣливо, и вотъ тебѣ клятва: скажи ты—«нѣтъ»,—и я брошу мое драматическое перо! Ты—моя совѣсть, а я что̀-то среднее между мертвецомъ и человѣкомъ живымъ. Ахъ, для чего тебя не было вчера здѣсь!..

«Не присовокупляю ни одного слова о дѣлахъ и пр. На этотъ разъ прочь землю,—только на этотъ разъ! Люди могутъ чувствовать все то, что моя Вероника, что Нино имъ высказывали,—порадуемся этому въ эту минуту! Мое письмо должно придти ко дню твоего ангела. Я думалъ, чтобы послать тебѣ въ подарокъ—посылаю вотъ это письмо, съ поздравленіемъ тебя со днемъ именинъ... Я не писалъ къ тебѣ о первомъ представленіи Уголино, потому что все еще, хотя успѣхъ былъ, да оставалось сомнѣніе, и потому еще, что какъ гора лежала у меня на сердцѣ: что если Мочалову не позволятъ? Вчера возвращаюсь домой, и нахожу письмо отъ тебя и Загоскина. Я вспрыгнулъ отъ радости и отдохнулъ. Благодарю тебя, и разумѣется, что теперь обязанность моя послать списокъ поскорѣе, въ чемъ будь увѣренъ. Благодарю тебя вторично за хлопоты, милый Ксенофонтъ, и въ день твоихъ именинъ жду увѣдомленія, что Уголино сдѣлаетъ въ Москвѣ. Напиши, напиши, и вѣрь, что каждую минуту наслажденія только съ тобою дѣлю я вполнѣ.

«Твой Николай».

IV.

В И. Карлгофъ. — Я помогаю брату въ разсчетѣ съ кредиторами. — Благодарность Николая Алексѣевича. — Убытки, какіе изданіе «Дюмонъ Дюрвиля» доставило Николаю Алексѣевичу.—Поэтъ Кольцовъ.— В. А. Каратыгинъ. — Интрига Булгарина и Сенковскаго противъ Николая Алексѣевича. — Отчаянное положеніе дѣлъ его. — Моя поѣздка въ Петербургъ, съ цѣлью помочь брату.—Впечатлѣнія этой поѣздки.— Тяжелое нравственное состояніе Николая Алексѣевича.

Я сердечно порадовался, не самому успѣху Уголино, а тому ободрительному впечатлѣнію, которое могло быть благодѣтельно для моего брата, унылаго, какъ показываютъ его письма, измученнаго, истерзаннаго неудачами, непріятностями, несчастіями. Я такъ же, какъ и онъ, самъ понималъ и видѣлъ недостатки его драмы, которой успѣхъ, хотя и безпримѣрный со временъ Озерова, объясняется тогдашнимъ настроеніемъ умовъ, бывшихъ подъ впечатлѣніями драмъ Виктора Гюго и Александра Дюма, и отчасти новостью, эффектными и нѣкоторыми прекрасными мѣстами самаго сочиненія, и любовью большинства публики къ автору. Но каковы бы ни были причины, а успѣхъ, какъ показываетъ и письмо его, доставилъ ему нѣсколько усладительныхъ или хоть обольстительныхъ дней. Это было необходимо для его впечатлительной, легко увлекавшейся натуры. Безпрерывность неудачъ могла утомить, если не подавить его; успѣхъ даже наружный, но блестящій и громкій, придавалъ ему силы на новую борьбу съ жизнью.

Но не долго могъ я радоваться, воображая Николая Алексѣевича бодрымъ и веселымъ. Отъ 4-го февраля получилъ я письмо, гдѣ онъ писалъ мнѣ:

«У меня ужъ такъ давно заведено съ судьбою, мой любезнѣйшій другъ и братъ, что за каждый мигъ удовольствія плачу я горемъ и досадою. Успѣхъ Уголино усладилъ меня, и я уже ждалъ, что за это будетъ расплата. Такъ

и сдѣлалось! Я провелъ послѣ того двѣ адскія недѣли! Меня терзали, мучили. Уголино возбудилъ неслыханную злобу. Успѣли было, воспользовавшись первымъ предлогомъ, оклеветать меня гнуснымъ образомъ, а Сенковскій и другіе чуть не перессорили насъ между собою. При тяжкомъ трудѣ, я долженъ былъ промышлять о политическомъ и гражданскомъ спасеніи моемъ. Вообрази, кто сдѣлался, между прочимъ, врагомъ и однимъ изъ жестокихъ гонителей моихъ?.. Карлгофъ, да Карлгофъ... и вмѣстѣ съ другими ругаетъ меня, клевещетъ на меня [1])... Но я уцѣлѣлъ, дѣло улаживается, и авось либо это будетъ послѣднее. Что-жъ? вѣдь я человѣкъ, и жилы мои не желѣзныя—могутъ лопнуть...

---

[1]) Вильгельмъ Ивановичъ Карлгофъ, плохой стихотворецъ, былъ издавна знакомъ съ моимъ братомъ, но особенно сблизился съ нимъ и со мною послѣ 1831 года, когда онъ долго жилъ въ Москвѣ и потомъ часто пріѣзжалъ въ нее. Мы видѣли въ немъ честнаго, добродушнаго человѣка, и пріязненныя отношенія его съ братомъ моимъ поохладились нѣсколько отъ одного обстоятельства, котораго я не могу объяснять, однако, и въ Петербургѣ наружныя формы были прежнія, такъ что они попрежнему говорили другъ другу—ты. Разрывъ, необъяснимый со стороны Карлгофа, послѣдовалъ на юбилеѣ Крылова, гдѣ нашъ пріятель былъ однимъ изъ распорядителей и находился въ передней комнатѣ, когда братъ мой, приглашенный на юбилей, вошелъ туда. Увидѣвъ его, Карлгофъ, какъ бѣшеный, закричалъ: «Ты зачѣмъ сюда, врагъ Россіи, врагъ всѣхъ дарованій? Вонъ!» Братъ подумалъ, что Карлгофъ пьянъ, и хладнокровно сказалъ ему это.—«Нѣтъ, я знаю что говорю!» — закричалъ тотъ, и хотѣлъ броситься на него; другіе распорядители схватили его, увели, не смотря на крики, и при многочисленномъ собраніи Карлгофъ не смѣлъ болѣе неистовствовать. Братъ говорилъ мнѣ потомъ, что онъ не постигалъ и не угадывалъ причины такого, повидимому, безумнаго поступка. Впослѣдствіи онъ полагалъ, что Карлгофъ, причислившись тогда къ министерству просвѣщенія, хотѣлъ торжественно показать, что онъ врагъ Полевому, и Уваровъ наградилъ его за то, назначивъ попечителемъ одесскаго учебнаго округа. Въ Одессѣ онъ вскорѣ умеръ. Проѣзжая чрезъ Москву, Карлгофъ пришелъ ко мнѣ, но меня не было дома и онъ, явившись къ женѣ моей, сказалъ, смиренно сложивъ руки: «Повѣрьте, я не виноватъ въ томъ, что случилось! Я не могъ поступить иначе!» Она отвѣчала, что не желаетъ говорить съ нимъ ни о чемъ непріятномъ, и рѣчь перешла на другіе предметы. Это одна изъ загадокъ, какія встрѣчаются въ жизни!

«Можешь вообразить, что при всемъ этомъ, у меня не было ни силъ, ни даже времени писать къ тебѣ. Но въ этомъ ты меня простишь, а непростительно, что я какъ будто забылъ о дѣлахъ, этихъ мерзкихъ червякъ, которые точатъ насъ заживо, какъ настоящіе червяки точатъ насъ въ могилѣ. Мой другъ! я опять къ тебѣ.

«Я получилъ разсчетъ почтеннѣйшаго, и ужаснулся, когда разсмотрѣлъ, что я уже остаюсь тебѣ долженъ 6,090 р. 40 коп. монетою, а еще вексель Газу... (слѣдуютъ подробности, которыя были важны только для того, кто писалъ ихъ, и для меня, на которомъ отзывалось тяжкое положеніе моего брата, друга, котораго не могъ я не спасать отъ бѣды... Послѣ разныхъ распоряженій, онъ и самъ прибавляетъ): Будь моимъ спасителемъ, добрый братъ и другъ. Я не пропаду еще, перенесу всѣ эти испытанія, и залогъ этого вижу въ томъ, что, не смотря на работу, я совершенно здоровъ. Усиліе ли это воли, рука ли Провидѣнія— не понимаю, но какъ мячикъ отскакиваю отъ всего и только дивлюсь, какъ переноситъ мое здоровье!!

«Хлопоты объ экземплярѣ «Уголино» теперь, кажется, кончены. Добрый Ольдекопъ былъ такъ вѣжливъ, что прямо отъ себя отправилъ списокъ съ своею подписью въ московскую дирекцію, еще отъ 27-го января. Слѣдственно, онъ давно уже тамъ полученъ, а къ успокоенію твоему прилагаю при семъ и письмо ко мнѣ Ольдекопа. Здѣсь «Уголино» даютъ по два раза въ недѣлю, и театръ каждый разъ полонъ. При третьемъ представленіи меня опять вызвали съ страшнымъ шумомъ... Судьба смѣется надо мною... Богъ съ ней! этого я не заслуживалъ бы...

«Дай руку, другъ и братъ, и вѣрь, что тебя любитъ и обожаетъ всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ твой Николай».

Было бы неумѣстнымъ жеманствомъ съ моей стороны исключить слова и фразы, которыми выражалъ онъ дружбу и даже признательность свою мнѣ за мою неизмѣнную

дружбу къ нему... Это находится въ письмахъ искреннихъ, задушевныхъ, не предназначавшихся ни для какой огласки... Но если бы теперь, изображая его жизнь, труды, радости и горести, представляя его передъ потомствомъ для вѣрнаго суда, я вздумалъ исключать тѣ строки, гдѣ выражается пламенная, благородная, признательная къ малѣйшей услугѣ душа его,—я отнялъ бы у читателя драгоцѣнныя и важныя черты для оцѣнки этого необыкновеннаго человѣка. Чувствованія его были сильны, пылки, вводили его даже въ увлеченія, и очень часто: такъ онъ и выражаетъ ихъ въ искренней перепискѣ. Потому-то, не смущаясь, переписываю похвалы его мнѣ, хотя смиренно сознаюсь въ душѣ, что онѣ преувеличены и приносятъ больше чести ему, нежели мнѣ. Я дѣлалъ то, что всегда сдѣлаетъ не только истинный другъ и братъ, но и каждый истинный христіанинъ. Посмотрите же, съ какою жаркою, безграничною, пламенновыражаемою признательностью благодаритъ онъ того, кто въ посильныхъ услугахъ ему видѣлъ свою обязанность. Читатель не припишетъ мнѣ мелкаго и пошлаго самолюбія за напечатаніе слѣдующаго письма, столько же прекраснаго по чувству и выраженію, сколько выказывающаго человѣка.

«С.-Петербургъ, февраля 26-го 1838 года.

«Вотъ на два твои послѣднія письма, любезный мой другъ и братъ Ксенофонтъ, слѣдовало бы мнѣ отвѣчать давно, но мнѣ хотѣлось выгадать нѣсколько часовъ, когда былъ бы досугъ сердцу. Нѣтъ! этого я не могъ выгадать въ теперешней жизни моей; напишу урывкомъ, что успѣю, потому что душа моя не вытерпливаетъ болѣе молчанія—гадкія дѣла тоже требуютъ своего вмѣшательства. — Твои два письма, послѣднія, таковы, что ты смѣло можешь стать съ ними предъ Судъ Божій, и самъ Богъ причислитъ тебя къ лику избранныхъ, честная, благородная, высокая, умная душа!.. Какъ? ты ни бранишь меня, ты проникаешь въ душу

мою, щадишь, лелѣешь, хочешь жертвовать мнѣ всѣмъ, чтобы только жалкіе, послѣдніе годы моей бѣдной жизни усладить, успокоить? Я обременяю тебя и моимъ горемъ, и моимъ безумiемъ, и досадными, глупѣйшими заботами, и—ни одного упрека! Рука братская протягивается ко мнѣ и сердце друга предложено мнѣ... Прости: не умѣю ни говорить, ни высказать всего, чѣмъ полно сердце мое... Твоя награда... да думаешь ли ты о ней при благородномъ самопожертвованіи?.. Мнѣ хотѣлось бы отдѣлить нѣсколько дней и написать тебѣ подробно всю мою исповѣдь. Ты всегда упрекалъ меня въ неискренности и, божусь, ошибался—это не неискренность, а чувство болѣе благородное, мысль: для чего мнѣ умножать собою, своими грустными суетами, дрязгомъ жизни, его и безъ того не цвѣтистую жизнь, посвященную работѣ тяжкой и сомнѣнію о будущемъ, когда вокругъ него нѣсколько милыхъ ему существъ, и взоръ его не можетъ съ утѣхой остановиться на нихъ, тревожась думой—«что будетъ съ вами, если я не въ состояніи буду работать, если меня не будетъ?» И къ этому прибавлять мое горе? Мое, когда я еще въ силахъ самъ съ нимъ управляться?

«... Мой другъ! мнѣ хотѣлось бы дѣлить съ тобой только однѣ радости, одни наслажденія, хотѣлось бы только забывать съ тобою и міръ и дѣла его, въ немногія минуты, которыя небо удѣляетъ намъ на землѣ, минуты забывчивости, полуулыбки!.. Знаешь, какъ восхищаютъ меня теперь воспоминанія обо всѣхъ такихъ минутахъ въ теченіе жизни нашей, хотя ихъ вѣчно отравляла жизнь и—немного ихъ было!.. Къ могилѣ путь, чѣмъ ближе, тѣмъ просторнѣе, уединеннѣе; сердцу тяжеле, душѣ тяжко, тяжело... Но что объ этомъ! Да будетъ то, чему быть... Ты обрадовалъ меня своей вѣстью, что собираешься пріѣхать ко мнѣ—не въ Петербургъ и что намъ до Петербурга—говорю, ко мнѣ. Я какъ ни разсчитываю, сдѣлать мнѣ этого почти нельзя; развѣ осенью; но ты, если можешь—нельзя ли, напримѣръ

въ іюнѣ, въ лучшее время, прокатиться сюда? Клянусь, что ты исполнишь сладостную мечту мою, сдѣлаешь меня счастливымъ, оживишь меня, утѣшишь, дашь мнѣ новыя силы жить и страдать... — Боже мой! какъ многое надобно бы пересказать тебѣ... Подумай, погадай объ этомъ»...

«Марта 1 1838 года.

«Помнишь ли, милый Ксенофонтъ, какой достопамятный день для насъ 26-е февраля? Ровно двадцать шесть лѣтъ тому, мы съ незабвеннымъ нашимъ старичкомъ выѣхали изъ Иркутска! 26 лѣтъ!.. Сколько времени! и чего не сдѣлалось въ это время — голова кружится, — а мы съ тобой, чего не испытали и не перечувствовали въ эти годы... Но къ настоящему обратимся. Три дня прошло, какъ я началъ къ тебѣ письмо мое, и вотъ едва успѣваю приняться за него снова, и совершенно потерялъ нить мыслей, которыя хотѣлъ изложить въ немъ. Откладываю еще разъ, и, къ прискорбію, долженъ начать поскорѣе говорить только о дѣлахъ, о дѣлахъ, мерзкихъ гадкихъ насѣкомыхъ, когда душа хотѣла бы перелетѣть къ тебѣ въ этомъ письмѣ! Ни слова предисловій. Какъ братъ и другъ, ты прощаешь мнѣ все, и потому начнемъ по пунктамъ:

«1-е. Одно изъ мученій жизни моей составляютъ теперь долги — ихъ много, судя по средствамъ уплаты; но въ отношеніи этомъ положеніе мое не безнадежно, а только терзательно. Съ 1830 года, они лишаютъ меня покоя. Какъ они сдѣлались? Какъ всѣ усилія мои сбыть ихъ только увеличивали ихъ — это исторія длинная и печальная. Соображая настоящее положеніе мое, я нахожу, что каждый годъ буду въ состояніи выплачивать по 30,000 рублей, такъ что, кромѣ заплаченныхъ уже теперь, осенью переведу я еще такую же сумму на уплату, оставляя себѣ сколько можно менѣе на прожитокъ. Если успѣхъ будетъ въ предпріятіяхъ, мои средства увеличатся; но я разсчитываю только на возможновѣрное, ибо что совершенно-

вѣрное въ мірѣ? такимъ образомъ, считая убытки въ процентахъ, я могу имѣть надежду будущею осенью, 1839 года, кончить все; по крайней мѣрѣ, останутся бездѣлицы, и я буду долженъ еще работою Смирдину до 1841 года, ограничивая себя всячески. Слѣдственно, мой любезнѣйшій другъ, никакихъ пожертвованій съ твоей стороны не нужно, да и что̀ можетъ сдѣлать твое доброе усердіе? Самому тебѣ помощь нужна для укрѣпленія дѣлъ твоихъ. Знаю, что два эти года причинятъ еще мнѣ тысячу неудовольствій, но что̀ же дѣлать? и притомъ, по крайней мѣрѣ, надежда будетъ подкрѣплять меня на терпѣніе, а въ работѣ буду я забывать все, сколько можно. И здѣсь-то надобно мнѣ, необходимо мнѣ твое братское участіе—подкрѣпи меня своею помощью и дѣломъ! Главные долги мои по векселямъ... Кромѣ того, остается долгъ Рыбниковой, за несчастнаго этого Дюмонъ-Дюрвиля—я плачу̀ деньги да̀ромъ, но это уже мое дѣло и говорить тутъ нечего [1]). Чѣмъ далѣе, тѣмъ

[1]) Приступая къ изданію своего перевода путешествія Дюмонъ-Дюрвиля, Николай Алексѣевичъ не имѣлъ денегъ на издержки печатанія его и предложилъ знакомому своему купцу Рыбникову, человѣку довольно богатому—издать книгу съ тѣмъ, чтобы онъ ссудилъ денегъ на изданіе и за то получилъ половину барыша, который казался брату моему вѣрнымъ. Тотъ, кажется, любилъ его, оказывалъ ему всегда величайшее свое уваженіе и далъ нѣсколько тысячъ рублей (ассигнаціями), но въ обезпеченіе ихъ и будущихъ барышей взялъ вексель въ двойной суммѣ, клянясь, что не употребитъ этого во зло. Я вѣрю, что онъ и исполнилъ бы свою клятву; но, къ несчастію, прежде нежели первые томы Дюмонъ-Дюрвиля были отпечатаны, Рыбниковъ умеръ, чуть ли не скоропостижно. Надъ имѣніемъ и дѣтьми его была учреждена опека, которая, нашедши векселя Николая Алексѣевича, не могла не потребовать платежа въ полной суммѣ и не могла даже входить въ разборъ, точно ли онъ получилъ сумму означенную въ векселяхъ. Не имѣя никакихъ законныхъ доказательствъ, братъ мой и не спорилъ—просилъ только отсрочки, и, такимъ образомъ, начала увеличиваться эта сумма извѣстными процентами. Я уже упоминалъ, что отъ изданія путешествія Дюмонъ-Дюрвиля ему былъ только убытокъ, и онъ имѣлъ право упомянуть въ письмѣ ко мнѣ, что платить Рыбниковой большую сумму да̀ромъ. Это было уже чистое несчастіе.

легче можно будетъ дѣлать обороты, и я прилагаю при семъ отдѣльно, что̀ надобно сдѣлать теперь, для платежей въ мартѣ и апрѣлѣ. Затѣмъ до осени, лѣтомъ, платежи мои не велики, а осенью, какъ выше объяснялъ я, у меня будутъ новыя средства уничтожить пересроченное теперь. Сдѣлай милость, добрый братъ, разсмотри прилагаемую записку и прими на себя трудъ исполнить по ней!

«2-е, другая забота моя — неоконченныя работы. Здѣсь главное составляетъ Дюмонъ-Дюрвиль, о которомъ ты уже дружески заботился и писалъ ко мнѣ. Истинно, не имѣю я времени самъ окончить его, и если бы и было у меня сколько нибудь досуга, то надобно мнѣ употребить его на труды, требующіе собственной моей руки, каковы: маленькая исторія [1]), которую давно пора кончить; Аббаддона, за которую мучитъ меня Ширяевъ; Синіе и Зеленые, Колумбъ. Ради Бога, возьми на себя Дюмонъ-Дюрвиля! Положеніе такое: десятый томъ начатъ печатаніемъ и до половины его у меня переведено; остальную половину я кончу самъ; остаются: одиннадцатый (25 листовъ порусски и 12-й, гдѣ будетъ текста листовъ 15-ть порусски (остальное до 25-ти дополняютъ реестры и проч.), такъ что, полагаю, надобно тебѣ взять на себя листовъ сорокъ печатныхъ. Что дать за работы Галахову [2])? Рублей сорокъ (ассигнаціями какъ считали тогда), думаю, съ листа будетъ довольно. Остается за Глазуновымъ (Улитинымъ) 6,000 руб-

---

[1]) Здѣсь разумѣетъ Н. А. краткую русскую исторію для юношества, изданную имъ впослѣдствіи.

[2]) Здѣсь рѣчь объ А. Д. Галаховѣ, томъ самомъ, который въ 1857 году, въ литературномъ спорѣ, притворялся незнающимъ меня, а въ 1837 и слѣдующихъ годахъ безпрестанно бывалъ у меня, искалъ работы, разумѣется за деньги,и, наконецъ, съ моею помощью и на мое иждивеніе, издалъ свою знаменитую Русскую христоматію, которая до сихъ поръ составляетъ всю его славу. Въ одномъ изъ приведенныхъ выше писемъ, братъ мой упоминаетъ, что обрадовался посѣщенію его, когда онъ явился къ нему въ Петербургъ, потому что онъ увидѣлъ въ немъ знакомаго москвича. Здѣсь слова его показываютъ, что онъ думалъ о литературныхъ способностяхъ г. Галахова.

лей, слѣдовательно, на бумагу, достальную уплату граверу, обвертку, печатаніе, останется 4,400 рублей. Изъ этого мнѣ надобно еще сдѣлать двѣ карты — онѣ станутъ не менѣе 1,000 рублей. Но Галахову довѣрить рѣшительно дѣла нельзя. Итакъ увѣдомь меня: берешься ли ты смотрѣть за нимъ и читать корректуру? Возьметъ ли онъ при томъ 40 рублей за листъ? Больше и дать не стоитъ, и, самъ видишь, не изъ чего! И при такой платѣ за переводъ мнѣ надобно будетъ еще прибавить, кромѣ 6,000 рублей, весьма не мало. Но, что бы ни стало, только бы кончить. По моему разсчету, на напечатаніе потребно еще 200 стопъ бумаги. Я говорилъ при отъѣздѣ изъ Москвы Ратькову о заказѣ ея. Не знаю, заказана ли она и не получена ли уже? Если же нѣтъ, то Усачеву надобно немедленно заказать, что̀ и прошу тебя исполнить. Если же ты отъ окончанія Дюмонъ-Дюрвиля откажешься,—то я, право, не знаю, что мнѣ тутъ и дѣлать.

«Вотъ тебѣ mea culpa, другъ и братъ! Касательно платежей въ апрѣлѣ, въ свое время я перешлю къ тебѣ и изъясненія, и средства ихъ выполнить. Теперь болѣе писать нѣтъ силъ, да и времени! Вотъ передо мной пять листовъ корректуры, а между тѣмъ до 15-го только 12 дней— писать надобно еще бездну, а между тѣмъ, право, въ головѣ ни единой мысли нѣтъ... Слава Богу, что въ царствѣ слѣпыхъ и кривой королемъ быть можетъ!.. Руку твою, и поклонъ мой всѣмъ твоимъ, а дѣтямъ мое благословеніе».

Я не стану передавать здѣсь тѣхъ писемъ моего брата, въ которыхъ онъ почти исключительно писалъ мнѣ о своихъ долгахъ и разныхъ обязанностяхъ, которыя тяготили его, какъ тяжкое воздаяніе за разныя ошибки и несчастія прежней жизни въ Москвѣ. Довольно и того, что привелъ я въ примѣръ, чтобы судить какъ жалки, прискорбны и терзательны были отношенія, которыя привязывали его къ Москвѣ. Можно сказать, что они составляли мученіе его жизни и кончились только съ его жизнью. Напрасно льстилъ

онъ себя надеждою, что трудъ и терпѣніе преодолѣютъ все, утѣшалъ себя близкою перемѣною обстоятельствъ своихъ къ лучшему и даже назначалъ срокъ облегченію себя отъ долговъ. Такіе разсчеты почти всегда бываютъ невѣрны, а его разсчеты и надежды въ этомъ случаѣ почти всѣ основывались на связи съ Смирдинымъ, для чего онъ и переѣхалъ въ Петербургъ—но именно этотъ разсчетъ прежде всего лопнулъ, какъ мыльный пузырь! Мы сейчасъ увидимъ это. Онъ не высказывалъ мнѣ всего, что не могъ не видѣть ясно; напротивъ, всегда, до послѣдней крайности, онъ представлялъ мнѣ обстоятельства свои не такъ отчаянными, какъ они были въ дѣйствительности. Я приписываю это его доброму желанію не огорчать меня преждевременно; а можетъ быть, что онъ и самъ себя утѣшалъ несбыточными надеждами, хотя каждое письмо его было проникнуто глубокою, неизцѣлимою скорбію, которая проглядывала въ рѣчахъ его даже, когда онъ хотѣлъ показать себя въ спокойномъ расположеніи духа. Это можно видѣть въ двухъ письмахъ его, которыя доставили мнѣ лично Кольцовъ и Каратыгинъ. Любопытно видѣть и мнѣніе его объ этихъ достопамятныхъ людяхъ.

«С.-Петербургъ, марта 30-го 1838 года.

«Вручитель этихъ строкъ Кольцовъ. Добрый мой Ксенофонтъ! Позволь мнѣ сказать тебѣ о немъ, что это чистая, добрая душа, которую не надобно смѣшивать съ Слѣпушкиными. О дарованіи его ни слова; но я полюбилъ въ немъ человѣка. Пожалуйста, приласкай его; поговори съ нимъ просто, и ты увидишь прекрасные проблески души и сердца, и полюбишь его. Можетъ быть оттого, что мнѣ здѣсь холодно, какъ подъ полюсомъ, съ Кольцовымъ грѣлся я, какъ будто у камина. Сейчасъ получилъ твое письмо... Прощай! Христосъ Воскресе—въ запасъ, потому что по полученіи этихъ строкъ тобою будетъ уже свѣтлая недѣля. Да свѣтлѣетъ она тебѣ и твоимъ!

«Твой Н.

Вотъ письмо врученное мнѣ В. А. Каратыгинымъ:

«С.-Петербургъ, марта 31-го 1838 года.

«Имя вручителя этого письма тебѣ очень извѣстно, мой добрый братъ и другъ Ксенофонтъ! Позволь же мнѣ познакомить тебя съ нимъ лично и порекомендовать его какъ умнаго и благороднаго человѣка, добраго семьянина и художника, пламенно любящаго свое искусство. Мы были къ нему несправедливы, какъ къ человѣку и артисту. Онъ точно и не былъ тѣмъ, что теперь. Надѣюсь, что ты увидишь его, и въ первый разъ узнаешь, позволь мнѣ тебя въ этомъ увѣрить—художника истиннаго. Не откажись посмотрѣть его въ «Гамлетѣ», «Лирѣ», «Людовикѣ XI-мъ» и «Уголино», что все намѣренъ онъ играть въ Москвѣ. Но теперь еще нѣсколько словъ о Каратыгинѣ—человѣкѣ. Можетъ быть, еще разъ я обманываюсь, но, право, во время шести мѣсяцевъ, живучи съ нимъ по сосѣдству, видаясь часто, говоря, бесѣдуя подолгу, я не видалъ въ немъ никакой темной стороны. Не будемъ требовать идеаловъ, но мнѣ много отрады принесъ Каратыгинъ, и ужъ за это долженъ полюбить его и обласкать. Позволь ему отнимать у тебя иногда и по нѣскольку времени, и будь съ нимъ добръ. Онъ проживетъ въ Москвѣ весь апрѣль, и—странное дѣло!—боится Москвы, хотя и скрываетъ это! Можетъ быть, теперешній пріѣздъ его помиритъ съ нимъ самыхъ его враговъ. Напиши мнѣ о немъ твое мнѣніе, искренно, и если ты согласишься съ мнѣніемъ моимъ о его дарованіи, то нельзя ли написать статейки двѣ-три и въ «Пчелу»; но печатнаго прошу тогда только, когда тебѣ онъ понравится, а письменнаго во всякомъ случаѣ. Кстати, ты увидишь, что Каратыгинъ человѣкъ весьма образованный, и обращеніе его таково, что онъ принятъ здѣсь во всѣ лучшія общества. Если хочешь знать здѣшнія литературныя сплетни, онъ разскажетъ тебѣ ихъ съ три короба, лично знакомый со всѣми.

«Хотѣлъ было я написать тебѣ съ нимъ большое письмо, обо всѣхъ и обо всемъ. Но, во-первыхъ, истинно нѣтъ времени, и во-вторыхъ, надобно-бъ было послать тебѣ не письмо, а книгу. Въ этомъ полугодѣ такая путаница всего—событій, чувствъ, мыслей, людей, впечатлѣній — что, мнѣ кажется, я успѣлъ съ октября прожить пять лѣтъ. Съ чего начать и чѣмъ кончить? А о сколькомъ надобно бы мнѣ съ тобой посовѣтоваться, о сколькомъ спросить у тебя сирой душѣ моей и угнетенному сердцу! Гдѣ и какъ передать все это на бумагѣ? И вотъ почему мольба моя къ тебѣ: пріѣзжай сюда, милый братъ! Ты ужъ меня этимъ обнадежилъ, и я живу теперь этою надеждою, какъ самою отрадною мечтою. Двѣ недѣли стоитъ тебѣ пожертвовать, ибо здѣсь довольно тебѣ прожить недѣлю. Дай мнѣ позабыть на недѣлю разстояніе и время, и нельзя ли тебѣ сдѣлать это въ маѣ, въ самое прекрасное время года. Болѣе недѣли я не хочу, и грѣхъ было бы отнимать... Напиши мнѣ объ этомъ и назначь именно, какъ ты располагаешь быть. Я буду считать послѣ того дни, ибо ты не повѣришь, какъ мнѣ грустно и тоскливо, и какъ хотѣлось бы мнѣ хоть поплакать съ тобою, расположить, устроить все. Любопытнаго ты встрѣтишь здѣсь также очень много и, можетъ быть, не безъ пользы съѣздишь въ разныхъ отношеніяхъ. Мнѣ же вырваться теперь отсюда невозможно, хоть и надобно бы непремѣнно побывать въ Москвѣ, для окончанія дѣлъ даже. Но я полагаю сдѣлать это осенью, а неужели ждать до тѣхъ поръ? Нѣтъ, нѣтъ! Ты пріѣдешь, мой добрый Ксенофонтъ, не правда ли?

«Не соберу мыслей, что бы еще сказать тебѣ. Извѣстное дѣло—живъ, здоровъ, тотъ же, такъ же—нѣтъ! болѣе прежняго люблю и цѣню тебя. Разлука—пробный камень дружбы и любви. О новостяхъ и погодѣ писать тебѣ не стану, хоть многое можно бы сказать и забавнаго, и смѣшнаго даже. Цѣлую и благословляю всѣхъ твоихъ...»

Отъ 27-го апрѣля онъ опять писалъ ко мнѣ. Изъ этого письма, замѣчательнаго сосредоточенною грустью, я выпишу

только начало, потому что все остальное въ немъ относится къ подробностямъ, не занимательнымъ для публики, хотя въ то время онѣ были чрезвычайно важны для него и для меня. Онъ писалъ это письмо по полученіи извѣстія о разстройствѣ дѣлъ книгопродавца Улитина, наносившемъ ему новый, неожиданный ударъ. Это была капля горечи, подлитая въ чашу, уже почти полную, и потому онъ больше говорилъ мнѣ объ общемъ своемъ положеніи, какъ могъ говорить только сильный духомъ, хотя и угнетаемый обстоятельствами, человѣкъ. Читатель обратитъ вниманіе и на то красноречіе сердца, которому не мѣшаетъ небрежность выраженій въ слѣдующихъ строкахъ:

«Дни и недѣли проходятъ, любезный, добрый мой Ксенофонтъ, а я не пишу къ тебѣ. Тутъ страждутъ не учтивость, не приличія, не увѣдомленія о здоровьѣ; но есть сердечныя приличія, которыя оскорбляются такимъ молчаніемъ; есть и такія стороны души, нераздѣленіе которыхъ груститъ насъ, тяготитъ, печалитъ. Что ты живъ, что я не умеръ — это и безъ писемъ мы всегда узнаемъ. Но какъ ты живъ, какъ я не умеръ — вотъ что надобно сообщать. Отъ этого просто легче душѣ. А я молчу! Ты повѣришь, что молчаніе происходитъ оттого, что за перо приниматься не хочется; сто разъ берешься и—кидаешь его... Послѣ, авось лучше душѣ, если не лучше абсолютно. Приходитъ послѣ, и перо опять падаетъ изъ рукъ! Но главное: теперь у меня idée fixe, что ты въ половинѣ іюня пріѣдешь въ Петербургъ, и я все откладываю до личнаго свиданія съ тобою. Ради Бога, не измѣни надеждѣ! Это непремѣнно надобно намъ сдѣлать даже для устройства судьбы нашей, для установки всѣхъ отношеній, политическихъ, денежныхъ, литературныхъ, для того чтобы я не издохъ собачьею смертью! Я никакъ не могу отсюда двинуться; писать всего нельзя, да и какое письмо передастъ взоръ, голосъ друга? какъ и припомнить, и придумать все на письмѣ? Твоимъ пріѣздомъ установимъ мы наше будущее, бдумаемъ, устроимъ его. Самыя опасности и бѣды не

страшны, если къ нимъ мы приготовлены и въ нихъ всмотрѣлись напередъ, и сладили встрѣчу съ ними. И такъ: ты пріѣдешь — это рѣшено — пріѣдешь, хоть на три дня. Этого уже будетъ довольно для тебя и для меня, потому что эти три дня можемъ мы провести одни и вмѣстѣ; я думаю, тебѣ нѣтъ надобности смотрѣть Петербургъ, или ходить въ гости, слѣдственно, можно надуматься и наговориться. И такъ, до тѣхъ поръ не жди отъ меня многихъ и подробныхъ посланій. Но писать къ тебѣ однакожъ—необходимость, и даже дѣла заставляютъ это дѣлать—О дѣла, дѣла! Какая мерзость получила теперь между нами это почетное названіе.—Пойдемъ въ это Inferno жизни, которое стоитъ Дантева...»

Послѣ этого письма, далѣе наполненнаго тягостными подробностями о его дѣлахъ, я не получалъ отъ него извѣстій недѣли три, и уже предчувствовалъ, что это не даромъ. Предчувствіе мое оправдалось самымъ прискорбнымъ образомъ, какъ можно видѣть изъ слѣдующихъ строкъ:

«С.-Петербургъ, 21-го мая 1838 года.

«Не вини меня, мой добрый братъ, что на письмо твое отъ 4-го мая только теперь я отвѣчаю. Давно уже не было мнѣ столько досадъ и горя, какъ въ эти дни. Я былъ боленъ духомъ и тѣломъ. Ужасная погода, дождь, сырость сдѣлали для меня мой припадокъ геморроя, который и безъ того весною бываетъ тяжеле обыкновеннаго, чрезвычайно тяжелымъ. И въ это время два гнусные ляха Булгаринъ и Сенковскій, пользуясь отсутствіемъ Смирдина, рѣшились всячески меня уничтожить. Невозможность имѣть дѣло съ Булгаринымъ и безпрестанныя несогласія, споры и шумъ уже давно рѣшили меня бросить «Пчелу», и когда этотъ подлецъ нагло поссорился со мной, рѣшительно, за отзывъ объ его пакостной книгѣ [1]) и за отзывъ о сборникѣ Воей-

[1]) Это была компиляція, которую Булгаринъ началъ издавать тогда подъ заглавіемъ: «Россія» и проч.

кова, написалъ отвѣтъ, началъ меня вездѣ ругать, клеветать, поносить во всемъ, я самъ предложилъ отказъ отъ «Пчелы», которою управлять я, кромѣ того, не находилъ никакой возможности по безчисленнымъ причинамъ. Тутъ Сеньковскій образовалъ планъ лишить меня всего, разрушить «Сынъ Отечества», а Булгаринъ подалъ бумагу, чтобы ему передавать всѣ мои корректуры. Не говоря объ оскорбительномъ тонѣ бумаги и униженіи, онъ началъ марать, задерживать, требовать вполнѣ редакціи себѣ; я остановилъ печатаніе и отложилъ все до Смирдина [1]), который, какъ хозяинъ, купивши «Сынъ Отечества», можетъ имъ одинъ распоряжать. Между тѣмъ, надобно было защищать себя отъ клеветъ, ѣздить, и я занемогъ рѣшительно, почти такъ, какъ въ декабрѣ 1834 года, не могъ двинуть рукой, отъ слабости. Можешь представить себѣ мое положеніе, когда впереди... Слабость дошла у меня до того, что рука дрожала и голова кружилась, едва принимался я за перо. Скрывая болѣзнь отъ семейства, опечаленнаго слухами, видя все разрушающимся, представляя тебя въ хлопотахъ, тщетно ожидающимъ отъ меня отвѣта... торжество враговъ, состояніе дѣлъ... Тяжело мнѣ было, другъ Ксенофонтъ!.. Но отдыхъ, оставленіе работы, наставшая прекрасная погода, рѣшимость на все подкрѣпили меня, а пріѣздъ Смирдина оживилъ и спасъ совершенно. Онъ заговорилъ съ подлецомъ смѣло, хотѣлъ все бросить, разрушить, не слушалъ Сеньковскаго, и вотъ рѣшено: я отказался отъ «Пчелы», а Булгаринъ отъ «Сынъ Отечества», который остается въ моемъ полномъ распоряженіи, съ именемъ одного Греча. Мнѣніе общее и высшее были во все время за меня. Булгаринъ злится, Сенковскій бѣсится, но чортъ съ ними! Собравши теперь силы, оканчиваю майскую книжку, и владѣя уже кое-какъ руками, спѣшу просить тебя»...

Окончаніе письма относилось къ дѣламъ, о которыхъ онъ просилъ меня.

[1]) Бывшаго тогда въ Москвѣ.

Извѣстіе о непріятностяхъ и вредѣ, какихъ надѣлалъ ему Булгаринъ, чрезвычайно опечалило меня. Ясно было, что братъ мой, лишенный покровительства высшихъ властей, стѣсненный на литературномъ поприщѣ распоряженіями Уварова, не могъ выйдти изъ затруднительнаго положенія никакимъ трудомъ, никакими усиліями. Онъ находился въ зависимости отъ столькихъ лицъ и отношеній, что легче всего было нанести ему вредъ и даже погубить, уничтожить его совершенно. Смирдинъ оставался еще защитникомъ!.. Довольно этого для характеристики его положенія. Письмо его показывало также, что предпріятіе, для котораго переселился онъ въ Петербургъ и которымъ надѣялся поправить свои обстоятельства, разрушилось, если не совершенно, то до такой степени, что онъ могъ трудиться только для насущнаго хлѣба, не думая уже о большихъ доходахъ. Все это озабочивало меня грустно. Если бы братъ и не звалъ меня къ себѣ въ Петербургъ, умоляя пріѣхать хоть на нѣсколько дней, я поѣхалъ бы къ нему послѣ его послѣднихъ извѣстій, чтобы увидѣть вблизи его положеніе, помочь ему въ чемъ нибудь, или, по крайней мѣрѣ, облегчить, успокоить его. Въ концѣ іюня могъ я исполнить это намѣреніе, пріѣхалъ къ нему и прожилъ у него недѣли двѣ. Онъ занималъ тогда квартиру въ домѣ бывшемъ Смирдина, недалеко отъ церкви Знаменія, на Лиговскомъ каналѣ [1]). По наружности, у него все было такъ же, какъ въ продолженіи многихъ лѣтъ бывало въ Москвѣ: порядочное помѣщеніе, нѣкоторыя удобства къ жизни и, вообще, наружное довольство; посторонніе и даже близкіе къ нему люди не могли замѣтить и въ немъ самомъ перемѣны. Но я тотчасъ увидѣлъ, что тяжкая грусть тяготѣла на его душѣ, и хотя онъ попрежнему казался веселымъ и любезнымъ, однако не могъ скрыть истиннаго состоянія своего духа отъ меня—да онъ и не скрывалъ его въ откровен-

[1]) Нынѣ домъ Волосныхъ.

ныхъ разговорахъ со мною. Ему предстоялъ безконечный трудъ, не обѣщавшій такихъ вознагражденій, какихъ надѣялся онъ отъ предпріятія, на которое вызвалъ его Смирдинъ. Отказавшись отъ «Сѣверной Пчелы», онъ остался съ «Сыномъ Отечества», упадшимъ журналомъ, который надобно было возстановлять, и хотя онъ уже довелъ его до такой благопріятной извѣстности, что число подписчиковъ возрасло на него до 2000, однако, это едва вознаграждало за издержки изданія. Слѣдовательно, въ первый годъ онъ могъ разсчитывать только на небольшую сумму, какая положена была за редакцію, а въ будущемъ не имѣлъ средствъ улучшить журналъ, оттого, что былъ стѣсненъ и распоряженіями Уварова, и тяжкимъ надзоромъ, и безденежьемъ, и не соперничествомъ, а злобою другихъ журналистовъ, которые всячески старались вредить ему и ронять его изданіе. Между тѣмъ, переселеніе въ Петербургъ увеличило его долги вдругъ двадцатью тысячами рублей, которые взялъ онъ у Смирдина впередъ и долженъ былъ заработывать ихъ медленнымъ трудомъ, платить проценты и за новый долгъ, и по старымъ своимъ долгамъ. Это представляло неисходную бездну,—Inferno, какъ выразился онъ въ письмѣ ко мнѣ,— и надъ этимъ адомъ можно было надписать:

Lasciate ogni speranza...

Я не имѣлъ никакой возможности пособить ему столько, чтобы онъ могъ выйдти изъ своего тяжкаго положенія— онъ и не требовалъ этого, облегчая свое сердце передачею мнѣ своихъ ощущеній, своихъ мыслей, своихъ надеждъ... да, надеждъ! Такова была сила духа въ этомъ человѣкѣ, что, вѣря Провидѣнію, онъ никакъ не полагалъ, чтобы несправедливость и злоба людей могли побѣдить его. Скажу болѣе: онъ не жаловался мнѣ ни на Уварова, ни на Булгарина, ни на кого изъ злыхъ своихъ враговъ, и заключалъ разсказы о ихъ мерзостяхъ обыкновеннымъ своимъ въ такихъ случаяхъ присловіемъ: «Что-жъ дѣлать: они люди!» Онъ надѣялся, что постоянный трудъ выведетъ его,

наконецъ, изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, а чистота его помышленій и всѣхъ дѣйствій убѣдитъ высшія власти, что напрасно видятъ и преслѣдуютъ въ немъ опаснаго человѣка. Такія, можно сказать, дѣтскія понятія о дѣлахъ міра казались тогда и мнѣ истинными, и я, сознаюсь, раздѣлялъ его убѣжденія. Да и можетъ ли иначе думать и чувствовать молодой человѣкъ, воспитанный въ чистотѣ духа? Только горькій опытъ показываетъ намъ, что выйдти изъ бѣдности честнымъ трудомъ—невозможно, безъ стеченія какихъ нибудь рѣдкихъ случайностей, и это всегда бываетъ только исключеніемъ изъ общаго. Начните разсматривать жизнь богача и средства, какими онъ нажилъ себѣ богатство: едва ли изъ сотни найдется одинъ, котораго богатство не было основано на обманѣ, лихоимствѣ, плутняхъ, ростовщичествѣ, грабительствѣ, а иногда и на такихъ преступныхъ дѣлахъ, которыхъ я и назвать не съумѣю—гадко! У богача, который не получилъ богатства въ наслѣдство, рѣдко не бываетъ въ жизни какого нибудь чернаго пятна. Но если трудно не только составить себѣ богатство, но и обезпечить свое существованіе работой головы или рукъ, то еще труднѣе освободиться отъ долговъ, какимъ бы то ни было образомъ возросшихъ до значительной суммы. Они безпрестанно увеличиваются отъ процентовъ, ростутъ постоянно, за каждый день, а трудовой рубль уменьшается и отъ неудачъ, и отъ недоплатъ, и отъ разныхъ случаевъ, которые вдругъ отрываютъ отъ васъ куски заработокъ, всегда медленно скопляющихся. Николай Алексѣевичъ испыталъ все это, въ недолгое время своего житья въ Петербургѣ. Много тысячъ стоило ему переселеніе туда; оно оказалось тщетною попыткою увеличить доходы; разорившее его изданіе Дюмонъ-Дюрвиля было продано Улитину, — а онъ не могъ ничего заплатить, и все-таки надобно было тратить деньги на окончаніе этой несчастной книги! А между тѣмъ, сколько онъ переплатилъ процентовъ по прежнимъ долгамъ! И такъ переселеніе, Дюмонъ-Дюрвиль и

разстройство Улитина, вмѣстѣ съ неизбѣжными издержками на житье, потребовали отъ него тысячъ сорокъ рублей, если не больше, а доходы его были въ этотъ годъ ничтожны— если только были они. Снисходительные кредиторы (то есть снисходительные покуда еще надѣются что нибудь выжать изъ должника) готовы были отсрочивать ему, но имъ надобно было при всякой отсрочкѣ платить впередъ по 12 процентовъ въ годъ: меньше не бралъ и другъ его Бѣгичевъ! Такое положеніе могло ужаснуть хоть кого, и мы измѣривали всю безнадежность его; но въ насъ еще столько было силъ, твердости духа и — дѣтской неопытности, что мы не отчаявались трудомъ и постоянствомъ выйдти изъ своего затруднительнаго положенія. Я говорю здѣсь мы, потому что никогда не отдѣлялъ себя отъ брата, а съ этого времени, видя усилившіяся тягости и невольное уныніе отъ неудачъ и стѣсненій, я еще больше готовъ былъ дѣлить съ нимъ послѣднюю копѣйку. Дѣла и занятія наши шли отдѣльно, но я бралъ на себя успокоивать его кредиторовъ, которые большею частію были въ Москвѣ. Между нами еще не было никакого уговора о томъ, чѣмъ онъ вознаградитъ суммы, затраченныя мною за него, да нечего было и говорить объ этомъ, потому что у него въ это время все только рушилось и утрачивалось. Но я зналъ его, вѣрилъ ему, и не хотѣлъ, не могъ допустить его погибнуть, покуда имѣлъ средства поддерживать его. Наконецъ, вмѣстѣ съ нимъ, я вѣрилъ, что онъ былъ въ переходномъ кризисѣ, и что дѣла его могутъ поправиться. Въ самомъ дѣлѣ: развѣ подписка на «Сынъ Отечества» не могла на слѣдующій годъ увеличиться такъ, что одна могла бы обезпечить его положеніе? Развѣ не могъ онъ заработывать значительной суммы своими театральными пьесами, которыя имѣли такой блистательный успѣхъ на сценѣ? Развѣ не могло ему встрѣтиться въ Петербургѣ, въ сферѣ всякой дѣятельности, такого случая, который одинъ могъ вывезти его? Дарованія его были такъ сильны и разнообразны, что

онъ могъ сдѣлать многое, а при благопріятныхъ обстоятельствахъ все такъ легко улаживается!.. Мечты! мечты! готовъ я самъ сказать съ читателемъ. Но тогда все представлялось мнѣ въ иномъ свѣтѣ, и потому читатель пойметъ, что переговоры и продолжительныя разсужденія съ братомъ успокоили насъ столько, что мы бодро готовы были на новую борьбу съ судьбою. Я просилъ и умолялъ его не дарить театральныхъ пьесъ своихъ въ бенефисы актерамъ и актрисамъ (что онъ и обѣщалъ, хотя не исполнилъ никогда); просилъ не подряжаться за безцѣнокъ писать какія нибудь компиляціи и не продавать никому, кромѣ меня, новыхъ своихъ сочиненій, обѣщая за нихъ больше, нежели получитъ онъ отъ кого нибудь другого; просилъ и убѣждалъ не поддаваться ласковымъ рѣчамъ такихъ сочинителей, какъ Бѣгичевъ, которые отымали у него время и платили только неблагодарностью и непріятностями. Онъ все обѣщалъ — хотя уже въ это самое время у него была огромная рукопись одного путешественника, мореплавателя, которую взялся онъ исправлять и издавать, а послѣ въ награду получилъ только ругательства и клеветы!..

Больше двухъ недѣль пробылъ я въ Петербургѣ, и время пролетѣло незамѣтно въ бесѣдахъ съ братомъ. Мы были почти неразлучны, и кромѣ нѣсколькихъ выѣздовъ по дѣламъ и для необходимыхъ свиданій, я безотлучно оставался у него. Разъ мы выѣзжали вмѣстѣ осмотрѣть нѣкоторыя современныя достопамятности Петербурга; напримѣръ, были въ мастерской Брюлова и въ отдѣланной незадолго до того церкви Смольнаго монастыря. Вмѣстѣ были мы въ театрѣ, взглянуть на Дюра въ роли Хлестакова и на любимицу моего брата—Асенкову. Еще разъ обѣдали на дачѣ у В. А. Каратыгина. Мой братъ искренно полюбилъ его, а нашъ громозвучный артистъ былъ человѣкъ ловкій и дальновидный, не смотря на то, что казался неуклюжимъ. Онъ имѣлъ свои разсчеты, ласкаясь около моего брата.. Мы вмѣстѣ посѣтили также своихъ старыхъ и близкихъ пріятелей: князя

В. Ѳ. Одоевскаго и С. А. Соболевскаго. Послѣдній завелъ тогда обширную бумагопрядильню, на Невѣ, по Сампсоніевской улицѣ, кажется, въ товариществѣ съ однимъ изъ богачей Мальцевыхъ, и жилъ какъ англійскій фабрикантъ. На обѣдѣ у него случился знакомый еще съ моимъ отцомъ, славный нашъ синологъ отецъ Іоакинѳъ, который въ обществѣ былъ удивительно оригиналенъ своимъ китаизмомъ. Онъ до конца жизни, можно сказать, жилъ духомъ въ Китаѣ и увѣрялъ, что только тамъ все хорошо.

Впрочемъ, весьма немногіе изъ старыхъ нашихъ пріятелей остались неизмѣнными въ отношеніи къ моему брату, надъ которымъ тяготѣли опала и разореніе. Новыхъ знакомствъ онъ избѣгалъ, хотя не научился никогда не вѣрить людямъ, и всего легче было изловить его въ сѣти тому, кто прикидывался искренно приверженнымъ къ нему и полюбившимъ его. Мы видили въ письмахъ его, что нѣсколько времени онъ вѣрилъ даже увѣреніямъ Булгарина, которому уже не вѣрилъ никто, и никто не вообразилъ бы, даже на минуту, что этотъ человѣкъ былъ простодушный добрякъ! А такъ думалъ, хоть недолго, Николай Алексѣевичъ! Онъ говорилъ мнѣ съ большимъ горемъ о смерти К. Т. Хлѣбникова, незадолго умершаго въ званіи директора россійско-американской компаніи и оказывавшаго горячее расположеніе къ моему брату. Я не зналъ Хлѣбникова, нѣкогда бывшаго приказчикомъ при моемъ отцѣ по дѣламъ означенной компаніи и проведшаго почти всю жизнь въ дальней Сибири и въ Америкѣ. Желаю вѣрить, что этотъ умный и при томъ одинокій человѣкъ, былъ столько благороденъ, что помнилъ нашего отца и полюбилъ искренно Николая Алексѣевича.

Часто бывали у него въ это время два прежніе знакомые, уже очень упадшіе: это В. С. Филимоновъ и П. П. Свиньинъ. Перваго онъ давно не любилъ, но, не помня зла, принималъ, какъ человѣка, надъ которымъ тяготѣли большія несчастія.

Свиньинъ, разстроенный, и духовно и вещественно, былъ только скученъ своею болтливостью. Не упоминаю о другихъ, сколько нибудь извѣстныхъ или замѣчательныхъ людяхъ, которыхъ встрѣчалъ я у Николая Алексѣевича:—китайскія тѣни, они не оставляли послѣ себя никакого слѣда.

Послѣ всего видѣннаго и слышаннаго мною у брата, я оставлялъ его съ грустью, пораженный очевидностью плохого состоянія его дѣлъ. Какъ ни утѣшали мы себя надеждами, но въ настоящемъ видѣли только трудъ, не обезпечивавшій ничего, а между тѣмъ бремя долговъ и злоба непріятелей угрожали большими опасностями. Братъ понималъ, наконецъ, какъ трудно было ему выйдти изъ тяжкаго его положенія, и, послѣ всѣхъ переговоровъ, мы не рѣшили почти ничего. Я обѣщалъ ему грудью отстаивать его во всѣхъ трудныхъ случаяхъ, а онъ говорилъ, что въ началѣ зимы пріѣдетъ въ Москву, и тогда, если обстоятельства поразъяснятся, можно будетъ принять какія нибудь мѣры къ лучшему. Между тѣмъ, надобно терпѣть, работать и бороться съ людьми и нечаянностями судьбы.

Онъ проводилъ меня далеко за Московскую заставу, и тамъ пересѣлъ я изъ его экипажа въ дилижансъ. Съ молитвою къ Богу разстались мы; но тяжело было у меня на душѣ. Сначала я даже не замѣчалъ, что подлѣ меня сидѣлъ какой-то пожилой толстякъ. Онъ вѣжливо сталъ подчивать меня апельсинами, которыхъ накупилъ въ дорогу множество, и самъ ѣлъ ихъ безпощадно. Вскорѣ онъ, безъ всякихъ разспросовъ съ моей стороны, разсказалъ про себя, что онъ возвращается въ Тверь, гдѣ служилъ совѣтникомъ въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ, ѣздилъ въ Петербургъ хлопотать о своемъ повышеніи и перемѣщеніи, и совершенно счастливый ѣдетъ назадъ, потому что имѣлъ во всемъ полный успѣхъ. Радость и счастье блистали въ его сангвиническомъ лицѣ, и онъ не могъ безъ восхищенія говорить о прекрасныхъ людяхъ, какіе живутъ въ Петербургѣ!.. Упоминаю объ этой встрѣчѣ съ счастли-

вымъ человѣкомъ, потому что онъ поразилъ меня противоположностью съ собственными моими ощущеніями и съ тѣмъ, что я видѣлъ въ Петербургѣ.

Около Новгорода присоединился къ намъ новый спутникъ, оригинальный по своему. Когда мы дожидались перемѣны лошадей у крыльца гостиницы, со стороны Петербурга подскакала тройка, запряженная въ телѣжку, изъ которой выпрыгнулъ молодой человѣкъ, щегольски одѣтый по-дорожному, и прежде всего обратился къ кондуктору дилижанса, показывая ему билетъ. Онъ опоздалъ въ Петербургѣ, и на почтовыхъ пустился за дилижансомъ, гоня въ хвостъ и голову. Въ отдѣленіи, гдѣ было его мѣсто, оказалось и еще одно пустое, такъ что онъ немедленно залѣзъ туда и расположился тамъ спать, раздѣвшись почти до рубашки и говоря во всеуслышаніе, что не спалъ больше сутокъ. За то онъ и проспалъ сутки безпробудно. Уже на половинѣ дороги вышелъ онъ къ обѣду, и тутъ разсказалъ намъ, что онъ отставной офицеръ такой-то, откупщикъ какихъ-то городовъ въ Сибири, куда и ѣдетъ наживать деньги. Онъ съ удивительною откровенностью говорилъ о разныхъ мерзостяхъ, къ которымъ готовился, и заключилъ свои сужденія фразою: «Да! только бы нажить деньги!» Какъ видно, какіе нибудь прежніе успѣхи въ этомъ родѣ придавали ему самоувѣренность, и онъ уже воображалъ себя милліонеромъ, а это радовало его до сумасшествія. «Вотъ еще счастливецъ!» подумалъ я невольно. Въ самомъ дѣлѣ, онъ казался счастливымъ по своему, бросалъ деньги на всякій вздоръ и выкрикивалъ трескучія фразы. Любимымъ его эпитетомъ было слово: блистательный. У него и дорога была блистательная и погода блистательная и обѣдъ, и вино блистательные! Не знаю, блистательно ли онъ продолжалъ свое поприще?

При возвращеніи въ Москву меня ожидало непредвидѣнное горе. Во время короткаго моего отсутствія, скончалась младшая сестра моя, бывшая замужемъ за И. И. Безсомы-

кинымъ. Наканунѣ моего отъѣзда изъ Москвы, я былъ у нея на дачѣ: она чувствовала себя немного нездоровою отъ простуды, но сама разливала чай и подшучивала надъ своею болѣзнію. Нельзя было и предполагать, что въ немного дней эта болѣзнь сведетъ ее въ могилу. Когда я ѣхалъ изъ Петербурга, ее уже не было въ здѣшнемъ мірѣ! Такая неожиданная потеря глубоко опечалила меня и грустно отозвалась въ письмахъ брата, какъ увидимъ далѣе. Наша младшая сестра была существо необыкновенно прекрасное, кроткое, и немного ясныхъ дней видѣла она въ жизнь свою. Мы всѣ любили ее, и смерть ея, въ молодые годы, прибавила еще одно грустное воспоминаніе ко всѣмъ прежнимъ.

Между тѣмъ, дни и недѣли шли попрежнему, и я опять получалъ отъ Николая Алексѣевича въ неопредѣленное время письма, большею частію не радостныя, запечатлѣнныя тоскою неисцѣлимою. Въ нихъ лучше всего изображается тогдашняя его жизнь, которую описывалъ онъ мнѣ подъ вліяніемъ живыхъ впечатлѣній, и потому я желалъ бы передать ее всю собственными его словами; къ сожалѣнію, большая часть его писемъ наполнена домашними, дѣловыми и потому даже непонятными современному читателю подробностями. Я принужденъ избирать только тѣ изъ писемъ моего брата, гдѣ онъ говорилъ не о дѣлахъ, не о старикахъ, а собственно о себѣ или о какихъ либо важныхъ въ его жизни событіяхъ.

Мѣсяца черезъ полтора послѣ свиданія онъ писалъ мнѣ:

«Августа 15-го 1838 года, С.-Петербургъ.

«Съ невольнымъ содроганіемъ, мой милый братъ и другъ Ксенофонтъ, оглядываешься на прошедшее! Первое, что мнѣ теперь пришло въ голову: вотъ уже сорокъ дней, какъ мы съ тобой опять разстались! Сорокъ дней! Каждый тянулся какъ червякъ, протачивающій насквозь сердце, и уже толпа ихъ составила шесть недѣль, которыя отмѣ-

чены нѣсколькими грустными, ни однимъ веселымъ часомъ, и затуманены темной думою о краткомъ пребываніи твоемъ здѣсь, о потерѣ въ это время милаго намъ человѣка, и о томъ, къ чему все это, и это ли жизнь? Но полученіе твоихъ писемъ всегда принадлежитъ у меня къ минутамъ свѣтлымъ. Какія бы грустныя и тяжкія извѣстія они ни содержали, ты умѣешь писать ихъ такъ утѣшительно, такъ сладостно для сердца моего, что я отдыхаю, чувствую тогда, что въ свѣтѣ есть еще одинъ человѣкъ, съ которымъ дѣлюсь я душою, который вполнѣ понимаетъ меня, за жизнь котораго благодарю я Бога, ибо безъ тебя, думаю, мнѣ бы всего не перенести — благослови тебя Богъ за все, за все! Благодарю, благодарю, — и ты у меня точно одинъ. Есть другіе, драгоцѣнные для меня — мои дѣти, мои родные, за которыхъ готовъ я отдать жизнь мою, которые любятъ меня, но они — не ты, ихъ чувство ко мнѣ инстинктное, и съ ними не могу я дѣлиться вполнѣ моею душою. Впрочемъ, много надобно бы говорить, еслибы все хотѣть высказать. Не сердись на меня, что я послѣ отъѣзда писалъ къ тебѣ только одно, дѣловое письмо. Два раза садился я писать, и въ оба раза рвалъ письма и бросалъ перо; такія грустныя выходили мои посланія! Не знаю отчего, во все это время такая печаль, такая тоска — давили, стѣсняли, душили меня, что я могъ прогонять ихъ только усиленнымъ трудомъ и стараніемъ забыть обо всемъ и ни о чемъ не думать. Самъ не знаю, отчего былъ такой припадокъ грусти и сплина, если такъ можно назвать это... Неужели предвѣщаніе чего нибудь еще болѣе тяжкаго въ будущемъ? Но я готовъ на все—добро пожаловать! А собственно говоря, ничего особеннаго со мною не случилось: жена моя и Алексѣй пріѣхали благополучно (и Алексѣй дня два отъ радости бѣгалъ и прыгалъ какъ сумасшедшій, и теперь, когда станутъ говорить, что надобно опять ѣхать въ Москву, онъ плачетъ); отъ жестокой болѣзни моей излечился я совершенно (какимъ-то страннымъ, симпатическимъ лекарствомъ,

при чемъ познакомился еще съ изобрѣтателемъ его, человѣкомъ отмѣнно замѣчательнымъ, о чемъ надобно разсказать тебѣ особенно—въ недѣлю вылечилъ онъ меня совершенно, хоть самъ вовсе не лекарь); дѣла, правда, гадки, терзательны, но они не могли въ это время сдѣлаться хуже прежняго. Тяжко мнѣ было извѣстіе о смерти сестры Лизы... Но, милый другъ! тутъ вмѣшивается для меня утѣшительное чувство. Я плакалъ, но думалъ: «тѣмъ лучше! Зачѣмъ было еще влачиться ей здѣсь? Къ чему была жизнь ея здѣсь? Еще просчитать болѣзнями и заботами нѣсколько лѣтъ?» Сегодня или завтра, для нея было все равно! Прекрасное и непостижимое явленіе была эта милая и добрая сестра наша, ибо ни передъ чьею жизнью нельзя поставить такого грустнаго: для чего?.. Словомъ: не понимаю причинъ, по которымъ такъ терзала меня съ самаго отъѣзда твоего убійственная тоска, такъ что письма, которыя я начиналъ къ тебѣ, пугали меня самого какимъ-то отчаяніемъ: я страшился послать ихъ къ тебѣ, прочитавъ самъ, и дралъ ихъ... Душа человѣческая—загадка неизъяснимая и такъ же мало зависитъ отъ насъ, какъ нашъ желудокъ. Теперь мнѣ легче... Но все еще не требуй отъ меня ничего складнаго, ничего систематическаго. Мой другъ и братъ! не сердись и впредь на мои нескладныя письма; не горюй, если вовсе ихъ не получишь... Не могу изобразить тебѣ безпрерывнаго страннаго соединенія двухъ крайностей въ нынѣшнемъ бытіи моемъ, какой-то нестерпимой тревоги, грусти душевной, и какого-то неопредѣленнаго порыва къ чему-то... Мнѣ надобно бы, кажется, три сердца для любви, дни въ пятьдесятъ часовъ, и восемь рукъ для работы, и все это принужденъ, долженъ я сжимать, стѣснять, нарочно долженъ бичевать себя настоящею жизнію, чтобы помирить мой безконечный внутренній міръ съ тѣснымъ міромъ внѣшнимъ... Что̀ написалъ бы я теперь, еслибы только было время, еслибы только дали мнѣ дохнуть свободно!.. Что дѣлать? мы не творимъ себѣ условій нашего

бытія! Покорность судьбамъ неисповѣдимымъ, покорность всему—слеза прошедшему, трудъ настоящему, вѣра будущему! Съ надеждой я давно распрощался, дружески, миролюбиво, но распрощался навсегда; съ любовью жестоко поссорился—это самая негодная изъ трехъ сестеръ, злая, своенравная, злопамятная; остается одна вѣра, кроткая, мечтательная, не земная, почти безплотная; остается братъ ея—трудъ. Но довольно, полно!.. Я могу исписать цѣлые листы, если стану разсказывать факты моего внутренняго міра... Лучше отдамъ теперь тебѣ отчетъ во внѣшнемъ. Мы всѣ здоровы, и спазмы мои, какъ я уже сказалъ, будто рукой сняты (чуднаго этого лекарства привезу я тебѣ въ Москву). Жизнь наша идетъ, какъ заведенные часы, какъ ты ее видѣлъ... (Тутъ описывалъ онъ нѣсколько домашнихъ подробностей, которыя пропускаю). Во все это время работалъ я усиленнымъ образомъ: выдалъ іюль «Сынъ Отечества», готовлю августъ и сентябрь; кромѣ того, подалъ въ цензуру VII томъ «Исторіи русскаго народа» и завтра подамъ рукопись IV тома Исторіи маленькой. Пишу, кромѣ того, Синихъ и Зеленыхъ [1]), и всячески стараюсь привести въ исполненіе условленный съ тобою планъ, то есть, чтобы окончить все, что начато мною, и тѣмъ пособить дѣламъ своимъ даже реально. Виноватъ: по нѣскольку минутъ удѣляю и Еленѣ Глинской; два акта ея почти готовы и накидывается третій. Полагаю, что всего скорѣе надобно теперь докончить Маленькую Исторію, и я стремлюсь къ этому всѣми силами. Потомъ примусь дѣятельнѣе и за другое. Послѣ отъѣзда твоего, я поплылъ развѣять грусть свою на морѣ и отдать ее вѣтрамъ балтійскимъ. Въ этомъ новомъ для меня мірѣ провелъ я цѣлые сутки, былъ на корабляхъ, плавалъ на шлюпкахъ, и какъ

[1]) Это небольшой романъ изъ византійской исторіи, впослѣдствіе напечатанный (подъ заглавіемъ «Византійскія легенды»). Исторіею маленькой называетъ онъ написанную имъ русскую исторію въ 4-хъ томахъ, которую началъ онъ печатать еще въ Москвѣ.

итя радовался новости дивныхъ впечатлѣній! Чтобы, кстати, исчислить тебѣ разныя варіаціи моего житья-бытья, вотъ онѣ за все это проведенное безъ тебя время: два утра просидѣлъ я съ Денисомъ Давыдовымъ, который старѣетъ ужасно и живетъ въ прошедшемъ, или лучше сказать, въ одномъ: 1812-мъ годѣ и Наполеонѣ. Утро пробылъ я еще у Скобелева, который увлекъ меня своими оригинальными разсказами. Наконецъ, утро отдалъ я Данилевскому, который оказываетъ мнѣ теперь самое дружеское расположеніе. Раза два или три былъ я еще въ особенномъ мірѣ у Кузина, который играетъ теперь здѣсь первую роль между откупщиками. — Въ прошедшій вторникъ Лукмановъ давалъ большой обѣдъ академикамъ (онъ привезъ сюда въ академію свои картоны); но между академиками были приглашены и литераторы — Крыловъ, Гречъ, Кукольникъ; былъ Монферранъ, былъ я, былъ Глинка (С. Н.), и гости разошлись часу въ 12-мъ ночи. Всего любопытнѣе для меня были тутъ: продолжительный разговоръ съ Крыловымъ и знакомство съ Монферраномъ. Вотъ что было со мною въ эти дни самое любопытное; остальное все оффиціально, и къ свѣдѣнію твоему сообщить развѣ слѣдующее: журналъ «миваго» [1]) сняла компанія, гдѣ редакторомъ будетъ Краевскій, а участниками Недоумка, князь Одоевскій, Бенедиктовъ — всего по счету 70 человѣкъ!»... (окончаніе этого письма, къ сожалѣнію, потеряно).

Около начала ноября ѣздилъ въ Петербургъ г. Ратьковъ, управлявшій въ Москвѣ моею книжною торговлею, которая постепенно увеличилась. Едва воротился онъ, какъ я получилъ отъ брата письмо, замѣчательное смѣсью грусти, простодушія и вмѣстѣ какой-то веселости больного человѣка. Выпишу изъ этого письма, что можно; остальное показалось бы, безъ длинныхъ объясненій, загадками для чи-

[1]) «Отечественныя Записки» Свиньина, который съ близкими знакомыми обыкновенно употреблялъ слово милый, а произносилъ его мивый. Н. Ал. самого его называлъ—«мивый».

тателя, не знающаго искреннихъ, домашнихъ подробностей семейной нашей жизни того времени.

«Почтеннѣйшій (т. е. П. А. Ратьковъ) будетъ уже съ тобою, мой любезный, добрый Ксенофонтъ, и, вѣроятно, успѣетъ уже пересказать тебѣ обо мнѣ всѣ новости, когда ты получишь это письмо, пущенное вслѣдъ за нимъ. И не странность ли? писать тотчасъ послѣ свиданія съ нимъ, и не писать съ нимъ ничего, а вслѣдъ его пустить посланіе? Что дѣлать! На странности закона нѣтъ, какъ на глупости человѣчьи законъ не писанъ. Главная причина моего молчанія была та, что я хотѣлъ непремѣнно ѣхать въ Москву и все время перепуталось при томъ у меня въ работѣ, досадѣ, невозможности освободить тебя отъ досадъ по моимъ московскимъ порученіямъ, и проч. и проч. А можетъ быть и отцова привычка, непобѣдимое влеченіе природы отцовской — молчать, когда говорить много некогда и говорить веселаго нечего! Теперь я понимаю, отчего, бывало, онъ лежитъ, никуда не ходитъ, ни къ кому не пишетъ... Впрочемъ, почтеннѣйшій можетъ тебѣ разсказать, что особеннаго со мною ничего не сдѣлалось — все попрежнему... томительная, безрадостная, механическая жизнь, положеніе человѣка, котораго осыпали мошки и пчелы или осы, и кусаютъ, а онъ отгоняетъ ихъ, колотитъ — въ надеждѣ, что когда нибудь успѣетъ убѣжать отъ преслѣдованія этихъ не смертельныхъ, но скучныхъ насѣкомыхъ, которыя не ѣдятъ и не съѣдятъ, но кусаютъ больно и до опухоли... Да бросимъ этотъ вздоръ—чего нельзя перемѣнить, на то и жаловаться не должно. Скажу лучше, что теперь я располагаю рѣшительно, и надобно мнѣ непремѣнно въ Москву пріѣхать. Думаю встрѣтить новый годъ вмѣстѣ съ тобою; мое пребываніе въ Москвѣ продолжится недѣлю. Чтобы выгадать двѣ недѣли для цѣлой поѣздки, я теперь стараюсь кончить двѣ книжки нынѣшняго и первую будущаго года—ничего не пощажу, развѣ нездоровье одолѣетъ; а силы возстановятъ моя поѣздка и сви-

данiе съ тобою. Это мнѣ мечтается радостнымъ событiемъ—тогда поговоримъ обо всемъ и о будущемъ, и о твоемъ предложенiи, которое доказываетъ твою любовь ко мнѣ; но пока, въ настоящихъ обстоятельствахъ, неисполнимо, милый другъ! Слова твои отзываются въ глубинѣ души моей и услаждаютъ только тѣмъ, что въ тебѣ вижу я истиннаго человѣка, прекрасное божье созданiе и друга моего! Ты съ каждымъ днемъ, съ каждымъ поступкомъ твоимъ становишься безцѣннѣе, неоцѣненнѣе для меня... Добрый Ксенофонтъ! объ этомъ не говорятъ—это чувствуютъ только; не станемъ же гадить небесныхъ чувствъ словами — они даны намъ на издержки земныя! Обращаюсь къ землѣ. Прошу и умоляю тебя прочесть прилагаемый при семъ отдѣльно листъ о дѣлахъ моихъ. Каждый пунктъ толковалъ я подробно почтеннѣйшему, и прошу тебя по однимъ пособить мнѣ, по другимъ исполнить, по третьимъ посовѣтовать. Къ первымъ принадлежатъ двѣ первыя статьи, и особенно вторая изъ нихъ, а къ третьимъ—статья о Дюмонъ-Дюрвилѣ и предложенiе Плюшара. Кажется, что по московскимъ моимъ дрязгамъ, при надеждѣ на твою дружбу и стараніе добраго почтеннѣйшаго, непріятностей быть не можетъ; впрочемъ, да будетъ воля Божія! Теперь о почтеннѣйшемъ: я ему душевно обрадовался и старался смѣшить его, перебралъ съ нимъ старину, толковалъ о Смирдинѣ, Заикинѣ, Фариковѣ, Бородинѣ, обо всемъ, и, какъ нарочно случилось—наканунѣ отъѣзда его былъ бенефисъ Асенковой и игралась моя пьеса, которая имѣла необыкновенный успѣхъ, какого я не ожидалъ, хотя она точно не дурна и вышла довольно кругла и завлекательна на сценѣ. Прочти ее. Говорятъ, что ее взялъ уже въ Москвѣ на бенефисъ свой Орловъ, но не думаю, чтобы тамъ она прошла удачно. Здѣсь, сегодня, даютъ ее уже вторично и театръ будетъ опять набитъ, ибо билетовъ въ кресло поутру уже не было ни одного. Но это дѣло постороннее, а главное почтеннѣйшiй, который былъ очень доволенъ, что на-

глядѣлся на Асенкову, во всѣхъ видахъ и, кажется, уѣхалъ отсюда доволенъ и веселъ. Поблагодари его отъ меня за подарокъ мнѣ пріѣздомъ. Кстати о смѣшномъ: здѣсь неожиданно являлся Лотхенъ [1]), хохоталъ и уѣхалъ предоволенъ, получивши обѣщаніе на какое-то пустое мѣстишко. Счастливцы!.. Важное событіе: надняхъ ѣдетъ въ Москву Демонъ [2]); заѣзжалъ ко мнѣ ругать меня, и теперь у него главный источникъ смѣха—смѣшное здѣшное общество мальчишекъ, редакторовъ «Отечественныхъ Записокъ», которые, какъ нѣкогда московскіе мальчишки, смертельно боятся его. Что еще сказать новаго? О литературѣ писать не хочется—гадкое, отвратительное скопище дураковъ и шарлатановъ, погруженное въ сплетни и гадости! Довольно, что я пишу о литературныхъ пакостяхъ въ «Сынѣ Отечества». Не повѣришь, какъ мнѣ тошно и отвратительно среди этого клубка глистовъ—но чортъ съ ними!.. Лучше попросить тебя напомнить обо мнѣ твоимъ»...

Дѣйствительно, только я могъ понимать человѣка, способнаго написать подобное письмо въ тогдашнихъ его обстоятельствахъ! Онъ такъ же искренно и простодушно шутилъ, какъ грустилъ и глубоко чувствовалъ все, происходившее вокругъ него и отзывавшееся на душѣ его. Это письмо показывало человѣка, не упадающаго духомъ ни при какихъ трудностяхъ жизни; не утомленнаго, но скучающаго жизнью, которая не представляла ничего утѣшительнаго. Онъ былъ способенъ увлекаться и обольщаться малѣйшею улыбкою судьбы и даже мечтою, потому что не умѣлъ ничего чувствовать въ половину, и въ самыя горькія минуты бывалъ иногда веселъ искренно.

---

[1]) Такъ называлъ Н. А. одного дальняго родственника нашего, тогда молодого офицера Кассіана Сем. Любарскаго.

[2]) Въ тѣсномъ кругу близкихъ пріятелей такъ назывался С. А. Соболевскій, который въ глаза обыкновенно не щадилъ ихъ. Первый князь Одоевскій называлъ его: «мой Демонъ».

V.

«Дѣдушка русскаго флота». — Отзывъ императора Николая объ этой пьесѣ.—Николай Алексѣевичъ не извлекаетъ изъ этого успѣха никакой матеріальной выгоды. — Успѣхъ «Купца Иголкина».— Основныя причины разстройства дѣлъ Николая Алексѣевича. — Клеветы на него Булгарина и Бѣлинскаго.—Клеветы эти сильно вредятъ Николаю Алексѣевичу.—Ему предлагаютъ принять редакцію «Энциклопедическаго Лексикона»; онъ отказывается.—Смерть сына его Алексѣя и его отчаяніе.

Послѣ всего, изложеннаго въ предыдущей главѣ, читателю будетъ понятнѣе слѣдующее письмо Николая Алексѣевича, замѣчательное по многимъ отношеніямъ и бывшее вовсе для меня неожиданнымъ. Оно потребуетъ болѣе обширныхъ объясненій... Но сначала прочтемъ его, выслушаемъ вѣрный разсказъ о самомъ событіи, прежде нежели станемъ судить о немъ. Недѣли черезъ двѣ послѣ того письма, которое читали мы выше, я получилъ отъ него новое письмо.

«С.-Петербургъ, 24-го ноября 1838 года.

«Добрый братъ и другъ, ты, дѣлившій со мною всѣ мои горести, бывшій столько разъ единственною моею отрадою, когда я готовъ былъ предаться отчаянію — раздѣли теперь со мной мою радость и мое наслажденіе! Судьба всегда, какъ нарочно, на темныя стороны моего бытія бросаетъ мнѣ свѣтлыя и корки — она шалитъ со мною, и теперь бросила искорку и пошалила! Бездѣлка, о которой я не думалъ, которая стоила мнѣ полдня работы, словомъ: «Дѣдушка русскаго флота» сдѣлался неожиданною причиной счастливаго оборота, можетъ быть, всѣхъ моихъ обстоятельствъ, произвелъ шумъ, обратилъ на меня вниманіе царя, который изъявилъ его съ истинно-отеческою, не оцѣненною милостью! Слава Богу, мой любезнѣйшій, слава Богу! Что будетъ впередъ — кто знаетъ? но, по крайней

мѣрѣ, теперь все старое забыто; козни враговъ не подѣйствовали, стали безсильны — моя невинность, моя правота, восторжествовали; мнѣ отдали то, чего не могъ я выкупить четырехъ-лѣтними страданіями и столькими тяжкими трудами. Опишу тебѣ главныя подробности. Я уже писалъ тебѣ, и почтеннѣйшій могъ тебѣ лично пересказать объ успѣхѣ «Дѣдушки» въ первое представленіе. Второе было еще шумнѣе—меня опять вызвали, при громкихъ кликахъ. На третье представленіе, вовсе неожиданно, пожаловала государыня императрица, со всѣмъ семействомъ. «Дѣдушка» такъ имъ понравился, что маленькій генералъ-адмиралъ хлопалъ безпрестанно. Публика громко звала автора, меня не было въ театрѣ. Ноября 18-го, «Дѣдушку» назначили въ четвертый разъ. Театръ былъ полнехонекъ. Знали, что государь въ тотъ день прибылъ поутру изъ Москвы; но только часа за два до представленія сказано было директору, что онъ будетъ въ театрѣ. Мнѣ едва успѣли сказать. Я пріѣхалъ, когда первая пьеса была уже кончена; ее играли наскоро. Государь только-что явился въ ложѣ. Съ нимъ были государыня, в. к. Марія Николаевна и женихъ ея. Начался «Дѣдушка»—все загремѣло, и когда пошла вторая половина пьесы,—это были просто громъ, крикъ, «ура»! Видно было, что государь наслаждался этимъ неподдѣльнымъ голосомъ народа; онъ былъ веселъ, хлопалъ, смѣялся.—«Полевой далъ мнѣ семейный праздникъ!»—сказалъ государь потомъ. Онъ сошелъ на сцену, когда кончилась пьеса, при страшныхъ громахъ рукоплесканій, подозвалъ Сосницкаго, благодарилъ его. — «У автора необыкновенныя дарованія,—говорилъ онъ,—ему надобно писать, писать, писать! Вотъ что ему писать надобно (онъ улыбнулся), а не издавать журналы». Кто-то замѣтилъ, что Полевой издаетъ журналы поневолѣ.—«Дирекція должна платить ему, дорого платить!»—сказалъ онъ, и потомъ шутилъ, смѣялся, потребовалъ Каратыгина.—«Ты совершенный Петръ Великій»!—сказалъ онъ, любуясь имъ.—«Нѣтъ, государь, онъ былъ

выше меня: 2 аршина 14 вершковъ». — «А въ тебѣ?» — «Двѣнадцать». Государь помѣрился съ нимъ. — «Все ты выше меня: во мнѣ $10^1/_2$». (Я былъ въ пяти шагахъ отъ него, но не смѣлъ выйдти, не зная дворскихъ приличій и ладно ли это будетъ). Онъ просмотрѣлъ еще «Ложу 1-го яруса», и уѣхалъ весьма веселый. Говорятъ, что дома много говорилъ онъ обо мнѣ, о пьесѣ; что дѣти его представляютъ ему Гроомдума, Гродекера, играютъ между собою «Дѣдушку», и это веселитъ и забавляетъ его. Сосницкому, Асенковой, Максимову выданы подарки,—они въ восторгѣ! Наконецъ, вчера, графъ Александръ Христофоровичъ позвалъ меня къ себѣ.—«Государь благодаритъ васъ; велѣлъ сказать вамъ, что онъ никогда не сомнѣвался въ необыкновенныхъ дарованіяхъ вашихъ, но не предполагалъ въ васъ такого сценическаго искусства. Онъ проситъ васъ, приказываетъ вамъ писать для театра. Давайте мнѣ все, что вы напишете, государь самъ будетъ все читать»... Такъ, и множество другого лестнаго говорилъ мнѣ графъ А. Х., обнялъ, разцѣловалъ меня и потомъ вручилъ мнѣ богатый брилліантовый перстень (его цѣнятъ около 2,500 рублей). Можешь судить, какое впечатлѣніе произвело все это! Весь Петербургъ заговорилъ: всѣ мнѣ сдѣлались теперь друзьями; многіе причли меня просто въ геніи. «Дѣдушку» назначили играть по три раза въ недѣлю. Онъ сдѣлался народною пьесою. Билетовъ достать ни въ кресла, ни въ ложи, невозможно каждый разъ, и теперь уже все въ «Дѣдушкѣ» сдѣлалось изумительно и превосходно. При появленіи Сосницкаго начинается громъ и крикъ. Явленіе Каратыгина приводитъ въ восторгъ. «Дѣдушку» назначили играть въ Морскомъ и въ Пажескомъ корпусахъ. Враги мои бѣсятся. Булгаринъ (ты видѣлъ его мерзкій отзывъ о небываломъ водевилѣ, который будто бы я пишу: «Винные откупщики», и сравненіе съ пирогами) со злости боленъ. Кукольникъ говоритъ, что онъ и я—создадимъ драму въ Россіи. Вотъ, мой любезный другъ и братъ, описаніе о томъ,

что̀, можетъ быть, въ будущемъ совершенно измѣнитъ судьбу мою, и съ тобой спѣшу я подѣлиться моею сердечною радостію! Не горжусь, приписываю все Провидѣнію, пути коего неисповѣдимы; радуюсь, какъ отецъ семейства, какъ видящій возможность успокоиться, наконецъ, можетъ быть... Прошу тебя сообщить всѣ эти новости моему доброму Льву Михайловичу Цынскому и Н. А. Кашинцеву,—они не оставляли меня въ горѣ и порадуются моей радости. Пожалуйста, съѣзди къ нимъ и разскажи. Еще просьба: напиши, что станетъ объ этомъ говорить добрая мамаша [1]). Увѣрится ли она хоть теперь, что я-таки не вовсе вѣтренникъ? Еще любопытное: «Дѣдушку» отослали уже въ Москву, и Лавровъ даетъ его въ свой бенефисъ. Какъ его примутъ? Что скажетъ Москва? Боюсь, что обстановятъ дурно. Нельзя ли поговорить съ Верстовскимъ и наблюсти за этимъ? Скажи еще Н. А. Кашинцеву, что одинъ изъ тѣхъ, кто болѣе всякаго теперь радуется за меня, есть Леонтій Васильевичъ—человѣкъ, какихъ немного... Какъ мнѣ хотѣлось бы съ тобой говорить о прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ! Но черезъ шесть недѣль я буду съ тобою, тогда, тогда... Всего написать невозможно.

«Я не хотѣлъ было ничего прибавлять къ этому моему письму, но земля требуетъ своего. Надѣюсь, что ты и почтеннѣйшій не бставите меня не выславши мнѣ проклятыхъ 3-хъ тысячъ рублей, какъ я просилъ и умоляю еще, ради Бога, ибо славы у меня много, если угодно, а, между тѣмъ, poeta laureatus будетъ безъ вашей помощи въ большой крайности. Средствъ и случаевъ теперь у меня никакихъ нѣтъ! Жду также отвѣта о паспортахъ, мнѣ и нянѣ; да еще, мой любезный, ты мучишь меня, не высылая «Жизни Грибоѣдова», которой требуютъ у меня каждый

---

[1]) Моя теща, Е. И. фонъ-Мецъ, незабвенная для многихъ. Она любила Николая Алексѣевича и, шутя, иногда обращалась къ нему со словами:—«Ну, что вы, мой вѣтренникъ!»

день. Поспѣши присылкой. Тревожусь нѣсколько, вообще, не получая извѣстій отъ тебя съ самаго отъѣзда почтеннѣйшаго. Впрочемъ, знаю, что ты сдѣлаешь для меня все, что можно, и — лучше меня самого. Ты мой ангелъ-хранитель, былъ и будешь! Новостей никакихъ. О смерти Кронеберга ты, вѣрно, уже слышалъ. Жаль умнаго человѣка, хотя у него и былъ красный носъ. Зима, которую привезъ къ намъ почтеннѣйшій, растаяла, и погода стоитъ ужасная. Я довольно здоровъ, но дѣла — бездна! Бью напропалую, разсчитываю такъ, что отдохну съ тобой, и сижу день и ночь. Какъ ужъ что̀ пишется, не знаю; рука ходитъ, шевелится по бумагѣ, но чисто ужъ механически. Мой поклонъ твоимъ»...

Я замѣтилъ раньше, что братъ мой былъ способенъ увлекаться мечтою, — прибавлю: и видѣть добро и благо тамъ, гдѣ, собственно, не было ихъ. Это письмо искреннее, писанное къ лучшему другу, которому повѣрялъ онъ свои сокровенныя помышленія, доказываетъ мои слова лучше всего. Конечно, въ его жизни могло быть важнымъ событіемъ благоволеніе государя, прямое, свободно имъ выраженное, послѣ тѣхъ гоненій, какимъ подвергся братъ мой за свою литературную дѣятельность. Императоръ Николай былъ такъ благороденъ, что нимало не задумывался изъявить блистательную признательность дарованіямъ того, кто еще такъ недавно подвергся его гнѣву. Братъ мой не могъ ни порадоваться этому, ни подумать, что это обѣщаетъ ему успокоеніе въ будущемъ, ибо онъ никогда не думалъ о чинахъ и наградахъ. Но какъ не собралъ онъ и столько опытности въ дѣлахъ свѣта, что могъ льститься какимъ нибудь улучшеніемъ въ своемъ положеніи отъ того событія, которое онъ описывалъ мнѣ? Развѣ онъ не зналъ себя и своего положенія? Развѣ онъ способенъ былъ выпросить себѣ что нибудь у царя, какъ многіе другіе? Развѣ былъ у него какой нибудь ходатай у подножія престола? Да еслибы и былъ, то братъ мой умолялъ бы его не выпра-

шивать ничего ему, какъ бѣдному писателю, что̀ и случилось впослѣдствіи, во время сношеній его съ княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ. На что̀ же онъ надѣялся? Что въ самомъ дѣлѣ дирекція станетъ щедро платить ему за его театральныя пьесы? Но покуда не было о томъ особеннаго повелѣнія, дирекція продолжала пользоваться доходами отъ его пьесъ, которыя онъ самъ безразсчетно дарилъ на бенефисы актерамъ и актрисамъ! Не ожидалъ ли онъ, что благоволеніе царя помиритъ съ нимъ Уварова, и тотъ дастъ ему столько же свободы, какъ другимъ современнымъ писателямъ? Мы увидимъ, какъ этотъ великій мужъ разыгралъ свою роль!

Письмо моего брата всего лучше показываетъ рѣдкое въ мірѣ, высокое простодушіе, бывающее принадлежностью только тѣхъ людей, которые чистотою души подобны дѣтямъ. Такъ, благородный и честный Донъ-Кихотъ видѣлъ правду и истину тамъ, гдѣ самый пошлый разсудокъ Санчо-Пансы показывалъ ему дѣйствительность въ настоящемъ ея значеніи. Н. А. Полевой, человѣкъ съ высокимъ умомъ, особенно отличавшійся удивительною проницательностью, былъ истинное дитя во всѣхъ случайностяхъ обыкновенной жизни, во всѣхъ отношеніяхъ и столкновеніяхъ между людьми, отчего онъ и страдалъ такъ много, отчего и не перенесъ жизни, окончившейся рановременно. Мы видѣли много примѣровъ простодушія въ разныхъ, уже описанныхъ мною, событіяхъ его жизни; неожиданный имъ самимъ успѣхъ «Дѣдушки русскаго флота» опять показалъ дѣтское его простодушіе. Царь былъ доволенъ, изъявилъ ему свое благоволеніе самымъ лестнымъ образомъ,— это, и только это, и должно было порадовать его, не обольщая никакими надеждами. Любезности и дружескія завѣренія, какія стали оказывать ему при томъ всѣ встрѣчные, начиная отъ вельможъ до литераторовъ, должны были бы только предостеречь его, показавъ еще разъ, каковы люди вообще!.. Чтобы воспользоваться счастливымъ случаемъ,

который нечаянно встрѣтился ему, надобно было дѣйствовать, какъ онъ не былъ способенъ дѣйствовать, и даже не подумалъ о томъ, полагая, что все кончено, все старое забыто, и остается только продолжать честно работать... Горько разочаровался онъ въ этомъ, и вскорѣ!.. Но еще нѣсколько дней и даже недѣль все представлялось ему въ розовомъ цвѣтѣ, и, кажется, даже въ тѣхъ, кто оказывалъ ему самую обыкновенную, казенную вѣжливость, видѣлъ онъ людей съ ангельскимъ сердцемъ. Въ слѣдующихъ письмахъ мы увидимъ много любопытныхъ подробностей; увидимъ, какъ постепенно спадала и повязка съ глазъ его.

«С.-Петербургъ, декабря 7-го 1838 г.

«Знаю, мой любезный Ксенофонтъ, что я отягощаю тебя высылкою мнѣ денегъ, какъ я просилъ, но крайняя неволя велѣла воспользоваться предложеннымъ отъ тебя средствомъ, и я взялъ у Фарикова на переводъ 3,000 рублей, хотя трепещу, не затруднитъ ли это тебя! Истинно, считая эти проклятыя деньги, я дрожалъ при сей мысли, и мнѣ чуть не сдѣлалось дурно, такъ что Фариковъ спросилъ, что со мной сдѣлалось, и я принужденъ былъ сослаться на головную боль... Помоги тебѣ Богъ! Я теперь средствъ другихъ не имѣлъ... Благодарю тебя за письмо, отъ 29-го ноября. Думаю, что вчера вы вспомнили именинника, который очень, очень грустно вспоминалъ, что уже другой годъ проводитъ сей день безъ тебя. Но, въ январѣ—я въ Москвѣ, непремѣнно, если не успѣю всю работу сладить такъ, чтобы и новый годъ встрѣтить вмѣстѣ. Впрочемъ, не ручаюсь, ибо работы бездна, не смотря на то, что я встаю теперь часа въ 4 утра, сижу до 3-го часа пополудни и еще пишу вечеромъ. Совершенно писальная машина, а не человѣкъ! Но это въ сторону, увидимъ. Біографію Грибоѣдова тотчасъ отдалъ цензору; но, какъ бы ни спѣшили мы, къ половинѣ декабря кончить невозможно, а къ святкамъ—ру-

чаюсь за выходъ. Будемъ стараться, елико возможно. О себѣ скажу, что, кромѣ жестокихъ спазмъ, во все это время, я здоровъ, да и съ ними надѣюсь скоро управиться, а главное, лѣченіе ихъ будетъ мнѣ дорого. Кровь у меня густѣетъ и стынетъ отъ неподвижности. Вчера провелъ я довольно весело, и смѣшно было мнѣ, что у меня было множество посѣтителей... О, люди! если они завтра же узнаютъ, что я издохъ, то для нихъ будетъ такое извѣстіе только предметомъ для разговора... Между тѣмъ, «Дѣдушка» продолжаетъ быть пока предметомъ для всеобщаго любопытства. Онъ сдѣлался модною пьесою, и его переводятъ на нѣмецкій и будутъ давать здѣсь на нѣмецкомъ театрѣ. Экземпляръ «Дѣдушки» — необходимая принадлежность на столикѣ каждаго салона и, не смотря на безпрестанныя представленія, до сихъ поръ трудно достать билеты въ театръ. Я готовлю еще сюрпризъ въ такомъ же родѣ. Написалъ, мимоходомъ, маленькую пьеску: «Иголкинъ». Ты помнишь этотъ трогательный анекдотъ? Теперь ставятъ его на театръ, пишутъ новую декорацію, ждутъ его всѣ нетерпѣливо, и надѣюсь, что «Иголкинъ» встрѣтитъ пріемъ добрый! Уже напередъ заказываютъ ложи и кресла. Давать его будутъ 15-го декабря, кажется. Любопытно еще, что государь посѣтилъ представленіе «Гамлета», и сказалъ, что «дочь пріѣдетъ посмотрѣть, когда проводитъ жениха; что имъ наговорили о «Гамлетѣ» чудеса». Теперь въ Петербургѣ безпрестанные праздники, по случаю обрученія: балы, пиры, иллюминаціи, представленія. Зрѣлище Большого театра, когда государь представлялъ публикѣ своего нареченнаго зятя, было великолѣпно, изумительно. Ряда четыре креселъ занимали люди со звѣздами; бельэтажъ горѣлъ въ брилліантахъ. Восторгъ доходилъ до изступленія.—Скажу еще, мой милый, что послѣднія событія со мной помирили со мною Уварова. Онъ обласкалъ меня, объявилъ другомъ и любимымъ писателемъ своимъ. Радуюсь неожиданной милости, и авось либо прекратится, наконецъ, мое терзательное, не-

выносимое состояніе... А, между тѣмъ,—прости за нескладное и короткое письмо,—пока что, а надобно работать, приниматься за толчею литературную... Я едва успѣлъ пробѣжать твою біографію Грибоѣдова: очень умно и хорошо».

«Декабря 27-го 1838 г.

«Виноватъ передъ тобою, мой добрый братъ и другъ, что запоздалъ нѣсколько дней отвѣтомъ на твое письмо, тѣмъ болѣе, что мнѣ надлежало отвѣчать на нѣкоторые запросы твои о дѣлахъ, и подѣлиться съ тобой нѣсколькими пріятными впечатлѣніями, которыми полелѣяла меня судьба въ послѣднее время. Начнемъ сперва о пріятномъ—горечи на днѣ все еще останется довольно... Первое, мой любезнѣйшій, былъ необыкновенный успѣхъ «Иголкина», написаннаго въ однѣ сутки. Прямо доставленъ онъ былъ къ графу А. Хр., выученъ и поставленъ въ недѣлю. Государь обѣщалъ пріѣхать самъ, и, въ самомъ дѣлѣ, въ первое представленіе явился съ великою княжною Маріею Николаевною. Поскорѣй доиграли вздорную пьесу «Луиза Линдеронъ», начался «Иголкинъ», и государь принялъ живѣйшее участіе, хлопалъ, смѣялся, и велѣлъ изъявить мнѣ потомъ полное свое удовольствіе. Меня вызвали, и довольно шумно, въ его присутствіи. Но, вообще, я что-то недоволенъ былъ всѣмъ, при необыкновенныхъ хлопотахъ перваго представленія. Мы же взяли въ театръ дѣтей, съ которыми была страшная возня... Каратыгинъ былъ также не развязанъ, ибо пріѣздъ государя въ первое представленіе въ театрѣ—новость неслыханная. Блестящую публику увлекла при томъ Хитана, и зрители были, большею частью, бенефисные. Мнѣ оставалось одно утѣшеніе, что «Иголкинъ»—понравился царю! Надобно тебѣ сказать, что этотъ новый опытъ національной драмы не то что «Ботикъ»; въ немъ посѣяны (по крайней мѣрѣ, мнѣ такъ кажется) новые донынѣ элементы русской драмы. Я боялся

уже, что не поймутъ этого очерка естественнаго, простого, фанатическаго, грубаго русскаго, и что самъ Каратыгинъ не войдетъ въ роль его. Но я во всемъ ошибся; второе представленіе происходило съ неслыханнымъ блескомъ. Не говорю о блестящей публикѣ, о томъ, что билеты наканунѣ уже исчезли; но если публика вполнѣ поняла, оцѣнила все, то еще довольнѣе былъ я Каратыгинымъ. Какъ онъ былъ превосходенъ! Восторгъ былъ ужасный; три раза вызвали меня, и «Иголкина» давали послѣ того по три раза, кажется, въ недѣлю. Народу было каждый разъ тьма, и меня вызывали еще въ третье представленіе, но я тогда не былъ въ театрѣ... «Иголкинъ» и «Дѣдушка» сдѣлались теперь любимыми, національными пьесами въ Петербургѣ. Но вотъ еще: въ Морскомъ корпусѣ играли «Дѣдушку» гардемарины, и для незаписныхъ актеровъ очень мило. Лефортъ неожиданно прочиталъ на сценѣ стихи почтенному старцу Крузенштерну (нарочно мною сочиненные), и растрогалъ старика до слезъ. При кликахъ: «автора!» онъ обнялъ и расцѣловалъ меня. Все это услышалъ генералъ-адмиралъ и выпросился смотрѣть «Дѣдушку». Неожиданно Лефортъ привѣтилъ и его стихами, которые такъ обрадовали милаго малютку, что онъ хотѣлъ видѣть меня и привѣтствовать, а стихи увезъ къ Папенькѣ. Крузенштернъ поѣхалъ во дворецъ на другой день, и Папенька такъ обласкалъ его, такъ благодарилъ за привѣтъ, что старикъ прямо проѣхалъ ко мнѣ, встащился на лѣстницу, и не зналъ какъ благодарить меня... Однимъ изъ пріятнѣйшихъ наслажденій и наградою для меня было потомъ знакомство съ графомъ А. Ѳ. Орловымъ, въ которомъ нашелъ я что-то увлекательное, доброе, милое. Онъ обласкалъ меня, просилъ меня относиться во всемъ къ нему, и сказалъ, что двери его кабинета всегда для меня отперты. Разныхъ новыхъ и возобновленныхъ знакомствъ я тебѣ не описываю, а равно и того, что и другое все этимъ для меня укрѣпляется. Словомъ политически, если можно такъ вы-

разиться, за мое положеніе могу я только благодарить Бога и ожидать всего хорошаго, въ будущемъ; но настоящее-то, мой любезнѣйшій... охъ, тяжело!.. Меня все теперь тревожитъ, безпокоитъ, томитъ, и вотъ почему я долженъ, какъ наивозможно, ѣхать въ Москву. Кромѣ устройства дѣлъ, кромѣ условія въ работахъ, окончанія старыхъ дрязговъ, мнѣ надобно опереться на твой желѣзный умъ, согрѣться на твоемъ добромъ, горячемъ сердцѣ... и потому моя поѣздка не мечта. Располагаю такъ, чтобы выдать 1-ю книжку «Сынъ Отеч.» 15-го января, и тотчасъ скакать въ Москву, чтобы праздновать съ тобой именины твои, а къ 1-му февраля воротиться сюда. Для этого работаю неусыпно, и уже ничего не щажу... Тогда и съ тобой будетъ для меня отдыхъ...

«Одна изъ досадъ въ настоящемъ для меня то, что я не исполнилъ еще ни одной изъ твоихъ комиссій. Но не причти этого къ моей недѣятельности и недостатку усердія. Только 5-го декабря могъ я отдать «Жизнь Грибоѣдова» цензору, и она пошла по мытарствамъ, такъ что только 17-го могъ я получить ее. Но въ это время Военная типографія уже не взялась печатать, заваленная казенною работою. Только къ новому году всѣ ихъ она кончитъ, и тогда обѣщаютъ въ недѣлю выставить «Горе отъ ума» вполнѣ. Тутъ, милый, впрочемъ, самъ ты немножко виноватъ, что поздно прислалъ. Абрантесъ [1]) поступилъ къ Данилевскому 10-го ноября, и онъ (тогда не бывши еще моимъ другомъ) передалъ ее читать генералу Философову, который и вялилъ, и вялитъ ее... Что касается до Мармона, то мерзавцы Монковскіе опять тебя обманули: Данилевскій книги и отрывка изъ нея никакого не получалъ до сихъ поръ. Можетъ быть, это къ лучшему? Такъ какъ теперь мы съ нимъ сдѣла-

[1]) Записки герцогини Абрантесъ, переведенныя мною. Часть ихъ подверглась военной цензурѣ, бывшей подъ вѣдѣніемъ ген. Данилевскаго. Далѣе упоминается о «Путешествіи маршала», издававшемся мною. К. П.

лись страшные друзья, то онъ совѣтуетъ взять изъ московской цензуры именно то, чего она не пропускаетъ, переслать это ко мнѣ, а я частнымъ образомъ передамъ ему, и онъ на другой же день подпишетъ. И такъ поспѣши исполнить это, а я тотчасъ тебѣ все исправлю и вышлю обратно...

«Если спросишь о житьѣ-бытьѣ, скажу, во-первыхъ, что могъ бы быть здоровъ, да самъ виноватъ,.. Но это вздоръ...» (Здѣсь слѣдуетъ нѣсколько семейныхъ подробностей, чуждыхъ для публики и потому исключаемыхъ).

«Изъ литературныхъ подробностей важнѣйшая та, что съ будущаго года Смирдинъ отказался отъ «Пчелы» и радъ былъ откупиться, только бы Гречъ и Булгаринъ избавили его отъ нея.. И такъ «Пчела» опять будетъ самобытна! Богъ съ ней! Тебѣ любопытно будетъ узнать, что я помирился съ Булгаринымъ и съ Плетневымъ и его товарищами. Они сами простерли руки ко мнѣ, не знаю отчего, признавая во мнѣ какое-то необыкновенное дарованіе... И не знаю, какое слово вырвется у тебя при слухѣ объ этомъ примиреніи!

«Я познакомился съ Вронченко; но, Боже мой, какъ не понравился мнѣ этотъ человѣкъ!.. Я иззябъ, проговоривши съ нимъ часа два.

«Кстати: Кукольникъ обнимаетъ меня, а, между тѣмъ, бѣсится, ругаетъ, и—ты видѣлъ въ «Пчелѣ»—объявляетъ меня даже воромъ! Булгаринъ тутъ подлъ, гадокъ и, слѣдственно, превосходенъ. Мнѣ нельзя оставить такой мерзости безъ отвѣта, и надѣюсь, что отвѣтъ мой, дружескій, будетъ выразителенъ. Впрочемъ, общее презрѣніе было здѣсь отвѣтомъ на такую подлую гадость. Ахъ! какъ о многомъ, многомъ, надобно мнѣ съ тобой говорить! Сколько идей передать, о сколькомъ спросить! Нельзя не ѣхать, и я ѣду къ тебѣ... Наполнилъ это письмо безпорядочной всячиною, оставляя все до личнаго свиданія, и вспоминаю только одно теперь: мое письмо придетъ къ тебѣ къ самому но-

вому году. Вотъ уже второй разъ послѣ многихъ лѣтъ мы встрѣтимъ новый годъ розно. Другъ и братъ! въ полночь 31-го декабря 1838 года я буду вспоминать о тебѣ, какъ привыкъ вспоминать о тебѣ при каждой грусти и радости! И ты меня вспомнишь—знаю и увѣренъ! Прибавь же къ памяти обо мнѣ слово любви и прощенія, если я виноватъ въ чемъ передъ тобою! Ты моя совѣсть; но вѣрь одному, что если я виноватъ, то не сердцемъ и не душею. Ты это знаешь... но довольно».

(Здѣсь еще нѣсколько словъ—привѣтствій моимъ близкимъ, и въ заключеніе слова, гдѣ видно готовое на добро сердце).

«Да! о вопросѣ Загоскина касательно «Дѣдушки», ничего не умѣю сказать и предоставляю все въ его распоряженіе. Впрочемъ, если онъ можетъ дать хорошій бенефисъ Лаврову, то я лучше готовъ пожертвовать хорошею постановкою его на сценѣ. А «Иголкинъ» пусть непремѣнно идетъ въ бенефисъ Синецкой: эту бѣдную женщину мнѣ очень жаль. Она предобрая».

Братъ мой пріѣхалъ въ Москву въ концѣ января 1839 года, и жилъ у меня—какъ и во всѣ пріѣзды свои въ Москву—среди любившихъ его родныхъ. Пріѣздъ его бывалъ радостью для насъ, близкихъ ему, да и всѣ знакомые почитали какъ бы долгомъ явиться къ нему и выразить дружескія чувства. Каждое утро принималъ онъ многихъ гостей, и совѣстно было бы отказывать имъ, хотя они отнимали обыкновенно цѣлое утро. Это были тѣ люди, которые, каждый по своему, цѣнили въ Николаѣ Алексѣевичѣ необыкновеннаго человѣка. Являлись нѣкоторые и по дѣламъ; въ числѣ ихъ были извѣстные процентщики, ростовщики, но и тѣ изъявляли ему глубокое уваженіе, оказывали всѣ возможныя съ ихъ стороны льготы, и не забывали, приписывая проценты къ процентамъ, увѣрять, что дѣлаютъ это изъ особеннаго уваженія къ должнику. И я вѣрю, что въ этомъ была своего рода искренность! Они

инстинктивно понимали, что имѣютъ дѣло съ человѣкомъ, превышавшимъ ихъ во всемъ, разумѣется, кромѣ обладанія деньгами. Только отъ этого не было легче Николаю Алексѣевичу. Разсуждая со мною наединѣ, онъ сознавался, что развѣ какой нибудь необыкновенный случай, почти чудо, можетъ спасти его, и возлагалъ всѣ надежды на Бога. «Покуда Богъ не лишитъ меня здоровья и силъ, — говорилъ онъ, — я еще надѣюсь трудомъ пособить всему». Тутъ начиналъ онъ разсчитывать, что вотъ то и то можетъ вознаградиться такимъ образомъ, и что постепенно, при терпѣніи, долги его могутъ быть заплачены. Я указывалъ ему на неудачи, которыя уже испыталъ онъ въ Петербургѣ, на препятствія отъ недоброжелателей и враговъ, и болѣе всего требовалъ, чтобы онъ предписалъ самому себѣ строгія правила, которыя одни, по моему мнѣнію, могли повести его къ благопріятному исходу его дѣлъ. Въ числѣ этихъ правилъ были: 1-е, не дарить своихъ театральныхъ пьесъ бенефиціантамъ; 2-е, не продавать и особенно не запродавать своихъ сочиненій за безцѣнокъ; 3-е, не работать даромъ на мнимыхъ друзей. Изъ трехъ означенныхъ правилъ, перваго онъ не соблюдалъ безразсудно и явно во вредъ себѣ, поддаваясь льстивымъ словамъ Каратыгина, Асенковой и еще нѣкоторыхъ артистовъ и артистокъ. Не соблюдая второго, онъ подвергалъ себя тяжкимъ трудамъ, не имѣя времени ни обдумывать, ни отдѣлывать своихъ сочиненій, не помогая себѣ ничтожными суммами, и развлекаясь въ исполненіи уже принятыхъ на себя обязанностей. Соблюденіе третьяго правила избавило бы его отъ потери дорогого времени, которое тратилъ онъ, безъ всякаго вознагражденія, на пересмотръ, выправку и изданіе сочиненій такихъ эгоистовъ, какъ Бѣгичевъ. Въ описываемое мною время, имъ уже успѣлъ завладѣть Михайловскій-Данилевскій, очень умный, любопытный во многихъ отношеніяхъ человѣкъ, успѣвшій заставить Николая Алексѣевича исправлять языкъ и слогъ своихъ сочиненій, за ко-

торыя получалъ онъ чины, звѣзды и деньги, а ни разу не вздумалъ заплатить моему брату за искренній его трудъ. ...Братъ не могъ не обѣщать, что по 1-му и 3-му пунктамъ онъ будетъ исполнять мой совѣтъ, а касательно продажи своихъ сочиненій говорилъ, что бываетъ въ необходимости бросать ихъ за безцѣнокъ и даже запродавать себя, когда видитъ ножъ у горла. Это возраженіе было сильно, и я обѣщалъ ему подумать, какъ бы отвратить такое горе. Кажется, мнѣ и удалось потомъ придумать средство; къ сожалѣнію, нельзя было примѣнить его къ дѣлу.

Много разсуждали мы о его противникахъ и врагахъ, которые будто изъ земли выростали на каждомъ шагу его, какъ можно видѣть это изъ писемъ его ко мнѣ. Усилія ихъ мѣшали всѣмъ успѣхамъ. Каждое его предпріятіе, сочиненіе, мысль — искажались ими и были представляемы въ превратномъ, иногда и гнусномъ видѣ. Булгаринъ, и еще нѣкоторые, подавали на него доносы; другіе клеветали въ обществѣ, третьи писали въ журналахъ и газетахъ все, что только можно было напечатать оскорбительнаго и вреднаго для писателя и человѣка. Его, жертву доносовъ явныхъ и тайныхъ, старались представить не только продажнымъ писателемъ, но и тайнымъ агентомъ невидимой силы! Клевета, чѣмъ нелѣпѣе и гнуснѣе, тѣмъ легче распространяется, и этимъ старались пользоваться враги Николая Алексѣевича, представляя его вторымъ Булгаринымъ. Ярче другихъ дѣйствовалъ въ такомъ направленіи—Бѣлинскій, тотъ самый Бѣлинскій, который не находилъ словъ для выраженія своего уваженія къ моему брату, недавно еще признавалъ его геніемъ, и плакалъ вмѣстѣ со мною, провожая его изъ Москвы. Страсть мщенія до того овладѣла имъ, что онъ сдѣлался ожесточеннымъ врагомъ его, и вредилъ ему, гдѣ и какъ только могъ. Еще въ 1838 году, въ Москвѣ, сдѣлавшись редакторомъ несчастнаго «Московскаго Наблюдателя», онъ уже сталъ въ своемъ журналѣ поругивать моего брата и находилъ безсмысленнымъ пере-

водъ Гамлета, который незадолго приводилъ его въ восторгъ. Переселившись въ Петербургъ, для сотрудничества въ «Отечественныхъ Записках», Бѣлинскій увидѣлъ передъ собою обширное поприще для всякихъ ругательствъ и клеветъ противъ Николая Алексѣевича, и почти безпрерывно нападалъ на него со всѣхъ сторонъ, до самой его смерти. Одинъ изъ общихъ знакомыхъ замѣтилъ ему разъ, для чего онъ усиливается унижать и оскорблять человѣка, котораго самъ такъ хвалилъ нѣкогда. Съ пѣною у рта Бѣлинскій отвѣчалъ:—«Я порицаю его какъ предателя, какъ перебѣжчика, доносчика—при этомъ исчезаютъ всѣ достоинства писателя!» — Но, любезный, обвиненіе такъ важно, что ты долженъ имѣть для него доказательства. Каково, если ты самъ клевещешь?—«Обвиненіе доказывается всѣмъ, что онъ пишетъ».—Но вѣдь въ Москвѣ ты былъ въ восторгѣ отъ него; что же такое гнусное написалъ онъ потомъ? Отчего ты неистовствуешь и не боишься даже клеветъ? — Бѣлинскій сдѣлалъ видъ, что не желаетъ продолжать разговора, который тѣмъ и кончился. И такъ всегда оканчиваются обвиненія, не основанныя ни на чемъ, кромѣ злобы. Впослѣдствіи, партія, къ которой принадлежали Бѣлинскій, Герценъ и подобные имъ (герои не движенія, а ломки, разрушенія всего, созданнаго историческими событіями) порицали Николая Алексѣевича за его патріотическія пьесы, какъ называли они—«Дѣдушку русскаго флота», «Иголкина», «Парашу Сибирячку» и подобныя имъ драматическія его сочиненія, основанныя на истинныхъ событіяхъ русскаго міра, и видѣли въ нихъ, или хотѣли, чтобы видѣли другіе, какую-то хвалу настоящему; но самыя пьесы и письма моего брата показываютъ, что онъ просто писалъ по одушевленію, какое обладало имъ непритворно, и сначала даже не думалъ о громкомъ успѣхѣ, а хотѣлъ создать что нибудь лучше того, что загромождало русскую сцену. Не такой онъ былъ человѣкъ, который придумалъ бы и выдержалъ бы отдаленную ин-

тригу, на лести основанную! При его поэтической пылкости, онъ могъ иногда увлечься въ хвалахъ какому нибудь лицу: вѣдь видѣли же мы, что нѣсколько времени онъ видѣлъ добряка въ Булгаринѣ!.. Но льстилъ ли онъ ему, писавши это ко мнѣ?.. Нѣтъ! ручаюсь, что для корыстныхъ видовъ онъ не въ силахъ былъ сказать никакой лести, никакому царю земному. Онъ писалъ какъ что̀ представлялось ему, писалъ какъ поэтъ, для выраженія себя, безъ всякихъ отдаленныхъ цѣлей. Я знаю, что иныя пьесы написаны имъ для одобрительной улыбки любимой женщины! Даже хорошенькая Асенкова могла заставить его написать пьесу для ея бенефиса, а за всѣ сокровища размѣннаго фонда не согласился бы онъ сказать противъ совѣсти хвалу какому нибудь сильному міра.

Но не одна эта клевета вышла изъ злого ума Бѣлинскаго и друзей его. Бѣлинскій безпрестанно повторялъ, печатно, что Н. А. Полевой одряхлѣлъ, впалъ въ старчество и умеръ заживо! А онъ, между тѣмъ, пожиналъ лавры на сценѣ, двигалъ тамъ всею публикою, и писалъ, вообще, съ такою же силою, какъ въ лучшіе годы своей жизни, и при томъ еще съ бо̀льшею опытностью, съ бо̀льшею глубиною мыслей. Никогда не былъ онъ ни политическимъ писателемъ, ни публицистомъ, и слѣдовательно ложно обвиненіе, будто онъ въ этомъ отношеніи перемѣнилъ тонъ, испугавшись окружавшихъ его обстоятельствъ. Онъ шелъ впереди своихъ современниковъ какъ дѣятельный литераторъ, и остался таковымъ до послѣдней возможности: въ послѣдніе годы жизни, Уваровъ, разрушенное здоровье и стѣсненія всякаго рода, парализировали его дѣятельность; но и тутъ онъ успѣлъ написать IV томъ краткой Русской Исторіи, которому отдали справедливость сами враги его, исторію Наполеона, замѣчательную многими взглядами и изложеніемъ, и издавалъ журналы («Сынъ Отечества», «Русскій Вѣстникъ»), конечно, лучшіе въ свое время, что̀ ни говорили бы враги его. Еще замѣчаніе очень важное: они

разглашали всѣми способами, что онъ продалъ себя, и что за это они мстятъ ему, не узнавая въ немъ мужественнаго, неподкупнаго издателя «Московскаго Телеграфа». Но развѣ меньше было у него враговъ и порицателей во время изданія «Московскаго Телеграфа»? Не тогда ли началась не умолкавшая война противъ него, и почти всѣ журналисты воевали съ нимъ, какъ будто безъ этого имъ нечего было дѣлать и нельзя было существовать!.. «Московскій Вѣстникъ», «Галатея», «Атеней,» «Вѣстникъ Европы» такъ же старались вредить издателю «Московскаго Телеграфа», какъ позже «Телескопъ» и «Литературная Газета», развѣ съ тою разницею, что послѣдніе печатали на своихъ листахъ, будто Полевой распространяетъ революціонныя идеи; а, наконецъ, Бѣлинскій поносилъ его и называлъ умершимъ за то, что онъ будто бы перемѣнилъ свой образъ мыслей!.. Ложь, ложь и во всемъ этомъ ложь!.. Главною причиною браней, доносовъ и лжей, которые столько лѣтъ печатали противъ Николая Алексѣевича — были страсти низкія и ничтожныя: зависть, корыстолюбіе, оскорбленное самолюбіе.

Какъ бы то ни было, а брань и клеветы, безпрерывно повторяемыя, всегда производятъ свое дѣйствіе. Слыша ихъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, самый безпристрастный и хладнокровный человѣкъ придетъ, по крайней мѣрѣ, въ недоумѣніе. Еще больше дѣйствуютъ онѣ на новое, молодое поколѣніе. Юноши 1839 года не были свидѣтелями дѣятельности Николая Алексѣевича въ 1825 и слѣдующихъ годахъ; имъ она была мало знакома, а ихъ современники представляли ее въ превратномъ видѣ, отчего и понятіе о ней составилось превратное. Оттого каждое сочиненіе моего брата, встрѣчаемое непріязненно журналами, каждое литературное предпріятіе его, уже напередъ представленное въ ложномъ свѣтѣ, начинало испытывать холодность публики, и новыя поколѣнія были предубѣждены противъ недавняго любимца русскихъ читателей. Жаркими поклонниками его оставались посѣтители столичныхъ театровъ, гдѣ живыя

впечатлѣнія брали верхъ надъ всѣми происками его враговъ, да люди не предубѣжденные, большею частію жители провинцій, чуждые страстей и сплетней журнальнаго міра. Но онъ уже не могъ разсчитывать на такой успѣхъ, какимъ сопровождались всѣ его литературныя предпріятія лѣтъ за десять передъ тѣмъ. Вотъ чего достигли враги его!

Кромѣ всѣхъ нравственныхъ отношеній, это вредило ему и въ отношеніи матеріальномъ. Журнальное поприще было почти прегражденo ему Уваровымъ и кознями журналистовъ, отчего неудавшееся предпріятіе съ Смирдинымъ только увеличило его долги. Разсчитывать на успѣхъ его сочиненій было слишкомъ гадательно. Я не отчаявался однако же въ томъ, что братъ, обладая огромными литературными способностями, могъ бы извлечь еще многое изъ своихъ трудовъ, если бы сталъ слѣдовать моимъ совѣтамъ. Это было предметомъ уединенныхъ разговоровъ нашихъ, и онъ вновь далъ мнѣ слово, что не станетъ кидать бисера... Я такъ любилъ его, такъ скорбѣлъ, видя его страданія, что готовъ былъ, съ своей стороны, на всякія жертвы для него.

Мы отдыхали и оживали въ искреннемъ семейномъ кружкѣ, гдѣ всегда бывало весело, гдѣ забывались всѣ огорченія, угрожавшія намъ извнѣ. По вечерамъ, когда Николай Алексѣевичъ не уѣзжалъ къ кому нибудь изъ знакомыхъ, неотступно приглашавшихъ его къ себѣ, мы проводили время чрезвычайно пріятно. Любезность, остроуміе, веселость моего брата не измѣнялись ни отъ какихъ обстоятельствъ, и, способный увлекаться настоящею минутою, онъ умѣлъ одушевить всѣхъ: шутилъ и забавлялся съ дѣтьми, оживлялъ общіе разговоры своимъ умомъ и разсказами, читалъ, импровизировалъ стихи, и почти каждый вечеръ у насъ продолжался далеко за-полночь. Я и семейство мое, просто, по искреннему чувству, старались съ своей стороны сдѣлать пріятнымъ для него пребываніе у насъ; чистое чувство дружбы украшало все.

Прощаніе наше было грустно, послѣ двухъ недѣль, проведенныхъ имъ въ Москвѣ. Какія впечатлѣнія увезъ онъ отъ насъ, можно видѣть изъ перваго письма, писаннаго имъ по возвращеніи въ Петербургъ.

«Спб., февраля 14-го 1839 года.

«Слава Богу, мой любезнѣйшій другъ и братъ Ксенофонтъ, третьяго дня возвратился я въ Петербургъ благополучно. Прости моему суевѣрію, что вчера не увѣдомилъ тебя о пріѣздѣ своемъ. Виноватъ! Ханыковъ лучше захотѣлъ быть матросомъ, нежели драться съ англичанами въ понедѣльникъ!.. Какъ же мнѣ было послать къ тебѣ первое письмо въ понедѣльникъ, да еще и 13-го числа? Нѣтъ, нѣтъ! И я ни за что не принимался вчера, а только отдыхалъ, и—признаюсь—меня всего ужасно разломало. Годы, годы, мой любезнѣйшій! И, при томъ, столько различныхъ ощущеній, мое пребываніе въ Москвѣ, и 1,400 верстъ въ дорогѣ, при чемъ, противъ прежняго обыкновенія, я почти не могъ ни спать, ни ѣсть ничего, все это заставило меня, по пріѣздѣ домой, спать какъ убитому и ѣсть какъ Лихонинъ. Впрочемъ, дорога была для меня самая удобная: ухабы сравняли и морозъ такъ угладилъ ихъ, что мы летѣли, а не ѣхали, и совершили путь нашъ ранѣе трехъ сутокъ. При томъ, собралось дилижансовъ съ пять, и такое разнохарактерное общество, что при всемъ грустномъ моемъ расположеніи, я почти безпрестанно смѣялся. Со мной сидѣлъ какой-то вояжёръ англичанинъ, очень умный и любезный. Въ другихъ дилижансахъ сидѣли: туркоѣдъ Пановъ, нѣсколько офицеровъ, professeur, который ѣздилъ въ Москву вырѣзывать силуэты — шутъ отъявленный, и преуморительный; синьора Оттова, которая ѣхала въ Петербургъ давать концерты на скрипкѣ, и отецъ ея, пресмѣшной итальянецъ; нѣсколько нѣмцевъ, французовъ, двѣ бородки, какой-то лѣкарь, Бантышевъ, и проч. и проч. Такъ

мы добрались до Петербурга, гдѣ, слава Богу, все нашелъ я здорово и благополучно.—Желалъ бы я теперь посвятить тебѣ нѣсколько страницъ на описаніе всѣхъ чувствъ моихъ, всего, что испыталъ и перечувствовалъ я въ Москвѣ, въ бесѣдѣ съ тобою, съ твоими милыми Лиллою, Maman и Амаліею, среди твоихъ милыхъ дѣтишекъ; но какъ не могъ я высказывать тебѣ ничего словами, такъ и теперь еще менѣе могу сказать что нибудь на письмѣ. Нѣтъ, милый братъ и другъ: есть нѣчто, чего человѣку не дано пересказать и объяснить—сюда принадлежитъ и все то, чѣмъ наполнилъ ты мнѣ сердце и душу въ немногіе дни пребыванія моего съ тобою!.. Знаешь ли, какъ счастливъ я былъ какимъ-то забвеніемъ жизни, со всѣмъ ея горемъ, со всѣми ея сплетнями и мерзостями! Какъ умѣлъ ты усладить мнѣ дружбою, любовью своею мое прошедшее, настоящее и расцвѣтить, раззолотить будущее? Теперь опять запасся я силами надолго, опять готовъ на борьбу, которая убивала меня... Братъ и другъ! Благодарю тебя, благодарю за все! Благодарю и добрую, безцѣнную жену твою...» (Здѣсь пропускаю строки, въ которыхъ онъ, можетъ быть, увлекаясь дружбою ко мнѣ, отзывался слишкомъ благосклонно о моемъ сердцѣ и моихъ качествахъ)...

«Прости, мой милый Ксенофонтъ, что я невольно заплакалъ теперь, вспомнивъ всю жизнь мою, все, что было, что есть,—вспомнивъ, что судьба велитъ намъ жить розно, что у меня нѣтъ ни здѣсь, нигдѣ никого, кто замѣнилъ бы мнѣ тебя, и грустно думать, что такое одиночество будетъ удѣломъ моимъ до могилы, и что самая могила моя будетъ далеко отъ гроба отца и матери, такъ же какъ и отъ твоего...

«Виноватъ! сгрустнулось невольно; но тебѣ ли не открыть, тебѣ ли не сказать всего, что у меня на сердцѣ? Ты у меня одинъ въ мірѣ, ты одинъ понимаешь меня... Обратимся къ настоящему. Спазмы мои почти пропали на возвратномъ пути, и я вѣрю теперь магнетизму. Двѣ-три

миндаленки останавливали ихъ у меня. Видно эти миндаленки были чѣмъ нибудь наколдованы... Остатокъ ихъ сберегаю я, какъ драгоцѣнное лѣкарство, за которое поблагодари моего милаго, добраго лѣкаря, снабдившаго меня ими въ дорогу. Вообще, разсказы мои о твоихъ дѣтяхъ составили здѣсь предметъ большихъ разговоровъ... (пропускаются разныя домашнія подробности)... О дѣлахъ послѣ, кромѣ двухъ: первое, что статья о Санковской уже напечатана, и Гречъ хочетъ къ тебѣ писать и просить тебя принять участіе въ «Пчелѣ» доставленіемъ извѣстій о Москвѣ, изъявляя полную дружбу. Второе дѣло—совершенная нечаянность для меня!.. Меня нетерпѣливо ждали здѣсь съ предложеніемъ—принять редакцію «Энциклопедическаго Лексикона». Сенковскій такъ всѣмъ надоѣлъ и показалъ себя такимъ мерзавцемъ по дѣламъ Плюшара, что его хотятъ прогнать, и всѣ прежніе сотрудники готовы приняться за работу, если только я соглашусь быть главнымъ редакторомъ. Предложеніе лестно, обѣщаетъ многое: мнѣ хотятъ дать 30,000 рублей въ годъ; но я ничего не могъ сказать рѣшительно. Конечно, это поставило бы меня на первое мѣсто между всѣми, а плата дала бы средства спасти себя скоро отъ убійственнаго стѣсненія обстоятельствъ; но, мой любезнѣйшій!.. гдѣ силы и время? Конечно, можно согласиться на каторгу двухъ, трехъ лѣтъ, если тѣмъ можно купить спокойную будущность; однакожъ, въ суткахъ только 24 часа, и у человѣка только двѣ руки, а положиться рѣшительно не на кого, когда, ты знаешь, я не могу работать не добросовѣстно. Если бы ты былъ здѣсь... Словомъ, какъ Пиблія [1]), думаю, батюшко, думаю, и самъ не знаю что сказать. Впрочемъ, прошу тебя оставить это дѣло въ глубочайшей

[1]) Именемъ этого оригинальнаго лица въ «Редгоунтлетѣ» В. Скотта братъ мой называлъ одного старикашку, бывшаго у него подъ опекой, полоумнаго сутягу, удивительно похожаго на созданіе В. Скотта. Этотъ русскій Пиблія имѣлъ привычку повторять о всякомъ вздорѣ: «Думаешь, батюшко, думаешь, да ужъ и только!»

тайнѣ, ибо и мнѣ первымъ условіемъ положено, до времени, совершенное и строгое молчаніе, для того, что мерзавцы могутъ все испортить и разстроить, а по дѣламъ Плюшара идетъ совершенный хаосъ, въ которомъ не доберутся никакого толку!..

«Важная новость: умеръ Сперанскій!.. Максъ [1]) заходилъ ко мнѣ въ большомъ горѣ, ибо, дѣйствительно, теперь пойдетъ у нихъ большая ломка. Лицо историческое—и какая любопытная исторія!

«Вотъ все покамѣстъ. Сегодня сажусь за свой столъ и запираюсь отъ всего—работы бездна».

Въ мартѣ и апрѣлѣ я получилъ отъ брата только два небольшія письма, большею частію наполненныя распоряженіями о его долгахъ. Въ первомъ онъ упоминалъ, что отказался отъ редакціи «Энциклопедическаго Лексикона». Вотъ его слова:

«Говорятъ, что «Энц. Лексиконъ» совсѣмъ разрушается и Сенковскій рѣшительно поссорился съ Боржесомъ, а кому передать такое предпріятіе не знаютъ. Отъ того, о чемъ я писалъ къ тебѣ, по долгомъ размышленіи—я отрекся и ни на какія условія не пошелъ (но все это должно оставаться между нами, какъ я уже просилъ тебя). Похвалишь ли меня?»

Въ письмѣ отъ 11-го апрѣля онъ съ безпокойствомъ писалъ, что у дѣтей его появилась скарлатина... Тамъ же, послѣ изложенія разныхъ огорчительныхъ подробностей о дѣлахъ своихъ, онъ прибавилъ:

... «Когда, мой любезнѣйшій, когда все это перейдетъ?—Но жалобы приличны малодушію, хоть, признаться, всякая философія лопается при томительной жизни, которую, право, и жизнью-то назвать не стоитъ!.. Третьяго дни «мивый» (П. П. Свиньинъ) отошелъ отъ здѣшняго міра; я

---

[1]) Максимъ Карловичъ Цеймернъ, бывшій въ очень близкихъ отношеніяхъ со всею семьею нашею.

видѣлся съ нимъ за недѣлю, и, признаюсь, внезапная смерть его меня поразила! Горестно и то, что семейство его остается въ положеніи весьма разстроенномъ, и, вообще, мой любезнѣйшій, въ «мивомъ» были хорошія стороны, по крайней мѣрѣ, мы должны вспомнить о немъ съ благодарностью, и я хочу сказать это печатно. Такъ тѣснится гробъ за гробомъ, и растутъ вокругъ насъ могилы, гдѣ хоронимъ мы по-маленьку свое прошедшее, замѣчая, какъ и сами ветшаемъ!.. Но—живи живой, тлѣй мертвый—такъ говорилъ умершій заживо Баратынскій. Не измѣнимъ только ни добру, ни другъ другу, когда бываетъ тяжело; а въ ясную пору жизни что за подвигъ быть и бодрымъ, и добрымъ?»

Онъ не предвидѣлъ какое горестное для него событіе было уже близко! Привожу здѣсь письмо его о томъ—выраженіе глубокой скорби, вопль растерзаннаго сердца, вполнѣ выражающій силу чувствованій этого необыкновеннаго человѣка:

«С.-Петербургъ, мая 1-го 1839 года.

«Плачь со мною, добрый братъ и другъ Ксенофонтъ, плачь, милый! Богу угодно было тяжко, страшно поразить меня; мой Алексѣй, моя радость, моя утѣха, мой ангелъ, уже не существуетъ въ здѣшнемъ мірѣ. Вотъ уже третій день какъ глаза мои не осушаются отъ слезъ. За нѣсколько дней еще онъ былъ подлѣ меня, неотлучный изъ моего кабинета, здоровый, веселый, милый, а теперь... Я возвратился сейчасъ только съ Волковскаго кладбища, гдѣ отдалъ его Богу!.. Братъ! говорить ли о состояніи души моей? описывать ли... ничего не могу ни говорить, ни описывать, и ты самъ все угадаешь, узнавши великость моего несчастія. Я писалъ тебѣ о скарлатинѣ у Лизы. Казалось, все прошло, какъ вдругъ Сергѣй и Катя заболѣли. Страшно было; но я уже радовался, что первый кризисъ у нихъ кончился. Кто думалъ объ Алексѣѣ, что ему быть жертвою?

У него была уже скарлатина въ Москвѣ, а меня увѣряли, что она, какъ корь и оспа, бываетъ только одинъ разъ. Никакое предчувствіе ничего мнѣ не подсказывало, и когда онъ заболѣлъ въ среду, я не вѣрилъ словамъ Буяльскаго, что у него скарлатина. Два дня страдалъ онъ; болѣзнь была жестока, но высыпало очень хорошо. Буяльскій былъ въ субботу, поутру, увѣрилъ, что онъ очень хорошъ. Но жаръ усиливался, начался бредъ—ударило въ голову, и въ 6 часовъ вечера не было Алексѣя... Какъ ангелъ, неизмѣнившійся, лежалъ онъ въ гробѣ, а я, несчастный отецъ, я, который видѣлъ въ немъ возвращеніе моего Николая, думалъ, что онъ освятилъ мнѣ день моего рожденія, и какое дитя! милое, цвѣтущее, и еще за часъ до смерти какъ онъ изъявлялъ мнѣ любовь свою, ласку... Теперь, Сергѣй и Катя выздоравливаютъ, но выздоровленіе бываетъ медленно, опасно—за жизнь ихъ еще ручаться нельзя. Надобно ожидать, что, почти навѣрное, и другіе подвергнутся болѣзни. И мой Петръ, двухъ-мѣсячный—когда мать убита горестью и когда силъ его перенесть болѣзнь, конечно, не достанетъ... Кто скажетъ, сколькихъ не досчитаюсь я черезъ нѣсколько дней?.. Какъ Іовъ стою передъ Богомъ, и—страшенъ былъ мнѣ первый ударъ, ударъ мгновенный, громовой—другіе будутъ легче. «Богъ далъ, Богъ взялъ!.. Избирай, Провидѣніе: которыхъ оставить мнѣ, которыхъ посѣять на нивѣ Божіей!» Такъ говорю я и, клянусь, готовъ воскликнуть: «Готовъ, Господи! готово сердце мое, готово, Боже!»—Но слезы мои льются, и—ужасно, ужасно, братъ и другъ! Особливо когда съ горестью оглянешься назадъ и ничего не видишь впереди. Сорокъ третій годъ тернистаго пути, сорокъ третій годъ страданій — тебѣ ли описывать, напоминать жизнь мою? Ты знаешь ее! Говорить ли о томъ: стою ли я такихъ бѣдствій? Терзай, мучь меня всѣмъ другимъ, но зачѣмъ во глубину сердца моего впивается жало скорби, ибо только въ дѣтяхъ, въ семьѣ я еще видѣлъ отраду! и изъ нихъ... не за то ли Алексѣю

надобно было умереть, что я любилъ его — стыжусь, страшусь сказать!—болѣе всѣхъ... Развѣ это грѣхъ? Если такъ, да будетъ! Не думай, чтобы я роптalъ на судьбу Божію— нѣтъ, нѣтъ! Но повторю слова самого Богочеловѣка: «Прискорбна душа моя, прискорбна даже до смерти!» И самъ Богочеловѣкъ взалкалъ, и Іовъ возроптalъ, наконецъ. Да не вмѣнится же мнѣ въ грѣхъ скорбь моя.

«Братъ! не утѣшай меня, но издалека я прижимаю тебя въ мои объятія — дай мнѣ плакать на груди твоей: здѣсь мнѣ не съ кѣмъ. Я долженъ даже показывать бодрость, чтобы не убить горестной матери, чтобы внушить смѣлость дѣтямъ. Только уединяясь отъ всѣхъ, становлюсь на колѣни, молюсь и плачу... и молюсь...

«Да хранитъ тебя и всѣхъ твоихъ Господь Богъ! Пусть на меня падаетъ гнѣвъ его—ты достоинъ лучшей участи...»

Тяжкая скорбь, такъ страшно поразившая его, уменьшилась не скоро и, можетъ быть, не оставляла до конца жизни его сердца, не умѣвшаго чувствовать въ половину. Съ этого времени всегда проглядывало что̀-то мрачное въ его взглядѣ на жизнь. Правда, что вскорѣ онъ опять предался своимъ работамъ, писалъ ко мнѣ о дѣлахъ, былъ дѣятеленъ попрежнему, но въ это же время, послѣ описанія мнѣ разныхъ своихъ непріятностей, онъ прибавлялъ: «Является какое-то окаменѣніе въ человѣкѣ, когда мѣра терпѣнія исполнилась. Лей въ чашу что нибудь; если перешло края, то уже все равно — ведро̀ ли льешь, или цѣлую бочку».

Иногда онъ, конечно, и самъ, не подозрѣвая того, выражался сатирически, говоря о самыхъ обыкновенныхъ явленіяхъ русской жизни. Такъ, напримѣръ, говоря о нѣсколькихъ листахъ моего перевода записокъ г-жи Абрантесъ, доставленныхъ въ военную цензуру, какъ упоминалось прежде въ его письмахъ, онъ извѣщалъ меня о судьбѣ ихъ слѣдующими словами: «Абрантесъ освободилась изъ когтей военной цензуры, которая ничего не нашла подле-

жащаго въ ней своему суду, но военный министръ рѣшилъ отправить тетратку твою въ главную цензуру. Тамъ я былъ, и они не находятъ ничего противнаго, увѣряя, что отправятъ ее немедленно въ Москву. Формы и медленіе приводятъ въ отчаяніе, и всякая каналья какъ будто дѣло дѣлаетъ, толкуя о вздорѣ!»

Въ письмѣ отъ 15-го іюня онъ писалъ мнѣ:

«Говорить ли тебѣ, вообще, о состояніи души моей и, вообще, житьѣ-бытьѣ моемъ? При растерзанной душѣ, при потеряхъ, при взглядѣ на дѣтей, на обстоятельства, на людей, на все, что вокругъ насъ дѣлается, на то, какъ судьба отравляетъ намъ каждое наслажденіе, какъ гадки иногда люди, какъ измѣнчива и обманчива жизнь—тяжело, другъ и братъ, тяжело! Но къ чему жалобы и роптанія? Да будетъ, какъ есть. Жизнь безъ надеждъ въ будущемъ, съ горькимъ прошедшимъ, съ мучительнымъ настоящимъ, становится крестомъ, который должно нести. А вѣдь она для счастья дана? А вѣдь она сулила такъ много?—Удивляюсь одному, что здоровье мое не страдаетъ сильно: собственно говоря, я здоровъ, и какъ-то еще могу работать, и работаю, сколько есть возможности. Впрочемъ, я замѣчаю, что въ послѣднее время я началъ сильно сѣдѣть—видно, что отзывается и на тѣлѣ; а что касается до работы, то не она ли, полно, спасаетъ меня? Я забываю за нею все, и даже иногда мечтается, что можно бы еще-таки многое сдѣлать! Иногда еще кипитъ мысль, шевелится воображеніе. Любовь къ этимъ мерзавцамъ—людямъ, опять волнуетъ кровь! Нѣтъ, сердцу моему, видно, не пріучиться ихъ ненавидѣть!»

Въ томъ же письмѣ онъ говоритъ о своей скорби:

«Ахъ, братъ и другъ! какъ страшно поразила меня судьба смертью Алексѣя, этого завѣтнаго мальчика, утѣхи и радости моей! не могу, чтобы въ недѣлю разъ не ѣхать къ нему на могилу и тамъ, вдали отъ всѣхъ, не поплакать, не порыдать надъ нимъ, не подумать горько и сладостно

на могилѣ его, не провести часа какого нибудь тамъ одному, съ самимъ собою. Безъ этого, кажется, я задохся бы; а когда я возвращаюсь отъ него, сказавши ему: «До свиданья!» мнѣ становится легко и даже весело...»

VI.

Николай Алексѣевичъ былъ истиннымъ христіаниномъ.—Тяжкая болѣзнь его въ сентябрѣ 1839 года.—Какъ предполагалъ я освободить брата изъ тяжкаго его денежнаго положенія?—В. В. Варгинъ.—Отвѣтъ Николая Алексѣевича на это предложеніе.—Устройство редакціи «Сына Отечества» въ 1839 году.—Разныя литературныя извѣстія.—Неудача усилій моихъ относительно долговъ брата.—Онъ уплачиваетъ часть ихъ самъ.—«Параша Сибирячка».

Тяжкое состояніе духа Николая Алексѣевича было бы невыносимо безъ утѣшеній религіи, а братъ мой былъ христіаниномъ, въ истинномъ значеніи этого высокаго слова. Животная жизнь, животныя стремленія никогда не господствовали въ немъ надъ жизнію духа. Читатели видятъ, что самыя тяжелыя его страданія были страданія духа, и отъ нихъ-то искалъ онъ и нашелъ утѣшеніе въ религіи. Это ясно выражается въ письмѣ его ко мнѣ отъ 15-го августа, изъ котораго я выпишу все, что можетъ пояснить душевное состояніе его, и пропущу подробности о дѣлахъ и семейныхъ событіяхъ, ненужныя для его характеристики.

«Не знаю, милый другъ и братъ Ксенофонтъ, сердишься ли ты на меня за мое неписанье, или горюешь о томъ, что если я не пишу, то навѣрное можно полагать, что писать у меня рука не подымается. Послѣднее — правда, и, сдѣлай милость, прости меня за мое молчаніе! Я ужъ довольно и тѣмъ наказанъ, что не получаю отъ тебя писемъ, а они мое утѣшеніе, они вливаютъ мнѣ въ сердце что-то теплое, живительное, переносятъ меня къ тебѣ, моему един-

ственному другу. Прощеніе! Не знаю, какъ тебѣ изобразить мое состояніе въ послѣдній мѣсяцъ? — Это было какое-то тѣлесное и душевное онѣмѣніе, что̀-то такое апатическое, при чемъ не чувствуешь ни радостей прошедшаго, ни надеждъ будущаго, а отъ огорченій настоящаго только горестно улыбаешься. Ни дѣла, ни отношенія мои не стали лучше, не сдѣлались и хуже; но въ жизнь мою не испытывалъ я такого чернаго взгляда на жизнь, такой безнадежности, если можно такъ выразиться. Думаю, что болѣзнь была тому причиной: къ жестокому припадку геморроя присоединился у меня ревматизмъ (во время жестокихъ жаровъ въ іюлѣ, когда у насъ была настоящая Африка, я вздумалъ снять съ себя фланель, и черезъ недѣлю почувствовалъ такую боль во всемъ тѣлѣ, что едва не кричалъ; она исчезла, когда опять надѣлъ я фланель, и употребилъ нѣкоторыя средства; но мученіе продолжалось недѣли три). Уныніе овладѣвало мною, и я даже мучился безсонницей, чего прежде со мною никогда не бывало. Обыкновенное мое средство: усиливать работу, сдѣлалось мнѣ притомъ невозможно, и такъ прошли для меня іюль и начало августа. Наконецъ, я переломилъ себя, одолѣлъ болѣзнь; въ прошедшую недѣлю я говѣлъ и пріобщался. Душа моя такъ была возвышена какимъ-то религіознымъ, святымъ чувствомъ, что я никогда, опять скажу, не испытывалъ въ такой мѣрѣ его услажденія. Всю обѣдню, въ день причащенія, стоя въ алтарѣ, гдѣ только священникъ находился, совершая великую тайну, почти всю обѣдню простоялъ я на колѣняхъ и проплакалъ. Мнѣ казалось, что я началъ какую-то новую жизнь; все прошедшее пролетало тогда передо мною, и какъ жарко молился я... и за тебя, мой другъ и братъ!.. Такія молитвы слышитъ Богъ! опять надежда, опять мечты оживили меня, и—первое дѣло мое было писать къ тебѣ вотъ это письмо. Но надобно же прибавить, что все это время, какъ нарочно, толпа всяческихъ досадъ и огорченій облѣпляла меня словно комары»...

Послѣ описанія разныхъ домашнихъ и семейныхъ непріятностей, онъ прибавляетъ: «Цензура въ это время словно взбѣсилась: пять статей въ іюньской книжкѣ «Сына Отечества» не пропускали, и одной рѣшительно не пропустили; на печатаніе книжекъ недостало бумаги и добыть ее не было возможности. Написалъ я для развлеченья маленькую пьесу: «Ода Фелицѣ», едва ли не лучшее, что было написано мною для сцены; ее не дозволили играть (потому что князю П. М. Волконскому показалось, будто еще не настало время выводить на сцену лица вѣка Екатерины). Увидѣвши изъ твоего письма, что ты оставилъ свое намѣреніе писать о Бородинѣ [1]), я тотчасъ написалъ брошюру, но она такъ затруднилась въ цензурѣ, что, кажется, надобно будетъ ее бросить. И все это должно было мнѣ переносить, разстроенному душевно и тѣлесно, живучи точно въ лазаретѣ, ибо жена и дѣти были больны»...

Онъ рѣшился переѣхать изъ дома Смирдина въ другую квартиру, и одною изъ главныхъ причинъ этого были, какъ писалъ онъ: «грустныя воспоминанія претерпѣнныхъ въ этомъ домѣ потерь»... «Признаюсь, мнѣ этотъ домъ рѣшительно опротивѣлъ», — прибавляетъ онъ, — «впрочемъ, всѣ мои отношенія къ Смирдину остаются прежнія, и чѣмъ болѣе узнаю я этого человѣка, тѣмъ болѣе чувствую къ нему любви и уваженія: это благороднѣйшее и добродѣтельнѣйшее созданіе, какихъ немного встрѣтишь въ жизни. Подъ необдѣланною и грубою корою у него хранится добрѣйшее сердце и здравый умъ. И тѣмъ болѣе дорогъ такой человѣкъ, что, мнѣ кажется, будто въ Москвѣ, право, мой милый другъ, нельзя увидѣть такого гнуснаго эгоизма, какой видишь здѣсь».

Въ слѣдующемъ письмѣ онъ извѣщалъ меня о пересе-

[1]) Надобно припомнить, что въ 1839 году было открытіе памятника на полѣ Бородинской битвы и готовилось много описаній и объясненій ея. Издавна изучая исторію войны 1812 года, я составилъ очеркъ Бородинской битвы, но не рѣшился издать его.

леніи своемъ на новую квартиру (въ Малой Коломнѣ, въ Большой Мастерской улицѣ, въ домѣ Зейделя). Заботы и устройство по этому случаю развлекли его, повидимому, и онъ даже шутилъ въ письмѣ, представляя многое очень забавно, и прибавлялъ, что надѣется хорошо работать въ новомъ своемъ помѣщеніи, при чемъ хвалился здоровьемъ своимъ, которое выдерживаетъ всѣ испытанія. Недѣли черезъ три потомъ, именно, отъ 21-го сентября, онъ писалъ:

«Кажется, я слишкомъ поспѣшилъ, мой любезный другъ и братъ, похвастаться передъ тобой моимъ здоровьемъ. По крайней мѣрѣ, уже съ 1834 года не было у меня такого жестокаго припадка моей болѣзни, какой я испытываю теперь. Спѣша при томъ окончить книжку «Сына Отечества», я переламывалъ себя, и хоть лѣчился, но не усердно, сидѣлъ упорно и кончилось тѣмъ, что отъ слабости перо у меня выпало изъ рукъ, голова закружилась, и я, вотъ уже восьмой день, въ постели, въ слабости неизобразимой, на строжайшей діэтѣ, съ лѣкарствами, едва начинаю таскаться по комнатѣ, и съ грустью вижу, что время летитъ, работа остановилась, и я рѣшительно ничего не могу сдѣлать. Да будетъ воля Божія! Болѣзнь моя нисколько не опасна, но я боюсь, чтобы она не затянулась долго. Съ трудомъ могу писать даже и эти строчки... Что дѣлать и чѣмъ пособить... L'homme propose, Dieu dispose»...

Болѣзнь его точно затянулась. «Слабость все еще такъ велика»,—писалъ онъ мнѣ въ концѣ сентября,—«что, посидѣвши полчаса, я принужденъ опять ложиться. Всю пищу мою составляютъ габеръ-супъ, да аррорутъ и саго, а питье—салепъ. Сижу, сложа руки, и съ тоскою встрѣчаю каждый наступающій день, когда надобно бы работать въ четыре руки». Говоря далѣе о разныхъ своихъ дѣлахъ, онъ прибавляетъ: «Недѣли двѣ тому, на театрѣ съ большимъ успѣхомъ играли мою новую пьеску: «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и сватъ». Бездѣлка, гдѣ выставилъ я Сумарокова и Третьяковскаго. Болѣзнь моя не дозволила мнѣ

быть самому, но меня усердно вызывали. Новая пьеса Скобелева почти обшикана, да, говорятъ, и безмѣрно глупа. Впрочемъ, новаго ни въ литературѣ и ни въ чемъ—нѣтъ. О литературѣ и дивиться ли? Когда громъ гремитъ изъ навозной кучи?»

Въ половинѣ октября онъ все еще не могъ ничѣмъ заниматься и писалъ ко мнѣ: «Только дня три-четыре, какъ докторъ велѣлъ мнѣ проѣзжаться по воздуху. Въ первый день я съ трудомъ доѣхалъ до Смирдина; но третьяго дня прошелъ уже два раза по Лѣтнему саду, хоть съ трудомъ. Микстуры прекратились, но я принимаю еще пилюли и остаюсь на строжайшей діэтѣ: ѣсть позволяютъ бульонъ и уху, а пить салепскій отваръ, и ни кусочка мяса, ни зелени, ни вина, ни пива, ни даже воды. Впрочемъ, я уже начинаю заниматься, хотя, посидѣвши съ часъ, опять бываю долженъ лечь и отдыхать. Дни уходятъ, грустно!.. Авось все скоро пройдетъ, и я съ удвоенными силами примусь за работу. Все можно поправить, былъ бы человѣкъ живъ, да вѣрилъ милосердію Божію».

Въ томъ же письмѣ, въ припискѣ, онъ выражался такъ:

«...Судьба дѣлаетъ свое, а вотъ теперь и болѣзнь моя—шутка ли? уже вырвала цѣлый мѣсяцъ жизни, убила его на тѣлесныя страданія, открываетъ вдали еще длинную перспективу выздоровленія, медленнаго и томительнаго, а, между тѣмъ, половина октября... Благоговѣю и молчу!..»

Между тѣмъ, я придумывалъ разные планы, желая извлечь моего брата изъ того стѣсненнаго положенія, въ какомъ онъ находился. Болѣе и болѣе удостовѣряясь, что надежды его на улучшеніе своего быта упорнымъ трудомъ не осуществимы безъ ближайшаго и сильнаго пособія, я искалъ пособій ему извнѣ, и нѣсколько времени мнѣ казалось, что успѣхъ могъ увѣнчать это намѣреніе. Задача состояла въ томъ, чтобы найдти сумму, которая была бы достаточна для платежа всѣхъ его долговъ, и потомъ выплатить эту сумму постепенно, его же трудомъ. Еслибы

онъ могъ работать спокойно, не спѣша, не отдавая своихъ сочиненій за безцѣнокъ для удовлетворенія неотступныхъ долговъ, и главное—не платя огромныхъ, невыносимыхъ процентовъ, то въ немного лѣтъ расквитался бы со всѣми своими долгами. И сколько бы еще могъ сдѣлать полезнаго и прекраснаго этотъ необыкновенный человѣкъ со своимъ разнообразнымъ дарованіемъ и неутомимымъ трудолюбіемъ! Долги лежали на немъ какъ тяжелый гнетъ, стѣсняли его духъ, унижали его, превращая въ поденщика—и онъ никогда не могъ отъ нихъ освободиться обыкновеннымъ трудомъ своимъ, и не былъ способенъ ни искательствовать, ни выпрашивать себѣ помощи; онъ даже не умѣлъ распоряжаться выгодно вознагражденіемъ за свои сочиненія. Необходимо было нѣсколькимъ друзьямъ взять его въ свою опеку, заплатить за него долги и обезпечить себѣ тѣмъ пріобрѣтеніе всего, что онъ писалъ и могъ написать, покуда затраченный за него капиталъ не возмѣстился бы вполнѣ, и съ процентами, разумѣется, не ростовщическими. Но гдѣ найдти друзей, готовыхъ на такое доброе дѣло? Я былъ столько счастливъ, что нашелъ ихъ. Первый, кому сообщилъ я свой планъ, былъ С. Д. Полторацкій, вѣрный другъ до гроба. Онъ изъявилъ полную готовность участвовать въ исполненіи моего плана, но въ то же время сказалъ, что при своихъ дѣлахъ, очень обширныхъ, но безъ свободныхъ капиталовъ, не можетъ обѣщать значительной суммы наличными деньгами, и что необходимо пригласить еще кого нибудь для исполненія моего предпріятія. Я обратился къ Смирдину, который часто пріѣзжалъ въ Москву. Онъ одобрилъ мой планъ и вызвался участвовать въ исполненіи его всѣми своими средствами, но, къ сожалѣнію, также не могъ обѣщать наличныхъ денегъ для составленія необходимаго капитала. Третій искренній доброжелатель нашъ былъ Василій Васильевичъ Варгинъ, знаменитый поставщикъ коммисаріатскихъ вещей въ царствованіе Александра I, уже возвращенный изъ заключенія и ссылки, гдѣ

томился онъ нѣсколько лѣтъ, въ продолженіе которыхъ разстроивали и расхищали его имѣніе опекуны и разныя другія лица. Владѣя недвижимымъ имѣніемъ въ нѣсколько милліоновъ рублей, онъ въ то же время былъ обремененъ такими тяжкими платежами, что не имѣлъ никакихъ свободныхъ капиталовъ и еще занималъ деньги для приведенія въ порядокъ своего разстроеннаго имѣнія. Имя Вргина было очернено клеветою при его жизни, да и теперь, послѣ смерти его, подвергается несправедливымъ нареканіямъ. Я былъ много лѣтъ въ самихъ искреннихъ сношеніяхъ съ нимъ, горжусь тѣмъ, что онъ называлъ меня своимъ другомъ, и могъ сказать, что это былъ одинъ изъ самыхъ умныхъ и благородныхъ людей своего времени. Онъ— лицо историческое по своимъ заслугамъ во время Отечественной войны 1812 года и заграничной въ 1813 и 1814 годахъ. Но покуда исторія отдастъ ему справедливость, друзья его помнятъ, что это былъ человѣкъ съ душою возвышенною и умомъ государственнымъ. Когда я передалъ ему свой планъ объ освобожденіи Николая Алексѣевича отъ долговъ, онъ тотчасъ согласился, что иначе и нельзя ему никогда избавиться отъ нихъ, даже потому, что проценты будутъ всегда поѣдать то, что пріобрѣтаетъ онъ тяжкимъ трудомъ. Какъ человѣкъ опытный, Варгинъ прибавилъ къ этому, что я не найду капитала, достаточнаго для подобнаго предпріятія. «Въ прежнее время, — сказалъ онъ,— я сейчасъ же выдалъ бы пятьдесятъ, даже сто тысячъ рублей, необходимые вамъ для успѣха, потому что при моихъ прежнихъ дѣлахъ такая сумма не затруднила бы меня нисколько. Но теперь, нуждаясь иногда въ десяти рубляхъ, какъ могу я пособить вамъ? Правда, что черезъ мои руки переходитъ и теперь не одна сотня тысячъ рублей въ годъ, но они тотчасъ же и уплываютъ изъ рукъ моихъ, такъ что я всегда въ нуждѣ и принужденъ самъ занимать у ростовщиковъ, для исполненія тяжкихъ, возложенныхъ на меня обязанностей. Кто еще изъ вашихъ дру-

зей въ состояніи свободно располагать нѣсколькими десятками тысячъ рублей? Вы назвали мнѣ двухъ человѣкъ, но они сами себя обманываютъ, если надѣются отдѣлить значительную сумму отъ своихъ дѣлъ. Пожалуй, и я могу ссужать вамъ на-время, какъ говорится, на перехватку, по нѣскольку тысячъ рублей, но пособитъ ли это въ такомъ предпріятіи, гдѣ вся сумма должна быть отдѣленною и неприкосновенною на безсрочное время?»

Это благоразумное сужденіе человѣка испытаннаго судьбою въ денежныхъ оборотахъ, оправдалось вполнѣ; однако, я еще не терялъ надежды и писалъ Николаю Алексѣевичу, чтобы онъ доставилъ мнѣ точное свѣдѣніе о количествѣ всѣхъ своихъ долговъ, при чемъ объяснилъ и свой планъ для погашенія ихъ. Отвѣтомъ его было слѣдующее письмо:

«21-го ноября 1839 года, С.-Петербургъ.

«На сей разъ, мой любезнѣйшій другъ и братъ, моему молчанію были разныя причины, и главная изъ нихъ та, что я хотѣлъ было рѣшительно пуститься въ Москву, хотѣлъ сюрпризомъ явиться къ тебѣ, и все ладилъ къ такому предпріятію. Но тяжкая болѣзнь моя отняла всѣ способы: надобно было рисковать пуститься въ дорогу. Докторъ мой былъ противъ меня, и я принужденъ былъ остаться, томиться, съ грустью встрѣчая опять день за днемъ, и отказаться отъ моего предпріятія, которое могло и возстановить меня, но могло и рѣшительно положить въ могилу. Теперь, кажется, природа взяла верхъ. Съ недѣлю уже, я вовсе безъ лѣкарствъ, пью и ѣмъ все, хоть съ большою осторожностью, и принялся за работу. Опять и то, что поѣздка отняла бы у меня двѣ недѣли, остановило меня. Двѣ недѣли—а ихъ всего остается до новаго года шесть, и на плечахъ моихъ столько дѣла, что, потерявши рѣшительно два мѣсяца, не знаю какъ мнѣ и быть! Роп-

тать ли на судьбу? Два мѣсяца эти совсѣмъ разстроили всѣ мои разсчеты и планы. Я думалъ преспокойно все докончить: выправить журналъ, дописать либо «Маленькую исторію», либо «Синихъ и Зеленыхъ», а, можетъ быть, то и другое — и гдѣ теперь всѣ мои планы?.. Впрочемъ, этотъ періодъ былъ для меня важенъ. Нѣсколько разъ, казалось, дѣло приходило къ окончательной развязкѣ: особливо въ одну ночь я полагалъ, что не доживу до утра. Въ первый еще разъ въ жизни, съ полнымъ сознаніемъ моего положенія, я считалъ предсмертные часы и минуты, и эта ночь никогда не изгладится изъ моей памяти! И тяжкогрустны, и отрадно-свѣтлы были для меня такія торжественныя минуты... Но переговоримъ обо всемъ лично; всего написать нельзя. Раза два думалъ я звать тебя сюда — умереть безъ тебя я не хотѣлъ... Теперь опять принявшись за дѣла жизни, я предполагаю непремѣнно ѣхать къ тебѣ въ Москву, и непремѣнно въ концѣ января или началѣ февраля. Мнѣ должно еще распорядиться тамъ опять разными мерзостями; прогулка придаетъ силы, лучше всякихъ лѣкарствъ, а главное—съ тобою и у тебя должно опять отдохнуть мнѣ... Все это непремѣнно уже мною опредѣлено. Здѣсь должно обратиться къ тому, что ты писалъ ко мнѣ въ твоемъ послѣднемъ письмѣ, требуя немедленнаго отвѣта. Что отвѣчать мнѣ, мой другъ и братъ? Когда, мѣсяцъ тому, такъ близка была ко мнѣ смерть, клянусь тебѣ, что въ тѣ минуты, когда жизнь разоблачается отъ всѣхъ обольщеній, по долгомъ размышленіи, всего менѣе безпокоила меня участь дѣтей: у нихъ оставались—Богъ, честное имя и ты! Да, ты, мой братъ! Суди, какъ крѣпка моя вѣра въ тебя, какъ понимаю я твое сердце и всего тебя! Теперь, когда я читалъ твое письмо, слезы пробились у меня въ глазахъ, добрѣйшее ты, благороднѣйшее созданіе! Имена двухъ людей, упомянутыхъ тобою, Сержа и Смирдина, также имена любимцевъ моего сердца. У Сержа вмѣсто головы приставлено сердце, а Смирдинъ неограненный дра-

гоцѣнный брилліантъ. Желалъ ли бы я вырваться изъ моихъ цѣпей? Боже! я кровью заплатилъ бы за минуту спокойствія! Могъ ли бы я тогда что нибудь еще сдѣлать полезное? Боже! какъ еще много! Мнѣ кажется, я еще не начиналъ, и уже мысль одна, что меня перестали бы терзать заботы жизни, что я могъ бы отказаться отъ работъ, которыя предпринимаю для насущнаго хлѣба, что я бросилъ бы проклятыя, убивающія журнальныя занятія, уже одна мысль заставляетъ кровь мою кипѣть, и въ головѣ моей роятся мечты и идеи толпою... Много, много можно еще сдѣлать... Еслибы ты, съ добрыми друзьями, могъ извлечь душу мою изъ заклеповъ адовыхъ, повѣрь, что это не было бы даже невозвратнымъ пожертвованіемъ. Я могъ бы тотчасъ обезпечить все, чѣмъ сдѣлаютъ мой выкупъ. Такъ, напримѣръ, не говоря объ «Исторіи русскаго народа», которая тотчасъ не можетъ реализировать капитала—«Маленькую исторію» готовъ купить Смирдинъ на 2-е изданіе за 10 тысячъ рублей, когда я ее кончу. «Синіе и Зеленые» всячески могутъ дать 10 тысячъ рублей. Думаю, что и «Колумбъ» можетъ дать не менѣе [1]). Полагаю, что можно бы еще собрать четыре книжечки новыхъ «Мечты и жизнь»; многіе желаютъ имѣть собраніе моихъ театральныхъ пьесъ, къ которымъ присовокупилъ бы я переводы «Тимона» Шекспирова и «Сарданапала» Байронова, и отъ обоихъ предпріятій я считаю хоть по 5 тысячъ рублей. Такимъ образомъ составился бы капиталъ въ 40,000 рублей немедленно, въ теченіе года не болѣе. Затѣмъ, я застраховалъ бы себя въ 40,000 рублей, и тѣмъ, съ вышеупомянутымъ, обезпечилъ 80,000 рублей капитала, не требуя себѣ на прожитіе ничего, ибо могу прожить мелкими работишками, которыя дадутъ мнѣ тысячъ десятокъ въ годъ, занятіями въ часы отдыха. Я могъ бы сдать ра-

[1]) Я не знаю, куда дѣлась его рукопись «Колумба» (жизнь Христофора Колумба). Первая часть ея была напечатана; печатаніе слѣдующихъ остановилось за недостаткомъ средствъ.

боту по «Сыну Отечества», принявши на себя въ немъ немногое, что и безъ того располагаю я сдѣлать (рѣшительно отказаться отъ него вовсе въ 1840 году не могу, ибо закабалилъ уже себя!) Но, чтобы избавить меня, заплатить всѣ мои долги, мнѣ именно потребна упомянутая сумма, ибо долги мои составляютъ, именно, такую сумму, отъ 80,000 до 85,000 рублей[2]). Отчего не могу я изъ нихъ теперь выбиться? Оттого, что принужденъ ихъ вертѣть, и каждый годъ тратить до 10,000 руб. на проценты. Надобно дать мнѣ два-три года отдыха, а мнѣ не даютъ минуты вздохнуть; оттого я не успѣваю кончить капитальныхъ, основательныхъ работъ, и убиваю время на такія, которыя даютъ мнѣ немедленно средства — вертѣть колесо, затыкать дыры и съ томленіемъ уплачивать, между тѣмъ, капиталъ понемногу. Безъ особенной помощи, такой, о которой ты пишешь, я не нахожу средствъ привести дѣла мои въ порядокъ ранѣе четырехъ или пяти лѣтъ. Кончить ихъ скорѣе, кончить вдругъ — надобно въ годъ заплатить 80,000 рублей, принявши отъ меня въ обезпеченіе все, что я выше исчислялъ, и въ прибавокъ меня—съ тѣломъ и душою! думаю, что и изъ «Дюмонъ Дюрвиля» можно еще что нибудь добыть. И «Исторію русскаго народа», и все, что между тѣмъ напишу я еще, я готовъ отдать. Плановъ у меня—конца нѣтъ!.. Но 80,000 рублей—сумма, которую тратятъ иногда въ одинъ вечеръ на балъ—достижимая ли для меня вещь? И можете ли, ты и добрые мои друзья, дать ее на мою поруку труда и чести? Рѣши, подумай и скажи». (За симъ идетъ подробное исчисленіе кому и сколько былъ онъ долженъ, а далѣе:) «Вотъ, мой любезнѣйшій, я раскрылъ тебѣ все, — обдумай и рѣши, а я — признаюсь, не вижу возможности вдругъ выпутать меня!.. Будь же ты моимъ Провидѣніемъ. Если ты напи-

[2]) Рубли разумѣются здѣсь ассигнаціонные, которыхъ должно считать $3^1/_2$ на серебряный рубль.

шешь: да... я не могу представить себѣ радостной минуты, когда я услышу это—«да!» О подробностяхъ могли бы мы поговорить подробнѣе лично, тѣмъ паче, что въ началѣ февраля и Смирдинъ въ Москву пріѣдетъ, можетъ быть, вмѣстѣ со мною. Но теперь, пока, все это кажется мнѣ только мечтою твоего добраго сердца и увлеченіемъ дружбы твоей ко мнѣ... Между тѣмъ, прибѣгаю къ тебѣ съ просьбою о дѣлахъ моихъ въ настоящемъ»... (Слѣдуетъ нѣсколько порученій). «Сколь о многомъ остается мнѣ еще къ тебѣ писать! Но, признаюсь: и содержаніе этого письма такъ растревожило, взволновало меня, что я писать болѣе не въ силахъ, и рука утомилась. Не смотря на укрѣпляющееся здоровье, слабость и нервическое разстройство при всякомъ сильномъ движеніи даютъ мнѣ себя чувствовать. Примусь продолжать письмо мое завтра, и высказать тебѣ многое еще, и о себѣ, и о другихъ. Главное: о здоровьѣ моемъ, кажется, что сколько предвѣдѣніе человѣческое можетъ увѣрять, теперь оно безопасно. Только потребна большая осторожность. Впрочемъ, вѣра укрѣпляется только испытаніями».

«Спб. Декабря 5-го 1839 г.

«Вмѣсто того, чтобы начать письмо мое вновь на другой день, мой любезнѣйшій другъ и братъ, вотъ нѣсколько дней не принимался я за него. Куча мелкихъ дѣлъ и отношеній и необходимость работы по «Сыну Отечества» заставили меня бросить все другое. Я сидѣлъ ночи по двѣ до 3-хъ часовъ, хотя встаю всегда въ шесть часовъ утра. Болѣзнь моя прошла, но слабость все еще даетъ чувствовать себя. Что мнѣ много работы, суди по тому, что X-й № теперь почти конченъ, и XI-й (если только Богъ поможетъ!) въ декабрѣ выдамъ; января 1-го положено выдать 1-й №, а къ 10-му XII-й. У меня голова кружится... Проклятые два мѣсяца болѣзни совсѣмъ разстроили всѣ мои предположенія! А между тѣмъ я чувствую необходимость,

да и по отношеніямъ къ Смирдину долженъ все это непремѣнно обработать. Въ эти же дни надобно было и выѣзжать въ разныя мѣста, и во время болѣзни накопилось множество необходимыхъ визитовъ и посѣщеній. Обо всемъ этомъ говорю, дабы оправдаться передъ тобою и чтобы ты не почелъ разсѣянностью и забывчивостью, что, отправивши къ тебѣ посланіе, замедлилъ я окончаніемъ его, обѣщаннымъ на другой день. Начну опять тѣмъ, что я имѣлъ время, между тѣмъ, обстоятельнѣе обдумать, именно—твоимъ дружескимъ предложеніемъ, въ которомъ для меня отсвѣтилась такъ ярко твоя чистая, добрая душа, и такъ видно твое любящее сердце! Я писалъ уже о возможности и невозможности исполнить твое предположеніе. Невозможность состоитъ въ трудности найдти и составить сумму, которою можно ликвидировать въ теченіе года долги мои (хотя и предположивъ, что, напримѣръ, Смирдинъ внесъ бы часть ея векселями, и хотя сумма, какъ я предполагалъ до 80,000 руб., могла бы обезпечиться всѣмъ, что я написалъ и напишу, и даже самой моею жизнью, ибо я готовъ застраховать себя въ пользу ликвидаціи, и хотя часть ея тотчасъ могла бы возвратиться, ибо только окончанія (а для окончанія только хоть малаго досуга) требуютъ начатыя мною работы и изданія, которыя можно немедленно сдѣлать («Маленькая исторія», «Синіе и Зеленые», «Колумбъ», напечатаніе четырехъ томиковъ новыхъ «Мечты и жизнь, театръ», и даже, хоть сколько нибудь, выручка изъ «Дюмонъ-Дюрвиля»). Работать я готовъ и чувствую еще силы сломить многое, не безпокоя, между тѣмъ, насущнымъ хлѣбомъ, который мнѣ доставятъ одни мелкіе труды... Но почти мечтою кажется мнѣ однакожъ, мой любезнѣйшій, все, что ты предполагаешь—прости меня!.. Съ нетерпѣніемъ буду ждать твоихъ дальнѣйшихъ изъясненій, а между тѣмъ поговоримъ о настоящемъ. Вотъ что предполагаю я теперь дѣлать, посвящая вздохъ мечтамъ: 1-е, прежде всего

кончить «Сынъ Отечества» за сей годъ и устроить на будущій. Гречъ не будетъ уже и оффиціальнымъ его «жераномъ», но передастъ его на отвѣтственность А. В. Никитенкѣ, человѣку доброму и честному. Онъ приметъ на себя всю корректурную работу и выправку статей, а я останусь при Критикѣ, Библіографіи, Лѣтописи и Смѣси: по моему соображенію, ровно половина работы трудной остается мнѣ; но другая половина, которую передаю, скучнѣе и убійственнѣе. Толстыя книжки раздѣлятся на двѣ, что̀ облегчитъ изданіе (кромѣ интереса новости для публики). 2-е, приготовивъ двѣ книжки и передавъ запасы для другихъ, на время поручивъ мою работу Никитенкѣ и сотрудникамъ, я отправляюсь въ Москву—это свято и непремѣнно, и непремѣнно въ началѣ февраля, а если можно — въ концѣ января (возможность этого, кажется, видима). Тамъ вижусь съ тобою, отдыхаю, бросаю части тѣла псамъ, устраиваю, сколько могу, и возвращаюсь сюда. 3-е, устраиваю потомъ старшихъ сыновей. Необходимость и при томъ невозможность ихъ образованія дома рѣшаютъ меня отказаться отъ личнаго ихъ при себѣ воспитанія. Думаю отвезти ихъ въ Гернгутерское училище, заведенное въ Верро, въ 60-ти верстахъ отъ Дерпта, которое, сколько мнѣ извѣстно теперь, можно назвать образцовымъ по ученію, патріархальности и строгой нравственности. Объ этомъ много надобно говорить. 4-е, весною переѣзжаю въ колонію, между Ораніенбаумомъ и Красною Горкою, и живу тамъ лѣто. Этого необходимо требуетъ здоровье мое, жены, дѣтей. Купанья, гулянья, воздухъ, надѣюсь, исцѣлятъ и укрѣпятъ всѣхъ насъ. 5-е, между тѣмъ, имѣя уже нѣсколько поболѣе досуга, работаю, употребляю половину времени на «Сынъ Отечества», другую на другое. 6-е, можетъ быть, исполнится и мечта о Лондонѣ. Моя поѣздка, я увѣренъ, принесетъ большія выгоды всяческія, и три недѣли, при чемъ я почти не прерву и занятій, благопріятно подѣйствуютъ и на здоровье, и на карманъ, и всячески будутъ имѣть хорошія слѣд-

ствія [1]). Вотъ что думаю и мечтаю теперь. Существенное изъ всего изъясненнаго мною на сей разъ одно: кончить «Сынъ Отечества» и ѣхать къ тебѣ, что уже непремѣнно предположено исполнить, ибо и дѣла требуютъ поѣздки моей въ Москву, да и, проработавши декабрь и январь, я буду просто мочалка, и мнѣ отдыхъ необходимъ, когда онъ, соединясь съ радостью видѣть тебя и съ проѣздомъ $1^1/_2$ тысячи верстъ, оживитъ меня! Таково мое расположеніе на будущность, кажется, ужъ очень незатѣйливое, а потому и возможное...» (Послѣ разныхъ подробностей о дѣлахъ, въ томъ же письмѣ онъ сообщалъ и любопытныя современныя вѣсти и тайны литературныя).

«Въ часы отдыха написалъ я четыре маленькія бездѣлки для сцены: одну изъ нихъ даютъ въ пятницу: «Ужасный незнакомецъ», въ бенефисъ Сосницкаго. Это собственно передѣлка пьески Фонжере, которая была, помнишь въ «Московскомъ Телеграфѣ», подъ заглавіемъ: «Много шуму изъ пустяковъ». Другую бездѣлку даютъ декабря 14-го, въ бенефисъ Асенковой—«Параша Сибирячка»—нѣчто въ родѣ патріотическаго, взятое изъ исторіи Прасковьи Лупаловой и разсказа о ней де-Местра. Третье: «Лукьянъ Степановичъ Стрѣшневъ» — попытка представить русскую старину, какъ она была; ее дадутъ въ бенефисъ Брянскаго. Наконецъ, Каратыгину далъ я еще бездѣлку: «Государственная Тайна», маленькую комедію. Моя «Елена Глинская» кончена, и ее отдаю я въ дирекцію, которая согласна платить мнѣ по 10% съ каждаго сбора. Недавно съ успѣхомъ давали здѣсь Гальмова «Велизарія», переводъ добряка Ободовскаго — пьеса пустая, но ее вывезъ на себѣ Каратыгинъ. Скобелевъ приготовилъ было: «Русскіе въ Парижѣ», но царь не позволилъ играть ее, говоря, что можно надоѣсть, если твердить

[1]) Мечта его о поѣздкѣ въ Лондонъ не осуществилась, и онъ умеръ, не видавши Англіи.

все одно и то же. Кукольникъ кончилъ трагедію: «Холмскіе», но, какъ геній, требуетъ за рукопись 5,000 рублей, а дирекція предлагаетъ уступить за половину сбора. Другой геній, Гоголь, пріѣхалъ изъ Рима, прикидывается хандрою, живетъ у Жуковскаго, не хочетъ писать ничего, и его умоляютъ друзья не погубить русской комедіи своимъ упорствомъ. Краевскій съ братіею дуется какъ пузырь, и на будущій годъ надѣется все уничтожить и разбогатѣть. Сплетней между ними, и по литературѣ, вообще конца нѣтъ, и онѣ доходятъ до отвратительнаго! Жуковскій старается теперь надуть Смирдина сочиненіями Пушкина и сбыть ему какую-то поэму свою, а въ III томѣ «Ста Литераторовъ» явится онъ съ отборной аристократіей отдѣльно. Всѣ теперь бросаются здѣсь въ изданія ливрезонами, что замѣняетъ журналы. Удача «Повѣшеннаго»[1]) родила Пантеонъ, гдѣ начальники Булгаринъ и Кони. Оттого-то и ругаютъ Песоцкаго въ «Пчелѣ» и, вообще, тутъ была исторія и глупая, и преуморительная! Песоцкій тянется изъ жилъ, шумитъ, бѣгаетъ, угощаетъ, ссорится, мирится—сущая умора! «Маякъ» Корсакова и Бурачка тоже будетъ журналъ, и самый «Календарь» Теряева—тоже журналъ. Чудную спекуляцію сдѣлалъ Владиславлевъ «Утреннею Зарею»: пожертвовавши въ дѣтскую больницу 25 тыс., онъ заставилъ добраго графа Ал. Хр. разсылать и сбывать экземпляры, и продалъ ихъ—10,000! Вычти расходы, хоть 25 тыс., пожертвованіе 25 тыс.,—и чистаго барыша до 100,000 руб.; но если положить и половину, то мастерская штука! Не столь мастерскую штуку затѣялъ теперь нашъ пріятель Фариковъ: издаетъ «Исторію Наполеона», съ Вернетовыми рисунками, и я боюсь, что она разоритъ его, ибо станетъ дорого, переведена гнусно, и не думаю, чтобы пошла. Бѣлинскаго надѣюсь

[1]) Такъ называли многіе Песоцкаго, спекулянта-издателя, который началъ свое поприще изданіемъ какого-то романа: «Повѣшенный». Здѣсь Ник. Ал. упоминаетъ объ удачѣ его «Репертуара».

не видать; но онъ здѣсь, шумитъ и пакоститъ, нагло и безстыдно принимая на себя должность собаки Краевскаго... Вообще, литература русская, здѣсь, по крайней мѣрѣ,— скопище мерзости, спекуляцій, обмановъ, безталантности, безсмыслія и гадостей. Не виню самаго предмета. Что святѣе религіи? Но чѣмъ больше торговали, и какая исторія представляетъ чернаго и отвратительнаго болѣе исторіи христіанства? Я рѣшительно не нашелъ здѣсь ни одного человѣка, у котораго соединялось бы знаменіе таланта съ душею. Есть добряки, но дрянь, и все при томъ испорчено нравственно такъ, что смотрѣть и грустно, и жалко. Не говорю о молодцахъ, каковы Краевскій и Булгаринъ, шарлатанахъ, каковы Кукольникъ или Панаевъ, но что за дрянь, какъ люди (названо нѣсколько литераторовъ)! Ни въ душѣ силы, ни въ дарованіи твердости, ни въ умѣ смѣлости! Признаться, грустно, милый другъ, жить въ людской пустынѣ великолѣпнаго Петербурга, и мысль, что здѣсь надобно дожить до конца, не отдохнувъ хоть немного душею, нерѣдко печалитъ меня. Главное, что здѣсь все обращается въ интригу, средство, разсчетъ, лощится, кроется лакомъ, и тѣмъ-то все является отвратительнѣе; а обманъ и шарлатанство дошли до послѣдней крайности... Не подумай, что я смотрю на все съ черной стороны— нѣтъ! И никто отъ меня не слышитъ того, что я тебѣ говорю. Душа моя по наружности, кажется, дѣлается кротче и уживчивѣе съ другими; но это—охлажденіе ея, это, можетъ быть, то чувство, которое всякій испытываетъ, поживши и помысливши».

Вскорѣ я увидѣлъ, что предпріятіе мое — заплатить за брата моего 80,000 рублей — было неисполнимо съ моими средстами и связями. Единственные друзья, которые желали способствовать мнѣ, не имѣли свободныхъ капиталовъ, а временная помощь отъ нихъ могла ли привести къ благопріятной развязкѣ подобное дѣло? Я составилъ новый планъ, который состоялъ въ томъ, чтобы вмѣстѣ съ Смир-

динымъ купить всѣ сочиненія Николая Алексѣевича и все, что онъ будетъ писать, и, распоряжаясь хозяйственно изданіемъ и продажею его сочиненій, выручить изъ нихъ всю потребную для его платежей сумму, а чего не достанетъ, то добавить изъ своихъ капиталовъ и вознаградить ее послѣ. Разсчеты, изложенные въ письмѣ брата моего, были вѣрны; надобно было только дать ему свободу работать. Но одинъ я не могъ взять на себя всей тяжести его долговъ и хотѣлъ, чтобы Смирдинъ участвовалъ въ этомъ. Я полагалъ, что ему стоитъ только пожелать облегчить Николая Алексѣевича, и что онъ легко можетъ сдѣлать это, при своихъ обширныхъ оборотахъ, продавая въ каждый пріѣздъ въ Москву тысячъ на ето (асс.) книгъ, большею частію своихъ изданій. Не задолго онъ купилъ за 40,000 рублей право напечатать 40,000 экземпляровъ басенъ Крылова, и нашелъ же деньги для этого совсѣмъ не блестящаго предпріятія! При пособіи отъ меня, онъ почти ничѣмъ не рисковалъ бы, еслибъ купилъ всю литературную дѣятельность Николая Алексѣевича за 80,000 р., изъ которыхъ четвертую часть готовъ я былъ заплатить собственными моими средствами. Я и безъ того безпрестанно добавлялъ своихъ денегъ на платежи брата. Смирдинъ не отказывался приступить къ предлагаемому мною предпріятію, но все оттягивалъ рѣшеніе подъ разными предлогами. Я приписывалъ это разнымъ причинамъ, но отнюдь не подозрѣвалъ того ужаснаго положенія, въ какомъ онъ самъ находился и скрывалъ его тщательно. Въ ожиданіи его помощи, я больше и больше затрачивалъ денегъ за моего брата, и если бы не дѣлалъ этого, то вдругъ поставилъ бы на край бездны того человѣка, для котораго у меня не было ничего завѣтнаго. Пусть судятъ, могъ ли я поступить такимъ образомъ? Между тѣмъ, состояніе его дѣлъ и отношеній не улучшалось, а развѣ ухудшалось. Это покажутъ выписки изъ его писемъ, которыхъ не могу я приводить здѣсь вполнѣ, потому что съ сего времени они наполнялись

большею частію подробностями о платежахъ, да распоряженіями и просьбами, вовсе не понятными для современнаго читателя. Вотъ почему выписываю только то изъ писемъ моего брата за все остальное время его жизни, что характеризуетъ его или представляетъ обще-любопытныя подробности.

«Спб. Января 5-го, 1840 года.

«Въ самый день моихъ именинъ, мой любезный другъ и братъ, получилъ я твое письмо отъ 2-го, потомъ маленькое отъ 12-го, записочку отъ 23-го и, наконецъ, дѣловое, отъ 1-го января, вчера. Прости, что не могъ отвѣчать. Первое, что всякій день весь декабрь и эти дни работалъ я не менѣе 14-ти часовъ ежедневно, то есть съ пяти до четырехъ, да съ восьми до одиннадцати вечеромъ, и тутъ не могъ управиться, хоть болѣе силъ моихъ не могло достать! А при томъ не хотѣлось и приниматься за перо. Мнѣ досадно думать, что письма мои къ тебѣ походятъ на плачъ Іереміи, и ты можешь подумать, что хныкаю и малодушничаю; но, кромѣ тебя, ни съ кѣмъ не дѣлю я ничего, даже и въ семьѣ своей. Отъ радости-то отвыкъ я довольно-таки давно, но, истинно, едва силъ достаетъ на страданіе, и только вѣра спасаетъ меня! Не описывая ничего, скажу, что ужасный для меня, истерзавшій меня прошлый годъ достойно заключился декабремъ. При тяжкой работѣ, каждый день несъ досаду, скорбь, и даже 31-й день раскланялся со мною такъ, что я не встрѣчалъ Новаго года ни слезами, ни виномъ, а такъ, остеклѣлый какой-то, старался вмять его въ рядъ другихъ дней, потому что надежды у меня никакой нѣтъ и на милаго братца его, хоть онъ и высокосный. Добрести до могилы, стараться еще сдѣлать что нибудь для дѣтей и рѣшительно бросить мечту на все другое, умоляя людей только объ одномъ: «Дайте, братцы, дожить только, да и Богъ съ вами!» А когда они колотить будутъ и затѣмъ, то—кланяться имъ и говорить,

какъ Черепановъ: «Добивайте, государи мои, добивайте!»[1]) Вотъ вся перспектива остальной моей жизни. Дѣлать и работать какъ машина я могу и не перестану; чего-жъ имъ больше? Въ царствѣ слѣпыхъ и кривой королемъ бываетъ... Но бросимъ весь этотъ вздоръ. Теперь только одна мечта у меня впереди: ѣхать къ тебѣ! Къ тому лажу я все и устраиваю такъ, чтобы 1-е февраля застало меня въ дорогѣ. Другъ! кромѣ тебя, мнѣ отдохнуть негдѣ, а просто, физически, разсчитывая еще работы за январь, отдыхъ мнѣ необходимъ, и, можетъ быть, сердце мое опять отдохнетъ»...

«Спб. Января 20-го, 1840 года.

«.....обращаюсь къ тому, что составляетъ теперь предметъ моихъ заботъ и надеждъ — поѣздка въ Москву. Какъ жаль, что къ именинамъ твоимъ поспѣть никакъ не могу, но рѣшительно назначаю отъѣздъ мой (если Богъ поможетъ!) въ субботу 3-го февраля, такъ что 6-го февраля, можетъ быть, мы будемъ уже вмѣстѣ, и я прижму тебя, моего друга и брата, къ моему сердцу и у доброй Лиллы попрошу угла подъ кровомъ вашимъ, гдѣ могъ бы приклонить свою скитальческую голову. Слѣдовательно, до свиданія нашего остается не болѣе двухъ недѣль — помоги, великій Боже! дай мнѣ эту отраду жизни! Разумѣется, что всѣ ос-

[1]) Старинный профессоръ Московскаго университета, Н. Е. Черепановъ, былъ человѣкъ ученый и дѣльный, конечно, принесшій много пользы въ свое время, потому что, какъ видно изъ всѣхъ преданій, онъ отличался необыкновеннымъ прямодушіемъ, искреннимъ желаніемъ добра всякому, и при томъ рѣдкою правдивостью. Такими качествами не могъ онъ угодить своимъ ученымъ собратамъ, и они всячески тѣснили, преслѣдовали его и дѣлали ему страшныя непріятности. Отъ этой тяжкой борьбы онъ зачахъ и даже отупѣлъ въ послѣдніе годы своей дѣятельности. Наконецъ, по навѣтамъ любезныхъ товарищей, высшее начальство присудило за что-то сдѣлать выговоръ Черепанову въ полномъ собраніи Университетскаго Совѣта. Выслушавъ этотъ приговоръ, добрый старикъ всталъ, поклонился присутствующимъ, говоря: «Добивайте, государи мои, добивайте!» вышелъ и, кажется, уже не возвращался въ университетъ.

тальные дни, до самаго выѣзда, я долженъ буду работать какъ оселъ и, только садясь въ дилижансъ, покину всѣ заботы петербургскія, но за то покину ихъ на двѣ недѣли. Надѣюсь управиться такъ, чтобы безъ меня уже выдали 4-ю книжку «Сына Отечества». И такъ, тутъ дѣло рѣшенное, попляшемъ и на свадьбѣ почтеннѣйшаго, отдохнемъ, поговоримъ, поговоримъ, мой любезнѣйшій! Какъ ребенокъ радуюсь!.. Кстати о пріятномъ: 17-го января, наконецъ, дана была моя страдалица «Параша Сибирячка». Вѣроятно, и до тебя доходили слухи, что она принесла было мнѣ величайшія непріятности, но за то сперва рѣшеніе и отзывъ нашего добраго царя наградили меня вполнѣ за огорченія, а потомъ успѣхъ ея былъ неслыханный! Не смотря на четверную цѣну (за полъ-бенефиса Асенкова собрала 8,000 рублей), билетовъ недостало. Каратыгинъ, Асенкова, Сосницкій, Каратыгинъ 2-й, играли такъ превосходно, что все заливалось слезами, и меня вызвали три раза! Самъ государь былъ, и добрая, милая, обожаемая всѣми великая княгиня Марія Никалаевна такъ была растрогана, что ей сдѣлалось дурно послѣ 2-го акта, когда Параша выпрашиваетъ прощеніе отцу своему. Френетическія рукоплесканія потрясали сцену. Вчера опять театръ былъ полонъ, и я могъ бы сказать какъ Самохотовъ нѣкогда: «Въ городѣ только о томъ и говорятъ!»[1]). Другъ и братъ! въ такихъ событіяхъ не награда-ли наша, которой не могутъ отнять враги? и не миришься-ли въ такомъ случаѣ съ людьми? Благодарю Бога и благословляю царя! Всѣ подробности разскажу уже лично»...

---

[1]) Н. Ал. любилъ примѣшивать къ самымъ серьёзнымъ мыслямъ что нибудь смѣшное, комическое, и тутъ припомнилъ, что изобрѣтатель хорошей ваксы, Самохотовъ, знакомый нашъ, послѣ побѣды надъ какимъ-то другимъ ваксоизобрѣтателемъ, въ восхищеніи говорилъ намъ: «Вѣдь только и говорятъ въ городѣ объ этомъ!»

На этомъ прерываются «Записки» отца моего, Ксенофонта Алексѣевича Полеваго. Внезапная смерть не дозволила ему окончить работу, исполненіе которой онъ считалъ священнымъ долгомъ своимъ.

Издавая теперь эти «Записки», я призналъ необходимымъ довести ихъ до кончины Николая Алексѣевича Полеваго, сопоставивъ, въ хронологической послѣдовательности, письма дядя моего, Николая Алексѣевича, къ отцу моему, Ксенофонту Алексѣевичу. Изъ множества писемъ, найденныхъ мною въ столѣ отца моего, я помѣщаю здѣсь только тѣ, которыя онъ самъ отобралъ въ отдѣльную пачку, какъ бы предназначая ихъ къ включенію въ свои «Записки». Письма печатаются мною безъ всякой перемѣны и съ сохраненіемъ правописанія Николая Алексѣевича; великій знатокъ русскаго языка, дядя мой въ этомъ случаѣ часто бывалъ совершенно сознательно своеобразенъ. Изъ писемъ мною изъяты только мѣста, не представляющія общаго интереса, и то, что относится исключительно къ семейнымъ дѣламъ или касается денежныхъ разсчетовъ. Въ этомъ я руководился примѣромъ отца моего, который точно также поступалъ съ письмами Николая Алексѣевича, включенными имъ въ III часть «Записокъ».

VII.

Николай Алексѣевичъ старается упорнымъ трудомъ поддержать свои дѣла. — Поѣздка Николая Алексѣевича въ Москву, въ февралѣ 1840 года.—По возвращеніи въ Петербургъ, онъ долженъ усиленно работать, чтобы вознаградить время, употребленное на эту поѣздку.— Интриги въ редакціи «Сына Отечества».—Притѣсненія г. Бѣгичева по уплатѣ денегъ. — Какъ Николай Алексѣевичъ проводилъ Святую недѣлю въ своей семьѣ.—Ханъ-Гирей.—Новая поѣздка въ Москву, въ январѣ 1841 года.—Попытка книгопродавца Семёна не уплатить по векселю.—Выговоръ, сдѣланный Сенковскому въ цензурномъ комитетѣ. — Императоръ Николай I выдаетъ Николаю Алексѣевичу единовременное пособіе въ 2 тысячи рублей.— Разстройство дѣлъ книгопродавцевъ Семёна, Смирдина и купца Самохотова стѣсняетъ Николая Алексѣевича.— Сближеніе съ княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ.— Н. А. Кашинцевъ.—Николай Алексѣевичъ проситъ разрѣшенія осмотрѣть архивы, для сочиняемой имъ исторіи Петра Великаго, и получаетъ отказъ.

С.-Петербургъ. Февраля 8-го, 1840 года.

Суета суетствій, мой любезнѣйшій другъ и братъ! Я думалъ уже теперь быть съ тобою въ Москвѣ, и вотъ еще здѣсь, и не могу никакъ вырваться. Рѣшительно и окончательно ѣду не прежде 13-го, т. е. вторника, а ужъ окончательно 14-го. Прежде не управлюсь никакъ съ дѣлами и заботами, которыя какъ змѣи оттаиваютъ и выползаютъ со всѣхъ сторонъ, когда уже совсѣмъ готовишься раздавить ихъ. Кромѣ того, затрудняюсь важнымъ обстоятельствомъ: я такъ теперь обился деньгами, что не могу даже собрать ихъ для дороги, и для того, чтобы оставить дома. Даже смѣшно! Но, 13, 14-е уже непремѣнно ѣду.—Развѣ... Ибо мы и за будущій день ручаться не можемъ!.. Теперь меня безпокоитъ то, что 1-го февраля былъ срокъ Семёнову векселю 2,000 и еще будетъ 15—25, тоже 2,000; кромѣ того, Рыбниковой послѣдній срокъ 10-го 7,500 руб.— Нечего дѣлать! Посылаю съ сею почтою, страховымъ, еще вексель

Смирдина въ 3,000 рублей (прежде посланные векселя на 9,000 руб., надѣюсь, ты получилъ), и прошу, милый другъ, распорядиться платежемъ ей, ибо эти люди безсовѣстные и безжалостные, для которыхъ выше денегъ нѣтъ ничего.

Другая забота моя уже другого рода: видно судьбѣ неугодно, чтобы я былъ посаженымъ отцомъ почтеннѣйшаго [1]), почему, къ крайнему прискорбію, я уже долженъ отказаться, и попросить только сохранить для меня кусокъ свадебнаго пирога и бокалъ вина. Если я выѣду и 13-го, то пріѣду только въ пятницу, 16-го, послѣдній день, когда вѣнчаютъ. Ну, если въ дорогѣ задержусь, положимъ — бѣда! Почтеннѣйшій въ недѣлю мясопустную будетъ не молодымъ, и не женатымъ счастливцемъ, а старымъ холостякомъ... Нѣтъ, нѣтъ! да благословитъ его Богъ! Передай ему полное родительское благословеніе, и пропойте ему радостное: Ісаія ликуй! а я, какъ огурчикъ, явлюсь плясать на свадебномъ пирѣ. Заступи мое мѣсто ты, или распорядитесь иначе, только изъяви почтеннѣйшему сильную грусть мою, что я невольно лишенъ наслажденія быть его отцомъ. Что дѣлать!..

Болѣе ничего не пишу, и писать отсюда уже не буду, а лично предстанетъ тебѣ, твой вѣрный и преданный Николай.

С.-Петербургъ. Марта 2-го, 1840 года.

Слава Богу, мой добрый другъ и братъ, вчера воротился я благополучно въ Петербургъ, часу въ 3-мъ пополудни. Первымъ словомъ моимъ да будетъ благодарность Провидѣнію за нѣсколько усладительныхъ минутъ бытія, которыя провелъ я съ тобою, и съ твоими. Благодарю тебя, благодарю Лиллу, Амалію, дѣтей, маманъ за всю любовь, всю дружбу, какую видѣлъ и испыталъ я. Теперь опять въ

---

[1]) Петръ Алексѣевичъ Ратьковъ женился въ то время на нашей гувернанткѣ, молоденькой и хорошенькой нѣмкѣ, Каролинѣ Карловнѣ,— фамиліи ея не помню. Н. К. Полевой.

путь—«многотрудный и многоболѣзненный» съ новыми силами, съ новыми мечтами и средствами. Благослови Провидѣніе! за десять дней, прожитыхъ у тебя, я готовъ на годъ борьбы. Дорога была мнѣ порядочная, но меня однакожъ совершенно исковеркало; ноги мои ужасно распухли, и я какъ убитый спалъ вчера послѣ обѣда и сегодня ночью, а теперь отъ боли въ рукахъ едва держу перо и хочу ѣхать въ баню, а потомъ проваляться остальное время. Завтра—опять за работу, и—помоги мнѣ Богъ, потому что когда соображу, что̀ надобно дѣлать, признаться, голова моя идетъ кругомъ! Но я смѣлъ и твердъ! Только ты дай мнѣ руку, съ увѣренностью, что я могу ошибаться, но никогда не измѣню! Своихъ всѣхъ нашелъ здоровыхъ: мальчишко Петръ не узналъ было меня, небритаго, въ дорожномъ безпорядкѣ, но потомъ бросился ко мнѣ, заставилъ скакать, пока я не выбился изъ силъ, плакалъ, когда я отдалъ его нянькѣ, и я принужденъ былъ спрятаться отъ него. Какой ангелъ! Дѣвочка Катя тотчасъ завладѣла платочкомъ, который дали мнѣ на дорогу, восхитилась имъ, выпросила себѣ, и играла имъ цѣлый день, а потомъ положила на ночь подлѣ себя. — Что говоритъ Сержъ [1]) о Тьерѣ? Добился таки. Новаго здѣсь ничего; съ Новгорода встрѣтила меня оттепель.— Мой поклонъ всѣмъ твоимъ и мое благословеніе твоимъ малюткамъ. Руку твою, добрый братъ и другъ. Твой Николай.

С.-Петербургъ. Апрѣля 10-го, 1840 года.

Виноватъ, каюсь передъ тобою, мой добрый братъ и другъ, каюсь, что безпокоилъ тебя моимъ мѣсячнымъ молчаніемъ. Вотъ уже мѣсяцъ, какъ я не писалъ къ тебѣ, и дѣло заключалось въ глупости моей; вздумалось мнѣ дать себѣ слово: ничего не писать, пока не кончу «Сына Отечества» вполнѣ, и я принялся усердно исполнять обѣщаніе,

[1]) Сергѣй Дмитріевичъ Полторацкій.

данное мною въ минуту досады и горя. Брани меня, прибей, но не сердись и прости, мой милый! Слово свое я исполнилъ: XI-й выйдетъ, думаю, завтра (25 листовъ!), XII-й вполнѣ готовъ (25 листовъ) и въ половину напечатанъ; 5-й и 6-й выданы, 7-й готовъ матеріаломъ, хотя напечатать до Святой не успѣютъ, но на Ѳоминой явится. Если положимъ по 12 листовъ — 36, да въ двухъ 50, и того въ мѣсяцъ исписалъ я самъ и приготовилъ къ печати болѣе 75 листовъ печ. Конечно, стоило бы меня похвалить за трудъ, но то, что тебя огорчилъ и заставилъ Богъ знаетъ что думать, душевно печалитъ меня, и я не успокоюсь, пока не получу твоего прощенія. За то даю слово: никогда болѣе такъ долго не молчать, но и еще болѣе—писать къ тебѣ каждую недѣлю. Увидишь, что я сдержу его, и отнынѣ, если не получишь письма черезъ недѣлю ровно, то будетъ знàкомъ, что я развѣ боленъ и писать не могу—каждую недѣлю, хоть три строчки, хоть три слова. Такъ, да будетъ—второе условіе: не стану дѣлать изъ писемъ моихъ іереміадъ и элегій. Что жаловаться? Поможетъ ли гореваніе, бабье свойство? Если досады и печали не отъ насъ,—крѣпиться, если отъ насъ—мы платимъ за свои вины. Будемъ дѣйствовать, елико можно; а остальное отдадимъ Вѣдающему болѣе насъ.—Во все это время было мнѣ досадъ довольно: не говорю о разницѣ, когда я пріѣхалъ отъ тебя, гдѣ видѣлъ столько ласки дружбы, гдѣ такъ лѣнился тѣломъ и душею, и я вдругъ опять очутился между петербургскими молодцами, за тяжкою работою, среди мерзкой погоды, полубольной... Къ несчастію, ты знаешь, что дома у меня есть нѣсколько отравъ, разрушающихъ мое домашнее счастье, или хоть спокойствіе. Мой другъ! ты еще не знаешь горя того времени, когда надобно думать о моральномъ образованіи дѣтей.—Это время гораздо тяжеле того, когда забота ограничивается физическими попеченіями. Я полагалъ немедленно приступить къ отправленію мальчиковъ въ Верро; встрѣчаются препятствія, изъ коихъ глав-

ное—проклятыя деньги!—Присовокупя ко всему этому мое разстроенное здоровье, да работу довольно-убійственную, можешь согласиться, что дома было мнѣ невесело, невесело даже среди милыхъ мнѣ дѣтей.— И опять разлука съ тобою, послѣ недѣли житья, да и многое... Но теперь о внѣшнемъ. Тутъ я вовсе не ожидалъ непріятностей; но можно ли безъ того, чтобы не дернуть по сердцу чѣмъ нибудь. И вотъ главное было то, что въ мое отсутствіе успѣли наклеветать Богъ знаетъ что̀ на меня моему доброму Смирдину, съ одной стороны Брамбеусъ, послѣ перстня и похвалы снова обновившій на него сильное вліяніе; съ другой Никитенко, который думаетъ, что я за «Сына Отечества» Богъ вѣдаетъ какъ держусь, и старается захватывать его въ свои руки. Смирдинъ человѣкъ добрѣйшій, такой, какихъ я мало видалъ; онъ—оживленная честность и благородство, но—за то и чудакъ какихъ мало! Я узналъ уже манеру, какъ съ нимъ обходиться; повелъ дѣло просто, мы объяснились—все разсѣялось; Никитенкѣ растолковалъ я, что мое первое желаніе—бросить проклятую журналистику. Но пока все это уладилось, досадно было; и тутъ я далъ слово кончить «Сынъ Отечества» къ Святой и не писать ничего, кромѣ только глупыхъ статей въ него. Между тѣмъ, мой любезнѣйшій, у насъ всѣ будущія мечты о моемъ спокойствіи соединились именно здѣсь—что̀ было дѣлать? И все оказалось къ лучшему: я успѣлъ уже обо всемъ объясниться съ А. Ф.; онъ подтвердилъ, что охотно готовъ помочь мнѣ, предоставляя полное распоряженіе дѣломъ тебѣ; но невозможно было приступить къ окончательному распоряженію, особливо при безднѣ дѣлъ, досадъ и хлопотъ, которыя окружаютъ все это время самого А. Ф. — Я сокрушался, какъ ты управишься съ моими глупѣйшими дѣлами въ Москвѣ, какъ вдругъ тутъ подоспѣла твоя записка о выданныхъ Мих. Фил. векселяхъ. Между тѣмъ случилось еще особенное: благороднѣйшій изъ смертныхъ [1])

[1]) Г. Бѣгичевъ.

вдругъ взбѣсился, началъ требовать своихъ денегъ, мучить меня! Что такое? Дѣло объяснилось, что пріѣхалъ къ нему отвратительный Наумовъ; знаешь, та гнусная фигура, которую всегда увидишь въ Англійскомъ клубѣ, и которая управляетъ дѣлами благороднѣйшаго въ Москвѣ. Онъ привезъ мои векселишки, и растолковалъ, что на нихъ подписана уплата далеко не вся. Что, думаешь ты, сдѣлалъ благороднѣйшій? То же, что нѣкогда Злотницкій: «Тотчасъ подлость сдѣлалъ — заперся!» и только съ условіемъ, что я отдамъ по ихъ разсчету, согласился онъ подождать, съ безстыдствомъ отпираясь отъ неподписанной на векселѣ уплаты. Кажется, и мучили они меня для того только, чтобы сорвать съ меня лишніе 1,500 рублей. Я согласился, тѣмъ болѣе, что у меня и доказательствъ нѣтъ никакихъ, кромѣ совѣсти. Но они тотчасъ потребовали, чтобы ты за меня поручился, почему и отправилъ я къ тебѣ два мои векселя, писанные на твое имя, каждый въ $2^1/_2$ тысячи рублей, въ 6 и 9 мѣсяцевъ. Сдѣлай милость: надпиши на нихъ бланки, что будетъ все равно, что поручительство, и поскорѣе перешли ихъ ко мнѣ обратно, чтобы я могъ отдать ихъ благороднѣйшему изъ смертныхъ. Все это происшествіе только смѣшило меня, напоминая исторію съ Старичкомъ, у котораго, помнишь, отняли 25 рублей мѣдныхъ денегъ бабушка и другіе. Я хочу только въ маленькое мщеніе, потомъ, когда заплачу, вывести и благороднѣйшаго въ комедію, какъ человѣка, чиновника и литератора. — Вотъ тебѣ, мой любезнѣйшій, всѣ главныя дѣловыя подробности во все это время. Особливо по возвращеніи, я былъ вообще очень боленъ, особливо сначала, весь разломанный; но, однако же, дорога и житье у тебя меня спасли, и я опять теперь окрѣпился. Надѣюсь, что успокоеніе и житье за городомъ окончательно укрѣпятъ меня. Что если бы ты съ Лилой вздумалъ лѣтомъ пріѣхать? Но для чего толковать о несбыточномъ?—Какъ почтеннѣйшій сюда ѣдетъ: то есть совсѣмъ ли, или только на время?

Касательно напечатанія «Параши», то я искренно предаю это въ твою волю. Если находишь нужнымъ и полезнымъ, напечатай ее, какъ она помѣщена въ «Репертуарѣ», и съ посвященіемъ сестрѣ [1]); а если бы еще молвить нѣсколько словъ тебѣ вздумалось о самомъ событіи, то для заглавнаго листа это было бы хорошо. Ты требуешь оригинала, но я не понимаю какого? Съ печатнаго набрать вновь позволятъ и въ Москвѣ немедленно, а въ особенную цензуру она уже нейдетъ. Форматъ надобно либо 8, или 12-ю. Здѣсь «Парашу» во вторникъ на Святой даютъ нѣмцы и посылаютъ немедленно въ Берлинъ, а также къ осени хотятъ ее поставить и французы. Вышлю нѣсколько литографій главныхъ сценъ ея, изъ которыхъ прекрасна Тима [2]), — молодого художника съ дарованіемъ. — Дѣти у меня всѣ здоровы; у Петра уже 4 зуба, и того и ждемъ, что онъ пойдетъ.—Песоцкій ѣдетъ на Святой къ вамъ, и Булгаринъ собирается. Глинкѣ позволили издавать журналъ, и, кажется, составляется новая компанія, гдѣ главнымъ будетъ Князько [3]), ибо съ «Отечественными Записками» всѣ они перессорились, и «Отечественныя Записки» должны нынѣшній годъ упасть; имъ страшный убытокъ! Журналовъ время кончилось, мой любезнѣйшій, по крайней мѣрѣ въ той формѣ, началомъ которой былъ «Телеграфъ», а концомъ будутъ «Отечественныя Записки». Иные дни, иные годы!—Слышалъ ли ты о наградѣ Ободовскаго золотою медалью за его сочиненія, которыхъ ни одного у него не было, ни на сценѣ, ни въ печати, кромѣ отрывка изъ трагедіи какой-то? Все остальное были переводы, и все это темныя и гибкія интриги!!. Слышалъ ли еще о смерти Демидова и мерзавца Галченкова, послѣ котораго остались милліоны? Вотъ, батюшка, не спасли, да и какой же

---

[1]) Екатеринѣ Алексѣевнѣ Авдѣевой.

[2]) Впослѣдствіи извѣстный издатель «Художественнаго Листка».

[3]) Князь Одоевскій. Н. К. Полевой.

былъ ражій здоровякъ! Въ Петербургѣ таскаютъ теперь исторію Лермонтова—глупѣйшую! Апрѣля 6-го шелъ у насъ снѣгъ. Маркевичъ [1]) здѣсь и сумасшествуетъ. Сколько новостей! Дай руку, и если не головѣ, такъ вѣрь сердцу твоего Николая.

С.-Петербургъ. 18-го апрѣля, 1840 года.

Поздравляю тебя, мой добрый другъ и братъ, съ праздникомъ. Надѣюсь, что ты встрѣтилъ его весело въ кругу твоихъ милыхъ и родныхъ; припомнилъ и меня, какъ я тебя припоминаю при всѣхъ подобныхъ случаяхъ, нѣкогда составлявшихъ эпохи нашей жизни. Помнишь, съ какимъ, бывало, восторгомъ ждемъ мы Пасхи, съ ея заутренею, пасхою, яичками, и какъ долго, бывало, тянется для насъ Великій постъ? Очарованный возрастъ дѣтства! Право, я готовъ бы промѣнять его, иногда, на тяжелый періодъ самосознанія человѣческаго; и чѣмъ болѣе, тѣмъ хуже; очарованія разсѣваются, сперва съ замѣною, а потомъ замѣна становится менѣе и менѣе пока, наконецъ, рѣшительно мы только теряемъ, не пріобрѣтая. — Если ты меня спросишь: гдѣ провелъ я первую ночь Пасхи?—я буду тебѣ отвѣчать, какъ знаменитый Ѳедоръ Андреевичъ отвѣчалъ Старичку: «въ острогѣ-съ»! Именно: здѣсь въ церквахъ бываетъ такая тѣснота, что испытавши по два года, каково быть у заутрени къ Казанскомъ соборѣ и въ приходской церкви, нынѣ отправился въ острогъ, или Литовскій замокъ, какъ его здѣсь учтивѣе называютъ, гдѣ было очень хорошо и просторно. Возвратясь домой, завалился я спать, потому что, по обыкновенію, не сплю до самой заутрени, ибо и безъ того никогда ранѣе часу не ложусь. Едва только всталъ я, какъ ко мнѣ прибѣжали съ извѣстіемъ, что мой ангелъ Петръ пошелъ! Лучше подарка не могли мнѣ придумать! Бѣгу, и вижу, что окруженный толпою дѣтей и домаш-

[1]) Поэтъ Н. Маркевичъ. Ник. Ксен. Полевой.

нихъ, которые всѣ его любятъ, онъ въ праздничной рубашечкѣ, идетъ по залѣ, хохочетъ самъ отъ удовольствія, и кричитъ: «папа!» Я глупъ сталъ нынѣ на радости, и невольно заплакалъ, обнимая моего милаго сынишка. Потомъ принялись за пасху и прочее. Отъ визитовъ я и здѣсь отказался, а у меня визиты установились обыкновенные, какъ въ Москвѣ, гдѣ, бывало, напередъ знаешь, что придутъ Самохотовъ, Мочаловъ, Илья Дмитріевичъ, Граверъ, пріѣдетъ Штучка и проч. [1]). Такъ и здѣсь: Песоцкій, Каратыгинъ, Сушковъ, Булгаринъ, и проч. Между тѣмъ, я засѣлъ писать стихи для маманъ, которые при семъ препровождаются, а затѣмъ пошелъ къ дядѣ [2]), котораго засталъ красноватаго, за окорокомъ и пасхою, среди множества визитующихъ старика. Онъ выпилъ уже съ разными приходящими семь рюмокъ водки, что для него все равно, что семь капель для насъ съ тобою. Такъ провелъ я утро, а вечеромъ пришли разные гости.—Во вторникъ отправились мы въ нѣмецкій театръ, гдѣ давали «Парашу», и играли очень мило. Моръ, прекрасно переведшій ее, занималъ роль отца, и былъ три раза вызванъ, что у нѣмцевъ рѣдкость, ибо они скупы на вызовы. Добрые нѣмцы и нѣмки заливались слезами. Въ среду отправился съ дѣтьми подъ качели, пѣшкомъ (бѣдняжки такъ мало видятъ удовольствій при нашей однообразной жизни), завелъ ихъ пить шоколадъ къ Беранжеру, отчего Сергѣй былъ въ восторгѣ, и потомъ осмотрѣли мы балаганы и качели. Вотъ и вся моя праздничная жизнь,

---

[1]) Самохотовъ, извѣстный въ то время торговецъ москательными товарами.

Илья Дмитріевичъ, одинъ изъ родственниковъ Николая Алексѣевича.

Граверъ, дѣйствительно граверъ, работавшій для «Московскаго Телеграфа».

Штучка—книгопродавецъ Ширяевъ, котораго звали такъ вслѣдствіе странной привычки его называть все штучкой. Такъ называлъ онъ книгу, дѣло какое нибудь, человѣка, событіе. Н. К. Полевой.

[2]) Г. Зейдель. Ник. Ксен. Полевой.

при чемъ я съ понедѣльника засѣлъ уже за работу, спѣша оканчивать, а съ четверга, сегодня, уже началась работа въ типографіяхъ. Во все это время я чувствовалъ себя хорошо. У Петра, кромѣ ходьбы, явился еще зубъ; остальныя дѣти здоровы. Погода три дня стояла самая гибельная визитерамъ, которые здѣсь приходятъ на праздникахъ въ какое-то френетическое состояніе, дѣлая тысячи визитовъ, но со среды настоящая весна; даже улицы почти высохли, хотя въ субботу шелъ еще снѣгъ. Но здѣсь уже такъ заведено, по какому-то чухонскому календарю. Я хотѣлъ было нынѣшнее письмо наполнить тебѣ дѣлами, но какъ-то не то оно написалось. Пусть же такъ и будетъ! Упомяну только объ одномъ: я писалъ тебѣ о томъ, что оставилъ у почтеннѣйшаго векселишка Песоцкаго, по которому хотѣлъ Шарикъ [1]) дать денегъ; то—или у него, или у другихъ—нельзя ли мнѣ добыть, и, за уплатою процентовъ Логинову (150 рублей), остальныя ко мнѣ выслать черезъ почту? Я теперь крайне нуждаюсь въ нѣсколькихъ сотняхъ на насущное прожитіе, пока устрою кое-какія дѣлишки. Мнѣ совѣстно тебя этимъ отягощать, но, право, здѣсь у меня средствъ нѣтъ, а вѣдь существовать безъ хлѣба нельзя.—Каково было свиданіе друзей «почтеннѣйшаго» и Песоцкаго? Жаль, что меня не было при томъ; я произвелъ бы смѣхъ.—Посылаю мое благословеніе всѣмъ твоимъ малюткамъ, цѣлую ручку Лиллинкѣ, и есмь всегда неизмѣнный твой

Николай.

С.-Петербургъ. 2-го мая, 1840 года.

Виноватъ, я пропустилъ одинъ четвергъ, не писавши къ тебѣ, мой любезный другъ и братъ. Не знаю, извинишь ли меня, узнавши причину: эта прошедшая недѣля была для меня ужасна по воспоминаніямъ — 25-го апрѣля мой божественный Алексѣй, ровно годъ тому, заболѣлъ; 29-го

[1]) Типографщикъ Селивинавскій. Н. Кс. Пол.

апрѣля годъ минулъ, какъ онъ сталъ не мой, а Божій, и вчера, 1-го мая, годъ, какъ предалъ его матери-землѣ, отмѣривъ подлѣ него и себѣ могилу—да, и себѣ: я непремѣнно подлѣ него лягу и, кажется, не запоздаюсь, но это дѣло постороннее! Годъ прошелъ, а рана точитъ кровь, и скорбь и терзаніе души дѣлало меня получеловѣкомъ во всѣ сіи дни, ознаменованные такими грустными, тяжкими воспоминаніями! Какъ машина, могъ я скрываться отъ другихъ, могъ дѣлать, что надобно механическое, но писать къ тебѣ не могъ—только-что принимался, слезы душили меня, и я бросалъ перо. Тутъ не пособлялъ ни умъ, ни размышленія и ничто. Не вини меня, и моли Бога, да избавитъ онъ тебя, моего друга, отъ такого испытанія! Все другое, но не это только; и кого потерялъ я? Не пиши ко мнѣ никакихъ утѣшительныхъ словъ, потому что я самъ напередъ знаю все, что можно сказать въ сихъ случаяхъ. Довольно. Умъ, или разсудокъ, или безчувствіе, опять теперь преодолѣли; я могу опять существовать. Но прости меня, что и теперь еще не въ силахъ я писать тебѣ ни о чемъ подробно, и особливо о дѣлахъ. Дай мнѣ еще день, два, три; я соберусь съ идеями, съ мыслями и напишу обо всемъ.—Я получилъ два векселя твои и 600 рублей денегъ, за что усердно благодарю. Думаю, къ тебѣ являлся уже съ письмомъ отъ меня мой сосѣдъ и пріятель Ханъ-Гирей, замѣчательное лицо, потомокъ Одигея по происхожденію, черкесскій князь по роду, полковникъ и флигель-адъютантъ по званію, европеецъ по уму и образованію, философъ и человѣкъ по душѣ и сердцу. Онъ чрезвычайно полюбилъ меня и говорилъ мнѣ при прощаньи, что я могу пройдти всѣ черкесскія горы, если захочу, ибо онъ заручитъ жизнь мою среди самыхъ свирѣпыхъ и непримиримыхъ ауловъ горскихъ. Бесѣды съ нимъ услаждали меня. Мы много говорили о черкесахъ, и онъ измѣнилъ всѣ мои понятія, изобразилъ мнѣ въ настоящемъ видѣ этотъ странный, первобытный міръ человѣчества, котораго не понимаютъ евро-

пейцы. Ему хотѣлось тебя видѣть, и надѣюсь, ты былъ милъ съ нимъ. — Пріѣхавшій изъ Орла извѣстилъ меня о смерти малаго харчи, В. О. Холодовича [1]). Признаюсь, мнѣ грустно было о томъ услышать—мы знали его съ 1810 года, вотъ уже почти 25 лѣтъ—Курскъ и 1810 годъ, Петербургъ и 1840 годъ—сколько тутъ воспоминаній! Я здоровъ; мои всѣ—тоже, хоть время у насъ точно пренесносное и такой холодъ былъ въ послѣдніе дни, что мы топили печи. Шелъ даже снѣгъ, послѣ того, какъ половина Святой была претеплая. Теперь несетъ горы льду изъ Ладожскаго озера въ море; мосты безпрестанно разводятъ, и ѣхать за городъ еще и думать нельзя, впрочемъ, полагаю остаться на время въ городѣ, отпустивъ семейство на дачу, чтобы кончить здѣсь разные вздоры и перетолковать съ Смирдинымъ окончательно; онъ ѣдетъ въ половинѣ или концѣ мая къ вамъ, въ Москву, и потомъ хочетъ ѣхать въ Варшаву и къ Макарью, такъ, чтобы проѣздить все лѣто, что ему и необходимо сдѣлать. Всѣ дѣла свои хочетъ онъ окончательно устроить и привести въ порядокъ; безпорядокъ и безтолковица ихъ и собачья жизнь ему надоѣли, да и пора ужъ надоѣсть!

Мой поклонъ всѣмъ твоимъ и благословеніе дѣтямъ, твой братъ и другъ

Николай.

С.-Петербургъ. 12-го января, 1841 года.

Наконецъ, мой любезнѣйшій другъ и братъ, по многотрудномъ и многоболѣзненномъ пути, прибылъ я въ Петербургъ, и при сей перетрускѣ привезъ цѣлы не только мои кости, но и всю шарабару, что меня порадовало, ибо тебѣ извѣстно правило: «и лйчко давай, и оно пригодится!» Къ прискорбію моему, засталъ я Петра моего

[1]) В. О. Холодовичъ, старинный пріятель всей семьи Полевыхъ. Н. Кс. Пол.

больнымъ и какъ скелетъ похудѣвшимъ. Ко мнѣ не писали, что все время моего отсутствія бѣдняжка былъ опасно боленъ. Самъ я изряденъ, хоть изломанъ, ибо ночевать нигдѣ не рѣшался, а уже все ѣхалъ безостановочно, и съ Новгорода дорога была пренесносная, такъ что мы едва добрелись къ вечеру; жестокими вѣтрами дорогу передуло и насыпало сугробы снѣгу. Спать на подмосткахъ оказалось неудобно: не въ мои, видно, годы и не съ моими костями. Богъ мой! молодость-то: бывало, скачешь по мостовой въ телѣгѣ и спишь! Еще смѣшное: дорогой пропалъ у меня аппетитъ, и за $3^1/_2$ дня питался я только чаемъ и калачами, но подумать не могъ о супѣ и жаркомъ. За то провизіею maman угощаю теперь домашнихъ, и дѣти въ восторгѣ отъ гостинцевъ, пирожковъ и варенья. Добрая маманъ запасла мнѣ провизій и лакомствъ на недѣлю, даже положила соли, ножъ, вилку. Прошу поцѣловать ей ручки, а равно и Лиллѣ, о которой не замедли увѣдомить, какова она? Ея здоровье терзаетъ меня, едва только вспомню, а часто ли помню я о тебѣ и всѣхъ твоихъ — можешь вообразить самъ. Болѣе ничего еще не могу писать — и голова, и тѣло, и душа, просятъ отдыха. Все у меня какъ будто въ туманѣ вертится — Москва, Петербургъ, ты, возвращеніе домой, наше московское гореванье, новыя мечты, опасенія, надежды!.. Останемся тверды въ одномъ: «терпѣть и уповать!» Упованіе наше не посрамитъ насъ, а что, между тѣмъ, пошлетъ судьба, будемъ переносить, охать, но не падать. Какъ быстро потомъ можетъ все перемѣниться! Какъ тѣ же люди явятся друзьями и ангелами, которые теперь враги и демоны! Какъ расцвѣтетъ будущность — и если трудъ надобенъ для того, намъ ли его бояться! Словомъ, я отдохнулъ у тебя, ощупалъ пропасть и вижу какую-то оживляющую надежду при тяжкомъ настоящемъ. Перецѣлуй своихъ дѣтишекъ и благослови ихъ отъ меня. Союзъ и вѣра въ будущее — еще разъ!

Твой Николай.

С.-Петербургъ. Января 18-го дня.

«Время летитъ и вѣчность приближается!» — говоритъ Августинъ.—«Время гибнетъ»,—говоритъ Хорча.—«Время золотое течетъ невозвратно!»—писалъ Старичокъ.—Да, мой любезнѣйшій, едва оглянешься, уже день и недѣля, мѣсяцъ и годъ. Вотъ уже девятый день, какъ я разстался съ тобою, и завтра недѣля, какъ я въ Петербургѣ. По пріѣздѣ моемъ тотчасъ я писалъ къ тебѣ, и теперь, прежде всего, поспѣшу сказать о себѣ — не изъ эгоизма, но зная, какъ дорожишь ты тѣмъ, и что на томъ основывается для насъ многое, — сказать, мой любезнѣйшій другъ и братъ, что, благодаря Бога, я чувствую въ здоровьи своемъ неожиданную перемѣну. Долго, думалъ я, даже и не оправлюсь; но, напротивъ, отдохнувъ послѣ дороги, я чувствую себя какъ будто перерожденнымъ. Если бы не опухоль въ ногахъ, все еще не совсѣмъ прошедшая, да не осторожность въ пищѣ, которую я соблюдаю, то, признаюсь, я давно уже не помню себя столь хорошо. Голова, сонъ, аппетитъ, все у меня прекрасно; никакой боли нигдѣ; грудь укрѣпилась мгновенно; силы быстро возвратились. Неужели Провидѣніе и здѣсь хочетъ показать намъ свою благость? Сознаю ее и спѣшу прибавить, что, однакожъ, моего добраго состоянія во зло я не употребляю: въ ѣдѣ, въ работѣ, во всемъ стараюсь соблюсти, елико можно, умѣренность, хоть на работу такъ и рванулся бы теперь, какъ воронъ на кровь... Надѣюсь, милый другъ и братъ, что мое извѣстіе тебя порадуетъ. Если бы еще услышалъ я отъ тебя, что доброй Лиллѣ лучше, что ты самъ поправляешься, то надежда на приближеніе весны, которая всѣмъ намъ придастъ жизни, радовала бы меня еще болѣе. Предадимся упованію! Обращаюсь къ дѣламъ: прежде всего поспѣшилъ я обдѣлать «Синихъ и Зеленыхъ» [1]) и, кажется, въ среду, т. е. 22-го числа, отправлю къ тебѣ ихъ совсѣмъ подписанныхъ. Тогда

[1]) Романъ Николая Алексѣевича, который онъ переименовалъ въ «Византійскія Легенды» и продалъ Ксенофонту Алексѣевичу. Предпріятіе это было чрезвычайно неудачно, какъ читатели увидятъ изъ его письма, отъ 22-го марта 1842 года. Н. Кс. Пол.

останется поскорѣе перепечатать листочки, обвернуть книженки покрасивѣе и выпустить ихъ. Теперь спѣшу отдѣлаться отъ 2-й книжки «Русскаго Вѣстника». Гречъ приходилъ въ отчаяніе, не видя меня, даже занемогъ съ горя, боясь, что все предпріятіе разрушится, но я его разувѣрилъ, и онъ съ трепетомъ ждетъ окончанія моей работы, безпрестанно приходитъ и охаетъ. Разумѣется, что я принужденъ скорѣе удовлетворить его, а потомъ примусь, не медля, за маленькую «Исторію». Работы впереди бездна, но бояться ея я не привыкъ, и охота теперь у меня смертная, только достало бы силъ. Между тѣмъ, я получилъ уже твое письмо отъ 10-го. Благодарить ли тебя за него? Говорить ли о чувствѣ моемъ при его чтеніи? Слова не нужны, мой милый другъ и братъ... но спѣшу отвѣчать на то, что въ немъ говорится о мерзкихъ нашихъ сплетняхъ: у Смирдина взялъ я векселей еще на 10,000 рублей на твое имя и почтеннѣйшій вѣроятно еще вчера послалъ ихъ къ тебѣ. Далѣе, право, не знаю, что объ немъ и сказать и какъ онъ изворотится, не понимаю! Стану еще съ нимъ говорить. Онъ толкуетъ о своихъ мечтахъ, о пособіи, какое ему обѣщаютъ; но бѣда въ томъ, что какъ теперь извороtиться! Признаюсь, это терзаетъ меня, когда я воображаю твое затруднительное положеніе. Вотъ потому-то меня взбѣсила новая подлость Семѣна, о которой пишешь ты въ письмѣ къ Ратькову! Этотъ мерзавецъ со слезами умолилъ меня въ прошломъ году дать ему вексель, заклиналъ не говорить тебѣ, и увѣряя, что онъ въ первый срокъ заплатитъ его. Я, скотина, еще разъ согрѣшилъ, не сказалъ тебѣ, и вотъ этому-то векселю былъ срокъ 1-го—10-го числа, и ты заплатилъ по немъ. Я посовѣстился нынѣ даже подтвердить объ немъ Семѣну, надѣясь, что это святой долгъ для него, а онъ и подлый Гларнеръ говорятъ тебѣ, что даже и не знаютъ, какой это вексель! Умоляю тебя простить мнѣ послѣдній грѣхъ, а къ Гларнеру[1]) при-

[1]) Приказчикъ Семёна, впослѣдствіи извѣстный книгопродавецъ въ Петербургѣ.

лагаю письмо, которое прошу, запечатавши, передать, и, вслѣдствіе сего, если ты по этому векселю заплатилъ, то отнюдь платить не должно по моему векселю 11-го—20-го числа, а надобно, чтобы Семѣнъ заплатилъ уже и по своему и по моему, ибо, давши ему вексель, коему срокъ былъ 1-го—10-го числа, я не взялъ съ него оборотнаго, а онъ взялся, что этотъ мой вексель самъ заплатитъ и очиститъ. Въ вящшее доказательство прилагаю письмо Гларнера, полученное мною при векселяхъ въ бытность мою у тебя въ прошломъ году (я пріѣхалъ 17-го, а уѣхалъ 27-го февраля).

Они только и оставались, которые платить должно было мнѣ. Гларнеръ въ письмѣ упоминаетъ о седьмомъ векселѣ, который я далъ ему тогда, именно не по просьбѣ, а по молитвѣ Семѣна, написавъ его не 15-го, какъ Гларнеръ упоминаетъ, а отъ 1-го января, который они потомъ и выдали Кутухѣ. Неужели они рѣшительно отъ всего отопрутся? Ради Бога, за ихъ подлость, причиненное тебѣ безпокойство и за оскорбленіе меня, выговори ей хорошенько, представь имъ всю безнравственность ихъ поступка, и настой, чтобы они заплатили непремѣнно мой вексель Кутухѣ, и тѣмъ загладили свой подлый обманъ. Ты не повѣришь, какъ взбѣсили они меня этимъ, и я было, сгоряча, написалъ имъ ужасное письмо, но обдумалъ и только прошу успокоить меня твоимъ прощенімъ за мою легкомысленную доброту; клянусь, что она послѣдняя!..... Окончивши другія обязательства, я брошу деньги и этимъ гарпіямъ въ человѣческомъ видѣ; до тѣхъ поръ забудемъ объ нихъ!—Мечты, можетъ быть, но утѣшительныя мечты теперь оживляютъ меня. Можетъ быть, нынѣшній годъ рѣшительно спасетъ меня и обезопаситъ тебя. Умоляю тебя уповать на Бога и вѣрить моему сердцу; безъ этой вѣры твоей—я опять упаду и погибну, но съ ней я еще двину горы съ мѣста, мой любезнѣйшій, только бы Провидѣніе немного пощадило меня! Чтобы развлечь грустное, скажу

тебѣ, что почтеннѣйшаго нашелъ я здороваго и въ величайшихъ хлопотахъ и заботахъ. Дѣло у него идетъ славно, и 16-го, въ день именинъ его, просидѣлъ у него вечеръ съ семействомъ. Народу въ лавкѣ у него всегда толпа, такъ что иногда пообѣдать ему некогда.—Видѣлъ я Булгарина, который помѣшанъ на «Экономѣ»; видѣлъ и другихъ мерзавцевъ и негодяевъ, но новаго, но особеннаго ничего нѣтъ. Главное по литературѣ теперь выговоръ, какой сдѣланъ Сенковскому въ цензурномъ комитетѣ по поводу мерзкой статьи его о свѣтящихъ червячкахъ, въ 12 № «Биб. для Чт.» 1840 г., въ которомъ обругалъ онъ здѣшнее Благородное собраніе. Всѣхъ журналистовъ для того собирали, и подтвердили имъ, что если еще кто сдѣлаетъ что нибудь подобное, то журналъ его запретятъ, и редактору запрещено будетъ всякое малѣйшее участіе въ другихъ журналахъ.

Сенковскій струсилъ, извинялся, написалъ письмо къ директору собранія, гдѣ униженно проситъ прощенія, ибо члены собирались уже бить его, драться съ нимъ, и проч.—и это литература!.. Глинка хотѣлъ было въ цензурномъ комитетѣ говорить рѣчь, но ему не дозволили, и всѣ журналисты обязались подпискою въ слышаніи выговора и предписанія. Впрочемъ, все обстоитъ попрежнему, глупо, гадко и мерзко, какъ по журнальной, такъ и по книжной части. Да и чего ждать?

С.-Петербургъ. 28-го января, 1841 года.

Можешь ли сомнѣваться, любезный братъ и другъ, что я искренно поздравлялъ тебя въ воскресенье со днемъ твоихъ именинъ и также поздравляю теперь. Надѣюсь, что въ кругу доброй семьи своей ты провелъ этотъ день весело, а вырвать веселый день у судьбы—выигрышъ. Я велѣлъ испечь сладкій пирогъ, и мы торжественно ѣли его и вспоминали тебя, говоря, что ты, конечно, въ то время объ насъ вспомнилъ. Вмѣсто подарка поспѣшу подѣлиться съ

тобою весьма пріятнымъ извѣстіемъ, тѣмъ болѣе, что дѣло для насъ вовсе неожиданное. Уже дней десять жилъ я въ Петербургѣ и раздумывалъ: идти ли мнѣ, и какъ идти къ Л. В. Дубельту? Ты знаешь мой тяжелый и нерѣшительный въ такихъ случаяхъ характеръ. Вдругъ, утромъ 23-го января, приносятъ ко мнѣ пакетъ, и представь себѣ мое радостное изумленіе! Графъ Ал. Христ. пишетъ мнѣ: «Государь императоръ, узнавъ о болѣзненномъ положеніи вашемъ и о нѣкоторой степени нужды, въ которой вы находитесь, всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ: немедленно выдать вамъ 2.000 руб. асс. въ единовременное пособіе. Съ особеннымъ удовольствіемъ извѣщаю васъ о столь милостивомъ къ вамъ вниманіи Е. И. В., искренно желаю, чтобы здоровье ваше возстановилось для продолженія вашихъ полезныхъ трудовъ». При письмѣ получилъ я и деньги, 1,800 рубл. (за вычетомъ 10% на инвалидовъ, кажется). Ты поймешь, что не деньги, но дѣло, но то, какъ оно было сдѣлано, тронуло меня до глубины сердца. Просилъ ли я? Жаловался ли кому? Не само ли Провидѣніе внушило доброму царю мысль утѣшить, порадовать меня, когда... когда... все, казалось, отступилось отъ меня—и люди, и судьба! Не знаю, кому обязанъ я доведеніемъ до государя извѣстія обо мнѣ, и съ высоты своего трона онъ захотѣлъ утѣшить меня взоромъ и словомъ... На другой день поѣхалъ я къ Л. В. Дубельту, а вчера поутру, по его назначенію, былъ у графа Ал. Христ. — Я говорилъ немного, но они поняли меня и, признаюсь, ихъ участіе, ихъ готовность сдѣлать все, что могутъ, въ пользу мою, растрогали меня до глубины сердца. Благослови ихъ Богъ! Я долгомъ почелъ сказать, что не смѣлъ требовать пособія, ибо есть люди, которымъ оно нужнѣе; что я могу теперь опять работать, но за то буду просить ихъ обратить вниманіе на трудъ, окончаніемъ котораго неусыпно занимаюсь. «Надѣюсь»,—отвѣчалъ графъ Ал. Хр.,—«что я буду первый читатель его».—Онъ улыбнулся и прибавилъ: «А государь второй». — Съ радостью

возвратился я домой, и все закипѣло вокругъ меня новою жизнью. Вотъ, милый братъ, мы думали еще, какъ и что дѣлать, а Провидѣніе, смѣясь надъ нами, и какъ говаривалъ Старичокъ, говоритъ: — «Дѣти вы, дѣти»! и ведетъ насъ незримо къ цѣли своей. Не оно ли спасло мнѣ жизнь еще разъ? Поѣздка моя въ Москву не возстановила ли такъ странно и мгновенно моего здоровья? А это событіе? Стало быть, оно не забываетъ; испытуетъ только насъ въ терпѣніи, и «благо претерпѣвшему до конца»! Въ день твоихъ именинъ, въ воскресенье, бросилъ я всѣ другія работы, и въ гостиную, гдѣ теперь живу (ибо въ другихъ комнатахъ, кромѣ дѣтской, гдѣ спятъ мальчики, и на верху комнаты, гдѣ тѣснится жена съ остальными людьми, за нестерпимымъ холодомъ жить невозможно), стащилъ всѣ потребныя мнѣ рукописи и книги для труда моего, и цѣлые полдня просидѣлъ соображая, пересматривая отмѣтки книгъ, заготовленныя рукописи, планы, и проч. и проч. Мнѣ надобно теперь войдти снова въ мои идеи, въ то, что уже сдѣлано до сихъ поръ. Остальные полдня посвятилъ я маленькой «Исторіи», а равно ей же и вчерашній остальной день. Какъ это меня радовало, сколько опять родилось у меня новаго... Мой другъ и братъ! Я могу еще ожить! Молю только Бога, теперь когда такъ явно сближается день спасенія, молю пощадить насъ — меня и тебя еще немного, весьма немного! Ради Бога, другъ и братъ, укрѣпись и ты, какъ ни тяжко—упованіе не обманетъ, а какъ все можетъ мгновенно измѣниться!.. Великій Боже!.. Тогда-то Тимоновскій обѣдъ и чаша радости пусть пропѣнитъ все минувшее горе. Сообщи мое извѣстіе доброй маманъ — знаю, какъ она будетъ рада.

Мнѣ не хотѣлось бы дополнять письма моего ничѣмъ горькимъ, но необходимо. Я жду нетерпѣливо извѣстія отъ тебя о «Синихъ и Зеленыхъ», и о мерзавцѣ Семенѣ. Съ Смирдинымъ ей-Богу не знаю, что̀ дѣлать и чѣмъ онъ кончитъ—я трепещу! Запутаннѣе его дѣлъ быть не можетъ,

а между тѣмъ своенравіе въ немъ какое-то нелѣпое. Едва могли мы уговорить его послать къ тебѣ еще на пять тысячъ векселей. «Пусть протестуютъ и присылаютъ сюда!» говоритъ онъ. Но я старался вразумить его, что это не только глупо, но болѣе, ибо его и знать не захотятъ, а примутся за тебя и за меня. О Боже мой! Если бы, наконецъ, хоть разъ вздохнуть спокойно. Въ нынѣшнемъ году будетъ ровно тридцать лѣтъ, какъ я выѣхалъ изъ Иркутска (30 мая 1811 г.), и что же эти тридцать лѣтъ!.. Ради Бога, увѣдомь меня о дѣлахъ въ Москвѣ: мысль объ нихъ, при неизвѣстности, ежеминутно терзаетъ меня.—Мое благословеніе дѣтямъ.—Какова Лилла?

Твой Николай.

Мнѣ приходитъ на мысль: не Левъ ли Михайловичъ [1]) изъ Москвы написалъ сюда? Иначе кому? Развѣ не знали, что я уже съ полгода былъ на смертной постели? Кукольникъ, другъ мой и товарищъ, поблѣднѣлъ, и сквозь зубы сказалъ: «Да, это неслыханный примѣръ!» — Гречъ, кажется, хотѣлъ закинуть, будто онъ что-то старался и успѣлъ наговорить Леонтію Васильевичу, но я засмѣялся, и ложь была такъ груба, что онъ тотчасъ замялъ ее и перемѣнилъ слово.— Гнусная Лиза почти обругала жену и завыла, что вотъ другимъ счастье, а сиротѣ такъ нѣтъ милости. — Дядя тотчасъ прислалъ требовать за квартиру деньги, ибо дескать ему крайняя нужда, хоть срокъ еще 15-го февраля. «Теперь у васъ есть, а то опять издержите, а мнѣ смерть нужно!» Достанетъ ли довольно слюнъ, чтобы переплевать на всѣхъ этихъ мерзавцевъ, на все это сборище злодѣевъ, подлецовъ и эгоистовъ! О Тимоновскій обѣдъ! Когда мы засядемъ за тебя съ Ксенофонтомъ!— «Маленькая Исторія», надѣюсь, пойдетъ у меня быстро, и авось, Богъ поможетъ, какъ я писалъ, къ марту кончить ее. Здоровье мое очень хорошо...

---

[1]) Левъ Михайловичъ Цынскій, оберъ-полицеймейстеръ въ Москвѣ. Н. К. Полевой.

С.-Петербургъ. 20-го марта, 1841 года.

Съ мѣсяцъ прошло, мой добрый братъ и другъ, что я не писалъ къ тебѣ, и отъ тебя не получалъ писемъ; понимаю, отъ чего ты не пишешь, предчувствовалъ содержаніе того, что ты напишешь, и въ твоемъ молчаніи оправданіе и моему безмолвію — рука не подымается, силъ нѣтъ писать.—Берешься десять разъ за перо и двадцать разъ бросаешь его. Авось завтра, если и не принесетъ день радости, не веселѣе ли будетъ на душѣ—тогда напишу, тогда все разскажу! День приходитъ и—не дождешься конца его томительной грусти, съ его большими огорченіями и маленькими заботами, и—опять: «авось завтра!» Спасибо, что у насъ есть теперь посредникъ—почтеннѣйшій, который передаетъ мнѣ о тебѣ, а тебѣ обо мнѣ: «Живъ и обстоитъ благополучно». Остальное мы дополняемъ сами.—Но полно хныкать—чему быть, тому не миновать. Съ радостью замѣчаю я, мой драгоцѣнный братъ и другъ, что ты укрѣпляешься нынѣ такъ же вѣрою и упованіемъ въ Бога, какъ укрѣпляюсь ими, и только ими, я. Другъ и братъ! если школа несчастій, столько лѣтъ продолжающаяся, наградила меня какимъ нибудь благомъ и сокровищемъ, такъ это награда вѣрою, источникомъ упованія, вѣрою младенца, упованіемъ безотчетнымъ. Безъ нихъ, безъ Евангелія, того Божественнаго, Кто нисходилъ сюда страдать, я давно палъ бы—философія наша вздоръ, дѣтская сказка. Говорить тебѣ обо всемъ этомъ не могу и не буду, ибо здѣсь убѣжденіе начинается не съ ума, но съ сердца, а оно и не у однихъ царей, но и у всѣхъ насъ — въ рукѣ Божіей. Молю Бога, чтобы онъ подкрѣпилъ тебя благодатію своею, источникомъ силы душевной, такой силы, которой ничто побѣдить не можетъ.

Довольно о томъ — будетъ время для бесѣдъ откровенныхъ; тогда поговоримъ побольше; теперь повторю одно: «Уповай, другъ и братъ, и молись!» Богъ насъ спасетъ.

Говорю, когда самъ еще не вижу и не знаю, какъ совершится наше спасеніе, когда самъ терзаюсь душою и сердцемъ, но, во-первыхъ, уже не явная ли милость Божія, что мы съ тобою живы и здоровы? Изумляюсь самъ: не только съ одра смерти Богъ воздвигъ меня, но здоровье мое теперь укрѣпилось, такъ что я работаю опять неутомимо, и надѣюсь, что съ весною оживу вполнѣ. Надѣюсь, что и твое здоровье также, хотя терпитъ отъ скорби, но не разрушается. Ради Бога, только это главное, а прочее предоставимъ Провидѣнію! Вотъ внутреннее, вотъ что отъ насъ зависитъ. Внѣшнее,— признаюсь, объемлетъ ужасъ и страхъ! Мое мученіе умножаетъ то, зачѣмъ я увлекъ тебя въ эту бездну!—Все, что ты пишешь о Семѣнѣ—я предчувствовалъ: признаюсь, не полагалъ, однакожъ, что онъ такъ быстро и сильно пойдетъ къ разрушенію, не думалъ, чтобы и Смирдинъ такъ далеко и невозвратно зашелъ, и съ Самохотовымъ до сихъ поръ какъ-то вертѣлось дѣло, и я думалъ, что еще разъ успѣемъ все устроить. Все разрушается, и въ одно время. Думаю и ничего не придумываю, теряя разумъ. Кажется, еслибы можно, заложилъ бы свою голову и по каплямъ дозволилъ бы выпустить кровь, тѣмъ болѣе, что еслибы немного только дали намъ отдохнуть, то мы все кончили бы честно и вполнѣ. При семъ прилагаю письмо къ Протопопову. Содержаніе его ты увидишь. Что могу еще сдѣлать? Придумай, скажи—я готовъ снять послѣднюю рубашку и отдать, только бы спастись! Мои всѣ надежды здѣсь только на самого себя и на работу. Смирдинъ совершенно разстроился дѣлами и упалъ духомъ. Въ ссудѣ ему Уваровъ отказалъ; теперь Жуковскій хлопочетъ у Канкрина, но, кажется, по-пустому. Ссуда могла бы его поддержать, но и она не могла бы поправить дѣлъ, ибо дѣла его безъ конца запутаны, и, переходя изъ одной бездны въ другую, уже много лѣтъ, онъ совершенно потерялся и запутался. Открывается, что онъ бѣдствовалъ уже давно и предпріятіями прикрывалъ только отъ дру-

гихъ и самого себя погибель. Не знаю, что̀ теперь съ нимъ дѣлать! Почтеннѣйшій думаетъ еще, что онъ продержится нѣсколько времени, и хочетъ замѣнить его векселями платежи здѣсь за «Репертуаръ» и «Эконома», съ тѣмъ, что тутъ будетъ намъ перемежка, а потомъ мы можемъ заплатить за Смирдина, который какъ нибудь извернется или сдѣлается, ибо онъ хочетъ все заплатить, и лучше остаться нищимъ, нежели безчестнымъ. Вотъ что о Смирдинѣ сказать можно. — Обращаюсь къ тому, что можетъ спасти насъ—только трудъ и работа,—сказалъ я, и вслѣдствіе сего, теперь работаю неутомимо. Два занятія мои составляютъ (кромѣ работы въ «Русскій Вѣстникъ» изъ насущнаго хлѣба)—маленькая «Исторія» и «Петръ Великій». Четвертый томикъ «Исторіи» въ рукописи довелъ я теперь уже до Павла; остается только два разсказа: съ 1796 до 1812 года и съ 1812 до 1825 года. Не знаю, успѣю ли кончить ихъ къ Святой; кажется, невозможно; но тѣмъ не менѣе, въ слѣдующій вторникъ надѣюсь подать въ цензуру первыя тетради, и послѣ Святой тотчасъ начнемъ печатать, такъ что, кажется, къ маю мы ее отпечатаемъ и пустимъ въ ходъ. Тутъ будетъ хоть малое пособіе. Не рѣшишься ли ты даже продать ее кому нибудь на второе изданіе? Я полагаю, что 10,000 рублей дадутъ, но я предоставляю рѣшеніе вполнѣ тебѣ. Но это только временное и малое пособіе, а всего жду я отъ «Петра Великаго». Этотъ трудъ составляетъ теперь всѣ мои надежды и, увѣренъ, спасетъ насъ. Имъ занимаюсь постоянно и, кончивъ маленькую «Исторію», на него одного обращу все время и всѣ силы. Всячески, полагаю, что къ сентябрю онъ выдвинется, если я хорошо проработаю пять мѣсяцевъ. Я хочу по окончаніи перваго тома немедленно печатать его, приготовляя остальные, такъ чтобы съ окончаніемъ послѣдняго тотчасъ же вся книга могла выйдти. Можетъ быть тогда не только публика, но и самъ царь обратятъ на нее вниманіе. Послѣднее трудно — я увидѣлъ по опыту, который

еще разъ (такъ слабъ человѣкъ!) обольстилъ было меня надеждами самыми радостными. Надобно разсказать тебѣ подробнѣе. Вотъ какъ это было. Въ началѣ марта захотѣлъ со мною познакомиться князь Александръ Николаевичъ Голицынъ—кто онъ, ты знаешь, но не знаешь, что это за благородное, прекрасное, высокое созданіе! Въ первый разъ явился я къ нему въ его церковь. Мы такъ сошлись, что старецъ принялъ меня въ свой маленькій домашній кружокъ, и я у него бываю нынѣ по два раза въ недѣлю, бесѣдую съ нимъ, читаю ему и, забывая, что онъ вельможа и другъ царя, такъ привыкъ къ нему, что точно какъ будто вѣкъ жилъ съ нимъ. Такой доброты, оживленной умомъ и такимъ обширнымъ опытомъ, я еще не видывалъ съ роду моего. Однимъ изъ первыхъ словъ его была рѣчь о моей «Исторіи Петра Великаго», и первымъ чтеніемъ моя рукопись. Старецъ такъ восхитился всѣмъ, что немедленно предложилъ говорить о томъ государю; но какъ прежде дѣло шло черезъ графа Александра Христофоровича, то онъ, боясь помѣхи, и велѣлъ мнѣ отнестись къ нему. Тутъ пріѣхалъ изъ Москвы добрякъ нашъ Н. А. Кашинцевъ, съ своимъ гладенькимъ паричкомъ, обширными видами на добро при маленькихъ средствахъ, съ рѣшимостью говорить смѣло, и трепещущій, если Марко въ передней Леонтія Васильевича скажетъ ему: «Николай Андреичъ! не хорошо-съ!»—Вотъ, среди другихъ предпріятій: просвѣщать какого-то каретника Маркова, оправдать чудака Меласа, говорить съ Орловымъ, съ Киселевымъ и проч. и проч., онъ съ жаромъ принялся и за мое дѣло. Бездѣлицу рѣшался онъ исполнить: испросить мнѣ позволеніе осмотрѣть архивы, дать мнѣ въ пособіе 50,000 рублей и достать званіе исторіографа, съ жалованьемъ. Я расхохотался, но сообразивъ пособіе Голицына, недавнюю милость добраго и славнаго царя нашего ко мнѣ, и проч. и проч.,—просилъ начать дѣло, какъ и князь А. Н. совѣтовалъ, отложа все другое, просьбою только объ архивахъ. Это послужило бы началомъ, зало-

гомъ грядущаго, и все такъ пошло было хорошо: такъ съ одной стороны увѣрялъ меня князь А. Н. въ милостивомъ отзывѣ обо мнѣ государя ему лично, такъ охотно взялся ходатайствовать графъ Ал. Хр., такъ ласково улыбался Леонтій Васильевичъ, въ такомъ восторгѣ былъ нашъ добрякъ Ник. Андр., что я, признаюсь, еще разъ увлекся надеждами, думалъ даже писать къ тебѣ, обрадовать тебя, но удержался, и—холодный безъ объясненія причинъ отвѣтъ, съ возобновленіемъ его прежней ледяной улыбки, съ какою бранилъ онъ меня бывало за «Смерть или честь», «Иголкина» и «Парашу»—нельзя—разрушилъ всѣ мечты мои, заставилъ бѣднаго Ник. Андр. спрятать, если не сжечь, всѣ свои проекты касательно меня, и начать меня утѣшать добрымъ расположеніемъ и милостью ко мнѣ графа Ал. Хр., неистощимымъ добромъ однихъ особъ, участіемъ другихъ, и проч. проч.—Я перенесъ твердо, горько улыбался, даже смѣялся, но—сказать ли? Возвратясь домой, почувствовалъ жестокій припадокъ спазмъ, и пролежалъ сутки, пока одумался, плюнулъ на все и принялся опять за работу. Князь Ал. Ник. былъ весьма опечаленъ всѣмъ случившимся, жалѣлъ, досадовалъ, и его утѣшенія, его слова, чтобы я позволилъ ему самому теперь дѣйствовать, оживили меня, но не возобновили уже надеждъ. Нѣтъ сомнѣнія, что тутъ дѣйствовала чья нибудь интрига; да полно, былъ ли и докладъ царю, а если и былъ, то какого рода докладъ? Не Уварова ли подлеца тутъ опять штуки? Не Жуковскаго ли съ братіею подмазка? Ничего не понимаю! Но рѣшительность моя тверда, да и необходима, ибо иначе я погибъ: стану, не думая уже ни о чемъ, писать мою книгу прилежно, сколько по совѣсти могу лучше, кончу; напечатаемъ ея 5,000 экземпляровъ, продадимъ ихъ, а царь добрый и великодушный, конечно, не оставитъ тогда труда моего своимъ благодарнымъ вниманіемъ. Такъ я рѣшился теперь, такъ и буду дѣйствовать, и ужъ шагу не сдѣлаю ни къ кому, ни о чемъ. Богъ и трудъ да будутъ залогомъ на-

шихъ надеждъ и упованій. Если я умру, достигая ихъ,—сиротъ моихъ призритъ Отецъ всѣхъ сиротъ, а я умру, по крайней мѣрѣ, съ сознаніемъ чистой совѣсти, что истощилъ всѣ средства поддержать честь и совѣсть.—Но я не умру, а живъ буду, и еще дождемся мы съ тобою ясныхъ дней, мой другъ и братъ! Увидятъ всѣ, оцѣнятъ всѣ... Разумѣется, все разсказанное мною тебѣ да будетъ въ глубокой тайнѣ между нами.—Почтеннѣйшій думаетъ на Святой съѣздить въ Москву и подумать, нѣтъ ли еще какихъ средствъ? Я ему совѣтую это сдѣлать, и авось Богъ васъ наставитъ что нибудь придумать. Только теперь одно, милый братъ, ради Бога — береги себя. Сокрушаетъ меня болѣзнь твоей жены Лиллы и неимѣніе средствъ ѣхать за границу. Складываю руки и горюю. Что сказать тутъ, что придумать?!— Съ Ник. Андр. разстались мы дружески; я еще болѣе увѣрился, что онъ доброе, неопытное дитя и искренно желаетъ намъ добра, но что ничего сдѣлать онъ не можетъ. Видя и слыша его въ Петербургѣ, въ которомъ я ужъ довольно ознакомился, я воображалъ себя агнцемъ между волками. Великій Боже! Какой городъ, какой Вавилонъ интригъ, страстей, мерзостей, и ему, и здѣсь дѣйствовать!.. Даже забавно о томъ подумать. «Русскій Вѣстникъ» идетъ плохо, а въ редакціи его такое же согласіе въ идеяхъ, какъ у щуки, сокола и рака въ баснѣ Крылова, но, по крайней мѣрѣ, живемъ мы очень дружески, хоть и видимъ, что намъ пива не сварить. (Окончаніе письма не имѣетъ литературнаго значенія).

VIII.

Разстройство дѣлъ Ксенофонта Алексѣевича.—Поѣздка семейства Ксенофонта Алексѣевича за границу, для лѣченія.—Банкротство Смирдина окончательно разоряетъ Николая Алексѣевича.—Онъ упрекаетъ себя, что увлекъ брата въ погибель.—Мечты его относительно уплаты долговъ.—Ксенофонтъ Алексѣевичъ предполагаетъ издавать «Библіотеку для Чтенія» въ 1842 году.—Это не удается.—Положеніе дѣлъ Смирдина.—Извѣстіе о смерти Лермонтова.—Трагическое положеніе Николая Алексѣевича и его семьи.—Онъ дѣлается издателемъ «Русскаго Вѣстника» въ 1842 году.—Разсчеты и предположенія его по этому дѣлу.—Изданіе журнала этого оказалось невыгоднымъ.—Затруднительное положеніе Ксенофонта Алексѣевича, и отчаяніе Николая Алексѣевича.—Исповѣдь его брату.

С.-Петербургъ. 15-го мая, 1841 года.

...Прежде обращусь къ предмету болѣе отрадному—свиданію съ нашими милыми московскими гостями [1]). При мысли разлуки ихъ съ тобою, неизвѣстности будущаго, и проч., и проч., грусть отравляла свиданіе наше, хотя ни я, ни Лилла не показывали ее другъ другу; но мы понимали одинъ другого... Впрочемъ, пріѣздъ и отъѣздъ ихъ былъ счастливый, сопровождался даже многимъ, что̀ въ другое время могло бы веселить и смѣшить. Смѣяться отъ души отвыкъ я уже давно и ничего не знаю, кромѣ судорожной улыбки, и та у меня рѣдкая гостья. Слава Богу, во-первыхъ, что онѣ пріѣхали сюда благополучно, и какъ ни слабы были здѣсь, но Лилла уже геройствовала, ходила, ѣздила, говорила. У меня была она два раза и одинъ разъ обѣдала. Дѣти съ восторгомъ встрѣтили Бетси и Элѐнь. Бесѣду нашу раздѣляла добрая сестра Екатерина Алексѣевна. Я проводилъ потомъ Лиллу на пароходъ, благословилъ ихъ иконою Николая Чудотворца, въ день его

[1]) Матушка моя, Елизавета Ѳедоровна, и двѣ сестры мои ѣхали за границу въ Грефенбергъ лѣчиться. Н. К. Пол.

праздника, а на другой день отправился въ Кронштадтъ, гдѣ провелъ съ ними еще часа три; вмѣстѣ обѣдали мы за ихъ дорожнымъ столомъ, и пока пароходъ, на палубѣ котораго стояли онѣ, не скрылся изъ глазъ, взоры мои были неподвижно устремлены на милыхъ сердцу, которымъ посылалъ я тысячи благословеній въ душѣ моей. Онѣ провели ночь на пароходѣ, съ Фридрихомъ и его женою [1]), и чувствовали себя очень хорошо. Время стоитъ, послѣ сего, прекрасное и, кажется, онѣ благополучно и легко достигнутъ Любека. А тамъ, да благословитъ ихъ Богъ и да возвратитъ ихъ любви и дружбѣ опять здоровыми. Посылаю записочки, которыя написали—Лилла къ тебѣ, Амалія [2]) къ маманъ—въ послѣднія минуты разлуки со мною, среди шумныхъ прощаній другихъ гостей и пассажировъ. Дѣти были на пароходѣ веселы, милы, съ невинною радостью любовались всѣмъ, что было для нихъ ново. А что̀ не было тутъ ново для нихъ? Капитанъ парохода человѣкъ весьма любезный и услужливый. Общество, на пароходѣ поплывшее, хорошее. Съ нетерпѣніемъ жду дальнѣйшихъ извѣстій, и ради Бога, увѣдомь меня немедленно по полученіи отъ нихъ писемъ изъ Любека. Вотъ все, что могу сказать тебѣ, и подтвержу еще, что милыя наши и ихъ ангельскія спутницы до послѣдняго разставанія моего съ ними вели себя очень мило, и если такъ все продолжится, то путешествіе ихъ, горькое вначалѣ, конечно, кончится радостнымъ свиданіемъ. Дай Богъ, дай Всемогущій Богъ, и, если надобно, отдай мнѣ горе и благослови ихъ радостью, благослови въ нихъ радостью и моего добраго Ксенофонта!.. Что, еслибы возвращеніе ихъ могли мы встрѣтить счастливымъ устроеніемъ всѣхъ другихъ дѣлъ, окончаніемъ мер-

---

[1]) Ѳедоръ Ѳедоровичъ Мецъ, родной братъ матери моей, бывшій тогда инспекторомъ классовъ въ Александровскомъ кадетскомъ корпусѣ, въ Царскомъ Селѣ. Н. Кс. Пол.

[2]) Амалія Ѳедоровна Мецъ, сестра Елизаветы Ѳедоровны, ѣхала съ нею за границу.

зостей, такъ терзающихъ, и душевнымъ спокойствіемъ? Да не оставитъ насъ упованіе! Но есть ли къ тому виды и надежды? Не будемъ скрывать, что отъ людей ожидать нечего, и что несчастное разстройство Смирдина отягощаетъ теперь насъ выше всякой мѣры. Что я могу сдѣлать? Что ты? Что до меня, то я твердо увѣренъ въ трудѣ, которымъ я теперь занимаюсь, что онъ спасетъ насъ и изведетъ изъ ада, гдѣ мы теперь мучимся. Говорю объ «Исторіи Петра Великаго», которой посвящаю теперь все время, кромѣ небольшого, необходимаго участка на «Русскій Вѣстникъ». Работа идетъ у меня весьма успѣшно, и предполагая приступить немедленно къ печатанію перваго тома, едва только кончу его, продолжая при томъ далѣе работу и соображая нынѣшнія силы свои, думаю, если Господь Богъ поможетъ и подкрѣпитъ, рѣшительно къ новому году дѣло мое кончить, т. е. вполнѣ издать всю книгу. Тогда, мой милый другъ, смѣю думать, будетъ намъ полная свобода дохнуть. Но и до тѣхъ поръ, увидѣвши уже заготовленную работу, самые безжалостные люди авось дадутъ средства передышать, и не обрушатъ на насъ тягости преслѣдованія. Крайнее и важнѣйшее обстоятельство—настоящее время! И чѣмъ тутъ пособить, я ужъ истинно теряю голову. Не думать нельзя; думать и оканчивать думу грустнымъ сознаніемъ безнадежности — до того тяжко, что дѣлаешься вовсе неспособнымъ къ работѣ; жизнь постылѣетъ, особенно, когда у меня примѣшивается къ тому убійственное чувство: зачѣмъ увлекъ я тебя въ бездну золъ, зачѣмъ согласился я принять твое пособіе! Неужели Господь лишитъ меня радости вознаградить потомъ за все? Подробности разскажетъ тебѣ почтеннѣйшій. Онъ знаетъ все, чего можно еще требовать отъ Смирдина, а писать я не въ силахъ. Утѣшать твою твердую душу, мой другъ и братъ, чѣмъ я могу? И лучше же видѣть все дѣло въ отвратительной его наготѣ, нежели льстить себя пустыми мечтами. Касательно здоровья моего, я самъ удивляюсь, что и теперь

совершенно ожилъ, и тяжкую работу переношу весьма легко, даже и не думалъ бы объ ней, еслибы хоть немного отрады согрѣвало душу мою. — Благословеніе мое дѣтямъ твоимъ, поклонъ добрѣйшей maman. Руку, другъ и братъ, и вѣру, что я твой всегда

Николай.

С.-Петербургъ. 22-го мая, 1841 года.

Спѣшу передать тебѣ, мой милый братъ и другъ, первое извѣстіе о милыхъ нашихъ пушественницахъ. Сейчасъ получено письмо Греча [1]) изъ Гамбурга, отъ 16-го мая. Слава и брагодареніе Богу! онѣ совершили путь благополучно и миновали угрюмую Балтику весьма счастливо. Послѣзавтра, пишетъ Гречъ (слѣдовательно, въ понедѣльникъ, 18-го, ибо письмо его отъ 16-го), наши вояжеры ѣдутъ въ Дрезденъ, а онъ въ четвергъ, т. е. 21-го, на пароходѣ— въ Амстердамъ; и такъ, онъ еще проводитъ ихъ, и надѣюсь, что и ты повторишь, слыша всѣ сіи подробности: «Слава Богу!» Спѣшу передать тебѣ Гречево извѣстіе, ибо, можетъ быть, оно придетъ хоть нѣсколькими часами ранѣе ихъ увѣдомленія въ Москву, и я счастливымъ почту себя, если буду первымъ благовѣстникомъ радости тебѣ, другу моему, и доброй маманъ, ручки которой цѣлую. Мы всѣ здоровы. Пишу «Петра Великаго», и печатаю маленькую «Исторію». Тяжко, грустно, но уповаю на Бога, и работаю иногда съ 5-ти часовъ утра до 3½ по полудни, и еще кромѣ того вечеромъ, но здоровье мое ничего не терпитъ отъ такой упорной работы. Погода здѣсь стоитъ прекраснѣйшая, какой старики не помнятъ. Все теперь ѣдетъ на дачи. Я неподвиженъ, и иногда по два, по три дня не выхожу даже изъ комнаты.

Петра довелъ теперь до его путешествія за границу въ 1697 году, и самое трудное почти кончилъ, ибо далѣе пой-

[1]) Ник. Ив. Гречъ ѣхалъ на одномъ пароходѣ съ семействомъ Ксенофонта Алексѣевича. Н. К. Пол.

детъ мнѣ легче. Первые годы страшная путаница, тьма мелочей, все начинается, развиваетъ характеръ. Драма, а не исторія. Написанное все прочелъ я князю Ал. Ник. Голицыну, и онъ въ восторгѣ, да и я чувствую самъ, что это лучшее, что я писалъ донынѣ. Авось Господь поможетъ кончить и воспѣть тогда: «Тебѣ Бога хвалимъ!» Благословенье дѣтямъ твоимъ. Руку твою! Братъ и другъ

Николай.

С.-Петербургъ. 27-го іюля, 1841 года.

Вѣрю, милый другъ и братъ, что въ часы скорби и грусти ты винишь меня иногда, что я не пишу къ тебѣ, даже вотъ не отвѣчалъ на нѣсколько, два или даже три письма твои. Но я знаю и увѣренъ, что, подумавши, ты прощаешь меня, понимая, постигая причину моего тяжелаго молчанія. Черезъ почтеннѣйшаго я узнаю о томъ: живъ ли, здоровъ ли ты, узнаю и подробности всѣхъ грустныхъ обстоятельствъ. Обо мнѣ онъ также увѣдомляетъ тебя: «живъ»! Думаю, и присовокупляю къ тому молитву мою, да сохранитъ еще тебя Богъ. Что̀ я стану писать къ тебѣ? Жаловаться на судьбу, скорбѣть, истощать мечты несбыточныя и пустыя? Нѣтъ? ужъ лучше молчать! Получивъ послѣднее письмо твое, гдѣ ты зовешь меня къ себѣ, я не отвѣчалъ, хотя тотчасъ готовъ былъ и рѣшился ѣхать. Но надобно-жъ было имѣть какое нибудь основаніе съ Смирдинымъ? Мы съ почтеннѣйшимъ истощили въ послѣднее время всѣ средства, всѣ силы нашихъ умишковъ, и наконецъ уже опускали руки, съ безмолвнымъ отчаяніемъ видя, что ничего, совершенно ничего сдѣлать было невозможно! Я хотѣлъ послѣ сего ѣхать немедленно, для того ѣхать, чтобы уже рѣшить судьбу такъ или сякъ, сказать, что Смирдину вѣрить уже нечего, и что пусть кредиторы или подождутъ, или посадятъ меня въ тюрьму, представить имъ заготовляемый мною трудъ, желаніе расплатиться съ

ними послѣднею каплею крови, и—ждать, что будетъ. Особенная причина остановила меня—я принужденъ былъ оставаться и томиться, а между тѣмъ—Боже великій! непостижимы судьбы твои! Вдругъ начало открываться обстоятельство вовсе неожиданное, такое, что не только отвращаетъ всю бѣду, но дастъ, можетъ быть, средства вскорѣ загладить все наше разореніе. Ты догадаешься, что я говорю о «Библіотекѣ для Чтенія» (а не объ неожиданной какой либо помощи сильныхъ міра сего—нѣтъ! Богъ съ ними, сильными — отъ нихъ я уже ничего не жду!). Почтеннѣйшій писалъ уже къ тебѣ, что онъ кончилъ съ Сенковскимъ, и хотя условіе еще не написано, но дѣло можно уже теперь почитать вѣрнымъ. Братъ и другъ! понимаешь ли ты всю мѣру благодѣянія Божія въ этомъ дѣлѣ? Я такъ просто изумляюсь, и все еще самъ не вѣрю, чтобы такъ все сдѣлалось — до того уже пріучила меня судьба не вѣрить никакимъ надеждамъ. По всѣмъ разсчетамъ, полагая даже просто настоящее, нынѣшнее положеніе «Библіотеки для Чтенія», имѣя ее въ рукахъ, ты будешь имѣть 150,000 въ годовомъ оборотѣ, слѣдственно, легко уже можно будетъ, не только сдѣлать всѣ обороты, но даже, при упадкѣ Смирдина и смерти Ширяева, быть тебѣ въ будущемъ году первымъ и главнымъ двигателемъ всѣхъ дѣлъ по книжной торговлѣ. Уже и это, при возстановленномъ кредитѣ, спасетъ насъ; но, кромѣ того, всячески должно быть барышу отъ 10,000 до 20,000 рублей, которые поступятъ на погашеніе долга Смирдинскаго невозвратно. Неужели судьба еще и здѣсь обманетъ насъ? Нѣтъ! Я вѣрю милосердію Божію, и съ благоговѣніемъ пріемлю его, дивлюсь неожиданнымъ средствамъ спасенія, и теперь всего болѣе хотѣлъ бы я поспѣшить къ тебѣ уже съ надеждою въ сердцѣ, успокоить тебя, переговорить, условиться обо всемъ и, успокоившись возвратиться сюда, чтобы съ моей стороны вспомоществовать дѣлу, чѣмъ только могу! Послѣзавтра, то есть, во вторникъ, располагалъ было я выѣхать, но та

же причина, которая останавливала меня прежде, останавливаетъ и теперь: она самая простая—у меня нѣтъ теперь даже столько денегъ, чтобы нанять мѣсто въ дилижансѣ и оставить на прожитокъ дома нѣсколько рублей до моего пріѣзда. Я до того стѣсненъ въ нынѣшнемъ году, что иногда по нѣскольку дней сижу безъ копѣйки, и недавно чуть было не остался безъ обѣда, потому что мясникъ не отпустилъ говядины, а лавочникъ — зелени и проч., и я принужденъ былъ на прокормленіе заложить въ 150 рубляхъ мою медвѣжью шубу. Что дѣлать? Терпѣть, молиться и работать. Только однимъ и могу я заглушать всю тягость настоящаго, едва выносимаго положеніи моего — работою! И я сижу неутомимо, съ утра до вечера, удивляясь только одному, что Богъ подкрѣпляетъ еще силы мои. Никогда, по крайней мѣрѣ давно уже, не чувствовалъ я себя столь здоровымъ, и только иногда находятъ на меня часы какого-то нравственнаго онѣмѣнія, когда я нахожусь въ какомъ-то безчувственномъ состояніи, хотя хожу, сижу, пишу, ѣмъ; но, слава Богу, такіе часы рѣдки. Въ другіе часы отвожу душу молитвою и остаюсь цѣлъ. Не имѣя уже ничего въ виду со стороны Смирдина, я до сихъ поръ разсчитывалъ только на свой трудъ. Первый томъ «Исторіи Петра Великаго» надѣюсь я скоро получить изъ цензуры, и не знаю, писалъ ли тебѣ почтеннѣйшій, что мы рѣшились печатать его и выпускать сперва первый, а потомъ и другіе томы отдѣльно, безъ подписки? Всячески первый томъ долженъ или можетъ явиться въ началѣ октября, и собственное сознаніе достоинства труда и ожиданіе его весьма многими — ободряютъ меня въ упованіи, что книга моя пойдетъ хорошо. Если такъ, то имѣя у себя ее и «Библіотеку для Чтенія», неужели мы не будемъ спасены? Нѣтъ, нѣтъ! не только спасены, но даже успокоены, и даже скоро; можетъ быть, въ будущемъ даже году. Осталось только добиться, дожить до новаго года. Тяжело и тяжко! Но первое, что считаю теперь необходимымъ—моя поѣздка въ Москву. Если не во

вторникъ, то все въ концѣ сего мѣсяца я какъ нибудь собьюсь и надѣюсь выѣхать, а въ первыхъ числахъ августа быть уже съ тобою. Тогда переговоримъ, перескажемъ и обсудимъ все, какъ средства и подробности предпріятія съ «Библіотекой для Чтенія», такъ и расположеніе на будущее. Я спрашиваю теперь у совѣсти моей: правы ли мы противъ Смирдина, отнимая у него послѣднее, что оставалось, и за что онъ держался всѣми своими силами? По закону правы совершенно, но и совѣсть моя говоритъ мнѣ тоже. Даже, можетъ быть, мы сохранимъ ему это единственное средство существованія въ будущемъ, ибо мысль его взять себѣ «Библіотеку для Чтенія» на будущій годъ была одно изъ несбыточныхъ мечтаній, какія безпрестанно являются въ его головѣ, о которой я иногда сомнительно качаю головою, ибо Смирдинъ кажется въ иной разъ совершенно одурѣлымъ и сумасшедшимъ. Такъ теперь, когда Уваровъ и Канкринъ холодно отказали ему въ пособіи и эгоистъ Жуковскій грубо отъ него отрекся, онъ мечтаетъ получить пособіе черезъ Леонтія Васильевича! Тотъ, по добротѣ своей, не могъ отказать въ просьбѣ, но напередъ можно сказать, что сдѣлать ничего не можетъ, а несчастный Смирдинъ увѣренъ и даже обѣщаетъ въ сентябрѣ со всѣми расплатиться, при пособіи, и при книгѣ, о которой ты, конечно, читалъ уже глупѣйшее и жалкое объявленіе! Расплатиться! А онъ долженъ сотни тысячъ, и сто тысячъ рублей только отсрочатъ казнь его, а спасти не могутъ. Все у него рѣшительно захвачено и обобрано. Получивъ «Библіотеку для Чтенія», онъ, еслибы и дали ему подъ залогъ ея средства начать, не могъ-бы продолжать ее, ибо весь сборъ за нее у него немедленно разорвали бы на части. Тогда и «Библіотека для Чтенія» погибла бы, и онъ не отвратилъ бы тѣмъ бѣды своей. Мнѣ тяжко и грустно видѣть его, точно добраго, хотя и безтолковаго человѣка, но главное, отца многочисленнаго семейства, на краю гибели, видѣть и не имѣть средствъ спасти его. Но что же дѣлать?

Не говорю уже о томъ, что намъ надобно спасать себя изъ бездны, въ какую онъ же увлекъ насъ, — вѣдь и у насъ есть дѣти! И за себя и за тебя ручаюсь, что только спасти себя хотимъ мы, а потомъ, да сохранитъ насъ Богъ воспользоваться единою его копѣйкою! Если уже остановлено будетъ хоть на время взысканіе, падающее на Смирдина изъ Москвы, то, можетъ быть, и это уже предохранитъ его отъ гибели, хотя я весьма въ томъ сомнѣваюсь, ибо, повторяю, онъ все уже истощилъ и у него ничего нѣтъ! Только еще тѣ, кто заграбилъ у него все, не согласились въ дѣлежѣ и дозволяютъ ему дышать. Грустно, печально, «страшно зрѣть, какъ силится преодолѣть смерть человѣка», а видѣть смерть нравственную еще страшнѣе! Иногда, уходя отъ Смирдина, я не могу удержать слезъ моихъ, но повторяю— что дѣлать?

Твой Николай.

С.-Петербургъ. 20-го августа, 1841 года.

. . . . . .

. . . Ѣду къ Смирдину. Не знаю что опять онъ запоетъ! Впрочемъ, почтеннѣйшій вчера у меня былъ, и новаго ничего не сказалъ: все прежнее. О дѣлѣ онъ тебѣ уже писалъ. Условіе не заключено, но дѣло укрѣплено, и слова Сенковскаго едва ли несправедливы, такъ что, подумавши, ты самъ согласишься, что не условіе, но взаимныя отношенія должны завѣрить обѣ стороны, и мы рискуемъ менѣе, не заключая условія по формѣ, ибо Сенковскій готовъ дать всяческія письма и увѣренія съ своей стороны. Надобно, разумѣется, обо всемъ этомъ порядочно обдумать

. . . . . .

. . . Извѣстіе о смерти Лермонтова подтвердилось. Жаль: онъ былъ человѣкъ съ дарованіемъ, хоть, кажется, безъ сердца.—Невольно восклицаешь: а . . . . . живетъ! Однакожъ, въ самомъ дѣлѣ: что за нелѣпость? Марлинскій, Пушкинъ, Лермонтовъ погибли отъ пули! Не боясь ли такой

участи, Булгаринъ всегда труситъ дуэлей, чтобы не сгубить еще великихъ надеждъ русской литературы?—Что это, братецъ, жизнь-то? Что это за бурда! Точный Сергѣй Глинка!

С.-Петербургъ. 4-го сентября, 1841 года.

Слава Богу, мой добрый братъ и другъ, могу увѣдомить тебя, что у насъ все идетъ ладно, но безпокойство твое было не даромъ, ибо чуть было все сооруженное нами изъ атомовъ зданіе не развалилось. Дѣло стало за деньгами—6,000 рублей было необходимо—6,000! Подумай самъ, при нашихъ средствахъ!! Но Господь, давно насъ спасающій, и здѣсь явилъ милосердіе: 6,000 нашлись и дѣло сладилось. Какъ и что? Не пишу, ибо некогда: сегодня переселяюсь на новую квартиру, и у меня въ домѣ разбой—тащатъ, несутъ, везутъ, шумятъ! Какъ я нашелъ средства переселяться — ужъ и самъ не понимаю! Надежда, надежда! — Виноваты, что нѣсколько дней оставили тебя въ безпокойствѣ молчаніемъ, но признаюсь: я чуть было не отчаялся во всемъ, думалъ уже, что судьба безчувственно говоритъ свой извѣстный приговоръ. Къ чему было убивать ужъ и тебя, когда у насъ оставались еще кой-какія надежды? Лучше было тебѣ побезпокоиться неизвѣстностью, а лгать я не могъ. Теперь спѣшу успокоить тебя . . . .

. . . . . .

. . . . . Первый томъ «Исторіи Петра Великаго» я получилъ изъ цензуры, и тотчасъ приступаю къ печатанію. — Булгаринъ отдаетъ почтеннѣйшему «Пчелу». «Репертуаръ» и «Пантеонъ» будутъ у него, ибо они оба соединяются, и редакторомъ будетъ Булгаринъ. «Экономъ» тоже у тебя, а я обдумалъ уже и беру «Русскій Вѣстникъ». Что, если все это съ «Библіотекой для Чтенія?» Хорошо и хорошо! Булгаринъ пустился въ драматическіе писатели и написалъ очень милую пьеску, за которую его вызвали, хоть ужъ напередъ предвѣщали паденіе,

и дѣлали изъ нея каламбуры, говоря что она не «Шкуна Ньюкарлеби», но «Шкура изъ Карлова», или «Шкуна . . . . . !»

Твой Николай.

С.-Петербургъ. $\frac{12\text{-го ноября}}{20\text{-го ноября}}$, 1841 года.

. . . . . .

...Поспѣшу тебѣ прежде всего сказать, что ничего особенно худаго вновь не случилось—все старое; далѣе, что, не смотря ни на что, я здоровъ, именно здоровъ, хоть и самъ тому дивлюсь. Затѣмъ отдамъ тебѣ отчетъ во всемъ.—Впаденію моему въ особенно тяжкую грусть, тяжелое безчувствіе, были причиною, во-первыхъ, разрушеніе многихъ изъ тѣхъ предположеній, какими льстились мы при личномъ свиданіи съ тобою въ Москвѣ, а во-вторыхъ, нестерпимое состояніе, въ какомъ лично находился и теперь нахожусь я. Обращусь сперва къ первому. Ты помнишь, что главную надежду основывалъ я на «Библіотекѣ для Чтенія». Она разрушилась совершенно мерзкими сплетнями, гадостями и проч. тому подобнымъ. Далѣе, дѣла Смирдина не только не улучшаются, но, кажется, ухудшаются. Онъ дошелъ до послѣдней крайности. Ему вышло теперь пособіе отъ государя: велѣно дать 30,000 рублей сер., на шесть лѣтъ въ займы, съ залогомъ. Но чтобы выкупить залогъ изъ частныхъ рукъ, онъ употребитъ почти всю сію сумму, и что же изъ того? Онъ переложитъ только книги изъ кладовыхъ Филипова, Ольхина и Жернакова въ казенныя кладовыя, а дѣла его остаются прежнія. «Бесѣда» его расплывается, какъ мокрый сахаръ. Что ни выручается, ничего не видно. Долговъ его счетъ потерянъ. Словомъ: отъ него и ожидать рѣшительно нечего. Слѣдовательно, вся тяжесть отвѣтственности падаетъ на насъ. Неволя велѣла намъ—что другое могли мы сдѣлать, да и надежды тогда были таковы — сосредоточить главную тягость въ началѣ

будущаго года. Тутъ необходимо надо сдѣлать хоть оборотъ, перевернуть колесо, чтобы потомъ усилить дѣйствіе. Главное въ томъ вѣдь, мой любезнѣйшій, что дохнуть-то не даютъ. Дай намъ сроку три года, мы могли бы легко все обработать. Но что говорить о несбыточномъ! Для оборота въ началѣ будущаго года оставались заведенныя здѣсь тобою дѣла, особливо «Репертуаръ» и «Экономъ». Но тебѣ извѣстно, что долго и тутъ было угрожало разрушеніе, ибо, по мерзкимъ сплетнямъ, судьба того и другого изданія чуть было не кончилась, а это угрожало намъ ужъ бѣдою сущею, ибо тогда оставались бы только наши собственныя средства: «Русскій Вѣстникъ» и «Исторія Петра Великаго», но ихъ рѣшительно не могло достать двинуть громаду страшнаго долга. Ни силъ, ни средствъ дѣйствовать не было. Среди такого состоянія дѣлъ, мое настоящее положеніе дошло уже до того, что... но довольно сказать тебѣ нѣсколько подробностей. Когда будущее грозило совершенною бѣдою, когда надлежало въ работѣ прилагать силы къ силамъ, мнѣ почти приходилось умирать съ семьею съ голоду. Дѣтей за неплатежъ денегъ хотѣли исключить изъ училища; за долгъ въ лавочку не отпускали ужъ мнѣ ничего — даже мясникъ, однажды, не отпустилъ говядины; моя шубенка чуть не была продана съ аукціона, ибо я не могъ перемѣнить билета. Надобно было съѣзжать съ квартиры у дяди и нанять другую. Между тѣмъ, терзали меня долги, которые сдѣлалъ я въ прошломъ году— подали ко взысканію... явился квартальный... Мерзкій векселишка Песоцкаго, о которомъ хлопоталъ я, помнишь, съ нимъ въ Москвѣ, надѣлалъ мнѣ тьму непріятностей, ибо Песоцкій ни копѣйки по немъ не заплатилъ. Ты знаешь, что я взялся написать маленькую «Исторію Петра», которую хотѣли издать съ политипажами.—Эльснеръ разрушилъ и это предпріятіе, предупредивши изданіемъ своей глупѣйшей исторіи. Ратьковъ такъ оскудѣлъ, что не могъ выплачивать мнѣ даже того, что перевелъ Гречъ платить за

«Русскій Вѣстникъ» нынѣшняго года, а пособить не могъ мнѣ даже рублемъ серебра. Горе свалило, наконецъ, бѣдную жену: она занемогла—занемогъ и мой Петръ—мнѣ не съ чѣмъ было послать въ аптеку за лѣкарствомъ—заложить рѣшительно было нечего! Но довольно, мой милый другъ и братъ, — мнѣ было даже смѣшно иногда: поѣхалъ я, однажды — ось пополамъ у дрожекъ; я упалъ и не ушибся, но — вотъ бѣда: лопнули панталоны на колѣняхъ, а они одни только у меня и были, и мнѣ не въ чемъ послѣ того было даже въ люди показаться, ибо я сдѣлался совершеннымъ санкюлотомъ. Еще смѣшное, если на то пошло: я попросилъ въ займы у Бартенева сто рублей—онъ отказалъ! Я предложилъ Каратыгину мою «Елену Глинскую», чтобы онъ далъ мнѣ до января мѣсяца только тысячу рублей—онъ потребовалъ заемнаго письма съ поручительствомъ! Надѣюсь, что при помощи Божіей, современемъ, все это будетъ намъ смѣшно, но каково, однакожъ, быть дѣйствующимъ лицомъ въ такой, какъ бы назвать,—tragédie bourgeoise. И въ это-то время надобно было работать, думать, усиливать трудъ, писать «Исторію» и «Критику». Слава Богу! я уцѣлѣлъ—не свалился, усилилъ работу и не чувствовалъ себя хуже. Съ голоду также не умеръ. Теперь я постоянно каждый день сижу съ пяти часовъ утра до трехъ пополудни, и еще работаю вечеромъ. Слава и благодареніе Богу! Повторяю: чувство отчаянія ни разу не входило мнѣ въ душу—это ужъ важное пріобрѣтеніе. Здоровье выдержало—еще пріобрѣтеніе. Наконецъ, «Богъ смирилъ меня»,—какъ говорилъ Меншиковъ. Досады, оскорбленія, эгоизмъ — ничто не родило во мнѣ отвращенія и ненависти къ людямъ. Бѣдные! Прощаю имъ, и даже оправдываю ихъ. Поднимаю только руки и взоры къ небесамъ, и въ тихой молитвѣ вопію: «Когда же конецъ? Долго ли еще? Укрѣпи меня, Всемогущій!» Крестъ тяжелъ, мой любезнѣйшій, когда особливо соображаешь все прошедшее. Вотъ въ будущемъ году мнѣ 46 лѣтъ, и ровно 25 лѣтъ какъ я началъ печатать.

Что же принесло прошедшее? Неужели, какъ Старичокъ нашъ, и мы передадимъ дѣтямъ только скорбь и тягость жизни, и все, что было доказано, все, что еще можно бы сдѣлать, должно гибнуть среди нестерпимаго бремени жизни физической, когда, бывши 25 лѣтъ сидѣльцемъ въ табачной лавочкѣ, можно бы хоть не умирать съ голоду...

Забавно, что когда вызывали меня за «Дочь и Откупъ» и «Костромскіе лѣса» (обѣ пьесы приняты были здѣсь съ величайшимъ успѣхомъ), иной думалъ о торжествѣ моемъ, а если бы знали... Гречъ говоритъ мнѣ теперь, прочитавши отпечатанные листы «Исторіи Петра Великаго», что я создалъ новый языкъ, выше Карамзина, и что послѣ «Исторіи Государства Россійскаго», ничего подобнаго не являлось въ русской литературѣ... Невольно улыбаешься горькою и судорожною улыбкою... Но дай отдохнуть...

Посвятивъ листъ изображенію настоящей жизни моей и того, что было со мною въ послѣднее время, обращаюсь, мой добрый другъ и братъ, къ тому, что я дѣлаю, и что я думаю и какъ дѣлать для нашего спасенія. Повторяю: надежда только на Бога и на самихъ себя. Ни отъ кого и ничего ожидать не должно; понимаешь.

Намъ надобно заплатить нѣсколько десятковъ тысячъ рублей съ января до марта. Но заплатить—абсолютно невозможно. Слѣдовательно надо перевернуться, а потомъ тянуть въ слѣдующемъ году. Я увѣренъ, что «Исторія Петра» и «Русскій Вѣстникъ» въ теченіе двухъ лѣтъ совершенно спасутъ насъ, при помощи другихъ средствъ. Два года еще! Но, Боже мой! если мы купимъ тогда совершенное спокойствіе!

Полагаю, что имѣя «Репертуаръ», «Экономъ», «Русскій Вѣстникъ», «Исторію Петра Великаго», «Живописное Обозрѣніе», торговлю здѣсь и въ Москвѣ, подписку на другіе журналы, ты можешь скопить столько денегъ въ началѣ года, что платежи по векселямъ произвесть будетъ можно.

«Репертуара» и «Эконома» полагаю я 2,000 экз., «Русскаго Вѣстника» 1,000; изъ 1-го тома «Исторіи» выручу 10,000 рублей. Если нельзя будетъ по векселямъ заплатить всей суммы, то платежъ уже и двухъ третей, примѣрно, поддержитъ кредитъ. Мы устоимъ и потянемся на годъ, который должно усиленно употребить для облегченія и спасенія себя.

Торговля и всѣ другія средства — это твое и Ратькова дѣло. Мнѣ остается одно: работать надъ «Исторіею Петра Великаго» и «Русскимъ Вѣстникомъ». Сперва объ немъ.

Странное дѣло: 25 лѣтъ тому, въ 1817 году, въ немъ началъ я мое литературное поприще, и черезъ 25 лѣтъ, поневолѣ, не воображая самъ того, сдѣлался я его хозяиномъ. Когда хотѣлъ рѣшительно бросить журналы, опять принужденъ за нихъ приняться, и неужели, какъ спасъ насъ нѣкогда «Телеграфъ», теперь спасетъ «Р. В.»? Кто знаетъ пути Провидѣнія!

Журналы въ совершенномъ упадкѣ. Время для хорошаго журнала прекрасное. Трудно теперь издавать журналъ, но возможность есть однакожъ. Къ несчастію, я долженъ дѣйствовать изъ-за кулисъ, и притомъ «Р. В.» такъ нелѣпо и глупо былъ веденъ, что будущій годъ должно употребить только на утвержденіе къ нему довѣренности. Тысячу экз. полагаю я высшею мѣрою сбыта его; но думаю, что на 1843 годъ можно будетъ поднять его въ 2,000. Тогда будетъ очень хорошо. Печатать думаю однакожъ первыхъ книжекъ 1,200 экземпл.—1,000 экземпл. даетъ 27,000 рублей (которыми можно ворочать цѣлый годъ). Расходы, считая по 15 листовъ въ книжку, составляютъ 17,000.—Себѣ я ничего не полагаю, кромѣ того только, что въ январѣ, февралѣ и мартѣ дать мнѣ по 500 рублей, и того 1,500 руб., и если перейдетъ за 1,000, то опредѣлить что нибудь мнѣ еще. Все остальное употребить на улучшеніе, платежъ за статьи и проч.

Средства являются бѣдны, а при бѣдности средствъ

трудность умножается. Ты пишешь, что деньгами не выкупить доброты журнала, но надобно однако-же именъ, да притомъ самому всего и вынести невозможно. Отъ тебя пособія, мой любезнѣйшій братъ, могу ли я требовать? Когда тебѣ писать? Если бы мы двое могли заняться только «Вѣстникомъ»—о! тогда журналъ закипѣлъ бы жизнью, но, повторяю, отъ тебя ничего требовать не смѣю. Ради Бога увѣдомь, что̀ именно можешь ты взять на себя? Но теперь я разсчитываю только на свои средства и силы. Увы! Правда, что я сталъ опытнѣе, закоренѣлъ въ работѣ, но за то я старѣе противъ 1825 года — шестнадцатью годами! Грустно и тяжко мнѣ убивать себя за журналомъ, но тяжкая необходимость требуетъ жертвъ — повинуюсь и буду работать, сколько силы позволятъ.

Второй трудъ—«Исторія Петра Великаго» и ей посвящу силъ и времени сколько могу. Но какъ она можетъ двигаться? Ей-Богу и самъ не знаю. Работа для меня не только не тяжелая, но отрадная, которою желалъ бы я заняться вполнѣ, но «Вѣстникъ» будетъ отнимать много времени. Какъ тутъ быть? О выходѣ томовъ исторіи вотъ мой самый укромный разсчетъ. Первый томъ выйдетъ тотчасъ послѣ новаго года. Въ теченіе будущаго года еще три — ну хоть еще два, и въ теченіе 1843 года три или два остальные. Всего будетъ шесть томовъ, и вся работа кончится въ два года. Продавать каждый томъ отдѣльно по 2 рубля сер. Сумму на напечатаніе надобно тысячъ до 30-ти. Разсчетъ выходитъ хорошій, но поспѣшить работою я истинно не въ состояніи, ибо гдѣ взять времени, котораго надобно половину отдать «Вѣстнику», который весь ляжетъ на мои плечи. Въ днѣ только 24 часа.

Я говорю, что «Русскій Вѣстникъ» весь ляжетъ на меня, и ты согласишься, подумавъ о томъ. И съ деньгами ничего не добьешься у нашихъ литераторовъ, а мы и денегъ-то дать имъ не можемъ. Все, чѣмъ можно располагать отъ 1,000 экз., составляетъ тысячъ восемь. Куда ихъ по-

вернуть? Жертвуя ими всѣми, если за переводы давать по 50 рублей, а за оригинальныя статьи по 100 рублей, можно положить первыхъ и вторыхъ по 50 листовъ. Но возмутъ ли наши литераторы по 100 рублей. Сомнѣваюсь.

Вотъ расположеніе «Вѣстника»:

1. Словесность. Здѣсь мнѣ всего болѣе надобно чужой помощи, повѣстей и словесности. Станемъ набирать, гдѣ и какъ можемъ. У кого думаешь ты просить и покупать въ Москвѣ стиховъ и прозы? Ѳедоръ Глинка, да Вельтманъ, и то Вельтманъ совсѣмъ одурѣлъ. Загоскинъ ничѣмъ не разродится, да и неприступенъ. Можно идти даже до 200 рублей за листъ, разумѣется при исключеніяхъ, обѣщая впредь, получая даромъ иногда, и проч. — Польская словесность подкрѣпитъ двумя, тремя повѣстями, ибо я включилъ ее въ планъ и у поляковъ есть теперь прелестныя вещи. Вотъ самое труднѣйшее отдѣленіе. Вѣчный Основяненко сталъ уже гадокъ своими Столбиковыми. Требую твоего совѣта. Въ первую книжку помѣщаю свою повѣсть. Будутъ еще: статья Греча (Венеція), статья Скобелева, стихи Ободовскаго, Кукольника, Губера, Мятлева. Довольно сносно.

II. Науки и искусства. Тутъ богатство: исторія, географія, записки извѣстныхъ людей, путешествія, извѣстія иностранцевъ, переводы относительно Россіи, акты, факты, статьи дѣльныя. Языковъ Д. И., Сахаровъ, Висковатый, нашъ князь Атилла, Румянцевскій музеумъ, Императорская Библіотека. Словомъ, тутъ не забочусь. Будутъ переводы, ибо слова: «относительно Россіи», тянутся какъ резина, что объясню далѣе.

III. Критика. И тутъ я не забочусь, хоть отдѣленіе весьма тяжело, ибо все оно будетъ на мнѣ. Мнѣ хочется въ каждую книжку по двѣ статьи критики, одну объ русскомъ, другую объ иностранномъ. Въ 1-й книжкѣ будетъ статья о шведской исторіи Гейлера, и о сочиненіяхъ Пушкина (прилагаю факъ-симилэ письма его ко мнѣ). Нельзя ли тебѣ тутъ меня облегчить? Твой умъ, твой вкусъ,

твое знаніе порукой, что, и мимоходомъ занимаясь, ты могъ бы подарить «Р. В.» прекрасными, умными статьями критическими. Одному, боюсь я, не достанетъ силъ, а положиться, кромѣ тебя, не на кого. Какова глупѣйшая статья Кукольника о Фритіофѣ?—Тутъ же будетъ и библіографія.

IV. Мелочь. Всякая всячина. Сборъ изъ всѣхъ газетъ и журналовъ извѣстій о Россіи, выписки о Россіи изъ иностранныхъ журналовъ, и проч. и проч. Нельзя ли отъ тебя сюда чего нибудь?—Особый листъ посвящается гумору, въ родѣ «Новаго Живописца». Въ 1-мъ листкѣ гумору будутъ: Новый годъ, мой дядя, двѣ маленькія статейки. Потомъ разборъ путешествія Погодина по Россіи; характеръ мерзавца Р.....а; статья о лакейской литературѣ, и проч. и проч. Шутку такую я считаю необходимою.

Вотъ все. Первая книжка уже печатается и выйдетъ 1-го января, если Господь не поразитъ чѣмъ либо неожиданнымъ. Книжки будутъ не менѣе 15-ти, но первая почти 20 листовъ.

Слова: «только Русское» пугать не должны, ибо все можетъ входить, только не цѣликомъ, переводя изъ книгъ и журналовъ, а помѣщая книгу въ критику, а статью журнальную передѣлывая по своему. Оригинальныя же статьи позволяется писать о чемъ угодно, русскомъ и иностранномъ. Я написалъ: о Софійскомъ соборѣ, о Макіавелѣ, о Тьерри, о Барантѣ и проч., и проч., помѣщая такія статьи то въ «Критику», то въ «Науки и Искусства». Надобно только, чтобы свой взглядъ былъ, а «Р. В.» обниметъ цѣлый міръ.

Теперь, мой любезнѣйшій, ты видишь сущность дѣла. Можно сдѣлать много прекраснаго, но, повторяю, гдѣ время и силы? Отвѣчай, хорошенько обдумавши, что и какъ ты можешь сдѣлать для «Вѣстника»? Откуда и чѣмъ можно черезъ тебя попользоваться. Говори — совѣтуй.

Думаю, мой добрый другъ и братъ, что ничуть не безчестно думать о наградѣ за трудъ, когда особливо сію на-

граду хочешь употребить на уплату за честь и на спасеніе семейства. Видитъ Богъ, виноваты ли мы, что насъ обременили долги! и еслибы не Смирдинъ, ...впрочемъ, о старомъ говорить нечего! Я только то хочу сказать, что не безчестно намъ, кажется, располагать «Вѣстникомъ» и «Исторіею П. В.», какъ спекуляціями. «Вѣстникъ» на 1842 годъ, полагаю я, какъ уже упоминалъ, будетъ только средствомъ имѣть тысячъ 25 въ годовомъ переворотѣ, надѣясь чистой прибыли отъ него уже въ 1843 году. «Исторія Петра Великаго» можетъ дать въ будущемъ году отъ 20,000 до 30,000 уже чистаго барыша (я разсчитываю печатаніе каждой части въ 5,000, а продажу 42 р.,—10%=37 р. 80 к. или 38 р.; слѣдовательно, считая 2,400 экз. — неужели столько-то не разойдется? Каждая часть принесетъ до 10,000 рублей). Неужели при скопленіи огромной суммы у тебя и у Ратькова въ началѣ года—когда «Репертуаръ» и «Экономъ» притомъ ваши на цѣлый годъ—намъ передышать будетъ нельзя? И неужели нельзя будетъ протянуть потомъ, хотя все еще тяжкій, 1842 годъ? Я вижу полную возможность. Вотъ ужъ первое условіе отрады.

Работы бездна. Только перенесли бы силы. Огорченій и скорби будетъ еще много, но вѣдь уже, все-таки, хуже настоящаго не будетъ, а существуя теперь, мы доказываемъ возможность существованія въ такомъ ужасномъ видѣ.

Какъ ты обо всемъ этомъ думаешь?

Я уже упоминалъ, что я за трудъ по «Вѣстнику» ничего себѣ не полагаю, а равно и «Исторію П. В.» всю сполна отдаю въ твои руки. Мнѣ надобно только просуществовать эти два года съ семьею. Для этого какія средства? Признаюсь, что желательно бы не слышать отказа изъ мясной и мелочной лавочки, ибо, во первыхъ, нельзя не ѣсть и не пить, а также и безъ панталонъ жить никакъ невозможно. Сверхъ того, желательно бы не разбиваться уже никакими другими работами, предпринимаемыми

для пропитанія, ибо они повредятъ главнымъ трудамъ. Я придумалъ для этого напечатать мои драмишки, не всѣ, но только мелкія, и ихъ выходитъ два маленькіе томика въ 16 долю. Однакожъ, въ обоихъ будетъ листовъ до тридцати. Нельзя ли тебѣ взять ихъ у меня? Ихъ печатается 1,200 экз. и продавать я думаю по 10 рублей (большихъ драмъ: «Гамлета», «Смерть или честь», «Уголино» и «Елена Глинская», я не помѣстилъ, думая потомъ составить еще два томика). Вотъ за два первые томика можетъ выручиться тысячъ нѣсколько, которыми я могъ бы продышать и не умереть съ голоду въ 1842 году. Далѣе: я отдаю въ дирекцію теперь «Елену»—они готовы съ радостью дать 3,000. Вотъ и средства жить на годъ, а тамъ увидимъ. Для спасенія отъ голоду мнѣ должно будетъ еще получить отъ Греча за 10, 11, 12 книжки нынѣшняго года по 500 рублей, и еще выговорилъ я у Ратькова заплатить мнѣ, какъ я выше говорилъ, за три первыя книжки «Р. В.» 1842 года по 500 рублей, ибо изъ драмъ я въ началѣ года ничего имѣть не могу—когда еще онѣ отпечатаются и выйдутъ. Еслибы можно было тебѣ дать еще мнѣ взаймы въ январѣ и февралѣ 3,000 рублей, даже хоть 2,000, которыя потомъ выручились бы изъ драмъ, то я заплатилъ бы здѣсь мелкіе мои должишки, и уже могъ приняться за дѣло, хоть не опасаясь прихода квартальнаго и голодной смерти. Вотъ мои требованія. Кажется, они умѣренны, но главное — необходимость диктуетъ ихъ. Если ты найдешь исполненіе ихъ возможнымъ, то напиши объ нихъ Ратькову: 1-е, что ты у меня два тома драмъ покупаешь и назначь, какъ онъ можетъ заплатить за нихъ въ теченіе года, затѣмъ, 2-е, что въ задатокъ ихъ дать мнѣ въ январѣ и февралѣ 3,000 рублей. Болѣе о себѣ ничего не говорю, и молю только Бога дать мнѣ силы и здоровье.

Жена моя теперь поправляется. Петръ все еще боленъ, но, кажется, не опасно. Къ благамъ жизни причисляю я и квартиру, которая попалась намъ дешевая, премиленькая

и теплая. Не знаю, какъ я остался живъ на мерзкой квартирѣ у дяди. Онъ содралъ съ меня за два года 4,400 рублей. Теперь остаюсь долженъ ему еще 350 рублей—покоя не даетъ, почти бранитъ, посылаетъ, говоритъ Богъ знаетъ что̀. Но все это въ порядкѣ вещей.

Ты упоминаешь въ томъ письмѣ своемъ о Семёнѣ, что ему достается «Описаніе Москвы», и что онъ получитъ тутъ даже значительный счетъ. Меня это порадовало, ибо тогда онъ не будетъ, по крайней мѣрѣ, отягощать насъ, и расплатится по своимъ обязательствамъ. Поясни мнѣ это обстоятельство . . . . . .

. . . . . .

. . . . . Какъ тебѣ показалось возраженіе Ратькова «Отеч. Запискамъ»? Разумѣется, писалъ его я, и здѣсь оно принято очень хорошо. Мерзавцы какіе! Что-то теперь они скажутъ, выведенные на свѣжую воду! . . . . . .

. . . . . .

. . . . . Гречъ возвратился здоровымъ; милъ и дружески обходится. «Вѣстникъ» снялъ я отъ него вполнѣ, съ платою только Глинкѣ по 2,000 рублей въ годъ. Съ Булгаринымъ у насъ большая дружба; онъ предается вполнѣ Ратькову, въ восторгѣ отъ меня и отъ тебя. О другихъ литераторахъ не пишу, да и гдѣ они? Это дурачье или мерзавцы и шарлатаны, которыхъ уважать невозможно. Какову академію Уваровъ составилъ? Есть ли совѣсть у Вяземскаго поступить въ академики! А. Розбергъ втерся: 2,500 рублей жалованья и ничего не дѣлать. Онъ получаетъ теперь тысячъ десять, не дѣлаетъ рѣшительно ничего, сдѣлался гнусный скряга, въ прибавокъ къ прежнимъ добродѣтелямъ — безбожію, эгоизму и проч. Кромѣ жалованья, содержитъ еще пансіонеровъ и деретъ съ нихъ за экзамены. Онъ былъ здѣсь и былъ у меня. Я едва могъ удерживаться, слыша его гнусныя сужденія. Уварова онъ хвалитъ открыто. Софья Познанская теперь здѣсь. Я ее не видалъ. Мужъ ея умираетъ, и толстякъ говоритъ, что Ро-

зановъ [1]) на ней женится. Съ нимъ какъ-то я встрѣтился, и онъ показался мнѣ попрежнему помѣшаннымъ. Итакъ, Фасилій Петровичъ Антрёсифъ отправился въ неизбѣжный путь—право мнѣ какъ-то грустно было услышать о томъ. Что Гусаръ? [2]) Скажи ему, что только для него помѣстилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» статью Глинки: «Бѣда отъ слова: ты», и думаю, что онъ посмѣялся надъ нею. Вѣдь совершенная безсмыслица!—Охъ! мой любезнѣйшій! только работы-то очень много. И какъ она теперь дѣлается, я и самъ не понимаю. Иногда совершенно дурѣю, особливо, при нестерпимо-стѣснительномъ состояніи моемъ. Въ другое время, я какая-то самопишущая машина, которую какъ будто кто нибудь заводитъ, а она пишетъ что угодно: драму, повѣсть, исторію, критику. Иногда какъ одервенѣлый работаешь, чтобы ни о чемъ не думать, а заглушить всякое человѣческое ощущеніе. Какъ выдерживаетъ здоровье—самъ не понимаю. Плановъ у меня бездна, силъ нашлось бы еще много—чего не сдѣлалъ бы я! Къ досадѣ, при стѣсненіи способовъ для «Русскаго Вѣстника», я кое-какъ перебиваться долженъ книгами и журналами. Какъ наполнилъ я шесть книжекъ «Р. В.» за сей годъ—не постигаю! Ни гроша денегъ на расходы, ни строчки статей.

Но довольно. Вотъ уже третій листъ. Кажется, главнѣйшее сказано. Буду ждать теперь отвѣта отъ тебя, твоихъ разрѣшеній, совѣтовъ, замѣчаній. Мнѣ вѣдь здѣсь не съ кѣмъ даже и поговорить, и посовѣтовать, какъ и тебѣ, въ Москвѣ. Еслибы мы были вмѣстѣ! Сестра [3]) здѣсь окончательно поселилась. Она продала свою поваренную книгу и

---

[1]) Николай Ивановичъ Розановъ, старинный пріятель семейства Полевыхъ. Онъ, дѣйствительно, страдалъ временно умопомѣшательствомъ. Н. К. Пол.

[2]) Такъ называлъ Николай Алексѣевичъ въ шутку младшаго брата своего, Петра Алексѣевича, служившаго въ военной службѣ.—Н. К. Пол.

[3]) Екатерина Алексѣевна Авдѣева, авторъ извѣстныхъ, въ свое время, хозяйственныхъ книгъ. Н. К. Пол.

собрала свои старыя статьи тоже въ книженку, что̀ и издаютъ Свѣшниковы, кажется, давши ей за обѣ книги 1,000 рублей. По крайней мѣрѣ, она на время какъ нибудь перебьется. Мнѣ кажется, что съ нѣкотораго времени цѣлый міръ только и говоритъ объ этой мерзости,— деньгахъ. Будь онѣ въ аду!

Твой Николай.

С.-Петербургъ. 19-го декабря, 1841 года.

Не постигаю причины твоего упорнаго молчанія, мой добрый братъ и другъ. Уже мѣсяцъ, думаю, какъ я отправилъ къ тебѣ на трехъ листахъ подробное посланіе, гдѣ говорилъ обо всемъ, говорилъ душей и сердцемъ, и о послѣднихъ надеждахъ, и о состояніи души и тѣла моего. Тутъ было много такого, на что потребенъ былъ мнѣ твой отвѣтъ, твой совѣтъ, твое рѣшеніе. Ты молчишь. Полагаю, что тутъ двѣ причины: или я оскорбилъ тебя чѣмъ нибудь, или ты видишь рѣшительную отчаянность нашего состоянія и, впадая въ совершенную безнадежность, полагаешь, что писать и говорить больше не о чемъ. Въ первомъ случаѣ я виноватъ, хоть и самъ не знаю въ чемъ, и прошу не лишать меня послѣдняго блага въ жизни — твоей дружбы и довѣренности. Я могу быть сумасшедшимъ, но клянусь Богомъ, сердце и душа моя чисты, особливо передъ тобой! Во второмъ случаѣ, все-таки надобно же говорить и сказать мнѣ что нибудь. Спасая себя вѣрою и молитвою отъ отчаянія, я все-таки думаю, что еслибы Провидѣнію угодно было рѣшительно погубить насъ и тогда надобно, благословясь, рѣшиться и перенести ударъ, не погибая подъ нимъ. Банкрутство и потеря состоянія не есть еще потеря честнаго имени, если уже никакія усилія не въ силахъ отвратить такого бѣдствія, страшнаго, но невольнаго. Ты и я, мы отцы семействъ, да и послѣ того трудъ нашъ необходимъ, и онъ не погибнетъ. И тогда, хотя

и понесемъ мы позоръ въ глазахъ людей, но можемъ надѣяться загладить его впослѣдствіи. Къ симъ ужасающимъ меня мыслямъ приводятъ меня слова Ратькова. Онъ золъ какъ дьяволъ съ нѣкотораго времени и рѣшительно объявилъ мнѣ, что никакой надежды къ спасенію не видитъ; что ты пишешь, что тебѣ надобно въ началѣ года 60,000 рублей, чтобы уцѣлѣть; что онъ нуждается здѣсь въ копѣйкѣ. Еслибы только была возможность, то я не хотѣлъ бы видать его «эѳіопскаго лица», какъ писалъ Іоаннъ Курбскому. Надобно же, чтобы судьба, желая унизить меня всячески, заставила меня не только имѣть съ нимъ дѣло, но связала меня съ нимъ тобою, а наконецъ подчинила даже мое существованіе ему! Всѣ средства бытія моего съ семействомъ составляютъ теперь 500 рублей за книжку «Русскаго Вѣстника», а онъ выдаетъ мнѣ по 25, по 50 рублей, грубо отказывая иногда, а когда я начинаю ему говорить... Но я смиряюсь, не передъ нимъ, но передъ Провидѣніемъ, которое имѣетъ надъ бѣдными смертными... впрочемъ, если еще такъ, какъ теперь, продолжится, то мои страданія не будутъ продолжительны. Жить такъ долго невозможно. Когда въ будущемъ безнадежность, отъ тебя даже нѣтъ утѣшенія, когда притомъ я задавленъ день и ночь трудомъ, котораго почти не въ силахъ одолѣть человѣкъ, и когда притомъ я лишенъ теперь даже дневнаго пропитанія—того и жду, что дѣтей выгонятъ изъ училища, а меня изъ квартиры (ибо Ратьковъ сказалъ мнѣ, что онъ даже тысячью рублей пособить мнѣ не можетъ, даже послѣ новаго года, соображая ходъ своихъ дѣлъ), въ такомъ положеніи, какъ ни усиливай силы духа—тѣло измѣняетъ! Въ началѣ декабря тѣло мое уже не перенесло—припадокъ мой возобновился; кое-какъ продержался я еще, но надолго стать меня не можетъ. Пока есть еще однакожъ силы, я не оставляю надеждъ и труда: печатаю и пишу «Исторію Петра», печатаю и пишу «Русскій Вѣстникъ». «Исторіи» 1-й томъ допечатывается. Первая книжка «Вѣст-

ника» выйдетъ 1-го января. Какъ она дѣлается? Самъ не понимаю! Ради Бога напиши мнѣ обо всемъ, говори, подкрѣпи, прости, утѣшь меня! Скажи, можешь ли, и какъ можешь ты поддержать мое насущное существованіе? Конечно, я виновенъ въ разстройствѣ твоихъ дѣлъ тѣмъ, что ты хотѣлъ подкрѣпить, успокоить меня, но я довольно заплатилъ терзаніями всякаго рода, и теперь все, что могу дѣлаю и отдаю тебѣ, чтобы спастись съ тобою. Къ Ратькову ничего не пиши о томъ, что я тебѣ писалъ о немъ и поступкахъ его со мною. Я не жалуюсь: онъ даже самъ не радъ своему несчастному характеру; но неужели въ самомъ дѣлѣ дѣла наши до такой степени безнадежны? Ради Бога, пиши! Твой Николай.

С.-Петербургъ. 21-го марта, 1842 года.

. . . . . .

. . . . . .

...Я считаю сомнѣніе твое во мнѣ наказаніемъ за тяжкій грѣхъ, въ который впалъ я послѣднее время, грѣхъ тяжкій: мною овладѣло какое-то безчувственное отчаяніе. Не его ли назвалъ Спаситель унынiемъ, говоря, что оно самый величайшій грѣхъ? Да, оно, унынiе, отчаяніе овладѣло мною въ послѣднее время; отчаяніе, безчувствіе, каталепсія душевная, гдѣ недоступны ни утѣшенія религіи, ни семейныя радости, гдѣ не чувствуешь ни дружбы, ни ненависти, гдѣ плакать хочется, но не можешь, гдѣ извѣстіе о самомъ страшномъ ударѣ произвело бы только судорожную улыбку упрека судьбѣ, гдѣ жизнь и смерть все равно, и самоубійство недоступно не по совѣсти, а такъ—что все равно! Видишь день—встаешь; надобно работать—работаешь, говорить—говоришь, ѣшь, спишь, пьешь машинально, ничего не желаешь и не чувствуешь къ людямъ, и міру и жизни—ни любви, ни ненависти; не дѣлаешь зла потому, что не стоитъ дѣлать, и добро исполняешь такъ, какъ ѣшь и спишь. Теперь, когда мнѣ кажется, будто я

становлюсь опять доступенъ чувству, когда могу кое-что понимать, особливо, когда я получилъ твое послѣднее письмо, я съ раскаяніемъ сознаю, что такое состояніе грѣхъ, преступленіе, и сомнѣніе твое во мнѣ кажется мнѣ именно наказаніемъ за него. Что привело меня въ такое моральное безчувствіе — не знаю, да и не умѣю разгадать. Не то ли, что я здоровъ теперь, а потому ударъ отразился на душу, какъ въ 1840 году, онъ отразился на тѣло, и доводилъ меня до гроба физическимъ страданіемъ. Какія были тому непосредственныя причины, повторяю, не знаю. Бѣдствій новыхъ не случилось, все было старое; но думаю, что причиною было мое рѣшительное сознаніе въ томъ, что первое—ваше положеніе рѣшительно безнадежно, и все должно кончиться гибелью; второе, что я ничего не могу тутъ пособить; третье, наконецъ, мелкія дополнительныя причины. Какъ анатомистъ разсматриваетъ трупъ, такъ я разсматриваю теперь все это. Обращаюсь къ первому. Безплодность всѣхъ заботъ, неудачи всѣхъ средствъ и предпріятій, что ты отъ меня скрываешь, но что я вижу и понимаю изъ разговоровъ съ Ратьковымъ, меня увѣрили, что долги наши неоплатны, и стараніе облегчить ихъ безполезно. Дѣлать нечего, и мнѣ понятно все мученіе, все страданіе, какія ты при томъ переносишь. Но легче-ли мнѣ? Во-первыхъ, въ случаѣ послѣдняго несчастія я вѣдь отъ тебя не отстану, и мы погибнемъ оба. Мученія и страданія твои суть мои мученія и страданія. Униженіе, позоръ, все, что терзаетъ тебя, равно терзаетъ и меня, хоть я вдали, не вижу людей, съ которыми ты мучишься, ни дѣлъ, которыми ты мучишься. Во-вторыхъ, меня страшно убиваетъ мысль, что *я* былъ главною причиною твоихъ скорбей; что твое желаніе пособить мнѣ увлекло тебя, и ты разстроилъ свои дѣла, свое спокойствіе, свое здоровье—меня освободилъ, но самъ упалъ въ безконечную бездну золъ. Говорить, что я понимаю твое великодушіе, что я готовъ жизнь мою отдать тебѣ за то, ... но

все это будутъ слова. Что сдѣлаетъ тебѣ пожертвованіе моею глупѣйшею жизнью? И я оскорбилъ бы святость дружбы къ тебѣ неискренностью, еслибы не сказалъ, что готовый заплатить тебѣ за твои пожертвованія всѣмъ, между тѣмъ, я проклинаю то время, когда я согласился принять ихъ: мнѣ легче было бы, рано или поздно, погибнуть самому, нежели теперь, губя тебя, съ бѣшенствомъ подымать къ небу кулаки и видѣть безсиліе мое пособить тебѣ, облегчить тебя—да, безсиліе, и это я страшно вижу, чувствую и понимаю, и здѣсь-то вторая причина моего убійственнаго отчаянія. Я думалъ, что изданіе «Русскаго Вѣстника» дастъ хоть нѣкоторыя средства, хоть облегчитъ платежи на время, и что «Исторія Петра Великаго» и другіе труды мои пособятъ тебѣ. Но опытъ показалъ, какъ во всемъ я ошибся. На «Вѣстникъ» едва есть 500 подписчиковъ; «Исторія Петра Великаго», ничего не обѣщаетъ мнѣ послѣ этого, а о другихъ трудахъ и говорить нечего. Чтожъ? Безпечность, нерадѣніе мое тому причиною? Богъ свидѣтель, что я истощаю всѣ усилія, забываю сонъ, пищу—все; работаю сколько силъ душевныхъ и тѣлесныхъ достаетъ, но ничто не помогаетъ. О пособіи твоемъ въ «Вѣстникѣ» я не разсчитывалъ и сначала нисколько. Я зналъ всю безмѣрность труда, все снялъ на одного себя, но трудъ этотъ не окупаетъ и расходовъ, даже не подкрѣпилъ и выручкою, ибо что значитъ тысячъ десятокъ, за «Вѣстникъ» полученныхъ—капля въ морѣ! А между тѣмъ, три мѣсяца, да и весь декабрь убилъ уже я за нимъ; съ отвращеніемъ въ душѣ принялся я опять за всѣ журнальныя мерзости, не щажу себя работою, навлекаю всякія непріятности, дѣлаюсь поденьщикомъ, и работа, убійственная для души, вредящая во всемъ, отнимающая все время—что же это за работа? Только разстроиваетъ и уничтожаетъ всѣ другіе труды, которые очевидно могли бы быть полезны!! Надобно ли говорить о третьемъ: дополнительныхъ вещахъ, которыхъ довольно могло-бъ быть, еслибы

не было бо̀льшаго: 1-ое, убійственности безконечнаго и безполезнаго труда; 2-ое, злости и безсовѣстности людей. Именно этотъ мерзкій «Вѣстникъ», возбудивши одобреніе публики, здѣсь возбудилъ и всѣ ненависти литературныя и подозрѣнія, что я хочу, что-то шевелить опять по журналистикѣ. Ты видишь изъ журналовъ, каковы отзывы всѣхъ, каковы и друзья мои, хоть изъ отзыва объ «Еленѣ Глинской», и изъ прочаго, и можешь остальное уразумѣть. О цензурѣ ужъ ни слова. Да, притомъ, до опыта я все еще не думалъ, чтобы литература и литераторы дошли до такого униженія, гнусности, эгоизма, корыстолюбія—стыдно, истинно стыдно называться литераторомъ, а еще болѣе журналистомъ!! — Наконецъ, сказать ли, что въ послѣднее время я дошелъ до послѣдней степени бѣдности и недостатковъ. Если бы не маленькая помощь отъ тебя (500 руб., которые ты выслалъ мнѣ, и 300 руб., которые заплатилъ за меня Сазикову), и если бы не «Елена Глинская», которая дала мнѣ до 3,000 рублей—я не зналъ бы куда мнѣ дѣваться, и что ѣсть. И Боже! до какого уничиженія упалъ я! Я радовался не успѣху «Елены», не созданію ея, ибо зналъ и знаю, что она глупа и нелѣпа, и я не хотѣлъ даже и отдавать ее, хотѣлъ сжечь, но только одна крайность заставила меня отдать ее на сцену, и—я радовался, что ее приняли . . . . . .

. . . . . .

Нѣтъ, мой другъ и братъ! Если ты разсмотришь и сообразишь все, все, что я тебѣ здѣсь говорю, ты пожалѣешь обо мнѣ, ты оправдаешь мое отчаяніе, мою моральную каталепсію.—Впрочемъ, не оправдывай ее, вини меня, даже и выслушавши мою исповѣдь; но только, ради Бога, умоляю тебя, сними съ меня твое подозрѣніе, твое сомнѣніе, зародившееся въ ангельскомъ, добрѣйшемъ сердцѣ твоемъ—утѣшь меня, что ты меня не винишь, прощаешь, если я и виноватъ... все другое, кромѣ отчужденія твоего сердца отъ моего. Дай отдохнуть... Отлагаю письмо мое до завтра...

Марта 22-го.

Мнѣ стало легче, когда я хоть немного высказалъ тебѣ себя, мой добрый другъ и братъ. Излагая тебѣ на бумагѣ состояніе души моей, чувства мои, я какъ-то для самого себя лучше пояснилъ все. Принимаюсь за дальнѣйшее и прежде всего прошу: ради Бога не-щади меня, ибо безвѣстность всего страшнѣе. Скажи ты мнѣ откровенно и отвѣчай на вопросъ: ошибаюсь я или нѣтъ, что дѣла наши рѣшительно погибшія, и что теперь, послѣ всѣхъ пожертвованій, мы въ неоплатномъ долгу, и заплатить его—даже уцѣлѣть еще нѣсколько времени — никакихъ средствъ нѣтъ. Напиши мнѣ прямо и откровенно: сколько еще остается моихъ и твоихъ собственныхъ долговъ (не считая мои векселя Сопову, Протопопову, Логинову, Соколову и Кутулѣ, составляющіе 12,000 рублей), моихъ говорю, ибо если они и переведены на твое имя, это все равно, какъ все равно и то, что намъ должно платить за Смирдина. Напиши именно сколько, и есть ли возможность, чтобы они насъ не погубили? Вотъ первое.

Съ своей стороны я откровенно долженъ сознаться, что теперь — какъ ни горько такое сознаніе — теперь я ничего не могу сдѣлать! Величайшую, огромнѣйшую глупость сдѣлали мы, предпринявши «Русскій Вѣстникъ». Я употребилъ истинно нечеловѣческія усилія издать три книжки его, безъ помощи, безъ расхода копѣйки денегъ, такъ что самъ даже переписывалъ статьи, но ничто не пособило! «Вѣстникъ» не окупитъ бумаги и печати, а главное, что онъ отнялъ у меня все время и убилъ меня, и страшно, и холодно мнѣ становится при мысли, что онъ долженъ продолжаться еще на девять книжекъ, еще годъ «Исторію Петра Великаго», маленькую «Исторію», все другое оставилъ я для него—и чтожъ изъ того!..

Послѣ долгаго обдумыванія, рѣшился я теперь такъ:

1) Продолжать «Русскій Вѣстникъ», но только въ возможно маломъ объемѣ, чтобы только не посрамить себя и

дотянуть его до конца, а потомъ бросить къ чорту, и дать клятву: никогда болѣе не приниматься за журналы. Если ужъ и изъ хлѣба должно работать, то выходитъ, что на другомъ можно заработать болѣе хлѣба, а не на дѣлѣ, которое оподлилось, огадилось, и рѣшительно упало...

2) Между тѣмъ—стараться продолжать сколько возможно «Исторію Петра Великаго». Но вопросъ: должно ли теперь спѣшить издать первый томъ ея? Кромѣ того, что, говоря по совѣсти, онъ требуетъ еще обдѣлки, принесетъ ли онъ пользу, если его теперь выпустить? Кромѣ того, что онъ явится въ самое невыгодное время, разумѣется, на него устремятся съ яростью, истерзаютъ, обезславятъ его, охолодятъ публику, и уже второй томъ не произведетъ никакого впечатлѣнія. И что же, если продавать его по 2 рубля сер., всего за 2,000 экз., положимъ, выручится 14,000 рублей, несчитая складки и проч. — Не лучше ли постараться обдѣлать его какъ наивозможно лучше, и повременить выпускомъ до зимы, а между тѣмъ постараться додѣлать и выпустить вмѣстѣ съ нимъ 2-й томъ? Тогда впечатлѣніе будетъ лучше, сильнѣе во всѣхъ отношеніяхъ, и книга явится уже въ нѣкоторой полнотѣ. Необдѣлкою его по совѣсти называю то, что хотя мнѣ не только отказано было въ открытіи архивовъ, не говоря уже о пособіи, но теперь отказано даже и въ посвященіи (что, признаюсь, тяжко и грустно поразило меня), но однакожъ мнѣ открылось столько частныхъ пособій драгоцѣнныхъ, что я самъ тому удивляюсь, и они несравненно обогащаютъ и дополняютъ все, что у меня прежде было. Но для рѣшенія обо всемъ этомъ, мнѣ нужны твой совѣтъ и твое согласіе;—вотъ второе.

3) Между тѣмъ, если только можно тебѣ подождать, то въ теченіе этого года, во-первыхъ, я не требую отъ тебя ни копѣйки на прокормъ, и, кромѣ того, надѣюсь еще въ теченіе года имѣть средства заплатить даже отчасти долгъ, 12,000 рублей, о которыхъ выше упоминалъ, такъ что ты

объ нихъ можешь не безпокоиться; тутъ я не обольщаю себя мечтами, но разсчетъ мой такой (не стыди меня даже заочнымъ сожалѣніемъ о томъ, что я унизился до такихъ разсчетовъ, какъ цеховой ремесленникъ). «Елену Глинскую» хотятъ ставить въ Москвѣ, и она дастъ двѣ-три тысячи; два томика «Драматическихъ сочиненій», которые къ Пасхѣ будутъ готовы, дадутъ тысячъ пятокъ; у меня почти готова еще драма, которую просятъ отдать въ дирекцію театра; изданіе «Исторіи Петра Великаго» съ политипажами, которое остановлено было глупымъ изданіемъ Эльснера, теперь возобновляется при неудачѣ его, а меня также просятъ дописать рукопись, которую я хотѣлъ и принужденъ былъ бросить. Вотъ средства, и сокративъ всѣ необходимые расходы въ жизни, стараясь кое-какъ прожить и пробиться, я могу изъ всего этого удѣлить тысячъ семь-восемь; а при такой уплатѣ остальное, надѣюсь, подождутъ. Располагая такъ, при семъ прилагаю я письмо къ Сопову и Протопопову, съ которыми и прошу тебя повидаться, а объ Логиновѣ увѣдомь: въ какой срокъ далъ ты ему вексель.

Вотъ все, что я думаю, но ты—мое Провидѣніе. Я ужъ истинно не полагаюсь на себя. Рѣши все ты. Письма твоего буду ждать нетерпѣливо; но, ради Бога, будь откровененъ и за меня ничего не бойся. Если намъ нѣтъ спасенія — «Да будетъ воля Твоя!» — скажу я безпрекословно и покорюсь судьбѣ. Готовъ даже немедленно ѣхать въ Москву и постараться, въ такомъ случаѣ, сдѣлать, что могу.

Будь откровененъ. Совершенно одинокій, я здѣсь слышу только Ратькова, котораго слова точно карканье зловѣщаго ворона. Всякій разъ послѣ свиданія съ нимъ на нѣсколько часовъ дѣлаюсь, какъ одеревенѣлый. Онъ безпрестанно говоритъ мнѣ о неисчислимой громадѣ долга. Говоритъ, что онъ переслалъ къ тебѣ въ Москву сколько могъ, ослабилъ здѣсь дѣла, нуждается въ копѣйкѣ, отъ тебя не видитъ въ присылкѣ ни одной книги. Всѣ наши предпріятія, по его

словамъ, лопнули. «Живописное Обозрѣніе» погибло; «Репертуаръ» принесетъ убытокъ; «Русскій Вѣстникъ»— убытокъ. Не видя твоихъ публикацій въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», замѣчая, что, въ самомъ дѣлѣ, высылки книгъ отъ тебя нѣтъ, перечитывая твои письма — я всему вѣрю! Я хотѣлъ было порадоваться, когда Смирдинъ передалъ тебѣ претензію на Харьковскій университетъ, но Ратьковъ улыбнулся и сказалъ:—«Капля въ морѣ!» Боже Всемогущій! Да велико ли это море? Скажи, другъ и братъ! Неужели мы утонемъ въ немъ и спасенія нѣсть? Я кончилъ; отвѣчай. Отвѣчаю на нѣкоторыя мелочныя частности: Солнце[1]) самъ у меня былъ. Безплодная любезность и его увѣренія и клятвы въ желаніи мнѣ добра позабавили меня. Добраго нашего «говоря, говоря» [2]) я ждалъ и до сихъ поръ не дождался. Monsieur Semen былъ мнѣ утѣхой, съ своимъ шанбелланствомъ, искательствомъ, титуломъ издателя «Памятниковъ», съ разсказами о M-r Ouwaroff, comte Protassoff, monsieur Mourawieff et M-r Serbinowitsch. Онъ поползалъ здѣсь и выползалъ кой-какія крохи. Но мнѣ было жаль его, и невольно вспоминалъ я: «l'hiver!» Право есть люди хуже его...

Фридрихъ говорилъ Ратькову, что Лилла пріѣдетъ съ первымъ пароходомъ, ибо ея здоровье совершенно поправилось. Правда ли? Можно ли порадоваться хоть этому? Увѣдомь.

Просьбу мою, сдѣлай милость, исполни: перемѣни билетъ старухѣ-нянѣ. Мнѣ дѣлалъ это прежде добрый нашъ «говоря, говоря», ибо ему стоило только послать къ коменданту Сталю.

Росписокъ Поповой, въ полученіи отъ меня денегъ, у меня ни одной нѣтъ. Ратьковъ сказывалъ мнѣ, что «Византійскихъ Легендъ» онъ не продалъ ни одного экзем-

---

[1]) Н. А. Кашинцевъ.

[2]) В. В. Варгинъ.

пляра, и совѣтовалъ сбыть ихъ хоть на вѣсъ, на толкучій. Нѣтъ ужъ этого нельзя; я лучше сожгу ихъ! А можетъ быть, еще немножко они и пораспродадутся.

IX.

Драма «Ломоносовъ».—Поѣздка въ Москву, въ маѣ 1843 года.—Чѣмъ и какъ занимался Николай Алексѣевичъ въ 1843 году. — Убійственная механическая литературная работа. — Онъ готовитъ VII томъ «Исторіи русскаго народа».—Оскорбленія и униженія, до которыхъ денежное стѣсненіе и нужда доводятъ Николая Алексѣевича.—Онъ проситъ Ксенофонта Алексѣевича добиться у московскихъ кредиторовъ отсрочки платежа. — Ксенофонтъ Алексѣевичъ достигаетъ этого.—Тяжкая болѣзнь окончательно разстраиваетъ силы Николая Алексѣевича.—Онъ проситъ брата пріѣхать въ Петербургъ повидаться и переговорить съ нимъ.—Послѣднее, предсмертное письмо его.

С.-Петербургъ. 19-го февраля 1843 года.

Послѣ письма моего съ Ратьковымъ, я не писалъ къ тебѣ, мой добрый, мой единственный братъ и другъ. Прошли цѣлые мѣсяца. Нѣсколько писемъ твоихъ получилъ я, и не отвѣчалъ. Что ты обо мнѣ думаешь? Что я живъ, это тебѣ неизвѣстно быть не можетъ—что же кромѣ того? Знаю и вѣрю, что въ сердцѣ моемъ ты не сомнѣвался, сужу по себѣ, ибо я скорѣе усомнюсь въ бытіи Бога, нежели въ вѣрѣ моей въ тебя. Но воображаю, что ты долженъ былъ думать о состояніи моемъ и какъ терзала тебя неизвѣстность обо мнѣ? Ты и не ошибался—не знаю, какъ пережилъ я послѣдніе мѣсяца прошлаго года и начало нынѣшняго! Оскорбленій, потерь, разочарованій, крайности, до которой я былъ доведенъ, когда между тѣмъ видѣлъ все разрушеннымъ, все погибшимъ впереди, вмѣстѣ съ моимъ здоровьемъ. Наконецъ, я самъ не знаю, какъ все сдѣла-

лось—я какъ будто ожилъ, поздоровѣлъ—по крайней мѣрѣ, не умираю голодною смертью, могу думать, могу располагать, мыслить, и первое, что дѣлаю, пишу къ тебѣ! О, мой братъ и другъ! И первою вѣстью, что напишу къ тебѣ—отрадная мысль, что мы скоро увидимся. Да, мой другъ — Святую недѣлю, если только судьба опять не начнетъ гибельнаго кризиса, надѣюсь я провести съ тобою въ Москвѣ, а до тѣхъ поръ весь великій постъ, не знаю, какъ успѣю я переработать все, что переработать предполагаю... Но Богъ дастъ мнѣ силы, а мысль свиданія съ тобою увѣряетъ меня, что нынѣшній годъ будетъ послѣднимъ годомъ страданій нашихъ: либо умру подъ тяжестію труда, либо начну эпоху общаго нашего спасенія. Какъ о насмѣшкѣ судьбы я долженъ извѣстить тебя объ успѣхѣ новой драмы моей—«Ломоносовъ». Ты вѣрно читалъ ее въ «Библіотекѣ для Чтенія». Она была написана въ недѣлю, поставлена въ двѣ недѣли. Судить объ ея достоинствѣ не могу, но успѣхъ ея былъ какой-то нелѣпый. Въ первое представленіе меня вызывали три раза, во второе — четыре. Потомъ я ужъ не былъ, но вызовы продолжались еще, три или четыре спектакля, и въ 15-е представленіе не доставало билетовъ. Люди всѣхъ званій бывали по два, по три раза, и увѣряли, что ничего лучше не видывали. Если въ этомъ странномъ успѣхѣ принадлежитъ что нибудь мнѣ, то столько же принадлежитъ и тебѣ — я переложилъ въ разговоры «твоего Ломоносова», и въ этомъ воровствѣ каюсь передъ тобою!—Но скажи мнѣ, ради Бога, мой другъ и братъ, что же это: въ самомъ дѣлѣ хорошо, или, что же это такое значитъ? Отдавая «Ломоносова» на сцену, я просто ждалъ паденія, ибо писалъ окончаніе его, посылая начало въ типографію. Такъ чего же надобно? Неужели должно съ ума сойдти, чтобы угодить людямъ? Въ третьемъ дѣйствіи плачутъ, когда у Ломоносова нѣтъ гроша на обѣдъ, и Фрицъ приноситъ ему талеръ — а не знаютъ, что это за нѣсколько дней съ самимъ мною было, и что сцена не выдумана...

Вольдемаръ и Никтопольонъ вышли изъ Петровской школы, съ превосходными аттестатами, и теперь приготовляются къ университету. Въ іюлѣ должны они держать экзаменъ для вступленія въ университетъ. Сергѣй поступилъ въ Peters-Schule на мѣсто ихъ—ростетъ новое поколѣніе! Будетъ ли оно умнѣе и счастливѣе насъ!—Мое благословенье твоимъ ребятишкамъ. Лиллѣ цѣлую орлиную ручку и, прижимая тебя къ сердцу моему, есмь и буду твой братъ и другъ.

Николай.

С.-Петербургъ. 24-го мая 1843 года.

Немедленно по пріѣздѣ писалъ я къ тебѣ, мой единственный другъ и братъ, а вчера получилъ и отъ тебя письмо. Надобно ли говорить? Нѣтъ! въ письмѣ моемъ сказалъ я тебѣ все, и теперь повторяю только одно: Ora et labora, и fiat voluntas tua, да будутъ нашимъ девизомъ. Я хочу заказать себѣ печать съ этими словами. Упованіе не обманетъ, а оно внѣдрилось въ душу мою твердо и неизгладимо послѣ свиданія съ тобою, укрѣпясь крѣпкою думою въ дорогѣ и по возвращеніи. Я далъ себѣ клятву—или пасть въ бою, или побѣдить вѣрою и трудомъ! Тогда и люди придутъ на помощь. До тѣхъ поръ много еще надобно будетъ намъ страдать—много переносить, и въ этомъ обманывать себя не должно... Я успѣлъ лично познакомиться съ княземъ Алекс. Өед. Голицынымъ, нашелъ въ немъ любезнаго, просвѣщеннаго человѣка, европейца по идеямъ, вельможу по чувствамъ. Часа два просидѣлъ я у князя А. Ѳ., и переговорилъ съ нимъ о многомъ. Онъ внукъ Шувалова. Отецъ его былъ другъ Вольтера, Бюффона, Галіани. Князь А. Ѳ. превосходно знаетъ англійскую и нѣмецкую литературу... Все о чемъ ты упоминаешь въ письмѣ: реэстръ къ Голикову, политипажи къ «Живописному Обозрѣнію», «Дюмонъ-Дюрвиль» и «Бранденбургъ», все у меня въ памяти, и исполнить я всячески постараюсь, не забывая

и объ «Апасѣ» и даже о статьѣ для «Гражданина» — я буду вамъ сказать. Правда, голова у меня вертится особливо, когда самъ можешь вообразить при томъ мои заботы по части хлѣба насущнаго; но милостивъ Богъ! — Погода здѣсь наступила прелестная. Въ четвергъ проводили мы Греча, а въ понедѣльникъ былъ ему данъ прощальный пикникъ. Увидимся ли? Онъ боленъ и дряхлъ. Обстоятельства его печальныя, и, прощаясь со мною, онъ горько плакалъ, по себѣ и обо мнѣ. Съ Булгаринымъ надняхъ случилась самая несчастная исторія. Песоцкій, встрѣтясь съ нимъ, началъ его ругать, и они подрались больно, но главное — срамъ и мерзость, ибо драка была при людяхъ и враги Булгарина торжествуютъ! Булгаринъ боленъ и отъ побоевъ, и отъ горя, а Песоцкій гордится побѣдою. Другое грустное событіе случилось съ профессоромъ Соловьевымъ, издателемъ книги Кошихина: онъ помѣшался и посаженъ въ домъ сумасшедшихъ. Причина неизвѣстна. Говорятъ будто усиленная работа и неблагодарность Уварова.—Кстати, ты помнишь, кажется, князя П. В. Долгорукова, издателя «Родословника» Долгорукихъ? Онъ привезенъ сюда изъ Берлина и сидитъ въ крѣпости. Говорятъ, будто онъ издалъ какой-то пасквиль на Россію. Если это правда, то, вѣроятно, и онъ, какъ Соловьевъ, сошелъ съ ума. Мнѣ весьма жаль его, ибо онъ былъ умный, любезный молодой человѣкъ, и поступокъ его для меня непостижимъ. Да кто исчислитъ глупости и нелѣпости людскія? Надняхъ всѣхъ занимала бѣдственная исторія дочери богатаго погребщика Шитта, у котораго и ты покупаешь вино въ Москвѣ. Она увлечена была въ гибель какимъ-то прикащикомъ отца, и родила. Старикъ взбѣсился, не хотѣлъ простить. Несчастная помѣшалась и бросила дитя свое въ каналъ! — Спасибо, люди скоро позабываютъ о подобныхъ бѣдствіяхъ собратій. Теперь все здѣсь спѣшитъ отсюда заграницу, на дачи. Театръ, когда поетъ Рубини, полонъ, и вчера въ циркѣ Сулье были десятки тысячъ народу. Невольно скажешь: Азъ-Арапъ!

Маманъ и Лиллѣ мои поклоны. Увѣдомляй меня о здоровьѣ Лиллы. Передай ей всѣ наши дрянныя надеждишки въ будущемъ, и скажи, что если прежде я любилъ ее, то послѣ послѣдняго свиданія благоговѣю передъ ней! О, вѣрю, что мы доживемъ еще до счастья.

Твой Николай.

Поздравляю тебя съ сосѣдомъ [1]), и радуюсь, что ты часто можешь наслаждаться его диссертаціями о табакеркахъ, съ прибавкою—знаете, то есть, знаете. Нѣтъ ли чего новаго о Солнцѣ, Оранскомъ, Крочемковѣ и другихъ людяхъ великихъ?

Посылаю обратно бумажку. Помнишь, у насъ ходила изъ Курска въ Москву бумажка и выходила нѣсколько лѣтъ счастливой жизни. Можетъ быть, и это талисманъ—въ 1813 и 1819 годахъ было намъ худо, но были же послѣ того годы съ блестками радостей для тебя и для меня. Spera et Vale!

С.-Петербургъ. 3-го іюня 1843 года.

. . . . . .

Я урываю часы на работу, работаю, дорожа каждою минутою, и надѣюсь надняхъ прислать тебѣ рукопись «Дюмонъ-Дюрвиля» и роспись къ Голикову. Между тѣмъ и главное писанье мое не забывается; я рѣшился назвать такъ: «Исторія Россіи» со времени Петра Великаго до царствованія императора Павла I-го соч. N. N. [2]), служащее продолженіемъ изданной тѣмъ же авторомъ «Исторіи Петра Великаго». Успѣхъ «Исторіи Петра Великаго» здѣсь рѣшительный, ее переводятъ уже на нѣмецкій языкъ, это обнадеживаетъ, что трудъ слѣдующій дастъ намъ сред-

[1]) Фабрикантъ табакерокъ Лукутинъ, поселившійся въ одномъ домѣ съ отцомъ моимъ. Н. К. Полевой.

[2]) Николай Алексѣевичъ лишенъ былъ министромъ Уваровымъ права подписывать имя свое подъ своими сочиненіями; поэтому онъ выставилъ тутъ буквы N. N. Ник. Ксен. Полевой.

ство вздохнуть — болѣе ничего не требую! надѣюсь скоро выслать тебѣ десять политипажей изъ «Исторіи Суворова», по выбору лучшихъ; и я думаю не написать ли мнѣ самому къ нимъ статьи? Это облегчитъ тебя. Надняхъ въ первый разъ въ жизни былъ я зрителемъ магнитизированія и сонамбулизма высокой степени. Что̀ сказать? Изумленію моему не было границъ, и что̀ это такое, я совершенно не постигаю. Это какой-то дивный, поэтическій, духовный міръ! четыре часа пролетѣли для меня въ отрадѣ и упоеніи — я жилъ умомъ и духомъ, забывая тѣло и землю!—Кстати о землѣ: грустно было мнѣ слышать о бѣдственной смерти героя Красовскаго, съ которымъ полгода назадъ дружески бесѣдовали мы по цѣлымъ вечерамъ. Грустно было и извѣстіе о смерти Витгенштейна. И онъ туда! Какъ мало остается людей великой эпохи, великаго вѣка! Еще десять лѣтъ и только могилы, да пыльные листочки лѣтописей будутъ слѣдами того, что мы сами видѣли, чѣмъ мы жили! Сюда пріѣхалъ Розбергъ и былъ у меня, но я едва могу скрывать мое къ нему отвращеніе. Къ досадѣ моей и на сей разъ Цынскій былъ мнѣ неуловимъ. Онъ самъ заѣзжалъ ко мнѣ, но не засталъ меня дома. Булгаринъ уѣхалъ въ Дерптъ, разставшись со мною дружески. Романъ нашъ двигается быстро. — Апасы̀ я уже не засталъ здѣсь. Онъ теперь въ Москвѣ, и я думаю, Евсей [1]) теперь постарается съ нимъ видѣться и кончить дѣло. На всякій случай ты увѣдомь его однакожъ, что Апаса̀ въ Москвѣ. Вѣдь онъ и Гусаръ умѣютъ только охать и заставлять другихъ дѣйствовать, сами не двигаясь съ мѣста. Вотъ у меня теперь живетъ имъ подъ пару Александръ Акимычъ [2]) — чудакъ, съ которымъ не знаю что̀ дѣлать, но котораго бросить запрещаетъ чувство человѣчества. Уморительное дѣло съ сестрой [3]): негодяй Бурнашевъ и подлецъ Поляковъ, из-

[1]) Братъ Н. А. — Евсей Алексѣевичъ.
[2]) Алекс. Аким. Титовъ.
[3]) Екатерина Алексѣевна Авдѣева.

давая вновь свою «Энциклопедію хозяйки», перепечатали половину сестриной книженки, и какъ — слово въ слово! Такую наглость рѣшился я преслѣдовать и подалъ отъ имени сестры просьбу въ цензурный комитетъ. Объ этомъ были толки безконечные, и до того смѣшные, что вообрази я хохоталъ до упада. Всего забавнѣе было смѣшеніе въ сестрѣ досады съ удовлетвореннымъ авторскимъ самолюбіемъ.—Жену и дѣтей отправилъ я въ колонію Ораніенбаумскую, а самъ живу теперь одинъ, съ Вольдемаромъ и Никтополеономъ, да Александръ Акимовичемъ. Не знаю удастся ли мнѣ самому дохнуть за городомъ? Работы безъ конца; заботъ столько же. Cette belle nature où je ne posséde rien, me sourit et m'enivre aussi bien que si j'étais un des princes. Je n'envie pas la gloire d'étendre et de marquer mes domaines sur sa face mutilée, mais si je me contente d'une tranquille contemplation, si je demande seulement à repaître mes sens des parfums et des harmonies qui émanent d'elle, cela même ne m'est permis. Travailleur infatigable, il faut que, de l'aube à la nuit, j'arrose de mes sueures un sol qui verdira et fleurira pour d'autres yeux que les miens. Si je perds une heure par jour à sentir vivre mon coeur et ma pensée, le pain manquera à ma vieillesse, et le souci de l'avenir m'interdit la jouissance du présent. Si je m'arrête un instant de plus sous l'ombrage, je compromets mon honneur lié par un marché à la dépense incessante de mes forces, à l'entier sacrifice de ma vie intelectuelle. Allons, il faut partir; ces réfléxions mêmes sont déjà des hontes! Это какъ будто съ насъ списано! — Поклонъ Лиллѣ и maman. Переношусь мыслью къ нимъ на Сѣтунью.

Твой Николай.

С.-Петербургъ. 19-го іюня 1843 года.

. . . . . .

Получилъ отъ тебя письмо, пущенное отъ 8-го іюня. Слава Богу, ты живъ и здоровъ—покамѣсть хорошо и это,

а остальное Богу и времени! Самъ удивляюсь, какъ Провидѣніе хранитъ насъ! Мнѣ теперь иногда по 14-ти часовъ въ сутки приходится сидѣть—точно пишущая машина, и если что не нелѣпое выходитъ, то я самъ дивлюсь. Это просто какой-то механизмъ. Усиліемъ свободнаго генія нельзя назвать такую работу, ибо прочитавши самъ, вижу какъ должно бы, да когда о томъ думать? Теперь пишу я вдругъ твою «Исторію» (такъ называю продолженіе «Петра Великаго»), романъ Булгарина, Оперу, статьи для «Пчелы», и перевожу Тимона, читая еще корректуры Суворова и «Русскаго Вѣстника»; о мимоходной дряни не упоминаю. Дней черезъ десять надѣюсь послать къ тебѣ нѣсколько политипажей изъ Суворова. На первый случай выбралъ пять, и они отливаются у Ревильона... Теперь моя къ тебѣ покорная и усердная просьба: ты писалъ мнѣ о метрическомъ свидѣтельствѣ, въ послѣднемъ письмѣ своемъ, и какъ будто угадалъ, что мнѣ крайняя въ немъ надобность оказывается для Вольдемара и Никтопольона. Прошу тебя, мой другъ, приложи трудъ достать мнѣ имъ раздѣльныя свидѣтельства. Если все равно, то не худо бы взять свидѣтельство и Сергѣю, а не то хоть Вольдемару и Никтопольону уже непремѣнно. Мнѣ совѣстно обременять тебя, ибо кромѣ хлопотъ, это будетъ стоить и издержекъ; но мнѣ не къ кому, кромѣ тебя, прибѣгнуть.—Прошу и прошу!—Пришло мнѣ въ голову: выдалъ ли тебѣ Семёнъ векселя, вмѣсто взятыхъ у мосье Протопопъ? Увѣдомь.—Вчера Р. сказывалъ мнѣ, что А. здѣсь, но, кажется, я не увижу ее, ибо братъ ея немедленно увезъ ее къ себѣ, куда-то на дачу близь Павловска, и пріѣдетъ съ нею сюда только посадить ее въ дилижансъ и отправить въ Москву [1]). И такъ—одно изъ мечтаній на отрадную минуту исчезло. Грустно, но такъ и быть. По крайней мѣрѣ, меня порадовали слова Р., что она весела

[1]) Разумѣется, мнѣ легче было бы идти въ пещеру льва, еслибы левъ утащилъ А., нежели ѣхать къ брату ея.

и здорова, а я привыкъ къ лишеніямъ радостей, такъ, что радость, кажется мнѣ, или показалась бы мнѣ, ошибкой судьбы. Надняхъ помирились мы съ Розбергомъ. Онъ пришелъ ко мнѣ, просидѣлъ вечеръ, остался ночевать, и мы какъ-то сошлись, вспомнили старое, перебрали все, и я увидѣлъ, что онъ не извергъ. Гдѣ взять ангеловъ? А при томъ онъ очень уменъ. Мое семейство въ колоніи за Ораніенбаумомъ, завтра въ первый разъ думаю поѣхать къ нимъ дня на два, немножко отдохнуть, хоть и беру съ собою работу. Везу туда Сергѣя, который сегодня въ восторгѣ. У нихъ въ Peters-Schule начались сегодня вакаціи, и его перевели въ Gross-терцію, при сегодняшнемъ Versezung. Онъ работалъ полгода удивительно и заслужилъ общую похвалу директора и учителей. Надняхъ встрѣтилъ я Іоакинѳа, и едва узналъ; онъ совершенно боленъ, и едва ли переживетъ нынѣшнее лѣто. А «Витхенштейнъ-то, братецъ, Витхенштейнъ-то?» И нигдѣ ни слова, и никто и не думаетъ! Такая безчувственность убиваетъ меня! Отъ чего же я плакалъ объ Витхенштейнѣ, какъ о родномъ? Мнѣ такъ грустно было; я пролетѣлъ мыслью за тридцать лѣтъ, въ великій 1812 годъ—какой годъ, какіе люди! Теперь только Бернадотъ остается—гдѣ другіе? Ты спрашиваешь, почему назвалъ я смерть Красовскаго бѣдственною? Но, мой другъ, развѣ ты не слышалъ подробностей его кончины? Онъ былъ совершенно здоровъ, пріѣхалъ къ кому-то въ гости, взошелъ во второй этажъ и, шедши съ лѣстницы назадъ, поскользнулся, хотѣлъ удержаться за перилы; они изломались, и бѣдный старичекъ упалъ и ушибся такъ, что страдалъ нѣсколько дней и скончался въ страшныхъ мученіяхъ. Непостижимо! Человѣкъ былъ въ сотняхъ битвъ, начиная съ занятія Неаполя съ Ружеро до взятія Варшавы! Теперь я читаю разныя записки о 1812 годѣ, которыя далъ мнѣ Даниловскій. Какъ любопытно и сколь многое еще неизвѣстно! Другой предметъ, занимающій меня—магнетизмъ, бываю на сеансахъ Пашкова, и каждый разъ ухожу съ новымъ удив-

леніемъ, теряясь въ догадкахъ и благоговѣя къ тайнамъ Божіимъ. Я напишу тебѣ объ этомъ подробно, ибо тутъ услажденіе душѣ и укрѣпленіе сердца въ вѣрѣ. Сколько еще можетъ быть работы уму, если бы мелкая мерзость не терзала бытія! Сколько можно бы еще высказывать истинъ великихъ и спасительныхъ! Неужели порывъ долженъ погибнуть безъ плода! Мы еще оживемъ: и ты и я! Цѣлую ручки Лиллѣ и благословляю дѣтей.

Твой Николай.

С.-Петербургъ. 4-го іюля, 1843 года.

Время послѣ послѣдняго письма моего къ тебѣ, любезный другъ и братъ, провлеклось для меня, какъ всегда, въ безпрерывной и самой разнообразной работѣ и совершенномъ однообразіи внѣшнемъ; проходятъ иногда дни, что я не выхожу изъ своего кабинета и не встаю по четырнадцати часовъ съ мѣста. Держу слово — или къ осени что нибудь сдѣлать, или умереть отъ полнаго сознанія въ безсиліи души и тѣла, — ну, тогда уже не наша вина, и будь чему быть. Изумляюсь, что работа не убиваетъ моего здоровья, когда разнообразіе ея спасаетъ меня отъ утомленія душевнаго. Разумѣется, не то и не такъ бы сдѣлалъ; но я воображаю себя на Березинѣ, и тутъ уже не о побѣдахъ, а только о томъ, какъ бы добраться до Сморгони и ускакать въ Парижъ. О Боже мой! еще достанетъ послѣ того силъ нашихъ дать съ конскриптами Люценскую битву, и послѣ двухъ лѣтъ борьбы разбить Блюхера какого нибудь даже подъ стѣнами Парижа. Все къ лучшему! Усилія труда сдѣлали то, что механизмъ работы для меня не существуетъ... вся бѣда, что руки только двѣ, и необходимо человѣку по нѣскольку часовъ спать и все-таки отдыхъ необходимъ, и тѣлесный, и душевный. Послѣдній составляетъ у меня чтеніе—я читаю теперь бездну стараго и новаго и болѣе стараго, приготовляя такъ, чтобы тотчасъ по окончаніи прежней работы приняться за VII томъ «Исторіи русскаго на-

рода», отдѣлать его и VIII томъ, и печатать ихъ. Мнѣ надо много припомнить стараго и перечитать новаго. Послѣ изданія VI тома прошло — десять лѣтъ, и какихъ! Боже Всемогущій! Волосы дыбомъ на головѣ, когда подумаю! Десять лѣтъ! Да, 22-го іюня мнѣ стукнуло ровно сорокъ семь. Этотъ день провелъ я въ семействѣ, за городомъ— мѣстечко прелестное, пять верстъ за Ораніенбаумомъ, въ колоніи нѣмцевъ, какихъ-то патріархальныхъ швабовъ. Они засѣяли хлѣбомъ и засадили картофелемъ неблагодарную землю, а скатъ съ горы къ морю закрыли садами. Видъ на море чудесный —Кронштадтъ, Петергофъ, финляндскій берегъ, вдали Петербургъ, флотъ на рейдѣ, корабли, и между тѣмъ уединеніе глубокое: что называется, муха не прилетитъ. Счастіе могло бы найтиться еще для насъ при тихихъ семейныхъ радостяхъ. Только одного нѣтъ — спокойствія вещественнаго. Такъ купимъ же его, мой братъ и другъ, трудомъ, тяжкимъ трудомъ! А другимъ развѣ жизнь дешево достается? Здѣсь въ Петербургѣ жить надобно чтобы понимать всю бѣдность богатства и истину пословицы: черезъ золото слезы текутъ! Можешь вообразить: вспоминалъ ли я о тебѣ 22-го іюня! Мысль о тебѣ сливается у меня теперь безпрестанно съ работой. «Это хоть немного успокоитъ брата — здѣсь онъ увидитъ, здѣсь угадаетъ меня, что-то братъ скажетъ»,—такъ безпрестанно думаю, работаю и — молюсь. Ого et labоro! Обращаюсь къ другому. О Ратьковѣ—Лиллино слово, что онъ Мехмедъ-Али, прелестно, (сколько умнаго сказала она до сихъ поръ— какая голова!). Но вѣдь надобно же съ нимъ рѣшить: бомбардировать ли у него Байрутъ? Только я уже не знаю и не постигаю какъ? [1]). Надѣюсь къ осени еще доставить тебѣ

[1]) Петръ Ал. Ратьковъ, видя разстройство дѣлъ отца моего, дѣлалъ попытки отдѣлиться отъ него и захватить себѣ петербургскій книжный магазинъ отца моего. За это мать моя и назвала Ратькова Мехмедомъ-Али, намекая на попытки того отдѣлиться отъ Турціи.

Н. К. П.

случай пособить финансами: Лукьяновичъ надняхъ ждетъ рѣшенія судьбы своей книги: «Исторія войны 1828 года». Я берусь исправить и напечатать ее, съ тѣмъ, что она поступитъ въ продажу къ тебѣ — тутъ можно будетъ заработать, ибо книга, вѣроятно, хорошо пойдетъ. Если Семёнъ сладилъ свои дѣлишки, слѣдовательно, есть надежда, что наши деньжонки не пропадутъ за нимъ. Если можно, что извлечь, мой любезнѣйшій, извлеки. L'Univers перешли ко мнѣ. Какая дрянь — что ты! Это прелюбопытная и пренужная книга! Кстати, скажи Гларнеру, чтобы онъ прислалъ къ тебѣ для меня 54-й томъ «Biographie Universelle» и перешли его ко мнѣ, ибо этого тома у меня не достаетъ. Я радъ, если реэстръ къ Голикову годится, хоть чувствую всѣ его недостатки, и при семъ прилагаю дополненія къ нему, которое, думаю, еще не опоздаетъ. Я имѣлъ случай осмотрѣть библіотеку военнаго штаба, собранную Вихманомъ, и оттуда извлекъ это дополненіе. Меня бѣситъ медленность работы у Ревильона, отчего не могу я послать тебѣ картинокъ и статеекъ для «Живописнаго Обозрѣнія». Обѣщаетъ надняхъ. Кстати, забывалъ я все о Всеволожскомъ: старикъ, когда я былъ въ Москвѣ, заѣзжалъ ко мнѣ и оставилъ у меня какую-то рукопись, которой я еще и не прочиталъ. Мнѣ совѣстно передъ нимъ. При встрѣчѣ извини меня, а я постараюсь исправиться — рукопись прочту, а потомъ и напишу къ нему. Ей Богу, мой любезнѣйшій, ни рукъ, ни времени не достаетъ!—Я теперь въ большой дружбѣ съ Шильдеромъ; чудо-старикъ, прожектеръ въ родѣ нашего старичка, и дитя, которое думаетъ, что онъ великій хитрецъ и плутъ. Храбрость его вошла въ пословицу, а разговоръ его — очарованіе. Недавно получилъ я письмо отъ Гусара. Пишетъ, чтобы я постарался черезъ Зедделера достать ему мѣсто. Чудаки! Думаютъ, что если съ кѣмъ нибудь знакомъ, то уже можешь располагать имъ, какъ угодно, какъ будто не знаютъ, что Петербургъ городъ разсчета и эгоизма, а при томъ и Зедделеръ—оживленный

эгоизмъ. Право, не знаю, что мнѣ и отвѣчать!— Поступки Ротчева со мной и съ тобой мнѣ непонятны. Онъ видѣлся здѣсь со мною по пріѣздѣ изъ Америки одинъ разъ, и казался прежнимъ пріятелемъ; но послѣ того я не видалъ уже его, и онъ уѣхалъ не простясь. Богъ съ нимъ! Если это вѣтренность—жаль; если мерзость—еще жалчѣе! Такъ я не понимаю поступковъ со мною Боткина. Вообще, мой любезнѣйшій, съ нѣкотораго времени меня преслѣдуютъ, ругаютъ и вредятъ мнѣ всячески, съ какой-то особенною злостью. Что это такое? Посмотри, какія клеветы, мерзости! Статьи Недоумки и Каченовскаго—это аркадскія идилліи противъ статей «Отечественныхъ Записокъ» и «Москвитянина». Что это? Сочувствіе ли, что я еще оживу, что я всѣхъ другихъ страшнѣй для нихъ? Впрочемъ, что за время, что за люди, что за дѣятели науки и образованности! Невольно скажешь съ Эздрою: «Вѣкъ погуби юность свою, и времена приближаются старѣтися!»—Надняхъ простился я съ Розбергомъ, и право радъ, что мы сошлись опять. У него голова въ сердцѣ, а сердце въ головѣ, но онъ уменъ, какъ бѣсъ и право не золъ какъ бѣсъ. Былъ еще у меня Максъ [1])—онъ бѣдняжка въ большомъ затрудненіи отъ своихъ отношеній къ глупому министру юстиціи, который смѣсь Строгонова, Дюпена, и Мейендорфа, съ прибавкой $^{3}/_{10}$ либерализма, $^{2}/_{10}$ европеизма и $^{5}/_{10}$ аристократизма. Кстати о знакомыхъ — Демонъ просидѣлъ у меня цѣлый вечеръ и заставилъ хохотать разсказами.—Тимонъ Шекспира у меня почти конченъ, и къ осени непремѣнно явится. Надобно бы разсказать тебѣ еще о разныхъ литературныхъ сплетняхъ, предпріятіяхъ, глупостяхъ; но ужъ некогда. Спѣшу кончить—уже 12 часовъ, а завтра надобно на работу. На праздникѣ петергофскомъ я не былъ, хотя въ Петровъ день ѣздилъ на нѣсколько часовъ къ моему имениннику и съ нимъ ходилъ по Петергофу. Время было

[1]) Максимъ Карловичъ Цеймернъ.

прелестное. Теперь опять пошли дожди.—Цѣлую ручки умной Лиллѣ и благословляю дѣтей твоихъ.

Твой Николай.

С.-Петербургъ. 18-го января 1844 года.

Мнѣ мечталось, мой добрый, незабвенный братъ и другъ Ксенофонтъ, что хоть въ новомъ году начну я къ тебѣ письмо, послѣ четырехмѣсячнаго молчанія, какъ начиналось какое-то знаменитое письмо, помнится, изъ Тобольска: «Наконецъ, по многотрудномъ и многоболѣзненномъ пути, добрались мы»... Не сбылось! Новый годъ насталъ, а многотрудный и многоболѣзненный путь продолжается... Надобно писать — и дѣла того требуютъ; но еще болѣе требуетъ сердечное чувство: оставаться въ такомъ безмолвномъ положеніи, какъ мы съ тобою теперь — я не могу. Я ничего не знаю объ тебѣ, не слышу, а ты обо мнѣ также, и четыре мѣсяца! Я знаю, почему ты молчишь. По своему обыкновенію, ты подумалъ, и думаешь, что я вѣтренно забылъ обо всемъ, легкомысленно бросаюсь за настоящимъ, забывъ будущее, не помня прошедшаго, не думаю о тебѣ — можетъ быть, чего добраго, подозрѣваешь меня въ эгоизмѣ, не сердца, а обстоятельствъ... или ты не думаешь такъ? Почему жъ молчишь, написавши мнѣ только нѣсколько упрековъ въ началѣ октября, а потомъ даже не упоминаешь ни разу обо мнѣ въ письмѣ. Для оправданія моего необходимо сказать, что ты не совсѣмъ правъ передо мною, усомнившись еще разъ во мнѣ, подумавши, что молчанію моему не было какой нибудь важной причины, что я могъ забыть тебя. Нѣсколько твоихъ сердечныхъ словъ были бы цѣлебнымъ бальзамомъ и усладили горестное существованіе, какое влачилъ я съ самой разлуки съ тобою—прости слова мои, прости ради Бога—страданія и скорби ожесточаютъ человѣка, лишаютъ довѣренности ко всему—находишь даже какое-то злобное утѣшеніе въ мысли: «меня всѣ оставили и забыли»! Приступаю

теперь къ моему оправданію. Оно заключается въ томъ, что я даже не понимаю, какъ я жилъ, и какъ я прожилъ эти ужасные четыре мѣсяца! Странно, что, приготовляя меня къ горю, судьба всегда чѣмъ нибудь потѣшитъ. Это замѣчалъ я много разъ въ жизни. Твой неожиданный пріѣздъ въ Петербургъ былъ утѣшеніемъ моимъ; такимъ утѣшеніемъ, что, простившись съ тобою, я со страхомъ подумалъ о будущемъ. Предчувствіе не обмануло, и тотчасъ начался рядъ терзаній, обмановъ надежды, оскорбленій, униженій. Исчислю немногія, оставляя тебѣ самому дополнить подробности. Началось тѣмъ, что извергъ Сафонова подала на меня просьбу по духовной покойной старухи, и внесла ко взысканію черезъ полицію вексель. Въ то же время другой мерзавецъ подалъ ко взысканію другой вексель, старый Смирдинскій. И въ тѣ же дни поданъ былъ вексель Кутулы, который переслалъ онъ сюда къ одному чудовищу. Между тѣмъ постепенно разрушалось все, чѣмъ могъ бы я защищаться. Лукьяновичъ обманулъ меня самымъ безстыднымъ образомъ. Уже ничто не могло спасти меня отъ тюрьмы, а между тѣмъ нужды жизни, требованія существовать съ семействомъ, необходимость работать, какъ на каторгѣ, изъ куска хлѣба, тьма другихъ огорченій, которыя всѣ сошлись толпою—наконецъ, я и работать не могъ. Съ половины октября начала меня терзать болѣзнь, а въ ноябрѣ я слегъ въ постелю. Впрочемъ, это спасло меня отъ послѣдняго безславія: по докторскому освидѣтельствованію оказалось, что нельзя меня тащить въ Управу Благочинія, гдѣ должно было задержать меня, пока приступятъ къ описи имѣнія. Между тѣмъ, все кое-какъ уладилось, и я ожилъ. Теперь открываются новые виды, что въ наступившемъ году я не умру съ голода, и даже буду имѣть средства уплатить часть долговъ. Разумѣется, все это должно купить тяжкимъ трудомъ; но что̀ трудъ? Мое настоящее положеніе похоже на положеніе утопавшаго, котораго выкинуло на берегъ. Онъ не считаетъ потерь и

страданій, но благодаритъ Бога за спасеніе, и не думаетъ о бѣдствіяхъ, грозящихъ ему впереди. Знаю, что впереди еще ихъ изрядный запасъ, но уже ощущаю святую, невидимую десницу Провидѣнія, которая не покидаетъ до конца уповающихъ на него... Я тебѣ сказалъ о главномъ, — а мелочи? Надобно было Милкѣ въ то же время передать свою росписку какому-то мерзавцу, и я едва могъ уговорить его подождать. Другой мерзавецъ, Бѣгичевъ, нагло потребовалъ остальныхъ. Недостатокъ средствъ обмундироваться, за что исключаютъ изъ университета, чуть было не испортилъ будущности моего Вольдемара. То же чуть не случилось съ бѣднякомъ Сергѣемъ—его хотѣли исключить изъ училища за неплатежъ, такъ какъ меня выгнать за то же изъ квартиры. Но довольно—не исчисляю всѣхъ иголокъ, которыя вонзались въ это время въ меня — вездѣ неудача, болѣзнь, бѣдность, и тюрьма впереди... Я не писалъ къ тебѣ, и могъ ли писать? И что написалъ бы я? Усилить твои горести извѣстіемъ о моихъ бѣдствіяхъ, когда ты пособить имъ не можешь? Но пусть хоть малымъ доказательствомъ, что мысль не только о тебѣ, но даже и о томъ, чтобы сдѣлать для тебя что могу, никогда не оставляла меня, послужитъ то, что никакія терзанія не заставили меня продать другимъ твоей «Исторіи». Я не могъ кончить ее, какъ предполагалъ, но каждый часъ, когда могъ работать, удѣлялъ ей, и она была моимъ утѣшеніемъ,— занимаясь ею, я мыслилъ о тебѣ, и слабою рукою чертилъ строки и оживалъ духомъ.

Довольно. Начнемъ о другомъ. Надобно поговорить о настоящемъ и будущемъ — о дѣлахъ... Да, неужели не найдется и нѣсколькихъ искръ въ грудѣ пепла, наваленнаго на наше бытіе судьбою, такихъ искръ, которыя вспыхнутъ огонькомъ радости?

Прежде всего объ «Исторіи», которую привыкъ я называть твоею. Она въ слѣдующемъ положеніи: первая и вторая части, одна совсѣмъ процензурована, другая въ

цензурѣ; третья кончена и переписывается; четвертая пишется. Я говорилъ Ратькову, чтобы онъ начиналъ печатать, но онъ убѣдилъ меня, что не должно начинать, пока я не кончу четвертой части, ибо и нѣсколько страницъ недописанныхъ остановятъ книгу, когда на нее затратится значительная сумма денегъ. Правда! Не смотря на стѣсненія души и тѣла, кажется, что вчернѣ всю работу я кончу къ февралю, если Господь поможетъ. Ратьковъ полагаетъ послѣ сего пустить ее въ двухъ, даже въ трехъ типографіяхъ, и кончить печатанье въ одинъ мѣсяцъ. Какъ сказано, она поступитъ въ твое полное распоряженіе, и усладитъ меня мыслью, что хоть немного уплачу я тѣмъ тебѣ священный для меня долгъ. — Романъ Булгаринскій остановился. Вина не моя. Я кончилъ все, что слѣдовало написать мнѣ, а онъ напротивъ почти ничего не написалъ. Я уговариваю его даже дать мнѣ дописать остальное, но онъ не соглашается, ибо разсчитываетъ на него большія выгоды. Кромѣ полученной мною отъ Булгарина части денегъ въ счетъ его, все остальное я также обращаю къ тебѣ. По всему можно заключить, что Булгаринъ займется романомъ не прежде лѣта, и онъ можетъ выйдти не прежде будущей осени. Тогда я намѣренъ приняться за послѣдніе четыре томика «Исторіи» (отъ кончины Екатерины до нашего времени), которые также должны поступить къ тебѣ, и я ихъ и не считаю своими. Остальное время зимы, весну и лѣто, посвящу я работамъ для себя. Если Богъ поможетъ мнѣ всѣ ихъ кончить, я, при помощи журнальныхъ работъ, буду въ состояніи прожить годъ, и отдѣлить на уплату долговъ отъ 15-ти до 20-ти тысячъ рублей, чѣмъ отчасти покрою все, что терзаетъ меня теперь, и терзало въ концѣ прошлаго года. Работы, о которыхъ говорю, все вѣрныя и положительныя—только достало бы силъ, въ чемъ надѣюсь я на милосердіе Божіе, ибо какая же цѣль моя, если не спасти себя и семейство честнымъ трудомъ? Слава и всѣ другія мечты давно мною забыты. Въ числѣ ра-

ботъ, о которыхъ говорю, находится мое участіе въ «Сѣверной Пчелѣ», и, кромѣ того, взялъ я опять участіе въ «Библіотекѣ для Чтенія». Какимъ образомъ сошлись мы опять съ Сенковскимъ, опишу я тебѣ отдѣльно. Онъ теперь далеко не прежній. Семь лѣтъ опыта прибавилось ему. Кромѣ того, взялся я написать Ольхину одно историческое сочиненіе; но обо всемъ этомъ послѣ. Кажется, силъ моихъ на все достанетъ, когда духъ будетъ ободренъ надеждою хоть мало.

Теперь, мой любезнѣйшій, обращаюсь къ тебѣ съ моими просьбами, и прошу тебя, какъ ни совѣстно мнѣ, потому что я знаю всю тягость заботъ по твоимъ собственнымъ дѣламъ, ради Бога пособить мнѣ въ слѣдующемъ:

1-е. Не понимаю отчего Соповъ поступилъ со мною безсовѣстно и безчеловѣчно. Не увѣдомивши меня, онъ прислалъ мой вексель прямо въ здѣшнюю Управу Благочинія, или велѣлъ его здѣсь кому нибудь представить, но только я никакого увѣдомленія не имѣлъ, и съ меня началось строгое взысканіе. Нѣсколько дней могу я протянуть это дѣло, но долѣе ничего сдѣлать нельзя—платить, или приступятъ къ описи имѣнія. Признаюсь, отъ Сопова я этого не ожидалъ, и что ему 2,000 рублей! Я прилагаю при семъ письмо къ нему, и прошу тебя передать его лично, и присовокупить твою просьбу.

2-е. Меня мучитъ и стращаетъ также взысканіемъ Андрей Глазуновъ, по извѣстному тебѣ векселю въ 3,000 рублей. Я упросилъ его теперь получить 1,500 рублей, и подождать остальныя. Онъ согласился, и я уже приготовилъ было деньги къ отсылкѣ, когда пришло неожиданно взысканіе Сопова. Теперь деньги Глазунову я послать не смѣю, ибо если Соповъ не согласится подождать, то надобно будетъ внести ихъ въ Управу. Между тѣмъ я боюсь, что Андрей Глазуновъ подумаетъ, что я провожу и обманываю его. Сдѣлай милость поговори Глазунову, и увѣрь его, что только трудность достать деньги наличныя удерживаетъ меня, и что я ихъ не замедлю. Далѣе . . . грустно продолжать, но—продолжимъ исчисленіе всѣхъ болячекъ:

3-е. 11-го минулъ срокъ моему векселю у Протопопова. Такъ какъ я принялъ на себя весь долгъ ему Семёна, то по январскому векселю Семёна (суммы не припомню) должно отдать Протопопову, а въ остальныхъ взять терпѣніе попросить его. Боюсь, чтобы Протопоповъ не сталъ душить меня!

4-е. А вотъ ужъ и грозятъ душить, хотя я даже не понимаю, какой это долгъ—именно, Рыбниковой. Никогда она ничего не говорила, и ничего не писала, и вдругъ пишетъ Самохотову, что я долженъ ей 4,000 рублей, что она теряетъ терпѣніе ждать, и если я не удовлетворю ее, то она пришлетъ вексель ко взысканію—это ужасное слово безпрерывно гремитъ въ ушахъ моихъ, и приводитъ меня въ отчаяніе! Развѣ не всѣ ей были заплачены по послѣднимъ векселямъ въ 7,500 рублей? Но, помнится, ты говорилъ, что съ ней все кончено. Если же нѣтъ, то буду просить терпѣнія...

Голова моя закружилась, и я долженъ былъ отдохнуть... Я оправляюсь отъ болѣзни моей, которая была страшный припадокъ геморроя. Мой докторъ сомнительно качалъ головою. Я былъ готовъ, и встрѣчалъ то, что называютъ многіе бѣдствіемъ, съ смиреніемъ христіанина, предавая себя и дѣтей волѣ Божіей.—Я порадовался позволенію преобразовать «Живописное Обозрѣніе», и съ удовольствіемъ прочиталъ два или три первые листа его. Благородно и умно! Статеекъ написать, или лучше сказать, дописать, я не могъ, но придумываю средства и съ моей стороны быть участникомъ твоего журнала. Напишу подробнѣе мысли мои послѣ, а теперь одно скажу, — если доставлять тебѣ всякой мѣсяцъ статью: «Письма изъ Петербурга», гдѣ описывать всю жизнь здѣшнюю, вѣдь это будетъ любопытно, и оживитъ обозрѣніе животрепещущею новостью?

Ты, вѣрно, уже знаешь изъ газетныхъ извѣстій о новой, небольшой пьескѣ моей: «Русскій морякъ». Успѣхъ его былъ необыкновенный, и теперь даютъ его почти еже-

дневно. Въ день перваго представленія его получена мною повѣстка—явиться въ Управу для платежа по векселю Сопова... злая насмѣшка судьбы! Государь приказалъ отыскать всѣ свѣдѣнія о Сакенѣ, и хочетъ, если найдутся потомки Сакена, наградить ихъ, а память геройскаго подвига его ознаменовать какимъ нибудь памятникомъ. Мнѣ, кромѣ досадъ прежде представленія и хлопанья при представленіи, ничего болѣе не досталось. Но если я возобновилъ въ потомствѣ забытаго героя, какой еще награды болѣе? Говорю отъ души.

Твой братъ и другъ Николай.

С.-Петербургъ. 14-го февраля 1844.

Первымъ словомъ моимъ, да будетъ благодарность, мой любезнѣйшій братъ и другъ, за твое дружеское стараніе переговорить съ Соповымъ; бумага отъ него получена и Управа выпустила меня изъ когтей. Страшась, чтобы опять она не вонзила ихъ въ меня, пишу на сей почтѣ къ Рыбниковой, и при семъ прилагаю письма къ Семёну и къ Протопопову; одного прошу произвесть уплату, другого принять ее черезъ тебя въ счетъ долга. Пожалуйста, отдай письма обоимъ самъ, и увѣдомь меня о послѣдствіяхъ. Во всякомъ случаѣ, думаю, что Протопоповъ не станетъ рѣзать меня, но если Семёнъ денегъ не заплатитъ, то не знаю, что мнѣ дѣлать! Послѣдніе дни усиленная работа произвела у меня глазную болѣзнь,—глаза мои какъ-то ослабѣли, и я почти не могъ писать, къ чему прибавилась еще ужасная стужа въ квартирѣ, при сильныхъ морозахъ, которые съ 1-го февраля, и даже прежде, меньше не были 20°, а доходили до 25°. Грустное положеніе мое умножается мыслью о тебѣ и твоихъ страданіяхъ.—Вчера умеръ Мятлевъ, болѣзнь у него была моя—жестокое кровотеченіе. Масляницу онъ дурачился день и ночь, и при припадкѣ жестокомъ такъ ослабѣлъ, что уже никакія средства не спасли его. Странно какъ-то видѣть мертвымъ человѣка, ко-

тораго за три дня видѣлъ здоровымъ по виду, веселымъ, роскошнымъ:—«гдѣ столъ былъ яствъ—тамъ гробъ стоитъ!» Странно и то, что я скрыплю, а кругомъ меня валятся. На что я могу еще годиться? Развѣ для того, чтобы мосьё Протопопъ не сказалъ: «Умеръ не заплативши», да подписчики неконченныхъ книгъ не прибавили: «умеръ, не выдавши книгъ!» Заплатить, дописать—и кончить. Что пишу теперь, годится для настоящаго времени, но потомъ изъ всего этого создадутъ только надгробный памятникъ, и предадутъ его забвенію. Нынѣшнимъ лѣтомъ хочу написать мою послѣднюю повѣсть, и послѣднюю драму. Въ концѣ ея будетъ эпилогъ, гдѣ я распрощусь съ публикой. Замолчать во-время — дѣло великое. Мнѣ надлежало замолчать въ 1834 году. Вмѣсто писанья для насущнаго хлѣба и платежа долговъ, лучше тогда заняться бы чѣмъ нибудь, хоть торговать въ мелочной лавочкѣ. Но кто борецъ съ своею судьбою похвалится, что не всѣ выигранныя имъ битвы были болѣе подарки случая, а не разсчета; а проигранныя принадлежатъ ему лично?

Мнѣ надобно бы опять написать тебѣ тетрадь, а не письмо, но боюсь, что за сборами пройдетъ время, а то опять писемъ не вызовешь безъ писанья!

Твой Николай.

С.-Петербургъ. 26-го іюня 1844 года.

Все это послѣднее время, мой добрый другъ и братъ, старался я выгадать время и средства съѣздить въ Москву, но долженъ былъ отказаться отъ своего намѣренія. Цѣль поѣздки моей была бы удостовѣриться въ томъ тяжкомъ положеніи дѣлъ, какое понимаю изъ твоихъ писемъ, изъ твоего молчанія и разговоровъ съ Ратьковымъ. Если уже судьбѣ угодно поразить насъ послѣднимъ тяжкимъ ударомъ, да будетъ воля его святая! Я придумалъ наконецъ такое предпріятіе, которое должно освободить насъ

отъ бремени долговъ, и вотъ оно: съ будущаго года я рѣшился начать «Энциклопедическій лексиконъ», не продолженіе Плюшара, но совершенно по новому плану. Работа выходитъ удобная для исполненія, расчетъ вѣрный и если бы все исполнилось такъ, какъ я предполагаю, не только скоро могли бы мы расплатиться со всѣми долгами, но и остаться съ обезпеченнымъ состояніемъ. Не считай это мечтательностію и химерой. Ольхинъ ѣдетъ сегодня въ Москву, съ разными предложеніями тебѣ. Теперь умоляю тебя только объ одномъ: не допускай до гибельной развязки; то будетъ послѣднимъ несчастіемъ, послѣ котораго уже ничего не остается на землѣ и въ жизни! Впрочемъ, да удалитъ отъ насъ Господь испытаніе столь страшное! Любимая мечта моя, что ты бросишь Москву, переселишься сюда, и здѣсь, оживши духомъ, живучи вмѣстѣ, мы будемъ спокойны. Я теперь совершенно здоровъ; но адски заваленъ работою, особливо рѣшаясь все окончить къ новому году, чтобы съ января приняться уже за главное предпріятіе, о которомъ я уже говорилъ тебѣ выше. Подкрѣпи силы, и благослови Боже! ибо истинно только къ охраненію честнаго имени, спокойствію и добру стремятся всѣ мысли мои. Сержъ Полторацкій прожилъ здѣсь нѣсколько времени, промоталъ нѣсколько денегъ, ничего не сдѣлалъ, заѣзжалъ ко мнѣ нѣсколько разъ—онъ неисправимъ.

С.-Петербургъ. 11-го августа 1845 года.

Опять впалъ я въ несдержаніе слова своего, любезный другъ и братъ; опять молчалъ мѣсяца три. Но прощеніе мое готово у тебя, и ты самъ догадываешься, что вина моя была невольная. Да, истинно невольная—скопленіе разныхъ нравственныхъ и физическихъ золъ, что они доводятъ меня до какого-то уничтоженія: остается одно—механическая, безсмысленная способность труда, и чувство скорби какой-то, которая отчуждаетъ отъ всего, дичитъ, и переходитъ въ какую-то апатію, при которой считаешь дни,

не живешь и гонишь отъ себя всякую мысль, и самымъ страданіямъ радуешься, какъ будто вызывая ихъ. Знаю, что такое состояніе не достойно ни существа разумнаго, ни христіанина. Я ничѣмъ другимъ не почитаю его, какъ припадкомъ болѣзненнымъ, ипохондріей, сплиномъ, не знаю какъ назвать, но при нервическомъ раздраженіи тѣла, оно мнѣ кажется, легко довело бы до самоубійства, если бы не молитва, не вѣра, не чувство къ дѣтямъ, сохранялись еще въ душѣ человѣка. Я прибавлю болѣе: подобнаго чувства не произведетъ громовое бѣдствіе, оглушающій ударъ. Оно есть выводъ изъ продолжительныхъ, медленныхъ страданій — и пора! Десять тяжкихъ лѣтъ послѣднихъ успѣли унизить меня и болѣзненное расположеніе является, если рядъ скорбей начнетъ терзать, и терзать нѣсколько времени. Теперь, напримѣръ, чувствую себя здоровымъ, могу опять разсуждать о себѣ, какъ объ анатомическомъ и психическомъ предметѣ, но не ручаюсь, что опять не впаду въ прежній недугъ. Надобно тебѣ сказать, мой любезнѣйшій, что съ самой Пасхи, то есть половины апрѣля, на меня словно напущенное — право не знаю въ какое мѣсто не уколола меня судьба! Исчислю тебѣ кратко эту цѣпь огорченій и страданій. Началось съ того, что меня обокрали. Деньги, припасенныя мною для платежа мосьё Протопопъ и извергу Сафоновой были украдены, и до сихъ поръ не нашли слѣдовъ ихъ. Разумѣется, я поставленъ былъ этимъ въ непріятное положеніе. Изверг Сафонова подала ко взысканію, и полиція начала терзать меня. Тутъ заболѣлъ я, и опять въ сильнѣйшей степени возобновился мой несчастный припадокъ — боль правой руки, такъ что недѣли двѣ вовсе не могъ я писать, и потомъ уже въ іюлѣ получилъ свободное движеніе, послѣ купанія. Жесточайшія средства не помогали, и я опять думалъ — не начало ли это паралича? Это принудило меня отказаться отъ работъ, доставлявшихъ мнѣ насущный хлѣбъ, «Библіотеки», «Пчелы», «Біографій Военной Галлереи». Друзья, вмѣсто того

чтобы пожалѣть и помочь, разумѣется, во всемъ мнѣ отказали. Тутъ съ мѣсяцъ, если не болѣе, была жестоко больна Маша, переболѣли дѣти, особливо Вольдемаръ. Были огорченія, о которыхъ я не говорю, ибо надобно говорить подробнѣе. Къ числу такихъ принадлежитъ гнусный эгоизмъ, который показали въ дѣлахъ твоихъ Ратьковъ и Ольхинъ. И все надобно было терпѣть, прикрывать горькою улыбкою. Наконецъ совершилось несчастіе, коего я вовсе не ожидалъ [1])....

. . . . . .

Довольно. Но все проходитъ, и горе, и радость. Мнѣ кажется, что я теперь опять оживаю — пусть кажется; и вотъ первое чувство, какое родилось во мнѣ — мнѣ необходимо видѣться и говорить съ тобою. Испытавши много разъ, я не сомнѣваюсь, что твое присутствіе, твоя бесѣда, твое участіе, возвратятъ мнѣ вполнѣ чувство человѣческое. Знаю, что и на тебя производитъ такое же ощущеніе мое присутствіе. Перезывать тебя въ Петербургъ нельзя, ибо это невозможно по дѣламъ твоимъ, и, можетъ быть, по другимъ отношеніямъ; но я прошу тебя пріѣхать сюда, погостить у меня мѣсяцъ, если нельзя болѣе, и увѣренъ, что это будетъ важнымъ облегченіемъ, даже по твоимъ и по моимъ дѣламъ. Самъ я пріѣхать теперь не могу. Еслибы ты могъ совсѣмъ сюда перебраться, мы ожили бы, но—будемъ говорить о настоящемъ...

Во-первыхъ, ты найдешь себѣ здѣсь много работы. Сенковскій согласенъ отдать тебѣ участіе въ «Библіотекѣ», и даже еслибы тебѣ было можно, то передать тебѣ все, что дѣлалъ у него Очкинъ. Данилевскій съ радостью готовъ отдать тебѣ біографіи свои. Много найдется и другой ра-

---

[1]) Здѣсь Н. А. упоминаетъ о страшномъ несчастіи семейномъ, которое окончательно подорвало его и безъ того уже истощившіяся силы. Опускаемъ это мѣсто письма, какъ имѣющее исключительно семейный интересъ.

боты. Рѣшительно можно сказать, что, живучи здѣсь, ты легко получилъ бы до 15,000 рублей въ годъ. Если переселеніе невозможно, все-таки не худо пріѣхать посмотрѣть, поговорить, сообразить и воспользоваться, чѣмъ можно. Проѣздъ твой станетъ бездѣлицу, а жить мы станемъ вмѣстѣ, ибо неужели мнѣ отпустить тебя отъ себя, когда ты здѣсь будешь? Кромѣ того, мнѣ нужны твой совѣтъ и твоя помощь при моемъ новомъ предпріятіи, которое можетъ быть тебя увидитъ: я сошелся съ Краевскимъ, и такъ хорошо, что взялъ у него на три года «Литературную Газету». Мнѣ кажется, что дѣло можетъ быть выгоднымъ, при планѣ, при средствахъ, какіе къ тому являются. Можно принесть много добра и обезпечить себя сколько нибудь. Мечты мои простираются уже такъ далеко, что я мечтаю будто и твои дѣла могутъ быть этимъ окончены! Обо всѣмъ этомъ писать невозможно, а надобно лично «толковаться», и потомъ «хлопотать». Молитва и трудъ! вотъ все наше спасеніе. Отъ людей ждать нечего. Остается дѣйствовать на нихъ ихъ собственнымъ своекорыстіемъ, а тогда и они изъ демоновъ превращаются въ ангеловъ.

Словомъ, вотъ все, что я могу теперь сказать тебѣ: ради Бога пріѣзжай сюда, и проживи хоть мѣсяцъ, для твоей собственной, моей пользы; и, можетъ быть, намъ удастся рѣшительно учредить и устроить свою будущность, устроить судьбу дѣтей, какихъ Господь Богъ оставитъ намъ. Вѣдь это святая обязанность наша. Для насъ съ тобой, разумѣется, въ мірѣ остается немногое, но — надобно же дожить?

Ратьковъ теперь въ Москвѣ. Гнусное ли онъ чудовище или сумасшедшій, право я не умѣю рѣшить. Не понимаю того, за что онъ ненавидитъ—не скажу насъ—но меня—это явно! Такъ поступать, какъ онъ поступаетъ со мною, нельзя. Поѣхавши въ Москву, онъ не видался и не простился со мною. Надъ Ольхинымъ власть его неограниченная. «Я ѣду въ Москву»,—сказалъ онъ мнѣ, встрѣтивши

меня случайно,—«вѣдь вамъ нечего заказывать туда»?—«Нечего! отвѣчалъ я, или много».—Онъ засмѣялся адски, махнулъ рукою, и я засмѣялся также. Послѣ каждаго свиданія, успѣваетъ онъ втерѣть мнѣ въ сердце занозу, и я лишаюсь сна и пищи на сутки, повидавшись съ нимъ. Какое чувство ко мнѣ и къ тебѣ питаетъ онъ,—не постигаю!

Истинно не знаю, что мнѣ дѣлать съ мосье Протопопъ! Я не обманывалъ его, обѣщая платить, но, во-первыхъ, у меня оставалось еще отъ пенсіи, была «Библіотека», надѣялся я кончить въ іюнѣ «Наполеона» и писалъ еще одну книгу. Послѣ покражи денегъ, притѣсненій изверга Сафоновой, болѣзни руки, лишившей меня возможности писать, я едва могъ достать въ это время насущный хлѣбъ, и платить мосье Протопопъ не имѣлъ никакой возможности. Мнѣ остается теперь одно: предложить ему въ уплату мою бѣдную пенсію, а между тѣмъ, съ января «Литературная Газета», надѣюсь, при помощи Божьей дастъ мнѣ средства, по крайней мѣрѣ, на переворотъ. Нельзя ли тебѣ лично вручить мосье Протопопъ прилагаемое письмо и росписку? Если онъ не согласится—пусть дѣлаетъ, что хочетъ—да будетъ воля Божія.

Я остался на прежней квартирѣ, ибо и средствъ перемѣнить ее не имѣлъ. Къ счастью, хозяинъ мой, добрый нѣмецъ, оказалъ мнѣ всякое снисхожденіе. Семейство мое въ нѣмецкой колоніи и, слава Богу, ожило на воздухѣ и въ лѣсу. Я успѣлъ во все лѣто съѣздить раза два къ нимъ. Остальное время посвящено тяжкой работѣ. Сажусь за нее въ пять часовъ, сижу до трехъ, и работаю еще вечеромъ; но даже и это угодно было судьбѣ у меня отнимать... Горькіе были эти часы... Зачтутся ли они когда нибудь?

Заключаю однимъ: ради Бога пріѣзжай сюда, на сколько тебѣ возможно времени—это необходимо для тебя и для меня, для дѣлъ, для будущности дѣтей нашихъ! Мой другъ! Кто знаетъ, не сочтены ли уже наши съ тобою дни! Тѣмъ лучше для насъ, но.... но, дѣти!

Розбергъ пріѣзжалъ сюда, былъ осыпанъ наградами, получилъ Станислава на шею, веселъ, съ брюшкомъ! Извергъ Сафонова потеряла младшую дочь свою. Не безпокойся! Она тотчасъ подала просьбу, что ей, несчастной вдовѣ, нечѣмъ похоронить, и выхлопотала себѣ сотни двѣ рублей отъ государя! Все это въ порядкѣ вещей[1]).

Твой Николай.

(Безъ обозначенія числа).

Рукою Ксенофонта Алексѣевича на письмѣ сдѣлана помѣтка: получено 29 января 1846 года.

Я начинаю думать, мой любезнѣйшій братъ и другъ, что судьба хотѣла подарить меня послѣднимъ (подчеркнуто въ подлинникѣ) утѣшеніемъ въ жизни, доставя свиданіе съ тобою, когда, самъ не знаю какъ, меня польстили даже какія-то надежды, и, забывшись, мы истинно провели нѣсколько пріятныхъ минутъ. За то, только что ты уѣхалъ, все разрушилось такъ, что я едва не погибъ въ нѣсколько дней! Началось тѣмъ, что у меня опять отнялась правая рука. Пока ее терли льдомъ, бодягою, и терзали всячески, открылись слѣдствія моего предпріятія, на которомъ держались всѣ мои, послѣднія надежды. Никакъ и не думалъ я о барышахъ, но только хотѣлъ перевернуться. Ты знаешь, что мнѣ надобно послать въ Москву тысячъ пять, и здѣсь заплатить тысячъ пять. Полагая, что подписчиковъ будетъ сотъ семь, восемь, и я могу располагать суммою тысячъ въ 20, со страхомъ увидѣлъ я 400 подписчиковъ! И тутъ—Ольхинъ велѣлъ зачесть мой долгъ ему; Ивановъ, захвативъ болѣе ста подписчиковъ, и, явно идя къ банкротству, удержалъ себѣ деньги, а Краевскій удержалъ, въ обезпеченіе, подписку въ почтамтѣ, и вотъ, я, безрукій, не имѣя возможности ни продолжать газеты, не имѣя гроша дома, когда изъ Москвы извергъ Бѣгичевъ уже прислалъ

[1]) Вслѣдствіе этого письма, отецъ мой, осенью 1845 г., ѣздилъ въ Петербургъ, и прожилъ тамъ довольно долго. Въ началѣ 1846 года онъ воротился въ Москву. Н. К. Полевой.

угрозы, отъ Квасниковой я уже имѣю два письма, и того и жду писемъ Сопова и Протопопова, а здѣсь уже подали на меня ко взысканію... Среди такихъ событій ручьемъ полилась изъ меня кровь, и въ три дня ноги и лицо у меня опухли, и я слегъ въ постелю, особливо простудившись, ибо принужденъ былъ выѣхать; а ты знаешь, что шубы у меня нѣтъ. Мнѣ оставалось готовиться къ тюрьмѣ, если останусь живъ, и къ смерти, если такъ угодно Богу! Вотъ причины, по которымъ я не писалъ къ тебѣ. О чемъ, и за чѣмъ было писать? Среди такихъ бѣдствій оживило меня опять то, что добрый Франкъ [1]) успѣлъ кое-какъ остановить кровь, и немного облегчить руку, такъ что я могу, хоть съ трудомъ, писать; и въ то же время мелькнуло предпріятіе, которое если бы удалось, могло бы спасти насъ, ибо мнѣ прискорбно, что отъ меня будетъ и на тебѣ отражаться. Монтолонъ, сидя въ своей Гамской тюрьмѣ, вздумалъ печатать въ «La Presse» исторію плѣна Наполеонова на Еленѣ. Мнѣ пришло въ голову, что если переводить эту исторію выпусками, помѣстить часть въ «Газетѣ», она можетъ дать нѣчто, чѣмъ можно будетъ передохнуть. Начало ты увидишь въ «Газетѣ», но я поднялся съ одра смерти, а теперь съ Вольдемаромъ [2]) сидѣли день и ночь — будь что будетъ! Я скрываю свое опасное положеніе отъ семейства, но, кажется, что мой разсчетъ съ жизнью покончень. Умру въ бою, и дѣлай люди, что имъ угодно; а дѣтей поручу Богу! Въ такомъ расположеніи ты, и твое здѣсь присутствіе, мой любезнѣйшій, были бы для меня благодѣяніемъ, ибо, безъ твоей помощи, я и матеріально ни въ чемъ успѣть не могу. Можешь ли ты сюда пріѣхать? Если нѣтъ, то да будетъ воля Божія! Если же возможно, то прошу тебя не медлить. Что теперь говорить

---

[1]) Докторъ, лѣчившій А. Н. Полеваго и все его семейство.

[2]) Такъ звалъ Н. А. своего старшаго сына, Владиміра, въ то время студента Спб. университета.

Протопопову, Сопову, Квасниковой, Ябедѣ, Бѣгичеву, и прочимъ — не знаю! Пусть дѣлаютъ, что хотятъ. Кровью моею заплатить я готовъ, но вѣдь они за нее гроша не дадутъ. Если они подадутъ всѣ ко взысканію, то я объявлю себя банкротомъ — мнѣ ничего болѣе не осталось. Пусть посадятъ покамѣстъ въ тюрьму, которая не безславитъ, если не преступленіе завело въ нее; а совѣсть наша чиста.

Я просилъ бы тебя не показывать моего письма никому. Оно можетъ разстроить бѣдную Лиллу, ибо я знаю, что она любитъ меня. Для того велѣлъ я отвѣчать тебѣ отдѣльно Вольдемару, который не знаетъ всей гибели моего состоянія, и при томъ смотритъ на все, какъ юноша. Иногда подкрѣпивши его надеждами, я ухожу въ другую комнату скрыть невольныя слезы, и опять показаться въ семьѣ своей веселымъ. Я прошу тебя написать Вольдемару, и поблагодарить за все, что онъ для меня дѣлаетъ—да благословитъ его Богъ! Петя и Катя долгомъ почитаютъ сами писать къ тебѣ. Петя прочиталъ мнѣ за тайну свое письмо, и запечаталъ. Въ жизни могли бы быть радости, и я еще могъ бы на что нибудь годиться, но—видно не угодно Богу. Да будетъ воля Его! Всѣ мои здоровы. Къ моимъ печалямъ прибавлялось долгое неполученіе отъ тебя писемъ послѣ твоего отъѣзда—я трепеталъ за тебя! Слава Богу, что бѣдствіе не совершится.

Твой братъ и другъ Николай.

Примѣчаніе. Это письмо доставлено мнѣ братомъ моимъ П. Н. Полевымъ. Оно одно, изъ всей серіи дядиныхъ писемъ, оказалось въ его собраніи писемъ Н. А—ча. Н. К. П.

С.-Петербургъ, 8-го февраля 1846 года.

Послѣ моего послѣдняго письма, мой любезный другъ и братъ, дѣла мои вообще не могли измѣниться, но лично мои дѣла сдѣлались страшно хуже. Съ 3-го февраля я упалъ, какъ будто пораженный какимъ-то громовымъ ударомъ, на диванъ; лишился сна, пищи, и впалъ въ какое-то небытіе

нравственное и тѣлесное. Жизнь моя, можно сказать, сдѣлалась чѣмъ-то между жизнью и смертью. Всего болѣе съ трехдневной безсонницей я боялся сойдти съ ума. Заниматься я не только не могу, но не могу даже читать, и у меня голову обноситъ, когда я только о чемъ нибудь подумаю. Долго ли это продолжится, не знаю; лѣчусь, и предаю себя волѣ Божіей во всемъ. Одно только сохраняется въ моей головѣ, что если бы ты только могъ пріѣхать сюда на мѣсяцъ, на три недѣли, мнѣ кажется, я и дѣла мои— были бы спасены. Ни о чемъ больше разсуждать не могу и не умѣю. Посылаю тебѣ нѣсколько отрывковъ изъ Монтолона. Ради Бога, постарайся ихъ перевести поскорѣе и переслать сюда, въ видѣ посылки на мое имя, у Аларчина моста, а не къ Ольхину.

Благословляю твоихъ, мой поклонъ Лиллѣ и брату Евсѣю.

Твой братъ и другъ Николай [1]).

«Записки» отца моего заканчиваются въ рукописи слѣдующею выпискою изъ «Библіотеки для Чтенія», которую онъ готовился, вѣроятно, помѣстить въ «Запискахъ» своихъ. Найдя ее въ бумагахъ, собранныхъ имъ для составленія этихъ «Записокъ», я считаю приличнымъ помѣстить этотъ отзывъ въ концѣ «Записокъ». Никитенко былъ сотрудникомъ Николая Алексѣевича по «Русскому Вѣстнику», часто ссорился съ нимъ, какъ то видно изъ писемъ, помѣщенныхъ выше, и, конечно, хорошо зналъ Николая Алексѣевича, именно въ послѣдніе годы жизни его. Слово та-

---

[1]) Письмо это писано подъ диктовку Н. А—ча старшимъ сыномъ его, Владиміромъ, и только подписано самимъ Н. А—чемъ. Получивъ это письмо, отецъ мой спѣшилъ опять отправиться въ Петербургъ, къ умирающему брату и другу, когда пришло извѣстіе, что Николай Алексѣевичъ скончался. Впечатлѣніе, произведенное этимъ извѣстіемъ на моего отца, было необыкновенно тяжко. Онъ цѣлые годы не могъ забыть этой потери.

Н. К. П.

кого человѣка, подъ первымъ впечатлѣніемъ смерти Николая Алексѣевича, имѣетъ несомнѣнно большое значеніе.

«Библіотека для чтенія», 1846 годъ. (Критика. Статья А. Никитенко, на стр. 1—28). I, на стр. 22-й.

«...Нѣтъ! несправедливо судили о немъ враги его, говоря, что онъ, какъ человѣкъ смѣтливый и изворотливый, дѣлаетъ изъ литературныхъ предпріятій спекуляцію, а изъ искусства ремесло, что онъ охотно и весело поддается искушенію дѣлать все, чтобы получать за то много. Нѣтъ, онъ глубоко чувствовалъ ложность и тяготу своего положенія. Мы лично и близко его знали, и можемъ торжественно засвидѣтельствовать предъ будущимъ его біографомъ, что въ этомъ изможденномъ тѣлѣ, въ этой сдавленной груди, которой теперь, безъ сомнѣнія, легче подъ могильною насыпью, чѣмъ было ей подъ гнетомъ жизненныхъ заботъ, что въ нихъ до послѣдняго вздоха билось сердце, полное благородныхъ стремленій и сочувствія ко всѣмъ великимъ, нравственнымъ и умственнымъ интересамъ людей. Но его свѣтлый день уже проходилъ, приближался закатъ, одѣтый въ туманъ, потрясаемый бурями; что было посѣяно, то уже сняли. Сѣять вновь можно было только для хлѣба насущнаго, и для жатвы за гробомъ... Нѣтъ, еще повторяемъ, это было существо, сложенное изъ стихій свѣта и огня, а не грязи. Но всему ли, что есть въ насъ прекраснаго, суждено расцвѣсти и дать плодъ свой? И неужели должно бросить на насъ камень за то, что мы не все могли сдѣлать, что было понято и рѣшено нами въ глубинѣ нашего сердца»?..

УКАЗАТЕЛЬ

ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ УПОМИНАЕМЫХЪ

ВЪ

ЗАПИСКАХЪ К. А. ПОЛЕВАГО.

А.

Авдѣева, Е. А., рожд. Полевая, стр. 15, 499, 540.

Аксаковъ, С. Т., писатель, стр. 145, 220, 228—231.

Александръ I Павловичъ, императоръ всероссійскій, стр. 45, 184 185, 236.

Анастасевичъ, В. Г., писатель, цензоръ, стр. 222—226.

Андреевъ, В. А., издатель „Московскаго Наблюдателя“, стр. 390.

Андросовъ, Вас. Андр., стр. 89.

Анненковъ, Пав. Вас., писатель, стр. 207, 221, 312, 314.

— Петръ Аврамовичъ, полковникъ, курскій помѣщикъ, стр. 48—49.

Араповъ, П. Н., драматическій писатель, стр. 143.

Б.

Багратіонъ, кн., рожд. Голикова, стр. 24.

Баратынскій, Евг. Абр., поэтъ, стр. 167, 176—180.

Батюшковъ, К. Н., поэтъ, стр. 81, 222.

Баушевъ, Андрей Петр., курскій купецъ, стр. 36—37, 41, 43—46, 55.

Безсомыкина, Ел. Ал., рожд. Полевая, стр. 435—436, 438.

Беккеръ, пасторъ въ Иркутскѣ, стр. 22.

Бенкендорфъ, гр. А. Христофоровичъ, генералъ-адъютантъ, шефъ жандармовъ, стр. 337—341, 347, 359—361, 384, 389, 394—395, 398, 446, 452, 510, 516—517.

Бестужевъ, А. А., писатель (Марлинскій), стр. 85, 117, 139.

Бланкеннагель, Егоръ Ив., сахарозаводчикъ, стр. 9, 34.

Боткинъ, В. П., писатель, стр. 563

Булгаринъ, Ѳад. Венед., писатель, стр. 80, 85, 96—97, 107, 112, 116—119, 140, 187—190, 263—264, 267—272, 324, 326, 371, 389, 391, 399, 401, 426—427, 429, 433, 446, 455, 458, 466, 487, 499, 509, 528, 539, 554, 556, 567.

Булдаковъ, Мих. Мат., главный директоръ Россійско-Американской компаніи, стр. 40.

Бѣгичевъ, Д. Никит., воронежскій губернаторъ, писатель, стр. 297—304, 497—498, 566, 577.

— Ст. Никит., стр. 297.

Бѣлинскій, В. Г., писатель, стр. 368—370; 376—383, 404, 458—461, 486—487.

Бѣлявскій, Ѳ. П. знакомый А. Е. Полеваго, стр. 24, 25, 27, 41.

В.

Варгинъ, Вас. Вас., поставщикъ коммисаріатскихъ вещей, стр. 476—477.

Веневитиновъ, Д. В., писатель, стр. 146—137.

Вердеревскій, Вас. Евгр., писатель, стр. 94.

Верстовскій, А. Н., композиторъ, стр. 143, 375, 392, 404, 408, 447.

Вильсонъ, генералъ, директоръ Александровской Мануфактуры, стр. 265—267.

Воейковъ, А. Ѳ., писатель, стр. 98—99, 108, 119, 161, 190—191, 239, 316.

Волковъ, писатель, авторъ „Освобожденной Москвы", стр. 261.

Волконскій, кн. П. М., фельдмаршалъ, министръ императорскаго двора, стр. 473.

Вронченко, М. П., писатель, стр. 274, 363, 455.

Вяземскій, кн. П. А., писатель, стр. 81, 83, 99, 104—109, 116, 119, 124, 126, 127, 166, 205, 212, 248, 291—293, 539.

Г.

Гавріилъ, митр. петербургскій, стр. 9.

Галаховъ, А. Д., академикъ, стр. 420—421.

Гамель, академикъ, стр. 34.

Глазуновъ, Андрей, книгопродавецъ, стр. 568.

Гларнеръ, книгопродавецъ, прикащикъ Семена, стр. 407—508, 562.

Голицыны, кн. А. Н., министръ народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, стр. 516—517, 523.

— А. Ѳ., стр. 553.

— Дм. Вл., московскій генералъ-губернаторъ, стр. 148, 190, 216, 218, 311, 324.

— С. Мих., дѣйств. тайн. совѣтникъ, стр. 240—242.

Глинка, С. Н., писатель, цензоръ, стр. 45, 79, 81—82, 113, 233—255, 352—353, 540.

Гоголь, Н. В., писатель, стр. 486.

Голиковъ, Ив. Илар., иркутскій купецъ, стр. 8, 24.

Голиковъ, Ив. Никитичъ, стр. 32.

— см. кн. Багратіонъ.

Головкинъ, гр. Ю. А., оберъ-камергеръ, посолъ въ Китай, стр. 10.

Горскій, ссыльный полякъ, учившій Полеваго франц. языку, стр. 42.

Горчаковъ, кн. Вас. Никол. ссыльный, учитель Н. А., Полеваго, стр. 22—23.

Гофманъ, проф. Московскаго унив., стр. 130.

Гречъ, Н. И., писатель, стр. 52, 80, 96, 98, 108, 112, 117—119, 181—182, 187—190, 204, 240, 263—265, 267—271, 389, 399, 405, 455, 465, 484, 507, 539, 554.

Грибоѣдовъ, А. С., писатель, стр. 268—269, 272—273, 297.

Губеръ, писатель, стр. 407.

Д.

Давыдовъ, лейтенантъ, авторъ книги: „Двукратное путешествіе въ Америку", стр. 9.

Давыдовъ, Ив. Ив., профессоръ Московскаго университета, стр. 152, 250.

Дашкевичъ, польскій ученый, стр. 214—215, 217.

Дельвигъ, поэтъ, стр. 209, 312, 317, 320, 323.

Демидовъ, Н. П., дѣйств. статскій совѣтникъ, стр. 147—150.

Дмитріевъ, Ив. Ив., писатель, министръ юстиціи, стр. 81, 83, 122—123.

— М. А., писатель, стр. 107, 108.

Долгоруковъ, кн. П. В., эмигрантъ, писатель, стр. 554.

Дубельтъ, Л. В., генералъ-лейтенантъ, начальникъ штаба корпуса жандармовъ, стр. 336—337, 343, 389, 447, 510, 512, 516.

Е.

Евгеній, архіепископъ курскій, стр. 47—49, 52—53.

Елагинъ, А. А., стр. 152, 322.

Ж.

Жандръ, А. А., писатель, стр. 269.
Жуковскій, В. А., писатель, стр. 81, 99, 171, 173, 191, 486.

З.

Загоскинъ, М. Н., писатель, стр. 144, 145, 258—260, 456.
Закревскій, гр. Арс. Андр., генералъ-адъютантъ, московскій генералъ-губернаторъ, стр. 297.

И.

Измайловъ, А. Е., писатель, издатель „Благонамѣреннаго“, стр. 62, 112, 124—126.
— Вл. Вас., писатель, цензоръ, стр. 82, 232—233.

І.

Іоакинеъ (Бичуринъ), синологъ, стр. 433, 559.

К.

Карамзинъ, Н. М., исторіографъ, стр. 25, 28, 30, 72—73, 81, 88, 237, 277—278, 281—282, 290—293.
Каратыгинъ, В. А., трагическій актеръ, стр. 390—391, 403, 410—411, 423, 432, 445—446, 453, 491.
— П. А., комическій актеръ, писатель, стр. 491.
Карльгофъ, Вильгельмъ Ив., писатель, попечитель Одесскаго учебнаго округа, стр. 392, 414.
Каченовскій, Мих. Троф., профессоръ Московскаго Университета, стр. 59—62, 64, 79, 85, 90, 103, 106, 112, 117, 119—120, 140, 175, 191—192, 249—251, 155—256.
Кашинцевъ, Н. А., стр. 447, 516—518.
Кирѣевскій, Ив. Вас., писатель-славянофилъ, стр. 151—154, 319—323, 346.
— П. В., собиратель былинъ, стр. 152.
Клапротъ, академикъ, стр. 10.
Кожуховъ, А. Ст., курскій губернаторъ, стр. 46—49.
Козловъ, поэтъ-слѣпецъ, стр. 172, 179.
Козюлкинъ, частный приставъ въ Курскѣ, стр. 53.
Кокошкинъ, Ѳ. Ѳ., директоръ московскихъ театровъ, стр. 144, 145, 231.
Кольцовъ, Н. А., поэтъ, стр. 422.
Краевскій, А. А., писатель, стр. 440, 486, 487, 575, 577.
Красовскій, Авениръ Ив., сотрудникъ „Московскаго Телеграфа“, стр. 129.
Крузенштернъ, адмиралъ, стр. 454.
Крыловъ, Ив. Андр., баснописецъ, стр. 173.
Кузнецовъ, Ефимъ Андр., иркутскій купецъ, стр. 40—42.
Кукольникъ, Несторъ Вас., писатель, стр. 331—332, 346, 446, 455, 486.
Кутуха, кредиторъ Н. А. Полеваго, стр. 508, 547.
Кюхельбекеръ, В. К., стр. 93, 101.

Л.

Лермонтовъ, М. Ю., поэтъ, стр. 500, 527.
Лецканно, Б. Б., сибирскій генералъ-губернаторъ, стр. 10, 33, 34.
Ливенъ, кн. Карлъ Андреевичъ, министръ народнаго просвѣщенія, стр. 229—230.
Лукьяновичъ, писатель, стр. 562, 564.

М.

Максимовичъ, Мих. Александр., профессоръ Кіевскаго университета, стр. 71, 129—131, 219, 320—327.
Малевскій, другъ Мицкевича, стр. 168, 215, 217, 283.
Марія Николаевна, великая княгиня, стр. 445, 452, 491.
Маркевичъ, Н., поэтъ, стр. 500.
Марковъ, Мих. Никол., писатель, стр. 82.
Масловъ, Ст. Алѣевичъ, стр. 404—405.

Мерзляковъ, А. Ѳ., профессоръ Московскаго университета, стр. 79, 85, 158—159.

Мецъ, Амалія Ѳед., стр. 520.

— Ел. Ѳед., см. Полевая.

— Ѳед. Ѳед., инспекторъ классовъ Александровскаго кад. корпуса, стр. 520.

Мещерскій, кн. Вас. Прокопіевичъ, стр. 48—50.

Мицкевичъ, Адамъ, польскій поэтъ, стр. 167—176, 210—211, 215, 217, 268, 269.

Михайловскій-Данилевскій, А. И., генералъ-лейтенантъ, военный историкъ, стр. 440, 454, 457—458, 559, 574.

Мордвиновъ, А. Н., правитель канцеляріи гр. А. Х. Бенкендорфа, стр. 389, 394—395, 398.

Мочаловъ, Пав. Степ., трагическій актеръ, стр. 363—366, 379—380, 392, 403—404, 408.

Муравьевъ, Андр. Никол., писатель, стр. 102.

Мухановъ, А. М., оберъ-камергеръ, стр. 211.

Мятлевъ, Ив. Петр., писатель, стр. 570.

Н.

Надеждинъ, Н. И., профессоръ Московскаго университета, писатель, стр. 219, 251, 253, 255—257, 369, 440.

Невзоровъ, Макс. Ив., писатель, стр. 82.

Никитенко, Алек. Вас., профессоръ С.-Петербургскаго университета, писатель, стр. 484, 497, 581.

Николай I Павловичъ, императоръ всероссійскій, стр. 201, 316, 359—360, 445—446, 448, 452—453, 485, 510, 570.

О.

Ободовскій, писатель, стр. 485.

Оболенскій, кн. М. А., директоръ Московскаго архива министерства иностранныхъ дѣлъ, стр. 150.

Одоевскій, кн. В. Ѳ., сенаторъ, писатель, стр. 92—93, 100, 131, 143, 166, 440, 499.

Ознобишинъ, Дм. Петр., писатель, стр. 102.

Олинъ, Вал. Никол., писатель, стр. 189.

Ольдекопъ, Евстафій Ив., переводчикъ русскихъ книгъ на нѣмецкій языкъ, стр. 403, 408, 415.

Ольхинъ, издатель, стр. 572, 574, 577.

Орловъ, Ал. Анѳ., писатель, стр. 212, 315—317.

— гр., впосл. князь Алексѣй Ѳедор., генералъ-адъютантъ, предсѣдатель государственнаго совѣта, стр. 453.

П.

Павловъ, Мих. Гр., профессоръ Московскаго университета, стр. 85—86, 89, 152.

Песоцкій, издатель „Репертуара“, стр. 486, 499, 502, 554.

Пильсутскій, камеръ-юнкеръ, стр. 342—343.

Писаревъ, А. А., попечитель Московскаго университета, стр. 90—91.

— А. И., писатель, стр. 102—104, 140—146.

Плюшаръ, издатель „Энциклопедическаго Словаря“, стр. 358.

Погодинъ, М. П., профессоръ Московскаго университета, академикъ, стр. 163, 201, 204, 206, 219, 226—230.

Познанскій, Ю. И., стр. 168—169.

Полевые, А. Е., иркутскій купецъ, стр. 7—43, 46, 53, 57—58, 67, 69—70, 78.

— Вл. Никол., стр. 566, 578, 579.

— Евс. Ал., стр. 165, 556.

— Ек. Ал., см. Авдѣева.

— Ел. А., см. Безсомыкина.

— Ел. Ѳед., рожд. Мецъ, стр. 519.

— Петръ Ал., стр. 540, 556, 562.

Полторацкій, С. Д., библіографъ, стр. 95, 180—183, 476, 479, 572.

Поповъ, Ив. Вас., содержатель университетской типографіи въ Москвѣ, стр. 86—88.

Похвисневъ, полковникъ, стр. 167.

Прокоповичъ-Антонскій. Ант. Ант., ректоръ Московскаго университета, стр. 82—83, 90—91, 103, 143.

Протопоповъ, кредиторъ Н. А. Полеваго, стр. 547, 549, 558, 569, 570, 576, 578.

Пурлевскій, Вас. Мих., ст. совѣтникъ стр. 42.

Пушкинъ, А. С., поэтъ, стр. 123—126, 127, 171, 173—175, 178, 195—212, 268, 269, 271, 273—278, 312—318, 320, 354.

— Вас. Льв., писатель, стр. 103—104.

Р.

Рабусъ, Карлъ Ив., художникъ, стр. 375.

Раичъ, Семенъ Егоровичъ, писатель стр. 100—102.

Ратьковъ, П. А., книгопродавецъ, управляющій конторой „Московскаго Телеграфа", стр. 377, 378, 386, 392, 421, 440—443—445, 448, 491, 494, 502, 507, 513, 524, 527, 528, 538, 542, 549—550, 561, 567, 571, 574—576.

— Каролина Карл., стр. 494.

Рожалинъ, писатель, стр. 102.

Розбергъ, Мих. Петр., профессоръ Дерптскаго унив., академикъ, стр. 153—154, 539, 556, 559, 577.

Розенкампфъ, баронъ, писатель-юристъ, стр. 335—226.

Ростопчинъ, гр. Ѳ. В., московскій военный генералъ-губернаторъ, стр. 262.

Ротчевъ, А. Г., писатель, стр. 563.

Румянцевъ, гр. Н. П., государственный канцлеръ, стр. 10—11.

Рыбникова, кредиторша Н. А. Полеваго, стр. 419, 493, 569, 570.

Рѣзановъ, камергеръ, посолъ въ Японію, стр. 10.

Рѣпина, артистка московскаго театра, стр. 141—142, 143.

С.

Сабуровъ, Я. И., стр. 93—94.

— актеръ, стр. 141, 143.

Самохотовъ, торговецъ москательными товарами, стр. 501, 514.

Сафонова, кредиторша Н. А. Полеваго, стр. 565, 573, 577.

Свиньинъ, Пав. Петр., писатель, стр. 68—69, 70, 276—277, 433, 440, 466—467.

Семэнъ, книгопродавецъ-издатель, стр. 350—351, 373, 507—508, 511, 514, 539, 550, 558, 562, 569.

Сенковскій, Ос. Иван., профессоръ С.-Петербургск. университета, оріенталистъ, писатель, стр. 132—133, 391, 392, 426—427, 465, 466, 497, 509, 524, 527, 568, 574.

Скобелевъ, Ив. Никитичъ, генералъ-отъ-инфантеріи, комендантъ Петропавловской крѣпости, писатель, стр. 485—486.

Славинскій, учитель курской гимназіи, стр. 54—55.

Смирдинъ, А. Ф., книгопродавецъ, стр. 358, 370—372, 392, 399, 422, 426—429, 455, 473, 479—480, 482—483, 486, 488, 497, 507, 511—512, 514—515, 521, 523—527, 529.

Соболевскій, С. А., библіофилъ, стр. 101, 198, 199, 266, 433, 443.

Соловьевъ, профессоръ Гельсингфорскаго университета, стр. 554.

Сомовъ, Орестъ Мих., писатель, стр. 316—317, 323.

Соповъ, кредиторъ Н. А. Полеваго стр. 547, 549, 568, 570, 577.

Строгоновъ, гр. С. Гр., попечитель Московскаго университета, стр. 369, 390.

Строевъ, П. М., писатель, археографъ, стр. 71.

Т.

Тимковскіе, В. Ѳед., стр. 64—66, 70—71.

— Е. Ѳ., путешественникъ, стр. 64.

— Романъ Ѳед., профессоръ Московскаго унив., стр. 64, 71.

Тимъ, художникъ, стр. 499.

Титовы, Акимъ Алексѣевичъ, правитель конторы Россійско-Американской компаніи въ Иркутскѣ, стр. 16, 25, 296.

— Александръ Акимовичъ, стр. 556, 557.

— Вл. П., стр. 102.

У.

Уваровъ, гр. С. С., министръ народнаго просвѣщенія, стр. 227—228, 318—319, 329, 337—341, 346, 347, 350—351, 359, 361, 389—390, 394, 401, 429, 451, 539, 554.

Улитинъ, книгопродавецъ, стр. 425.

Ушаковъ, Вас. Апол., писатель, стр. 137—139, 231, 267—269, 270—271.

Ф.

Фариковъ, книгопродавецъ, стр. 450, 486.

Филимоновъ, Вл. Серг., писатель, стр. 63—67, 69, 90, 94, 139, 433.

Х.

Ханъ-Гирей, полковникъ, флигель-адъютантъ, стр. 503—504.

Хлѣбниковъ, К. Т., директоръ Россійско-Американской компаніи, стр. 9—10, 391, 433.

Ходаковскій, Зоріянъ Яковлевичъ, археологъ, стр. 71—77, 213—219.

— жена его, стр. 213—218.

Ц.

Цеймернъ, Максимъ Карл., стр. 466, 356.

Цынскій, Левъ Михайловичъ, Московскій оберъ-полицмейстеръ, стр. 359—360, 384, 447, 512.

Ч.

Черепановъ, Н. Е., профессоръ Московскаго университета, стр. 490.

Ш.

Шаликовъ, кн. П. И. писатель, издатель „Дамскаго Журнала“, стр. 81—82, 107, 108, 261—263.

Шевыревъ, Ст. Петр., профессоръ Московскаго университета, стр. 200, 206, 209, 227, 390.

Шелиховъ, Гр. Ив., завоеватель Русской Америки, стр. 9, 10.

— Дмитрій Потаповичъ, писатель, стр. 155—157.

Шильдеръ, Карлъ Андреевичъ, генералъ-адъютантъ, начальникъ инженеровъ гвардейскаго корпуса, стр. 562.

Ширяевъ, книгопродавецъ, стр. 182, 239, 258—259, 263, 299—300, 420, 501, 524.

Шишковъ, А. С., адмиралъ, министръ народнаго просвѣщенія, президентъ академіи наукъ, стр. 80, 95, 222—225, 229.

Шторхъ, экономистъ-писатель, стр. 162—163.

Я.

Языковъ, Н. М., поэтъ, стр. 205, 207.

[20]